

Василій Васильевичъ Солуха.

В. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

801-17

8268

ПОЭТИКА

ИСТОРИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ СТАТЕЙ О ПОЭЗІИ

ПОСОВІЕ

при изученіи ТЕОРІИ словесности

XV-24745



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНИЕ В. П. ПЕЧАТКИНА
1885.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 19 марта 1885 года.



2010482483

Типографія Товарищества „Общественная Польза“. Б. Подъяческая, № 39.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ школьныхъ *курсахъ теоріи поэзіи* отводится обыкновенно весьма незначительное мѣсто двумъ существенно-важнымъ для теоріи и тѣсно связаннымъ между собою вопросамъ. Мы разумѣемъ вопросъ объ *искусствѣ*, — о его сущности, цѣли и отношеніяхъ къ другимъ областямъ духовной дѣятельности человѣка, и вопросъ о различныхъ *направленіяхъ* въ искусствѣ, вытекающихъ изъ различія точекъ зрѣнія на его сущность и значеніе.

Безъ опредѣленнаго и яснаго понятія объ искусствѣ вообще и поэзіи, какъ одномъ изъ видовъ его въ особенности, немыслима, разумѣется, и теорія поэзіи.

Мы позволимъ себѣ, въ немногихъ словахъ, указать на различныя опредѣленія искусства, чтобы дать понятіе о томъ, какъ важно, въ виду различныхъ взглядовъ на искусство, составить о немъ опредѣленное понятіе, и какъ трудно это послѣднее сдѣлать достояніемъ элементарнаго учебника. За немногими исключеніями мы остановимся на тѣхъ только положеніяхъ, съ дальнѣйшимъ развитіемъ которыхъ читатель встрѣтится въ нашемъ «Сборникѣ».

Искусство, разсматриваемое со стороны содержанія, обнимаетъ три различные момента, причиннымъ образомъ связанные между собою:

1. искусство, какъ своеобразное *душевное состояніе* художника *), какъ *способность* къ творческой дѣятельности, продуктомъ которой является

*) Во всемъ дальнѣйшемъ разсужденіи рѣчь идетъ о свободныхъ, или изящныхъ, искусствахъ.

II. искусство, какъ *явленіе* (вещь или дѣйствіе), подлежащее созерцанію и возбуждающее

III. *различныя душевныя настроенія* въ наблюдателѣ.

Первый моментъ касается *источника* искусства, второй—*предметовъ* искусства, третій—ихъ *дѣйствія* на нашу душу.

Исторія ученій о поэзіи показываетъ, какъ это можно видѣть изъ предлагаемаго «Сборника», что каждый изъ этихъ моментовъ, одинъ или въ соединеніи съ другими, давалъ начало особой теоріи.

I. Источникъ искусства.—а) Платонъ видѣлъ источникъ искусства въ «безуміи», «маніи», или вдохновеніи. «Кто безъ маніи, внушаемой музами, приходитъ къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (*τέχνη*, техникой) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ» *). Вдохновеніе, по самой природѣ своей, не можетъ подчиняться расчетамъ «благоразумія» и правиламъ разсудка.

б) Гораций проницательно отнесся къ современной ему школѣ поэтовъ, которые полагались только на вдохновеніе, считали технику (искусство) безпомощнымъ орудіемъ въ дѣлѣ творчества и презрительно относились къ «трезвымъ» («благоразумнымъ», въ смыслѣ Платона) поэтамъ **). Хотя онъ и говоритъ, что талантъ безъ искусства (науки, техники), равно какъ и «наука» безъ таланта ничего цѣннаго создать не могутъ (стр. 409—410); но, утверждая, что «выраженія за мыслью придутъ уже сами собою» (311), что познаніе есть *источникъ* искуснаго выраженія (312—316), онъ оставляетъ слишкомъ мало мѣста какъ таланту, такъ и вдохновенію, и роль ихъ въ дѣлѣ творчества представляется, въ его теоріи, совершенно неопредѣленной. Гораздо рѣшительнѣе становится на сторону разсудка Буало, въ своей «Наукѣ о стихотворствѣ». «Къ разсудку прилѣпись», совѣтуетъ онъ поэту: «Пусть стихи твои получаютъ отъ него всѣ прелести свои». «У насъ», говоритъ онъ далѣе, покорено «все правиламъ разсудка»: «трагедія... требуетъ разсудка»; «смѣши, вездѣ блюди условія разсудка» ***).

*) См. «Сборникъ», стр. 12.

**) См. ниже: «Наука поэзіи», стр. 80, 295—301.

***) См. стр. 137 и слѣд.

Трудно выразить рѣзче несовмѣстимость двухъ источниковъ творчества—вдохновенія и разсудка.

в) Какъ бы мы ни смотрѣли на художника въ моментъ творческой его дѣятельности,—какъ на одержимаго маніей или — какъ на человѣка, руководимаго требованіями здраваго разсудка, внутреннее состояніе его представляетъ далеко еще не изслѣдованный психо-физиологическій процессъ,—болѣзненный или нормальный, но, въ обоихъ случаяхъ, подчиненный общимъ законамъ, управляющимъ нашею психо-физиологической дѣятельностью. Если наука откроетъ внутреннія условія творчества, само собою станетъ ясно, въ какой мѣрѣ оно можетъ подчиняться дѣйствіямъ воли и въ какой—навсегда остаются свободнымъ отъ предписаній разсудка, «безуміемъ».

Эстетика различныхъ оттѣнковъ, вооружаясь противъ правилъ ложно-классической школы, необходимо должны были смотрѣть на искусство, какъ на плодъ вдохновенія, стоящаго внѣ какихъ бы то ни было законовъ, управляющихъ душевною дѣятельностью смертныхъ, не надѣленныхъ даромъ творчества. «Свобода искусства» является прямымъ послѣдствіемъ воззрѣнія на вдохновеніе, какъ единственный его источникъ.

II. Предметъ искусства.—Во взглядахъ на искусство, какъ на результатъ творческой дѣятельности, такъ же мало единства, какъ и въ воззрѣніяхъ на его источникъ.

а) Платонъ смотрѣлъ на искусство, какъ на выраженіе божественной красоты, какъ на формы безплотныхъ идей прекраснаго, доступныхъ созерцанію человѣка, одержимаго «маніей», земное же прекрасное—не болѣе, какъ слабая тѣнь красоты идеальной.

б) Аристотель, ученикъ Платона, опредѣлилъ искусство, какъ подражаніе природѣ (дѣйствительности).

Насколько различны эти взгляды, можно судить потому, что учитель, оставаясь послѣдовательнымъ, изгонялъ поэзію изъ своего идеальнаго государства, считая ее ложью, какъ смутную тѣнь тѣни прекраснаго; а ученикъ его, не менѣе послѣдовательный, вознесъ искусство на одну ступень съ философіей и поставилъ выше исторіи.

в) Греческая философія дала два опредѣленія искусства, которыя, позднѣе, послужили основаніемъ двухъ различныхъ теорій.

Опредѣленіе Аристотеля, повидимому—конкретное и точное, от-

нюдь не исключаетъ отвлеченнаго опредѣленія Платона; напротивъ: историческое (генетическое) развитіе перваго необходимо должно было привести къ послѣднему.

Въ самомъ дѣлѣ: что значить подражать природѣ?

а) Самъ Аристотель требовалъ подражанія общему (типическому), тому, что не только есть, но что существуетъ по необходимости или по вѣроятію, т. е., требовалъ того, что называется идеализаціей. Этотъ взглядъ на искусство, поддерживавшійся въ свое время Лессингом *), лежитъ и въ основаніи ученія Тэна **), который историческимъ путемъ приходитъ къ заключенію, что искусство выражаетъ *существенный*, преобладающій, *характеръ жизни*. *Общее* Аристотеля есть не что иное, какъ *существенный характеръ* Тэна.

б) Аристотель, требуя типичности, совѣтуетъ поэту облагораживать характеры; ***). Гораций долѣе останавливается на этой сторонѣ искусства; со всего же исключительностію *подражаніе облагороженной, или украшенной, природы* легло въ основаніе ложно-классической школы и надолго придало своеобразный характеръ ея произведеніямъ ****).

в) Новѣйшее направленіе въ искусствѣ и особенно въ поэзій (Золя и его послѣдователи) одинаково далеко и отъ Платона, и отъ Аристотеля, и отъ псевдо-классиковъ: оно требуетъ отъ искусства не «божественной красоты», не «общаго», еще менѣе — «природы облагороженной», а подробныхъ, подкрѣпленныхъ документами, свѣдѣтельскихъ показаній обо всемъ томъ, что проходитъ предъ глазами наблюдателя. Школа эта однимъ изъ русскихъ критиковъ довольно мѣтко названа «фотографической».

Подражаніе *общему*, подражаніе *природѣ украшенной* и наконецъ — *природѣ* — во всемъ быстротекущемъ разнообразіи, пестротѣ и *случайности* ея явленій — вотъ три принципа трехъ существенно-различныхъ школъ, которыя всѣ могутъ выставить на своемъ знамени — *подражаніе природѣ* (дѣйствительности).

*) Гамбургск. драматургія, стр. 182 и сл.

**) «Опредѣленіе искусства», стр. 289.

***) «Поэтика», стр. 36.

****) «Буало», стр. 135 и сл.

г) Опредѣленіе искусства приведенными формулами далеко еще не изчерпывается.

Ни *типа*, ни *облагороженной* природы, ни того, что выдаютъ за *неприкрашенную дѣйствительность* (если только это не стенографическіе отчеты и протоколы), ни того, ни другаго, ни третьяго нѣтъ, какъ явленій реальныхъ, доступныхъ внѣшнимъ чувствамъ: все это не что иное, какъ идеи (понятія) объ *общемъ, лучшемъ, совершившемся*. Такимъ образомъ искусство, во всѣхъ указанныхъ значеніяхъ, представляетъ не природу, а обьективировавшіяся идеи, *идеи, обращенныя въ предметы*. Идея, гармонически слившаяся съ соотвѣтствующею ей формой, есть идеаль. Отсюда является распространенное въ эстетикахъ опредѣленіе искусства, какъ *выраженія идеальнаго міра*, какъ воплощенія идеаловъ *).

Послѣднее опредѣленіе, обнимая предыдущія, коренящіяся въ ученіи Аристотеля, представляетъ, благодаря своей отвлеченности, условія для опредѣленія искусства въ духѣ Платона.

Съ понятіемъ *идеалъ* соединяются весьма различныя представленія.

1. Въ одномъ значеніи, это — *общее* Аристотеля, или *существенный характеръ* Тэна. Не заключающа въ себѣ ничего качественного, никакихъ нравственныхъ опредѣленій, *идеалъ* употребляется вмѣсто слова *типъ*, какъ его синонимъ (Плюшкинъ — типъ скупца, идеаль скупца). Въ этомъ значеніи принимаетъ идеаль натуралистическая школа искусства.

2. Въ другомъ значеніи, идеаль есть не что иное, какъ логическій анализъ идеи, выведенной не изъ данныхъ опыта, а изъ чистаго понятія, и представленной въ образной или символической формѣ. Есть разница между *честолюбцемъ*, характеръ и направленіе *страстей* котораго обуславливаются временемъ и мѣстомъ его дѣйствія, и *честолюбіемъ*, какъ простой и несмѣшанной страстью, какъ *идеей*: логическое развитіе послѣдней, представленное хотя бы въ безчисленномъ рядѣ частныхъ случаевъ и примѣровъ, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что мы называемъ идеальнымъ характеромъ. Край-

*) Содержаніе эстетики, а вмѣстѣ съ нимъ и терминологія, разрабатывались съ конца прошлаго столѣтія по преимуществу нѣмецкой метафизикой.

нимъ выраженіемъ односторонней идеализаціи могутъ служить средневѣковыя мистеріи и *moralités*, выводившія на сцену *Церковь, Правду, Милосердіе, Гнѣвъ* и т. п. олицетворенія отвлеченныхъ понятій и несмѣшанныхъ страстей.

Подобная же односторонность идеализаціи является существенной особенностью псевдо-классической школы, которая не столько *украшала* дѣйствительность, внося въ нее нѣчто лучшее, сколько старалась *усилить впечатлѣніе*, изображая *несмѣшанные характеры* *).

Точно также и въ этомъ смыслѣ *идеалъ* не заключаетъ въ себѣ *качественныхъ* опредѣленій: злодѣй и нравственный человѣкъ одинаково могутъ быть предметами идеализаціи: первый явится совершеннымъ извергомъ, другой — совершеннымъ добродѣтельнымъ человекомъ.

3. Въ третьемъ значеніи, подъ словомъ *идеалъ* разумѣется *ничто прекрасное*, въ его различныхъ опредѣленіяхъ, начиная отъ Платона до нашихъ дней. «Поэзія», въ глазахъ эстетиковъ, есть «выразительница и жрица *красоты*» **); тоже должно сказать и объ искусствѣ вообще: предметъ его — *прекрасное* въ томъ же смыслѣ, въ какомъ истина — предметъ науки.

По ученію Платона, предметы нашего наблюденія прекрасны по столько, по сколько они напоминаютъ о своемъ прекрасномъ первообразѣ (идеѣ); отсюда: отклоненіе отъ первообраза — безобразіе; совершенное же совпаденіе съ нимъ (по Платону, впрочемъ, невозможное въ дѣйствительности), другими словами — гармоническое сліяніе формы съ идеею есть прекрасное (изящное) въ полномъ смыслѣ слова. Это понятіе о прекрасномъ, перенесенное въ область искусства, является основнымъ принципомъ эстетической школы: какъ въ природѣ (дѣйствительности) предметы прекрасны въ той мѣрѣ, въ какой они обнаруживаютъ свой прекрасный первообразъ (идею), такъ произведенія искусства прекрасны, если они, какъ формы, доступныя чувственному воспріятію, *гармонически сливаются съ* заключающеюся въ нихъ *идеею въ одно конкретное цѣлое*, или, говоря сло-

*) «Гамбургская Драматургія», стр. 212—214.

**) Вѣлинскій, Соч., IV, 375.

вами Вѣлинскаго, если въ нихъ «идея поглощается формою, и вы больше видите ее, нежели понимаете» *).

Рядомъ съ матеріально-прекраснымъ (прекрасное въ природѣ), является такимъ образомъ формально-прекрасное (въ искусствѣ), изящное, или художественное. Оба понятія вошли въ опредѣленіе искусства, которое, по требованію эстетиковъ, должно изображать *прекрасное въ художественной (изящной) формѣ* **). Въ Чацкомъ, съ точки зрѣнія художественной, или эстетической, критики, идея беретъ перевѣсъ надъ формой: онъ, въ художественномъ смыслѣ, лицо менѣе прекрасное, чѣмъ Фамусовъ или Репетиловъ. Въ этомъ случаѣ сравненіе не касается красоты матеріальной, т. е. физического и нравственного совершенства лицъ, служившихъ «натурой» для художника.

III. Дѣйствіе искусства. — Кромѣ различія воззрѣній, неизбежно вытекающаго изъ основныхъ точекъ зрѣнія на субъективную и объективную природу искусства, въ вопросѣ о *дѣйствіи* мы обыкновенно встрѣчаемся и съ логической непослѣдовательностію, происходящей отъ смѣшенія двухъ различныхъ понятій, именно — понятія о *дѣйствіи* искусства и о *цѣли* искусства.

Всякое дѣйствіе человѣка предполагаетъ сознаніе, слѣдовательно — *цѣлесообразность*. «Дѣйствовать съ цѣлію — это и есть условіе, возвышающее человѣка надъ низшими существами». Въ этомъ смыслѣ искусство такъ же цѣлесообразно, какъ и другіе виды дѣятельности человѣка. Правда, по ученію Платона, поэтъ «можетъ творить тогда только, когда его объемлетъ восторгъ, когда онъ выйдетъ изъ себя, и разсудокъ покинетъ его. Покамѣстъ онъ съ нимъ, онъ не способенъ творить и произносить пророчества»; но отсюда не слѣдуетъ заключать, что художникъ творитъ безсознательно, въ болѣзненномъ бреду, не отдавая себѣ отчета въ своей дѣятельности. Напротивъ, какъ созерцаніе, такъ и изображеніе божественной красоты, недоступное

*) «Поэзія и художественность», стр. 253 и сл.

**) Выработанное въ этой школѣ понятіе о положительномъ и отрицательномъ изображеніи идеала устраняетъ возраженіе, вызываемое такими художественными произведеніями, какъ комедія, сатира, въ которыхъ обыкновенно всѣмъ не бываетъ матеріально-прекрасныхъ предметовъ.

обыкновенному разсудку, съ его техническими средствами, предполагаетъ, кромѣ вдохновенія, высшій, божественный разумъ. Разумное, въ высшемъ значеніи этого слова, искусство необходимо должно быть цѣлесообразно.

Съ другой стороны, — философъ изгналъ поэзію изъ своего идеальнаго государства и поступилъ совершенно послѣдовательно, не найдя возможности подчинить ее разсудочнымъ, политическимъ цѣлямъ, слѣдовательно — смотрѣлъ на нее, какъ на дѣятельность, никакой цѣли внѣ искусства неимѣющую. Съ подобнымъ же взглядомъ на самоцѣльность искусства мы встрѣчаемся въ эстетической школѣ: «Поэзія», по ученію эстетиковъ, «не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, по сама себѣ есть цѣль, какъ истина въ знаніи, какъ благо въ дѣйствіи» *). Ich singe, wie der Vogel singt, говоритъ Гёте, десятки лѣтъ трудившійся надъ Фаустомъ.

Это противорѣчіе между *цѣлесообразностью* съ одной стороны и съ другой — *безцѣльностью* во многихъ случаяхъ легко объясняется смѣшеніемъ двухъ указанныхъ выше понятій — *дѣйствія* и *цѣли*.

Искусство разносторонне и глубоко дѣйствуетъ на наши чувства, а чрезъ нихъ, — прямо или косвенно, — на всѣ отправленія нашей психической жизни. Въ общей суммѣ дѣйствій искусства есть такія, которыя неразрывно связаны съ его природой и входятъ въ нее, какъ составныя ея части, и есть другія, которыя могутъ быть или не быть, не измѣняя сущности искусства. Въ ряду первыхъ всѣми направленіями признается, съ большими или меньшими ограниченіями, одно, это — *удовольствіе, наслажденіе*, сопровождающее различныя по характеру и силѣ впечатлѣнія, испытываемыя нами подъ вліяніемъ искусства.

Если справедливо, что наслажденіе есть постоянное, неотдѣлимое отъ природы искусства дѣйствіе этого послѣдняго, то, и въ теоретическомъ и въ практическомъ отношеніи, совершенно безразлично, признаемъ ли мы, что цѣль искусства — наслажденіе, или — что искусство не имѣетъ никакой цѣли внѣ себя, другими словами — что оно есть само себѣ цѣль.

*) Вѣлискій, IV, 273.

Цѣль художника — создать произведеніе, удовлетворяющее требованіямъ искусства, — и въ этомъ смыслѣ *дѣятельность* художника цѣлесообразна. Если цѣль достигнута, т. е., явилось произведеніе искусства, оно неотразимо произведетъ свойственное природѣ его дѣйствіе, хотя бы художникъ совсѣмъ не ставилъ это послѣднее цѣлью своей дѣятельности, и въ этомъ смыслѣ — *искусство* само себѣ цѣль и внѣ себя никакой цѣли не имѣетъ. Такъ вода, нагрѣтая, при обыкновенныхъ условіяхъ, до 80° R., непременно будетъ кипѣть, хотя бы этого послѣдняго явленія мы не имѣли въ виду и ограничивались только процессомъ нагрѣванія и наблюденіемъ термометра. Если поэзія «возвышаетъ душу человѣка къ небесному, настраиваетъ ее къ благимъ дѣйствіямъ и чистымъ помысламъ — это уже не цѣль ея, а прямое дѣйствіе, свойство ея сущности; это дѣлается само собою, безъ всякаго предначертанія со стороны поэта» *). И такъ:

а). Цѣль въ искусствѣ есть не что иное, какъ его «прямое дѣйствіе», и понятіе *о цѣли* не вноситъ ничего новаго въ понятіе *о дѣйствіи* искусства: послѣднее является само себѣ цѣлью, или, какъ говорятъ эстетики, «искусствомъ для искусства».

б). Цѣль есть нѣчто, съ природой искусства не связанное, внѣшнее, требующее отъ художника такого созданія, которое произвело бы нѣкоторыя дѣйствія по разсчетамъ «благоразумія», разсудка, нравственности.

Лессингъ **), оставляя теорію «искусства для искусства» посредственнымъ талантамъ, утверждаетъ, что когда геній «создаетъ и изображаетъ свои главные характеры, то онъ при этомъ имѣетъ въ виду болѣе глубокія и возвышенныя цѣли: 1) научить насъ, что мы должны дѣлать и чего не дѣлать; 2) ознакомить насъ съ истинною сущностью добра и зла, приличнаго и смѣшнаго; 3) показать намъ красоту перваго во всѣхъ его сочетаніяхъ и слѣдствіяхъ, и какъ оно даетъ счастье даже въ несчастіи, и выяснитъ безобразіе послѣдняго, которое бѣдственнее даже и въ счастьи; 4) при такихъ сюжетахъ, гдѣ не можетъ имѣть мѣсто прямое сорев-

*) Вѣлискій, IV, 275.

**) Гамбургская Драм., 181—182.

нованіе, по крайней мѣрѣ упражнять наши способности къ симпатіи и отвращенію—на такихъ предметахъ, которые достойны этого, и постоянно показывать эти предметы въ ихъ истинномъ видѣ, чтобы мы не увлекались ложнымъ блескомъ, не чуждались того, чего должны желать, и не желали того, чего должны чуждаться». Цѣли, поставленныя Лессингомъ, большею частію таковы, что защитникъ «искусства для искусства» призналъ бы ихъ, особенно п. 4-й, за обыкновенныя дѣйствія поэзіи; но, взятыя въ цѣломъ, особенно въ п. 3-мъ, онѣ несомнѣнно обращаются къ искусству съ чуждыми природѣ его требованіями—наставленія, поученія, морали. Искусство становится дидактическимъ, обращается въ разсудочное орудіе воспитанія.

в). Оба разсмотрѣнные взгляда останавливаются не столько на *дѣйствіи*, сколько на ближайшихъ его *результатахъ* (чувствъ удовольствія, правилахъ морали и т. п.), и не касаются тѣхъ психо-физиологическихъ процессовъ, внѣшнее проявленіе которыхъ наблюдается нами, какъ дѣйствіе искусства. Если важно изслѣдовать съ научной точки зрѣнія душевное состояніе художника въ моментъ творчества, то не менѣе важно подвергнуть научному изслѣдованію психо-физиологическое состояніе наблюдателя, въ моментъ созерцанія художественнаго произведенія.

Выше было замѣчено, что взгляды на дѣйствіе искусства отличаются особенной неопредѣленностью и непоследовательностью. Такъ, формула «искусство для искусства» обыкновенно считается характернѣйшимъ признакомъ эстетической теоріи; однако заключать отъ первой къ послѣдней было бы ошибочно: Аристотель, котораго слѣдуетъ поставить во главѣ реалистическихъ направленій, не признавалъ за искусствомъ непосредственнаго нравственнаго вліянія, а на доставляемое имъ наслажденіе смотрѣлъ, какъ на присущее природѣ его дѣйствіе, и слѣдовательно могъ бы взять подъ свою защиту формулу эстетиковъ. Лессингъ, въ воззрѣніяхъ на цѣль искусства, сходилъ съ французской (псевдо-классической) школой, борьба противъ которой въ защиту Аристотеля составляла одну изъ важнѣйшихъ задачъ его литературной дѣятельности.

Изъ этихъ примѣровъ видно, что отдѣльно-взятое воззрѣніе на дѣйствіе (цѣль) искусства не даетъ еще намъ права заключать о ха-

рактерѣ теоріи въ ея цѣломъ: Гоголь и Тургеневъ, Теккерей и Диккенсъ могутъ защищать «искусство для искусства» съ такимъ же правомъ, какъ Гете и Пушкинъ. Въ самомъ дѣлѣ: формула эта требуетъ для художника свободы выражать свой внутренній міръ, не руководясь соображеніями о томъ, въ какой мѣрѣ произведеніе его будетъ отвѣчать мимолетнымъ условіямъ времени и мѣста. Если внутренній міръ художника глубокъ и многостороненъ, исполненъ мысли и интереса къ жизни и вопросамъ времени, — все это, безъ сомнѣнія, и выразится въ произведеніи искусства при свободѣ творчества: принципъ «искусство для искусства» не помѣшаетъ произведенію быть современнымъ и наставительнымъ по той простой причинѣ, что художникъ живетъ современной жизнью (независимо отъ той или другой теоріи искусства), можетъ и хочетъ сказать наставительное слово; напротивъ, — если содержаніе художника низменно, мелко, безжизненно и лишено мысли, «искусство для искусства» только спасетъ его отъ смѣшной для него роли пророка и наставника: чему, въ самомъ дѣлѣ, можетъ научить ограниченный и пустой человекъ? — Принципъ «искусство для искусства» требуетъ только, чтобы произведеніе художника было дѣйствительно дѣломъ искусства, т. е., представляло гармоническое сліяніе формы съ содержаніемъ, — а каково должно быть послѣднее, — это уже не дѣло теоріи.

Повторимъ, въ заключеніе, что въ вопросѣ о дѣйствіи искусства рядомъ съ непоследовательностью дѣйствительной и несомнѣнной, нерѣдко является только кажущаяся, простирающаяся отъ указаннаго выше смѣшенія понятій о *дѣйствіи* и *цѣли* искусства.

Мы не имѣли въ виду дать полнаго анализа понятія искусства: совсѣмъ не коснувшись дѣленія искусствъ по «средствамъ подражанія», ихъ видовыхъ различій, дѣленія поэзіи на роды и виды и пр., остановились только на такихъ понятіяхъ, дальнѣйшее развитіе которыхъ читатель найдетъ въ «Сборникѣ»; но и изъ того, что сказано, можно, намъ кажется, заключить о логической необходимости различныхъ взглядовъ на природу искусства и о необходимости, вслѣдствіе этого, различныхъ теорій и направленій, изъ которыхъ едва-ли о какомъ-либо можно сказать, что истина всецѣло на его сторонѣ: всѣ ученія, въ началѣ слѣдующаго за искусствомъ и только въ дальнѣй-

шемъ руководя имъ, старались уловить тѣ его стороны, которыхъ не имѣло въ виду или недостаточно изслѣдовало прежнее ученіе. Съ этой точки зрѣнія — во всѣхъ направленіяхъ есть своя доля истины, и всѣ они необходимы какъ для понятія искусства, такъ и для пониманія безконечно — разнообразныхъ явленій въ мірѣ творчества. Правильно понять произведеніе искусства, особенно такое, на которое теорія несомнѣнно наложила свою печать, можно только съ точки зрѣнія того направленія, по требованію или въ виду котораго оно возникло: составъ произведенія, его достоинства и недостатки, его успѣхъ или неуспѣхъ, восторги или негодованіе, имъ вызванные, вліяніе на современниковъ и дальнѣйшая судьба его, — все это въ нѣкоторыхъ случаяхъ будетъ не совсѣмъ понятно, а въ иныхъ — совсѣмъ непонятно съ точки зрѣнія другаго направленія: мы не поймемъ законности, а слѣдовательно и необходимости разсматриваемаго явленія. Разбирать Корнеля или Расина, Ломоносова или Державина съ кодексомъ эстетиковъ въ рукахъ значить заранее отказаться отъ пониманія ихъ: съ эстетической точки зрѣнія всѣ они одинаковы и одинаково маловажны, чтобъ не сказать больше.

Понятіе о поэзіи, какъ искусствѣ, есть конечная цѣль изученія теоріи: въ этой цѣли послѣдняя не имѣетъ ни смысла, ни значенія: въ ней останутся только шаткія опредѣленія различныхъ терминовъ, словотолкованія, совершенно безполезныя для эстетическаго развитія учащихся.

Понятіе объ искусствѣ не можетъ быть изчерпано однимъ опредѣленіемъ этого термина: какъ бы послѣднее ни было, повидимому, точно, оно, въ учебникѣ, всегда окажется общимъ мѣстомъ, подъ которымъ каждый можетъ разумѣть все, что ему угодно, кромѣ развѣ того, что предполагалъ авторъ. Въ одномъ изъ лучшихъ у насъ учебниковъ (Колосовъ, Теорія поэзіи, изд. 2-е, 1878) поэзія опредѣляется, какъ «искусство возсоздавать въ словѣ прекрасное» (§ 34). Послѣднему дано обычное въ эстетикахъ опредѣленіе. Далѣе (§ 35) слѣдуетъ опредѣленіе «болѣе полное и широкое: *поэзія есть искусство въ словѣ образно выражать явленія природы и жизни*, какъ дурныя, такъ и хорошія, какъ прекрасныя, такъ и безобразныя». Не трудно замѣтить, что это не только «болѣе широкое», но и совершенно иное, *suī generis*, опредѣленіе, полагающееся въ основу

направленія, враждебнаго эстетическому. Въ § 37-мъ опредѣленіе ограничивается, и отъ «возсозданія» требуется, чтобы оно «картинно представляло лишь тѣ черты лица или предмета, которыя составляютъ по преимуществу его сущность», что напоминаетъ «общее», въ смыслѣ Аристотеля. Оставляемъ въ сторонѣ опредѣленіе (въ томъ же парагр.) поэзіи, какъ живописи, которое внесло въ поэзію, особенно въ эпосъ, своеобразное направленіе. Если не каждое, то два изъ этихъ опредѣленій исключаютъ одно другое, и читатель, какъ намъ кажется, не можетъ составить правильнаго понятія о томъ, что такое искусство вообще и поэзія въ особенности. *Изучать* такіа опредѣленія, разумѣется, не возможно. Частныя опредѣленія различныхъ родовъ и видовъ поэзіи, какъ этого и слѣдовало ожидать, примыкаютъ то къ тому, то къ другому принципу. Такъ, по § 80-му, трагическое должно возбуждать «ужасъ и состраданіе»; оставляя въ сторонѣ давно доказанную несостоятельность такого перевода Аристотеля, мы встрѣчаемъ далѣе, въ томъ же параграфѣ: трагедія «возбуждаетъ въ зрителяхъ ощущеніе ужаса», т. е., находимъ опредѣленіе, существенно характеризовавшее трагедію ложноклассической школы *). По § 82-му, трагедія древнихъ есть такое «драматическое произведеніе, въ которомъ изображалась борьба человѣка съ рокомъ; исходъ борьбы — гибель героя». Понятіе о борьбѣ, какъ предметѣ драмы, выработалось въ новое время, въ ученіяхъ идеалистическаго происхожденія. Такимъ образомъ — опредѣленіе Аристотеля (притомъ — искаженное) относится вообще къ драмѣ, слѣдовательно и къ повой; опредѣленіе же новѣйшаго происхожденія, извлеченное изъ фактовъ, неизвѣстныхъ древнимъ, отнесено къ классической драмѣ. — Правда, преподаватель можетъ устранить противорѣчія, предложить необходимыя объясненія и пр.; но мы въ данномъ случаѣ говоримъ не о томъ, что можетъ и долженъ сдѣлать преподаватель, а о томъ, что даетъ и можетъ дать учебникъ.

Общіе вопросы объ искусствѣ и различныхъ воззрѣніяхъ на его сущность и значеніе въ элементарныхъ учебникахъ не могутъ быть изложены съ такою полнотою, ясностью и научной точностью, какъ того требуетъ важность предмета.

*) «Гамбургск. Драматург.», стр. 194—199, 219—220.

Высказанными выше соображениями руководились мы при составлении «Сборника». Ближайшая цель послѣдняго — познакомить съ воззрѣніями на поэзію такихъ представителей различныхъ направлений, авторитетъ которыхъ въ вопросахъ искусства признается или долгое время и не безъ основанія признавался безспорнымъ. Изученіе такихъ писателей, какъ Аристотель и Горацій, Лессингъ и Тэпъ, Бѣлинскій и Буслаевъ, внести живую и плодотворную мысль въ ученіе, почти всегда лишенное интереса, научнаго значенія и, что особенно важно, авторитета: трудно отнестись съ должной серьезностью къ положеніямъ учебника, которые нерѣдко вызываютъ основательныя возраженія со стороны учениковъ и весьма часто требуютъ различныхъ поправокъ со стороны учителя.

Отрывки и извлеченія, разумѣется, никогда не могутъ замѣнить цѣлаго произведенія, и сборникъ, каковъ бы онъ ни былъ, всегда будетъ страдать болѣе или менѣе существенными недостатками. Мы однако, имѣли въ виду не замѣнить, а напротивъ — облегчить непосредственное знакомство съ такими произведеніями, которые въ цѣломъ, по различнымъ причинамъ, не могутъ быть доступны ученику. Даже и въ переработанномъ видѣ статьи назначаются не для легкаго чтенія, а для изученія.

Отрывкамъ и извлеченіямъ мы старались придать на столько законченную форму, чтобы они могли, какъ разсужденія, служить предметомъ класснаго чтенія и разбора. Отдѣлы разсужденій, въ нашихъ христоматіяхъ, нерѣдко при значительной его полнотѣ, представляютъ мало статей, имѣющихъ отношеніе къ теоретическимъ вопросамъ эстетики. Такія же статьи, какъ разсужденіе «Что нужно автору?», въ которомъ Карамзинъ, въ нашей литературѣ едва ли не первый, раскрываетъ принципы эстетической теоріи, — какъ отрывки изъ предисловія къ «Цыганкѣ» Баратынскаго, изъ «Очерковъ» Буслаева, при всей ихъ значительности, стоятъ особнякомъ и часто, въ силу именно своей изолированности, безъ натяжки не допускаютъ заключенія къ такимъ понятіямъ, раскрытіе которыхъ составляетъ ихъ прямую цель.

Недостатокъ пригодныхъ для разбора разсужденій отзывается и на письменныхъ упражненіяхъ, для которыхъ въ распоряженіи преподавателя обыкновенно слишкомъ мало матеріала и темъ. Статьи

предлагаемаго «Сборника» — а изъ нихъ многія въ логическомъ и стилистическомъ отношеніи могутъ считаться образцовыми — дадутъ, по нашему мнѣнію, обширный и поучительный матеріалъ для различныхъ видовъ письменныхъ упражненій.

Итакъ — познакомить съ главнѣйшими направленіями въ теоріи поэзіи и тѣмъ облегчить достиженіе конечной цели ея изученія, вызвать интересъ къ вопросамъ искусства, дать матеріалъ для изученія разсужденій и для различныхъ письменныхъ упражненій — вотъ цели, которыя имѣлись въ виду при выборѣ статей и ихъ обработкѣ.

Къ «Сборнику» приложенъ *словарь собственныхъ именъ* (лица, произведенія искусствъ, мѣны) и тѣхъ немногихъ нарицательныхъ, техническое значеніе которыхъ не объясняется контекстомъ. Полагая, что *словаремъ* до нѣкоторой степени можно замѣнить предметный указатель, мы внесли въ него и такія имена (извѣстныхъ писателей, сочиненій), въ объясненіи которыхъ не представляется надобности.

Въ двухъ-трехъ мѣстахъ «Гамбургской Драматургіи», по сличенію ея съ подлинникомъ, переводъ исправленъ. — Извлеченіе изъ «Чтеній» Тэпа сдѣлано по двумъ редакціямъ перевода.

Разсужденіе Корнеля, съ нѣкоторыми сокращеніями переведенное для нашего «Сборника» А. Д. Бутовскимъ, сколько намъ извѣстно, является впервые на русскомъ языкѣ.

Въ новомъ переводѣ, А. П. Михневича, является и отрывокъ изъ *L'art poétique*; изъ старыхъ переводовъ, гр. Хвостова и Буниной, мы помѣстили нѣсколько незначительныхъ отрывковъ въ статьѣ о Буало, стихи котораго оставлены были Шевыревымъ безъ перевода.

Въ составленіи «Сборника» принималъ живое участіе преподаватель 2-й Спб. гимназіи и Александровскаго кадетскаго корпуса А. О. *Круглый*, которому принадлежитъ глава I-я: «Ученіе древнихъ о поэзіи», статья 11-я третьей главы и часть *Словаря*.

В. Воскресенскій.

Примѣч. Встрѣчающіяся въ текстѣ мѣста, отмѣченные прямыми скобками, [], принадлежатъ составителямъ.

ТЕОРІЯ,

ея отношеніе къ искусству и условія ея возникновенія.

Всѣ явленія міра человѣческаго должны были совершиться въ дѣйствіи, прежде нежели перешли въ знаніе. Человѣкъ уже стремился къ истинѣ, уже дѣйствовалъ и творилъ изящное, прежде нежели спросилъ себя о томъ, какъ должно стремиться къ истинѣ? По какому закону дѣйствуетъ его воля? Какъ является изящное въ искусствѣ?

Искусство было прежде теоріи. Не искусство было слѣдствіемъ теоріи, а теорія слѣдствіемъ искусства. Эта истина подтверждается опытами всѣхъ вѣковъ и народовъ. Міръ востока, древній и новый, богатъ произведеніями поэзіи во всѣхъ родахъ, однако мы не знаемъ его піитики. Въ Греціи наука поэзіи явилась уже тогда, когда всѣ произведенія были на лицо, и кругъ поэтического развитія совершенно заключился. Въ новомъ мірѣ Европы, который принялъ въ наслѣдіе піитику древнихъ, всѣ великія произведенія Италіи, Испаніи и Англіи явились безъ участія науки. Дантъ, Лопе-де-Вега, Кальдеронъ и Шекспиръ дѣйствовали безъ теоріи. Во Франціи, теорія, слишкомъ рано явившаяся, только-что стѣснила художественную дѣятельность и произвела вліяніе, вредное для словесности. Все это, во-первыхъ, убѣждаетъ насъ въ истинѣ, нами сказанной, во-вторыхъ, какъ-будто говоритъ противъ той самой науки, исторію которой я намѣренъ изложить. Къ чему-же, въ самомъ дѣлѣ, служить эта наука, когда всѣ образцы поэзіи явились до нея и безъ малѣйшаго ея содѣйствія?

Скорѣе можемъ мы заключить, что она вредна, потому-что у нѣкоторыхъ народовъ стѣснила поэтическую дѣятельность.

Да, точно, это явленіе говоритъ противъ догматической формы науки, противъ положительныхъ кодексовъ, заключающихъ въ себѣ условныя правила, стѣснительныя для искусства, но нисколько не говоритъ оно противъ сущности самой науки, которая заключается въ изученіи самыхъ явленій и изслѣдованіи законовъ, управляющихъ поэтическою дѣятельностью человѣка. Вопросъ о томъ, полезна-ли кака-нибудь наука, — въ наше время существовать не можетъ. Если эта наука есть, а наука поэзіи должна быть, потому-что міръ явленій ея составляетъ такую огромную часть въ жизни человѣческой, — то она полезна и необходима: ибо врождено человѣку отдавать себѣ разумный отчетъ во всѣхъ явленіяхъ, имъ совершаемыхъ, и стараться привести ихъ къ единству закона, ими управляющаго. Безусловныя правила, предложенныя въ видѣ науки, могутъ быть вредны для искусства, какъ это и было во Франціи; но эстетическое самопознаніе человѣка никогда не можетъ быть практически вредно для искусства. Хотя вопросъ о прямой пользѣ науки для того искусства, которое служить ей предметомъ, долженъ быть отдѣленъ отъ вопроса о необходимости этой науки въ общей массѣ знаній человѣческихъ, но мы можемъ привести въ исторіи словесности примѣръ разительный, которымъ вопросъ о пользѣ практической разрѣшается вмѣстѣ съ вопросомъ о необходимости. Этотъ примѣръ Германія. Она въ новомъ мірѣ есть создательница теоріи искусства, и собою доказываетъ ту-же истину, съ которой мы начали, а именно, что теорія является послѣ образцовъ искусства. Германія, заключившая собою кругъ западнаго европейскаго образованія, олицетворила въ себѣ эстетическое самопознаніе новой Европы, создала настоящую теорію новаго искусства, къ чему напрасно стремились прочіе народы, и основала сію теорію на глубокомъ сравнительномъ изученіи образцовъ древнихъ и новыхъ. Собственная-же ея художественная словесность была уже прекраснымъ плодомъ самой науки, и практическая польза ея для искусства оправдалась блестящимъ примѣромъ. Фактъ, нами вначалѣ сказанный, обратился иначе: искусство въ Германіи было слѣдствіемъ науки, а не наука слѣдствіемъ искусства. Такъ надлежало быть въ позднѣйшемъ человѣчествѣ.

Востокъ въ исторіи науки поэзіи не существуетъ. Ни одинъ изъ народовъ восточныхъ не оставилъ намъ своей піитики, сколько мы можемъ это знать по изслѣдованіямъ ученыхъ. Причина такому явленію заключается, можетъ быть, въ особенномъ характерѣ фантазіи Востока, которая всегда любила неограниченную свободу и рѣшительно господствовала надъ разумною, сознательною способностью человѣка. Арабы въ новомъ мірѣ комментовали піитику Аристотеля, но, не смотря на то, ни піитика греческая, ни самыя произведенія греческой поэзіи не имѣли ни малѣйшаго вліянія на арабскую, которая сохранила во всей чистотѣ независимую свою оригинальность.

Съ Греціи собственно начинается исторія нашей науки, равно какъ и исторія всего европейскаго образованія. Греки, въ древнемъ мірѣ, имѣли особенное призваніе для развитія искусствъ, которыя раскрылись у нихъ блистательно во всѣхъ своихъ формахъ и видахъ. Фантазія греческая имѣетъ то существенное отличіе отъ восточной, что она дѣйствуетъ не одиноко, не безусловно-самовластно, а всегда въ согласіи съ прочими способностями души человѣческой, и особенно съ разумною, которая сравниваетъ и избираетъ, руководствуясь внутреннимъ чувствомъ изящнаго. Эта дружба фантазіи съ сознаніемъ положила классическій отпечатокъ на всѣхъ произведеніяхъ греческаго искусства. Художникъ греческій, въ самую минуту созданія, безпрестанно отходитъ отъ своего произведенія и отдаетъ испытующему разуму отчетъ въ своемъ творческомъ дѣйствіи.

Въ этомъ существенномъ характерѣ фантазіи греческой я полагаю главную причину того, почему именно у грековъ должна была родиться наука о поэзіи. Но и въ самой Греціи, стройная и правильная теорія, какъ результатъ наблюденій надъ явленіями искусства, образовалась уже тогда, какъ самая поэзія совершила весь полный кругъ своего развитія. Греки, народъ типическій въ отношеніи къ искусству, представляютъ самое полное развитіе всѣхъ родовъ поэзіи въ ихъ естественномъ порядкѣ: эпосъ, лиру и драму. Полная піитика существовала уже въ фактахъ прежде, чѣмъ явилась теорія Аристотеля, которая полнотою, какъ мы увидимъ, уступитъ живой піитикѣ Греціи. Вотъ почему исторія поэзіи греческой есть лучшее, живое олицетвореніе самой науки.

Не только теорія Аристотеля, изложенная въ догматической и правильной формѣ науки, но даже и отрывочныя изслѣдованія Платона о пре-

красномъ вообще и о поэзіи современны Аристофану, заключившему собой рядъ великихъ поэтовъ и органическое развитіе греческой поэзіи.

Не смотря на то, видно однако, что многіе поэты Греціи дѣйствовали съ сознаніемъ и сами были начинателями теоріи своего искусства. Извѣстно, что Софокль, доведшій греческую трагедію до возможнаго совершенства, изучалъ свое искусство теоретически и написалъ сочиненіе о *Хорѣ*, противъ Эсписа и Херила, которое, къ сожалѣнію, не дошло до насъ, но, вѣроятно, было извѣстно Аристотелю. Софокль спорилъ и съ соперникомъ своимъ Эврипидомъ о трагедіи, и Аристотель приводитъ собственные слова Софокла, что онъ самъ представлялъ людей, какими они должны быть, а Эврипидъ, какими они суть. Такъ въ Греціи самъ поэтъ указалъ путь философамъ въ наукѣ своего искусства.

С. Шевыревъ.

(Теорія поэзіи въ историч. развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ. М. 1836).

Глава I.

Ученіе древнихъ о поэзіи.

1. Ученіе Платона о прекрасномъ и поэзіи, извлеченное изъ его сочиненій.

Первый изъ грековъ, который философски разсуждалъ о прекрасномъ, объ искусствѣ и поэзіи, и котораго сочиненія дошли до насъ, былъ Платонъ. У него вопросы объ этихъ предметахъ предлагаются и рѣшаются философскимъ способомъ. Но весьма замѣчательно, что тотъ, который прежде всѣхъ изслѣдовалъ сіи вопросы и оставилъ намъ о нихъ мысли глубокия, до сихъ поръ насъ изумляющія и служащія основаніемъ многимъ новымъ системамъ, самъ не построилъ полной науки и не предложилъ никакихъ правилъ для поэзіи. Этимъ отличается теорія Платона отъ теоріи Аристотеля, которая имѣетъ форму догматическаго кодекса непреложныхъ правилъ. Платонъ не заботился о правилахъ, о кодексѣ для искусства: онъ самъ говоритъ въ своемъ «Федрѣ»: «кто думаетъ заключить въ своихъ сочиненіяхъ ученіе объ искусствѣ и воображаетъ, что буквы намъ могутъ передать что-нибудь ясное и вѣрное, тотъ въ заблужденіи». Платонъ болѣе вникалъ въ искусство психологически, искалъ начала ему въ душѣ человѣческой и не столько заботился о внѣшнихъ формахъ его проявленія. Теорія его разбросана по всѣмъ его сочиненіямъ: рапсодическій характеръ ея особенно затрудняетъ насъ въ ея изученіи. Надобно собрать изъ всѣхъ сочиненій Платона эти отрывки, привести ихъ въ порядокъ и составить

изъ нихъ одно цѣлое, которое, какъ мы увидимъ, существуетъ, не смотря на наружный отрывочный характеръ ученія.

За исключеніемъ сочиненій о республикѣ и о законахъ, дошло до насъ 35 діалоговъ Платона, и изъ нихъ только три разговора касаются прекраснаго и поэзіи: 1) *Гиппій Большой*, 2) *Федръ* и 3) *Ионъ*. Всѣ три разговора, въ томъ порядкѣ, какъ я ихъ предлагаю, представляютъ одно цѣлое и правильную послѣдовательность изложенія. Къ нимъ должно еще присоединить нѣкоторые отрывки изъ сочиненія о *Республикѣ* (книга III и X), въ которыхъ разрѣшается вопросъ объ отношеніи поэзіи къ гражданскому обществу.

Въ *Гиппій Большомъ*, посредствомъ логическаго отвлеченія, отдѣляется идея прекраснаго отъ всѣхъ идей съ нею смежныхъ; говорится о томъ, что прекрасное не есть. Въ *Федръ* положительно выводится идея прекраснаго изъ началъ умозрительныхъ и опредѣляется сама въ себѣ. Наконецъ, въ третьемъ разговорѣ говорится объ источникѣ поэзіи и о дѣйствіи ея на душу. Подробное изложеніе означенныхъ разговоровъ вмѣстятъ все ученіе Платона, касающееся нашего предмета.

Разговаривающіе въ *Гиппій*, Сократъ и софистъ *Гиппій*, котораго Сократъ осмѣиваетъ. Платонъ и учитель его должны были начать съ противодѣйствія леженіямъ софистовъ, съ опроверженія ихъ мнѣній. Они принуждены были на нихъ нападать ихъ-же оружіемъ, злоупотребленіемъ діалектики, для того, чтобы приводить ихъ къ нелѣпости. Этотъ разговоръ отзывается въ иныхъ мѣстахъ такою діалектикой и вообще исполненъ превосходной Сократовой ироніи. *Гиппій* въ *Лакедемонѣ* читалъ гражданамъ свое сочиненіе объ изящныхъ упражненіяхъ. По этому случаю, Сократъ, какъ будто отъ другаго, предлагаетъ *Гиппию* вопросъ о томъ: что есть изящное само въ себѣ? «Люди бываютъ справедливы, потому-что есть справедливость? Люди мудры, потому-что есть мудрость? Предметы должны быть прекрасны, потому-что есть красота? И такъ, красота должна быть чѣмъ-нибудь особеннымъ, самостоятельнымъ? Въ чемъ-же она состоитъ?» Такимъ образомъ Платонъ сначала отвлекаетъ идею прекраснаго отъ прекрасныхъ предметовъ и задаетъ вопросъ: опредѣлить сію идею въ самой себѣ.

Хотя Сократъ хорошо предупредилъ Софиста, что вопросъ состоитъ не въ томъ, что прекрасно, а что есть прекрасное само въ себѣ,—не смотря на то, увертливый *Гиппій* начинаетъ съ простонароднаго опредѣленія

прекраснаго какимъ-нибудь прекраснымъ предметомъ. Онъ говоритъ: прекрасное, на примѣръ, есть прекрасная дѣва. Сократъ доказываетъ ему, что могутъ быть прекрасны кобыла, горшокъ и т. д. *Гиппій* возражаетъ: какая-же можетъ быть красота въ горшкѣ? Сократъ отвѣчаетъ, что, конечно, въ сравненіи съ прекрасною дѣвою, горшокъ не прекрасенъ, но онъ можетъ имѣть свою относительную красоту; что, такимъ образомъ, и прекрасная дѣва, и прекрасный родъ людей, сравнительно съ прекраснѣйшимъ родомъ боговъ, не будутъ прекрасны; что, другими словами, прекрасное полагать въ частныхъ предметахъ невозможно; что та красота самосущая, отъ которой все въ мірѣ получаетъ свое украшеніе и, сообщаясь съ идеаломъ своимъ, является прекраснымъ, не можетъ быть ни дѣвою, ни конемъ, ни лирою и т. д. Этимъ глубокимъ и остроумнымъ изслѣдованіемъ отвлекается идея красоты отъ прекрасныхъ предметовъ.

Увертливый *Гиппій*, чтобы только отдѣлаться отъ докучливыхъ вопросовъ Сократа, говоритъ:

Если подѣ прекраснымъ разумѣть то, что даетъ красоту другимъ предметамъ, то это, конечно, будетъ золото, украшающее всѣ вещи. Сократъ возражаетъ, что Фидіасъ сдѣлалъ глаза, лицо, ноги и руки Минервы не изъ золота, а изъ слоновой кости. — *Гиппій*: но и слоновая кость прекрасна. — Сократъ: однако зрачки въ глазахъ статуи изъ мрамора. — *Гиппій*: потому-что мраморъ для нихъ приличнѣе. И такъ, если принять въ расчетъ при красотѣ приличіе, то въ иныхъ случаяхъ ложка изъ фиговаго дерева будетъ приличнѣе золотой; поэтому фиговое дерево прекраснѣе золота.

Гиппій предлагаетъ другое простонародное опредѣленіе: «Ничто не можетъ быть прекраснѣе, говоритъ снѣ, во всѣ времена, для всѣхъ людей, какъ имѣть богатство, наслаждаться здоровьемъ, пользоваться уваженіемъ грековъ, достичь до старости и, почетно схоронивъ своихъ родителей, въ свою очередь погребену быть дѣтьми своими». Сократъ осмѣиваетъ этотъ отвѣтъ, какъ совершенно не идущій къ дѣлу: опредѣлить прекрасное въ самомъ себѣ такъ, чтобы оно относилось ко всякому прекрасному предмету. Кромѣ того, доказываетъ ему, что были герои, для которыхъ прекрасно было умереть рано, на примѣръ, Ахиллъ, что для боговъ, не умирающихъ никогда, такая красота не будетъ возможна.

Отъ простонародныхъ опредѣленій прекраснаго Сократъ восходитъ къ опредѣленіямъ философскимъ и самъ предлагаетъ *Гиппию* отвѣтъ, истекъ

шій изъ предыдущихъ разсужденій. Положимъ, что прекрасное въ приличномъ.

Но посредствомъ приличнаго предметы кажутся прекраснѣе, нежели они суть, слѣдовательно приличное не есть еще прекрасное, посредствомъ котораго предметы должны не казаться, а быть дѣйствительно прекрасными. Приличное придаетъ только видъ красоты, а не самую красоту, такъ напримѣръ одежда въ человѣкѣ. Слѣдовательно, *прекрасное не есть приличное*.

Положимъ, что прекрасное въ полезномъ. Что разумѣемъ мы подъ именемъ полезнаго? годное, способное, такъ, напримѣръ, тѣло способное къ борьбѣ и бѣгу. Ту вещь называемъ мы полезнаю, которая въ состояніи исполнять то, къ чему имѣетъ способность. Поэтому способность будетъ прекрасное, неспособность—дурное. Но способность дѣлать зло есть также способность, однако зло не можетъ быть прекрасно. И такъ, прибавимъ: красота есть способность дѣлать доброе. Но причина не можетъ быть слѣдствиемъ, производящее не можетъ быть производимымъ, такъ какъ отецъ сыномъ и на-оборотъ; слѣдовательно, прекрасное не можетъ быть добрымъ и доброе прекраснымъ. Слѣдствие нелѣпо.

И такъ, *прекрасное не заключается въ полезномъ*.

Наконецъ разговаривающіе соглашались заключить прекрасное въ приятномъ, которое мы получаемъ черезъ слухъ и зрѣніе. Сократъ, разными діалектическими хитростями, употребляя оружіе самихъ-же софистовъ, доказываетъ, что *прекрасное не можетъ быть въ приятномъ, проходящемъ чрезъ слухъ и зрѣніе*.

Не опредѣливъ красоты, Сократъ заключаетъ пословицею: «о прекрасномъ говорить трудно (*χαλεπὰ τὰ καλὰ*)».

Изъ подробнаго изложенія этого разговора теперь ясно, что разумѣли мы подъ именемъ логическаго отвлеченія, которымъ Платонъ отдѣляетъ идею прекраснаго отъ другихъ идей съ нею смежныхъ, другими словами, отрицательно опредѣляетъ прекрасное. Сей образцовый способъ изслѣдованія намъ можетъ поручиться въ томъ, что разговоръ принадлежитъ Платону. Первый фактъ въ исторіи нашей науки указываетъ намъ самимъ на тотъ путь, которому мы сами должны-бы слѣдовать, если-бы вознамѣрились строить науку. Въ эстетикѣ, отъ которой наука о поэзіи принимаетъ свое начало, разрѣшеніе перваго вопроса, именно объ идеѣ прекраснаго, должно начинаться съ логическаго отвлеченія сей идеи отъ предме-

товъ прекрасныхъ и отъ идей съ нею смежныхъ. Прежде чѣмъ опредѣлить: что есть изящное само въ себѣ? слѣдуетъ отвлечь его отъ всего того, съ чѣмъ оно смѣшивается,—опредѣлить его отрицательно. Такъ и началъ Платонъ въ первомъ Гиппійѣ. Вотъ почему я думаю, что этотъ разговоръ въ порядкѣ самаго мышленія долженъ былъ предшествовать Федру.

Вопросъ, на которомъ остановился Гиппій, т. е., положительное опредѣленіе прекраснаго, разрѣшается въ Федрѣ. Замѣчательно, что здѣсь употребленъ уже совершенно другой способъ доказательства, синтетическій, умозрительный, а не апалитическій, какъ въ предыдущемъ разговорѣ. Самая наружная форма изложенія измѣняется: здѣсь находимъ уже не живое діалектическое преніе, не сократическій способъ вопросовъ, но, напротивъ того, способъ утверждающій.

Сократъ говорить безпрерывно: таковъ наружный характеръ разговора, соответствующій его внутренней цѣли.

Разговариваютъ Сократъ и Федръ. Сократъ въ палинодіи Эросу (любви) *излагаетъ Федру вдохновенною импровизаціею* свое ученіе о душѣ, о первобытномъ ея существованіи вмѣстѣ съ богами, о переселеніяхъ, которыя совершаетъ она въ міры высшіе и низшіе, о красотѣ, о дѣйствіи прекраснаго на душу. Для того, чтобы изложить ученіе Платона о красотѣ, надобно предварительно коснуться его ученія о душѣ, которое съ нимъ тѣсно связано.

Платона именуютъ обыкновенно творцомъ системы идей или идеаловъ, подъ именемъ которыхъ разумѣются совершенные первообразы вѣхъ предметовъ міра, первоначально отъ самой вѣчности существовавшіе въ богѣ. По образцу этого идеальнаго, совершеннаго міра сотворенъ сей міръ видимый, вещественная его копія. Въ настоящемъ смыслѣ слова существуютъ только идеалы, ибо они вѣчны въ богѣ; предметы-же, ихъ списки, безпрерывно измѣняются, и потому не существуютъ. Идеи Платонъ называетъ *τὰ ὄντα ὄντα*, матерію-же—*μή ὄν*.

Прежде міра богъ создалъ душу его, изъ тонкой матеріи и свѣта, и на сей душѣ въ первый разъ напечатлѣлись идеи предметовъ въ видѣ матеріальномъ: это были формы предметовъ видимыхъ. Сія душа міра разлита по вселенной: она всюду, во всемъ существующемъ.

Душа въ человѣкѣ божественнаго происхожденія, но, кромѣ души божественной, есть въ человѣкѣ душа животная, чувственная, которая умираетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, тогда какъ божественная душа безсмертна. Богъ

сотворилъ души въ извѣстномъ числѣ и распредѣлилъ ихъ по планетамъ, гдѣ облеклись онѣ тѣлами. Смотри по заслугамъ своимъ въ жизни, онѣ переселяются въ высшіе или низшіе міры, и пребываютъ въ тѣлахъ существъ болѣе духовныхъ или матеріальныхъ. Небесное свойство души, которое свидѣтельствуетъ о ея божественномъ происхожденіи, состоитъ въ томъ, что она всегда стремится къ своему божественному началу. Для этого душа имѣетъ крылья, говоритъ Платонъ аллегорически и такъ описываетъ свойства крыльевъ души:

«Сила пера такова, что оно возноситъ горѣ тяжелое туда, гдѣ обитаютъ боги: оно принимаетъ особенное участіе во всемъ томъ, что въ тѣлѣ божественнаго: *божественное-же прекрасно, премудро и благо и все, что сему подобно*» (Вотъ идеи излцества, истины и благодти, которыя здѣсь ясно выражены, и, по ученію Платона, заключаются въ божественномъ свойствѣ души человѣческой). «Сими-то питаются и растутъ крылья души, отъ постыднаго-же злаго и всего противнаго» (сказаннымъ свойствомъ божественнаго) «онѣ умалются и исчезаютъ».

На божественной части души напечатлѣны идеи отъ души бога, идеи, по которымъ былъ созданъ міръ нами видимый. Всѣ познанія, всѣ умственные приобрѣтенія этой жизни суть только «воспоминанія того, что нѣкогда созерцала душа, когда, сошествію богу, съ неба смотрѣла на то, что мы называемъ сущимъ, и возносила въ дѣйствительно сущее». Всѣ сіи познанія и приобрѣтенія совершенствуютъ душу, ибо просвѣтляютъ на ней идеи, напечатлѣнныя отъ бога, и возвращаютъ ее къ первоначальному состоянію. По-истинѣ, одинъ только умъ философа окривается, потому-что онъ болѣе другихъ способенъ, удаляясь отъ заботъ человѣческихъ, возвышаться безпрестанно къ божественному. Крылья души его легче другихъ кривыи.

Итакъ въ числѣ идей, врожденныхъ человѣку и нераздѣльных съ божественностью души его, вмѣстѣ съ идеями мудрости и благодти, находится и идея красоты. Вотъ сокращеніе изъ собственныхъ словъ Платона, относящихся къ этому:

«Наслажденіе красотою въ этомъ земномъ мірѣ возможно въ человѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родинѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней,

способствуетъ къ тому, чтобы окривить душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику вселкой красоты.

«Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы, счастливыми хоромъ, слѣдовали за Дѣомъ въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе-же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ; приобщались ему всецѣлые, непринчастные бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ постигли; погружались въ видѣніи совершенныя, простыя, нестрашныя, но радостныя, и созерцали ихъ во свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и незапятнаны тѣмъ, что мы, нынѣ влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину.

«Красота одна получила здѣсь этотъ жребій: быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вновь посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не взирая на то, что носить ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а подобно четвероногому ищетъ одного чувственного наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ (*πρότοῦ μὲν ἔφριξε*), его объемлетъ страхъ, потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога онъ обожаетъ, и, если-бы не боялся, что называть его безумнымъ, онъ принесъ-бы жертву предмету любимому...».

Вотъ мѣста въ Федрѣ, которыя касаются ученія Платона о красотѣ. Изъ нихъ видно, что это ученіе совершенно согласно съ идеалистическою системою Платона. Онъ полагаетъ, что совершенно прекрасное существуетъ только въ идеѣ, что земное прекрасное не само въ себѣ, а относительно прекрасно, т. е., по скольку напоминаетъ о красотѣ небесной. Поэтому и наслажденіе прекраснымъ не можетъ быть полно и совершенно: ибо, кромѣ блаженной радости, заключаетъ въ себѣ неудержимое, мучительное стремленіе человѣка къ высшему и небесному.

Сіи начала эстетики, какія находимъ въ Платоновомъ Федрѣ, не примѣнены имъ къ наукѣ поэзіи. Остальная часть разговора имѣетъ предметомъ риторику. Во всемъ разговорѣ есть одно только замѣчательное мѣсто, касающееся нашего искусства. Я приведу его здѣсь потому особенно, что оно послужитъ связью между Федромъ и другимъ разговоромъ Платона: *Ionъ*, котораго предметъ есть поэзія. Платонъ говоритъ о восторгѣ поэтическомъ и ставитъ его въ числѣ высокихъ безумій (*μανία*), объемлющихъ человѣка.

„Третій *) родъ восторга и маіія происходитъ отъ Музъ: онъ объемлетъ пѣзную, нетронутую душу; возбуждаетъ ее; воспаляетъ пѣснями и другими родами поэзіи; украшая дѣла древнихъ людей, учить потомковъ; кто безъ маіи, внушаемой музами, приходитъ къ вратамъ поэзіи, убѣжденный въ томъ, что искусствомъ (ἐκτέχνης) сдѣлается изъ него хорошій поэтъ, тотъ никогда не будетъ совершеннымъ, и поэзія его, какъ поэзія благоразумнаго, будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ.“

Эта же самая мысль, но гораздо подробнѣе, развивается въ Ионѣ. Главная мысль этого разговора та, что начало поэзіи есть божественное вдохновеніе, принимаемое душою человѣческою свыше, а не искусство, и что поэтому судить о поэтахъ можно также не однимъ искусствомъ, а этимъ же божественнымъ напѣвомъ, которое намъ отъ нихъ сообщается.

Разговариваютъ Сократъ и рапсо́дъ Ионъ, который хвалится тѣмъ, что изъ всѣхъ поэтовъ ни объ комъ онъ не можетъ такъ говорить, какъ о Гомерѣ. Ионъ самъ не въ силахъ объяснить причину этому. Сократъ видитъ ее въ томъ, что Ионъ судить о Гомерѣ не по наукѣ вообще, а по вдохновенію: если бы онъ судилъ о немъ по наукѣ, то могъ бы судить и о другихъ поэтахъ кромѣ Гомера; но такъ какъ судить хорошо объ одномъ только Гомерѣ, то стало быть судить о немъ по вдохновенію, отъ самаго Гомера истекающему. По этому случаю Сократъ объясняетъ, какимъ образомъ вдохновеніе, источникъ поэзіи, отъ Музъ сообщается поэту, отъ поэта рапсо́ду. Все это мѣсто необходимо привести, ибо въ немъ содержится нѣсколько глубокихъ мыслей, которыя уяснятъ намъ ученіе Платона о поэзіи.

„Ты хорошо говоришь о Гомерѣ не по искусству: пѣтъ, сила божественная тебя движетъ, подобная силѣ того камня, который Эврипидъ называлъ магнитомъ, и который многіе называли камнемъ Гераклеи. Онъ не только притягиваетъ кольца желѣза, но сообщаетъ имъ силу производить такое же дѣйствіе и на другія кольца. Такимъ образомъ видимъ мы длинную цѣпь кусковъ желѣза и колець, привѣшенныхъ одно къ другому: всѣ они заимствуютъ силу свою отъ того камня.“

*) Четыре рода восторга признаетъ Платонъ: первый въ прорицаніяхъ сообщается отъ Аполлона, второй въ таинствахъ очищенія отъ Вакха, третій въ поэзіи отъ Музъ, четвертый отъ Эроса и Афродиты.

„Подобнымъ образомъ и Муза посылаетъ вдохновеніе поетамъ, которые сообщаютъ его другимъ, и такъ составляется цѣпь людей вдохновенныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, не искусствомъ, но энтузіазмомъ и вдохновеніемъ великіе эпические поэты сочиняютъ свои прекрасныя произведенія. Славные лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безуміемъ корибантовъ, пляшущихъ внѣ себя, не остаются въ умѣ своемъ, когда творятъ изящныя пѣснопѣнія; какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и рима, то пренесполняются безуміемъ, объемлются восторгомъ, подобнымъ восторгу вакханокъ, которыя въ минуту упоенія черпаютъ въ рѣкахъ млеко и медъ, чего не бываетъ съ ними во время покоя. Въ душѣ поэтовъ лирическихъ на самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, что подобно пчеламъ летаютъ они по садамъ и долинамъ Музъ и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя поютъ намъ. Они говорятъ правду. Поэтъ въ самомъ дѣлѣ есть существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда восторгъ его обьетъ, когда онъ выйдетъ изъ себя и разсудокъ покажетъ его. Но покажется онъ съ нимъ, человѣкъ не способенъ творить все (ἀδύνατος πᾶν ποιεῖν) и приносить пророчества.“

„Итакъ если не искусствомъ, а божественнымъ вдохновеніемъ творятъ поэты и о разныхъ предметахъ говорятъ много прекраснаго, такъ какъ ты о Гомерѣ, то каждый изъ нихъ по жребію божію уснѣваетъ только въ томъ родѣ, къ которому Муза его призываетъ. Одинъ превосходенъ въ дифирамбѣ, другой въ похвальной одѣ, третій въ плясовой пѣсни, четвертый въ эпосѣ, пятый въ ямбахъ, и всѣ будутъ слабы во всякомъ другомъ родѣ, потому что не искусство, а сила божественная внушаетъ ихъ. Еслибы искусствомъ они умѣли творить, то могли бы успѣть въ разныхъ родахъ. А конецъ, на какой богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ какъ служителей своихъ наравнѣ съ пророками и гадателями, есть тотъ, чтобы мы, внимая симъ, познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи дивныя, ибо они внѣ своего разума, но что самъ богъ чрезъ нихъ къ намъ глаголетъ“.

Изъ этихъ словъ Платона мы видимъ во первыхъ мнѣніе его о происхожденіи поэзіи. Началомъ этого искусства полагаетъ онъ не способность, врожденную человѣку, подражать предметамъ его окружающимъ, а вдохновеніе, посылаемое ему изъ того божественнаго міра, котораго онъ былъ прежде причастникъ. Мы видимъ также, что это ученіе согласно съ уче-

ніемъ Платона о красотѣ, идея которой не есть приобрѣтеніе человѣка извнѣ, а сокровище, прирожденное душѣ его и развиваемое только вліяніемъ прекрасныхъ явленій природы. Не только для созданія потребно, но маѣнію Платона, вдохновенное сообщеніе съ божествомъ, но и для того, чтобы судить о поэтѣ, необходимо вдохновенное сообщеніе съ нимъ, какъ посредникомъ божества. Такъ для самаго критика Платонъ признаетъ необходимою вдохновеніе.

Во вторыхъ, въ этомъ же отрывкѣ находимъ глубокую мысль, выраженную намекомъ, объ основаніи, на которомъ должно быть устроено дѣленіе поэзіи на роды. Этимъ основаніемъ принимаетъ Платонъ самый характеръ вдохновенія сообщаемого отъ Музы поэту. Вотъ одна изъ тѣхъ мыслей глубокихъ и основныхъ, которыя служатъ краеугольными камнями въ наукѣ. Только Платонъ, съ психологической стороны наблюдая поэзію, могъ дойти до этой мысли, тогда какъ прочіе теоретики въ основаніе дѣленія на роды принимали или внѣшнія формы поэзіи или ея содержаніе.

Психологическое ученіе Платона, сколько мы можемъ видѣть изъ сихъ отрывковъ, освобождаетъ искусство отъ стѣснительныхъ правилъ и передаетъ его произволу вдохновенія. Вообще нельзя не замѣтить въ Платонѣ почти совершеннаго отчужденія отъ правилъ, которыя гонятъ онъ въ софистахъ, хотѣвшихъ наложить на всю жизнь оковы своего лжеученія. Такъ во второй половинѣ Федра и въ Горгіѣ, Платонъ возстаетъ противъ софистической риторики, преслѣдуетъ всѣ раздѣленія и подраздѣленія и самъ весьма немногимъ ограничиваетъ ученіе о краснорѣчии. Такое сильное противоѣдѣствіе теоріямъ мы можемъ объяснить въ Платонѣ изъ того отношенія, въ которомъ Сократъ, его учитель, и онъ самъ, какъ истолкователь Сократа, находились къ софистамъ. Оба великіе философы должны были прежде разрушить старое, нежели создать новое.

Но тотъ же самый Платонъ, который въ Іонѣ и Федрѣ изложилъ такія высшія мысли о поэзіи и начало ея поставилъ въ творческомъ вдохновеніи, унижилъ эту самую поэзію въ своемъ сочиненіи о Республикѣ и называлъ ее подражаніемъ природѣ. Искусство, говоритъ онъ здѣсь, занимаетъ третье мѣсто въ отношеніи къ истинѣ. Первый художникъ богъ, который создалъ идею предмета; второй природа, въ коей существуетъ первая копія съ идеи; третій искусство, подражающее предмету истинному въ природѣ посредствомъ ложнаго призрака. Но явно, что во всей X книгѣ Республики, гдѣ Платонъ изложилъ эти мысли, онъ смотритъ на одну

только внѣшнюю, исполнительную сторону искусства и рассматриваетъ его въ связи съ художествами и ремеслами, въ отношеніи къ истинѣ дѣйствительной и къ общественной пользѣ жизни. Въ X книгѣ, Платонъ хотѣлъ оправдать изгнаніе, къ которому онъ приговорилъ поэзію, и потому преслѣдуетъ въ ней недостатки этой существенной, осязаемой истины, которой требуетъ жизнь общественная. Но однако и здѣсь, не смотря на явное гоненіе государственнаго философа противъ искусства, такъ выражается Платонъ, говоря о художникѣ.

«Онъ можетъ творить не только всѣ орудія, но и все то, что рождается изъ земли, и всѣхъ животныхъ, и человѣка, и землю, и небо, и боговъ, и все, что ни есть въ небесахъ и въ аду подъ землею... Возьми зеркало, обнеси его кругомъ,—и ты тотчасъ создашь солнце, и все, что въ небѣ, и землю и самаго себя и весь міръ, но все это не будетъ существовать, а только казаться.—Таковъ живописецъ, таковъ поэтъ».

Изъ этого поэтического сравненія мы видимъ, что поэзія, по мнѣнію Платона, отражаетъ жизнь, какъ вѣрное зеркало; но вся эта жизнь есть одинъ только призракъ, прибавляетъ устроитель идеальнаго государства, и, какъ ложь, не должна быть въ обществѣ, гдѣ все основано на полезной существенности.

Прежде чѣмъ мы подробнѣе изложимъ мысли Платона объ отношеніи поэзіи къ обществу, соберемъ изъ его *Республики* нѣсколько отрывочныхъ, разбросанныхъ мыслей, изъ которыхъ нѣкоторыя особенно тѣмъ замѣчательны, что встрѣчаются у Аристотеля въ подробнѣйшемъ развитіи. Это доказываетъ, что ученикъ пользовался трудами своего учителя и былъ только систематическимъ излагателемъ мнѣній, которыя и до него существовали. Поэтому Аристотелева пѣтика представить намъ уже полный результатъ всего ученія грековъ о поэзіи.

1) Три составныя части полагаетъ Платонъ въ каждомъ стихотвореніи: слово, гармонію и рѣчь (*λόγος, ἀρμονία καὶ ῥυθμός*).

2) Поэзія представляетъ или прошедшее, или настоящее, или будущее. Эта мысль противорѣчитъ мысли Гезіода, который не поставилъ настоящаго въ число стихій поэзіи человѣческой. Но должно замѣтить, что при Платонѣ процвѣтала уже Аристофанова комедія, которая изображала настоящее. Замѣчательно, что сія мысль послужила Бутервеку и нѣкоторымъ современнымъ эстетикамъ основаніемъ для раздѣленія поэзіи на роды; но у нихъ она получила уже особенное примѣненіе.

3) У Платона же встрѣчается раздѣленіе поэзіи по способу представленія, т. е., потому, что поэтъ самъ излагаетъ отъ своего имени (Лирика), или употребляетъ одно подражаніе, т. е., выводитъ другія лица (Драма), или то и другое соединяетъ вмѣстѣ (Эпосъ). Отсюда видно, что Платонъ полагаетъ эпосъ какъ бы сліяніемъ двухъ формъ: лирической и драматической. Изъ этого замѣчательнаго мѣста извлекается также, что собственно подражательной поэзіей именовалась у древнихъ только драма и отчасти эпосъ по своей драматической стихіи. Слово подражаніе (*mimesis*), относясь только къ драмѣ, не значило ли просто представленіе (*darstellung*)? Въ X книгѣ Республики, Платонъ изгоняетъ особенно подражательную поэзію, оставляя высшую лирику.

4) У Платона находимъ зародыши мысли о томъ, что драма и преимущественно трагедія, есть высшій родъ поэзіи, и что Гомеръ есть родоначальникъ всѣхъ трагиковъ и первый изъ нихъ. Сія мысль, какъ мы увидимъ, есть зародышъ всей поэтики Аристотеля и служить основаніемъ къ ея объясненію. Она связываетъ теорію поэзіи съ современнымъ ея состояніемъ и въ подробнѣйшемъ развитіи, какъ найдемъ мы ее у Аристотеля, докажетъ намъ, что вся теорія поэзіи въ Греціи развилась изъ теоріи драмы, какъ рода, увѣнчавшаго поэзію этой страны.

Отъ сей мысли я могъ бы прямо перейти къ самому разбору поэтики Аристотеля; но прежде я долженъ, въ заключеніе теоріи Платона, изложить его мнѣніе объ отношеніи поэта къ обществу и объяснить этотъ грозный приговоръ, произнесенный философомъ, который самъ сначала былъ поэтомъ и воспитанъ Гомеромъ для Греціи, какъ самъ сознается.

Платонъ, какъ философъ, устремлявшій свои взоры на воспитаніе народное, утверждалъ, что прекрасное совершенно родственно съ нравственнымъ, что одни и тѣ же признаки у красоты и у добродѣтели: правильность, гармонія и симметрія; разнится только въ томъ, что прекрасное предметъ вѣншаго созерцанія, нравственное — предметъ внутренняго. Есть красота духовная и тѣлесная, но высшее совершенство красоты заключается въ соединеніи красоты духовной съ тѣлесною. Наслажденіе прекраснымъ, когда оно переходитъ въ характеръ челоѣка, есть любовь. Изъ соединенія прекраснаго съ нравственнымъ ясно, почему Платонъ полагаетъ столь важное достоинство въ любви: по его мнѣнію, любовь не что иное, какъ нравственное чувство въ тѣсной связи съ эстетическимъ. Питая такіе мысли о взаимномъ редствѣ прекраснаго съ нравственнымъ, Платонъ

утверждалъ, что эстетическое воспитаніе есть только приготовленіе къ нравственному.

Эта глубокая мысль философа оправдалась исторією древняго челоѣчества Европы. Эстетическая Греція была въ древнемъ мірѣ приготовленіемъ къ Риму, который воспиталъ языческое челоѣчество въ нравственномъ отношеніи.

Такъ думалъ Платонъ о прекрасномъ, не приковывая его къ нравственному, но полагая нераздѣльную связь между ними, — и съ такими мыслями взглянулъ онъ на состояніе своего отечества, гдѣ художественная жизнь дошла до крайней степени независимости и поглотила религію, нравы, жизнь государственную и частную. Платонъ жилъ въ такую эпоху искусства, когда поэзія начинала уже клониться къ упадку, когда трагедія Эврипида изнѣживала и сердца и первы афиняны. Философъ, заботившійся о воспитаніи своего народа, не могъ не видѣть, что идеальный міръ искусства своею независимостью слишкомъ тяготѣлъ надъ міромъ дѣйствительнымъ аинскаго общества.

Вотъ почему, какъ мнѣ кажется, начерчивая аинянамъ въ своей Республикѣ идеалъ государственнаго устройства, законодатель-философъ вопросъ объ искусствѣ превратилъ въ вопросъ политическій и произнесъ такой суровый приговоръ поэзіи, имѣя въ виду такимъ образомъ противоѣствовать художественному направленію аинянъ, достигшему крайности, вредной для общественныхъ нравовъ. Дѣло въ томъ, что вопросъ объ искусствѣ въ гражданскомъ обществѣ могъ только въ Афинахъ быть вопросомъ политическимъ; во всякомъ другомъ народѣ это было бы странно: ибо нигдѣ какъ въ Греціи искусство не поглащало всѣхъ прочихъ отраслей жизни общественной. Мысль о современномъ значеніи такого вопроса подтверждается еще болѣе тѣмъ, что Платонъ обратилъ почти все негодованіе свое на драму, и особенно на трагедію, потому что сей родъ поэзіи господствовалъ въ его время въ Афинахъ. Изложеніе нѣкоторыхъ подробностей о семъ предметѣ, извлеченное изъ III и X книгъ Республики, еще болѣе убѣдитъ насъ въ этомъ.

Платонъ нападаетъ на многіе поэтическіе мѣны, въ которыхъ поэты изображаютъ дѣйствія боговъ, неприличныя даже людямъ. Таковъ, напр., мѣнъ Крона, поглащающаго дѣтей своихъ, сладострастіе боговъ, ихъ обманы. Не правится Платону у Гомера этотъ Ахиллъ, сынъ богини, который обѣими руками беретъ нечистую пыль и осыпаетъ ею голову, въ при-

падежъ отчаянной грусти; ему не нравится жадность его къ деньгамъ, когда онъ дорогою цѣною уступаетъ Пріаму трупъ его сына; ему не нравится Иеестъ, своею походкою возбуждающій смѣхъ въ сонмѣ боговъ Олимпійскихъ. Онъ предвидитъ вредъ, могущій произойти отсюда воспитанію юношей, которые въ подобныхъ мѣсахъ увидятъ, что и боги творятъ зло, что и герои не лучше людей обыкновенныхъ. Въ этомъ отношеніи онъ особенно нападаетъ на Гомера и явно намекаетъ на современное мнѣніе аѳинянъ, которые видѣли въ своемъ первомъ поэтѣ воспитателя Греціи. Вотъ это замѣчательное мѣсто.

«И такъ, Главконъ, если ты встрѣтишь хвалителей Гомера, которые говорятъ, что сей поэтъ воспиталъ Грецію и могъ бы достойно быть призванъ къ устроению и воспитанію жизни человѣческой, что его-то мы должны изучать безпрерывно, что, послѣдуя ему, мы можемъ во всѣхъ отношеніяхъ устроить жизнь свою,—люби такихъ людей и обойми ихъ, какъ людей лучшихъ, по скольку возможно имъ быть лучшими» (явный тонкій намекъ на аѳинянъ, и хитрое имъ привѣтствіе); «уступи имъ въ томъ, что Гомеръ величайшій поэтъ и первый изъ трагиковъ,—но не менѣе того будемъ знать, что изъ всѣхъ родовъ поэзіи должно принимать только тѣ произведенія, которыя имѣютъ предметомъ прославленіе боговъ и похвалу добродѣтели; если же примемъ сладкую музу пѣсенъ и эпоса, то наслажденіе и скорбь воцарятся въ городѣ на мѣсто закона и общаго блага».

«О, милый Гомеръ! Если это неправда, то третье мѣсто ты занимаешь отъ истины, ты, творящій изъ добродѣтели призраки, какъ мы опредѣлили художника; если ты разрѣшилъ тайну, какими средствами люди могутъ сдѣлать лучше или хуже общественную и частную жизнь свою, — скажи намъ, какой городъ черезъ тебя усовершилъ жизнь свою, какъ, напримѣръ, Лакедемонъ черезъ Ликурга, и многіе другіе города, большіе и малые, черезъ своихъ законодателей? Тебя же—какой городъ наименоуетъ своимъ благотворнымъ законоположникомъ, принесимъ ему пользу? Италія и Сицилія именуютъ Харонда, мы—Солона. Тебя же кто?.. Нельзя ли назвать кого?—Не думаю, отвѣчалъ Главконъ. Объ этомъ не говорятъ даже и самые Гомериды».

Въ заключеніе своихъ нападокъ на Гомера и на поэзію, Платонъ призываетъ любителей защищать ее въ отношеніи къ общественной пользѣ и прибавляетъ:

«Если же ихъ усилія останутся тщетны, то мы, любезный товарищъ, не поступимъ ли, какъ любовники, которые, узнавши вредъ своей страсти, насильно отрываютъ себя отъ нея? Такъ и мы, принявши въ себя любовь къ поэзіи отъ самой юности, благодаря воспитанію славно учрежденныхъ республикъ, будемъ къ ней благосклонны и согласимся признать ее за прекраснѣйшую и истинную; но покажѣтся она не соберется съ силами на свою защиту, станемъ остерегаться ея очарованій и постараемся снова не предаться этой дѣтской страсти, которую раздѣляетъ толпа».

Изъ всѣхъ родовъ поэзіи Платонъ возстаетъ преимущественно противъ трагедіи и комедіи. На первую нападаетъ онъ въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда она, изображая человѣка въ несчастіи, вмѣсто твердаго и непреклоннаго, представляетъ его слабымъ, жалующимся, и тѣмъ, возбуждая къ нему состраданіе, развиваетъ въ гражданахъ излишнюю чувствительность и тѣмъ дѣлаетъ ихъ неспособными къ перенесенію несчастій. Здѣсь видѣтъ явный намекъ противъ трагедіи Эврипида, которая, какъ извѣстно, была изнѣженной, усилила особенно стихію состраданія, и точно могла вредно дѣйствовать на чувствительность гражданъ. Особенно эти слова подтверждаютъ такое мнѣніе:

«Характеръ мудрый и спокойный, всегда равный самому себѣ, не легко представить; а если бы такой и удался поэту, то можетъ ли онъ поправиться этимъ людямъ разнаго рода, собирающимся въ театрѣ? Такой образъ былъ бы совершенно противенъ ихъ всегдашнему расположенію... Поэтъ, болѣе угождающій мнѣнію толпы, разумѣется, скорѣе выведетъ характеры жалобные и непостоянные, потому что легче изображать ихъ».

Такъ не могъ бы Платонъ говорить объ Эсхилѣ, творцѣ Прометея. На комедію возстаетъ онъ за то, что она сообщаетъ охоту къ насмѣлкѣ, которая изъ театра переносится и въ отношенія общественныя. Всѣ эти мѣста очевиднымъ образомъ указываютъ на то, что мнѣніе Платона произошло изъ современныхъ отношеній, въ какихъ искусство находилось въ Аѳинахъ.

Наконецъ вотъ этотъ знаменитый приговоръ, которымъ Платонъ утвердилъ древнюю вражду между философіею и поэзіею и понесъ напрасную славу ненавистника сей послѣдней. Мы замѣтимъ, что этотъ приговоръ сопровождается всею утонченною и лстивою нѣжностью, какою только можно было смягчить строгій смыслъ его содержанія. Мы видимъ уже по

этому, что онъ произнесенъ былъ философомъ среди Аѳинъ, среди царства поэзіи.

«Итакъ, если предстанетъ къ намъ музъ, силою искусства могущій являться многообразнымъ и подражать всѣмъ предметамъ видимымъ, и пожелаетъ онъ нашему городу представить свои творенія, — мы преклонимся предъ нимъ, какъ предъ чѣмъ то священнымъ, чуднымъ и сладкимъ (προσκυνοῦμεν αὐτὸν ὡς ἱερόν καὶ θαυμαστόν καὶ ἡδύ); — но скажемъ ему, что не подобаетъ такому мужу быть въ нашемъ городѣ, и, обливши главу его мѣромъ, облекши его въ шерсть дорожную, отошлемъ его въ другой городъ; а сами призовемъ къ себѣ другаго поэта и мифолога не столько сладкаго, но болѣе строгаго, призовемъ его для пользы, чтобы онъ словомъ своимъ подражалъ всему достойному и совершалъ бы созданія свои въ тѣхъ видахъ, какіе мы установили необходимыми, когда разсуждали о воспитаніи воиновъ. — Такъ поступимъ мы, когда власть будетъ въ нашихъ рукахъ».

Убѣдимся въ томъ, что этотъ приговоръ сказанъ тамъ, гдѣ было излишество поэзіи, что такое противодѣйствіе было необходимо; что Платонъ не произнесъ бы его во всякомъ другомъ мѣстѣ. Философъ этимъ разительнымъ примѣромъ убѣждаетъ насъ въ томъ, что кромѣ истины всегдашней и безусловной, есть истина мѣстная, которой долженъ иногда приносить жертву и философъ — жрецъ истины всемірной.

Заключимъ изложеніе теоріи Платона общимъ результатомъ, извлеченнымъ изъ отрывковъ, собранныхъ нами:

1) Отвлеченіе идеи прекраснаго отъ прекрасныхъ предметовъ и отъ другихъ идей съ нею смежныхъ.

2) Опредѣленіе прекраснаго въ самомъ себѣ: оно выѣстъ съ премудрымъ и благимъ заключается въ божественномъ. Совершенная красота только въ идеѣ и Богѣ: на землѣ она есть воспоминаніе.

3) Дѣйствіе прекраснаго — любовь и возвышеніе къ божеству.

4) Прекрасное само въ себѣ нравственно.

5) Источникъ поэзіи — божественное вдохновеніе. Чтобы судить о ней, надобно принять вдохновеніе отъ поэта.

6) Поэзія по внѣшней формѣ изложена, дѣлится на эпосъ, лиру и драму; но внутреннее различіе родовъ основано на характерѣ вдохновенія поэтическаго.

7) Нѣсколько расчлѣненныхъ мыслей о поэзіи, и особенно мысль о трагедіи, какъ главномъ родѣ поэзіи, и о Гомерѣ, какъ родоначальникѣ трагиковъ.

8) Поэзія въ обществѣ должна соответствовать его цѣли, а не дѣйствовать самоцѣльно. Эта мысль истекала изъ современнаго состоянія поэзіи въ Аѳинахъ.

С. Шевыревъ.

(Теорія поэзіи etc.).

2. Поэтика Аристотеля.

1. I. Планъ сочиненія. — Различіе видовъ поэзіи по средствамъ подражанія. — О поэзіи, о самой поэзіи и о видахъ ея, т. е., о томъ, какова сущность каждаго изъ нихъ, и какъ надлежитъ составлять вымыслы, если хотимъ, чтобы поэтическія произведенія были хороши; далѣе — изъ какихъ и сколькихъ частей состоятъ они; равно и о прочемъ, подлежащемъ тому же изслѣдованію, — вотъ о чемъ мы будемъ говорить, начавши, естественно, сперва съ того, что въ этомъ дѣлѣ есть первое, главное.

2. Эпосъ, трагедія, далѣе — комедія, драматическая поэзія и большая часть авлетики и кинористики, — всѣ вообще состоятъ въ подражаніи; 3. различаются же между собою трояко: или тѣмъ, что разными средствами подражаютъ, или что разнымъ предметамъ подражаютъ, или что различно, не одинаковымъ образомъ, подражаютъ. Какъ нѣкоторые подражаютъ 4. многому красками и образами, списывая съ предметовъ (одни путемъ искусства, другіе по навыку), а другіе голосомъ, такъ бываетъ и въ поименованныхъ искусствахъ: всѣ они производятъ подражаніе — ритмомъ, словомъ и гармоніею, и притомъ или порознь каждымъ изъ этихъ средствъ, или соединяя ихъ одно съ другимъ. Такъ гармонію и ритмъ только — употребляютъ авлетика, кинористика и иныя, пожалуй, искусства той же природы, какъ, напр., игра на свирѣли. Однимъ ритмомъ подражаютъ 5. плясуны: ибо и они посредствомъ образныхъ ритмовъ подражаютъ характерамъ, страстямъ и дѣйствіямъ. Словоподражаніе подражаетъ только 6. словомъ, — простымъ либо метрическимъ; метры употребляетъ оно, или соединяя ихъ между собою, или пользуясь однимъ какимъ нибудь метромъ,

7. какъ обыкновенно бываетъ донимѣ. Иначе мы не имѣли бы общаго имени и для мимовъ Софрона и Ксенарха, и для сократическихъ разговоровъ, и для подражаній триметромъ, элегическимъ стихомъ и т. п. Обыкновенно же такъ только слагаютъ названіе метра со словомъ *ποιεῖν* (творить) и говорятъ, напр., *ἐλεγεῖοποιός* (творцы элеговъ), а иногда *ἐποποιός* (творцы эпоса), называя такъ поэтовъ не въ силу подражанія, а голословно—по метру.
8. Ибо хотя-бы излагалось въ метрахъ и что нибудь врачебное или музыкальное, все-таки привыкли такъ называть. А вѣдь нѣтъ ничего общаго, кромѣ метра, у Гомера съ Эмпедокломъ; потому одного справедливость требуетъ называть поэтомъ, другаго скорѣе физиологомъ, чѣмъ поэтомъ.
9. Равнымъ образомъ даже если кто станетъ производить подражаніе, мѣшая всякіе метры, подобно тому, какъ Херомонъ сочинилъ своего Кентавра,—рансодію, въ которой соединены всякіе метры, и того слѣдуетъ называть поэтомъ. Итакъ объ этомъ такъ постановимъ. Есть, впрочемъ, роды поэзіи, которые употребляютъ всѣ поименованные средства,—ритмъ, пѣніе и метръ, какъ, напр., поэзія дионисическая, номическая, трагедія, комедія; различаются онѣ тѣмъ, что одні употребляютъ всѣ средства за разъ, другія — поочередно. Итакъ, вотъ различія искусствъ по *средствамъ*, которыми они производятъ подражаніе.

1. II. Различіе видовъ поэзіи по предметамъ подражанія. — Такъ какъ подражающіе подражаютъ дѣйствіямъ, а дѣйствующіе необходимо бываютъ или дѣльные люди или негодные (ибо характеры всегда почти примыкаютъ къ этимъ двумъ сторонамъ: по характеру всѣ различаются добродѣтелью и негодностію), — или лучше насъ, или подъ стать намъ, или хуже насъ (такъ и живописцы: Полигнотъ изображалъ лучшихъ, Павсонъ худшихъ, Діонисій — подобныхъ намъ), то очевидно, что и каждое изъ поименованныхъ подражаній будетъ имѣть эти различія и такимъ образомъ будетъ разнообразиться въ той мѣрѣ, въ какой различны предметы подражанія. И въ пляскѣ, и въ игрѣ на флейтѣ, и въ игрѣ на китарѣ могутъ быть эти несходства; также и въ немѣрной рѣчи и въ просто мѣрной: такъ Гомеръ подражалъ лучшимъ, Клеофонъ подобнымъ, Гегемонъ Θассійскій, первый творецъ пародій, и Никохаретъ, сочинитель 4. Делиады, — худшимъ. Такимъ же образомъ можно подражать и въ дионисическихъ и въ номическихъ; примѣръ тому — Персы и Киклопы Тимофея и Филоксена. Такое же различіе между трагедіею и комедіею: одна подражаетъ лучшимъ, другая худшимъ, чѣмъ теперешніе люди.

III. Различіе видовъ поэзіи по способу подражанія. — Еще третья въ этомъ есть разница: *какъ* кто чему подражаетъ. Ибо подражающіе одному и тому же и посредствомъ того же могутъ подражать, — или рассказывая, и притомъ то становясь чѣмъ-то инымъ, какъ дѣлаетъ Гомеръ, то оставаясь тѣмъ же, чѣмъ были, и не перемѣняясь, — или выводя всѣхъ дѣлающими и дѣйствующими. Такъ вотъ какія три различія въ подражаніи, какъ мы сказали въ началѣ: *чѣмъ, чему и какъ?* Такъ что Софокль, напр., въ одномъ отношеніи такой же подражатель, какъ 2. и Гомеръ, ибо оба подражаютъ дѣльнымъ людямъ; а въ другомъ — такой же, какъ Аристофанъ, ибо оба подражаютъ дѣлающимъ и дѣйствующимъ (*δρῶντας*). Отъ того, говорятъ нѣкоторые, такіе произведенія и драмами называются, потому что подражаютъ въ нихъ дѣйствующимъ. На этомъ-то основаніи и присволяютъ себѣ какъ трагедію, такъ и комедію Доріане: комедію Мегаряне, и эдѣшніе (говорятъ, что она возникла у нихъ вмѣстѣ съ демократіею), и сицилійскіе (оттуда родомъ былъ поэтъ Епихармъ, жившій гораздо раньше Хіоніда и Магнета); а трагедію — нѣкоторые изъ Пелопонесцевъ. Въ доказательство приводятъ названія: они называютъ округа — *κομαι*, а Аѳиняне — *δεμα*; комеды, говорятъ они, получили это названіе не отъ *κομᾶσαι* (купить), а потому что бродили по комамъ, деревнямъ, презираемые гражданами; и дѣлать на ихъ языкѣ — *δρᾶν*, по-аѳински *πράττειν*. Итакъ о различіяхъ подражанія, сколько 4. и какія, вотъ что я имѣлъ сказать.

IV. Подражаніе — источникъ творчества. — Произвели поэзію вообще двѣ, кажется, причины, и причины-то естественныя. Врожденно 1. всѣмъ людямъ съ дѣтства *подражать* (тѣмъ и отличаются они отъ прочихъ животныхъ, что склонны всѣхъ къ подражанію, и первыя познанія 2. приобретаютъ посредствомъ подражанія) и *любоваться подражаніемъ*. Доказательствомъ этому то, что бываетъ на дѣлѣ: на что въ природѣ мы смотримъ съ чувствомъ непріятнымъ, глядя на изображенія того же самаго, если они совершенны, мы наслаждаемся: примѣръ тому — изображеніе 3. самыхъ гадкихъ звѣрей и труповъ. Причина и этому та, что познание не только любознательнымъ людямъ всего пріятнѣе, но и прочимъ также: 4. только послѣдніе бываютъ причастны ему въ малой степени. Ибо люди, глядя на изображенія, потому ими любятъ, что, когда смотрятъ на нихъ, 5. приходится имъ изучать, соображать, что значитъ каждое изъ таинъ изображеній; они себѣ говорятъ: это тотъ-то! Ибо если кому изображае-

- маго видѣть прежде не доводилось, то вовсе ужъ не подражаніе доставить ему удовольствіе, а отдѣлка, либо краска, либо другое что-нибудь такое.
6. А такъ какъ намъ врождены подражательность, гармонія, ритмъ (что метры суть части ритмовъ, это очевидно), то нѣкоторые изъ первыхъ людей, совершенствуясь мало по малу, создали поэзію изъ импровизацій.
 7. Распалась же поэзія на два рода по характеру поэтовъ: люди важные подражали высокимъ и высокимъ людей дѣйствіямъ; а кто былъ характеромъ полегче, — дѣйствіямъ людей низкихъ; они сочиняли сперва
 8. ругательныя пѣсни, тогда какъ тѣ сочиняли хвалебныя пѣсни. Изъ произведеній поэтовъ, бывшихъ до Гомера, мы не можемъ назвать ни одного такого, а нужно полагать, много ихъ было; начиная же съ Гомера, — можемъ. Таковъ, напр. его Маргитъ и подобныя произведенія, въ которыхъ явился по соотвѣтствію имъ и ямбическій метръ. Потому и ямбическимъ онъ назы-
 9. вается, что посредствомъ этого метра ругались (*ἰαμβίζον ἄλλήλους*). И возникли между древними поэтами одни героическіе, другіе ямбическіе. Но какъ въ важномъ родѣ Гомеръ былъ по преимуществу (единственный поэтъ, не только потому, что хорошо, но и что драматично подражалъ), такъ и въ комедіи онъ первый далъ образцы, выводя въ драматическомъ дѣйствіи не позорное, а смѣшное. Какъ Илиада, Одиссея въ
 10. трагедіяхъ, такъ Маргитъ относится къ комедіямъ. А когда явились трагедія и комедія, поэты, обратившись каждый сообразно своей природѣ къ одному изъ этихъ двухъ родовъ поэзіи, одни изъ ямбиковъ сдѣлались комиками, другіе изъ эпиковъ трагиками по той причинѣ, что эти роды поэзіи выше и почетнѣе тѣхъ.
 11. Разсмотрѣніе того, достаточно ли развились виды трагедій, или нѣтъ (принимая во вниманіе и трагедію саму по себѣ, и постановку ея на сценѣ), оставимъ въ сторонѣ.
 12. И такъ въ началѣ и трагедія, и комедія импровизировались; потомъ мало по малу совершенствовались, трагедія — записками дионамбовъ, комедія — записками фаллическихъ пѣсней, которыя во многихъ городахъ и теперь еще остаются въ употребленіи; тѣ и другіе мало по малу развили то, что было до нихъ сдѣлано; наконецъ, послѣ многихъ перемѣн трагедія остановилась, достигши полнаго своего развитія. Такъ Эсхиль первый довелъ число актеровъ отъ одного до двухъ, ограничилъ хоръ, ввелъ протагониста, трехъ же актеровъ и декоративную живопись завелъ Софокль.
 14. И величина уже позднѣе сдѣлалась значительною: сперва вымыслы были

не сложны, языкъ смѣшной: по той причинѣ, что трагедія образовалась изъ сатирической драмы; да и метръ изъ тетраметра (трохаическаго) сталъ триметромъ (ямбическимъ). Сперва же употребляли тетраметръ, потому что драма была сатирическая и болѣе прилаживалась къ пляскѣ; а когда вошелъ разговоръ, то сама природа навела на изобрѣтеніе метра, свойственнаго разговору; ибо ямбическій метръ самый разговорный изъ всѣхъ метровъ. Доказательство тому: въ разговорѣ между собою мы употребляемъ множество ямбовъ, а гекзаметры рѣдки, и то, когда выходимъ изъ разговорнаго настроенія рѣчи. Потомъ рассказываютъ, какъ вошло въ трагедію множество вставокъ и прочее. Обо всемъ этомъ довольно сказаннаго нами: излагать все въ подробности, было бы, пожалуй, долго.

V. Комедія. — Отличіе трагедіи отъ эпопеи. — Комедія же есть, какъ мы сказали, подражаніе подлымъ людямъ, впрочемъ, не во всякой подлости: смѣшное есть часть безобразнаго. Именно: смѣшное есть кака-нибудь ошибка, безобразіе безболѣзненное и безвредное, какъ, напри-мѣръ, смѣшная маска есть нѣчто безобразное и искаженное безъ боли.

Измѣненія трагедіи и тѣ лица, которыя произвели эти измѣненія, не остались въ неизвѣстности; а исторія комедіи намъ неизвѣстна, потому что съ самаго начала не было на нее обращено вниманія. Ибо и хоръ комедіамъ началъ давать архонтъ уже поздно, а прежде комическій хоръ набирался изъ охотниковъ. Только тогда, когда комедія получила уже нѣкоторыя формы, начинаютъ упоминать имена комическихъ поэтовъ. Но кто ввелъ маски, кто прологи, кто определенное число актеровъ и т. п., — неизвѣстно. Создавать вымыслы начали, говорятъ, Элихармъ и Формій; вышло же это изъ Сициліи. Изъ аеинскихъ поэтовъ, первый началъ создавать рассказы и вымыслы Кратетъ, оставивъ ямбическое направленіе.

Эпопея, какъ подражаніе лицамъ важнымъ, сходна съ трагедіею во всемъ, кромѣ того, что въ ней одинъ большій метръ. Тѣмъ, что въ ней простой метръ и что она есть рассказъ, отличается эпопея отъ трагедіи; да еще длиннотою. Ибо трагедія по возможности старается быть законченною въ одинъ круговоротъ солнца, или немного дальше заходитъ, а эпопея во времени неограниченна, и тѣмъ отлчается. Впрочемъ, прежде поступали такъ и въ трагедіи, и въ эпопее. Части однѣ общія у трагедіи съ эпопеею, другія только трагедіи принадлежатъ. Потому кто изучилъ свойства хорошей и плохой трагедіи, тотъ и эпопею знаетъ. Ибо что есть въ эпопее, есть и въ трагедіи; а что есть въ трагедіи, то не все заключается въ эпопее.

1. VI. **Определение трагедии и стихий ея.** — Очистение страстей. — О поэзии подражающей в гексаметрах (и о комедии) скажем послѣ. А теперь поговоримъ о трагедии, взявши изъ вышесказаннаго вытекающее
2. определение ея сущности. Итакъ трагедія есть *подражаніе дѣйствию важному и законченному*, имѣющему величину; подражаніе *украшенной рѣчью* (разными видами сей рѣчи въ разныхъ частяхъ); подражаніе *дѣйствующимъ*, а не въ разсказѣ, совершающее посредствомъ *состраданія*
3. и *страха* *очищеніе таковыхъ страстей*. Украшенной рѣчью называю рѣчь, имѣющую ритмъ, гармонію и мелость (иѣніе).

«Разными видами сей рѣчи въ разныхъ частяхъ»: это значитъ, что нѣкоторыя части исполняются посредствомъ метровъ, а напротивъ другія

4. посредствомъ мелоса. А такъ какъ подражаніе въ трагедіи производить дѣйствуя, то первую часть трагедіи необходимо будетъ сценическое представленіе, потомъ мелоса (иѣсенная часть) и рѣчь; ибо съ помощію сихъ средствъ производятъ подражаніе въ трагедіи. Рѣчью называю самое составленіе метровъ; а что значитъ иѣсенность, понятно.

5. Такъ какъ трагедія есть подражаніе дѣйствию, а дѣйствию происходитъ чрезъ какихъ нибудь дѣйствующихъ лицъ, а кто дѣйствуетъ, тому необходимо быть *какимъ нибудь* по характеру и по образу мыслей, пониманію (по нимъ мы и дѣйствія называемъ *какими нибудь*): то очевидно, естественныхъ причинъ дѣйствіямъ двѣ — *пониманіе* и *характеръ*; отъ нихъ всегда зависитъ, успѣваютъ ли люди, или нѣтъ.

6. Подражаніе же дѣйствию есть *вымыселъ* (миѣ). *Вымысломъ* называю совокупленіе дѣйствій; *характеромъ* — то, по чему *какими нибудь* людей называемъ; *пониманіемъ* — то, въ чемъ люди, говоря, обнаруживаютъ что нибудь или просто открываютъ мысль свою.

7. Итакъ, во всякой трагедіи необходимо должно быть шесть частей, по которымъ она бываетъ какою-нибудь. Части эти суть: вымыселъ, характеръ, рѣчь, образъ мыслей, сценическая обстановка и иѣсенная часть: двѣ части — средства подражанія, одна — способъ, три — предметы подражанія;
8. кромѣ нихъ ничего быть не можетъ. Не мало, такъ сказать, поэтовъ, которые пользуются этими частями: вѣдь всякое ихъ произведеніе и сценическую обстановку имѣетъ и характеръ, и вымыселъ, и рѣчь, и иѣсени, и пониманіе также.

9. Самая важная изъ сихъ частей — совокупленіе дѣйствій. Ибо трагедія есть подражаніе не людямъ, а дѣйствию, жизни, счастью; и несчастью бы-

ваетъ въ дѣйствіи. И цѣль трагедіи — дѣйствіе, а не качество. По характеру люди бываютъ какими нибудь, а по дѣйствіямъ счастливыми и несчастливыми. Итакъ, въ трагедіи дѣйствуютъ не для того, чтобы подражать характерамъ, но чрезъ посредство дѣйствій захватываетъ трагедія и характеры. Такъ что дѣйствія и вымыселъ — цѣль трагедіи. А цѣль важнѣе всего.

При всемъ томъ безъ дѣйствія невозможна трагедія, а безъ характеровъ возможна; трагедіи очень многихъ молодыхъ поэтовъ — безъ характеровъ. Да и вообще многіе поэты таковы; все равно какъ между живописцами — Зевксидъ сравнительно съ Полигнотомъ: Полигнотъ хорошій характерный живописецъ; а Зевксидова живопись вовсе безъ характеровъ. Еще: если кто расположитъ одну за другой характерныя рѣчи, изреченія, мысли, искусно придуманныя, то, конечно, выполнить назначеніе трагедіи; но гораздо скорѣе достигнетъ этого трагедія, всѣмъ этимъ воспользовавшаяся хоть и въ меньшей степени, но имѣющая вымыселъ и совокупленіе дѣйствій.

Кромѣ того, трагедія болѣе всего трогаетъ душу частими вымысла — *переломомъ* и *узнаніемъ*. Еще доказательство: начинающіе сочинять трагедіи скорѣе могутъ довести до удовлетворительнаго совершенства рѣчь и характеръ, чѣмъ совокупить дѣйствія; таковы почти всѣ первые (въ каждомъ родѣ поэзіи) поэты.

Такимъ образомъ начало и, такъ сказать, душа трагедіи есть *вымыселъ*; второе за нимъ мѣсто занимаютъ *характеры*. Подобное видимъ и въ живописи: иной густо намажетъ и прекраснѣйшими красками, а картина не такъ нравится, какъ у другаго живописца простой очеркъ. Трагедія есть подражаніе дѣйствию и поэтому болѣе всего — дѣйствующимъ.

Третье въ трагедіи — *пониманіе*, т.-е., способность говорить существенное и надлежащее. Касательно рѣчей это дѣло политики и реторики; у древнихъ поэтовъ лица говорятъ политически, у нынѣшнихъ — риторически. Характеръ есть то, что выражаетъ наклонность: какова она? Потому въ рѣчахъ, въ которыхъ вовсе не видно, къ чему наклоненъ и чего избѣгаетъ говорящій, характера нѣтъ. Пониманіе же есть то, чѣмъ высказываютъ что нибудь, т.-е., что оно есть или не есть? вообще что нибудь выражаютъ.

Четвертое въ рѣчахъ — *выраженіе*; выраженіемъ называю, какъ прежде сказано, словесное объясненіе; значеніе выраженіи и въ метриче-

19. ской рѣчи, и въ прозаической одинаково. Изъ остальныхъ же *пяти частей* — *пѣсенная* есть самая главная изъ прикрасъ. Сценическое представление дѣйствуетъ на душу больше всего; но эта часть — самая безыскусственная и слишкомъ мало относится къ поэзии; ибо сила трагедіи должна выказываться и безъ состязанія и безъ актеровъ. Притомъ для устройства сцены больше требуется искусство машиниста, чѣмъ поэта.

1. VII. Цѣлостность трагедіи. — Опредѣливъ ея части, скажемъ, какому слѣдуетъ быть совокупленію дѣйствій, поелику оно есть первая и самая главная часть въ трагедіи. Нами сказано: трагедія есть подражаніе дѣйствию законченному и цѣлому, имѣющему известную величину; вѣдь бываетъ и такое цѣлое, которое не имѣетъ никакой величины. Цѣлое же
2. есть то, что имѣетъ начало, средину и конецъ. Начало есть то, что само необходимо бываетъ не послѣ другаго, послѣ же него другое непременно бываетъ или происходитъ. Конецъ есть противоположность началу: это то, что само бываетъ послѣ другаго, или по необходимости, или потому, что ужъ такъ водится; а за нимъ ничего не бываетъ другаго. Средине же есть то, что и само послѣ другаго бываетъ, и за нимъ бываетъ другое. Итакъ, слѣдуетъ, чтобы хорошо составленные вымыслы ни начинались откуда придется, ни оканчивались гдѣ придется, а соблюдали бы сказанныя условія.
3. Далѣе, такъ какъ прекрасному и животному, и всякому другому предмету, который состоитъ изъ какихъ нибудь частей, — не только части слѣдуетъ имѣть въ порядкѣ, но чтобы и объемъ былъ не случайный (ибо прекрасное заключается въ величинѣ и порядкѣ; почему ни слишкомъ малое какое нибудь животное не можетъ быть прекраснымъ: созерцаніе его тогда смѣшивается, происходя почти въ незамѣтное время; ни слишкомъ большое: тогда созерцаніе происходитъ не вдругъ, и у созерцающаго уходитъ изъ виду единство и цѣлость; наприкладъ, если было бы животное въ десять
4. тысячъ стадій): — потому слѣдуетъ какъ тѣламъ и животнымъ — имѣть величину, но удобно оглядываемую, такъ и вымысламъ — имѣть продолжительность, но удобно запоминаемую. Предѣлъ продолжительности примѣнительно къ состязаніямъ и къ способности зрителей — не есть дѣло искусства: если бы понадобилось состязаться ста трагедіями, состязались бы по клепсидрѣ, подобно тому, какъ рассказываются анекдоты съ известнымъ
5. началомъ: *однажды, въ другой разъ*. Предѣлъ же продолжительности, сообразный съ самой сущностью предмета, таковъ: чѣмъ болѣе бываетъ предметъ, лишь бы былъ ясенъ, тѣмъ онъ относительно величины прекраснѣе.

Скажемъ проще и опредѣленнѣе: въ какомъ объемѣ изъ событій, одно за другимъ по вѣроятію или по необходимости слѣдующихъ, вытекаетъ перемѣна несчастія въ счастье или счастья въ несчастіе, таковой объемъ и достаточенъ.

VIII. Единство трагедіи. — Вымыселъ бываетъ единъ не тогда, когда, какъ нѣкоторые полагаютъ, около одного лица вращаются. Вѣдь вообще можетъ случиться безчисленное множество такихъ событій, которыя, если взять ихъ нѣсколько, единства не составятъ: такъ и дѣяній одного человека можетъ быть много, а единого дѣйствія изъ нихъ не выходитъ. Потому ошибались, кажется, все тѣ поэты, которые творили Гераклеиду, Тесеиду и т. п. творенія. Полагаютъ, что коли былъ одинъ Гераклъ, то одному и вымыслу о немъ быть слѣдуетъ. А Гомеръ, какъ и въ прочемъ предъ другими отличается, такъ и это, кажется, прекрасно понималъ, либо по искусству, либо врожденной способностію. Творя Одиссею, онъ не взялъ всего, что съ Одиссеемъ случилось (наприкладъ, что онъ раненъ былъ на Парнассѣ, что прикинулся при сборѣ помѣшаннымъ; ибо въ слѣдствіе одного изъ сихъ происшествій другому не было ни вѣроятія, ни необходимости случиться), а составилъ Одиссею около единого дѣйствія (въ томъ значеніи, какое мы слову этому даемъ). Равнымъ образомъ и Иліаду составилъ.

Итакъ, какъ въ другихъ подражательныхъ искусствахъ одной вещи бываетъ одно подраженіе, такъ и вымыслу, поелику вымыселъ есть подражаніе дѣйствию, слѣдуетъ быть подражаніемъ одного дѣйствія, и при томъ цѣлаго; а частямъ дѣйствія — быть такъ совокупленными, чтобы при перестановкѣ или отнятіи какой-либо части измѣнялось бы и разстраивалось цѣлое. Ибо то, что, прибавимъ ли мы его, или не прибавимъ, не дѣлаетъ примѣтной разницы, то не есть и часть цѣлаго.

IX. Чѣмъ въ сущности отличается поэтъ отъ историка. — Изъ сказаннаго явствуетъ, что дѣло поэта — излагать не столько случившееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е., возможное по вѣроятію или по необходимости. Историкъ и поэтъ не тѣмъ различаются, что говорятъ одинъ мѣрною рѣчью, другой не мѣрною; вѣдь сочиненіе Геродота можно было бы переложить въ метры, и все-таки въ метрахъ, какъ и безъ всякихъ метровъ, было бы это исторія. Различаются они тѣмъ, что одинъ излагаетъ случившееся, а другой, что можетъ случиться. Потому поэзія глубже и значительнѣе исторіи. Поэзія излагаетъ болѣе общее, исторія — частное. Общее есть: такому-то лицу что прилично говорить либо по вѣ-

- роятію, либо по необходимости? этого достигаетъ поэзія, изобрѣтая имена.
5. Частное есть: что сдѣлалъ Алкивіадъ, или что съ нимъ случилось. На комедіи это очевидно: комики, составляя вымыселъ изъ вѣроятныхъ событій, даютъ имена произвольныя, а не занимаются, какъ ямбикъ, частностями. Что касается трагедіи, въ ней держатся именъ историческихъ. Причина та, что возможное вѣроятно; а чего не случилось, въ возможность того мы еще не вѣримъ, но что случилось, то, очевидно, возможно: будь оно невозможно, такъ и не случилось бы. Да впрочемъ и въ трагедіяхъ: въ нѣкоторыхъ одно или два имени извѣстныхъ, прочія вымышлены, въ иныхъ ни одного извѣстнаго, какъ въ *Центъ* Агаона: въ немъ и дѣйствія, и имена вымышлены, и тѣмъ не менѣе онъ нравится.
 8. Потому вовсе не должно требовать, чтобы поэты держались сказаній и преданій, около которыхъ вращаются обыкновенно трагедіи. Да и смѣшно требовать этого, потому что и извѣстное немногимъ извѣстно, а все-таки правится всѣмъ. Изъ этого слѣдуетъ, что поэту надлежитъ быть поэтомъ (творцомъ) болѣе вымысловъ, чѣмъ метровъ; потому что поэтъ бываетъ поэтомъ по подражанію, а подражаетъ онъ дѣйствіямъ. Даже когда приходится ему творить случившееся, онъ тѣмъ не менѣе творецъ (поэтъ). Ибо нѣкоторымъ изъ случившихся событій ничто не мѣшаетъ допускать возможность и вѣроятность осуществленія; а поэтому творецъ ихъ и есть творецъ (поэтъ).
 10. Изъ простыхъ вымысловъ и дѣйствій самые плохіе — вставочные. Вставочнымъ называю вымыселъ, въ которомъ вставки слѣдуютъ одна за другой и безъ вѣроятія, и безъ необходимости. Такими трагедіи выходятъ у плохихъ поэтовъ по собственной ихъ винѣ, у хорошихъ отъ актеровъ. Творя спорныя роли и растягивая ихъ чрезмѣрно, часто бываютъ они вынуждаемы извращать порядокъ.
 11. Такъ какъ трагедія есть подражаніе не только законченному дѣйствію, но и ужасному и жалостному; а это всего болѣе бываетъ (болѣе, чѣмъ когда либо), когда подобныя дѣйствія происходятъ неожиданно одно въ слѣдствіе другого (такимъ образомъ дѣйствіе получить болѣе поразительности, нежели если что нибудь произойдетъ произвольно и случайно; ибо и изъ случайныхъ происшествій кажутся намъ самыми удивительными тѣ, которыя, по видимому, какъ бы нарочно случились; на примѣръ, статуя Митіа въ Аргѣ убила виновника смерти Митіевой, упавши на него въ то время, какъ
 - 12.

онъ смотрѣлъ на нее: подобныя событія, кажется намъ, бываютъ не случайно): — то необходимо, такіе вымыслы лучше.

Х. Виды вымысла. — Вымыслы бываютъ простые и сплетенные: ибо и дѣйствія (а вымыслы суть подражанія дѣйствіямъ) бываютъ именно таковы. Простымъ дѣйствіемъ называю такое, въ которомъ (при томъ условіи, чтобы оно, какъ сказано выше, было непрерывно и едино) происходить переходъ безъ перелома и безъ узнанія; сплетеннымъ же такое, въ которомъ переходъ бываетъ или съ узнаніемъ, или съ переломомъ, или съ обоими. Всему этому слѣдуетъ истекать изъ самаго состава вымысла, — такъ, чтобы изъ прежде бывшаго слѣдовало, что все происходитъ или по необходимости, или по вѣроятію. Ибо большая разница, случится ли что чрезъ что-нибудь или послѣ чего нибудь.

ХІ. Части вымысла: 1) *Переломъ*. — Переломъ есть, какъ сказано, 1. перемѣна дѣлаемаго въ противную сторону, и притомъ, какъ сейчасъ сказали мы, вѣроятная, или необходимая. На примѣръ въ *Эдипѣ*: пришедшій утѣшить Эдипа и освободить его отъ страха со стороны матери, обливвъ ему, кто онъ, сдѣлалъ противное тому, чего хотѣлъ. И въ *Линкее* — вѣдуть человѣка на смерть, Данай идетъ за нимъ, чтобы убить его; а на дѣлѣ вышло, что Данай умеръ, а тотъ спасся.

2) *Узнаніе*. — Узнаніе, какъ и самое слово показываетъ, есть переходъ отъ незнанія къ знанію, ведущій или къ дружбѣ, или ко враждѣ — 2. тѣхъ, которые обречены на счастье или несчастье. Самое лучшее бываетъ узнаніе, когда съ нимъ соединяются и переломы, какъ случилось въ *Эдипѣ*. Вѣдъ бываютъ и другія узнанія; ибо, какъ сказано, случается иногда узнаніе, и относительно неодушевленныхъ предметовъ и иныхъ какихъ-нибудь; можно узнать и только то, сдѣлалъ ли кто что-либо, или не сдѣлалъ; но самое лучшее узнаніе въ вымыслѣ, самое лучшее въ дѣйствіи есть вышесказанное; ибо такое узнаніе и такой переломъ производятъ или жалость, или ужасъ; а трагедія и есть подражаніе таковымъ дѣйствіямъ. Притомъ при такого рода узнаніи и переломѣ непременно случится несчастье или счастье. 4.

Такъ какъ узнаніе есть узнаніе кого либо, то иногда узнаніе состоитъ 5. въ томъ, что одинъ узнаетъ другого, а самъ ему извѣстенъ; иногда же обоимъ приходится узнавать другъ друга. Такъ Ифигенія узнала была Орестомъ посредствомъ передачи письма; ему же относительно ея потребно было другое узнаніе.

6. 3) *Страсть*.—Итакъ въ этомъ отношеніи двѣ части вымысла — переломъ и узнавiе. Третья—страсть. Изъ нихъ о переломѣ и узнавiи сказано. Страсть же есть дѣйствіе болѣзненное и разрушительное, напр. смерть на сценѣ, мученія, раны и т. п.

1. XII. Части трагедіи. — О частяхъ трагедіи, которыми нужно пользоваться, какъ видами, мы сейчасъ сказали. По количеству-же, т. е., по тому, на какія отдѣльныя части разлагается трагедія, части трагедіи суть прологъ, епизодій, эксодъ, хорическая часть; хорическая часть бываетъ или пародомъ, или стасимомъ: это части общія всему хору; особенныя части: пѣсни со сцены и коммы.

2. *Прологъ* есть цѣлая часть трагедіи, которая предшествуетъ пароду *Епизодій* — цѣлая часть трагедіи, которая заключается между цѣлыми хорическими пѣснями. *Ексодъ* — вся та часть трагедіи, за которою хорическихъ пѣсней уже не бываетъ. Хорическія пѣсни: *пародъ* — первая часть всего хора, *стасимъ* — пѣснь хора безъ анакестовъ и трохеевъ, *комма* — общій плачь хора и со сцены.

3. Итакъ о частяхъ трагедіи, которыми нужно пользоваться (какъ видами), сказано прежде; а по количеству, т. е., по тому, на какія отдѣльныя части разлагается трагедія, части трагедіи таковы (какъ показано въ сей главѣ).

1. XIII (и XIV). Исходъ и цѣль трагедіи. — А о томъ, что слѣдуетъ составителямъ вымысловъ имѣть въ виду и что наблюдать и чѣмъ производиться дѣйствіе трагедіи, объ этомъ нужно говорить теперь непосредственно послѣ сейчасъ сказаннаго. Такъ какъ составу самой лучшей трагедіи надлежитъ быть не простымъ, а сплетеннымъ, и притомъ такимъ, который бы подражалъ ужасному и жалостному (въ этомъ существенное свойство такового подражанія): то очевидно, что не слѣдуетъ, 1) ни чтобы правдивые люди являлись переходящими отъ счастья къ злосчастью; это и не ужасно, и не жалостно, а только возмутительно; 2) ни чтобы порочные переходили отъ несчастія къ счастью: это всего болѣе чуждо трагедіи; тутъ нѣтъ ничего, чему быть слѣдуетъ, ни жалости, ни страха, ни состраданія; 3) ни чтобы слишкомъ порочный переходилъ отъ счастья къ злосчастью: жалостное въ составѣ такого рода еще быть можетъ, но ни состраданія, ни страха; ибо состраданіе возможно къ незаслуженно страдающему, страхъ — къ равному намъ; такъ-что такое событіе не будетъ ни жалостнымъ, ни ужаснымъ. Итакъ остается средній между всѣми таковыми; а такимъ бу-

детъ тотъ, кто не отличается ни добродѣтелью, ни правдивостью, впадаетъ въ злосчастье не по порочности и подлости, а по какому нибудь грѣху, и притомъ кто относится къ такимъ людямъ, которые пользовались великимъ почетомъ и счастьемъ, такъ, напр., Эдипъ, Оіестъ и другіе знатные люди изъ подобныхъ фамилій.

Итакъ необходимо, чтобы правильный вымыселъ былъ скорѣе простой, чѣмъ *двойной*, какъ нѣкоторые называютъ, и представлялъ переходъ не къ счастью отъ несчастія, а на оборотъ, отъ счастья къ несчастію, въ слѣдствіе не подлости, а какого-нибудь великаго грѣха; и притомъ, чтобы лицо трагедіи было или таково, какъ мы сказали, или болѣе хорошее, чѣмъ худое. Доказательство тому опытъ: прежде поэты брали вымыслы, какіе попадаю; а теперь для лучшихъ трагедій выбираются немногія фамиліи, напр., Алкмеонъ, Эдипъ, Орестъ, Мелеагръ, Оіестъ, Телефъ и другіе, кому пришлось или потерпѣть ужасное, или сдѣлать.

Итакъ относительно искусства самая лучшая трагедія такого состава. 6. Потому тѣ, которые именно это ставятъ въ укоръ Эврипиду, что онъ такъ и поступаетъ, т. е., что многія его трагедіи оканчиваются злосчастьемъ, ошибаются. Это, какъ сказали мы, правильно. Доказательство тому весьма сильное: на сценахъ и состязаніяхъ такія трагедіи, если хорошо выполнены, кажутся самыми трагическими. И Эврипидъ, хотя въ прочемъ не совсѣмъ хорошо распоряжается, оказывается самымъ трагическимъ изъ поэтовъ.

Второе мѣсто занимаетъ (нѣкоторые отдають ей первое) такая трагедія, которая имѣетъ составъ двойной, какъ, напр., *Одиссея*, и оканчивается противоположно для добрыхъ и для худыхъ. Первою она кажется по слабости зрителей; поэты въ такомъ случаѣ слѣдуютъ вкусу публики, угождая ей. Но не въ этомъ должно состоять удовольствіе трагедіи; это скорѣе свойственно комедіи. Тамъ, если бы даже выведены были лица, самыя враждебныя, въ родѣ Ореста и Эгиста, — къ концу выходятъ они друзьями, и никто ни отъ кого не умираетъ.

XIV. Ужасное и жалостное можетъ происходить отъ сценическаго представленія, можетъ — и отъ самого совокупленія дѣйствій: послѣднее выше и обличаетъ болѣе совершеннаго поэта. Слѣдуетъ вымыслу и безъ наглядности быть такъ составлену, чтобы слушающій, смотря по ходу событий, и содрогался и соболѣзновалъ: это всякій испытаетъ на себѣ, слушая вымыселъ — *Эдипа*. Достигать этого посредствомъ сценическаго представленія — менѣе художественно и требуетъ большихъ издержекъ; а произво-

- дящие ею не ужасное, а только чудесное, и вовсе ничего не смыслять въ трагедіи. Отъ трагедіи нужно требовать не всякаго, какое придется, удовольствія, но ей свойственнаго. А такъ какъ удовольствіе, берущее начало въ жалости и ужасѣ, слѣдуетъ поэту производить посредствомъ подражанія, то очевидно, что слѣдуетъ производить его дѣйствіями. Уяснимъ же себѣ, какіи столкновенія кажутся ужасны и какіи жалостны. Такія дѣйствія могутъ происходить или между друзьями, или между врагами, или между такими лицами, которыя, одно относительно другаго, ни друзья, ни враги. Если врагъ убиваетъ врага, то ни поступокъ, ни намѣреніе не производятъ ничего жалостнаго, кромѣ только одного непріятнаго ощущенія. Тоже бываетъ, если лица не находятся ни въ дружественныхъ, ни во враждебныхъ отношеніяхъ. Но если ужасающіе поступки случаются между друзьями, напр., если братъ брата, или сынъ отца, или мать сына, или сынъ мать убиваетъ, или собирается убить, либо другое что-нибудь подобное дѣлаетъ, — такихъ случаевъ нужно искать.
- Преданій передѣлывать не слѣдуетъ: я разумѣю, напр., смерть Клитемнестры отъ Ореста, Эрифилы отъ Алкмеона. Нужно и самому изобрѣтать, и преданными пользоваться правильно. Пояснимъ, что мы разумѣемъ подъ словомъ: *правильно*. Дѣйствіе можетъ произойти и такъ, какъ творили древніе: дѣйствующія лица знаютъ и понимаютъ, что дѣлаютъ (такъ и Эврипидъ представилъ Медею, убивающую своихъ дѣтей); а можетъ случиться и такъ: сдѣлать-то ужасное сдѣлаютъ, но не зная сдѣлаютъ, а потомъ узнаютъ близость свою къ убитому; какъ, напр., Софокловъ *Эдипъ*; впрочемъ это случилось въ трагедіи; примѣры подобнаго въ самой трагедіи — Алкмеонъ Астидаманта или Телегонъ въ *Раненомъ Одиссѣ*. Бываетъ еще кромѣ этихъ третій случай: кто нибудь по невѣдѣнію собирается совершить что-нибудь неисправимое и прежде чѣмъ совершить, увидѣть. Другихъ случаевъ, кромѣ этихъ, быть не можетъ: ибо необходимо или сдѣлать что-нибудь, или не сдѣлать, и притомъ или зная, или не зная. Изъ этихъ случаевъ намѣриваться что-нибудь сдѣлать, зная, что хочешь дѣлать, и не сдѣлать, — всего хуже: ибо и возмутительное въ себѣ содержать, и не трагично, потому что бываетъ безъ страданій. Потому такъ никто изъ поэтовъ не поступаетъ, развѣ только изрѣдка: напр., въ *Антигонѣ* — Гемонъ относительно Креонта. Второй за этимъ случай будетъ — сдѣлать. Но лучше — не зная, что-нибудь совершить, а потомъ узнать: ибо и возмутительнаго нѣтъ, и узнаніе бываетъ поразительно. А всего

сильнѣе дѣйствуетъ послѣдній случай; говорю о томъ, какъ, напримѣръ, въ *Кресфонтѣ* — Меровъ собирается убить сына и не убиваетъ: узнаетъ его. И въ *Ифигеніи* — сестра брата. И въ *Геллѣ* — сынъ, намѣриваясь убить мать, узнаетъ ее. Потому трагедіи, о чемъ уже сказано, вращаются около немногихъ фамилій. Поэты, руководимые не сознательнымъ образованіемъ, а удачею, напали на мысль давать такія свойства вымысламъ и бываютъ вынуждаемы обращаться къ такимъ фамиліямъ, съ которыми подобныя страсти приключились.

О совокупленіи дѣйствій и о томъ, какимъ слѣдуетъ быть вымысламъ, сказано достаточно.

XV. **Характеры.** — Относительно же характера нужно имѣть въ виду четыре условія: 1) Первое и главное условіе, чтобы характеръ былъ *честенъ*. Дѣйствующее лицо будетъ имѣть характеръ, если, какъ сказано, рѣчь его или поступки обнаружатъ склонность къ чему-нибудь или уклоненіе; и притомъ будетъ имѣть честный характеръ, если обнаружитъ честную склонность. А можетъ быть честный характеръ во всякомъ положеніи: ибо и женщина бываетъ честная, и рабъ; впрочемъ, конечно, одинъ характеръ хуже, другой worse. 2) Второе условіе, чтобы характеръ былъ *сообразенъ*: бываютъ характеры мужественные, но несообразно женщинѣ быть мужественною, либо страшною. 3) Третье, чтобы былъ *похожъ*, естественъ: это не значитъ еще творить честный и сообразный характеръ въ томъ смыслѣ, какой симъ словамъ сейчасъ придаю. 4) Четвертое, чтобы былъ *ровенъ*, послѣдователенъ: если лицо, послужившее предметомъ подражанія, не ровно, представляетъ характеръ не ровный, не послѣдовательный, все-таки и въ непослѣдовательности своей оно должно быть послѣдовательно. Примѣръ ненужной низости характера — Менелай въ *Орестѣ*; примѣръ характера неприличнаго и несообразнаго — плачъ Одиссея въ *Скиллѣ* и рѣчь Меланиппы; примѣръ неровности — *Ифигенія въ Авлидѣ*: умоляющая Ифигенія вовсе не похожа на Ифигенію въ концѣ трагедіи.

Нужно въ характерахъ, какъ и въ совокупленіи дѣйствій, всегда искать или необходимаго, или вѣроятнаго, такъ, чтобы такой-то говорилъ то-то или по необходимости, или по вѣроятію, и чтобы то-то случилось послѣ того-то или по необходимости, или по вѣроятію. Очевидно, что и развязки вымысловъ должны истекать изъ самаго вымысла, а не такъ, какъ въ *Медѣ*, отъ машины; или въ *Иліадѣ* — отплытіе. Машиною слѣ-

дуетъ пользоваться относительно того, что въ драмы, т. е., или относительно того, что прежде случилось, чего невозможно знать человѣку, или того, что послѣ случится, а это требуетъ объявленія и возвѣщенія: богамъ мы предоставляемъ все видѣть. Несообразнаго же ничего не должно быть въ дѣйствіяхъ, развѣ только въ трагедіи, какъ, напр., въ *Эдипъ* Софокла.

9. Такъ какъ трагедія есть подражаніе лучшимъ, то намъ нужно подражаніе хорошимъ портретистамъ: они, передавая кого-нибудь въ настоящемъ видѣ, дѣлаютъ портреты похожимъ и вмѣстѣ красивѣе. Такъ и поэту, когда онъ подражаетъ сердитымъ, лѣнивымъ и другіе недостатки въ характерѣ имѣющимъ, слѣдуетъ таковыхъ облагораживать; примѣръ суровости — Ахиллъ у Агафона и Гомера.

10. Такъ вотъ что нужно соблюдать; и въ добавокъ къ этому еще то, что связано съ ощущеніями, доставляемыми поэзію. Ибо и противъ нихъ можно часто погрѣшать. Объ нихъ достаточно сказано въ изданныхъ сочиненіяхъ.

1. XVI. Узнаніе. Виды его. — Что такое узнаніе, объ этомъ сказано прежде. Виды же узнанія суть: 1) первое, самое неискusstное, и къ которому весьма многіе прибѣгаютъ по неумѣію, — узнаніе посредствомъ знаковъ. Знаки бываютъ природенные, напр., копье, которое носятъ гиганты, или звѣзды, какія употребилъ Каркинъ въ *Θίστις*; либо приобретенные, и изъ нихъ одни на тѣлѣ, напр., шрамы, другіе внѣшніе, — на шейники, либо, какъ въ *Тиронъ*, колыбель. И ими можно пользоваться и лучше, и хуже. Напр., Одиссей посредствомъ шрама былъ иначе узнавъ кормилицею, иначе свинопасами. Иныя изъ такихъ узнаній дѣлаются только для удостовѣренія; они не такъ искусны: таковы всѣ подобныя узнанія; другія вслѣдствіе перелома, какъ, напр., узнаніе въ *Мыллѣ*: такія лучше. 2) Второй родъ узнаній — придуманныя поэтомъ, потому неискusstны: напр., въ *Ифигеніи* Орестъ даетъ знать, что онъ Орестъ; сестра же дѣлаетъ узнаніе посредствомъ письма; Орестъ говоритъ, чего хочетъ поэтъ, а не сказаніе. Потому это узнаніе недалеко отъ упомянутой ошибки: вѣдь Оресту можно было и имѣть что-нибудь на себѣ. И въ Софокловомъ *Тересѣ* — голосъ ткацкаго челнока. 3) Третіе узнаніе посредствомъ памяти, когда дѣйствующее лицо, увидѣвши что-нибудь, разчувствуется. Таково узнаніе въ *Кипріянахъ* Дикеогена: увидѣвши картину, онъ зарыдалъ; и въ *Алкиновомъ апологѣ*: Одиссей, услышавъ кифариста и вспомнивъ, зарыдалъ; отъ того послѣдовало узнаніе. 4) Четвертое узнаніе — посред-

ствомъ соображенія, какъ въ *Хозфоракъ*: кто-то пришелъ на Электру похожій; а похожаго, кромѣ Ореста, никого нѣтъ; значитъ, онъ пришелъ. Далѣе, узнаніе софиста Полінда, касающееся Ифигеніи; естественно Оресту сдѣлать такое заключеніе: сестра была принесена въ жертву; значитъ, и ему приходится быть принесену. Потомъ узнаніе въ *Тидѣ* Θεοδεκτα: пришелъ найти сына, а самъ гибнетъ. Потомъ въ *Финидахъ*: увидѣвши мѣсто, онъ заключили о предстоящей имъ судьбѣ, суждено-де имъ въ этомъ мѣстѣ умереть: тамъ онѣ выброшены были на берегъ. Бываетъ еще узнаніе, соединенное съ обманомъ зрителей, какъ въ *Одиссее* ложномъ отъстникѣ. Телемахъ сказалъ, что узнаетъ лукъ, котораго не видалъ; зрители полагаютъ, что онъ знаетъ лукъ, и такимъ образомъ обманулся.

Но всѣхъ лучше то узнаніе, которое вытекаетъ изъ самыхъ дѣйствій при правдоподобномъ изумленіи. Таково узнаніе въ Софокловомъ *Эдипѣ* и въ *Ифигеніи*: естественно, что она захотѣла поручить письмо. Лучше такія узнанія потому, что они одни только происходятъ безъ придуманныхъ знаковъ и безъ напейниковъ. Вторыя за ними посредствомъ соображенія.

XVII. Какъ нужно творить поэту? — Слѣдуетъ вымыслы совкуплять и выражать соотвѣтственной рѣчью, представляя ихъ живо передъ глазами. Тогда ясно видимъ, такъ сказать, присутствуемъ при самомъ дѣйствіи, и по тому найдемъ соотвѣтственное и не забудемъ никакъ о противоположномъ. Доказательство тому то, что ставилось въ укоръ Каркину: Амфіарай вышелъ изъ храма; зрители того не примѣтили, и онъ былъ осмистанъ: зрители были недовольны его появленіемъ. Даже жестами нужно, сколько возможно, содѣйствовать вымыслу: поэты одной природы въ страстяхъ съ выводимыми лицами больше возбуждаютъ довѣрія къ вымысламъ. Потому правдоподобіе и волнуется тотъ, кто на самомъ дѣлѣ расположенъ къ волненіямъ, и негодуетъ, кто склоненъ къ гнѣву. Отъ того поэзія возможна или для даровитаго человѣка, или для страстнаго: страстные легко переносятъ во всякое положеніе, даровитые способны обсудить все и усвоить. Какъ преданія, такъ и вымышленныя событія слѣдуетъ самому творящему представить сперва вообще, потомъ уже наполнять вставками и доводить до окончательной полноты. *Созерцать общее* — это я принимаю вотъ въ какомъ смыслѣ: возьмемъ *Ифигенію*: какую-то дѣвушку приносили въ жертву: она исчезла незамѣтно для присутствовавшихъ при жертвоприношеніи и перенесена была въ другую землю, въ

которой былъ законъ приносить иноземцевъ въ жертву богинѣ; тамъ она получила это жречество; спустя нѣсколько времени довелось брату жрицы прійти туда (что богъ по какой-то причинѣ велѣлъ ему туда прійти, и за чѣмъ онъ пришелъ, это не входитъ въ вымыселъ); когда онъ пришелъ, его схватили и намѣревались принести въ жертву; тутъ онъ *узналъ*, такъ-ли, какъ у Эврипида, или какъ у Полюида, — сказавши: «такъ не только сестрѣ, но и мнѣ суждено быть принесену въ жертву»; и отсюда

4. спасеніе его. Послѣ этого уже слѣдуетъ давать имена и дѣлать вставки. Но нужно обращать вниманіе, чтобы вставки были сообразны и естественны; напр., въ *Орестѣ* — безуміе, за которое онъ былъ схваченъ, и спасеніе посредствомъ очищенія. Въ драмахъ вставки коротки, а эпопея ими растлгивается. Главный вымыселъ *Одиссеи* не великъ: нѣкто много лѣтъ ужъ какъ отбылъ изъ дому, а Посидонъ его сторожитъ: онъ одинъ; а дома дѣла его вотъ въ какомъ положеніи: женихи расточаютъ его имущество, строятъ козни сыну; въ это время онъ самъ является, потерпѣвъ бурю; узнавши кое-кого, нападаетъ: самъ спасся, враговъ погубилъ. Вотъ въ чемъ сущность; прочее вставки.

1. XVIII. Завязка, развязка и т. п. — Во всякой трагедіи двѣ части: завязка и развязка. То, что въ трагедіи и часто нѣкоторыя изъ частей, входящихъ въ трагедію, — завязка; прочее — развязка. Я говорю: завязка есть то, что идетъ отъ начала до той части, которая въ этой первой части есть крайняя, и съ которой дѣлается переходъ къ злосчастью или къ счастью; развязка отъ сказаннаго начала перехода до конца; какъ напр. въ *Линкѣ* Теодекта завязка — отплате ребенка и все предшествовавшее, развязка отъ обвиненія въ убійствѣ до конца.

2. Видовъ трагедіи четыре (столько было показано и частей): 1) сплетенная, въ которой все заключается въ переломѣ и узнаніи, 2) страстная, напр. *Эанты* и *Иксионы*, 3) характерная, напр. *Феоитиды* и *Пелей* и 4) въ томъ родѣ, какъ *Форкиды*, *Прометей* и трагедіи, представляющія сцены въ аду.

3. Всего лучше стараться, чтобы трагедія имѣла все сіи свойства, или по крайней-мѣрѣ побольше ихъ, или хотъ самыя важныя; особенно теперь, когда такъ взыскательны къ поэтамъ: по всякой части (трагедіи) были хорошіе поэты; а теперь требуютъ, чтобы одинъ человѣкъ превосходилъ всякаго изъ прежнихъ поэтовъ въ томъ, чѣмъ каждый изъ нихъ особенно отличался.

Справедливо двѣ различныя трагедіи называть исходными; конечно не относительно вымысла, а вотъ въ какомъ отношеніи: если въ нихъ и завязка и развязка таже. Многіе хорошо завязываютъ, плохо развязываютъ; а нужно, чтобы тому и другому всегда рукоплескали.

Нужно, о чемъ выше упоминалось не разъ, помнить и стараться не дѣлать состава трагедіи эпическимъ (эпическимъ называю состоящій изъ многихъ вымысловъ), какъ, напр., еслибы кто-нибудь для трагедіи воспользовался всѣмъ вымысломъ *Иліады*. Тамъ по причинѣ длинноты этого рода произведеній части получаютъ надлежащую величину, а въ драмахъ вставокъ вовсе никто не ждетъ. Доказательство тому: тѣ, которые брали для трагедіи все *разрушеніе Иліады* (а не по частямъ, какъ Эврипидъ въ *Ніобѣ*: онъ поступилъ не какъ Эсхилъ), тѣ или падаютъ, или плохо состояются. Вотъ и Агаонъ только по этому и падалъ. Посредствомъ-же переломовъ и простыхъ вымысловъ поэты удивительно какъ достигаютъ своей цѣли: ибо это и трагично и возбуждаетъ жалость. А бываетъ это, когда умнаго, но съ примѣсю подлости человѣка обмануть, какъ, напр., Сизифа; или когда мужественнаго, но несправедливаго одолѣють. Это вѣроятно — въ томъ смыслѣ, какъ говоритъ Агаонъ: вѣроятіе требуетъ, чтобы многое случалось и противно вѣроятію.

И на хоръ нужно смотрѣть, какъ на одного изъ актеровъ и какъ на часть цѣлаго, чтобы онъ наравнѣ съ актерами состязался; должно слѣдовать въ этомъ не Эврипиду, а Софоклу. У прочихъ же трагиковъ представленіе болѣе касается вымысла, чѣмъ другихъ частей трагедіи; потому у нихъ расцѣпываются вставочныя пѣсни; началъ-же это дѣлать первый Агаонъ. А вѣдь какая разница — пѣть-ли вставочныя пѣсни, или перемѣщать изъ одной драмы въ другую — рѣчь, либо цѣлую часть трагедіи?

Перев. Б. Ордынскій.

(О поэзии Аристотеля. М. 1854 г.).

3. Примѣчанія къ Поэтикѣ Аристотеля.

Въ самомъ началѣ Аристотель объявляетъ, что въ настоящемъ сочиненіи онъ намѣренъ говорить о поэзіи и о *оудахъ* ея. Замѣчательно, что хотя Аристотель, равно какъ и Платонъ, зналъ различіе между родомъ и

видомъ, но въ настоящемъ случаѣ употребилъ слово видъ, εἶδος, а не родъ, γένος: различіе родовъ и видовъ поэзіи, какъ увидимъ и въ другихъ мѣстахъ, у Аристотеля не строго соблюдается. Далѣе, онъ намѣренъ говорить о вымыслахъ и о частяхъ поэтическихъ произведеній, «равно и о прочемъ, подлежащемъ тому же изслѣдованію». Последними словами Аристотель предупреждаетъ, что онъ не станетъ избѣгать разныхъ постороннихъ замѣтокъ, историческихъ, техническихъ и т. п. Начинаетъ же онъ свое изслѣдованіе съ самаго главнаго, ἀπὸ τοῦ πρώτου, именно съ того, чѣмъ сходны и чѣмъ различаются разные роды и виды поэзіи: «Эпопея, трагедія, далѣе—комедія, диоирамбическая поэзія и большая часть авлетики и кпоаристики — всѣ они вообще суть подражанія, различаются же тройко».

Итакъ по самому же началу мы можемъ заключить, что главное вниманіе обратить Аристотель на вымыслы, на составленіе вымысловъ; а искусно составлять вымыслы трагическому поэту болѣе было необходимо, чѣмъ какому либо другому греческому поэту, даже болѣе, чѣмъ комику Аристотелева или до-Аристотелева времени. Отсюда слѣдуетъ предположить, что Аристотель больше всего займется *трагедіею*. Это мы имѣемъ право предполагать даже и потому, что трагедія окончательно развилась и преимущественно воздѣлывалась во время Аристотеля. *Обо всѣхъ же видахъ и родахъ поэзіи* разсуждать Аристотель не намѣренъ: онъ упоминаетъ только виды; о комедіи и о лирической поэзіи говоритъ, какъ о чемъ то второстепенномъ (это видно изъ прибавки ἐν δευτέρῳ, далѣе). Говорить о нихъ подробно и нужды настоящей ему не было: комедія въ его время не отрѣшилась еще отъ постороннихъ цѣлей, не получила самостоятельнаго характера, продолжала еще быть государственнымъ и общественнымъ памфлетомъ, аѳинскою газетою; еще меньше можно ожидать отъ Аристотеля подробнаго разсужденія о лирической поэзіи; она тоже была несамостоятельна (даже не имѣла общаго имени: Аристотель называетъ ее то диоирамбическою, то помическою; мелическою стали называть ее только позднѣйшіе Греки) и тѣсно связывалась съ музыкою. Оттого и поставлена она Аристотелемъ рядомъ съ музыкою, съ авлетикою и кпоаристикою; а главное, лирическая поэзія не требовала вымысла, на который Аристотель намѣревается обратить преимущественное вниманіе. Объ эпопее онъ будетъ говорить, но только въ той мѣрѣ, въ какой нужно для того, чтобы опредѣлить отношеніе ея къ греческой трагедіи. Эпопея, по понятіямъ Пла-

тона, Аристотеля и вообще древнихъ Грековъ, есть *неразвитая трагедія*. Чтобы не возвращаться къ этому вопросу, рѣшимъ его теперь. Платонъ въ «Государствѣ» называетъ Гомера то первымъ учителемъ и вождемъ трагиковъ, то первымъ трагикомъ; говорить о «бравшихся за трагическую поэзію въ ямбахъ и въ гекзаметрахъ» (τοὺς τε τῆς τραγικῆς ποιήσεως ἀπορρέοντες ἐν ἰαμβοῖς καὶ ἐν ἑπεσὶ). А Аристотель прямо говоритъ (гл. IV, 8 — 10), что Иліада и Одиссея относятся къ трагедіи, какъ Маргитъ, комическій эпосъ, приписываемый имъ Гомеру, къ комедіи; что «когда явилась трагедія и комедія, то поэты, обратившись, каждый сообразно своей природѣ, къ одному изъ этихъ двухъ родовъ поэзіи, одни изъ ямбиковъ сдѣлались комиками, *другіе изъ эпиковъ трагиками, по той причинѣ, что эти роды поэзіи выше и почетнѣе тѣхъ*». Что Аристотель не различалъ строго трагедіи отъ эпопеи, это видно и изъ того, что когда приходится ему доказывать что-нибудь примѣрами, онъ часто, говоря о трагедіи, ссылается на эпопею (VIII 2—4, XIII, 7, XV, 7—8, XVI, 3, XVII 3, 5). И наоборотъ, говоря объ эпопее, ссылается на трагедію (XXIV, 10). Такъ смотрѣли на эпопею и позднѣйшіе Греки: въ извѣстныхъ схоліяхъ венеціанскихъ (Иліад. I, 332) говорится, что Гомеръ первый ввелъ въ *трагедію* пѣмья, т. е., неговорящія лица.

Итакъ безъ натяжки можно заключить по первымъ уже строкамъ Аристотелева сочиненія, что онъ займется не всѣми родами и видами поэзіи, что главное вниманіе обратить на трагедію и на составленіе вымысловъ. Все это и находимъ въ Поэтикѣ.

Обозначивъ вкратцѣ задачу настоящаго сочиненія, Аристотель начинаетъ съ самаго главнаго, именно, чѣмъ сходны и чѣмъ различаются разные виды поэзіи и музыки. Сходны они тѣмъ, что всѣ подражаютъ, различаются же тройко: или по средствамъ, или по предметамъ, или по способамъ подражанія. О томъ, чѣмъ сходствуютъ они, объ общемъ ихъ источникѣ, τὰ πρῶτα, о подражаніи, Аристотель говоритъ въ IV главѣ; въ первыхъ же трехъ — о показанныхъ различіяхъ. Различія эти разсматриваетъ онъ, сравнивая поэзію съ образовательными искусствами и музыкою.

Итакъ сперва о различіяхъ.

Различіе *по средствамъ* (ἐν οἷς). Какъ живописцы и скульпторы подражаютъ красками и образами, списывая съ предметовъ, а червоуѣщатели, рапсоды и актеры голосомъ, такъ и упомянутыя искусства подражаютъ ритмомъ, словомъ и гармоніею, или каждымъ изъ сихъ средствъ отдѣльно,

или соединяя ихъ одно съ другимъ. Гармонію и ритмъ подражаетъ музыка; однимъ ритмъ — пляска; поэзія же — словомъ, либо простымъ, либо метрическимъ, т. е., имѣющимъ ритмъ и гармонію.

Во II и III гл. Аристотель говоритъ о прочихъ двухъ различіяхъ. По предметамъ подражанія поэзія сравнивается опять съ живописью, пляскою и музыкою; берутся для разсмотрѣнія эпосъ, лира и драма. Въ этомъ отношеніи роды поэзіи различаются потому, лучшимъ ли обыкновенныхъ людей подражаютъ, или худшимъ, или такимъ же, каеъ мы.

Подражающіе одному и тому же и посредствомъ того же могутъ подражать различно: такъ выражается Аристотель, переходя къ объясненію третьяго различія. Отсюда можно заключить, что онъ послѣднее различіе считалъ особенно важнымъ; иначе едва ли бы сдѣлалъ такую оговорку. Различіе способовъ подражанія состоитъ въ томъ, что поэтъ или самъ отъ себя все рассказываетъ, и притомъ то говоря отъ своего лица, то заставляя говорить выводимыя имъ лица; или самъ ничего не говоритъ, а заставляя говорить выводимыя имъ лица и говорить и дѣйствовать. Подобнымъ образомъ различаетъ роды поэзіи и Платонъ въ «Государствѣ» (трагедія и комедія — *διὰ μιμήσεως ὅλη*, лирическая поэзія — *δι' ἀπαγγελίας αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ*, эпическая — *δι' ἀμιφότερων*).

Объясняя мысль свою примѣрами, Аристотель доходитъ до слова драма (*δραμα*) и объясняетъ его этимологически. Далѣе онъ говоритъ о началѣ драматической поэзіи и, окончивъ разсмотрѣніе различій поэзіи, переходитъ къ общему источнику поэзіи — подражанію.

Слово *μιμεῖσθαι* гораздо обширнѣе нашего подражать и вообще тѣхъ словъ, которые соотвѣтствуютъ ему въ новыхъ языкахъ. Оно, точно, означаетъ подражать, но имѣетъ и другія значенія; потому, по мнѣнію не только Аристотеля, но и Платона и вообще грековъ, *μιμεῖσθαι*, какъ мы видимъ, есть источникъ поэзіи. *Μίμησις* грекъ противопоставалъ разсказу, поученію, отвлеченному размысленію (рефлексіи). *Μίμησις* есть образное представленіе и потому — для грека — истинная цѣль поэзіи; чѣмъ образнѣе (*μιμητικώτερον*) поэтическое произведеніе, тѣмъ оно казалось ему совершеннѣе. Но чтобы вполне образно представить людей, чтобы вывести ихъ, какъ бы живыми, потребно сильное воображеніе и свободное творчество; потому греки называли человѣка, способнаго на это — *ποιητής*, творецъ. Воспроизвести природу, преобразить дѣйствительность въ поэтическое созданіе — вотъ что значить *μιμεῖσθαι*, вотъ въ чемъ цѣль поэзіи, по понятію грека.

О выраженіи *собственныхъ* чувствъ они рѣдко думали, чтобы не сказать, совсѣмъ не думали. По крайней мѣрѣ у Аристотеля объ этомъ помину нѣтъ; да едва ли и во всей греческой поэзіи найдутся примѣры выраженія собственной личности. Источникъ же силы, могущей воспроизвести дѣйствительность, заключается, естественно, въ способности изучать; а изучать мы можемъ *подражая*: опять *μιμεῖσθαι*! *Μίμησις* греки требовали даже отъ историка. Такъ Дурій Самійскій (Phot. Bibl. 398), укоряя Эфора и Теопомпа, говоритъ, что они «не могли утнаться за событіями, ибо не были причастны ни *подражанію*, ни наслажденію разсказа и только объ одномъ писаніи заботились». Плутархъ (De glor. Ath. 3) говоритъ, что историки отличаются отъ живописцевъ, между прочимъ, образомъ *подражанія*. Отсюда понятно, какая огромная разница между *μιμεῖσθαι* и *подражать*. Если я (говоритъ Ордынскій) по примѣру всѣхъ толкователей перевожу *μιμεῖσθαι* словомъ подражать, то къ этому меня вынуждаетъ только необходимость передавать это греческое слово вездѣ одинаково.

Объяснивъ источникъ поэтического творчества, Аристотель рассказываетъ, какъ постепенно развивалась поэзія, и какъ она дошла до наиболѣе совершенныхъ видовъ трагедіи и комедіи. Въ концѣ главы (IV) излагается кратко постепенное развитіе трагедіи.

Потомъ Аристотель переходитъ къ исторіи комедіи: послѣ исторіи высшаго вида важной поэзіи, естественно, должна слѣдовать исторія высшаго вида шутильной поэзіи. Но прежде чѣмъ приступить къ исторіи комедіи, онъ опредѣляетъ ее. Въ концѣ V главы, переходя къ настоящей цѣли сочиненія, показанной выше, Аристотель сравниваетъ трагедію съ эпосею; находитъ, что трагедія имѣетъ больше особенностей. «Потому, кто изучилъ свойства хорошей и плохой трагедіи, тотъ и эпосъ знаетъ, ибо что есть въ эпосѣ, есть и въ трагедіи, а что есть въ трагедіи, то не все заключается въ эпосѣ». Новое подтвержденіе тому, что Аристотель въ настоящемъ сочиненіи главное вниманіе хотѣлъ обратить на трагедію, эпосею же намѣревался разсмотрѣть только сравнительно съ трагедіею. И въ самомъ дѣлѣ: эпосѣ посвящено 4 главы, а трагедіи 14.

Въ VI главѣ Аристотель говоритъ о трагедіи, ссылаясь на то, что было имъ уже сказано раньше. Выше же было сказано, что трагедія выводитъ дѣйствующихъ лицъ лучшихъ, чѣмъ обыкновенные люди (III, 1) и дѣльныхъ (II), ограничена во времени (V, 4), ритмъ, гармонію и метръ (т. е. метрическую рѣчь безъ пѣнія) употребляетъ поочередно (I, 10).

Послѣ этого слѣдуетъ полное опредѣленіе трагедіи: «трагедія есть подражаніе дѣйствию важному и законченному (цѣлостному VII, 2, VIII, 4) имѣющему величину (VII, 2—нѣкоторую величину), подражаніе украшенной рѣчью, разными видами сей рѣчи въ разныхъ частяхъ; подражаніе дѣйствующимъ, а не посредствомъ разсказа; совершающее съ помощью состраданія и страха очищеніе таковыхъ страстей». Кромѣ послѣдняго признака всѣ остальные были уже показаны выше. Слова: «украшенной рѣчью» и «разными видами сей рѣчи» поясняются; послѣднія слова опредѣленія объ очищеніи страстей, болѣе требующія поясненія, остались безъ объясненія.

Самое основательное толкованіе этого мѣста Аристотелевой поэтики принадлежитъ Лессингу. Для объясненія словъ Аристотеля Ордынскій приводитъ тѣ мѣста изъ сочиненій этого философа, гдѣ говорится о страхѣ, состраданіи и очищеніи, т. е., 5 и 8 главы II книги «Риторики» и конца «Государства».

Вотъ эти мѣста въ переводѣ: *Риторика* II, 5. Страхъ будетъ нѣкая боль (скорбь) или потрясеніе отъ представленія грозящаго *ла разрушительнаго или болѣзненнаго*. Вѣдь не всякое зло страшно: не страшно, напримѣръ, оказаться несправедливымъ или непонятливымъ; страшно то, что производитъ великія скорби или разрушеніе, и притомъ когда страшный предметъ показывается не вдали, а близко, такъ что грозятъ намъ: слишкомъ далекаго не страшатся. Вѣдь всѣ знаютъ, что умрутъ, но смерть не близка, потому о ней не думаютъ. А когда страхъ таковъ, то необходимо страшны предметы, которые обнаруживаютъ великую разрушительную силу или могутъ причинить вредъ, клонящійся къ великой скорби. Потому и признаки такихъ предметовъ страшны, указывая на близость страшнаго; приближеніе же страшнаго есть опасность.

Слѣдуетъ исчисленіе страшныхъ предметовъ:

Таковы — вражда и гнѣвъ могущихъ что нибудь сдѣлать: они, очевидно, захотятъ достигнуть своей цѣли; — неправда, имѣющая силу: неправедный, обидчикъ обижаетъ по злонамѣренности; — обиженная добродѣтель, имѣющая силу: очевидно, что добродѣтельный человѣкъ, будучи обиженъ, рѣшится отомстить, когда захочетъ; а теперь онъ и силу имѣетъ; — страхъ могущихъ что нибудь сдѣлать: естественно, что и они всегда бываютъ наготовѣ; а такъ какъ большинство людей наклонно къ корысти и трусливы въ опасностяхъ, то обыкновенно страшно зависѣть отъ другаго; зная за нами преступленіе, многіе страшны тѣмъ, что могутъ довести или измѣнить. По-

томъ страшны могущіе обидѣть: люди большею частью обижаютъ, когда могутъ; — обиженные или полагающіе, что ихъ обидѣли: они всегда ищутъ случая отомстить; и обидчики, если имѣютъ силу, страшны, потому что боятся нести. Потомъ страшны соперники. Изъ обиженныхъ, враговъ и соперниковъ страшны не столько вспыльчивые и откровенные, сколько смиренные, двуличные и лукавые. Все страшное тѣмъ страшнѣе бываетъ, чѣмъ труднѣе поправить сдѣланную нами ошибку, и если исправленіе ошибки или совершенно невозможно, или зависѣть не отъ насъ, но отъ противниковъ нашихъ; особенно страшно то, чему пособить нельзя или нелегко. Словомъ сказать, *страшно то, что, случись съ другимъ или угрожай другому, возбуждаетъ въ насъ состраданіе*.

Если страхъ связанъ съ ожиданіемъ какого нибудь разрушительнаго страданія, то очевидно, что никакъ не подвергается ему, кто думаетъ, что онъ ничего не потеряетъ; кто не представляетъ себѣ ни предметовъ страшныхъ, ни людей, ни времени страшнаго. А таковы наслаждающіеся — дѣйствительно или воображаемо — *великими частіями* (потому они нахальны, безпечны и дерзки; а дѣлаетъ людей такими — богатство, сила, связи, могущество), или воображающіе, что они *всего потерпѣли*, и охладѣвшіе ко всему будущему, какъ, напримѣръ, подвергшіеся казни. Страхъ дѣлаетъ человѣка предприимчивымъ, а никто не бываетъ предприимчивъ, впадъ въ безнадежное положеніе. *Потому нужно дѣлать такими людей, когда покажется, что полезнее, чтобы они боялись; нужно доказывать имъ, что они повинны страданіямъ, что и другіе люди, могущественнѣе ихъ, страдали; нужно показывать, что подобныя имъ страдаютъ или страдали, и притомъ отъ тѣхъ, отъ кого не чаяли, и тогда, когда не чаяли*.

Страху діаметрально противоположна отвага (δάρσος). Изчисливъ разные виды ея, или точнѣе выведши ихъ, какъ противоположности видамъ страха, изъ предыдущаго, Аристотель заключаетъ: „Отвага бываетъ вообще, когда человѣкъ находится въ добрыхъ отношеніяхъ къ богамъ, особенно по знаменіямъ и прорицаніямъ (т. е. если знаменія и прорицанія показываютъ, что боги къ человеку благоволятъ), ибо негодованіе (ἡ ὀργή) *» отважно, а причина негодованія — не обижать, но быть обижену; обиженнымъ, полагають, помогаетъ божество“.

*) Ὀργή и δάρσος (отвага) суть виды мужества, ἀνδρεία, и почти синонимы, какъ видно изъ II кв. 8 гл.: καὶ μήτε ἐν ἀνδρείᾳ πάσαι ὄντας (ἐλθόντι) οἷον ἐν ὀργῇ ἢ δάρσει.

Ритор., II, 8. Состраданіе будетъ иѣкая боль (скорбь) при видѣ зла разрушительнаго или болѣзненнаго, которое постигаетъ невиннаго и можетъ приключиться и съ нами самими или съ кѣмъ нибудь изъ нашихъ, и притомъ когда показывается близко. Очевидно, что сострадать способенъ такой человекъ, который полагаетъ, что или самъ онъ, или кто нибудь изъ близкихъ ему можетъ подвергнуться какой-либо бѣдѣ, и притомъ такой бѣдѣ, какая сказана въ опредѣленіи (т. е. разрушительной или болѣзненной), или похожей, или подобной. Потому не сострадаютъ ни совершенно пошибіе: полагаютъ, что имъ нечего больше терпѣть, они ужъ всего натерпѣлись! ни воображающіе себя на вершѣ счастья: такіе не сострадаютъ, напротивъ обижаятъ, ибо, если полагаютъ они, всѣ блага въ ихъ распоряженіи, то очевидно, — и невозможность потерпѣть какую-либо бѣду; вѣдь и это одно изъ благъ.

Потомъ изчисляются способные къ страданію. Таковы: потерпѣвшіе уже несчастье и избавившіеся отъ него, пожилые люди (и по благоразумію и по опытности), слабые, робкіе, воспитанные (они разсудительны); у кого есть родители, дѣти, жены; не отважные, не наглецы (отважные и наглецы не думаютъ о будущемъ); не слишкомъ запуганные (имъ мѣшаетъ сострадать собственное горе); вѣрующіе, что есть на свѣтѣ честные люди (кто не вѣритъ этому, тотъ считаетъ всѣхъ достойными несчастій).

Затѣмъ изчисляются предметы разрушительные: смерть, увѣче, старость, болѣзнь, голодъ, изгнаніе друзей, разлука съ друзьями, позоръ, благодѣяніе не въ пору и т. п. Послѣ этого объясняется, кому можно сострадать.

Сострадаемъ знакомымъ, если они не находятся въ очень близкомъ свойствѣ съ нами: къ такимъ людямъ мы чувствуемъ то же, что къ намъ самимъ. Потому-то и Амасій не заплакалъ, говорить, когда вели сына его на казнь, но заплакалъ, когда увидѣлъ, что другъ его проситъ милостыню: это возбуждаетъ состраданіе, а то ужасъ. Ужасное отличается отъ возбуждающаго состраданіе, уничтожаетъ его и часто производитъ совершенно противоположное дѣйствіе. Потому мы сострадаемъ, когда ужасное близко къ намъ. Сострадаемъ похожимъ на насъ по лѣтамъ, по характеру, по отношеніямъ, по общественному положенію, по роду.

А такъ какъ возбуждаютъ состраданіе бѣдствія, близко совершающіяся, случившемуся же за десять тысячъ лѣтъ, или имѣющему случиться черезъ десять тысячъ лѣтъ мы или вовсе не сострадаемъ, или не

такъ, какъ близкому событію, либо потому, что не боимся, либо потому, что не помнимъ ихъ: то естественно, что тѣ, которые передаютъ ихъ съ сообразными жестами, сообразнымъ голосомъ, въ сообразной одеждѣ, — вообще посредствомъ сценическаго искусства, — особенно возбуждаютъ состраданіе, ибо они приближаютъ къ намъ бѣду, показываютъ ее въблизи, передъ нашими глазами, какъ имѣющую случиться, или случившуюся. И недавно случившееся или имѣющее скоро случиться болѣе возбуждаетъ состраданія по той же причинѣ; и знаки, и дѣла также, наприм., одежда потерпѣвшаго несчастье и т. п., рѣчи подвергшихся несчастію, напр., умирающихъ. Особенно же въ подобномъ положеніи возбуждаетъ состраданіе добродѣтельный. Все это возбуждаетъ болѣе состраданія вслѣдствіе того, что близко совершается; именно когда страданіе незаслуженно и на глазахъ нашихъ совершается.

Государство. Мы полагаемъ, не ради одной пользы слѣдуетъ заниматься музыкою, но и ради многого другаго: напр., ради воспитанія и очищенія; въ третьихъ — для времяпровожденія, для отдыха.

Потомъ, сказавъ, что разные роды музыки различно приспосаблиются къ этимъ цѣлямъ, Аристотель продолжаетъ:

Страсти, дѣйствующія въ сильной степени на нѣкоторыя души, возбуждаются всѣми родами музыки; разница только въ большей или меньшей степени, напр., состраданіе, страхъ и еще восторгъ. Многіе подвергаются этому потрясенію души; но мы видимъ, что они отъ священныхъ пѣсней, послушавъ пѣсней, освящающихъ душу, приходятъ въ себя, получивъ какъ-бы врачеваніе и очищеніе. То же самое, естественно, испытываютъ и сострадательные и страшливые и вообще страстные люди, и прочіе также, по скольку на каждого досталось страсти; и всѣмъ имъ бываетъ нѣкоторое очищеніе, и всѣ они облегчаются съ наслажденіемъ. Такъ и очистительныя пѣсни доставляютъ людямъ удовольствіе безвредное.

Приведемъ еще нѣсколько мѣстъ изъ Поэтики. Говоря о дѣйствіи трагедіи, Аристотель самой лучшей трагедіей называетъ ту, которая подражаетъ страшному и жалостному; въ этомъ существенное свойство ея, этимъ доставляетъ она удовольствіе (XIII, 2, 8). Ибо она должна доставлять не всякое, какое придется, удовольствіе, но ей свойственное. „А такъ какъ удовольствіе, коренившееся въ состраданіи и страхѣ, слѣдуетъ поэту производить посредствомъ подражанія, то очевидно, что слѣдуетъ производить его дѣйствіями“. Трагикъ долженъ искать такихъ страшныхъ событій,

которые случились между людьми, близкими по родству (XIV, 2—4). Потомъ, начиная съ VII главы, Аристотель безпрестанно напоминаетъ, что событія должны истекать одно изъ другаго или по вѣроятію, или по необходимости, что ужасъ и состраданіе должны возбуждаться самими дѣйствіями, самымъ совокупленіемъ дѣйствій, а не вѣшной обстановкою; что (IX) особенно они возбуждаются, когда дѣйствія происходятъ неожиданно, одно вслѣдствіе другаго; и изъ случайныхъ произшествій тѣ особенно насъ удивляютъ, которые повидимому какъ-бы нарочно случились: тогда кажется намъ что и случайныя произшествія случились не случайно, не спроста. Вѣроятіе (XVIII, 6) требуетъ, чтобы многое случалось и противно вѣроятію. И эпопея должна доставлять свойственное ей удовольствіе. (XXIII, 1, XXVI, 7).

Вотъ тѣ мѣста, которые могутъ привести къ объясненію Аристотелева опредѣленія трагедіи. Сличая опредѣленія страха и состраданія въ Риторикѣ, мы находимъ, что между обоими потрясеніями души есть связь, показанная впервые Лессингомъ. И страхъ и состраданіе возникаютъ въ душѣ человѣка при видѣ близкой бѣды, разрушительной или болѣзненной; возникаютъ въ душѣ тѣхъ, которые способны страшииться за себя, сострадать другому; но невозможны въ человѣкѣ—или притупившемъ отъ собственныхъ бѣдствій, или поставившемъ себя выше людскихъ страданій. Различаются же страхъ и состраданіе тѣмъ, что первый чувствуемъ мы, когда бѣда грозитъ намъ самимъ, второе—когда она грозитъ человѣку намъ близкому: «страшно то, что, случись съ другимъ или угрозой другому, возбуждаетъ въ насъ состраданіе».

Можно сказать и наоборотъ: возбуждается состраданіе тѣмъ, что, случись съ нами или угрозой намъ, возбуждаетъ страхъ. Состраданіе есть высшая степень жалости по человѣчеству, τὸ φιλανθρωπικόν. По человѣчеству намъ жалъ и преступника. «Посмотрите, говоритъ Мендельсонъ, авторъ «Писемъ объ ощущеніяхъ», на ту толпу, которая густою массою тѣснится вокругъ осужденнаго. Эти люди слышали о всѣхъ тѣхъ ужасныхъ дѣяніяхъ, какія совершилъ порочный человѣкъ; они съ омерзевіемъ отнеслись къ его поступкамъ и, можетъ быть, къ нему самому. Теперь его влекутъ изувѣченнаго и лишеннаго силы вредить къ ужасному эшафоту. Каждый старается пробраться сквозь толпу; нѣкоторые становятся на цыпочки, взлѣзаютъ на крыши домовъ, чтобы видѣть это лицо, искаженное страхомъ смерти. Приговоръ прочтенъ; палачъ подходитъ къ нему;

черезъ мгновеніе рѣшится его участь. Какъ горячо теперь всѣ желаютъ, чтобы онъ былъ прощентъ! Онъ, предметъ ихъ омерзевія, котораго они за минуту передъ тѣмъ сами бы осудили на смерть! Чѣмъ теперь снова вызывается въ нихъ искра человѣколюбія? Не близостью ли казни, не видомъ ли ужасныхъ физическихъ страданій, которыя примиряютъ насъ даже съ гнуснымъ злодѣемъ и вызываютъ въ насъ любовь къ нему? Безъ любви мы не можемъ имѣть состраданія къ его участи» (Гамб. Драм. статья LXXVI).

И Аристотель, изчисляя (XIII, 2) нетрагическіе случаи, говоритъ, что переходъ слишкомъ порочнаго отъ счастія къ злосчастью хотя и не возбуждаетъ въ насъ состраданія и страха, но все-таки возбуждаетъ жалость по человѣчеству, φιλανθρωπία. Если къ этой жалости присоединится страхъ, что и съ нами можетъ то же случиться, жалость переходитъ въ состраданіе. «Именно эту любовь (говоритъ Лессингъ (ibid), которая не изсякаетъ въ насъ совершенно по отношенію къ нашему ближнему, ни при какихъ обстоятельствахъ, а неугасимо тлѣетъ подъ пепломъ, которымъ покрываютъ ее другія, болѣе сильныя ощущенія, и только ждетъ благоприятнаго момента бѣдствія, страданія и гибели, чтобы вспыхнуть яркимъ пламенемъ *состраданія*,—именно эту любовь разумѣетъ Аристотель подъ словомъ филантропія».

Если страхъ есть прямая причина состраданія, то напротивъ ужасъ, τὸ δεινόν, уничтожаетъ его и часто производитъ дѣйствіе, противоположное состраданію, какъ доказывается примѣромъ египетскаго царя Амасія: когда вели сына его на казнь, онъ не заплакалъ, а когда увидѣлъ, что другъ его просить милостыню, заплакалъ. Бѣдствіе очень близкихъ къ намъ людей трогаетъ насъ, какъ наше собственное. Отсюда видно, какъ слѣдуетъ возбуждать въ насъ искусственно страхъ и состраданіе.

Но для чего возбуждать ихъ?

Отвѣта (или лучше, спокойствіе совѣсти), бываетъ въ насъ тогда, когда человѣкъ находится въ добрыхъ отношеніяхъ къ богамъ, когда онъ не обижаетъ другихъ. Но съ другой стороны человѣкъ, какъ существо живое и потому чувствительное, αἰσθητικόν, долженъ сочувствовать чужому горю и чувствовать свое, долженъ сострадать и страшииться. Только тѣ, у кого окаменѣло сердце отъ гордости или притуплено отъ чрезмѣрныхъ страданій, только тѣ неспособны ни сострадать, ни страшииться. Но кто не утратилъ еще вѣры въ добро, тотъ сострадаетъ чужому горю. Состра-

даніе есть даже признакъ чловѣка *воспитаннаго* (πεπαιδευμένου), какъ и вообще *чувствительность*, даже нѣжное тѣло, есть признакъ даровитости (по мнѣнію Аристотеля). Понятно теперь, для чего нужно искусственно возбуждать страхъ и состраданіе: кто не чувствуетъ ихъ, тотъ не чловѣкъ. Какъ же возбуждать ихъ?

Страхъ и состраданіе, обыкновенно чувствуемыя нами въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, эгоистичны: ощущаются только тогда, когда бѣдствіе угрожаетъ намъ самимъ или близкимъ къ намъ людямъ. Но тому, кто отдѣленъ отъ насъ мѣстомъ или временемъ, мы не сострадаемъ, если насъ не *заставятъ* сострадать. А заставляютъ тѣ, которые передаютъ намъ событія далекія отъ насъ, съ сообразными жестами, сообразнымъ голосомъ, въ сообразной одеждѣ, вообще посредствомъ *сценическаго искусства*; они *приближаютъ* къ намъ далекую бѣду, показываютъ ее вблизи, передъ нашими глазами, доказываютъ намъ, что мы все повинны страданіямъ, что и другіе люди, сильнѣе, знатнѣе насъ, и тѣ страдали и притомъ отъ тѣхъ, отъ кого не чаяли, и тогда, когда не чаяли.

Такое искусственное возбужденіе страха и состраданія, очевидно, возноситъ чловѣка отъ частнаго къ общему, пробуждаетъ въ немъ общечловѣческую любовь и сознаніе чловѣческаго достоинства. Отваги оно, естественно, не лишитъ чловѣка: бѣдствіе, которому заставляютъ его сострадать и вмѣстѣ страшиться, что и съ нимъ то же самое бѣдствіе можетъ случиться, потому что и онъ чловѣкъ, — это бѣдствіе не обрушивается ни на насъ самихъ, ни на близкихъ намъ людей. Лишившіеся способности чувствовать свое горе и сочувствовать чужому, жестокосердые и безнадѣжные, получаютъ *врачеваніе*, врачуются отъ своей закоснѣлости и тупости *), въ способныхъ же сострадать и страшиться эти и подобныя имъ страсти *очищаются*, очищаются именно отъ всего личнаго, частнаго; все, наконецъ, *облегчается съ наслажденіемъ*, вкушаютъ *удовольствіе беззредное*, возносясь душою до общечловѣческой любви, до сознанія чловѣческаго достоинства! Разумѣется, это очищеніе, облагороженіе, такъ сказать, души возможно только тогда, когда трагедія вполне выполняетъ свое дѣло, ἔργον τραγῳδίας, когда все событія представлены разумно (IX, XIII, XIV).

*) Невольно приходитъ на память конецъ Гоголева «Разбѣзда»: «и молить онъ вновь у неба горя и страданій, чтобы только жить и залиться вновь такими слезами» и т. д.

Остается сказать, какія страсти разумѣлъ Аристотель подъ «такowymi» (VI, 3). И тутъ Лессингъ удовлетворяетъ больше всехъ, какъ предшествовавшихъ ему, такъ и слѣдовавшихъ за нимъ толкователей. «Трагедія, говоритъ онъ, должна возбуждать въ насъ состраданіе и страхъ, чтобы очищать только эти и подобныя имъ страсти, а не всякія безъ различія. — Аристотель подъ *состраданіемъ и страхомъ и подобными* страстями разумѣетъ не только состраданіе, но и великое чувство жалости, коренящееся въ любви къ чловѣчеству; не только страхъ, но и всякое непріятное ощущеніе, истекающее отъ настоящаго, либо отъ прошедшаго зла, напр. огорченіе, скорбь. Хотя встрѣчаются въ трагедіяхъ полезныя поученія и примѣры, которые могутъ послужить къ очищенію и другихъ страстей (напр. любопытства, честолюбія, гнѣва, любви и т. п.), однако, не въ этомъ состоитъ назначеніе трагедіи. Все роды поэзіи должны улучшать насъ, и жалъ, что это нужно доказывать; еще больше жалъ, что есть поэты, которые въ этомъ сомнѣваются. Но не всякій родъ все улучшаетъ въ одинаковой степени; что особенно улучшается извѣстнымъ родомъ, въ чемъ никакой другой родъ не можетъ съ нимъ сравниться, въ томъ только истинное его назначеніе».

Слова Лессинга напоминаютъ изреченіе Аристона у Плутарха (О слушаніи, 8): «ни бая, ни рѣчь не приносятъ пользы, если не очищаютъ».

Опредѣливъ трагедію и объяснивъ нѣкоторыя выраженія опредѣленія, которыя, казалось ему, могутъ быть неясны, Аристотель переходитъ къ дальнѣйшему объясненію.

Такъ какъ въ трагедіи подражаютъ *дѣйствуя*, то первую частію, или стихією, трагедіи будетъ 1) наглядность, ὄψις, ὅψις, т. е. различіе, относящіяся сюда околичности, ὁ τῆς ὀψις κόσμος, т. е. сценическая обстановка; потомъ 2) пѣсенность, μελοποιία, и 3) рѣчь, λέξις. Изъ этихъ трехъ стихій трагедіи двѣ первыя названы у Аристотеля такими именами, которые современникамъ его были понятны; третью онъ называлъ словомъ, которое въ обыкновенномъ языкѣ (какъ и наше: *рѣчь*) имѣло не то значеніе, которое придано ему въ настоящемъ случаѣ; потому онъ его толкуетъ: «рѣчью называю составленіе метровъ», т. е. метрической части трагедіи.

Такимъ образомъ Аристотель показалъ, *какъ и чѣмъ* подражаетъ трагедія: подражаетъ она посредствомъ наглядности, *наглядно*, — пѣсенностью и метрическимъ языкомъ. Остается показать, *чему* она подражаетъ (ср. I,

3, III, 2). Подражаетъ она вымыслу, пониманію и характеру. И такъ всего въ трагедіи можетъ быть *шесть* частей. О трехъ послѣднихъ частяхъ считаю нужнымъ теперь, прежде чѣмъ перейду къ дальнѣйшему изложенію VI главы, сказать нѣсколько пояснительныхъ словъ.

Вымысломъ, *μῦθος*, называетъ Аристотель то, что мы называемъ 1) содержаниемъ и 2) сюжетомъ. Последнее слово едва ли замѣнно русскимъ словомъ; не менѣе насъ затруднило въ этомъ отношеніи и Аристотель. Опъ, по всей вѣроятности, первый усвоилъ слову *μῦθος* то значеніе, которое имѣетъ оно въ разбираемомъ нами сочиненіи, и которое я рѣшился придать нашему слову: *вымыселъ*; оно мнѣ кажется точнѣе и опредѣленнѣе *басни*, *фабулы*.

Самая важная стихія, цѣль трагедіи (а цѣль важнѣе всего), начало и душа трагедіи, есть вымыселъ, совокупленіе дѣйствій; трагедія подражаетъ не просто людямъ, а дѣйствіямъ, жизни, счастью и несчастью людей; не качество, не характеры людей описываетъ, но дѣйствія представляетъ, а чрезъ посредство дѣйствій захватываетъ и характеры. Безъ дѣйствія трагедія невозможна, а безъ характеровъ возможна: таковы трагедіи молодыхъ поэтовъ: они, будучи неопытны, описываютъ только симптомы страсти (*πάθος*) не обращая вниманія на характеръ, на личность (*ἦθος*) одержимаго страстью. Аристотель приводитъ еще три доказательства важности вымысла; между прочимъ, — что начинающіе сочинять трагедіи и первые трагическіе поэты скорѣе могутъ довести до удовлетворительнаго совершенства рѣчь и характеры, чѣмъ совокупить дѣйствія.

Вторая по важности стихія трагедіи *характеръ*. Какъ въ живописи очеркъ, контуръ, главнѣе красокъ (простой контуръ иного живописца больше нравится, чѣмъ картина другаго, яркими и прекраснѣйшими красками раскрашенная, но не совершенная по рисунку), такъ и въ трагедіи вымыселъ главнѣе характера.

Слѣдуютъ опредѣленія *пониманія* и *характера*. Пониманіе опредѣлено еще два раза: сперва само по себѣ, какъ *способность понимать существовавшее и надлежащее*; потомъ сравнительно съ характеромъ: «характеръ есть то, что выражаетъ наклонность, какова она? Потому въ рѣчахъ, въ которыхъ вовсе не видно, къ чему наклоненъ и чего избѣгаетъ говорящій, характера нѣтъ. Пониманіе же есть то, чѣмъ высказываютъ что-нибудь, т. е., что оно есть или не есть; вообще что-нибудь выражаютъ».

Затѣмъ опредѣляется *речь*, *λέξις*, (теперь дается ей значеніе об-

ширнѣе прежняго и обыкновенное) и показывается важность пѣсенности, мелопеи.

Глава заключается замѣчаніемъ о наглядности: для устройства ея требуется больше искусство машиниста, чѣмъ поэта; потому она не подлѣжитъ настоящему разсмотрѣнію. Хотя наглядность больше всего трогаетъ душу, но къ поэзіи не относится; сила трагедіи должна высказываться и безъ представленія. Тоже Аристотель повторяетъ и въ началѣ XIV главы. Какъ связать эти слова о наглядности съ предъидущими (§ 4)?

Если всякое поэтическое произведеніе есть подражаніе, то трагедія въ особенности: она подражаетъ не только дѣйствию, но даже дѣйствующимъ; въ ней самъ поэтъ, отъ своего лица, не долженъ ничего говорить. Потому наглядность въ трагедіи необходима. Трагикъ во время сочиненія трагедіи непремѣнно обязанъ представлять выводимыя имъ лица, какъ бы живыми, долженъ даже (XVII) жѣстами дѣйствовать. Но отнюдь не долженъ соображаться со способностями актеровъ, которые будутъ разыгрывать его трагедію, со средствами сцены, на которой она будетъ поставлена: это не его дѣло, это дѣло режиссера, машиниста (*τοῦ μηχανοποίου*). Въ этомъ отношеніи Аристотель безъ сомнѣнія одобрилъ бы Шекспира, который творилъ свои трагедіи, не сообразуясь не только съ бѣдными средствами англійской сцены его времени, но даже и съ тѣмъ, могутъ ли его драмы быть поставлены на какую бы то ни было сцену. Еще менѣе трагикъ долженъ рассчитывать на сценическіе эффекты, еще менѣе долженъ онъ замѣнять «составъ дѣйствій» великолѣпными декораціями, фейерверками, машинами и тому подобными ребяческими, балаганными прикрасами. Иными словами: наглядность, требуемая Аристотелемъ отъ трагического поэта, есть наглядность *жизни*, а не *сцены*.

Въ главахъ VII и VIII слѣдуетъ дальнѣйшее развитіе мыслей, высказанныхъ въ предъидущей главѣ (VI). Такъ какъ вымыселъ есть первая и самая главная часть трагедіи, то Аристотель и переходитъ къ нему, повторивъ вернатъ прежнее опредѣленіе трагедіи (VI, 2) и нѣсколько пояснивъ его: «трагедія есть подражаніе дѣйствию законченному и *цѣлому*, имѣющему *нѣкоторую* величину», и объясняетъ, въ чемъ состоитъ цѣлость и величина.

А что *цѣлостно*, что имѣетъ начало, средину и конецъ, то и *едино*. Въ собраніи разнородныхъ частей не можетъ быть цѣлостности, а потому и единства. Нѣтъ единства дѣйствія и тогда, когда рассказъ обращается

около одного лица. Всѣ части вымысла должны быть необходимы и необходимо быть на своемъ мѣстѣ, должны быть «такъ совокуплены, чтобы при перестановкѣ или отнятіи какой-либо части, измѣнялось бы и разстраивалось цѣлое».

Въ главѣ VIII Аристотель хвалитъ Гомера за то, что онъ не соединялъ такихъ дѣяній, «вслѣдствіе одного изъ которыхъ другому не было *ни впроятіи, ни необходимости* случиться»; иными словами, за то, что онъ совокуплялъ дѣйствія, *возможныя по впроятію или по необходимости*.

«Изъ сказаннаго явствуетъ, такъ начинается IX глава, что дѣло поэта излагать не столько случающееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е., *возможное по впроятію или по необходимости*».

Потому поэзія отъ исторіи отличается не одною формою, не тѣмъ только, что поэтъ выражается мѣрною рѣчью, а историкъ немѣрною, прозаическою (ср. I, 6—8), но тѣмъ, что одинъ излагаетъ—что можетъ случиться, а другой—что случилось. Но это не исключаетъ изъ области поэзіи и дѣйствительно случившагося. Хотя въ комедіи (современной Аристотелю) всѣ лица вымышлены, хотя и въ трагедіи иногда нѣсколько, а иногда и всѣ лица тоже вымышлены, тѣмъ не менѣе не слѣдуетъ осуждать тѣхъ трагическихъ поэтовъ, которые держатся именъ и событій историческихъ. «*Возможное впроятно*, а чего не случилось, въ возможность того мы еще не вѣримъ; но что случилось, то, очевидно, возможно». Съ другой стороны смѣшно требовать, чтобы трагедіи держались только преданій: «и извѣстное немногимъ извѣстно, а нравится всѣмъ».

Отсюда слѣдуетъ, что поэтъ бываетъ поэтомъ по вымыслу, по подражанію дѣйствіямъ, а не по метрамъ. «Даже когда ему приходится творить (возсоздавать) случившееся, онъ тѣмъ не менѣе творецъ (поэтъ). Ибо нѣкоторымъ изъ случившихся событій ничто не мѣшаетъ допускать возможность осуществленія, а потому творецъ ихъ и есть творецъ (поэтъ)».

«Потому поэзія *философичнѣе и длиннѣе исторіи*: поэзія излагаетъ болѣе общее, исторія—частное. Общее есть: *такому-то* лицу *что* прилично говорить, либо дѣлать по вѣроятію или по необходимости? Этого достигаетъ поэзія изобрѣтая имена. Частное есть: что сдѣлалъ, напр., Алкивіадъ, или что съ нимъ случилось?»

Пояснимъ слова Аристотеля. Поэзія, по прямому значенію слова есть творчество; поэтъ связанъ только *общими законами* природы (*τὰ καθόλου*);

потому можетъ и держаться событій, дѣйствительно случившихся, лишь бы представлялъ ихъ самобытно, лишь бы возсоздалъ ихъ, переварилъ въ душѣ своей; можетъ вымышлять и небывалыя событія; но только въ томъ и другомъ случаѣ произведеніе его должно имѣть внутреннюю истину, сообразоваться съ общими законами. Тогда оно проникнется жизнью, выступитъ передъ нами, какъ дѣйствительная жизнь; тогда лица, выводимыя поэтомъ, если они вымышлены имъ самимъ, *родятся*; если же дѣйствительно существовали, *возродятся*, воскреснутъ.

«Изъ рукъ поэта, говоритъ Раумеръ, получили *настоящее бытіе* Ахиллъ, Агамемнонъ, Одиссей; и Лиръ, Гамлетъ, Ромео и Юлія *истинныя и дѣйствительныя*, чѣмъ безчисленное множество королей, которые по хронологическимъ таблицамъ въ разныхъ государствахъ царствовали, чѣмъ безчисленное множество молодыхъ людей которые влюбляются, женятся, разводятся или умираютъ отъ долгой скуки. Потому поэтъ имѣетъ полное право сказать:

Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte,
Ich weiss es, sie sind ewig, denn sie sind.

Понятно теперь, почему поэзія философичнѣе, т. е., глубже и дѣльнѣе исторіи. Она философичнѣе ея, потому что сообразуется только съ общими законами бытія, потому что свободнѣе обращается съ событіями, не обязана строго держаться дѣйствительно случившагося; тогда какъ исторія, какъ бы живо ни представляла прошедшаго, все таки связана имъ; иначе не будетъ исторіей. Поэзія и *длиннѣе* исторіи, потому что требуетъ болѣе дѣльной, въ смыслѣ, придаваемомъ слову *σπουδαίος* Аристотелемъ, болѣе геніальной головы.

Но лучше всего послушаемъ, что говоритъ объ этомъ самый лучший толкователь Аристотеля—Лессингъ: «трагическій поэтъ долженъ заботиться объ исторической истинѣ именно лишь настолько, чтобы она была похожа на удачно придуманную фабулу, соответствующую его цѣлямъ. Ему историческое событіе нужно не потому, что оно совершилось, но потому что оно совершилось такъ, что лучше этого онъ едва ли могъ бы придумать для своей цѣли. Если онъ найдетъ это условіе въ какомъ либо дѣйствительномъ происшествіи, то такое происшествіе для него очень пригодно, но долго искать его въ историческихъ сочиненіяхъ не стоитъ труда. И многіе ли знаютъ, что случилось? Если мы допускаемъ возможность случившагося

только потому, что оно действительно случилось, то что мѣшает намъ принимать просто придуманный рассказ за действительно случившееся событіе, о которомъ мы никогда ничего не слыхали? Что прежде всего дѣлаетъ для насъ достовѣрнымъ событіе? Не его ли внутренняя вѣроятность? И не все ли равно, будетъ ли эта вѣроятность не подкрѣплена никакими свидѣтельствами и преданіями, или подкрѣплена такими, которыя еще не дошли до нашего свѣдѣнія? Полагаютъ безъ всякаго основанія, что назначеніе театра между прочимъ—хранить воспоминаніе о великихъ людяхъ; но на это есть исторія, а не театръ. На театрѣ намъ слѣдуетъ узнавать не то, что сдѣлалъ тотъ или другой человѣкъ, но что сдѣлаетъ каждый человѣкъ съ извѣстнымъ характеромъ при данныхъ условіяхъ. Цѣль трагедіи гораздо болѣе философская, чѣмъ цѣль исторіи; и мы бы умалили ея истинное достоинство, если бы обратили ее просто въ панегирикъ знаменитымъ мужамъ, или злоупотребляли бы ею для того, чтобы льстить національной гордости» (Гамбургск. драмат. IX, стр. 100—101).

Тотъ же великій комментаторъ Аристотеля превосходно объясняетъ, какъ поэзія достигаетъ общаго, избрѣтая имена:

«Комики давали своимъ дѣйствующимъ лицамъ такія имена, которыя по своему грамматическому составу, или производству, или иному значенію выражали свойства этихъ лицъ. Однимъ словомъ они давали имъ имена со значеніемъ, какъ бы говорящія, которыя стоило только услышать, чтобы тотчасъ же знать, каковы будутъ тѣ лица, которымъ они даются. Я приведу относящееся сюда мѣсто Доната. *Nomina personarum, говорить онъ по поводу перваго стиха первой сцены «Братьевъ», in comoedia duntaxat habere debent rationem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum aperte argumentum confingere: vel nomen personae incongruum dare vel officium quod sit a nomine diversum* *). *Hinc servus fidelis Parmeno,*

*) Этотъ періодъ весьма легко можетъ подвергнуться ложному толкованію, именно если его понять такъ, будто Донатъ считалъ нелѣпнымъ comicum aperte argumentum confingere (что комикъ явно вымышляетъ сюжетъ). Но Донатъ вовсе не думаетъ этого. Онъ хочетъ сказать, что было бы нелѣпностью, если бы комическій поэтъ, явно вымышляя свой сюжетъ, все таки давалъ бы своимъ лицамъ неподходящія имена или занятія, расходящіяся съ именами. Если сюжетъ изобрѣтается поэтомъ, то вполне отъ него зависитъ, какія имена давать своимъ лицамъ, или какое занятіе или ремесло онъ хочетъ связать съ этими именами. Быть можетъ Донату не слѣдовало бы при этомъ выражаться такъ двусмысленно,

infidelis vel Syrus vel Geta; miles Thrase vel Polemon; juvenis Pamphilus, matrona Myrrhina, et puer abodore Storax, vel a ludo et gesticulatione Circus, et item similia. In quibus summum poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium diversumque protulerit, nisi per ἀντίφρασις nomen imposuerit joculariter, ut Misargyrides in Plauto dicitur trapezita.

Т. е., имена лицъ въ комедіяхъ должны имѣть значеніе и толкованіе по производству. Вѣдь было бы нелѣпо, если бы комикъ, явно вымышляя сюжетъ, давалъ лицамъ неподходящія имена, или занятія, не соотвѣтствующія именамъ. Поэтому—вѣрный рабъ—Парменонъ, невѣрный—или Сиръ или Гета, воинъ—Тразонъ или Полемонъ, юноша—Памфилъ, матрона—Миррина, а молодой рабъ—или по запаху Стораксъ, или по жестамъ Циркъ и т. п. При этомъ поэтъ напротивъ дѣлаетъ грубую ошибку, давая имя, противорѣчащее характеру и неподходящее къ нему, развѣ только умышленно выбираетъ противорѣчивое имя въ шутку, какъ, напр., мѣнялъ у Плавта дано имя Мизаргиридъ *). Кто хочетъ убѣдиться въ этомъ на большемъ количествѣ примѣровъ, тотъ пусть разсмотритъ имена у Плавта и Теренція. Такъ какъ всѣ ихъ пьесы заимствованы съ греческаго, то и имена дѣйствующихъ лицъ греческія и по словопроизводству имѣютъ отношеніе къ тому сословію, образу мыслей или иному чему, что эти лица могутъ имѣть общаго съ другими, хотя мы не всегда точно и съ увѣренностью можемъ объяснить это производство.

Не хочу останавливаться на этомъ обстоятельствѣ, столь извѣстномъ, но не могу не удивляться, что толкователи Аристотеля не вспомнили о немъ тамъ, гдѣ онъ ясно на него указываетъ. Что можетъ быть вѣрнѣе и

но мы устранимъ всякое недоразумѣніе, перемѣнивъ одинъ слогъ. Слѣдуетъ читать или: *absurdum est comicum aperte argumentum confingere vel nomen personae... или: aperte argumentum confingere et nomen personae etc.*

Прим. Лессинга.

*) Parmeno (παρκα—при, μένω—остаюсь)—остающийся вѣрнымъ; Сиріецъ и Гетъ считались слугами коварными, какъ азіатцы; Thraso—(θρασύς)—мужественный; Polemon—воинственный; Pamphilus—всѣмъ любимый или всѣхъ любящій; Myrrhina—женщина пошившая мѣртвый вѣнокъ, т. е., бывшая невѣстою; Storax (στίραξ)—кустъ, отдѣляющій благовонную смолу, употребляемую для куренія; обязанность зажигать благовонное вещество для куренія возложено было на мальчиковъ; Circus—кругъ, ристалище; Misargyrides—ненавидящій деньги.

явше того, что философ говорить оцѣли, какую имѣть поэзія, надѣляя свои дѣйствующія лица именами? Что можетъ быть неотразимѣе того факта, что ἐπὶ μὲν τῆς κομῳδίας τοῦτο δῆλον γέγονεν, т. е., въ комедіи эта цѣль давно уже обнаружилась ясно. Съ самыхъ первыхъ ея зачатковъ, т. е., какъ только ямбическіе (сатирическіе) поэты стали переходить отъ частнаго къ общему, какъ только изъ оскорбительной сатиры стала вырабатываться поучающая комедія, поэты старались намекнуть на это общее начало самими именами. Хвастливый и трусливый солдатъ не выводился какъ представитель того или другаго племени, въ качествѣ предводителя, а названъ Пиргополиникомъ *). Жалкій паразитъ, влачившійся за нимъ, не просто бѣдный городской побироха, а Артотрогусъ **). Молодой человѣкъ, введенный отца въ долги своимъ мотовствомъ въ особенности на лошадей, является не просто сыномъ того или другаго гражданина, а ему дано имя Фидипидъ ***), т. е. берегущій лошадей.

Можно было бы возразить, что подобныя имена, имѣющія значеніе, были просто дѣломъ изобрѣтенія новѣйшей греческой комедіи, авторомъ которой было строго запрещено употреблять имена дѣйствительныхъ лицъ, что Аристотель не зналъ этой новѣйшей комедіи, а потому и не могъ принять ее во вниманіе, составляя свои правила; но это такъ же невѣрно, какъ и то, что древняя греческая комедія употребляла лишь историческія имена. Даже въ тѣхъ пьесахъ, главною и первою цѣлію которыхъ было выставить въ смѣшномъ и позорномъ видѣ известную личность, кромѣ дѣйствительнаго имени этого лица почти всѣ остальные были вымышлены, какъ въ отношеніи ссловія, такъ и характера» (Гамб. Драм., XC).

«Можно прибавить, что даже и имена лицъ дѣйствительныхъ скорѣе обозначали собою типы, чѣмъ отдѣльныя лица. Подъ именемъ Сократа Аристофанъ хотѣлъ осмѣять и выставить опаснымъ человѣкомъ не одного Сократа, а всѣхъ софистовъ, занимавшихся воспитаніемъ молодыхъ людей. Его героемъ былъ вообще опасный софистъ, и онъ назвалъ его Сократомъ только потому, что такимъ провозгласила Сократа молва. Поэтому многія черты не шли къ историческому Сократу, такъ что послѣдній могъ смѣло

*) Pyrgopolinices буквально — разрушитель городскихъ стѣнъ. Это главное дѣйств. лицо въ комедіи Плавта «Хвастливый воинъ».

**) Artotrogus буквально — хлѣбоѣдъ.

***) Дѣйств. лицо въ комедіи Аристофана «Облака».

встать съ своего мѣста и предложить сравнить себя съ изображеніемъ *). Но какъ плохо поймемъ мы сущность комедіи, если будемъ считать эти неподходящія черты просто произвольною кляветою, а не тѣмъ, чѣмъ онѣ были на самомъ дѣлѣ — обобщеніемъ отдѣльной личности, возведеніемъ частнаго явленія въ общій типъ».

Наконецъ вотъ что говорить Лессингъ объ именахъ трагедіи:

«Сократъ Аристофана не представлялъ собою дѣйствительную личность, носившую это имя, да и не долженъ былъ представлять ее; этотъ олицетворенный идеалъ суетной и опасной школьной мудрости названъ былъ Сократомъ только потому, что Сократъ былъ отчасти извѣстенъ за подобнаго обманщика и соблазнителя, а отчасти долженъ былъ сдѣлаться еще извѣстнѣе съ этой стороны. Самое понятіе объ общественномъ положеніи и характерѣ, которое должно было соединиться съ именемъ Сократа, руководило поэтомъ при выборѣ имени. Такъ и представленіе о характерѣ, обыкновенно соединяемое нами съ именами Регула, Катона и Брута, служить причиною, почему трагическій поэтъ даетъ своимъ героямъ эти имена» (Гамб. Драм. XCI, стр. 448—449).

Объяснивъ, въ чемъ должно состоять вѣроятіе и необходимость, Аристотель замѣчаетъ, что простые вымыслы, т. е. такіе, въ которыхъ нѣтъ узнанія и перелома, а только одна страсть, портятся всего болѣе вставками. Причина этому Аристотелемъ не показана, но, вѣроятно, потому онъ тѣ простые вымыслы, которые обилуютъ вставками, считаетъ самыми худшими, что вставки въ такихъ трагедіяхъ, отвлекая вниманіе отъ главнаго дѣйствія, на которомъ въ простой трагедіи, исключительно на страсти основанной, должно все сосредоточиваться, — ослабляютъ общее впечатлѣніе. Напротивъ въ сплетенной трагедіи вставки не столь вредны: неожиданное узнаніе, неожиданный переломъ могутъ усилить ослабѣвшее отъ вставки впечатлѣніе.

Указавъ на источникъ вставокъ въ простыхъ трагедіяхъ, Аристотель заключаетъ IX главу замѣчаніемъ, что и относительно состраданія и страха трагедія должна заботиться о томъ, чтобы страшныя и возбуждающія состраданіе событія происходили одно вслѣдствіе другаго, ибо и случайныя

*) Это рассказываетъ Эліанъ (III в. по Р. X.). По свидѣтельству древнихъ, Сократъ, не смотря на лживую пасмѣшку Аристофана, не питалъ къ нему никакой злобы, напротивъ былъ съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ.

даже произшествія тогда особенно насъ поражаютъ, когда повидимому какъ бы нарочно случаются.

Десятая глава пополняетъ предыдущую: въ ней Аристотель объясняетъ, какіе вымыслы онъ называетъ простыми и какіе сплетенными: сплетенные — съ переломомъ и узнаніемъ, простые — безъ нихъ. Перелому и узнанію «слѣдуетъ истекать изъ самаго состава вымысла, такъ чтобы изъ преждебывшаго слѣдовало, что все происходитъ или по необходимости, или по вѣроятію. Ибо большая разниа, случится-ли что черезъ что-нибудь, или послѣ чего-нибудь».

Потомъ опредѣляются части вымысла (качественныя) и части трагедіи (количественныя); въ XI главѣ части вымысла; сперва части, исключительно сплетенному вымыслу свойственныя, переломъ и узнаніе, а потомъ, въ концѣ главы, страсть, — часть всякому трагическому вымыслу, всякому трагическому дѣйствию свойственная, нераздѣльная съ трагическимъ дѣйствіемъ. Что Аристотель на страсть смотрѣлъ именно такъ, видно изъ самаго оборота рѣчи: «и такъ въ этомъ отношеніи двѣ части вымысла, переломъ и узнаніе. Третья — страсть. Изъ нихъ о переломѣ и узнаніи сказано. Страсть-же есть дѣйствіе болѣзненное и разрушительное, напр., смерть на сценѣ, мученія, раны и т. п.» Дѣйствіе болѣзненное и разрушительное, — т. е. именно такое, какимъ производятся трагическія ощущенія, страхъ и состраданіе. *Πάθος* имѣло впрочемъ и обширнѣйшее значеніе. Въ сочиненіи «О душѣ» Аристотель задаетъ себѣ вопросъ, всѣ-ли страсти души общи и тѣлу: общими называетъ гнѣвъ, смѣлость, желаніе и вообще чувствованіе; особенными, т. е. исключительно душѣ свойственными, мысленіе и т. п. (I, 1, 9). Тренделенбургъ, толкуя это мѣсто, говоритъ: *quidquid animo accidit, πάθος dici potest*.

Возвращаясь къ началу XI главы. «Переломъ есть, какъ сказано (VII, 7) перемѣна дѣлаемаго въ противную сторону и притомъ, какъ сейчасъ сказали мы (X, 3), вѣроятная или необходимая». Перемѣна дѣлаемаго, т. е. того, что мы дѣлаемъ, но еще не сдѣлали, въ противную сторону, т. е. поворотъ дѣйствія къ такому концу, котораго дѣйствующія лица по ходу дѣйствія никакъ не могли-бы предполагать.

Потомъ опредѣляется узнаніе и показывается, какой родъ узнанія самый лучшій, и со стороны какихъ лицъ бываетъ узнаніе. Заключается XI глава объясненнымъ выше опредѣленіемъ страсти.

«О частяхъ трагедіи», такъ начинается XII глава, «которыми нужно

пользоваться, какъ видами, мы сейчасъ сказали; по количеству же, т. е. потому, на какія отдѣльныя части разлагается трагедія, части трагедіи суть: прологъ, эписодій» и т. д. Исчисливъ количественныя части трагедіи (т. е. акты, сцены), Аристотель заключаетъ: «и такъ о частяхъ трагедіи, которыми нужно пользоваться, сказано прежде; а по количеству, т. е. по тому, на какія отдѣльныя части разлагается трагедія, части ея таковы».

Подъ частями, которыми нужно пользоваться, какъ *видами*, Аристотель очевидно разумѣетъ *стихи* трагедіи, показанныя въ VI и XI главахъ. Онѣ суть: вымыселъ, характеръ, пониманіе, рѣчь, наглядность, пѣсенность; стихи вымысла: переломъ, узнаніе, страсть. Безъ пониманія и рѣчи не можетъ быть ни трагедіи, ни какого бы то ни было поэтического произведенія; слѣд. только остальными частями можно пользоваться, какъ видами, т. е. давать такое преобладаніе какой либо части, что трагедія подойдетъ подъ одинъ изъ видовъ, показанныхъ въ XVIII гл.

Переломъ и узнаніе — сплетенная трагедія (*πεπλεγμένη*).

Страсть — страстная (*παθητική*) или простая.

Характеры — характерныя (*ἡθική*).

Наглядность и пѣсенность — наглядныя.

Чтобы отличить точнѣе качественныя части трагедіи отъ количественныхъ, Аристотель и въ началѣ и въ концѣ главы не довольствуется однимъ словомъ: «по количеству» (*κατὰ τὸ πόσον*), но прибавляетъ: «по количеству и по тому, на какія *отдѣльныя* части разлагается трагедія» (*καὶ εἰς ὅ διακρίται μεμερισμένα*).

Части-же греческой трагедіи по количеству суть:

1) *Прологъ*, начало трагедіи, та часть, которая предшествуетъ выходу хора (народу) (*предисловіе*).

2) *Эписодій*, средняя часть трагедіи (*вставка*).

3) *Эксодъ*, конецъ трагедіи (*выходъ*).

4) *Хорическая часть*, состоящая изъ слѣдующихъ частей, которыя, разумѣется, не во всякой трагедіи бывали:

a) *Пародъ*, «первая рѣчь всего хора» (*входъ*).

b) *Стасимъ* «пѣснь хора безъ анапестовъ и трохеевъ» (*остановка*).

c) *Пѣсни со сцены*, т. е. тѣ, которыя пѣлись дѣйствующими лицами.

d) *Коммъ* (рыданіе) «общій плачъ хора и со сцены».

Замѣчательна точность въ опредѣленіяхъ: пародъ названъ рѣчью, потому что въ немъ не всегда бывала пѣснь, не всегда пѣли; онъ состоялъ

большую часть изъ диметровъ анапестическихъ, либо тетраметровъ трохаическихъ; *коммъ* названъ *общимъ* плачемъ хора и со сцены, т. е. такимъ, въ которомъ участвовали и актеры и хоръ, но пѣли не въ одно время, а поочередно.

Исчисливъ качественныя и количественныя части трагедіи, Аристотель переходитъ къ подробному объясненію *исхода* трагедіи (*μεταβολή*) и средствъ, которыми достигаетъ она своей цѣли. О первомъ говорится въ XIII главѣ, о второмъ въ XIV. Что таково было намѣреніе Аристотеля, это видно по началу XIII главы: «А о томъ, что слѣдуетъ составителямъ вымысловъ *имѣть въ виду, и что наблюдать, и чѣмъ производится дѣйствіе* (*ἔργον*) трагедіи, объ этомъ нужно говорить теперь, непосредственно послѣ сейчасъ сказаннаго». О томъ, что должна трагедія имѣть въ виду, говорится въ XIII главѣ, а о дѣйствіи ея въ XIV.

А такъ какъ составъ самой лучшей трагедіи есть не простой, а сплетенный, или сложный, — т. е., самыя лучшія трагедіи суть сплетенныя, или сложные; и такъ какъ подражаютъ въ нихъ ужасному и жалостному, то необходимо:

1) Ни правдивые люди не должны переходить отъ счастья къ злосчастью: это не возбуждаетъ ни страха, ни состраданія, а только возмущаетъ. Правдивымъ человѣкомъ (*ἐπεικής*) называлъ Аристотель такого, для котораго не нужны законы, который и безъ законовъ честно живетъ *). *Злосчастье* (*δυστυχία*) отличается Аристотелемъ отъ *несчастья* (*ἀτυχία*), и есть трагическое несчастье, совершенная гибель. Видя, какъ гибнетъ правдивый человѣкъ, мы не чувствуемъ состраданія, а возмущаемся душою, негодуемъ **) и не страшимся, потому что внутреннее чувство сказываетъ намъ, что мы должны страшиться только тогда, когда не правы.

2) Ни порочные — отъ несчастія къ счастью (отъ несчастія можно еще оправиться, но отъ злосчастія, отъ трагической бѣды — невозможно): это не возбуждаетъ ни страха, ни состраданія; даже самаго обыкновеннаго уча-

*) Ретор. I, 13: ἔστι δὲ ἐπεικὴς τὸ παρὰ τὸν ὑπερταμιένον νόμον δίκαιον. — Ионк. V, 3. ἐπανόρθωσι νομίμου δίκαιου — Впрочемъ въ XXVI гл. и въ другихъ мѣстахъ ἐπεικής значить просто — порядочный человѣкъ.

**) Ретор. II, 5. τὸ δὲ μὴ ἀδικεῖν ἀλλ' ἀδικεῖσθαι, ὁρῆς ποιητικόν, безвинная обида съ чьей-нибудь стороны возбуждаетъ въ насъ негодование.

стій, какое мы чувствуемъ ко всякому страдающему, хотя бы и заслуженно, человѣку, даже и такого участія въ насъ тогда не бываетъ *).

3) Ни слишкомъ порочные — отъ счастья къ злосчастью: по чловѣчеству ихъ еще жалъ, но истинно трагическаго состраданія, соединеннаго со страхомъ за насъ самихъ, мы въ такомъ случаѣ чувствовать не можемъ. Сострадать можно только тому, кто несетъ кару незаслуженную, а страшиться за равнаго намъ.

О четвертомъ случаѣ, о переходѣ добродѣтельнаго человѣка отъ несчастія къ счастью, Аристотель не упоминаетъ, потому что онъ еще менѣе свойственъ трагедіи, чѣмъ три, показанныя выше.

Отвлеки такимъ образомъ всѣ нетрагическіе случаи, Аристотель заключаетъ: трагическимъ лицомъ долженъ быть, кто не отличается ни добродѣтелью, ни правдивостью **), впалъ въ злосчастье не по порочности и подлости, но по какому нибудь грѣху (*δι' ἀμαρτανίας*), и притомъ, кто пользовался великимъ почетомъ и счастьемъ ***).

«Итакъ», продолжаетъ Аристотель, необходимо, чтобы правильный вымыселъ былъ *скорѣе простой, чѣмъ двойной, какъ некоторые называютъ*, и представлялъ переходъ не къ счастью отъ несчастія» и т. д. слѣдуетъ до конца поясненіе вышеизложеннаго. Выписанныя нами слова, повидимому противорѣчатъ началу главы: тамъ сказано было, что самыя лучшія трагедіи бываютъ сложными, а не простыми; здѣсь же говорится, что правильному вымыслу слѣдуетъ быть скорѣе простымъ, чѣмъ двойному. Но если мы вникнемъ въ объясненіе двойнаго смысла, которое чи-

*) Такъ понимаетъ φιλόφρων Лессингъ, mitleidige Regungen ohne Furcht für uns selbst, das sympathetische Gefühl der Menschlichkeit, то чувство, которое возбуждается въ насъ при видѣ страданій, хотя бы и заслуженныхъ. Φιλόφρων по-русски можно выразить словами: по чловѣчеству жалъ.

**) δίκαιος, т. е., кто не есть ἐπεικής.

***) Слово ἀμαρτία толкуется Аристотелемъ въ Реторикѣ I, 13 и 14. Показывая различіе между ἀτυχία, ἀδικία и ἀμαρτία, Аристотель говоритъ: ἀτυχία есть *ошибка*, проступокъ необдуманнѣйшій и не происходящій отъ подлости; ἀδικία — обдуманнѣйшій и происходящій отъ подлости; ἀμαρτία — обдуманнѣйшій, но не подлый, ὅσα μὴ παράλογα καὶ μὴ ἀπὸ πονηρίας; слѣдовательно, проступокъ, хотя и не подлый, но задуманный по какимъ нибудь, конечно, преступнымъ побужденіямъ или по увлеченію страсти, слѣдовательно *грѣхъ*. Потомъ, изчисляя роды *тяжкихъ* преступленій, Аристотель говоритъ: καὶ τὸ πλάγιον; τοῦ δὲ ἀμαρτανίας μέγα — часто въ одномъ и томъ же грѣшитъ есть преступленіе.

таемъ въ (XIII, 7) и изъ котораго видимъ, что двойнымъ вымысломъ называли нѣкоторые (значить это техническій терминъ) такой, въ которомъ два дѣйствія идутъ, какъ, напримѣръ, въ Одиссѣи Гомера, рядомъ (Одиссей и женихи Пенелопы) и оканчивается для однихъ, какъ въ «Одиссее», для Одиссея счастливо, для другихъ, какъ для жениховъ Пенелопы, несчастливию, то противорѣчiя не найдемъ. Вымыселъ можетъ быть простымъ двояко: 1) или потому, что въ немъ нѣтъ узнанiя и перелома, а только страсть, 2) или потому, что въ немъ нѣтъ двухъ дѣйствiй, рядомъ идущихъ.

Чѣмъ же производится дѣйствiе трагедiи? На этотъ вопросъ, выставленный Аристотелемъ, какъ мы видѣли уже въ началѣ XIII гл., находимъ отвѣтъ въ XIV.

Возбуждать страхъ и состраданiе посредствомъ одной внѣшней обстановки не годится (объ этомъ сказано выше, въ концѣ изложенiя VI главы); еще менѣе позволительно производить ею чудесное. Ужасъ и состраданiе должна возбуждать трагедiя самымъ совокупленiемъ дѣйствiй, посредствомъ самихъ дѣйствiй. Ужасныя же дѣйствiя могутъ происходить или между близкими людьми, или между врагами, или между такими, которые не находятся ни въ дружескихъ, ни во враждебныхъ отношенiяхъ. Но возбуждать ужасъ и состраданiе способны только дѣйствiя перваго рода.

Присоединивъ побочное замѣчанiе о томъ, какъ надлежитъ пользоваться преданiями, Аристотель продолжаетъ: дѣйствующее лицо можетъ или совершить ужасное дѣло, или не совершить и притомъ или зная всю тягость проступка, или не зная. Хотя оцѣняя относительное достоинство всѣхъ сихъ четырехъ случаевъ, Аристотель говоритъ обо всѣхъ, но въ началѣ, изчисляя ихъ, упоминаетъ только три:

- 1) Убиваютъ, напримѣръ, зная, кого убиваютъ;
- 2) Убиваютъ, не зная, кого убиваютъ;
- 3) Хотятъ убить, не зная кого, и узнаютъ, а узнавъ, не убиваютъ.

Четвертый случай (хотятъ убить, зная кого, и не убиваютъ) опущенъ; и опущенъ, вѣроятно, потому, что этотъ случай признавалъ Аристотель самымъ худшимъ. Подобное опущенiе, и по такой же причинѣ, видѣли мы въ XIII гл.; разница только въ томъ, что Аристотель и послѣ не упоминаетъ объ опущенiемъ имъ случая; вѣроятно, переходъ безукоризненно добродѣтельнаго человѣка отъ несчастiя къ счастью такъ казался Аристотелю не трагиченъ, что, онъ думалъ, едвали какому трагику придетъ въ голову

представить его въ трагедiи. Нельзя сказать того же о четвертомъ случаѣ настоящей главы: неопытный трагикъ можетъ воспользоваться, а опытный иногда даже и удачно имъ воспользуется, подобно Софоклу въ «Антигонѣ».

Притомъ тонъ рѣчи (XIV, 6 и 7) таковъ, что опущенiе маловажнаго случая возможно: Аристотель беретъ сперва разные трагическiя дѣйствiя, которыя представляла ему греческая литература, и приводитъ примѣръ, а потомъ уже выводитъ возможные случаи ужасныхъ дѣйствiй: «бываетъ *кроме этихъ* еще третiй случай. Другихъ случаевъ — *кроме этихъ* быть не можетъ, ибо необходимо или сдѣлать что нибудь, или не сдѣлать, и притомъ или зная, или не зная (*следовательно четыре случая*). Изъ нихъ намѣреваться что нибудь сдѣлать, зная, что хочешь дѣлать, и не сдѣлать (*четвертый случай*) — всего хуже: ибо это и возмущаетъ, и не трагично, потому что бываетъ безъ страданiй. *Потому такъ никто не поступаетъ, развѣ только изрѣдка*, напримѣръ, въ *Антигонѣ* Гемонъ относительно Креона». Этими замѣчанiемъ Аристотель отнюдь не хочетъ укорить Софокла, какъ обыкновенно полагаютъ: на *Антигону* ссылается онъ, какъ на примѣръ удачнаго употребленiя этого самаго нетрагичнаго случая. Этими случаемъ Софоклъ имѣлъ право воспользоваться и потому, что онъ въ трагедiи его занимаетъ второстепенное мѣсто: *главное* ужасное *Антигоны* не въ немъ заключается.

Прочiе случаи по достоинству распредѣляются Аристотелемъ такъ: 1) хотѣть, зная, что нибудь сдѣлать, и не сдѣлать; 2) не зная, что нибудь сдѣлать, и потомъ узнать; 3) не зная, хотѣть что нибудь сдѣлать и узнать, а узнавъ не сдѣлать. Послѣднiй случай признаетъ Аристотель самымъ лучшимъ. Въ этомъ видѣли противорѣчiе съ XIII гл. 4; но Лессингъ (38) превосходно оправдалъ Аристотеля. Вотъ сущность Лессингова толкованiя: такъ какъ вымыселъ можетъ состоять изъ перелома, узнанiя и страсти, именно изъ всѣхъ сихъ стихiй — сплетенный вымыселъ, изъ одной страсти — простой; а слѣдовательно только страсть есть необходимая стихiя всякой трагедiи, то нужно отличать ее отъ прочихъ стихiй. Самый лучшiй переломъ — переходъ отъ лучшаго къ худшему; самая лучшая страсть *πάθος*, — если дѣйствующее лицо, не зная, намѣревается что нибудь сдѣлать, и узнаетъ, а узнавъ, не дѣлаетъ. Переломъ иногда бываетъ въ срединѣ трагедiи, а дѣйствiе не кончается и присоединяется страсть, напримѣръ въ *Эдипѣ Царь* Софокла, и наоборотъ.

«Итакъ, о совокупленiи дѣйствiй и о томъ, каковыя слѣдуетъ быть

вымысламъ, сказано достаточно». Такъ заключаетъ Аристотель изложеніе свойствъ вымысла. Въ слѣдующей XV главѣ говорится о второй стихіи трагедіи—о характерахъ.

Отъ характеровъ трагедіи Аристотель требуетъ четырехъ свойствъ: честности, сообразности, естественности и послѣдовательности. Честнымъ трагическій характеръ долженъ быть потому, что въ трагедіи подражаютъ дѣльнымъ, добродѣтельнымъ людямъ. Сообразность требуетъ, чтобы женщины, напримѣръ, не приписывали дѣла или мысли исключительно мужчинамъ свойственныя. Естественъ характеръ такой, который походитъ (ὁμοιος) на характеры, встрѣчаемые зрителемъ въ жизни. Послѣдователенъ (ровенъ ὁμαλός) характеръ, когда отъ начала до конца трагедіи оказывается онъ такимъ же, какимъ былъ въ началѣ. Аристотель опредѣляетъ или поясняетъ первое, второе и четвертое требованіе; третьяго не объясняетъ, потому ли, что считалъ его и безъ объясненія понятнымъ, или потому, что ниже (§ 8) объясняетъ, а въ настоящемъ случаѣ говорить только, что третье требованіе отличается отъ первыхъ двухъ.

Потомъ приводится примѣръ погрѣшностей противу перваго, втораго и четвертаго требованій; третье опять опускается. Противъ перваго погрѣшаетъ Менелай въ «Орестѣ» Эврипида, представленный вѣроломнымъ корыстолюбцемъ и притомъ безъ нужды, чтобы только угодить Аѳинянамъ, ненавидѣвшимъ Лакедемонянъ. Противъ втораго—плачъ Одиссея въ *Скиллѣ*, потерянной трагедіи, и рѣчь Меланиппы въ трагедіи Эврипида того же имени: въ этой трагедіи Меланиппа, основываясь на ученіи Анаксагора, доказывала, что отъ коровъ могутъ родиться люди. Противъ четвертаго—*Ифигенія въ Авлидѣ* Эврипида (же *): въ концѣ трагедіи является она такою, какою ее, судя по началу, нельзя предположить ни по необходимости, ни по вѣроятію. Къ этому примѣру привязываетъ Аристотель замѣчаніе, что характеры, какъ и вымыслы, должны подчиняться *необходимости или вѣроятію* (§ 6). Да и развязки вымысловъ (φανερὸν οὖν ὅτι καὶ) должны истекать изъ самаго дѣйствія, а не *отъ машины* происходить (§ 7). Машиною называетъ Аристотель всякія постороннія при-

*) Аристотель почти всѣ примѣры ошибочныхъ характеровъ взялъ изъ трагедій Эврипида. Это объясняютъ тѣмъ, что Эврипидъ, какъ и Шиллеръ, были поэты субъективные и влагали дѣйствующимъ лицамъ собственные мысли, часто имъ непріличные.

чины: видно и въ его уже время ἀπὸ μηχανῆς стало поговоркою, тождественною съ весьма употребительною въ наше время латинскою поговоркою deus ex machina. Это слѣдуетъ изъ того, что развязку посредствомъ машины Аристотель находитъ не только въ *Медѣ* Эврипида, развязка которой дѣйствительно состоитъ въ томъ, что Медея, не будучи въ состояніи иначе уйти изъ Кориноа, взлетаетъ на крылатой колесницѣ; но даже въ *Иліадѣ* Гомера. Подъ *отплытіемъ* разумѣетъ здѣсь Аристотель начало 11-й рапсодіи.

На «*Царя Эдина*» Софоклова указываетъ Аристотель по тому же случаю, по которому и здѣсь, еще въ XIV и въ XXIV. Несообразность этой трагедіи заключается въ томъ, что Эдинъ уже во время дѣйствія трагедіи, наканунѣ своего паденія, разспрашиваетъ о тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ онъ сталъ царемъ ѳивскимъ; какъ будто возможно, чтобы не заходило у него съ Иокастою объ этомъ рѣчи прежде. Во всѣхъ трехъ мѣстахъ Аристотель оправдываетъ Софокла тѣмъ, что эта несообразность *въ* трагедіи, т. е. относится къ тому, что было до начала дѣйствія, представленнаго въ трагедіи. Въ иныхъ случаяхъ, какъ, напр., въ *Филоктетѣ* и *Дантѣ* того же поэта, это *въ* трагедіи (τὸ ἐξω τῆς τραγῳδίας) есть то, что *послѣ* случилось.

Послѣ этихъ двухъ мимоходомъ брошенныхъ по поводу *Ифигеніи* замѣтокъ, Аристотель возвращается къ характерамъ и толкуетъ третье требованіе (ὁμοιος): характеръ долженъ быть вѣренъ природѣ, но въ то же время нѣсколько облагороженъ, потому что трагедія есть подражаніе лучшимъ.

Кромѣ всего этого поэту для вѣрнаго изображенія характеровъ нужно изучать «разныя ощущенія, подлежащія поэзіи», т. е., которыя могутъ быть изображены поэзіею (τὰ παρὰ τὰς ἐξ ἀνάγκης ἀκολουθοῦσας αἰσθησεις τῇ ποιητικῇ)—разныя движенія души; иными словами, поэту нужно изучать человѣческую природу. «Объ нихъ», т. е. объ этихъ ощущеніяхъ, «достаточно сказано въ изданныхъ сочиненіяхъ». Въ какихъ именно—неизвѣстно.

Въ главахъ XVI, XVII и XVIII Аристотель сообщаетъ чисто техническія и практическія замѣчанія объ узнаніи, о томъ, какъ лучше творить, о завязкѣ, развязкѣ и о прочемъ.

Въ XI гл., говоря объ узнаніи, Аристотель показалъ, что лучше узнаніе есть то, которое соединяется съ переломомъ; что узнаніе можетъ

быть и относительно неодушевленных предметов; что иногда оно может состоять только въ томъ, что узнають, сдѣлалъ ли кто что-нибудь, или не сдѣлалъ; что иногда одно изъ узнаваемыхъ лицъ знаетъ другое; иногда оба до узнанія неизвѣстны другъ другу. Въ XVI главѣ изчисляются разные способы узнаванія; насчитывается шесть главныхъ родовъ и нѣсколько видовъ узнаванія:

- 1) посредствомъ знаковъ, по преданію извѣстныхъ, и притомъ: а) рожденныхъ или б) приобретенныхъ.
- 2) посредствомъ знаковъ, придуманныхъ поэтомъ.
- 3) посредствомъ памяти, когда дѣйствующее лицо увидитъ или услышитъ что нибудь знакомое.
- 4) посредствомъ соображенія.
- 5) посредствомъ ложнаго заключенія зрителей.
- 6) вытекающее изъ самыхъ дѣйствій.

Въ XVII гл. Аристотель учитъ поэтовъ, какъ лучше творить. Для этого нужно 1) уметь переноситься въ положеніе выводимыхъ лицъ, 2) уметь задумать планъ и наполнить его; послѣднее показано на «Ифигеніи» Эврипида и на «Одиссее» Гомера.

Между прочимъ въ этой главѣ говорится, что особенно убѣдительно, особенно узнають насъ тѣ поэты, которые по характеру своему похожи на выводимыхъ ими лицъ. Потому способны къ творчеству или даровитые люди, или тѣ, которые могутъ восторгаться. Первые легко изучаютъ всякій характеръ, вторые легко переносятся во всякое положеніе, во всякое душевное состояніе. Даровитость (*εὐφροία*), по Аристотелю, есть способность понимать истину и уклоняться отъ лжи; ее приобрести трудомъ нельзя; нѣжное и потому чувствительное тѣло есть признакъ даровитости. Примеромъ даровитаго поэта, способнаго обсудить все (*ἐξεταστικὸς*), можетъ служить Лессингъ, который самъ о себѣ такъ говоритъ въ концѣ своей *Драматургіи*: „Я очень хорошо понимаю, что есть кое-что сносное въ моихъ послѣднихъ опытахъ, но этимъ я на вѣки и исключительно обязанъ критикѣ. Я не чувствую въ себѣ живаго источника творчества, который бьетъ вверхъ съ самобытною силою, удивляя всѣхъ свѣжестью и обиліемъ красокъ. Я долженъ все выжимать изъ себя давленіемъ. Я былъ бы очень скуденъ, холоденъ и близорукъ, если-бы не выучился скромно разрабатывать чужія сокровища, грѣться у чужаго кемелька и усиливать свое зрѣніе искусственными стеклами. Вотъ почему мнѣ всегда было обидно

и досадно, если я читалъ или слышалъ что-нибудь клонящееся къ порицанію критики. Она, говорятъ, губитъ таланты, а я льстилъ себя надеждою позаимствоваться отъ нея чѣмъ-нибудь, что весьма близко подходитъ къ талланту. Я—хромой, которому не можетъ быть пріятна сатира на костыль“.

Въ XVIII гл. разсуждается собственно о завязкѣ и развязкѣ, а мимоходомъ изчисляются виды трагедіи, дѣлаются замѣтки о вставкахъ и о хорѣ. Ходъ мыслей таковъ.

Сперва опредѣляется завязка и развязка. Завязка есть та часть трагедіи, которая идетъ отъ начала до того мгновенія, съ котораго начинается переходъ къ злосчастью или счастью, причемъ захватываются событія, предшествовавшія дѣйствию трагедіи и не вошедшія въ нее: напримеръ, въ «Эдипѣ Царь» Софокла, убіеніе Лая, воцареніе Эдипа, царствованіе его, женитьба и проч. Остальная часть трагедіи есть развязка. Аристотелю слѣдовало-бы послѣ этого сказать, что нужно одинаковое обращать вниманіе на ту или другую часть, потому-что трагедіи только по завязкѣ и развязкѣ и бываютъ или сходны или различны; но прежде, не высказавъ еще своей мысли, Аристотель показываетъ, какъ обыкновенно различаются трагедіи (см. изложеніе XII гл.); говорить, что трагедія должна соединять свойства всѣхъ видовъ, особенно современная Аристотелю трагедія: въ его время стали взыскательны къ поэтамъ; требовали, чтобы всякій поэтъ превосходилъ всѣхъ прежнихъ поэтовъ въ томъ, чѣмъ каждый изъ нихъ особенно отличался. За этимъ уже слѣдуетъ замѣчаніе о томъ, чѣмъ собственно должны различаться поэты; именно завязкою и развязкою. Завязкѣ-же и развязкѣ могутъ вредить: 1) вставки и 2) хоръ. „Нужно, о чемъ выше упоминалось не разъ (V, 4; VII, 7; XV, 6), помнить и стараться не дѣлать состава трагедіи эпическимъ (эпическимъ называю состоящій изъ *многихъ вымысловъ*). Въ драмахъ *вставокъ* никто не ждетъ. Посредствомъ-же переломовъ и *простыхъ* дѣйствій (т. е. *не двойныхъ*, см. излож. XIII, 4) поэты удивительно какъ достигаютъ своей цѣли. И на хоръ (§ 7) нужно смотрѣть, какъ на одного изъ актеровъ и какъ на *часть цѣлаго*“. Но у многихъ трагиковъ хорическія пѣсни не связываются съ трагедіею, суть вставки, которыя безъ ущерба цѣлому можно выпустить. „А вѣдь, заключаетъ Аристотель, какая разница, пѣть-ли вставочныя пѣсни, или перемѣщать изъ одной драмы въ другую—рѣчь, либо цѣлую часть трагедіи?“, т. е. цѣлый актъ или цѣлую сцену.

Изъ примѣч. Б. Ордынскаго.

4. Параллель между учениями Платона и Аристотеля.

Греція, типическая страна искусства въ древности, представляет намъ два учения о поэзии, совершенно противоположныя въ началахъ. Платонъ говоритъ, что прекрасное существуетъ въ идеѣ, что оно есть часть божественнаго и на землѣ воспоминаніе о небѣ. Аристотель полагаетъ его въ единствѣ и полнотѣ, относя это равно къ явленіямъ природы и къ произведеніямъ искусства. Платонъ объясняетъ происхожденіе поэзіи изъ божественнаго вдохновенія и наслажденіе ею полагаетъ въ принятіи его душою; Аристотель ведетъ начало ея изъ способности подражательной, врожденной человѣку, и наслажденіе объясняетъ изъ склонности нашей сравнивать и учиться.

Не смотря на совершенную противоположность въ началахъ, каждое изъ этихъ учений имѣетъ свою относительную справедливость, относительную пользу и вредъ, неизбежный въ крайностяхъ примѣненія. Тайна этого мнимаго противорѣчія заключается въ томъ, что самое искусство имѣетъ двѣ стороны: духовную и матеріальную, идею и форму. Каждое изъ этихъ учений смотритъ на одну только изъ сторонъ искусства — и потому, какъ я сказалъ, имѣетъ справедливость относительную. Платонъ взираетъ на внутреннюю сторону искусства, на идею, которая точно есть даръ божественнаго вдохновенія души человѣческой; Аристотель, напротивъ, имѣетъ въ виду одну форму, одну внѣшнюю часть искусства: — потому величина и перядокъ поражаютъ его, какъ первыя условія красоты, и поэзія съ этой внѣшней стороны кажется ему подражаніемъ; эти условія выводитъ онъ изъ наблюденія самой природы, всегда единой, исключительной во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Ученіе Платона полезно относительно къ идеѣ. Оно питаетъ душу мыслию; оно даетъ свободу поэтическому вдохновенію. Но нельзя не замѣтить, что совершенный недостатокъ техники и признаніе безусловной свободы поэтическаго вдохновенія могутъ быть чрезвычайно вредны въ искусствѣ, особливо для таланта, едва возникающаго. Искусство потеряло уже первобытную творческую силу, которая прежде производила *изъ себя*: оно нуждается если не въ техническихъ правилахъ, то въ историческомъ преданіи, въ отчетливомъ наблюденіи предшествовавшихъ образцовъ.

Ученіе Аристотеля приноситъ пользу въ отношеніи къ исполнитель- ной части поэзіи. Его глубокомысленное *ἐν καὶ ὅλον* (*единое и цѣлое*), сня- тое съ природы, останется истиною, всегда вѣрною, и закономъ, для художника ненарушимымъ. Многія частныя мысли о драмѣ и особенно из- слѣдованіе главныхъ свойствъ ея должны быть навсегда внесены въ нор- мальную пѣтику для всѣхъ народовъ. Но ученіе его своимъ догматиче- скимъ характеромъ, особенно-же дурно понятое, можетъ наложить насиль- ственныя оковы на генія, стѣснить его творческую силу принятыми въ теоріи формами, чему разительный примѣръ мы видимъ въ исторіи запад- ной литературы. При такой крайности стѣсненія бываетъ необходимо осво- бождающее ученіе Платона. Къ тому-же сухость изложенія у Аристотеля мало питаетъ умъ. Прочіе роды поэзіи пострадали отъ пристрастія его къ драмѣ: лирика не имѣетъ никакой теоріи, а эпопея потеряла свой при- родный характеръ отъ насильственнаго подчиненія драмѣ.

Нельзя не замѣтить, что матеріальное ученіе Аристотеля, основанное на подражаніи природѣ, какъ видно, болѣе имѣло силы и развитія въ древ- немъ мірѣ, потому-что и самъ Платонъ къ нему склонился. Причина этому есть мѣстная и заключается въ характерѣ природы и искусства Греціи. Изыщная эта природа была первою воспитательницею художественнаго чувства грековъ: ее въ самомъ дѣлѣ принимали за образецъ искусства, и въ отношеніи къ его матеріалу и внѣшнимъ формамъ можно было справед- ливо назвать это искусство подражаніемъ изыщной природѣ Греціи. Кромѣ того изъ искусствъ процвѣтали особенно тѣ, которыя въ матеріалѣ своемъ и формахъ проявленія болѣе соприкасаются съ внѣшнимъ міромъ: такъ, на- примѣръ, искусства пластическія, болѣе копирующія съ природы. Сама поэзія принимала также пластическій характеръ и изобиловала образомъ, а не мыслию. Грекъ не иначе постигалъ и мысль, какъ въ видѣ образа: поэтому на языкѣ его мысль (*idéa*) и образъ — синонимы. Эпическая поэзія своею пластическою стихіею имѣла вліяніе на всѣ роды. Лирика, поэзія духа, внутреннего міра, не получила богатаго развитія у грековъ: не по- тому-ли она и не имѣла особой теоріи? — Все это намъ достаточно объ- ясняетъ, почему искусство въ Греціи могло справедливо быть названо по- дражаніемъ природѣ.

Но такая теорія, будучи перенесена въ новый, особенно сѣверный міръ Европы, разумѣется, была ошибочною, потому-что не оправдывалась ни мѣстностію самой природы, ни характеромъ искусства, которое устре-

милось отъ міра внѣшняго во внутренній міръ души человѣческой. Вотъ почему новые послѣдователи Аристотеля должны были прибавить: подражаніе *украшенной* природѣ. Но наконецъ страна, которой назначено было постигнуть глубокимъ сознаніемъ характеръ новаго христіанскаго искусства, явила и новую теорію, согласную съ его духомъ и болѣе родственную съ ученіемъ Платона, въ коемъ заключалось какъ будто предчувствіе идеальной германской теоріи.

Изъ сравненія двухъ противоположныхъ ученій о поэзіи въ древнемъ мірѣ, само собою слѣдуетъ, что тайна совершенства нашей науки должна заключаться въ примиреніи идеалиста Платона съ реалистомъ Аристотелемъ.

С. Шевыревъ.

(Теорія поэзіи въ историч. развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ. М. 1836).

5. Квинта Горація Флакка

Наука поэзіи.

Посланіе къ Пизонамъ.

Переводъ М. Дмитриева.

- Еслибы женскую голову къ шеѣ коня живописецъ
Вздумалъ приставить, и разные члены собравши отсюду,
Перьями ихъ распестрилъ, чтобъ прекрасная женщина сверху
Кончилась снизу уродливой рыбой; смотря на такую
5. Выставку, други! могли ли бы вы удержаться отъ смѣха?
Вѣрьте, Пизоны! на эту картину должна быть похожа
Книга, въ которой всѣ мысли, какъ бредъ у больного горячкой.
Гдѣ голова, гдѣ нога, безъ согласія съ цѣлымъ составомъ!
Знаю: поэтъ съ живописцемъ все смѣютъ, и все имъ возможно,
10. Что захотятъ. Мы и сами не прочь отъ подобной свободы,
И другому готовы дозволить ее, но съ условіемъ,
Чтобы дикіе звѣри не были вмѣстѣ съ ручными,

Змѣи въ сообществѣ птицъ и съ ягнятами лютые тигры!

Къ пышному, много собою обѣщавшему громко, началу
Часто, блистающій издали, лоскутъ принищъ пурпуровый: 15.
Или описанъ Діанинъ алтарь, или рѣзвый источникъ,
Вьющійся между цвѣтушихъ луговъ, или Рейнъ величавый,
Или цвѣтистая радуга на-небѣ мутно-дождливомъ!
Но у мѣста-ль они?—Ты, быть можетъ, умѣешь прекрасно
Кипарисъ написать?—Но къ чему, гдѣ заказанъ разбитый 20.
Бурей корабль съ безнадежнымъ пловцомъ?—«Ты работаешь амфору,
И вертѣлъ ты, вертѣлъ колесо, а сработалась кружка!
Знай же, художникъ, что нужны во всемъ—простота и единство!

Большую частью, Пизоны, отецъ и достойныя дѣти!
Мы, стихотворцы, бываемъ наружнымъ обмануты блескомъ! 25.
Краткимъ ли быть я хочу—выражаюсь темно; захочу ли
Нѣжнымъ быть—дѣлаюсь слабъ; быть высокимъ—впадаю въ надутость;
Этотъ робѣетъ и, бури страпась, пресмыкается долу;
Этотъ, любя чудеса, представляетъ въ лѣсу намъ дельфина,
Вепря въ волнахъ!—И повѣрьте, не зная искусства, 30.
Избѣжавши ошибки одной, подвергаетесь болѣе!

Близко отъ школы Эмилиа былъ же художникъ, умѣвшій
Ногти и гибкіе волосы въ бронзѣ вальтъ превосходно!
Въ цѣломъ—онъ былъ неудаченъ, обнять не умѣя единства!
Ежели я что пишу, не хотѣлъ бы ему быть подобнымъ, 35.
Такъ же, какъ не хочу съ безобразнымъ быть носомъ, имѣя
Черныя очи или прекрасные черные кудри!

Всякій писатель предметъ выбирай соответственный силѣ;
Долго разсматривай, пробуй, какъ ношу, поднять ли плечи.
Если кто выбралъ предметъ по себѣ, ни порядокъ, ни ясность 40.
Не оставятъ его, выраженіе будетъ свободно.

Сила и прелесть порядка, я думаю, въ томъ, чтобъ писатель
Зналъ, что гдѣ именно должно сказать, а все прочее—послѣ.
Гдѣ что идетъ; чтобъ поэмы творецъ зналъ, что взять, что откинуть;
Также, чтобъ былъ онъ не щедръ на слова, но и скупъ и разборчивъ! 45.

Если извѣстное слово, искуснымъ съ другимъ сочетаньемъ,
Сдѣлаешь новымъ—прекрасно! Но если и новымъ реченьемъ
Нужно, дотолъ неизвѣстное нѣчто, назвать: ты старайся

- Слово такое найти, чтобъ неслыхано было Цетегамъ!
50. Эту свободу, когда остороженъ ты въ выборъ будешь,
Можно позволить себѣ: выраженіе новое вѣрно
Принято будетъ, если источникъ его — благозвучный
Грековъ прекрасный языкъ! — Что Римлянинъ Плавту позволилъ
Или Цецилію — какъ запретить вамъ, Виргилій и Варій?...
55. Чтожъ упрекаютъ мнѣ, если я вновь нахожу выраженья?
Эній съ Катонъ новыхъ вещей именами богато
Предковъ языкъ надѣлили; всегда дозволялось и нынѣ
Тоже дозволено намъ и всегда дозволяемо будетъ
Новое слово ввести, современнымъ клеймомъ обозначивъ.
60. Какъ листы на лѣсахъ измѣняются вмѣстѣ съ годами,
Прежніе-жъ всѣ облетаютъ: такъ слова въ языкѣ. — Тѣ, состарясь,
Гибнутъ, а новые, вновь народясь, разцвѣтутъ и окрѣпнутъ!
Мы и все намъ — данъ смерти! — Море ли, сжатое въ пристань,
(Подвигъ достойный царя!) корабли охраняетъ отъ бури,
65. Или болото бесплодное, нѣкогда годное весламъ,
Грады сосѣдніе кормить, взрытое тяжелой сохою;
Или рѣка перемѣнитъ свой бѣгъ на удобный и лучшій,
Прежде опасный для жатвъ: все, что смертное, должно погибнуть!
Неужели честь словъ и пріятность ихъ — вѣчно живущи?...
70. Многія падшія вновь возродятся; другія же, нынѣ
Пользуясь честью, падутъ, лишь потребуетъ властный обычай,
Въ волѣ котораго все — и законы и правила рѣчи.
Всѣмъ намъ Гомеръ показалъ, какою описывать мѣрой
Грозныя битвы, дѣянья царей и вождей знаменитыхъ.
75. Прежде въ неравныхъ стихахъ заключалась лишь жалоба сердца;
Послѣ же чувства восторгъ и событіе сладкихъ желаній!
Кто изобрѣлъ родъ Элегій, въ томъ спорятъ ученые люди,
Но и донныя ихъ тяжба осталась еще не рѣшенной.
Яростный ямбъ изобрѣлъ Архилохъ; и низкіе сокки
80. Вмѣстѣ съ высокимъ котурномъ усвоили новую стопу.
Къ разговору способна, громка, какъ будто родилась
Къ дѣйствію жизни она, къ одолѣнію народного шума!
Звонкимъ же лиры струнамъ даровала безсмертная муза
Славить боговъ и сыновъ ихъ, борцовъ, увѣнчанныхъ побѣдой

- Бранныхъ копей и веселье вина и заботы младыхъ. 85.
- Если въ поэмѣ я не могу наблюсти всѣхъ оттѣнковъ,
Всѣ ея краски, за чтоже меня называть и поэтомъ?
Развѣ не стыдно незнаніе? Стыдно только учиться?...
- Комикъ находить трагическій стихъ неприличнымъ предмету;
Ужинъ Тіеста — равно недостойно разсказывать просто 90.
Разговорнымъ стихомъ, языкомъ для комедіи годнымъ.
- Каждой вещи прилично природой ей данное мѣсто.
Но иногда и комедія голосъ свой возвышаетъ:
Такъ раздраженный Хремесъ порицаетъ безумнаго сына
Рѣчью, исполненной силы; перѣдко и трагикъ печальный 95.
Жалобы стоить издастъ языкомъ и простымъ и смиреннымъ.
- Такъ и Телефъ, и Пелей, въ изгнаньи и бѣдности оба,
Бросивши пышныя рѣчи, трогаютъ жалобой сердце!
- Нѣтъ! не довольно стихамъ красоты: но чтобъ, духъ улаждалъ,
Всюду они увлекали его по волѣ поэта. 100.
- Лица людскія смѣются съ смѣющимся, съ плачущимъ плачутъ.
Если ты хочешь, чтобъ плакалъ и я, то самъ будь растроганъ:
Только тогда и Телефъ, и Пелей, и несчастье ихъ рода
Тронуть меня, а иначе — или засну я со скуки,
Или же стану смѣяться! — Печальныя рѣчи приличны 105.
Лику печальному; грозному — гнѣвъ; а веселому — шутки:
- Важныя рѣчи идутъ и къ наружности важной и строгой,
Ибо такъ внутренно насъ напередъ устроитъ природа
Къ перемѣнамъ судьбы, чтобъ мы ихъ на лицѣ выражали, —
Радуетъ что, иль гнѣвитъ, иль къ землѣ насъ печалію клонитъ, 110.
Сердце-ль щемитъ, иль душа свой восторгъ изливаетъ словами!
- Еслижъ съ судьбою лица у поэта языкъ несогласенъ,
Въ Римѣ и всадникъ, и пѣшій народъ осмѣютъ безпощадно.
- Въ этомъ есть разниа: Давъ говорить, иль герой знаменитый,
Старецъ, иль мужъ, или юноша, жизнью цвѣтущей кипящій, 115.
Знатная родомъ матрона или кормилица: также
Ассириецъ, Колхидянинъ, пахарь или разнощій,
Житель ли Греческихъ Оивъ, или Грекъ же — питомецъ Аргоса!
- Слѣдуй преданью, поэтъ, иль выдумывай съ истиной сходно!
Если герой твой Ахиллъ, столь прославленный въ пѣсняхъ, да будетъ 120.

Пылокъ, дѣтеленъ, скоръ и во гнѣвѣ своемъ непреклоненъ,
Кромѣ меча своего признавать нехотящій закона;
Гордой и лютой должна быть Медея; Ино—плачевна;
Ю—скиталица; мраченъ Орестъ; Иксіонъ—вѣроломный.

125. Если вѣряешь ты сценѣ что новое; если ты смѣешь
Творческой силой лицо создавать, неизвѣстное прежде,
То старайся его до конца поддержать таковымъ же,
Какъ ты въ началѣ его показалъ, съ самимъ собою согласнымъ!
Трудно однакожь дать общему личностъ; вѣрный въ Иліадѣ
130. Дѣйствіе вновь отыскать, чѣмъ представить предметъ незнакомый!
Общее будетъ по праву твоимъ, какъ скоро не будешь
Вмѣстѣ съ бездарной толпою въ кругѣ обычномъ кружиться,
Если не будешь идти по слѣдамъ подражателемъ робкимъ
Слово за словомъ, то избѣжишь тѣсноты, изъ которой
135. Стыдъ да и самыя правила выдти назадъ запрещаютъ!
Бойся начать, какъ цѣлическій прежнихъ временъ стихотворецъ:
«Участь Пріама пою и войну достославную Трои!»
Чѣмъ обѣщанье исполнить, разинувши ротъ столь широко?....
Мучило гору, а что родилось? смѣшной лишь мышенокъ!
140. Лучше стократъ, кто не хочетъ начать ничего не по силамъ:
«Муза! скажи мнѣ о мужѣ, который, разрушивши Трою,
Многихъ людей города и обычаи въ странствіяхъ видѣлъ!»
Онъ не изъ пламени дыму хотѣлъ напустить; но изъ дыма
Пламень извлечь, чтобы въ блескѣ чудесное взору представить:
145. Антифата и Сциллу, или съ Циклономъ Харибду!
Онъ не начнетъ Діомидовъ возвратъ съ Мелеагровой смерти,
Ни Троянской войны съ двухъ лицъ, порожденія Леды!
Прямо онъ къ дѣлу спѣшитъ; повѣствуя знакомое, быстро
Мимо онъ тѣхъ произшествій внимающихъ слухъ увлекаетъ;
150. Что воспѣвали другіе, того украшать не возьмется;
Истину съ басней смѣшаетъ онъ такъ, сочетавши искусство,
Что началу середина, срединѣ конецъ отвѣчаетъ!
Слушай, чего я хочу и со мною народъ нашъ желаетъ.
Если ты хочешь, чтобы зритель, съ минуты открытыя завѣсы,
155. Слушалъ съ вниманіемъ, молча, до слова: «бейте въ ладоши!»
То старайся всѣхъ возрастовъ нравы представить прилично,

Сходно съ натурою, какъ измѣняются люди съ годами.

Мальчикъ, который ужъ знаетъ значеніе словъ и умѣетъ
Твердо ступать по землѣ—онъ ровесниковъ любить и игры;
Вдругъ онъ разсердится, вдругъ и утихнеть, и все по надолго. 160.

Юноша, если надзора наставника онъ ужъ свободенъ,
Любить коней, и собакъ, и зеленое Марсово поле;
Мягче онъ воска къ пороку, не слушаетъ добрыхъ совѣтовъ;
Медленъ въ полезномъ, и гордъ, и сорить расточительно деньги;
Пылокъ въ желаньяхъ, но скоро любимую вещь оставляетъ! 165.

Мужескій возрастъ, съ умомъ, измѣнившимся наклонность съ лѣтами,
Ищетъ богатства, связей, онъ почестей рабъ, и боится,
Какъ бы не сдѣлать чего, въ чемъ раскается можетъ быть послѣ!

Старецъ не знаетъ покоя: или несчастный въ заботахъ
Копить добро, иль боится прожить, что накоплено прежде; 170.

Хладнокровно и съ робостью править своими дѣлами;
Ждетъ и надѣется долго; не скоро рѣшается; жадно
Въ будущемъ ждетъ исполненія; ничѣмъ не доволенъ, печаленъ,
Хвалить то время, какъ молодъ онъ былъ, порицая вѣкъ новый!

Годы летятъ и приносятъ многія блага; но много 175.

Ихъ и уносятъ, какъ жизнь начинается клониться къ закату!

Юношѣ роль не давай старика; а мальчику—мужа!

Каждого возраста нравы—черты означаютъ иные!

Дѣйствіе или на сценѣ или бываетъ въ разсказѣ.

Что къ намъ доходить чрезъ слухъ, то слабѣе въ насъ трогаетъ сердце, 180.

Нежели то, что само представляется вѣрному глазу,

И чему самъ свидѣтелемъ зритель.—Однакожь на сценѣ

Берегись представлять, что отъ взора должно быть сокрыто

Или что скоро въ разсказѣ живомъ сообщить очевидецъ!

Нѣтъ! не должна кровь дѣтей проливать предъ народомъ Медея, 185.

Глупый Атрей передъ всѣми варить человѣковъ утробы,

Прогна предъ всѣми же въ птицу, а Кадмъ въ змѣю превратился:

Я не повѣрю тебѣ, и мнѣ зрѣлище будетъ претивно.

Если ты хочешь, чтобы драму твою, разъ увидѣвши, зритель

Видѣть потребовалъ вновь, то пять актовъ ей должна мѣра! 190.

Но чтобы боги въ нее не вступались, развѣ твой узелъ

Требуетъ вышей ихъ силы!—Равно, въ говорящихъ, четвертый

Лишний всегда: безъ него обойтись въ разговорѣ старайся!

Хоръ есть замѣна мужскаго лица; ничего между дѣйствій

195. Пѣть онъ не долженъ, что къ цѣли прямой не ведетъ и съ предметомъ
Тѣсно не связано! Пусть ободрять онъ добрыхъ; совѣты
Имъ подаетъ; укрощаетъ пылъ гнѣва и гордость смиряетъ;
Пусть превозноситъ умѣренный столъ, справедливость святую,
Миръ, и законъ, и врата городовъ безопасно отверзты;
200. Пусть онъ, повѣренный тайнъ, умоляетъ боговъ, чтобъ Фортуна
Вновь обратилась къ несчастнымъ, отъ гордыхъ же прочь удалилась!
Флейта была въ старину не изъ многихъ частой, соединенныхъ
Мѣдью въ одно, какъ теперь, не соперница трубъ, но простая,
Тихимъ пріятная звукомъ, ладовъ имѣя немного,
205. Вторить лишь хору могла и быть слышной народу, который
Было легко перечестъ: на скамьяхъ онъ еще не тѣнился,
Ибо умѣренъ былъ, правами строгъ, и не шумѣлъ, и скромнѣе.
Послѣ, какъ тотъ же народъ чрезъ побѣды расширилъ предѣлы
Мирныхъ полей; какъ обнесъ онъ свой городъ обширной стѣною,
210. Въ праздники началъ виномъ утѣшать надменную силу,
Большая вольность вошла тутъ и въ мѣру и въ тактъ музыкальный, —
Ибо какъ требовать вкуса отъ грубости жителей сельскихъ,
Праздныхъ невѣждъ, съ горожанами смѣшанныхъ вмѣстѣ?—Тогда то
Имъ въ угожденіе флейщики съ простою старинной игрою
215. Пляску и пышность сталъ сочетать и ходить по помосту
Въ длинной одеждѣ; и самая лира умножила звуки!
Выговоръ скорый тогда превратился въ высокій и важный;
Стали вводить въ разговоръ изреченія, потомъ прорицанья,
Такъ что поэтъ наконецъ говорилъ, какъ Дельфійскій оракулъ!
220. Прежде трагическій скромный поэтъ за козла состязался!
Вскорѣ во всей наготѣ сталъ лѣсныхъ выставлять онъ сатировъ;
Вскорѣ попробовалъ съ важностью вмѣстѣ и рѣзкую шутку,
Съ тѣмъ чтобы новымъ занять чѣмъ-нибудь, чѣмъ-нибудь да пріятнымъ,
Зрителей, послѣ жертвъ приношенія всегда подгулявшихъ!
225. Пусть же выводить на сцену насмѣшливыхъ дерзкихъ сатировъ,
Пусть обращаютъ въ смѣшное предметы и важные даже;
Только совѣтъ мой: когда богъ какой представляется тутъ же
Или герой, передъ тѣмъ появлявшійся въ пурпурѣ, въ златѣ,

То неприлично, чтобъ онъ говорилъ, какъ въ харчевнѣ; но также
Чтобы онъ, уклонясь земли, въ облакахъ не терялся!

230.

Такъ! недостойнѣ трагедіи стихъ легкомысленной шутки;
Между сатировъ ей стыдно, какъ важной матронѣ, которой
Велѣно вмѣстѣ съ другими участвовать въ праздничной пляскѣ!

Будь я писатель сатиръ—не одни бы простыя реченія,
Не одну бъ я любилъ безукрашенность рѣчи народной;
Но не хотѣлъ бы совсѣмъ и трагедіи краски оставить:
Такъ, чтобъ рѣчи Дава всегда различалась со смѣлою рѣчью
Питія дерзкой, у Симона хитро талантъ захватившей,
Или съ рѣчами Силена, слуги и пѣстуна Вакха!

235.

Я бы составилъ мой слогъ изъ знакомыхъ для всѣхъ выражений
Такъ, чтобы каждому легкимъ сначала онъ могъ показаться;
Но, чтобъ надъ нимъ попотѣлъ подражатель иной!—Такъ пріятность
Много зависитъ отъ связи идей; отъ порядка—ихъ сила.

240.

Если бы я былъ судьей, то Фавнъ, убѣжавшій изъ лѣса,
Остерегся бы въ нѣжныхъ стихахъ объясняться, какъ щеголь,
Уличный житель, который едва не на рынкѣ родился,
И не смѣлъ бы въ стихахъ повторять непристойныя рѣчи,
Ибо сенаторъ и всадникъ, всѣ люди съ достаткомъ и вкусомъ,
Вѣрно въ награду вѣнка не присудятъ—за то, что похвалить
Покупатель орѣховъ лѣсныхъ или сухаго гороху!

245.

250.

Долгій слогъ за короткимъ въ стихахъ называется ямбомъ.
Стихъ ямбическій быстръ, отъ того онъ и названъ триметромъ,
Даромъ что въ чтеніи онъ представляетъ намъ шесть удареній.
Прежде съ начала стиха до конца—онъ былъ весь одинаковъ;
Послѣ, чтобъ тише для слуха онъ былъ и казался важнѣе,
Ямбъ терпѣливый отечески съ важнымъ и тихимъ спондеемъ
Право свое раздѣлилъ, но съ условьемъ такимъ неизмѣннымъ,
Чтобъ вторая съ четвертой стопа—все за нимъ оставались.
Рѣдко у Эннія съ Акціемъ, въ ихъ знаменитыхъ триметрахъ,
Встрѣтишь спондеи!—На сценѣ стихи, полновѣсные имъ,
Явный укоръ для поэта въ небрежности, столько постыдной,
Или въ поспѣшности, или въ незнаціи правилъ искусства.

255.

260.

Правда, не всякій въ стихъ замѣчаетъ ошибку въ паденьи,
Въ чемъ уже лишняя вольность дарована римскимъ поэтамъ;

265. Но неужели поэтому долженъ я быть своевольнымъ
И писать наудачу?—Неужели, видя ошибки,
Думать спокойно о нихъ, въ безопасной надеждѣ прощенья?...
Даже и ихъ избѣжавъ, похвалы я еще недостойнъ.
О! день и ночь вы, Пизоны, читайте творенія Грековъ!
270. Вотъ образцы!—«Но вѣдь предки хвалили жъ стихи и шутливость
Плавта?»—Хвалили и то и другое!—Дивлюсь ихъ терпѣнью,
Чуть не сказалъ я: «ихъ глупости!»—ежели только мы съ вами
Въ силахъ умомъ отличить остроту отъ шутливости грубой,
Если и ухомъ и пальцами вѣрность стиха разбираемъ!
275. Новый поэзіи родъ,—неизвѣстной трагической музы,
Өспись, какъ въѣ говорить, избобрѣлъ и возилъ на телѣгахъ
Онъ лицедѣевъ своихъ, запачкавшихъ лица дрождами
И поющихъ стихи; но личины и одежды приличной
Изобрѣтатель Эсхиль. На подмостки театр свой взмостивши,
280. Слову высокому ихъ научилъ и ходить на котурнахъ!
Вслѣдъ за Эсхиломъ явилась комедія старая наша.
Ей былъ не малый въ народѣ успѣхъ, но вскорѣ свобода
Перешла въ своевольство, достойное быть укропленнымъ.
Принять законъ—и въ ней хоръ замолчалъ, и вредить перестала.
285. Наши поэты, испробовавъ все, честь за то заслужили,
Что оставивши Грековъ слѣды, прославляли родныя дѣянья,
Частію въ важной претекстѣ, великимъ лишь лицамъ приличной,
Частію въ тогѣ простой, гражданина всегдашней одеждѣ.
Лаціумъ, сильный оружіемъ, былъ бы не менѣ славенъ
290. И прекраснымъ своимъ языкомъ, когдабъ стихотворцамъ
Не было скучно и трудно опиливать чище работу.
Вы, о Помпилія кровь! Не хвалите поэмы, покуда,
Десять разъ исправляя ее и долгое время,
Авторъ до самыхъ ногтой не довелъ ея совершенства!
295. Пусть говоритъ Демокритъ, что геній счастливѣй искусства,
Пусть здравоумныхъ поэтовъ стогнаетъ съ высотъ Геликона!
Многіе, вѣри ему, отростили бороду, ногти,
Убѣгаютъ людей, не ходятъ даже и въ баню!
Какъ не достигнуть имъ славы поэтовъ, когда не ввѣряютъ
300. Никогда своей головы брадобрѣю Лицину,

- Неизлѣчимой ничѣмъ—ни трехъ Антициръ чемерицей!
О я несмысленный!—Стало напрасно весенней порою
Я очищаюсь отъ желчи!—Еслибъ не это, всѣхъ лучше
Я бы писалъ; но съ условіемъ такимъ не хочу быть поэтомъ!
Стану же должность оселка я отправлять: онъ не рѣжетъ,
305. Но зато онъ желѣзо острить!—Самъ писать я не буду,
Но открою другимъ, что творить и питаетъ поэта,
Что прилично, что нѣтъ, въ чемъ искусство и въ чемъ заблужденіе!
Прежде, чѣмъ станешь писать, научись же порядочно мыслить!
Книги философовъ могутъ тебя въ томъ достойно наставить,
310. А выраженія за мыслью придуть уже сами собою!
Ежели знаетъ поэтъ, чѣмъ онъ долженъ отечеству, дружбѣ,
Въ чемъ родителей, братьевъ любовь, въ чемъ обязанность къ гостю,
Въ чемъ долгъ сенатора, должность судьбы и въ военное время
Власть предводителя войскъ, тотъ конечно въ поэмѣ
315. Каждому можетъ лицу дать приличнымъ званію рѣчи!
Нравы совѣтую я изучать наблюденіемъ жизни:
Изъ нея почерпать и правдивое ихъ выраженіе!
Часто комедія мѣстности блескомъ и вѣрностью нравовъ,
Хоть и чуждалъ вкуса и чуждалъ силы искусства,
320. Больше народъ забавляетъ и больше его занимаетъ,
Нежели—скудная дѣйствіемъ, звучно блестя пустяками!
Грекамъ муза дала полновзвучное слово и геній,
Имъ, ни къ чему независтливымъ, кромѣ величія славы!
Дѣти же Римлянъ учатся долго, съ трудомъ, но чему же?
325. На сто частей научаются ассы раздѣлять безъ ошибки!
«Сытъ Альбона! скажи мнѣ, если мы, взявши пять унцій,
Вычтемъ одну, что останется?»—Третья часть асса!—«Прекрасно!
Ну, ты имѣнье свое не растратишь!—А если прибавимъ
Къ прежнимъ пяти мы одну, что будетъ всего?»—Половина!—
330. Если, какъ ржавчина, въ умъ заберется корысть, то возможно-ль
Съ нею стиховъ ожидать, въ кипарисѣ храниться достойныхъ?
Правиться или учить—цѣль, къ которой стремятся поэты:
Или и то и другое: полезное вмѣстѣ съ пріятнымъ.
Если ты учишь, старайся быть краткимъ, чтобъ разумъ послушный
335. Тотчасъ понималъ слова и хранилъ бы ихъ въ памяти вѣрно!

Все, что излишне, понятіе наше хранить не умѣть.

Если ты что вымыслишь, будь въ вымыслѣ къ истинѣ близокъ:

Требовать вѣры во всемъ — невозможно; нельзя же живаго

340. Вынуть изъ чрева ребенка, котораго Ламія съѣла.

Старые люди не любятъ поэмы, когда бесполезна,

Гордые всадники — важное все отвергаютъ съ презрѣньемъ!

Всѣхъ голоса соединить, кто мѣшаетъ пріятное съ пользой,

Занимая читателя умъ и тогда жъ поучая.

345. Книга такая и Созіамъ деньги приноситъ, и славу,

Долгихъ лѣтъ славу поэту даетъ и моря преплываетъ!

Есть и такія ошибки, въ которыхъ поэтъ невиновенъ:

И струна не всегда повинуется пальцамъ и слуху,

Часто звукъ острый она издаетъ, какъ требуешь важный;

350. И изъ лука стрѣла не всегда долетаетъ до цѣли!

Если поэма наполнена многихъ красота и блестящихъ,

То извинительны малыя пятна, которыхъ небрежность

Или бессилье натуры людской не умѣли избѣгнуть!

Но какъ не стоить прощенья такой переписчикъ, который

355. Вѣчно привыкъ на письмѣ все къ одной и все той же ошибкѣ;

Какъ смѣшонъ музыкантъ, не въ ладу все съ той же струною,

Такъ и небрежный поэтъ мнѣ покажется тотчасъ Херилломъ:

Встрѣтя хорошее въ немъ, и дивлюсь, и смѣюсь! — Но досадно,

Если и добрый нашъ старецъ Гомеръ иногда засыпаетъ;

360. Впрочемъ, въ столь длинномъ трудѣ иногда не вздремнуть невозможно.

Живописи, какъ и поэзія, сходная съ нею во многомъ,

Часто плѣняютъ вблизи, иногда же въ одномъ отдаленіи.

Эта картина прекрасна въ тѣни; а другая, которой

Острое зрѣніе судьи не вредить, превосходна при свѣтѣ.

365. Эта понравится разъ, а другую разъ десять посмотреть.

Старшій изъ братьевъ Пизоновъ! Хотя вѣренъ и вкусъ твой и разумъ,

И хоть голосъ отца для тебя превосходный наставникъ,

Но я къ тебѣ обращаюсь теперь! Есть предметы, въ которыхъ

Даже посредственность всѣми терпима и можетъ быть сносною.

370. Такъ юрисконсультъ иной, хотя краснорѣчія силою

Не сравнится съ Мессалой, ни знаньемъ съ Касцеліемъ-Авломъ,

Но уважаютъ его! — А поэту ни люди, ни боги,

Даже столбы не прощаютъ посредственность: всѣмъ нестерпима!

Какъ за пріятнымъ обѣдомъ разстроенной музыки звуки,

Запахъ грубыхъ куреній, какъ, смѣшанный съ медомъ сардинскимъ,

Всѣмъ досаждаютъ, за тѣмъ, что обѣдъ и безъ нихъ обошелся-бъ,

Такъ и поэзія, лучшихъ и тонкихъ умовъ наслажденіе,

Чуть лишь сойдетъ съ высоты, упадаетъ на низкую степенъ.

Кто не искусенъ въ бою — уклоняется съ Марсова поля,

Тотъ, кто ни въ обручъ, ни въ мячъ, ни въ дискъ играть не искусенъ,

Тотъ не вступаетъ въ игру, чтобъ не подняли зрители хохотъ;

Только несвѣдущій вовсе въ стихахъ — ихъ писать не стыдится:

Что-же ему не писать! — Онъ свободный, хорошаго рода,

Всадничій онъ капиталъ объявилъ и во всемъ безъ порока!

Нѣтъ, ты не будь таковымъ! Не пиши безъ согласья Минервы.

Ты разсудителенъ, знаю! Когда что напишешь, то прежде

Метія вѣрному слуху долженъ на судъ ты представить,

Или отцу, или мнѣ; и лѣтъ девять хранить безъ показу.

Втайнѣ свой трудъ прѣдержавши, куда онъ въ свѣтъ не явился,

Много исправивъ, а выпустишь слово, назадъ не воротить!

Нѣкогда древній Орфей, жрецъ боговъ, провозвѣстникъ ихъ воли,

Дикихъ людей отучилъ отъ убійствъ и отъ гнусной ихъ пищи;

Вотъ отчего говорятъ, что и львовъ укротилъ онъ и тигровъ.

Ѣвскія стѣны воздвигъ Амфіонъ: оттого намъ преданье

Повѣствуетъ о немъ, что онъ лиричными звуками камня

Двигалъ съ ихъ мѣста, куда ни хотѣлъ, сладкогласіемъ лиры.

Древняя мудрость въ томъ вся была, чтобъ народное съ частнымъ,

Чтобъ святыню съ мірскимъ различить, дать бразу уставы,

Строить грады, на древъ вырѣзывать людямъ законы!

Оттого и божественнымъ именемъ чтили поэтовъ,

И пророчествомъ звали ихъ пѣснь! — Вслѣдъ за ними, позднѣе,

Славный Гомеръ и Тиртей воспаменяли своими стихами

Бранныя души. Оракулы тоже въ стихахъ возвѣщались.

Голосъ Піэридъ и жизни указывалъ путь, и поэтамъ

Снискивалъ милость царей, и рабствъ годовыхъ съ окончаньемъ

Пѣсню веселой народъ улаживалъ! — Не стыдитесь отнынѣ

Лиры искусной, и голоса музъ, и цѣвца Аполлона!

Что къ совершенству поэмы способствуетъ больше: натура

375.

380.

385.

390.

395.

400.

405.

- Или искусство?— Странный вопрос! Я не вижу, къ чему-бы
410. Наше ученіе было безъ дара, и даръ безъ науки?...
- Геній природный съ наукой должны быть въ взаимномъ согласіи.
- Тотъ, кто стремится достигнуть на бѣгу желаемой меты,
- Въ юности много трудовъ перенесъ: и потѣлъ онъ, и забнулъ,
- Былъ онъ воздерженъ въ любви и въ винѣ. — Музыкантъ, на пиіейскихъ
415. Играхъ поющій, тоже учился, наставника слушалъ.
- Нынѣ довольно сказать: «я чудесно стихи сочиняю!»
- Всякій хочетъ впередъ: позади оставаться постыдно,
- Стыдно признаться, что вовсе не знаешь, чему не учился.
- Какъ публичный крикунъ скликаетъ толпу на продажу
420. Разныхъ товаровъ, такъ и поэтъ, богатый землями,
- Деньги пускающій въ ростъ, собираетъ лстцецовъ и дарить ихъ.
- Но кто большіе обѣды даетъ, кто ручается въ долгѣ
- По бѣднягъ и мотѣ, которому больше не вѣрятъ,
- Или кто плута въ судѣ отъ хлопотъ защититъ: сомнѣваюсь,
425. Чтобы могъ различить онъ прямого отъ ложнаго друга!
- Если кого ты дарилъ, иль подарокъ кому общаешь,
- Слушать свои сочиненія его не зови: будь увѣренъ,
- Что онъ въ радости сердца всегда закричитъ: «безподобно!»
- Внѣ себя отъ восторга, онъ, вѣрно, то выронитъ слезу,
430. То въ восхищеніи вскочитъ, то въ землю ударитъ ногою!
- Точно наемныя плаксы, обрядъ похоронъ исполняя,
- Больше рыдаютъ и воютъ, чѣмъ тотъ, кто и вправду печаленъ,
- Такъ и насмѣшникъ разстроганъ! — Не такъ прямодушный цѣнитель!
- Говорятъ, что цари принуждаютъ пить многія чаши,
35. Полныя цѣльнымъ виномъ, какъ скоро хотятъ откровенно
- Вызвать, достоинъ-ли дружбы кто ихъ. Такъ и ты берегись,
- Если ты пишешь стихи, лстцецовъ подъ наружностью лисей?
- Если-бъ Квинтилію ты ихъ читалъ, онъ сказалъ-бы открыто:
- «Это и это поправь!» — На отвѣтъ твой, что два иль три раза
440. Пробовалъ ихъ исправлять, но не сладилъ, онъ скажетъ, что лучше
- Ихъ уничтожить совсѣмъ, и поэму всю снова подъ мѣлотъ.
- Если-жъ ты болѣе любишь сттаивать споромъ ошибки,
- Чѣмъ исправлять ихъ, то словъ понапрасну онъ тратить не станетъ,
- Онъ замолчитъ: пусть себя и стихи безъ соперниковъ любишь!

- Честный и свѣдущій мужъ откровенно стихъ слабый замѣтитъ,
445. Жесткій осудитъ; небрежный, перо обмакнувши въ чернила,
- Чернымъ отмѣтитъ крестомъ; украшенія пустыя отброситъ;
- Видя неясность въ стихѣ, выраженію принудитъ дать ясность;
- Встрѣтя двусмысленность, тотчасъ укажетъ, что должно исправить.
450. Какъ прямой Аристархъ, онъ не скажетъ: «зачѣмъ-же мнѣ друга
- Этой бездѣлицей такъ огорчать?» — А бездѣлицы эти
- Послѣ въ насмѣшкамъ ведутъ, къ непріятностямъ болѣе важнымъ.
- Но какъ разумные люди боятся прилипчивой сыни,
- Или желтухи, или лишенныхъ Діаной разсудка,
- Бѣгая дальше отъ нихъ: такъ всѣ прочь отъ безумца поэта.
455. Лишь мальчишки, гоняясь за нимъ, неразумные, дразнятъ!
- Между тѣмъ какъ, надувшись, реветъ онъ стихи и глазами
- Водитъ вокругъ, какъ въ лѣсу птицеловъ, дроздовъ стерегущій,
- Если въ то время онъ въ ровъ упадетъ иль въ колодезь и кличетъ:
460. Ай, помогите, граждане!» — никто не спасай стихотворца!
- Если жъ кто вздумаетъ помощь подать и опуститъ
- Сверху веревку ему, я скажу: «ты не знаешь; быть можетъ
- Онъ и нарочно упалъ и не хочетъ оттолъ!» и прибавлю
- О Эмпедоклѣ разсказъ, Сицилійскомъ поэтѣ, который
465. Вздумавши въ бога, прыгнулъ хладнокровный въ горящую Этну!
- Что намъ поэтовъ свободы липать — погибать какъ угодно.
- Противъ воли поэта спасти все равно, что убійство!
- Съ нимъ же вѣдь это не въ первый ужъ разъ! — И повѣрь: человекомъ
- Все онъ не сдѣлетъ; все мысль не оставитъ о славной онъ смерти!
470. Трудно постичь, отчего же стихи безпрестанно онъ пишетъ?
- Прахъ ли отца осквернивъ, онъ наказанъ такимъ бѣснованьемъ?
- Иль обезчестилъ онъ мѣсто, гдѣ громъ разразился? — по только
- Онъ сумасшедшій! Лишь станетъ читать, и простяетъ и ученый —
- Всѣ убѣгутъ, какъ отъ звѣря, свою разломавшаго клетку.
- Но кого онъ настигнетъ, бѣда! зачитаетъ до смерти!
475. Точно шивеа: пока не напьется полна, не отстанетъ.

6. Происхождение и устройство греческого театра.

Драма, благодаря которой греческая поэзия достигла высшей степени совершенства, выросла, какъ извѣстно, на религиозной почвѣ, произшедши изъ обрядовъ и праздниковъ въ честь Бакха, которымъ въ свою очередь она впоследствии послужила лучшимъ украшеніемъ. И подобно тому какъ начала комедіи должно искать въ такъ называемомъ маломъ Діонисовомъ *) праздникѣ, такъ трагедія развилась изъ лирическаго диоирамба, которымъ греки въ порывѣ восторга въ праздникъ Ленеевъ въ смѣлой стихотворной формѣ прославляли похождения Бакха, подателя вина. Пѣсню эту пѣли при музыкѣ и пляскѣ сначала жрецы, впоследствии цѣлый хоръ, устроенный и подготовленный специально для этой пѣли; пѣніе было поочередное (антистрофическое), что дѣлало его до нѣкоторой степени драматическимъ; однако чисто драматическій элементъ введенъ въ пѣсню только въ Аттикѣ—тѣмъ, что предводитель хора сталъ объяснять и расширять нѣко-

*) Діонисіи были въ Атикѣ двоякаго рода: однѣ (древнѣйшія) праздновались демами въ честь бога—подателя вина (сельскія діонисіи) по окончаніи сбора винограда и приготовленія вина, въ мѣсяцъ посеидеонъ (въ концѣ декабря), процессіями, принесеніемъ въ жертву козловъ, тѣщами, пѣснями, различными играми и веселыми шутками.

Другія діонисіи, называемыя городскими и великими, праздновались въ мѣсяцъ элафеболіонъ (въ концѣ марта), во славу бога, воскресителя помолодѣвшей и весело развивающейся природы.

Въ промежутокъ времени между тѣми и другими былъ праздникъ ленеи, совершаемый въ Афинахъ въ мѣсяцъ гамеліонъ (въ концѣ января) съ тою-же цѣлью, что и сельскія діонисіи. Центромъ религиозныхъ обрядовъ былъ храмъ Діониса на южной сторонѣ у подошвы Акрополя, такъ наз. ленеонъ, при которомъ находился и театръ афинскій. Также и съ этимъ празднествомъ соединена была процессія по городу съ обычными забавными и остроумными шутками и богатое шествіе, на которое городъ поставлялъ мясо. Самыми торжественными были великія діонисіи, такъ какъ они совпадали съ самымъ благоприятнымъ временемъ, когда въ Афинахъ бывало больше всего иностранцевъ.

Во время этихъ-то празднествъ, т. е., ленеи и городскихъ діонисій, давались театральныя игры, всегда втеченіи нѣсколькихъ (обыкновенно трехъ) дней,—и притомъ—поутру трагедіи и сатирическія драмы (тетралогіи), а пополуночи—комедіи.

рыя части пѣсни разсказами, изъ которыхъ, послѣ введенія сперва одного, впоследствии двухъ и наконецъ трехъ актеровъ, возникла существенная часть драмы — діалогъ, тогда какъ лирическіе хоралы, какъ по своей обширности, такъ и по своему значенію, все болѣе и болѣе отступали на задній планъ.

Древніе театры, встрѣчающіеся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Греціи, построены были по всей вѣроятности, до возникновенія и развитія драмы, для торжественныхъ пѣснопѣній въ честь бога Діониса. Но такъ какъ изъ этого пѣснопѣнія развилась, какъ уже сказано, трагедія, лучшее созданіе эллинскаго гонія, то вполне естественно, что она навсегда помѣстилась именно въ театрѣ. Кромѣ трагедій театръ служилъ мѣстомъ для различныхъ процессій, публичныхъ объявленій и народныхъ собраній.

Форма и мѣстность. Такъ какъ назначеніе театра состояло главнымъ образомъ въ томъ, чтобы возможно больше народа удобно могло смотрѣть на игры, которыя (въ отличіе отъ игръ въ стадіи *) и гипподромѣ) происходили на одномъ и томъ же мѣстѣ, то греки старались устроить сидѣнья такимъ образомъ, чтобы каждому зрителю приходилось смотрѣть въ одно и тоже мѣсто съ разстоянія по возможности одинаковаго. Поэтому основною формою всѣхъ театровъ служилъ полукругъ (болѣе 180°) или большой круговой сегментъ. Мѣстомъ для театра избирали обыкновенно склоны горъ и дѣлали въ нихъ, начиная отъ подошвы, въ концентрическихъ кругахъ, вверхъ углубленія для сидѣній, которыя при скалистой почвѣ были выдолблены прямо въ скалѣ, или же, если почва была рыхлая, сдѣланы изъ дерева, въ позднѣйшія времена всегда изъ камня; на равнинѣ же устраивалась сцена. Въ такихъ мѣстахъ, гдѣ природа не представляла или совсѣмъ, или отчасти такихъ удобствъ, склонъ горы былъ замѣняемъ огромной насыпью (единственнымъ примѣромъ такого устройства въ Греціи служить мантинейскій театръ и въ Малой Азіи алабандскій), или же какимъ нибудь другимъ образомъ пособляла рука человѣка. Совершенно изъ камня строились театры только во времена послѣ Александра и то прежде всего въ малоазійскихъ городахъ.

Части театра. Древніе театры, пока они не сдѣлались мѣстопробываніемъ драматической музы, состояли, какъ видно изъ предыдущаго,

*) Стадія—зданіе для гимнастич. упражненій и главн. обр. бѣга (пѣшаго); гипподромъ—для состязаній на колесницахъ.

только изъ двухъ частей: изъ мѣста, выровненнаго для пляски хора, въ центрѣ котораго стоялъ алтарь того бога, въ честь котораго совершался праздникъ (обыкновенно алтарь Діониса), и изъ театра въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. мѣста, пазначеннаго и устроеннаго для зрителей.

Но послѣ того какъ допущены были въ театрѣ (какъ и исполнѣ подобало имъ по ихъ происхожденію и значенію) драматическія игры, представлявшіяся вначалѣ (Θεσπισμόςъ, первымъ изобрѣтателемъ ихъ) на подвижныхъ деревянныхъ подмосткахъ, тогда эти двѣ первыя части оказались уже недостаточными, и возникла надобность присоединить къ нимъ новое зданіе, которое съ одной стороны по причинѣ своего художественнаго устройства пригодно было для драматическихъ представлений, съ другой стороны достойнымъ и надлежащимъ образомъ замыкало все зданіе театра; кромѣ того трагедія, усовершенствовавшись, получила уже на первыхъ порахъ такое значеніе въ жизни грековъ, что можно было предпринимать постройки большихъ театровъ.

Первый такого рода каменный (большою частью входившій въ скалу Акрополя) театръ былъ аѳинскій, посвященный Діонису и находившійся въ священной оградѣ храма того же бога. Постройка этого храма началась въ 500 году до Р. Хр., когда прежній деревянный обрушился; въ скоромъ времени онъ былъ начерно оконченъ, такъ что можно было давать въ немъ драматическія представленія; окончательно же онъ отстроенъ былъ только подлѣ управленіемъ оратора Лисурга между 344—322. Говорятъ, что этотъ театръ могъ вмѣстить въ себѣ до 30,000 зрителей. Въ нынѣшнемъ видѣ своемъ онъ относится ко времени Гадріана, который поправилъ его и раздѣлилъ на 13 клинообразныхъ частей. По своему устройству онъ сдѣлался образцомъ для всѣхъ остальныхъ греческихъ театровъ. Въ этомъ, равно какъ и во всѣхъ позднѣйшихъ театрахъ, слѣдуетъ различать три части, а именно:

1. Театръ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, или мѣсто для зрителей (κοίλον σάρα), состоящее изъ множества рядовъ сидѣній, поднимающихся вверхъ въ видѣ ступеней концентрическими все болѣе и болѣе полукругами. Ряды эти обыкновенно были обнесены съ внѣшней стороны наверху стѣною, образовавшею послѣдній полукругъ (или же, по Витрувію, колонадою, заступавшею мѣсто простой стѣны и имѣвшею въ акустическомъ отношеніи важное значеніе); по обоимъ же концамъ, обращеннымъ къ сценѣ, они всегда оканчивались отвѣсною стѣною, превышающею сидѣнья

и постепенно поднимающеюся вверхъ. Обѣ эти стѣны стояли въ одной прямой линіи или подлѣ тупымъ угломъ.

Въ малыхъ театрахъ сидѣнья поднимались вверхъ одно за другимъ безпрерывно, образуя одинъ ярусъ; въ большихъ театрахъ онѣ раздѣлены были или однимъ, или двумя параллельными поясами (корридорами) на два или на три яруса. Изъ поясовъ, равно какъ и изъ оркестра, зрители расходились по низкимъ ступенямъ, раздѣлявшимъ въ видѣ радіусовъ ряды сидѣній на клины. Число рядовъ этихъ ступеней (приходявшихся по двѣ на вышину одного сидѣнья) въ греческихъ театрахъ было обыкновенно четное, въ римскихъ — нечетное, тогда какъ число клинообразныхъ отдѣленій было обратное.

Сидѣнья были такъ устроены, что задняя половина ихъ, нѣсколько выдолбленная, служила помѣщеніемъ для ногъ зрителей высшаго ряда; болѣе узкія сидѣнья имѣли такія углубленія съ передней стороны внизу, такъ что можно было туда отодвинуть ноги. По словамъ Витрувія, сидѣнья должны были быть не выше полутора фута и не шире трехъ футовъ; тѣмъ не менѣе, по крайней мѣрѣ, въ греческихъ театрахъ они бывають обыкновенно и ниже и уже.

2. Ровное пространство внизу, отдѣленное отъ мѣстъ зрителей высокою террасою, составляло такъ называемый оркестръ (ὄρχηστρα), т. е., мѣсто, пазначенное для пляски и движеній хора (оно называлось также χορίστρα, оттого-ли, что при собраніяхъ народа посыпалось пескомъ, или же можетъ быть и оттого, что пляска хора происходила первоначально на обыкновенной почвѣ подлѣ открытымъ небомъ). Въ серединѣ этого пространства стояла четырехугольная досчатая оймела (ὀймῆλη), возвышавшаяся на нѣсколько ступеней, первоначально алтарь Бакха, откуда хоръ начиналъ свои танцы; на ней стоялъ предводитель хора, а иногда такъ-же и музыканты. Такъ какъ оркестръ пазначенъ былъ для пляски, то вокругъ оймелы настилали его досчатымъ поломъ, на которомъ начертаны были линіи, показывавшія хоревтамъ опредѣленные позиціи; но при драматическихъ представленіяхъ, при которыхъ хоръ не только исполнялъ пляски, но и входилъ въ разговоры съ находящимися на сценѣ лицами, оркестръ долженъ былъ возвышаться надъ уровнемъ театра, для чего между сценою и оймелою устраивались подмостки, на которые настилали полъ. Эта возвышенная часть оркестра называлась сценическимъ оркестромъ, или оркестромъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Хоръ выступалъ на этотъ оркестръ, во-

пешши прежде побочнымъ ходомъ въ конистру и, если нужно было, могъ выйти съ него даже на самую сцену, которая была еще немного выше.

3. Третья существенная часть театра есть *сцена* (*σκηνη* — палатка, называвшаяся такъ можетъ быть оттого, что въ древнія времена актеры давали свои представленія на крытыхъ подвижныхъ подмосткахъ, подобныхъ тѣмъ палаткамъ, въ которыхъ совершались праздники Бахха). Находясь въ уровнѣ перваго ряда сидѣній, сцена образовывала длинный, но не глубокий (въ помпейскомъ театрѣ 118×21 футъ), отдѣльный четырехугольникъ и состояла изъ двухъ частей: изъ *авансцены* съ досчатымъ поломъ, съ которой говорили актеры (*προσκήνιον*, *proscenium*), и изъ *задней* или *собственной сцены* (*σκηνη* въ тѣснѣйшемъ смыслѣ), которая въ древнѣйшія времена была обь однимъ ярусъ; со временъ Эсхила она состояла изъ нѣсколькихъ ярусовъ и была одной вышины съ остальнымъ театромъ. Ее устраивали совершенно архитектурнымъ образомъ, снабжая колоннами, карнизомъ и т. п. и украшая также статуями; представляла-же она обыкновенно въ трагедіи царскій дворецъ съ пятью (или тремя) выходами: средній изъ этихъ выходовъ изображалъ царскія ворота; ближайшіе къ нему два боковые выходы, назначенные для остальныхъ актеровъ, вели въ гостинныя комнаты, соединенныя съ царскимъ покоемъ; изъ послѣднихъ двухъ выходовъ, находившихся по обѣимъ боковымъ сторонамъ авансцены, въ параскеніяхъ, — одинъ показывалъ дорогу въ городъ, другой за городъ. Если было только три выхода, то приходившіе изъ города и изъ-за города выступали тѣми входами, которыми входилъ и выходилъ хоръ. Кто приходилъ съ лѣвой стороны (отъ зрителей), тотъ приходилъ изъ-за города, кто съ правой, тотъ приходилъ изъ города или гавани.

Театральныя приспособленія и машины. Необходимое дополненіе сцены составляло пространство подъ нею (*ὑποσκήνιον*), и отчасти также (въ большихъ театрахъ) флигели, примыкавшіе подъ прямымъ угломъ къ обѣимъ боковымъ сторонамъ сцены (*παράσκηνα*). Послѣдніе назначались для актеровъ, ихъ костюма, масокъ и разныхъ машинъ, подобно помѣщеніямъ за главною сценою, называвшимся по-латыни *post-scenium*; гипоскеній-же, занимавшій все пространство подъ сценою, служилъ мѣстомъ для помѣщенія разныхъ машинъ, посредствомъ которыхъ являлись изъ подземелья на сцену боги и опять исчезали и пр. Сверху сцена была покрыта чѣмъ-то вроде навѣса, прикрывавшаго собою опускающій потолокъ, откуда спускались летательныя машины; подобнымъ

образомъ покрыты были всѣ боковыя помѣщенія (параскеніи), тогда какъ передняя сцена и мѣста для зрителей оставались не покрыты, такъ что, въ случаѣ дурной погоды, публика должна была или разойтись, или-же (какъ въ малоазійскихъ, а въ послѣдствіи такъ-же въ аѳинскихъ театрахъ) искать убѣжища въ портикахъ за театромъ и въ притворахъ ближнихъ храмовъ.

Упомянувъ объ одномъ родѣ сценическихъ машинъ, мы позволимъ себѣ кратко сказать объ остальныхъ приспособленіяхъ греческой сцены. Иногда нужно было, чтобы съ переменною дѣйствія переменилась и декорация главной сцены; для этой цѣли предъ неподвижною каменною стѣною могла быть поставлена другая раскрашенная стѣна, которая въ свою очередь также могла замѣняться иною. О такой переменѣ задней сцены можно судить, наприм., по Софоклову Эанту, гдѣ сцена сначала представляетъ греческій лагерь, подъ конецъ же трагедіи пустынный берегъ Геллеспонта. Эти подвижныя стѣны можно было вдвигать справа и слѣва отъ середины, какъ кажется, за особую стѣну, примыкавшую къ задней части здания. Что касается до боковыхъ декораций, то по обѣимъ сторонамъ вмѣсто нашихъ кулисъ стоялъ такъ называемый *περίακτος* (*periactus*), т. е. трехугольная призма, вращавшаяся на оси; стороны ея были различно окрашены. Поворотомъ обоеихъ этихъ періактовъ на 120° , находившимся всегда въ связи съ переменною задней декорацией, означалось, что дѣйствіе происходитъ въ другомъ мѣстѣ. Имѣла ли древне-аттическая сцена также занавѣсъ, или нѣтъ, на это нѣтъ никакихъ данныхъ; въ послѣдствіи упоминается о занавѣсахъ словами *αἰθala, παραπέτασμα*.

Постановка пьесъ. Постановка театральныхъ игръ принадлежала въ Аѳинахъ къ такъ называемымъ *литургіямъ*, т. е., къ такимъ обязанностямъ, которыя тогдашнее государство поочередно возлагало на отдѣльныя *филы*; эти въ свою очередь избирали гражданъ изъ самыхъ богатыхъ, къ коимъ поступали денежныя пожертвованія отъ остальныхъ гражданъ. Лица эти заботились обо всемъ устройствѣ представленія; а такъ какъ всего дороже стоила постановка хора, то и называлась эта обязанность вообще хореією (*χορηγία*), а руководитель всего дѣла хорегомъ (*χορηγός*). Поэтъ представлялъ свою піесу архонту съ просьбою о дозволеніи представленія ея на сценѣ; если піеса признана была удовлетворительною, поэту давался хоръ, и изъ числа гражданъ, изъявившихъ желаніе поступить въ ак-

теры, избирались по жребію три (со времяъ Эсхила), которыхъ поэтъ испытывалъ относительно голоса, и затѣмъ способнымъ раздавалъ роли.

Хорей, условившись съ поэтомъ, нанималъ особаго учителя актеровъ (если имъ не былъ самъ авторъ) и хоревоу *) и заказывалъ для принятой пьесы нужные костюмы, которые въ трагедіяхъ были очень дороги; кромѣ того онъ заботился во все время разучиванія пьесы о содержаніи и платъ всѣмъ тѣмъ участникамъ въ представленіи, кто того желалъ. Кто изъ актеровъ особенно нравился публикѣ, впоследствии избираемъ былъ и безъ испытанія и становился такимъ образомъ актеромъ по профессіи, такъ что поэты Эсхиль, Софокль, Эврипидъ и Аристофанъ, говорятъ, имѣли каждый своихъ выдающихся актеровъ; ихъ то они и имѣли въ виду, сочиняя свои произведенія. Актеры назывались по важности ролей: первымъ, вторымъ и третьимъ; четвертаго не было, и мѣсто его, въ случаѣ надобности, заступалъ какой нибудь статистъ. Кромѣ высокаго роста требовались отъ актеровъ въ трагедіяхъ и комедіяхъ—громкій голосъ, который, впрочемъ, усиливали и искусственными средствами **), ясная и правильная декламація и благородная, приличная, передающая въ главныхъ только чертахъ содержаніе пьесы жестикуляція, которая должна была замѣнять собою мимику лица [обыкновенно закрытаго маскою].

*) Хоръ въ трагедіи (со времяъ Эсхила) состоялъ изъ 15 хоревоу, которые вступали въ оркестръ, раздѣлившись на пять или на три ряда, или же на два полухора. Одинъ изъ хоревоу былъ предводителемъ (*хорифагосъ*), управлялъ движеніями его и, если было нужно, велъ разговоръ за цѣлый хоръ съ лицами на сценѣ. Движенія и танцы хора были серьезнаго характера и производились подъ звуки кларнетовъ, которые сопровождали также и пѣніе хора.

**) При обширности и открытости греческаго театра необходимо было усилить голосъ актеровъ искусственными средствами, а это дѣлалось, какъ сообщаютъ древніе, именно посредствомъ большаго раскрытія рта маскою [закрывавшихъ лицо актера].

Далѣе, древніе хотѣли видѣть мнѣстескихъ героевъ своихъ, каковы Гераклъ, Тесей, Агамемнонъ и пр., болѣе высокими по росту и болѣе грандіозными по тѣлосложенію, и посему актеры главныхъ ролей употребляли башмаки, снабженные пробковыми въ нѣсколько дюймовъ вышины подошвами, такъ называемые *котурны*, аляповатость которыхъ прикрывало длинное платье, и кромѣ того искусственнымъ образомъ дѣлали себя полнѣе. Но соразмѣрность требовалась, чтобы и лицо было до нѣкоторой степени увеличено, что опять могло быть сдѣлано лишь посредствомъ маски.—Маски были трагическія (до 25 родовъ) и комическія.

[Во время Демосоена заботы о постановкѣ пьесъ перешли къ театральному обществу, во главѣ котораго стоялъ въ Аѳинахъ верховный жрецъ Діониса, а членами были поэты, музыканты, актеры, хореуты и дававшіе костюмы на прокатъ].

[Римскій театръ во всѣхъ частяхъ былъ похожъ на греческій. Оркестръ разумѣется былъ меньше, потому что никакихъ плясокъ въ немъ не происходило; въ немъ помѣщались (какъ въ нашемъ партерѣ) кресла для сенаторовъ. Фимелы конечно не было].

Ф. Ф. Велишскаго.

(Бытъ грековъ и римлянъ. Пер. съ чешскаго. Прага. 1878).

Глава II.

Характеръ средневѣковой поэзіи.

7. Романтизмъ.

Зародинъ новаго общества.—Два господствующія учрежденія новаго міра.—Отношеніе христіанства къ новому міру, къ наукѣ, искусству.—Роль католицизма въ дѣлѣ сближенія новаго міра съ древнимъ.—Переселеніе народовъ; его значеніе.—Образованіе романскихъ націй.—Отношеніе католицизма къ языческому міру.—Романтизмъ.—Воззрѣнія на любовь, какъ существенно-христіанскій элементъ романтизма.—Рыцарство.—Свѣтское и духовное рыцарство.—Сущность романтизма.—Составныя части романтизма.

Въ сочиненіяхъ Лукіана, Ювенала, Петронія, Тацита и Светонія [живо изображается] процессъ постепеннаго разложенія древняго міра. Послѣдній часъ этого отжившаго и совершенно истощеннаго общества долженъ былъ пробить. Зародинемъ новаго была *христіанская идея*; она росла все мало по малу и въ безумную эпоху императоровъ стала непреодолимой духовной силой, которая потрясла до основанія соціальное зданіе древности; это зданіе безнадежно рушилось по частямъ подъ ударами германскихъ народовъ и подъ ураганомъ народнаго переселенія. Это страшное разрушеніе длилось 4 или 5 вѣковъ и стремилось повидимому совершенно разрушить образованность древняго міра; результатомъ всего этого было то, что въ концѣ 8-го и въ началѣ 9-го вѣка выступили на сцену исторіи два господствующія учрежденія новаго міра—*римское папство* и *германо-римская имперія*: на этихъ двухъ краеугольных камняхъ со-

средоточивалась вся средневѣковая жизнь. Этотъ обширный періодъ всемирной исторіи, не смотря на все преднамѣренное или непреднамѣренное прикрашиванье, долженъ показаться варварскимъ спокойному наблюдателю настоящаго времени, хотя нелѣпо было бы упрекать средневѣковыхъ людей въ томъ, что они чувствовали, думали и поступали такъ, какъ требовали этого господствующія идеи того времени.

Направленіе умамъ давала церковь....

Древнее Христіанство покорило старый міръ возвышенностью и энергіей своего нравственнаго ученія. Оно было предназначено самою исторією, какъ необходимая духовная реакція противъ неукротимой, грубой чувственности. Человѣчество пуждалось въ печальномъ, но дѣлительномъ постѣ, чтобы отдохнуть отъ шумныхъ карнаваловъ римской имперіи, нерѣдко доходившихъ до безумной оргіи. Здѣсь произошло то же явленіе, какое происходитъ всегда, когда новый принципъ выступаетъ противъ стараго со всею свѣжестью, рѣзкостью и исключительностью своей юношеской силы. «Христіанство—говоритъ Жанъ Поль—какъ будто въ судный день истребило весь чувственный міръ со всѣми его прелестями, снесло его въ одинъ надгробный холмъ, сдѣлало изъ него ступень небесной лѣстницы, и на мѣсто его воздвигло міръ духовный: все настоящее—земное принесено было въ жертву будущему—небесному». Когда-то это было не однимъ стремленіемъ, а настоящей дѣйствительностью. Поэтому, отношеніе Христіанства къ искусству и наукѣ было сначала совершенно враждебное: христіанство вынуждено было постоянными преслѣдованіями къ самой односторонней нетерпимости, и, пріобрѣтши силу, возстало съ ожесточеніемъ на сокровища древней образованности. Разрушеніе обозначило путь новаго торжествующаго принципа. Фанатическіе монахи и отшельники съ ревностью, достойною лучшаго дѣла, бросились на истребленіе сокровищъ древняго искусства и науки. Наилучшія зданія и произведенія искусства погибали подъ руками фанатиковъ, драгоценнѣйшія бібліотеки сжигались этими ревнителями благочестія, прекраснѣйшіе плоды поэтическаго вдохновенія и философской мысли были заклеены печатью грѣховности и, какъ произведенія злаго духа, подвергались проклятію благочестивыхъ отцовъ церкви. На развалинахъ погибшаго веселаго культа жизни основалось новое ученіе, говорившее о смерти и тлѣннѣ всего земнаго, отрицавшее всѣ свѣтлые образы античныхъ воззрѣній. Но когда миновали первыя увлеченія фанатизма, и когда снова явился вопросъ о культурѣ и образо-

ваніи, каждому мыслящему легко было убѣдиться, что основаніе новой, совершенно специальной образованности, отрицающей весь трудъ предыдущей культуры, было бы однимъ самообольщеніемъ. Не смотря на всю исключительность понятій, господствовавшихъ у новыхъ писателей, пужно было неизбежно заимствовать матеріалы для новой постройки у тѣхъ же язычниковъ, которыхъ еще недавно такъ сильно презирали. А такъ какъ въ то же время чувствовалась необходимая потребность и въ поэтическихъ образахъ религіи, то и здѣсь снова прибѣгли къ древнимъ поэтамъ, которые не разъ были преданы проклятіямъ.

Мы увидимъ дальше, что это сближеніе было послѣдовательно проведено только въ католической формѣ христіанства; напротивъ, древнее христіанство, по своей аскетической строгости, не допускало никакой художественной разработки ученія; вражду съ мірской жизнью, аскеты возставали и противъ лучшаго ея украшенія, противъ искусства. Такое настроеніе опредѣлило и тонъ первоначальной христіанской поэзіи: она почерпала свое вдохновеніе изъ Ветхаго Завѣта. Отсюда перешла христіанская поэзія заимствовала свои сверхъестественныя видѣнія и картины; псалмы придали христіанской лирикѣ особенный тонъ, совершенно соответствовавшій сокрушенному удаленію отъ земной «юдоли плача». Форма, избранная первыми христіанскими поэтами, была воспроизведеніемъ древнихъ формъ и долго имъ оставалась; содержаніе составляли болѣею частью парафразы Евангелія, а потомъ жизнеописанія мучениковъ, изъ которыхъ впоследствии выросли громадныя собранія легендъ. Первые поэты оставили также много гимновъ въ честь Спасителя, котораго они представляли или пастыремъ, пасущимъ стадо вѣрныхъ, или агнцемъ, искупающимъ собою грѣхи міра. Было также много гимновъ о Св. Духѣ; о Богѣ Отцѣ упоминалось въ нихъ рѣже. По самому настроенію поэтовъ, все эти произведенія были очень однообразны и вмѣстѣ несовершенны. Они постоянно оставались въ одной сферѣ, и дать имъ другой тонъ, болѣе житейскій, ввести человѣческіе интересы, считалось грѣхомъ. Такимъ образомъ, напр., епископъ Геліодоръ лишенъ былъ епископства за то, что написалъ романъ: *Тавиенъ и Хариклея*.

Первыя церковныя пѣсни были пѣсенныя греческой церкви; въ гимнахъ разныхъ представителей этой поэзіи лирическіе элементы еврейскаго псалма соединяются съ простотой и достоинствомъ греческой формы. Извѣстнѣйшими изъ этихъ писателей были *Климентъ Александрійскій* (ок. 200)

которому, за его знаменитый гимнъ «къ *Искупителю*», нѣкоторые даютъ славу древнѣйшаго христіанскаго поэта; потомъ *Григорій*, епископъ Нанзанскій (391), которому приписываютъ сочиненіе первой христіанской драмы: *Страждущій Христосъ* (*Χριστὸς πάσχων*), на цѣлую треть составленной изъ стиховъ Эврипида *).

Изъ римско-церковной поэзіи произошла ново-латинская поэзія; она продолжалась въ ученomъ мѣрѣ до самаго 18-го столѣтія, но съ теченіемъ времени освободилась отъ церковнаго характера, и, строго подражая классическимъ формамъ въ тонѣ *Виргилія*, *Горація* и *Овидія*, или разрабатывала эпическіе сюжеты, или возставала въ сатирѣ на глупости и пороки, или пускалась въ эротическую лирику. Рядъ знаменитыхъ ново-латинскихъ поэтовъ начинается съ 9-го вѣка и идетъ до 18-го столѣтія; во главѣ его можно поставить аббата изъ Рейхенау *Валафрида Страбона* (ум. 949), а въ концѣ кардинала *Мельхиора Полиньяка* (ум. 1741). Между этими именами стоятъ другія знаменитыя имена, напр., гандерсгеймская монахиня *Гроссита*, *Іоаннъ Самсбурійскій*, *Абелардъ*, *Гвартеръ Манъ* (*Mihi est propositum*), *Петрарка*, *Помпѣано*, *Санназаро*, *Понтанусъ*, *Феликсъ Геммерлингъ*, *Рейхлингъ*, *Эразмъ*, *Умрихъ фонъ-Гуттенъ*, *Іоаннъ Секундусъ* и *Гуго Гроцій*. Все названныя нами поэты и еще многіе другіе, писавшіе по-латыни, сохраняя воспоминаніе о духѣ и формахъ классической древности, безъ сомнѣнія благотворно дѣйствовали на болѣе образованныхъ изъ своихъ современниковъ. Но эта латинская литература, какъ и всякая другая литература на мертвомъ языкѣ, имѣла значеніе только въ одномъ кружкѣ ученыхъ; она никогда не доходила до степени самостоятельнаго искусства, и скорѣе мѣшала, нежели содѣйствовала развитію національныхъ литературъ.

Бурное переселеніе народовъ разгромило римскій міръ и подавило истощенную цивилизацію напоромъ грубой природной силы. Но эта гроза очистила въ то же время атмосферу всемірной исторіи и влила свѣжую, здоро-

*) Ср. Ellissen, *Analekten d. mittel-und neugriech. Literatur*, I часть, гдѣ помѣщено это сочиненіе въ оригиналѣ и въ переводѣ съ литературно-историческими комментаріями. Это замѣчательное явленіе въ литературной исторіи, но поэтическаго достоинства оно не имѣетъ. Трагическое въ этой пьесѣ весьма неудачно, и авторъ очень странно пользуется Эврипидомъ, вложилъ въ уста Богородицы взятое у Эврипида обращеніе къ «Матери-землѣ» и богу солнца—Гелиосу.

вую кровь въ иссохшія жилы общественнаго тѣла. Давно уже вошло въ поговорку, которую всѣ безсознательно повторяютъ, что вторженіе «варваровъ» въ Римскую имперію и переселеніе народовъ отодвинули развитіе человѣчества на цѣлыя вѣка назадъ. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе и несправедливѣе этого взгляда, совершенно невѣрнаго исторически, потому что весь физически и морально испорченный югъ своимъ возрожденіемъ обязанъ былъ единственно и исключительно германскимъ племенамъ, вторгнувшимся завоевателями въ его предѣлы. Мы видѣли въ самомъ дѣлѣ, что древняя образованность пришла въ совершенное разстройство еще за долго до нападенія «варваровъ». Германцы были только исполнителями одного изъ тѣхъ великихъ изреченій грозной исторической Немезиды, которая отжившее общество обрекаетъ уничтоженію, и новое вызываютъ къ жизни.

Германскіе народы, перешедшіе, во время той всеобщей революціи, которую мы называемъ народнымъ переселеніемъ, съ сѣвера и сѣверо-востока на югъ и западъ, завоевали провинціи римскаго государства, смѣшались съ покоренными обитателями своихъ новыхъ жилищъ, и изъ этой амальгамы произошли тѣ смѣшанные націи, которыя называются *романскими*. Смѣшеніе побѣдителей съ побѣжденными римлянами происходило не только въ крови, но даже и въ языкѣ; а такъ какъ латинскій языкъ былъ замѣчательно выработанъ, то очень естественно, что онъ скоро до того подчинилъ себѣ грубыя нарѣчія побѣдителей, что во всѣхъ странахъ, входившихъ прежде въ составъ Западной Римской Имперіи, сталъ главной основой разговорной рѣчи и письма. Между тѣмъ и латинскій языкъ долженъ былъ подчиниться вліянію чужихъ элементовъ. Собственная латынь сохранялась только въ языкѣ ученыхъ и церкви; но въ устахъ народа, латинскій языкъ, перерабатывая чужіе матеріалы, терялъ все болѣе и болѣе свою оригинальность и мало-по-малу превратился въ такъ-называемый романскій (*Romanzo*). Этотъ языкъ довольно долго держался, какъ общій языкъ всѣхъ романскихъ странъ, но, по мѣрѣ рѣзкаго дѣленія различныхъ романскихъ народностей, онъ также раздѣлился на нѣсколько отдѣльных нарѣчій *). Существеннымъ отличіемъ поэтической формы въ романскомъ

*) Въ латинскомъ языкѣ также различались *sermo rusticus* (народный языкъ) и *sermo urbanus* (письменный языкъ), и послѣдній отдѣлился отъ перваго съ тѣхъ только поръ, когда началась литературная дѣятельность римлянъ. Ясно,

языкѣ сдѣлалась *риема* (*rima*), въ противоположность германской *аллитераціи*; риема уже давно встрѣчается изрѣдка у латинско-христіанскихъ поэтовъ, но въ общее употребленіе вошла въ романскомъ языкѣ, по всей вѣроятности, только по примѣру испано-арабской и сицилійско-арабской поэзіи. Смѣшеніе сѣверныхъ народовъ съ южными имѣло ту невыгоду для первыхъ, что они или совершенно лишились, или потеряли большую часть своей первоначальной исторіи и національной эпопеи, на которыхъ основывается самостоятельное историческое развитіе народа. Впрочемъ за эту потерю сѣверъ былъ вознагражденъ до нѣкоторой степени усвоеніемъ южной эластичности, которая смягчила его первобытную суровую натуру, не перелаивала ее совершенно; такъ что, вообще говоря, смѣшеніе сѣвернаго элемента съ южнымъ имѣло самое благопріятное вліяніе на ходъ государственнаго и духовнаго развитія.

При столкновеніи Сѣвера съ Югомъ, народы передавали другъ другу свои воззрѣнія, мнѣя, преданія и сказки, и все это образовало поэтическій капиталъ, богатствомъ котораго могли воспользоваться впоследствии безчисленные поэты. Наконецъ, что важнѣе всего, романскія племена сгладили въ христіанствѣ тотъ спиритуалистическій характеръ, который въ немъ уже слишкомъ развился прежде, и въ видѣ католицизма на столько сблизили его съ человѣческой жизнью, сколько это было возможно. Южныя племена всегда были слишкомъ привязаны къ наслажденію, и приходъ сѣверныхъ племенъ до того освѣжилъ и укрѣпилъ ихъ, что имъ уже не могла поправиться исключительность пустынной жизни и аскетизма. Поэтому христіанство у южныхъ народовъ превратилось въ католицизмъ, въ религію болѣе чувственную, которая создала себѣ свою цѣлую мифологію, воспользовалась языческими преданіями, поставила во главѣ своей мифологіи Мадонну, продолжала языческіе обычаи и праздники подъ христіанскими именами, и если не освящала, то по крайней мѣрѣ допускала наслажденіе жизнью до такой степени, что даже и грѣшнику открывала еще путь въ небесное царство чрезъ широкія врата церковной милости. Конечно, чтобы не подорвать самого себя, католицизмъ не могъ отвергать ни небеснаго царства, ни ада, т. е., вообще будущей жизни; но зато онъ допускалъ все, чтобы сдѣлать земную жизнь сколько можно спокойною и

что тотъ латинскій языкъ, который послѣ смѣшенія съ нарѣчіями пришельцевъ превратился въ *romanzo*, былъ именно *sermo rusticus*.

приятною; своимъ внимательствомъ онъ смягчилъ грубость феодальной тиранин и прибрѣталъ посредствомъ своей іерархіи сочувствіе народа; съ одной стороны онъ избавлялъ народъ отъ голодной смерти, учреждая благотворительныя заведенія, а съ другой избавлялъ этотъ народъ отъ огрубѣнія, доставляя ему эстетическое наслажденіе пышнымъ церемонаіаломъ своего богослуженія.

Католицизмъ породилъ христіанское искусство Запада: онъ хотѣлъ дѣйствовать на чувство и сердце человѣка, и потому не могъ обойтись безъ поэтическаго слова, безъ живописи и музыки; мало того, онъ обратилъ свои церкви въ театры, и, представляя на нихъ разныя религіозныя пьесы (мистеріи, miracles, moralités), положилъ основаніе повѣйшей драмѣ *).

Католицизмъ, возобновившій въ себѣ фантастику и символизмъ древней Индіи, былъ и источникомъ *романтизма*, этой характеристической черты не только одной романской, но и всей средневѣковой поэзіи. Романтизмъ нашелъ себѣ и другія основы въ смѣшеніи національных особенностей, сказаній и воззрѣній, происшедшемъ вслѣдствіе народнаго переселенія, и въ тѣхъ смутныхъ стремленіяхъ къ свободѣ, которыя высказывались въ обществѣ, страдавшемъ отъ феодализма. Романтизмъ ставитъ себѣ первой задачей — представить борьбу человѣка между предписаніями христіанской морали и требованіями природы. Эта борьба должна до такой степени возвышать человѣка надъ всѣмъ чувственнымъ, что онъ побѣждаетъ искушенія міра; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не можетъ отрѣшиться совершенно отъ земнаго, и такимъ образомъ остается всегда съ болѣзненнымъ раздраженіемъ и неудовлетворенными стремленіями. Существенно христіанскимъ является романтизмъ въ своемъ воззрѣніи на любовь. Романтизмъ основывается именно культъ любви и дѣлаетъ идоломъ его женщину **). Романтизмъ даетъ женщинѣ совершенно другое значеніе и мѣсто, нежели то, которымъ она пользовалась въ античномъ мірѣ. Центромъ жизни въ древнемъ мірѣ былъ мужчина, какъ представитель дѣятельной силы; въ романтизмѣ, напротивъ, женщина, какъ типъ сердечнаго чувства. Христіанство, какъ религія смиренія и покорности, обоготворило женщину, и

*) См. ниже: «Мистеріи».

**) Не подлежитъ сомнѣнію, что женщина среднихъ вѣковъ очень часто совершенно расходилась съ этимъ идеаломъ романтизма.

оттого романтизмъ очень послѣдовательно понимаетъ любовь, какъ духовное совершенство, какъ мистическій актъ, который не имѣетъ ничего общаго съ естественной, т. е., физической любовью, или по крайней мѣрѣ одинъ даетъ ей необходимое освѣщеніе. Мы оставляемъ нерѣшеннымъ вопросъ — дѣйствительно-ли выиграла поэзія отъ этого измѣненія роли женщины на столько, какъ думаютъ объ этомъ романтики, но нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что женскія личности древняго міра, какъ Андромаха, Пенелопа, Навзикая, Антигона и др., навсегда останутся блестящими образцами самой чистой и благородной женственности.

Идеаль любви въ романтизмѣ былъ тѣмъ солнцемъ, лучи котораго развили цвѣтъ средневѣковой общественной жизни — *рыцарство*. Душою романтизма была любовь (къ Богу и женщинѣ), и рыцарство было ея воплощеніемъ; въ рыцарствѣ идея романтизма достигаетъ своего полнѣйшаго осуществленія, и притомъ по двумъ различнымъ направленіямъ; это выражалось и въ раздѣленіи одного цѣлаго цикла сказаній: въ мѣтахъ объ Артурѣ романтизмъ представилъ свѣтское рыцарство, въ сказаньяхъ о Св. Граалѣ (St. Graal) — духовное. Цикль сказаній о королѣ Артурѣ, въ тѣсномъ смыслѣ, полонъ блестящею жизнью рыцарства — съ банкетами, турнирами и любовными похождениями; служеніе любви и чести является здѣсь въ цѣлой системѣ, до нѣкоторой степени опередившей то уточненное пониманіе любви и чести, которое позднѣе является въ испанской драмѣ; рыцари Артурова Круглаго Стола, при всемъ благочестіи, очень любезны, ихъ образъ мыслей и цѣль ихъ разнообразныхъ приключеній совершенно свѣтскія, и они, нисколько не стѣняясь, срывають каждый цвѣтокъ, который попадаетъ имъ подъ руку въ ихъ странствованіяхъ. Сказанья о Граалѣ, въ тѣсномъ смыслѣ, открываютъ, напротивъ, совершенно иной міръ; въ немъ главнымъ образомъ разработана аллегорическая сторона романтизма: — рыцарство, въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно описано выше, представляетъ только веселый фарсъ къ серьезной мистеріи служенія св. чашѣ; міровоззрѣніе этого цикла вполне христіанское, т. е., сверхъ-естественное и аскетическое; столкновенія человѣческаго чувства съ христіанской моралью ярко выступаютъ впередъ; любовь существуетъ скорѣе въ идеалѣ, чѣмъ въ дѣйствительности; такимъ образомъ христіанская двойственность, дуализмъ жизни — настоящей и будущей, проникаетъ оба типа рыцарства, которые являются въ сказаніяхъ объ Артурѣ и о Граалѣ, въ которомъ (Граалѣ) нельзя не замѣтить восточнаго вліянія, принесеннаго

крестовыми походами; но этот дуализм остается непримиреннымъ въ этихъ типахъ, какъ и вообще, онъ, не примиряясь, проникалъ міръ романтизма, всю жизнь среднихъ вѣковъ. Рыцарство, какъ политическое тѣло, выросло на почвѣ феодализма; оно восходило различными ступенями до главы своей, императора; на другой сторонѣ стоитъ папа, какъ глава духовной іерархіи; эта свѣтская и духовная власть, представители земнаго и небеснаго, стоятъ въ постоянной враждѣ другъ противъ друга. Вотъ единство средневѣковой жизни, прославленной новѣйшими романтиками. Такое воображаемое единство въ сущности непремѣнно разрушило бы романтизмъ, потому-что романтическое собственно и заключается въ этомъ раздвоеніи: это—вѣчное недовольство, неудовлетворимое стремленіе и постоянный порывъ земнаго къ сверхъ-естественному. Такимъ романтизмъ выразилъ себя всемірно-исторически въ крестовыхъ походахъ; въ это блестящее время рыцарства романтизмъ нашелъ и свое высшее формальное совершенство въ тѣхъ столкновеніяхъ Востока съ Западомъ, которыя произошли вълѣдствіе крестовыхъ походовъ и борьбы христіанства съ поклонниками ислама въ Испаніи и Южной Франціи.

Мы замѣтили выше, что романтизмъ, порожденный христіанствомъ, служить характеристическимъ признакомъ средневѣковой поэзіи, но, въ отношеніи къ романской литературѣ, въ его развитіи участвовали и другіе особенные элементы,—*воспоминанія античной*, или, точнѣе говоря, *римской поэзіи*, и элементъ *національности*, то подчиненный имъ, то побѣждающій ихъ. Борьба этихъ двухъ элементовъ наполняетъ собою всю литературную исторію романскихъ народовъ (французовъ, итальянцевъ, испанцевъ и португальцевъ); она кончается благопріятно для національнаго элемента только въ драматической литературѣ Испаніи.

1. Шерръ.

(Всеобщ. ист. литер., Спб. 1867. Стр. 125—134).

8. Мистеріи.

Католицизмъ породилъ христіанское искусство Запада: онъ хотѣлъ дѣйствовать на чувство и сердце человѣка и потому не могъ обойтись безъ поэтическаго слова, безъ живописи и музыки; мало того, онъ обратилъ свои церкви въ театры и, представляя на нихъ разные религіозныя

піесы (Мистеріи, miracles, moralités), положилъ основаніе новѣйшей драмѣ.

Хотя строгіе учителя и законодатели новой церкови и старались силой подавить все, что напоминало о старыхъ предразсудкахъ, но за то другіе дальновидные и вліятельные люди пришли къ убѣжденію, что гораздо полезнѣе пощадить закоренѣлыя привычки, но только стараться дать имъ лучшее направленіе. Такимъ образомъ потокъ языческихъ удовольствій, который и безъ того уже смѣшался съ христіанскимъ элементомъ, проникъ наконецъ въ самую церковь. Первоначальное значеніе танцовъ, пѣнія и другихъ выраженій радости мало по малу забылось, и что собственно служило къ прославленію Сатурна или Вакха, было перенесено теперь на Іоанна, Стефана и даже на самаго І. Христа. Въ священные дни народъ собирался обыкновенно около церквей, раскидывая палатки изъ древесныхъ вѣтвей и устраивалъ веселое пиршество. Такъ какъ языческіе праздники часто совпадали съ христіанскими, то и на этихъ начала высказываться та же радость, и несдерживаемая веселость наполнила скоро церкви и кладбища танцами, переодѣваніями и мірскими пѣснями. При такихъ обстоятельствахъ, конечно, могли являться пѣвцы и комедіанты, чтобы дать пищу народному веселію и охотѣ къ зрѣлищамъ. На это намекаетъ, кажется, одинъ капитулярій времени Карла V.; въ немъ запрещается комедіантамъ (scenicis) надѣвать церковныя одежды, что они вѣроятно дѣлали, чтобы давать свои представленія въ церкви, вмѣстѣ съ духовными. Одно позднѣйшее постановленіе собора формально запрещаетъ такое безчинство; запрещеніе издано въ 1316 году, но фактъ, по всей вѣроятности, существовалъ и нѣсколько вѣковъ раньше. Святость мѣста и дня должна была конечно требовать, чтобы вмѣсто мірскихъ приключеній представлялись тѣ эпизоды священной исторіи, которымъ посвящался праздникъ, и такимъ образомъ тотъ зародышъ драмы, который можно видѣть въ самыхъ обрядахъ древнѣйшихъ христіанскихъ праздниковъ (особенно въ попеременныхъ изреченіяхъ священника, діакона и общины), развился въ полную драму. До тѣхъ поръ, пока эта драма находилась въ рукахъ странствующихъ актеровъ и легкомысленныхъ духовныхъ, которые къ нимъ присоединились, она, конечно, не могла обойтись безъ необузданностей и нарушенія святости; поэтому церковь много разъ находила себя вынужденною издавать противъ нея запрещенія. Но скоро увидѣли, что удержатъ возбужденную въ народѣ

страсть къ подобнымъ увеселеніямъ нельзя, и потому клиръ, который давно старался представить наглядно чудеса искупленія, рѣшился воспользоваться этой страстью, чтобы осуществить свое намѣреніе. Въ самомъ дѣлѣ не доставало только внѣшняго толчка, чтобы заставить духовныхъ принять на себя представленія священныхъ исторій. Церковные гимны и антифоны, изреченія священниковъ и разные обряды служенія развивали все болѣе и болѣе драматическій элементъ; объясненіе священной исторіи для народа часто переходило въ мимику; во время чтенія священнаго писанія духовные уже давно имѣли обычай развѣрживать свитки, на которыхъ наглядно представлялись описываемыя происшествія; такимъ образомъ переходъ къ живому и вполне драматическому изображенію былъ уже очень близокъ. Чтобы избѣгнуть упрековъ въ томъ, что новый обычай не совмѣстенъ съ святостью храма, духовенство ссылалось на поученіе и назидательность, которыя приносятъ народу подобныя зрѣлища. Правда, эта цѣль не всегда имѣлась въ виду въ подобныхъ случаяхъ; къ благочестивому представленію нерѣдко примѣшивались и свѣтскія шутки; но церковь вообще уже взяла назадъ свои осужденія и даже сама требовала этихъ представленій, которыя она поставила на ряду съ другими обрядами церкви подъ именемъ мистерій, которое дается имъ въ различныхъ декретахъ и соборныхъ опредѣленіяхъ.

1. Шерръ.

(Всеобщ. ист. литер., 131—132).

9. Школьная драма.

Время возникновенія школьной драмы.—Значеніе инк. драмы въ исторіи европейской драматической литературы.—Составъ инк. драмы въ Германіи.—въ Польшѣ.—Языкъ.—Народные элементы инк. драмы.—Содержаніе польскихъ инк. комедій въ XVII в.—Начало драматическихъ дѣйствъ въ московской академіи.—Характеръ школьной драмы въ Кіевѣ.

Зарожденіе школьной драмы въ западной Европѣ относится къ періоду такъ называемаго *возрожденія наукъ*. Лютеръ своимъ мощнымъ словомъ поддерживалъ раздробленныя попытки преподавателей занимать школьную молодежь представленіемъ комедій Теренція; реформація отнеслась сочувственно къ нарождавшемуся отдѣлу драматическихъ произведе-

ній, и уже первые ея двигатели и провозвѣстники, проникнутые горячими симпатіями къ классической древности и въ то же время всецѣло преданные родному, содѣйствовали собственнымъ перомъ успѣхамъ школьной драмы. Въ свою очередь, школьная драма Германіи вѣрно служила дѣлу реформаціи, такъ что тѣ мѣстности, въ которыхъ реформаціонное движеніе нашло себѣ болѣе воспріимчивую почву и развилось сильнѣе и энергичнѣе, были вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣчены и особеннымъ процвѣтаніемъ школьной драмы. Представленіе драмъ во многихъ мѣстностяхъ Германіи сдѣлано было для высшихъ школъ обязательнымъ. Прѣжняя дидактическая или педагогическая задача—служить средствомъ для изученія латинскаго языка—казалась слишкомъ узкою въ XVI вѣкѣ, и, открывъ свою сцену вниманію не одного только «школьнаго совѣта», но и гражданъ города, школьная драма почувствовала потребность сначала въ разъясненіяхъ своего содержанія на нѣмецкомъ языкѣ, а потомъ совершенно замѣнила свою латинскую рѣчь родною; этотъ переворотъ совершился въ нѣмецкой школьной драмѣ довольно рано. Позднѣе и іезуиты взяли школьную драму въ свои руки и обратили на протестантовъ этотъ окрѣпшій и созрѣвшій продуктъ, который посѣявъ былъ гуманистами и выращенъ реформаціей. Іезуиты придали старой школьной драмѣ много внѣшняго блеска, не щадили средствъ для роскошной ея обстановки; но они при-вили къ ней и свое направленіе. Школьные сцены іезуитскихъ коллегіумовъ стали посѣщаться дворомъ, государями; благодаря заботливости іезуитовъ, область школьной драмы разширилась: въ нее вошли *ludi caesarei*, посвящавшіяся прославленію побѣдъ, торжественныхъ дней, именинъ, въѣзда въ городъ высокихъ царственныхъ лицъ. Къ концу XVII вѣка школьная драма во многихъ мѣстностяхъ Германіи представляла уже много родственныхъ чертъ съ торжественною одой и придворною поэзіей, усваивая себѣ и стиль послѣднихъ.

Въ Польшѣ школьныя комедіи были еще до іезуитовъ; но отцы этого ордена содѣйствовали особенному ихъ развитію въ этой странѣ. Въ Польшѣ, болѣе чѣмъ въ какой-либо другой странѣ, школьная драма испытала на себѣ вліяніе іезуитовъ, сдѣлалась ихъ органомъ, и можетъ быть, благодаря этому вліянію, особенно разрослась въ ущербъ болѣе свободному и правильному развитію театра: не безъ основанія полагаютъ, что развитіе драмы вообще и успѣхи театра задерживались въ Польшѣ іезуитскимъ воспитаніемъ. Хотя въ XVII вѣкѣ драмы представлялись и въ католиче-

ских и въ протестантскихъ школахъ Польши, но къ числу древнѣйшихъ польскихъ діалоговъ принадлежатъ іезуитскіе. Окраску эту Польша передала драматическимъ дѣйствіямъ Московской славяно-греко-латинской академіи.

Школьная драма имѣетъ важное значеніе въ исторіи европейской драматической литературы: распущенности средневѣковыхъ мистерій она противопоставила строго опредѣленный типъ античной драмы. Выдвигая драматическія зрѣлища изъ нѣдръ народной жизни въ узкую сферу людей образованныхъ, подтачивая въ самомъ корнѣ народныя основы театра, она подчиняла формы драматической поэзіи извѣстнымъ, хотя изчужди заимствованнымъ правиламъ. Піесы древнихъ классиковъ, которыя съ конца XV вѣка переводились и дѣлались образцами подражанія въ Германіи и Польшѣ, если и не дали на первое время яснаго уразумѣнія различія трагедіи отъ комедіи (такъ что въ XVI вѣкѣ называли комедіею то, что скорѣе должно было получить названіе трагедіи, или прибѣгали къ двусмысленному слову *трагикомедія*, чтобы выпутаться изъ затруднительныхъ опредѣленій), то съ другой стороны тѣ же піесы древнихъ классиковъ дали школьной, ученой драмѣ свою опредѣленную внѣшнюю форму. Въ XVII вѣкѣ школьныя комедіи католической Германіи состояли обыкновенно изъ слѣдующихъ частей: 1) общаго *пролога*, въ которомъ излагалось содержаніе всей піесы; 2) отдѣльныхъ прологовъ къ каждому ея акту; 3) нѣсколькихъ *актовъ* съ одинаковымъ числомъ *сценъ* въ каждомъ; 4) *хора*, которымъ завершался каждый актъ, и въ которомъ изъяснялся нравственный смыслъ представленнаго дѣйствія; *хоры* сопровождались иногда инструментальною музыкою (*траніемъ*, по выраженію Симеона Полоцкаго); 5) мѣсто послѣдняго хора иногда замѣнялъ *эпilogъ*, такъ что послѣдній хоръ разсматривался какъ эпilogъ школьной драмы. Отъ этого обычнаго типа школьная драма католической Германіи дѣлала лишь легкія уклоненія. Иногда она осложнялась, особенно подъ перомъ іезуитовъ, прибавленіемъ предварительной аллегорической піесы (*praclodium*, *allegorisches Vorspiel*). Въ той же самой формѣ, съ тѣми же разчлененіями является школьная драма и въ Польшѣ. Въ составъ ея, какъ и школьныхъ діалоговъ, входили слѣдующія части: 1) прологъ; 2) извѣстное число актовъ, или частей; 3) хоры между актами; 4) эпilogъ. Польскій прологъ выходилъ *namieniając*, *o szem się rzecz ma tocząc*. Въ эпilogъ, имѣвшемъ значеніе заключительнаго хора, приносилась зрителямъ благо-

дарность за вниманіе. Прологи въ «акціяхъ» польскихъ іезуитовъ помѣщались иногда передъ каждою отдѣльною сценою. Хоры иногда не было. Удержавъ смыслъ, какой былъ ему присвоенъ въ античной трагедіи, хоръ школьной драмы сохранялъ или пытался сохранить и ту метрическую форму, которую онъ имѣлъ въ древней трагедіи. Это стремленіе замѣтно еще въ хорѣ школьныхъ драмъ Кіева (напримѣръ, въ трагикомедіи Іосифъ патріарха).

Въ Польшѣ школьныя піесы, «акціи», діалоги писались на латинскомъ или на польскомъ языкѣ. Иногда въ латинскихъ піесахъ, какъ Польши, такъ и Германіи, прологъ, излагавшій содержаніе отдѣльныхъ актовъ, эпilogъ и хоры передавались на языкѣ польскомъ, чтобы сдѣлать пониманіе представляемой піесы доступнымъ для большинства. Съ тою же цѣлю знатымъ лицамъ незадолго до представленія школьной драмы разсылался проспектъ или программа ея, заключавшая въ себѣ названіе піесы, баянію ея, ходъ дѣйствія по актамъ и сценамъ, перечень дѣйствующихъ лицъ и имена актеровъ-школьниковъ *). Эти программы часто оказываются единственными остатками старыхъ школьныхъ піесъ. Въ Польшѣ подобныя программы вошли въ употребленіе уже въ XVI вѣкѣ и держались потомъ не одно столѣтіе; иногда онѣ раздавались и въ печатныхъ экземплярахъ.

Народная жизнь не оставалась вполне чуждою польской школьной драмѣ. Съ давняго времени послѣдняя стало освѣжаться такъ называемыми *интермедіями* или *интерлюдіями*, піесами, которыя разыгрывались между отдѣльными актами или сценами школьной драмы, всегда писались на народномъ языкѣ, часто съ соблюденіемъ провинціальныхъ говоровъ, и часто представляли вѣрныя картины обыденной жизни народа. Въ старыхъ интермедіяхъ польскихъ хранятся драгоцѣнные матеріалы для исторіи народного быта.

Содержаніе польскихъ школьныхъ комедій въ XVII вѣкѣ было довольно разнообразно. 1) Сближаясь съ средневѣковыми мистеріями и ми-

*) Программы были писаны, иногда же печатались. Ebeling Mosaik, §. 120. Конечно, эти программы, назначавшіяся для небольшого кружка зрителей школьныхъ драмъ, печатались въ самомъ незначительномъ количествѣ экземпляровъ. Этимъ объясняется необыкновенная рѣдкость программъ Московской славяно-греко-латинской академіи.

ражками, онѣ брали свое содержаніе изъ области религіозной, изъ ветхаго и новаго заветъ, дѣлнй святыхъ, переливая библейскій сюжетъ въ античныя формы, излагая, напрымѣръ, исторію дочери Іова въ поддержкахъ изъ Ифигеніи въ Авлидѣ. 2) Греко-римская исторія давала обильный матеріалъ для этихъ драмъ. 3) Содержаніе школьных піесъ заимствовалося изъ школьной жизни и практики, изъ круга вопросовъ и интересовъ научныхъ. 4) Озобенно сильное распространеніе получили въ XVII вѣкѣ школьныя піесы панегирическаго характера, посвященныя прославленію важныхъ государственныхъ событій, побѣдъ, семейныхъ празднествъ короля, прибытія и отъѣзда знатныхъ лицъ и т. п. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ польскихъ школьных драмъ являются государства, церковь, мифологическія личности и божества, геріулы отдѣльныхъ странъ и народностей, мудрость, вѣра, надежда, совѣсть и т. д. Аллегорическія личности средневѣковыхъ моралитѣ воскресли въ школьной драмѣ.

«Комедіи» Симеона Полоцкаго познакомили Москву XVII вѣка съ формой и существенными принадлежностями ученой, школьной польской драмы; еще ранѣе привилась она въ Кіевской коллегіи, гдѣ издавна былъ обычай въ извѣстное время года представлять драматическія дѣйства. Въ Московской академіи драматическія дѣйства развились почти съ начала XVIII вѣка, то-есть, съ того времени, когда православные греки уступили въ ней мѣсто кіевскимъ ученымъ, вызваннымъ Стефаномъ Яворскимъ, когда преобладаніе греческаго языка кончилось и началось господство латинскаго діалекта, латинскаго образованія вообще: царь положилъ тому начало, приказавши «завести въ академіи ученія латинскія». Эти дѣйства были то на русскомъ, то на латинскомъ языкѣ. Въ программахъ школьных драмъ Московской славяно-греко-латинской академіи мы можемъ наблюдать вѣрное подражаніе польской школьной драмѣ.

Въ Кіевской академіи обычнымъ временемъ представленія школьных драмъ издавна были лѣтнія рекреаціи. «Въ три майскія рекреаціи, пишетъ митрополитъ Евгеній, всѣ ученики и учителя и сторонніе любители наукъ выходили для забавъ на гору Скавыку *), между овраговъ, при

*) Такъ въ просторѣчій называлась и называется гора Щековница.

урочищѣ, называемомъ Глубочица *). Тамъ всѣ забавлялись самыми повинными играми, и студенты пѣли канты. Учитель поэзіи для такихъ прогулокъ ежегодно обязанъ былъ сочинять комедіи или трагедіи, а прочіе учителя діалоги. Не привязанная къ церкви, какъ въ Львовскомъ братствѣ, или къ академической залѣ торжественныхъ собраний, какъ въ Москвѣ, школьная драма Кіева свободно развивалась подъ открытымъ небомъ, какъ средневѣковая мистерія Западной Европы съ того времени, какъ вышла изъ-подъ опеки церкви. Святость, авторитетъ мѣста, которые естественно должны были стѣснять наставниковъ Львовскаго братства и Московской славяно-греко-латинской академіи при сочиненіи обычныхъ школьных «дѣйствъ», не давали въ этомъ случаѣ наставника Кіевской академіи, не обижывали его рабски влечься по пути, указанному іезуитскою схоластикой, и скрывать свою мысль подъ туманными символами или облекать свое чувство въ холодныя аллегоріи.

Н. Тихонравовъ.

(Ж. М. Нар. Пр., ч. 1879; ССПИ, Отд. II, стр. 52—53).

Василій Васильевичъ Соауха.

10. Англійскіе комедіанты.

Происхожденіе англійскихъ комедіантовъ и время ихъ распространенія по Германіи. — Опомеченіе англійскихъ комедіантовъ. — Сценическая постановка, манера игры и репертуаръ нѣмецкихъ «англійскихъ» комедіантовъ. — Характеръ «англійской комедіи».

«Англійскіе комедіанты» начали распространяться по Германіи въ послѣднее десятилѣтіе XVI вѣка. Данія и богатые торговые города сѣверной Германіи первые подали этимъ приплечамъ руку гостепріимства. Нидерланды служили главнымъ посредствующимъ звеномъ между Англіею и Германіею въ этомъ артистическомъ общеніи, дополняли новыми силами труппы заѣзжихъ актеровъ, и потому англійскіе комедіанты въ Германіи XVII столѣтія носятъ иногда названіе «англійскихъ и нидерландскихъ комедіантовъ», или же прямо выступаютъ подъ именемъ послѣднихъ. Сна-

*) Урочище это находится съ западной стороны Кіева-Подола.

чала они играли на англійскомъ языкѣ, кромѣ шута, который объяснялся на нижне-нѣмецкомъ; впоследствии, смѣшавшись съ нѣмецкими актерами, «на хорошемъ нѣмецкомъ языкѣ». Уже въ первые годы XVII столѣтія искусство англійскихъ актеровъ пользовалось хорошею репутаціею въ Германіи. «Англія (писалъ профессор Целліусъ въ 1605 году) производитъ много отличныхъ музыкантовъ, комическихъ и трагическихъ актеровъ, которые очень опыты въ сценическомъ искусствѣ; нѣкоторые изъ нихъ иногда оставляютъ на время свою родину, предпринимаютъ путешествія по иностраннымъ націямъ и показываютъ свое искусство при княжескихъ дворахъ». Съ теченіемъ времени при нѣмецкихъ дворахъ вошло въ моду держать англійскихъ комедіантовъ. Датскій король Фридрихъ II (1559 — 1588), имѣлъ у себя на службѣ труппу англійскихъ актеровъ, рекомендованную ему графомъ Лейчестеромъ. Въ 1591 году пріѣхала въ Голландію цѣлая труппа англійскихъ комедіантовъ и пустилась отсюда по Германіи «показывать свое искусство въ музыкѣ, въ представленіи комедій, трагедій и исторій». Нѣкоторые изъ членовъ этой труппы остались въ Германіи надолго, — обстоятельство тѣмъ болѣе важное, что эта труппа находилась въ близкомъ отношеніи къ шекспировскому кружку.

Саксонія въ XVII вѣкѣ особенно была извѣстна своимъ покровительствомъ англійскимъ актерамъ. Еще въ 1586 году вызваны были къ саксонскому двору изъ Даніи «англійскіе инструментисты». За ними въ самомъ началѣ XVII столѣтія являлись сюда съ своими комедіями и англійскіе актеры. Въ 1609 году саксонскій дворъ оказалъ имъ особенное покровительство: братъ курфирста принялъ на свое полное содержаніе труппу англійскихъ комедіантовъ. Въ 1605 и 1613 году въ Дрезденѣ играла англійская труппа, во главѣ которой стоялъ Іоаннъ Спенсеръ; онъ явился въ Саксонію съ самою лестною рекомендаціею курфирста бранденбургскаго; впоследствии, въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, игралъ при дворѣ короля польскаго; «честно и благопристойно исполнялъ свое дѣло» при матери эрцгерцога Карла, епископа бреславльскаго; ѣздилъ потомъ съ своею труппою въ Ольмюцъ, игралъ, наконецъ, при дворѣ императора Матвѣя. Быстро онѣмечивались странствовавшія по Германіи труппы англійскихъ актеровъ: они восполнялись нѣмцами; часто прямо составлялись труппы изъ нѣмцевъ и, усвоивши себѣ манеру игры и нѣкоторые пьесы англійскихъ актеровъ, странствовали по Германіи подъ заманчивымъ для того времени именемъ англійскихъ комедіантовъ. Въ 1626 году акробатъ Шиллингъ

получилъ отъ курфирста саксонскаго патентъ на право показывать во всей его землѣ свое искусство, дѣйствовать комедіи (Komödien agiren) и показывать дикихъ звѣрей. Зять его, пикельгерингъ *) Лепгсфельдъ, получилъ впоследствии возобновленіе этого патента и съ своею труппою принять былъ къ саксонскому двору; хотя она состояла почти исключительно изъ нѣмцевъ, и въ ней оставался одинъ только истый англичанинъ, но репертуаръ ея состоялъ изъ «англійскихъ комедій». Такъ, въ 1626 году, этими «англичанами» представлены были при дрезденскомъ дворѣ: Ромео и Юлія, Юлій Цезарь, Гамлетъ — принцъ датскій, Лиръ — король англійскій, Шекспира, Dr. Фаустъ и Мальтійскій жидъ, Марлова, и рядомъ съ ними «англійскія комедіи»: Эсфиръ и Аманъ, Блудный сынъ, Амфитріонъ, Неистовый Орландъ и т. д. Въ 1671 году, за нѣсколько мѣсяцевъ до открытія комедійныхъ дѣйствъ въ Москвѣ, при саксонскомъ дворѣ продолжали играть «англійскіе комедіанты».

Англійскіе актеры принесли въ Германію XVII вѣка и новую сценическую обстановку, и новую манеру игры, и, наконецъ, новый репертуаръ. Утрированный стиль въ изображеніи трагическаго характеризуетъ ихъ игру: они выкрикивали патетическіе монологи, «усердно пилили воздухъ руками»; «какой-нибудь дюжій длинноволосый молодецъ разрывалъ страсть въ клочки, чтобы гремѣть въ ушахъ райка»; «въ словахъ и походѣхъ они не походили ни на христіанъ, ни на жидовъ, ни вообще на людей; выступали и орали такъ, какъ будто какой-нибудь поденщикъ природы надѣлалъ людей, да неудачно: такъ ужасно подражали они человѣчеству». Такую характеристику англійскихъ актеровъ влагаетъ Шекспиръ въ уста Гамлету. Кровавыми, потрясающими сценами богаты были пьесы англійскихъ комедіантовъ, и онѣ разрабатывались съ особенною подробностью, развивались до послѣднихъ предѣловъ. Англійскіе актеры принесли съ собою и водворили на нѣмецкой сценѣ особую, самостоятельную фигуру шута: нѣсколько видоизмѣненный вліяніемъ Голландіи, получивши даже новое названіе — Пикельгеринга, шутъ въ теченіе цѣлаго XVII вѣка и даже далеко за его предѣлы былъ неограниченнымъ властелиномъ нѣмецкой сцены. Комическій элементъ не распредѣлялся между дѣйствующими лицами; онъ какъ бы прихлынулъ къ одному центру и собрался весь въ одномъ лицѣ шута. Грубое, ничѣмъ не сдерживаемое шутство смѣшива-

*) См. ниже.

лось въ пьесахъ англійскихъ актеровъ съ кровавыми сценами и трагическимъ пафосомъ. «Высокое представленіе перебивалось вздорными сценами, какъ сцены шутовъ и сраженій». Зрители стекались къ подмосткамъ, чтобы видѣть «великолѣпныя сцены», наслаждаться «сценами смѣшными и соблазнительными, слушать стукъ щитовъ, или любоваться молодцомъ въ длинномъ разноцвѣтномъ кафтанѣ съ желтою каймою», т. е. шутомъ *).

Среди труппъ странствовавшихъ актеровъ выработался въ Германіи XVII вѣка особый репертуаръ пьесъ, получившихъ модное названіе «англійскихъ комедій»; уже въ тридцатыхъ годахъ явились въ печати два тома «англійскихъ комедій и трагедій, представленныхъ англичанами въ Германіи, при дворахъ королей, князей и курфирстовъ, также въ знатныхъ имперскихъ, приморскихъ и торговыхъ городахъ». Несомнѣнно, что пьесы, вошедшія въ составъ этого сборника, сложились въ Германіи подъ непосредственнымъ вліяніемъ англійскихъ комедіантовъ, хотя и стоятъ въ довольно слабой связи съ классическими пьесами англійскихъ писателей. Изъ всѣхъ произведеній, внесенныхъ въ это изданіе, одинъ Титъ Андроникъ представляетъ переработку, и притомъ довольно жалкую, трагедіи Шекспира. Быть можетъ, комедіямъ и трагедіямъ этого сборника присвоено было названіе «англійскихъ», ради спекуляціи; или же сюда занесены пьесы какой нибудь посредственной труппы англійскихъ комедіантовъ, давно жившей въ Нидерландахъ и Германіи, потерявшей связь съ современною имъ англійскою сценою и принявшей въ свой составъ нѣмцевъ. Какъ бы то ни было, но въ Германіи XVII вѣка очень часто получали названіе «англійскихъ» не только комедіи и трагедіи, написанныя подъ вліяніемъ пьесъ и манеры англійскихъ комедіантовъ, но и такія, которыя успѣли осложниться другими вліяніями и чуждыми англійской сценѣ элементами.

Возникши среди артистовъ по профессіи, дорожившихъ прежде всего силою сценическаго представленія, «англійскія комедіи» отбросили стихотворную форму и одѣлись прозаическою рѣчью, какъ болѣе естественнымъ выраженіемъ жизни. Въ широкой, эпической формѣ развиваютъ онѣ передъ зрителями самое разнообразное содержаніе, заимствуя его изъ исторіи, повелль, сказокъ, рыцарскихъ романовъ. Бѣдные раскрытіемъ внутреннего міра человѣка, такъ называемыя «англійскія комедіи» ча-

*) Прологъ къ Генриху VIII, Шекспира.

сто представляютъ скорѣе разбитый на монологи рассказъ, нежели строго драматическое произведеніе: дѣйствующія лица движутся въ нихъ, какъ куклы, безучастно отдаваясь ходу изображаемыхъ на сценѣ событій и произнося, точно на театрѣ маріонетокъ, свои длинныя рѣчи. *Такия* «англійскія комедіи» особенно были пригодны для «дѣтскаго дѣйствованія».

Въ печатныхъ нѣмецкихъ текстахъ «англійскихъ комедій» (1620, 1624 г.) не сохранились еще слѣды импровизаціи, которой отдавались часто англійскіе комедіанты особенно въ шуточныхъ сценахъ: «первый томъ (говорить Такъ объ этомъ сборникѣ) заключаетъ нѣкоторые изъ старыхъ англійскихъ пьесъ въ отвратительной нѣмецкой прозѣ, очень неисправно напечатанныхъ, и на такомъ языкѣ, какъ еслибъ кто нибудь записалъ импровизацію неискускаго актера». Среди англійскихъ комедіантовъ драматическій писатель и актеръ совмѣщались нерѣдко въ одномъ лицѣ; это обстоятельство, свобода импровизаціи, близкія, часто искреннія и живыя отношенія къ сценическимъ писателямъ давали особенную силу игрѣ англійскихъ актеровъ. Профессоръ роднаго пастору Грегори *) марбургскаго университета, Ренауэръ (Рейнландъ), посѣтивши Англію, писалъ въ 1613 году: «Я замѣтилъ въ Англіи, что актеры ежедневно какъ бы изучаются въ школахъ; самые знаменитые изъ нихъ обращаются за наставленіями къ поэтамъ; это и придаетъ хорошо написаннымъ комедіямъ жизнь и красоту. Потому нѣтъ ничего удивительнаго, что англійскіе комедіанты (я говорю объ искусныхъ) имѣютъ преимущество передъ другими».

Н. Тихонравовъ.

(Русск. Драматич. Произвед., т. I, стр. XIV—XIX).

*) Иоганнъ Готфридъ Грегори, въ Москвѣ съ 1662 г., пасторъ московск. лютеранской церкви, «человѣкъ отличной учености, благочестивый, замѣчательнаго ума», по указанію Алексія Михайловича, долженъ былъ «учинить комедію, а на комедіи дѣйствовать изъ библіи книгу Эсепри и для того дѣйства устроить хоромину вновь» (въ Преображенскомъ). Грегори собралъ на Москвѣ «дѣтей разныхъ чиновъ служилыхъ и торговыхъ иноземцевъ, всего 64 человѣка», и сталъ съ ними разучивать комедію объ Эсепри, или такъ называемое «Артаксерсово дѣйство». Первое представленіе Эсепри относится къ октябрю 1672 года. За ней послѣдовали комедіи—Юдишь, Товій, Малая прохладная комедія о презрѣнной добродѣтели и сердечной чистотѣ въ дѣйствіи о Иосифѣ, Жалостная комедія объ Адамѣ и Еввѣ, Темпирь-Аксаково дѣйство, или Вязетъ и Тамерланъ и др.

Глава III.

Ложно-классическое направление.

10. О драмѣ,

изъ разсужденій Пьера Корнеля *).

А) О полезности драматическихъ произведеній **).

Единственная цѣль драматической поэзіи, по мнѣнію Аристотеля, состоитъ въ томъ, чтобы доставлять удовольствіе зрителямъ: хотя большая часть драматическихъ поэмъ удовлетворяла этому назначенію, я долженъ, однако же, признать, что многія изъ нихъ не отвѣчаютъ цѣлямъ искусства. «Не должно думать, говоритъ философъ, что этотъ родъ поэзіи можетъ дать всестороннее наслажденіе; онъ даетъ намъ только такое, которое ему свойственно»; для того же, чтобы найти это свойственное ему наслажденіе и доставить его зрителямъ, надо слѣдовать предписаніямъ искусства и приносить удовольствіе по правиламъ. Несомнѣнно, что правила должны существовать, потому что существуетъ искусство; но не рѣшенъ еще вопросъ, въ чемъ состоятъ эти правила.

Къ несчастію, Аристотель и, послѣ него, Горацій писали довольно темно и пугаются въ толкователяхъ; тѣ же, которые до сихъ поръ брались за это дѣло, часто изъясняли ихъ только съ грамматической или съ философской стороны, и такъ какъ они имѣли болѣе научныхъ и спекуля-

*) Изъ трехъ разсужденій Корнеля взяты существеннѣйшія мѣста для характеристики ложно-классической драмы.

**) Premier discours. De l'utilité et des parties du poème dramatique.

тивныхъ знаній, чѣмъ сценической опытности, то чтеніе ихъ можетъ обогатить насъ научными свѣдѣніями, но едва ли дастъ что-нибудь цѣнное въ приложеніи къ театру.

Съ своей стороны, послѣ пятидесятилѣтней работы для сцены, я попытаюсь высказать нѣсколько мыслей, и намѣренъ изложить ихъ совершенно просто, не внося въ нихъ духа распри, который облызывалъ бы меня ихъ отстаивать, и не требуя, чтобы кто-нибудь отказывался въ мою пользу отъ собственныхъ своихъ мыслей.

Итакъ, приведа мнѣніе, что *драматическая поэзія имѣетъ цѣлью одну только удовольствіе зрителей*, я совсѣмъ не намѣренъ спорить съ тѣми, которые думаютъ облагородить искусство, поставляя ему задачею приносить не одно только удовольствіе, но и пользу. Такой споръ былъ бы совершенно бесполезенъ, потому что обусловливаемое правилами удовольствіе не можетъ не заключать въ себѣ и значительной доли пользы. Правда, Аристотель, въ своей «Поэтикѣ», ни разу не употребилъ этого слова; происхожденіе поэзіи онъ приписываетъ удовольствію, съ которымъ мы смотримъ на подражаніе человѣческимъ дѣйствіямъ; содержаніе драматической поэмы онъ ставитъ выше описанія характеровъ, потому что первое заключаетъ въ себѣ то, что болѣе правится, какъ *узнаваніе и переломы* (перипетии); въ опредѣленіе трагедіи онъ вноситъ красоту рѣчей, изъ которыхъ она состоитъ; наконецъ, трагедію онъ почитаетъ выше эпической поэмы, потому что первая обставляется внѣшними декораціями и музыкою, приносящими значительную долю наслажденія, и потому еще, что, будучи короче и не такъ многорѣчива, она доставляетъ болѣе полное удовольствіе. Тѣмъ не менѣе, Горацій учитъ насъ, что мы никогда не будемъ въ состояніи понравиться всѣмъ безъ исключенія, если не соединимъ удовольствія съ пользою, и что люди важные и серьезные, старики и любители добродѣтели, будутъ скучать, если не найдутъ въ пьесѣ ничего для себя поучительнаго.

Centuriae seniorum agitant expertia frugis.

Такимъ образомъ, хотя полезное можетъ входить въ пьесу не иначе, какъ въ формѣ пріятнаго, оно во всякомъ случаѣ необходимо; а потому, гораздо цѣлесообразнѣе рассмотреть, какимъ образомъ оно можетъ найти въ ней мѣсто, чѣмъ поднимать, какъ я уже замѣтилъ, безцѣльный вопросъ о полезности драматическихъ произведеній. Я полагаю, что полезное можетъ встрѣчаться въ драматической поэмѣ въ четырехъ видахъ.

Первый состоитъ въ сентенціяхъ и нравственныхъ наставленіяхъ, которые могутъ быть разсѣяны по всей піесѣ: но ими надо пользоваться трезво, не прибѣгать къ нимъ часто въ общихъ разговорахъ и вообще не употреблять ихъ въ излишествѣ, въ особенности, когда говорить или выслушиваетъ отвѣтъ человѣкъ страстный; у такого не можетъ быть ни терпѣнія, чтобы выслушать, ни спокойствія ума, чтобы понять или высказать сентенцію. Въ разсужденіяхъ о вопросахъ государственныхъ, когда важный сановникъ, призванный на совѣщаніе къ королю, объясняется съ спокойнымъ духомъ, рѣчамъ этого рода умѣстно дать большее развитіе; но вообще, употребляя ихъ, лучше выражаться въ формѣ не общихъ положеній (тезисовъ), а лишь предположеній; я бы охотнѣе вложилъ въ уста актера фразу: «любовь причиняетъ вамъ много безпокойствъ», чѣмъ: «любовь причиняетъ много безпокойствъ людямъ, которыми она овладѣваетъ».

Не слѣдуетъ заключать, однакоже, что я совсѣмъ хочу изгнать этотъ послѣдній способъ выраженія нравственныхъ и политическихъ истинъ. Всѣ мои поэмы оказались бы сильно искалѣченными, еслибъ изъ нихъ выкинуть все, что я сдѣлалъ въ этомъ родѣ; но, во всякомъ случаѣ, не слѣдуетъ заходить въ этомъ направленіи слишкомъ далеко и отрывать сентенціи отъ частныхъ случаевъ; иначе это будутъ общія мѣста, которые всегда кажутся слушателю скучными, потому что затягиваютъ дѣйствіе. Наконецъ, какъ бы счастливо ни удалась эта выставка нравственныхъ изреченій, надо всегда опасаться, чтобы она не обратилась въ одно изъ тѣхъ напыщенныхъ украшеній, которыхъ Горацій совѣтуетъ намъ избѣгать.

Я долженъ, однакоже, замѣтить, что рѣчи въ формѣ общихъ мѣстъ нерѣдко могутъ правиться, когда произносящій и слушающій ихъ находятся оба въ спокойномъ состояніи ума, допускающемъ терпѣливое отношеніе къ предмету разговора.

Въ четвертомъ актѣ *Мелиты* *), героиня, счастливая любовью Тирсиса, безъ огорченія выслушиваетъ наставленія своей кормилицы, которая, съ своей стороны, съ удовольствіемъ предается приписываемой Гораціемъ старымъ людямъ страсти поучать молодежь; но, еслибы Мелита знала, что Тирсисъ подозрѣваетъ ее въ невѣрности, что онъ въ отчаяніи, какъ

*) *Mélite*, comédie. Первое по времени произведеніе Корнеля. Представлено въ первый разъ въ 1629 году, когда автору было 23 года.

это она узнала послѣ, она не дослушала бы и четырехъ стиховъ. Иногда подобныя общія разсужденія необходимы даже, какъ опора для мыслей и чувствъ, объясненіе которыхъ не можетъ быть основано ни на какомъ частномъ дѣйствіи тѣхъ, о которыхъ упоминается въ рѣчи. Родогюна *), въ первомъ актѣ, объясняетъ недовѣріе свое въ Клеопатрѣ только тѣмъ, что примиреніе, между сильными міра, послѣ кровной обиды, обыкновенно не бываетъ искренне; другаго объясненія она дать не можетъ, такъ какъ, со времени заключенія мира, королева не сдѣлала ничего такого, что обнаружило бы ту ненависть, которую она питаетъ къ Родогюну въ своемъ сердцѣ.

Вторая полезность драматической поэмы заключается въ откровенномъ изображеніи пороковъ и добродѣтелей, которое непременно произведетъ впечатлѣніе, если будетъ выполнено въ совершенствѣ и представлено въ такихъ несомнѣнныхъ чертахъ, что ихъ невозможно смѣшать одну съ другою и принять порокъ за добродѣтель. Послѣдняя, при этихъ условіяхъ, всегда заставляетъ любить себя, даже въ несчастіи; порокъ же всегда вызываетъ ненависть, даже въ случаѣ своего торжества. Древніе часто довольствовались подобнымъ изображеніемъ, не заботясь о томъ, чтобы добрыя дѣла были вознаграждены, а злыя наказаны: Клитемнестра и ея любовникъ безнаказанно убиваютъ Агамемнона; Медея убиваетъ своихъ дѣтей, Атрей—дѣтей своего брата Оіеста, — и тоже безнаказанно. Правда, что дѣйствія эти, избираемые для катастрофы трагедій, служили наказаніемъ виновныхъ, но, тѣмъ не менѣе, сами представляли еще большія преступленія. Язонъ поступилъ вѣроломно, покинувъ Медею, которой онъ былъ всѣмъ обязанъ; но убійство дѣтей на его глазахъ представляетъ нѣчто болѣе ужасное, чѣмъ его поступокъ.

Нашъ театръ съ трудомъ выдерживаетъ подобные сюжеты. *Оіестъ* Сенеки не имѣлъ у насъ успѣха; *Медея* **) была принята благосклоннѣе; но тутъ вѣроломство Язона и насиліе короля Коринфскаго являются такими несправедливыми дѣйствіями, что зритель легко проникается участіемъ къ Медеѣ и смотритъ на ея мщеніе, какъ на справедливое возмездіе притѣснителямъ.

Вотъ это-то участіе, которое всегда возбуждаютъ къ себѣ люди добро-

*) *Rodogune*, princesse des Parthes, tragédie. 1644. Корнель ставилъ эту трагедию выше всѣхъ другихъ своихъ піесъ.

**) *Médée*, tragédie. 1635.— *La conquete de la toison d'or*, tragédie. 1659.

дѣтельныя, и привело къ иному способу оканчивать драматическую поэму, а именно, къ наказанію за дурныя дѣла и къ наградѣ за хорошія. Это не правило искусства, но обычай, который мы приняли и отъ котораго каждый можетъ отказаться на свою отвѣтственность. Онъ существовалъ и во времена Аристотеля, но, можетъ быть, не слишкомъ правился этому философу, такъ какъ онъ говоритъ, «что только тупоуміе зрителей могло поощрять его употребленіе, и что тѣ, которые его держатся, подлаживаются подъ вкусы толпы и пишутъ, соображаясь съ желаніемъ своихъ слушателей». Дѣйствительно, мы не въ состояніи видѣть честнаго человека на подмосткахъ нашего театра, не пожелавъ ему благополучія и не досадуя на его неудачи. А потому, если его одолѣетъ несчастье, мы выходимъ огорченные и выносимъ съ собою родъ негодованія на автора и на актеровъ; но когда событія совершаются соотвѣтственно нашимъ желаніямъ, т. е., когда добродѣтель торжествуетъ, мы выходимъ полныя радости и выносимъ совершенное удовлетвореніе какъ произведеніемъ, такъ и тѣми, которые его представляли. Торжество добродѣтели, преодолевшей всѣ препятствія и опасности, возбуждаетъ насъ самихъ къ добродѣтели; гибельный же успѣхъ преступленія или несправедливости способенъ усилить наше природное къ нимъ отвращеніе опасеніемъ подобнаго же несчастья.

Въ этомъ именно и состоитъ третья полезность театра. Четвертая же заключается въ очищеніи страстей посредствомъ состраданія и страха (*la crainte*). Но такъ какъ эта полезность свойственна исключительно трагедіи, то мысли мои по этому предмету я изложу во второмъ разсужденіи, въ которомъ и буду говорить собственно о трагедіи.

Б) О трагедіи *).

Кромѣ трехъ полезностей драматической поэмы, о которыхъ я говорилъ въ предыдущемъ разсужденіи, трагедія заключаетъ еще ту, исключительно ей свойственную, что *посредствомъ состраданія и страха она очищаетъ подобныя страсти*. Положеніе это принадлежитъ Аристо-

*) Second discours. De la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire.

телю, и мы узнаемъ изъ него, во-первыхъ, что трагедія возбуждаетъ состраданіе и страхъ, и, во-вторыхъ, что посредствомъ состраданія и страха она очищаетъ подобныя страсти. Первое онъ объясняетъ довольно подробно, но ни слова не говоритъ о послѣднемъ, такъ что изъ всѣхъ составныхъ частей, которыя онъ употребляетъ въ своемъ опредѣленіи, это единственная, остающаяся безъ разьясненія. Въ послѣдней главѣ «Политики» онъ высказываетъ намѣреніе говорить о ней въ этомъ трактатѣ очень подробно; и это дало поводъ большинству его толкователей думать, что трактатъ не дошелъ до насъ въ цѣлости, такъ какъ мы не видимъ въ немъ ровно ничего относящагося къ этому предмету. Какъ бы тамъ ни было, я считаю болѣе умѣстнымъ разобрать то, что онъ сказалъ, чѣмъ усиливаться отгадывать то, что онъ хотѣлъ сказать. Правила, которыя онъ установилъ, могутъ вести насъ къ нѣкоторымъ соображеніямъ относительно тѣхъ, которыя онъ хотѣлъ установить, и на несомнѣнности того, что намъ осталось, мы можемъ основать вѣроятное мнѣніе о томъ, что не дошло до насъ.

«Мы чувствуемъ состраданіе, говоритъ Аристотель, къ тѣмъ, которыхъ видимъ подъ бременемъ незаслуженнаго ими несчастья, и страшимся, чтобы насъ не постигло подобное же несчастье, когда видимъ, что его испытываютъ намъ подобные». Слѣдовательно, состраданіе относится къ лицу, которое мы видимъ въ несчастіи; слѣдующій же за состраданіемъ страхъ относится къ намъ. И вотъ, одно уже это мѣсто даетъ широкое право для заключеній, какимъ способомъ трагедія достигаетъ очищенія страстей. Состраданіе къ несчастью, въ которомъ мы видимъ себя подобныхъ, приводитъ насъ къ страху такого же несчастья для насъ самихъ; страхъ — къ желанію избѣжать этого несчастья; желаніе — къ очищенію, обузданію, исправленію и даже искорененію въ насъ страсти, повергающей, на нашихъ глазахъ, въ это несчастье лицъ, возбуждающихъ наше сожалѣніе, и все это по тому простому, но естественному и несомнѣнному соображенію, что для избѣжанія слѣдствія нужно устранить причину. Такое объясненіе не понравится тѣмъ, которые строго придерживаются комментаторовъ этого философа; но послѣдніе затрудняются этимъ мѣстомъ и такъ мало согласны другъ съ другомъ, что Павелъ Бени приводитъ двѣнадцать или пятнадцать различныхъ мнѣній, которыя и опровергаетъ, выдвигая собственное свое толкованіе. По ходу разсужденія, мнѣніе его согласно съ вышеприведеннымъ, но дѣйствіе состраданія и страха онъ рас-

пространяетъ лишь на королей и принцевъ, вѣроятно потому, что трагедія можетъ поселить въ насъ страхъ только къ такому бѣдствію, которое постигаетъ насъ подобныхъ, а такъ какъ она обрушиваетъ его только на королей и принцевъ, то и дѣйствіе страха должно распространяться лишь на лицъ этого званія. Но, безъ сомнѣнія, Бени слишкомъ буквально понялъ выраженіе *намъ подобныя* и упустилъ изъ виду, что въ Афинахъ, — гдѣ представлялись пьесы, изъ которыхъ Аристотель беретъ свои примѣры, и по которымъ онъ строитъ свои правила, — не было королей. Аристотель никакъ не могъ имѣть приписываемой ему комментаторомъ мысли и не помѣстилъ бы въ опредѣленіи трагедіи обстоятельства, значеніе котораго можетъ быть обнаружено лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ, а полезность ограничена слишкомъ тѣснымъ кругомъ людей. Правда, главными дѣйствующими лицами въ трагедіи обыкновенно выводятся короли, а у зрителей нѣтъ скипетровъ, и, повидимому, нѣтъ повода страшиться несчастій, грозящихъ лицамъ, находящимся въ другихъ условіяхъ; но вѣдь эти короли — люди, какъ и зрители, и подвергаются бѣдствіямъ въ порывахъ страстей, отъ которыхъ не свободны и зрители. Они даютъ даже поводъ къ удобному умозаключенію отъ большаго къ меньшему; и зрителю легко сообразить, что если король, предаваясь безъ мѣры честолюбію, любви, ненависти, мщенію, впадаетъ въ такое великое несчастье, что возбуждаетъ въ немъ состраданіе, тѣмъ болѣе самъ онъ, человѣкъ простой, долженъ держать въ уздѣ подобныя страсти, изъ страха, чтобы онъ не повергли его въ такое же несчастье. Да, сверхъ того, нѣтъ и необходимости выставить на театрѣ бѣдствія однихъ только королей. Бѣдствія другихъ людей могутъ также найти свое мѣсто на сценѣ, если они довольно для того знамениты и довольно необыкновенны, и если они сохранены и переданы намъ исторіею.

Чтобы облегчить способъ къ возбужденію состраданія и страха, Аристотель дѣлаетъ намъ нѣкоторые указанія на то, какія лица и какія событія по преимуществу способны вызывать и то и другое. По этому поводу я дѣлаю предположеніе, — на самомъ же дѣлѣ, оно и дѣйствительно такъ, — что публика въ театрѣ состоитъ не изъ злыхъ и не изъ святыхъ, а изъ людей обыденной честности, и не въ такой степени стоящихъ подъ защитою строгой добродѣтели, чтобы къ нимъ не было доступа страстямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и бѣдствіямъ, въ которыя увлекаютъ эти страсти людей, слишкомъ имъ поддающихся. Сдѣлавъ такое предположеніе, рассмотримъ,

какого рода людей исключаетъ этотъ философъ изъ трагедіи, а потомъ перейдемъ вмѣстѣ съ нимъ къ тѣмъ, которые, по его мнѣнію, обладаютъ всеми необходимыми для дѣйствія трагедіи условіями.

Вопервыхъ, онъ не хочетъ, «чтобы человѣкъ вполне добродѣтельный изъ благополучія впадалъ въ несчастье», и утверждаетъ, что «это не вызываетъ ни состраданія, ни страха, потому что такое событіе совершенно несправедливо». Къ этому я прибавлю, что подобный исходъ вызываетъ скорѣе негодованіе и ненависть къ тому, кто заставляетъ страдать, чѣмъ состраданіе къ несчастному, и что чувство это, — если и свойственное трагедіи, то развѣ въ крайне умѣренной степени, — скорѣе можетъ заглушить то, которое она должна возбуждать.

Онъ не хочетъ также, «чтобы злой человѣкъ отъ несчастія переходилъ къ благополучію, потому что такой исходъ не только не можетъ породить ни состраданія ни страха, но не можетъ даже тронуть тѣмъ естественнымъ чувствомъ радости, которымъ наполняетъ насъ благополучіе главнаго дѣйствующаго лица, привлекающаго къ себѣ нашу благосклонность». Паденіе злодѣя въ несчастіи удовлетворяетъ насъ вслѣдствіе отвращенія, которое мы къ нему питаемъ; но такъ какъ это только справедливое наказаніе, оно нисколько не возбуждаетъ въ насъ состраданія и не поселяетъ въ насъ никакого страха, тѣмъ болѣе, что мы не такіе злодѣи, какъ онъ, не способны къ подобнымъ преступленіямъ и не можемъ страшиться такого пагубнаго исхода.

Остается, такимъ образомъ, найти средину между этими двумя крайностями, избравъ человѣка, который не былъ бы ни вполне добродѣтеленъ, ни вполне злымъ, и который по винѣ своей или по человѣческой слабости впадаетъ въ несчастье, котораго не заслуживаетъ. Для примѣра, Аристотель указываетъ на Эдипа и Оіеста; по тутъ я рѣшительно не понимаю его мысли. На первомъ, по моему мнѣнію, не лежитъ вины въ отцеубійствѣ, потому что онъ не знаетъ своего отца; онъ только съ горячностью оспариваетъ путь у незнакомца, готоваго одолѣть его. Но такъ какъ греческое слово *ἀμαρτία* можетъ означать простую ошибку, происходящую отъ невѣдѣнія, какова была ошибка Эдипа, то допустимъ, что онъ былъ виновенъ; и все-таки я не вижу, какую страсть даетъ онъ намъ для очищенія, и въ чемъ мы можемъ исправиться по его примѣру. Что же касается Оіеста, я не могу открыть въ немъ ни обыденной честности, ни той вины безъ преступленія, которая повергаетъ его въ несчастье. Если мы

станемъ разсматривать его до начала трагедіи, посящей его имя, — это злодѣй, совершающій прелюбодѣяніе; въ самой трагедіи — это человѣкъ прямодушный, примирившійся съ братомъ и положившійся на его слово. Въ первомъ положеніи онъ очень преступенъ; въ послѣднемъ — очень хороший человѣкъ. Если мы припишемъ его несчастье совершенному имъ злодѣянію, то послѣднее такъ велико, что зрители къ нему неспособны, и состраданіе не вызоветъ у нихъ очищающаго страха, такъ какъ въ *Оіестъ* они не будутъ видѣть себѣ подобнаго. Если же мы отнесемъ причину его бѣдствія къ прямодушію, — извѣстный страхъ можетъ послѣдовать за нашимъ состраданіемъ, но онъ очиститъ развѣ только прямодушную довѣрчивость къ слову примирившагося врага, составляющую скорѣе качество честнаго человѣка, чѣмъ порочную привычку; но такое очищеніе способно изгнать искренность изъ всякаго примиренія. Итакъ, говоря откровенно, я вовсе не понимаю приложимости этого примѣра.

Скажу болѣе. Если трагедія способствуетъ очищенію страстей, то оно должно происходить только тѣмъ путемъ, на который я указываю; но я сомнѣваюсь, чтобы оно совершалось даже при посредствѣ такой трагедіи, которая удовлетворяетъ всѣмъ выставленнымъ Аристотелемъ условіямъ. Послѣднія выполнены въ *Цидъ* *) и были причиною большаго успѣха пьесы. Родригъ и Химена обладаютъ требуемой честностью, доступны страстямъ, и именно эти страсти составляютъ причину ихъ несчастій, такъ какъ несчастливы они въ той мѣрѣ, въ какой питаютъ страсть другъ къ другу. Ихъ увлекаетъ въ бѣдствіе такая человѣческая слабость, которой мы можемъ быть подвержены такъ же, какъ и они; несчастье ихъ безспорно возбуждаетъ состраданіе; оно вызвало довольно слезъ у зрителей, чтобы не оставить въ томъ никакого сомнѣнія. Это состраданіе должно бы было вызвать въ насъ страхъ возможности подобнаго же бѣдствія и очиститъ въ насъ тотъ избытокъ любви, который причиняетъ имъ несчастье и заставляетъ насъ сожалѣть ихъ; но я не знаю, вызываетъ ли оно этотъ страхъ и очищаетъ ли оно нашу страсть; боюсь даже, не представляетъ ли разсужденіе Аристотеля по этому предмету лишь прекрасную идею, которая на самомъ дѣлѣ никогда не осуществляется. Ссылаюсь на тѣхъ,

*) Le Cid. Tragédie. 1636. Первая трагедія, доставившая Корнелю славу трагическаго писателя.

которые видѣли представленія *Цида*: пусть они заглянутъ въ тайники сердца, провѣрятъ, что ихъ растрогало въ театрѣ, и скажутъ, ощутили ли они этотъ сознательный страхъ, и исправилъ ли онъ въ нихъ страсть, причинившую бѣдствіе, которому они сострадали.

Впрочемъ, какъ ни трудно признать дѣйствительность и значеніе этого очищенія страстей при посредствѣ состраданія и страха, намъ все-таки можно помириться съ Аристотелемъ. Есть поводъ думать, что, говоря о состраданіи и страхѣ, онъ не имѣлъ въ виду требовать отъ трагедіи этихъ двухъ средствъ всегда въ совокупности, и что, по его мнѣнію, довольно одного изъ нихъ для желаемаго очищенія, съ тою разницею однакоже, что состраданіе не можетъ произвести его безъ страха, страхъ же можетъ этого достигнуть безъ состраданія. Смерть графа въ *Цидѣ* не вызываетъ никакого состраданія, но во всякомъ случаѣ можетъ очистить въ насъ того рода горделивую зависть къ славѣ ближняго, которую мы видимъ въ графѣ; тогда какъ все состраданіе наше къ Родригу и Хименѣ не предохранитъ насъ отъ порывовъ пылкой любви, дѣлающей ихъ предметомъ нашей жалости. Зритель можетъ имѣть состраданіе къ Антиоху *), къ Никомеду, къ Гераклию **), по пока онъ остается при одномъ состраданіи и не можетъ бояться впасть въ подобное же несчастье, онъ не излѣчится ни отъ какой страсти. Напротивъ, Клеопатра ¹⁾, Пруссій ²⁾, Эока ³⁾, не вызываютъ состраданія; но страхъ несчастія подобнаго, или близкаго тому, какое ихъ постигло, можетъ очистить въ матери упорное желаніе владѣть тѣмъ, что принадлежитъ ея дѣтямъ, въ мужѣ — слишкомъ большую уступчивость второй женѣ, въ ущербъ дѣтямъ отъ перваго брака, во всѣхъ — жадное стремленіе насильно завладѣть достояніемъ или саномъ другаго; и все это — въ соотвѣтствіи съ положеніемъ каждаго и съ тѣмъ, что онъ въ состояніи предпринять. Огорченіе, испытываемое Августомъ въ *Циннѣ* ⁴⁾, и его нерѣшительность, могутъ произвести то же дѣйствіе при посредствѣ состраданія и страха, взятыхъ вмѣстѣ; но, какъ я уже

*) Rodogune.

**) Трагедія того же имени.

¹⁾ Rodogune.

²⁾ Nicomède, tr. 1650.

³⁾ Héraclius, tr. 1647.

⁴⁾ Cinna. Tragédie. 1639. Считалось современниками Корнеля лучшимъ его произведеніемъ.

сказалъ, не всегда бываетъ, что тѣ, которымъ мы сострадаемъ, несчастны по своей винѣ. Когда они невинны, наше состраданіе не вызываетъ никакого страха; и если мы иногда чувствуемъ въ такомъ случаѣ страхъ, очищающій наши страсти, то онъ обыкновенно является при посредствѣ другого дѣйствующаго лица, а не того, которому мы сострадаемъ.

Такое объясненіе можетъ быть подтверждено самимъ Аристотелемъ, если мы хорошенько взвѣсимъ причины, по которымъ онъ исключаетъ событія, недопускаемыя въ трагедіи. Онъ не говоритъ: «такое то событіе не свойственно трагедіи, потому что возбуждаетъ только состраданіе и вовсе не порождаетъ страха»; другое потому, что вызываетъ только страхъ и не возбуждаетъ никакого состраданія; но онъ отвергаетъ ихъ потому, какъ онъ выражается, «что они не возбуждаютъ ни состраданія, ни страха», чѣмъ даетъ понять намъ, что они не правятся ему вслѣдствіе отсутствія и того и другого, и что еслибы они порождали одно изъ этихъ чувствъ, онъ не отказалъ бы имъ въ своемъ одобреніи. Ссылка его на *Эдипа* утверждаетъ меня въ этой мысли. Онъ говоритъ, что въ этой трагедіи соединены всѣ необходимыя условія; однако-же бѣдствіе *Эдипа* возбуждаетъ только состраданіе; такъ какъ я не думаю, чтобы у кого-нибудь изъ зрителей вмѣстѣ съ сожалѣніемъ могъ зародиться страхъ убить своего отца и жениться на матери. Если представленіе этой трагедіи можетъ поселить въ насъ нѣкоторый страхъ, и если этотъ страхъ способенъ очистить въ насъ какую-нибудь порочную или достойную порицанія склонность, то онъ очиститъ стремленіе предугадывать будущее, воспрепятствуетъ прибѣгать къ предсказаніямъ, которыя обыкновенно повергаютъ только насъ въ предсказанное несчастье, благодаря тѣмъ стараніямъ, которыя мы прилагаемъ, чтобы избѣжать его. Въ самомъ дѣлѣ, несомнѣнно, что *Эдипъ* никогда не убилъ бы отца своего и не женился бы на матери, если бы его отецъ и мать, которымъ оракулъ предсказалъ, что это случится, не навлекли на него этого несчастья изъ опасенія, чтобы оно не совершилось. Такимъ образомъ, не только *Лаій* и *Иокаста* будутъ виновниками ощущаемаго зрителемъ страха, но страхъ этотъ можетъ родиться лишь отъ мысли о преступленіи, совершенномъ ими за сорокъ лѣтъ до начала представляемаго дѣйствія, и запечатлѣвается въ насъ не главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, а другими, и дѣйствіемъ, стоящимъ внѣ трагедіи.

Въ заключеніе, прежде чѣмъ перейти къ другому предмету, установимъ правиломъ, что совершенство трагедіи состоитъ въ возбужденіи со-

страданія и страха при посредствѣ одного главнаго дѣйствующаго лица, каковымъ является *Родрикъ*, въ *Цидъ*, и *Плацидъ*, въ *Теодоръ* *), но что это не представляетъ такой безусловной необходимости, чтобы нельзя было пользоваться различными личностями для возбужденія этихъ двухъ чувствъ, какъ это мы видимъ въ *Родоунъ*, или дѣйствовать на зрителя только однимъ изъ этихъ чувствъ, какъ въ *Поліевктъ* **), представленіе котораго возбуждаетъ только состраданіе, безъ всякой примѣси страха.

В) О трехъ единствахъ—дѣйствія, времени и мѣста ¹⁾.

Я держусь того мнѣнія, что единство дѣйствія состоитъ—въ комедіи—въ единствѣ интриги, или препятствія намѣреніямъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, а въ трагедіи—въ единствѣ бѣдствія, падаетъ ли подъ нимъ герой ея, или выходитъ изъ него невредимымъ. Я не отрицаю этимъ возможности вводить нѣсколько бѣдствій въ трагедію и нѣсколько интригъ, или препятствій, въ комедію, лишь бы только одно изъ нихъ необходимо влекло за собою другое. Тогда освобожденіе отъ перваго бѣдствія не завершитъ собою дѣйствія, потому что самое это освобожденіе повергаетъ героя въ новое бѣдствіе; такъ же точно развязка первой интриги не успокоитъ дѣйствующихъ лицъ, потому что самая эта развязка запутываетъ ихъ въ новую интригу. У древнихъ я не припоминаю такого примѣра множественности связанныхъ одно съ другимъ бѣдствій, гдѣ бы не было нарушено единство дѣйствія; изъ моихъ же піесъ укажу на *Гораций* ²⁾ и на *Теодору* ³⁾, въ которыхъ двойственность бѣдствія является также недостаткомъ, такъ какъ вовсе не было надобности, чтобы *Горацийъ*, выйдя побѣдителемъ, убилъ свою сестру, ни чтобы *Теодора*, избѣжавъ насилія, предала себя мученической смерти; и думаю, что не сдѣлаю крупной

*) Théodore. Tragédie. 1645.

**) Polyeucte. Tragédie. 1640.

¹⁾ Troisième discours. Des trois unités: d'action, de jour et de lieu.

²⁾ Horace. Tragédie 1639.

³⁾ Théodore. Tragédie.

ошибки, если скажу, что смерть Поликсены и смерть Астинакса въ *Троады* Сенеки представляют такого же рода неправильность.

Съ другой стороны, выражение *единство дѣйствія* не слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что трагедія должна дать зрителямъ одно обособленное дѣйствіе. Избранное поэтомъ дѣйствіе должно имѣть начало, средину и конецъ; и эти три части не только представляют собою каждая отдѣльное дѣйствіе, входящее въ составъ главнаго, но, кромѣ того, каждая изъ нихъ можетъ заключать въ себѣ новыя дѣйствія съ такою же степенью подчиненія. Такимъ образомъ, дѣйствіе полное, завершенное, удовлетворяющее уму зрителя, должно быть одно; но полнымъ оно можетъ сдѣлаться не иначе, какъ при посредствѣ нѣсколькихъ другихъ, его слагающихъ и возбуждающихъ въ зрителѣ пріятное ожиданіе дальнѣйшаго хода пьесы. Это послѣднее особенно необходимо въ концѣ каждого акта, для непрерывности дѣйствія. Нѣтъ надобности, чтобы зритель въ точности зналъ все, что дѣлаютъ лица пьесы въ промежутокъ между актами, ни даже о томъ, дѣйствуютъ ли они, когда отсутствуютъ на сценѣ; но необходимо, чтобы каждый актъ оставлялъ ожиданіе чего-то, что должно произойти въ слѣдующемъ за нимъ актѣ.

Если бы вы спросили меня, что дѣлаетъ Клеопатра въ *Родогоніи* послѣ сцены съ сыновьями во второмъ актѣ, до свиданія съ Антиохомъ въ четвертомъ, я очень затруднился бы отвѣтомъ, да и не считаю себя обязаннымъ отдавать въ томъ отчетъ; но конецъ второго акта этой трагедіи подготавливаетъ зрителя къ дружнымъ усиліямъ двухъ братьевъ достигнуть власти и укрыть Родогону отъ ядовитой ненависти своей матери; все это дѣйствительно и развивается въ третьемъ актѣ, конецъ котораго вновь подготавливаетъ къ попыткѣ Антиоха повліять сначала на одну, потомъ на другую изъ враждующихъ женщинъ, и къ поступкамъ Селевка, вызывающимъ послѣднюю рѣшимость жестокой матери, а вмѣстѣ съ тѣмъ и ожиданіе того, что предприметъ она въ пятомъ актѣ.

Говоря, что нѣтъ надобности отдавать отчетъ въ томъ, что дѣлаютъ дѣйствующія лица въ то время, когда они не находятся на сценѣ, я нисколько не отрицаю, что это можетъ быть иногда вполне уместнымъ; полагаю только, что этого нельзя поставить автору въ обязанность; онъ долженъ прибѣгать къ разъясненію въ такомъ только случаѣ, когда происшедшее за сценой можетъ способствовать пониманію того, что происходитъ передъ зрителемъ. Такъ, я ничего не говорю о томъ, что дѣлаетъ

Клеопатра со второго до четвертаго акта, потому что во все это время она могла не дѣлать ничего такого, что имѣло бы значеніе для подготавливаемого мною главнаго дѣйствія: но, съ первыхъ же стиховъ пятаго акта я разъясняю, что въ промежутокъ между двумя послѣдними актами она совершила убійство Селевка, и разъясняю потому, что дѣяніе это составляетъ часть дѣйствія. Послѣднее обстоятельство даетъ мнѣ поводъ замѣтить, что нѣтъ никакой надобности, чтобы всѣ частныя дѣйствія, приводящія къ дѣйствію главному, происходили на глазахъ у зрителя: поэтъ долженъ избирать изъ нихъ только такія, которые ему особенно выгодно развернуть на сценѣ, по красотѣ представляемаго ими зрѣлища, по силѣ и движенію страстей, по какимъ-либо другимъ свойственнымъ имъ красивымъ особенностямъ, и скрывать другія за сценою, излагая ихъ для зрителя въ разсказѣ, или давая ему знать о происшедшемъ какимъ-нибудь другимъ, искуснымъ, способомъ; въ особенности-же обязанъ онъ всегда помнить, что тѣ и другія должны имѣть между собою такую связь, чтобы послѣднія вытекали изъ предшествовавшихъ имъ, и чтобы всѣ они имѣли своимъ источникомъ протазисъ^{*)}), заканчивающійся первымъ актомъ. Правило это хотя и ново, и несогласно съ обычаемъ древнихъ, можетъ быть, однакоже, подтверждено двумя ссылками на Аристотеля. Вотъ первая: «большая разница, говорить онъ, между событіями, которыя совершаются одни послѣ другихъ, и такими, изъ которыхъ одни совершаются по причинѣ другихъ». Въ *Циди* мавры приходятъ послѣ смерти графа, а не по причинѣ его смерти; это — недостатокъ трагедіи. Второе мѣсто еще рѣшительнѣе, — въ немъ прямо говорится, что „все, происходящее въ трагедіи, должно вытекать по необходимости или по вѣроятію изъ того, что ему предшествовало“.

Связь между сценами, соединяющая одно съ другимъ всѣ частныя дѣйствія каждого акта, составляетъ большое украшеніе поэмы и много способствуетъ образованію непрерывности дѣйствія, вслѣдствіе непрерывности представленія; но во всякомъ случаѣ это только украшеніе и не можетъ быть возведено въ правило. Древніе не всегда употребляли этотъ пріемъ, хотя у нихъ акты состоятъ болѣею частью только изъ двухъ или трехъ

^{*)} Я хотѣлъ бы, чтобы первый актъ заключалъ въ себѣ основаніе всѣхъ дѣйствій и дѣлалъ ненужнымъ появленіе всего того, что захотѣли бы ввести въ пьесу при дальнѣйшемъ ея развитіи (*Premier discours*).

сценъ, и имъ гораздо легче было соблюсти связь между сценами, чѣмъ память, помѣщающимъ въ одномъ актѣ отъ девяти до десяти сценъ. У Софокла, напримѣръ, предсмертный монологъ *Аякса* не имѣетъ никакой связи ни съ предшествующей, ни съ послѣдующей сценой. Ученые нашего вѣка, взявшіе себѣ за образецъ трагедіи древнихъ, еще болѣе пренебрегали этой связью; довольно бросить взглядъ на трагедіи Буханана, Гроціуса и Гейнзіуса, чтобъ убѣдиться въ этомъ. Мы же въ такой степени приучили къ ней нашихъ зрителей, что они не пропускаютъ ни одной отрывочной сцены, не отмѣтивъ ее въ числѣ недостатковъ; глазъ и ухо непріятно поражаются такой отрывочностью даже раньше, чѣмъ разумъ успѣетъ сдѣлать заключеніе. Четвертый актъ *Цинны* стоитъ ниже другихъ именно потому, что не удовлетворяетъ этому требованію; и вотъ—то, что прежде никогда не составляло непрѣмѣннаго требованія, возводится теперь въ правило, вслѣдствіе постояннаго и настойчиваго примѣненія на практикѣ.

Хотя дѣйствіе драматической поэмы и должно быть едино, но въ немъ слѣдуетъ различать двѣ части: завязку и развязку. «Завязка составляется, говоритъ Аристотель, частью изъ того, что произошло не на театрѣ, до начала изображаемаго дѣйствія, частью же изъ того, что на немъ происходитъ; остальное принадлежитъ развязкѣ. Перемѣна счастья дѣйствующихъ лицъ составляетъ переломъ между этими двумя частями. Все, что ему предшествуетъ, относится къ первой, самый же переломъ, съ тѣмъ, что за нимъ слѣдуетъ, ко второй». Завязка зависитъ вполне отъ выбора и богатства воображенія поэта, а потому для нея нельзя дать правилъ, кромѣ развѣ того, что все въ ней должно быть соображено на основаніи вѣроятности или необходимости. Прибавлю къ этому еще совѣтъ, — какъ можно менѣе впутываться въ событія, случившіяся до представляемаго дѣйствія. Подобные рассказы вызываютъ обыкновенно нетерпѣніе, такъ какъ ихъ не ожидаютъ; кромѣ того, они обременяютъ умъ слушателя, принуждая его нагружать свою память тѣмъ, что происходило за десять или за двѣнадцать лѣтъ, чтобъ понять представленіе; но рассказы о событіяхъ, наступающихъ и происходящихъ за сценой со времени начала дѣйствія, всегда производятъ лучшее впечатлѣніе, потому что ожидаются съ нѣкоторымъ любопытствомъ и составляютъ часть представляемаго дѣйствія. Одна изъ причинъ, доставившихъ *Цинну* такъ много почетныхъ отзывовъ, ставящихъ эту трагедію выше всѣхъ другихъ моихъ произведеній, заключается въ томъ, что въ ней нѣтъ рассказовъ о прошедшемъ,

такъ какъ рассказъ, который Цинна дѣлаетъ Эмилиіи о своемъ заговорѣ, представляетъ скорѣе украшеніе, ласкающее умъ зрителей, чѣмъ необходимый перечень подробностей, который они обязаны знать и запечатлѣть въ памяти для пониманія того, что будетъ слѣдовать: Эмилиіа достаточно выясняетъ имъ въ двухъ первыхъ сценахъ, что Цинна составляетъ заговоръ противъ Августа, съ цѣлью отомстить за смерть ея отца; еслибы Цинна сказалъ ей просто, что заговорщики готовы къ завтрашнему дню, онъ совершенно на столько же подвинулъ бы дѣйствіе, какъ и тою сотнею стиховъ, въ которыхъ передаетъ и свою рѣчь къ нимъ, и общее ихъ рѣшеніе. Бываютъ интриги, ведущія свое начало отъ самаго рожденія героя, какъ это мы видимъ въ *Геркулѣ*; но такіа сильныя напряженія поэтическаго ума требуютъ также необыкновеннаго напряженія вниманія у зрителя и часто мѣшаютъ полному его наслажденію на первыхъ представленіяхъ, — до того они утомляютъ его!

Въ развязкѣ слѣдуетъ избѣгать двухъ вещей: простой *перемѣны намереній* и *машинъ* (*deus ex machina*). Немного нужно искусства, чтобъ кончить поэму, когда лицо, создававшее препятствія намѣреніямъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, отступаетъ въ пятый актъ, не будучи къ тому вынуждено никакимъ выдающимся событіемъ. Не болѣе того требуетъ отъ искусства и *машина*, когда она является для того только, чтобъ спустить бога, улаживающаго все дѣла какъ разъ въ то время, когда дѣйствующія лица не знаютъ, какъ въ нихъ разобратся. Такого появленія Аполлона въ *Орестѣ* Эврипида. Оно не имѣетъ никакого основанія въ ходѣ вещей и потому портитъ развязку.

Правило *единства времени* основано на словахъ Аристотеля, что «трагедія должна заключать продолжительность своего дѣйствія въ одномъ оборотѣ солнца или стараться лишь немного выходить изъ него». Эти слова даютъ поводъ къ знаменитому спору, слѣдуетъ ли въ нихъ понимать естественный день въ двадцать четыре часа, или искусственный въ двѣнадцать; каждое изъ этихъ мнѣній имѣетъ значительное число сторонниковъ; я же нахожу, что есть сюжеты такъ трудно улаживающіеся въ столь короткое время, что для нихъ не только можно было бы уступить полные двадцать четыре часа, но даже, воспользовавшись позволеніемъ Аристотеля, выйти изъ этого предѣла и смѣло продлить его до тридцати часовъ. Авторы бываютъ иногда очень стѣснены этимъ принудительнымъ правиломъ; оно заставило нѣкоторыхъ изъ древнихъ дойти до невозмож-

наго. Такъ, у Эврипида, въ *Просительницахъ*, Тезей отправляется съ арміею изъ Афинъ, даетъ сраженіе передъ стѣнами Оивъ, то есть въ разстояніи двѣнадцати или пятнадцати миль, и возвращается побѣдителемъ въ слѣдующемъ актѣ; со времени же его отбытія до появленія вѣстника, приносящаго извѣстіе о его побѣдѣ, Этра и хоръ успѣваютъ произнести всего лишь тридцать шесть стиховъ. Очевидно, не мало работы для такого короткаго промежутка времени. *Цидъ* и *Помпей* *), въ которыхъ дѣйствіе идетъ довольно поспѣшно, слишкомъ далеки отъ такой вольности; если они нѣсколько и насилуютъ общепринятую вѣроятность, то во всякомъ случаѣ не доходятъ до подобныхъ невозможностей.

Многіе называютъ это правило тираническимъ, и съ ними слѣдовало бы согласиться, еслибы оно было основано только на авторитетѣ Аристотеля. Но оно имѣетъ за себя естественную необходимость, которая и заставляетъ принять его. Драматическая поэма есть подражаніе человѣческимъ дѣйствіямъ, или, лучше сказать, ихъ изображеніе, портретъ. Портреты же, безъ сомнѣнія, тѣмъ превосходнѣе, чѣмъ болѣе они похожи на оригиналъ. Представленіе продолжается два часа и можетъ имѣть совершенное сходство въ томъ лишь случаѣ, когда представляемое имъ дѣйствіе не требуетъ большаго времени въ дѣйствительности. Итакъ, не будемъ останавливаться ни на двѣнадцати, ни на двадцати четырехъ часахъ, но постараемся ограничить дѣйствіе поэмы наименьшею продолжительностью времени, какая только намъ будетъ возможна, для того, чтобы представленіе его имѣло болѣе сходства и было болѣе совершенно. Дадимъ первому, если можно, только тѣ два часа, которые длится второе: я не думаю, чтобы дѣйствіе *Родоны* требовало болѣе времени, и, вѣроятно, въ два часа могло бы совершиться дѣйствіе *Цинны*. Если же мы не можемъ заключить его въ эти два часа, возьмемъ четыре, шесть, десять, но постараемся не слишкомъ переходить за двадцать четыре часа, чтобы не впасть въ безпорядочность и не обезобразить портрета, лишивъ его соответственныхъ дѣйствительности размѣровъ.

Въ особенности хотѣлъ бы я, чтобы продолжительность дѣйствія была предоставлена воображенію зрителей, и чтобы занимаемое дѣйствіемъ время никогда не указывалось, если того не требуютъ сюжеты, особенно

*) Pompey, tr. 1641.

же тогда, когда вѣроятность этого дѣйствія нѣсколько натянута, какъ въ *Цидѣ*; иначе—это только обнаружить, что оно ведется слишкомъ поспѣшно. Даже если необходимость соблюдать единство времени и не отразилась вредно на поэмѣ,—какая надобность отмѣчать при открытіи завѣса, что солнце восходитъ, что въ третьемъ актѣ наступаетъ полдень, а въ концѣ послѣдняго закатъ? Это будетъ натянутость, которая можетъ только надоесть; достаточно, чтобы была установлена возможность дѣйствія въ теченіи того времени, въ которое его заключаютъ, и чтобы зрителю не трудно было сообразить продолжительность этого времени безъ всякаго умственного напряженія. Даже въ дѣйствіяхъ, которые имѣютъ такую же продолжительность, какъ и представленіе, было бы весьма некрасиво, если бы изъ акта въ актъ стали отмѣчать, что отъ одного изъ нихъ до другаго прошло уже полчаса времени.

Когда избранное нами дѣйствіе требуетъ болѣе продолжительнаго времени, напримѣръ, десяти часовъ, я хотѣлъ бы, чтобы восемь изъ нихъ, которыхъ у насъ недостаетъ, протекали въ промежуткахъ между актами, и чтобы каждый актъ имѣлъ собственно для себя только такую продолжительность дѣйствія, которая равна продолжительности его представленія; это особенно важно, когда между сценами существуетъ непрерывная связь, потому что эта связь не можетъ допустить пустаго промежутка между двумя сценами. Думаю, однако же, что пятый актъ, по особенному преимуществу, имѣетъ нѣкоторое право на ускореніе хода событій, такъ что та часть дѣйствія, которую онъ представляетъ, можетъ занимать въ дѣйствительности болѣе времени, чѣмъ сколько будетъ употреблено на ея представленіе. Причина здѣсь та, что въ зрителѣ возбуждается нетерпѣніе поскорѣе увидѣть конецъ, и, если этотъ конецъ зависитъ отъ дѣйствующихъ лицъ, ушедшихъ съ подмостковъ, то всякій разговоръ, какой вы вложите въ уста остающихся на подмосткахъ и ожидающихъ извѣстій объ отсутствующихъ, будетъ только томить и казаться вялымъ. Такъ, *Цидъ* не успѣлъ бы въ дѣйствительности сразиться съ Донъ-Санхо за то время, пока инфанта ведетъ разговоръ съ Леонорой и Химена съ Эльвирой. Я это видѣлъ, но не остановился передъ необходимою поспѣшностью, примѣры которой, можетъ быть даже въ значительномъ числѣ, мы можемъ найти и у древнихъ.

Когда конецъ дѣйствія зависитъ отъ лицъ, не покидающихъ подмостковъ и не заставляющихъ ожидать о себѣ извѣстій, какъ въ *Циннѣ* и въ

Родогонъ, то пятый актъ не имѣетъ надобности въ этомъ преимуществѣ, потому что тогда все дѣйствіе происходитъ на глазахъ у зрителей. Другіе акты не допускаютъ подобныхъ смягченій. Если продолжительность событія не позволяетъ вновь ввести дѣйствующее лицо, вышедшее въ томъ же актѣ, или дать знать, что оно дѣлало со времени выхода, можно это отложить до слѣдующаго акта; оркестръ, раздѣляющій акты, можетъ поглотить какъ разъ все необходимое для совершенія дѣйствія время; но для пятаго акта нѣтъ такого исхода; вниманіе истощено и — конецъ неизбеженъ.

Не могу пройти молчаніемъ, что, хотя мы и обязаны сводить всякое трагическое дѣйствіе къ одному дню, это не мѣшаетъ сообщать въ трагедіи рассказомъ, или какимъ-нибудь другимъ, болѣе искуснымъ, способомъ то, что дѣлалъ герой ея въ теченіи многихъ лѣтъ. Не стану повторять здѣсь, что чѣмъ менѣе авторъ углубляется въ прошедшія дѣйствія, тѣмъ благосклоннѣе будетъ къ нему зритель, не стѣсненный необходимостью обременять свою память рассказами и наблюдающій только происходящіе передъ нимъ дѣйствія; но долженъ сказать, что выборъ знаменитаго и ожидаемаго съ нѣкотораго времени дня составляетъ большое украшеніе поэмы. Не всегда можно найти къ тому случай; изъ всего, что я написалъ, вы найдете только четыре пьесы, удовлетворяющія этому условію: *Гораций*, въ которой споръ двухъ народовъ о первенствѣ рѣшается битвою, *Родогонъ*, *Андромеда* и *Донъ Санхо*. Въ *Родогонъ* избранъ день, назначенный двумя враждебными повелителями для выполненія условій заключеннаго ими мира, день, въ который должно послѣдовать полное умиротвореніе двухъ соперницъ бракомъ одной изъ нихъ съ сыномъ другой, и должна быть разъяснена болѣе чѣмъ двадцатилѣтняя тайна о правѣ первородства между двумя принцами-близнецами, тайна, отъ которой зависитъ ихъ право на престолъ и успѣхъ ихъ въ любви. Въ *Андромедѣ* и въ *Донъ-Санхо* дни по мнѣ значительны; но, какъ я уже сказалъ, случаи къ такому выбору представляются не часто; въ другихъ моихъ произведеніяхъ я могъ избирать дни, замѣчательные только по случайному наплыву событій, а не по предназначенію.

Относительно единства мѣста я не нахожу никакого указанія ни у Аристотеля, ни у Горация; на этомъ основаніи нѣкоторые полагаютъ, что такое правило установилось только, какъ слѣдствіе единства времени, и что мѣсто можно распространять на такое разстояніе, какое человѣкъ можетъ пройти туда и обратно въ двадцать четыре часа. Мнѣніе это нѣ-

сколько своевольно, такъ какъ, предположивъ, что дѣйствующія лица ѣздятъ на почтовыхъ, пришлось бы на двухъ сторонахъ театра изобразить Парижъ и Руанъ. Я жалалъ бы, для полного удовлетворенія зрителя, чтобы представляемое передъ нимъ въ продолженіе двухъ часовъ, могло дѣйствительно произойти въ два часа, и чтобы то, что онъ видитъ на театрѣ, который во время представленія не измѣняется, могло быть сосредоточено въ одной комнатѣ или въ одной залѣ, смотря по выбору; но часто это такъ неудобно, чтобы не сказать — невозможно, что сама необходимость заставляетъ изыскивать нѣкоторое разширеніе для мѣста, какъ и для времени. Я въ точности выполнялъ правило единства мѣста въ *Горацийѣ*, въ *Поліевктѣ* и въ *Помпѣ*, но для этого нужно либо вводить одно только женское лицо, какъ въ *Поліевктѣ*, либо — чтобы двѣ женщины имѣли такую дружбу другъ къ другу и такіе общіе интересы, которые бы дѣлали ихъ неразлучными, какъ въ *Горацийѣ*, либо — чтобы онѣ имѣли случай, какъ въ *Помпѣ*, — Клеопатра во второмъ актѣ и Корнелія въ пятомъ, — подъ вліяніемъ естественнаго любопытства выходить каждая изъ своего покоя и появляться въ большой дворцовой залѣ въ тревожномъ ожиданіи извѣстій. Совсѣмъ не то въ *Родогонѣ*: интересы двухъ женщинъ, Клеопатры и Родогонны, слишкомъ различны, чтобы онѣ могли изъяснять самыя тайныя свои мысли въ одномъ и томъ же мѣстѣ. Вотъ почему первый актъ этой трагедіи долженъ бы былъ происходить въ передней комнатѣ Родогонны, второй — въ комнатѣ Клеопатры, третій — въ комнатѣ Родогонны; четвертый могъ бы начаться тутъ-же, но конецъ его, разговоръ Клеопатры съ сыновьями, непременно долженъ бы быть отнесенъ въ другое мѣсто. Для пятаго необходима большая аудіенцъ-зала, въ которой могла бы помѣститься огромная толпа народа.

Древніе, избиравшіе мѣстомъ дѣйствія городскія площади, не были такъ сильно стѣснены правиломъ единства мѣста; однако-же Софоклъ нарушилъ его въ *Аяксѣ*, который, оставивъ сцену въ намѣреніи лишить себя жизни въ уединенномъ мѣстѣ, возвращается и убиваетъ себя на глазахъ у всѣхъ; не трудно заключить, что онъ убиваетъ себя не на томъ мѣстѣ, которое передъ этимъ покинулъ.

Мы не предоставляемъ себѣ такой свободы удалять въ другое мѣсто королей и принцессъ изъ ихъ покоевъ; а такъ какъ часто различіе и противоположность интересовъ лицъ, живущихъ въ одномъ и томъ-же дворцѣ, не допускаютъ, чтобы они повѣряли свои тайны въ одной и той-же ком-

натѣ, то намъ надо искать другаго приспособленія къ правилу единства мѣста, если мы хотимъ сохранить его во всѣхъ нашихъ поэмахъ; иначе пришлось-бы осудить многихъ авторовъ, имѣющихъ огромный успѣхъ.

Я держусь того мнѣнія, что надо стараться достигать безусловнаго единства мѣста, на сколько это возможно; но такъ какъ оно не мирится со всякимъ сюжетомъ, я готовъ охотно согласиться, что дѣйствіе, происходящее въ одномъ и томъ-же городѣ, удовлетворяетъ единству мѣста. Это не значить, что я хочу, чтобы театръ представлялъ весь этотъ городъ, — это было-бы нѣсколько обширно, — но только два или три отдѣльныя мѣста, заключенныя въ стѣнахъ его. Такъ, дѣйствіе *Цинны* не выходитъ изъ предѣловъ Рима и совершается частью въ покаяхъ Августа, въ его дворцѣ, частью въ домѣ Эмилиа. Въ *Цидѣ* частныя мѣста дѣйствія гораздо многочисленнѣе, но не выходятъ изъ предѣловъ Севильи. Безъ сомнѣнія, эта многочисленность является уже до извѣстной степени своеволіемъ. Чтобы нѣсколько упорядочить двойственность мѣста, когда она неизбежна, слѣдуетъ соблюдать двѣ вещи: во-первыхъ, никогда не мѣнять мѣста дѣйствія въ одномъ и томъ-же актѣ, но только изъ акта въ актъ, какъ это дѣлается въ первыхъ трехъ дѣйствіяхъ *Цинны*; во-вторыхъ, эти два мѣста не должны имѣть надобности въ различныхъ декораціяхъ, и ни одно изъ нихъ не должно быть называемо; обозначается только общее мѣсто, въ которомъ оба они находятся, какъ Парижъ, Римъ, Ліонъ, Константинополь и т. п. Это поможетъ ввести въ заблужденіе зрителя, который, не видя ничего, что могло бы его навести на мысль о различіи мѣстъ, не замѣтитъ необходимости перемѣны, безъ особенно тонкаго критическаго размышленія, на которое немногіе изъ нихъ способны, такъ какъ большинство горячо приковывается къ представляемому дѣйствію.

Вотъ мои мнѣнія, или, если хотите, моя ересь относительно главныхъ положеній искусства: я не умѣю лучше согласовать древнія правила съ новыми требованіями. Не сомнѣваюсь, что не трудно найти лучшіе способы, и съ готовностью послѣдую имъ, когда они будутъ испытаны на практикѣ съ такимъ-же успѣхомъ, какого удостоились тѣ, которые я прилагалъ въ моихъ произведеніяхъ.

Перев. и примѣч. А. Д. Бутовскаго.

11. Б у а л о.

Ни одинъ изъ народовъ въ Европѣ не имѣлъ такой ранней теоріи, какъ французы. Прежде, чѣмъ предались они творческому стремленію, — какъ будто съ умысломъ позаботились о томъ, чтобы создать для себя кодексъ правилъ и по нимъ дѣйствовать. Причина этому не заключается ли въ особенномъ дидактическомъ направленіи, которымъ рано ознаменовалась ихъ литература. Еще до Буало, La Fresnaie Vauquelin, по именному повелѣнію короля французскаго, Генриха III, написалъ поэму: *L'art Poétique*, которой Буало подражалъ во многихъ мѣстахъ своего сочиненія. Самая поэма Буало современна золотому вѣку французской словесности.

Николай Буало Деспред (Nicolas Boileau Despréaux, 1636 — 1711), авторъ кодекса французской поэзіи, былъ учителемъ и другомъ Расина, оракуломъ критики и совѣтникомъ всѣхъ литераторовъ своего времени и самого Людовика XIV. Французы не иначе называютъ его, какъ поэтомъ здраваго смысла (*le poète du bon sens*), — странная похвала поэту —, и законодателемъ французскаго Парнаса. Вліяніе его *Art Poétique* на всю французскую поэзію было такъ огромно, что рѣшительно не возможно объяснить ея характера, не вникнувши въ сущность и во всѣ подробности этого сочиненія. Оно есть необходимый ключъ и комментарий ко всѣмъ произведеніямъ классической поэзіи Франціи. Стихи этого Алкоруана литературнаго были пословицами критики въ XVIII и даже въ XIX вѣкѣ у всѣхъ народовъ. *L'art Poétique* до того входило въ эстетическое воспитаніе французское, что профессора словесныхъ наукъ во Франціи вмѣняли въ обязанность юношамъ учить его наизусть, какъ уложеніе истиннаго вкуса. Хотя это сочиненіе, для насъ особенно, потеряло уже всю свою цѣнность, но оно необходимо должно быть разсмотрѣно въ исторіи [теоріи поэзіи], потому что рѣдка теорія, даже Аристотелева, имѣла такое могущественное вліяніе на всѣ новѣйшія литературы и даже на нашу отечественную.

Въ теоріяхъ другихъ писателей всегда есть нѣкоторыя современныя отношенія къ искусству или жизни, и часть теоріи должна объясняться отсюда; но не смотря на то, для каждой, нѣкоторыя общія начала служатъ внутреннимъ основаніемъ. Кодексъ Буало, напротивъ, объясняется весь изъ мѣстныхъ условій народа и времени, и носитъ на себѣ неизгладимую печать французскаго характера и общества Франціи XVII вѣка. Общихъ

началь поэзии и прекрасного онъ вовсе не касается. О подражаніи, какъ началь искусства, говоритъ мимоходомъ и доводитъ его до странной крайности.

Нѣтъ, для того, чтобы объяснить кодексъ Буало, не нужно восходить къ общимъ началамъ теоріи; надобно, по моему мнѣнію, обратить вниманіе на три предмета, совершенно посторонніе: во 1-хъ на умственный характеръ французовъ, во 2-хъ на состояніе литературной учености того вѣка, и въ 3-хъ на взаимныя отношенія литературы и общества. Всѣ сіи частныя условія совокупно отражаются въ сочиненіи Буало и опредѣляютъ его характеръ.

Коренная черта французской націи въ умственномъ отношеніи есть господство холоднаго разума надъ фантазією. Умственная способность ихъ есть способность, анализирующая предметы: это разумъ *), который болѣе разнимаетъ, нежели совокупляетъ; изслѣдуетъ части, а не цѣлое. Сія способность является и въ остроуміи **), которое опредѣляютъ умѣньемъ чувствовать различіе въ предметахъ. Въ этомъ отношеніи, французы составляютъ ярую противоположность съ германцами, которые получили въ удѣлъ синтетическую дѣятельность мысли — умъ: она обнаруживается въ глубокомысліи нѣмцевъ, которое, дѣйствуя противоположно остроумію, старается все привести къ единству. Философія обоихъ народовъ свидѣтельствуетъ различіе ихъ умственного направленія.

Умъ аналитическій бываетъ враждебенъ фантазіи; синтетическій, напротивъ, ей благопріятствуетъ. Вотъ почему умозрительныя теоріи нѣмцевъ такъ тѣсно граничатъ съ ихъ поэтическими мечтаніями. Французы, кажется мнѣ, вовсе не способны предаться безотчетной фантазіи, которая не признаетъ узды разума. Въ поэзіи французской весьма рано обнаружилось аллегорическое и дидактическое направленіе и свидѣтельствовало господство разума надъ фантазією. Французъ не понимаетъ поэтическаго

*) Въ нашемъ языкѣ, который заключаетъ въ себѣ много словъ философскаго значенія по ихъ производству и обнаруживаетъ начала оригинальной народной мыслительности, слова умъ и разумъ (если производить ихъ отъ эмлю и разнпмаю), будутъ соответствовать синтетическому и аналитическому дѣйствию нашей мыслящей способности.

**) Нѣмцы сами, такимъ образомъ, отличаютъ остроуміе (Scharfsinn) отъ глубокомыслія (Tiefsinn). Первое ищетъ различій, второе — сходствъ; первое приводитъ къ раздробленію, второе — къ единству.

образа безъ скрытнаго значенія, безъ особеннаго смысла. Еще въ XIV вѣкѣ, словесность Франціи изобиловала аллегорическими поэмами, которыхъ главнымъ представителемъ можетъ служить холодный романъ Розы (Roman de la Rose). Искони французы враждовали съ фантазією другихъ народовъ и только теперь подчинились нѣсколько ея вліянію, отказавшись отъ своей односторонности. Аллегорическому и дидактическому направленію противодѣйствовало комическое. Одна только поэзія возможна для холоднаго разума: это — насмѣшка, сатира. Мольеръ и Вольтеръ — вотъ ихъ національное достояніе.

Поэтъ, который изложилъ національный кодексъ французской поэзіи, принятый свободно и единогласно всѣмъ народомъ, разумѣется, долженъ отгадать ту способность, которая господствовала въ поэтической дѣятельности его націи. Буало ни слова не говоритъ о фантазіи; признавши въ поэтѣ тайное призваніе неба, онъ полагаетъ главными способностями, дѣйствующими въ поэзіи, разумъ и здравый смыслъ (la raison et le bon sens). Кто не помнитъ этихъ стиховъ, которые находятся въ числѣ первыхъ догматовъ, предписанныхъ Буало?

Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant, ou sublime,
Que toujours le bon sens s'accorde avec la rime... *).

(П. I, ст. 27—28).

Aimez donc la raison. Que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix **).

(П. I, ст. 37—38).

.....Laissons à l'Italie
De tous ces faux brillans l'éclatante folie.
Tout doit rendre au bon sens ***).

(П. I, ст. 43, 45).

*) Изволь, что хочешь, пѣть — и важное и шутку, —
Но рнему каждый разъ припоровляй къ разсудку.
Пер. гр. Хвостова, п. I, 27—28.
(Полн. собр. соч., 1818, IV).

**) Къ разсудку прилѣпнсь! Пускай стихи твои
Получать отъ него всѣ прелести свои.
Его же, I, 37—38.

***) Щеголеватыхъ словъ нелѣное сѣиленье
Пускай въ Италиі рождаетъ изумленье.
Вездѣ быть долженъ смыслъ....
Его же, I, 43—46.

Даже и отъ пѣсни, внушаемой упоеніемъ, врагомъ разсудка, Буало прежде всего требуетъ здраваго смысла:

Il faut même en chansons du bon sens et de l'art.

Идеаль критика для него есть олицетворенный разумъ. Такъ въ поэзіи, но кодексу Буало, долженъ господствовать одинъ здравый смыслъ и фантазія охлаждена разсудкомъ. Вотъ почему Франція своему законодателю дала титулъ поэта здраваго смысла. Изъ стиха противъ Италіи мы видимъ, что Буало преслѣдуетъ владычество фантазіи у другихъ народовъ. Чудесное въ эпопеѣ, которое относится къ области фантазіи, Буало позволяетъ только подъ видомъ аллегоріи, а не иначе *), и защищаетъ сію послѣднюю противъ тѣхъ, которые на нее нападали **). Онъ возстаетъ противъ фантастическаго чудеснаго, заимствованнаго изъ преданій нашей религіи, и за это порицаетъ Тасса и намекаетъ, можетъ быть, на Мильтона, котораго поэма могла уже быть ему извѣстна. Господство здраваго смысла положило печать охлажденія фантазіи на всѣхъ произведеніяхъ такъ-называемой классической литературы, какъ во Франціи, такъ и во всѣхъ странахъ Европы. Мы сами еще помнимъ это стѣснительное вліяніе и въ нашей словесности. Итакъ мы видѣли, какъ одно изъ главныхъ основаній сочиненія Буало, господство здраваго смысла, объясняется изъ умственнаго характера націи.

Обратимъ теперь вниманіе на состояніе литературы въ ученое отношеніе. Мы уже сказали о томъ, что Франція выступила на поприще литера-

*) Всѣ добродѣтели—богини у Гомера:

Минерва—зрѣлый умъ, а красота—Венера;

Летящій съ неба громъ—не дѣйствіе паровъ,—

Юпитеръ, въ страхъ землѣ, гремитъ средь облаковъ;

Ревущій въ бурѣ вихрь у кормчихъ предъ глазами,—

Нептунъ, разгнѣванный свирѣпыми морями.

Его же, III, 165—170.

**) Быть можетъ запретять пносказаній виды:

Повязку и вѣсы отнять у Оемиды;

Иль мѣдное чело у грозныхъ войны,

Часы, что времени бѣгущему даны,

И въ ложной святости, почти догмѣтомъ вѣры,

Изгонять изъ рѣчей подобья и примѣры.

Пер. Вушиной, II. III, 227—232.

туры въ то время, когда древняя стихія стала самовластно господствовать надъ новою. Въ XV и XVI вѣкахъ, Франція занималась уже дѣятельно древнею философіею. Плоды этихъ занятій видны въ ея произведеніяхъ XVI в. Жодель и Ронсаръ, первые драматическіе поэты Франціи, слѣдуютъ греческимъ образцамъ. Ими-же воспитываются и первые трагики: Корнель и особенно Расинъ, который въ юности, какъ извѣстно, училъ наизусть отрывки изъ греческихъ писателей. Но отъ чего-же во Франціи это пристрастіе ко всему древнему достигло такой крайности, что французы отвергли въ поэзіи всѣ матеріалы, всю жизнь новой Европы, и ограничили міръ идеальный одною древностью? И въ Италіи поэты издѣлства изучали древнихъ: не смотря на то, духъ новый и новая жизнь сохранялись въ поэзіи, и муза поэзіи жила въ мірѣ преданій новой Европы. Отъ чего-же не такъ было во Франціи? Двѣ причины этому, по моему мнѣнію. Первая—причина общественная: въ XVII вѣкѣ среднія времена уже миновались, и Франція при Людовикѣ XIV, написала совершенно новую общественную жизнь и создала формы новыя этой жизни, какъ для себя, такъ и для всей Европы. Дворъ Людовика XIV былъ средоточіемъ преобразованія, которое черезъ Францію должно было совершиться во всей Европѣ. Отсюда объясняется намъ отчужденіе Франціи отъ средняго вѣка, отъ своей національности, разрывъ ея со всѣмъ своимъ минувшимъ. Въ немъ она видѣла что-то грубое, что-то варварское, и потому не могла искать поэтическихъ очарованій. Но прошедшее есть необходимость для поэзіи. Отвергнувъ свое, она неизбежно должна была обратиться къ древности, которую въ то время кстати изучила. Ея мифологію, исторію, поэзію, Франція сдѣлала почти исключительнымъ матеріаломъ для своихъ собственныхъ созданій; но, разумѣется, эта древность была не истинная, не настоящая: въ ея формахъ, подъ ея именами, Франція выражала свою собственную, современную жизнь. Древность только прикрывала собою стихіи новой жизни двора Людовика XIV. Это отчужденіе отъ средняго вѣка и пристрастіе къ древнимъ началось еще при Людовикѣ XIV, но окончательно утвердилось при его наслѣдникѣ. Замѣчательно, что при Францискѣ I еще представлялись мистеріи, остатки средняго вѣка, но при Людовикѣ XIII онѣ были уничтожены и уступили мѣсто греческой трагедіи.

Вторая причина, не столько сильная, какъ первая, была, какъ я полагаю, религіозная. Ею только можно объяснить отчужденіе французовъ отъ преданій христіанскаго міра въ поэзіи и попытку замѣнить этотъ не-

обходимый матеріалъ мѣологіею древнихъ. Лезуиты начали уже производить сильное вліяніе во Франціи; обладая сокровищемъ учености, они много руководствовали народнымъ воспитаніемъ. Извѣстно, въ какихъ строгихъ религіозныхъ правилахъ былъ воспитанъ Расинъ. Лезуиты могли внушать, что употребленіе христіанскихъ преданій въ поэзіи есть святотатство, и въ замѣнъ этого предлагали поэтамъ древнюю мѣологію. Такое ученіе согласовалось и съ общимъ стремленіемъ Франціи, которая, вступая въ раздоръ со всѣмъ своимъ минувшимъ, рада была духовному предлогу, чтобы удалить отъ себя поэтическія преданія своей религіи, тѣсно связанныя съ преданіями средняго вѣка.

Изъ этихъ двухъ причинъ объясняется другая важная черта въ сочиненіи Буало: отчужденіе отъ средняго вѣка, отъ всѣхъ его историческихъ и религіозныхъ преданій, и привязанность къ мѣологіи и исторіи древней. Смотри съ показанной точки зрѣнія, мы поймемъ теперь значеніе слѣдующихъ стиховъ въ его поэмѣ (II. III, ст. 237—244):

La Fable offre à l'esprit mille agrémens divers;
Là tous les noms heureux semblent nés pour les vers:
Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée,
Hélène, Ménélas, Paris, Hector, Enée.
O le plaisant projet d'un Poëte ignorant,
Qui de tant de Héros va choisir Childebrand!
D'un seul nom quelquefois le son dur ou bizarre
Rend un Poëme entier, ou burlesque ou barbare *).

Въ этихъ стихахъ выражается споръ стихій древней съ новой! Какъ восхищается Буало двумя строками древнихъ именъ, которые онъ съ умысломъ подобралъ и которые такъ сладко звучать его уху! А въ имени

*) У баснословія—обиліе цвѣтовъ,
И даже имена родились для стиховъ:
Улиссъ, Агамемнонъ, Идомей, Медея,
И Гекторъ и Парисъ, Елена и Цирцея;
Хотя по глупости однажды былъ избранъ
Для исполнѣнія тяжелый Гильдебрантъ.
Знай,—имя дикое, невзвучное, герою
Поэму сдѣлаетъ или грубой, или смѣшною.

Гр. Хвостовъ, III, 211—222.

Childebrand онъ преслѣдуетъ средній вѣкъ, котораго не могла уже терпѣть Франція, облеченная въ новыя формы своей общественной жизни!

Гоненія Буало противъ чудеснаго христіанскаго, противъ Астарота, Вельзевула, Люцифера, и защищенію мѣологіи языческой протстекаютъ частью отъ той же причины; но здѣсь, вромъ того, высказывается и причина религіозная, какъ мы можемъ это видѣть въ слѣдующихъ стихахъ:

De la foi d'un Chrétien les mystères terribles
D'ornemens égayés ne sont point susceptibles.
L'Evangile à l'esprit n'offre de tous côtés,
Que pénitence à faire et tourmens mérités:
Et de vos fictions le mélange coupable,
Même à ses vérités donne l'air de la Fable *).

(II. III, ст. 199—204).

Laissons les s'applaudir de leur pieuse erreur;
Mais pour nous banissons une vaine terreur,
Et fableux Chrétiens n'allons point dans nos songes,
Du Dieu de vérité faire un Dieu de mensonges **).

(II. III, ст. 233—236).

Перейдемъ къ современнымъ отношеніямъ, какія были между обществомъ и литературою, и объяснимъ себѣ третью важную черту въ сочиненіи Буало. Вся литература Франціи, въ то время, сосредоточилась около двора и подверглась условнымъ формамъ придворнаго обществія. Вкусъ двора былъ вкусомъ законодательнымъ. Почти всѣ лучшіе писатели занимали при немъ мѣста: Буало и Расинъ были исторіографами Людовика XIV. Литература была дѣломъ государственнымъ, однимъ изъ занятій перваго министра Франціи и Европы, кардинала Ришелье. Это можно особенно ви-

*) Святѣя таинства небесныхъ откровеній
Суть выше и честнѣй небесныхъ украшеній.
Къ намъ слово божіе гремитъ судомъ на злыхъ,
Влечетъ къ раскаянью и ужасаетъ ихъ;
Но вымысловъ твоихъ виновное смѣшеніе
Тѣ даже истины подводитъ подъ сомнѣніе.

Пер. Буиной, III, 199—204.

**) Пусть утѣшаются своимъ благочестивымъ заблужденіемъ. Мы же должны отогнать пустой страхъ и, оставаясь христіанами, остерегаться только въ нашихъ вымыслахъ изъ Бога истины дѣлать бога лжи.

дѣтъ въ любопытныхъ обстоятельствахъ, какія сопровождали появленіе Корнелева Цида. Кардиналъ Ришелье настоялъ на томъ, чтобы члены академіи произнесли судъ этой трагедіи, и, несмотря на то, что у него на рукахъ были всѣ дѣла королевства, а въ головѣ всѣ дѣла Европы, онъ самъ, вмѣстѣ съ академіею, занимался составленіемъ критическаго приговора Корнелю.

Вліяніе придворнаго вкуса, утонченнаго до манерности, оказывается на многихъ правилахъ Буало. Онъ требуетъ отъ идилліи, чтобы она, при всей простотѣ своей, была *élégante* (слово еще не созданное въ нашемъ языкѣ); отъ ужаса и состраданія, двухъ трагическихъ стихій, — чтобы онѣ были сладки и пріятны. Une *élégante Idylle*, une *douce terreur*, une *piété charmante* — все это отзывается утонченностью придворной жизни Людовика XIV. Самые правила о единствѣ мѣста и времени, которыя принадлежатъ не Аристотелю, а французамъ, и которыя такъ стѣсняли гений Корнели и такъ строго и догматически выражены у Буало (П. III, 45—46):

Qu'en un Lieu, qu'en un Jour, un seul Fait accompli
Tienne jusqu'à la fin le Théâtre rempli *),

едва-ли не объясняются условіями придворной мѣстности, потому что пьесы часто представлялись при дворѣ?

Но это вліяніе придворнаго общегитія ни на чемъ такъ не оказалось, какъ на слогѣ, потому что при дворѣ образовался избранный стиль классической поэзіи Франціи. Буало самъ о томъ свидѣтельствуетъ, рассказывая исторію французскаго языка (П. I, 84—94) **).

Вопросъ о словахъ высокихъ и низкихъ обращалъ вниманіе самаго Людовика XIV. Сентъ-Бёвъ въ своемъ сочиненіи: *Critiques et portraits littéraires*, передаетъ много любопытныхъ анекдотовъ о томъ, какъ занима-

*) Чтобы одинъ фактъ, совершившійся на одномъ мѣстѣ, въ одинъ день, держалъ театръ полнымъ до конца представленія.

**) Парнасъ заговорилъ языкомъ рынка; на раснущенное стихотворство не было никакой узды. Эта язва заразила провинціи, отъ пизды и мѣщанина перешла къ принцамъ; самый дрянной забавникъ имѣлъ своихъ поклонниковъ, и даже d'Assonci нашелъ читателей. Но, разочарованный, наконецъ, этимъ стилемъ, дворъ сталъ пренебрегать развязнымъ сумасбродствомъ подобныхъ стиховъ, сталъ отличать наивное отъ плоскаго и шутовскаго и предоставлялъ провинціи восхищаться *Тифономъ*.

лись въ то время словами, какъ, напр., Людовикъ XIV нападалъ на выраженіе *gebrousser chemin*, всѣ придворные и Расинъ ему вторили, но Буало защищалъ оное; какъ Расинъ и Буало переписывались о томъ, есть-ли въ Гомерѣ низкія слова; какъ Буало радовался тому, что успѣлъ вмѣсто парика употребить выраженіе: *sous mes feaux cheveux blonds*, и съ какимъ торжествомъ писалъ къ Расину, что онъ въ одной одѣ осмѣлится посредствомъ перифразы упомянуть о томъ бѣломъ перѣ, которое носить король на своей шляпѣ!

Отсюда объясняется изобиліе правилъ о слогѣ въ поэмѣ Буало. Вся половина первой пѣсни посвящена этому предмету. Поэзія у него не иначе называется, какъ *l'art des vers*. Какъ строго предупреждаетъ онъ писателя противъ словъ низкихъ:

Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse:
Le style le moins noble a pourtant sa noblesse! *)

Какъ заботится о гармоніи стиховъ! Какъ искусно выражается онъ объ этой условной трудности во французской поэзіи, объ роковомъ hiatus [зіяніи], который въ другихъ языкахъ, болѣе гармоническихъ, напр., въ итальянскихъ, напротивъ, считается украшеніемъ!

Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée,
Ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée **).

До того простираетъ Буало свою заботливость о звучности стиха, что самую мысль ставить ниже звука, форму ниже идеи.

Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée
Ne peut plaire à l'esprit, quand l'oreille est blessée ***).

*) Словами подлыми не оскверняй творенье:
И низкій слогъ свое имѣетъ позышенье.

Пер. гр. Хвостова, П. I, 79—80.

**) Смотри, чтобы гласная, спѣша, не спотыкнулась,
И съ гласною другой въ дорогѣ не столкнулась.

Его же, П. I, 107—108.

***) Хотя твой складенъ стихъ, имѣетъ много духа, —
Не мнѣ онъ разуму, когда жестокъ для уха.

Его же, П. I, 111—112.

Въ этихъ двухъ стихахъ заключается разгадка одной характеристической черты французской литературы, этой безконечной стилистики, которая поглотила почти всю ея критику. Ни одинъ народъ столько не заботился о словахъ въ литературѣ, не показывалъ такой разборчивости и щекотливости въ выраженіи, какъ французы: въ этомъ отражались условныя формы ихъ общенія. Буало, совѣтникъ Людовика XIV въ дѣлѣ стили, былъ первымъ родоначальникомъ этого многочисленнаго племени французскихъ стилистовъ, которыхъ послѣднимъ важнѣйшимъ представителемъ былъ Латапъ. Это имя имѣло свои вѣтви и во всѣхъ литературахъ.

Итакъ, вотъ три главные черты, составляющія характеръ кодекса Буало, а съ нимъ вмѣстѣ и классической поэзіи Франціи: 1) господство здраваго смысла надъ фантазіей, смысла, который необходимъ всюду, но не составляетъ сущности искусства, и правила котораго суть только отрицательныя; 2) отчужденіе отъ новаго міра и пристрастіе къ древнимъ, убивающее жизнь новую, и 3) стилистика, или критика стили въ утонченныхъ и болѣею частью условныхъ подробностяхъ. Мы видѣли, какъ сѣи три главные черты въ кодексѣ Буало, который нельзя назвать теоріею, объясняются мѣстными условіями литературнаго развитія во Франціи.

Шевыревъ.

(Теорія поэзіи въ историч. развитіи etc.)

12. О трагедіи,

изъ L'art poétique Буало.

Такого страшнаго на свѣтѣ нѣтъ предмета,
Который бы не сталъ намъ милъ въ стихахъ поэта:

Искусство дивное, волшебною рукой,
Ужаснѣйшую вещь исполнить красотой.

- б. Такъ, насъ трагедія злодѣйствомъ умиляетъ,
Когда преступнаго Эдипа выставляетъ
Или когда Орестъ, свою убившій мать,
Мученьями души заставить всѣхъ рыдать.

О вы, наперники высокой Мельпомены!

Стремяся властвовать надъ публикой со сцены,

Хотите-ль, чтобъ толпа пѣсней восторгалась,

И чтобъ она потомъ лѣтъ двадцать намъ давалась?

Хотите?!... Такъ пускай въ твореньяхъ вашихъ страсть

Сумѣетъ тронуть насъ, надъ сердцемъ взявши власть!

Когда порывъ страстей въ возвышенномъ движеніи

Насъ страхомъ сладостнымъ не приведетъ въ волненіе

И состраданія въ сердцахъ не возбудитъ,

Ученый вашъ трактатъ насъ вовсе не плѣнитъ!

Плоды риторики прослушавъ добрый часъ,

Толпа или заснетъ, или освищетъ васъ!

Трагедія должна, смягчая насъ, плѣнять:

Владѣйте тайною, какъ сердцемъ управлять!

Пусть съ первыхъ-же стиховъ задуманный сюжетъ
Во всей прозрачности является на свѣтѣ!

Сознайтесь, что актеръ на сценѣ намъ смѣшонъ,

Пока онъ зрителю не дастъ понять, кто онъ,

И, долго путаясь въ порывахъ измышленья,

Всю душу вытянетъ, не давши развлеченья.

Нѣтъ! я люблю, чтобъ мнѣ сказали напрямикъ,

Кто здѣсь передо мной: Орестъ или Андроникъ.

Вѣдь путаница тутъ нисколько не плѣняетъ:

Неясная уму, она лишь слухъ терзаетъ.

Сюжетъ скорѣй всего намъ должно изложить

И мѣсто дѣйствія точнѣй опредѣлить.

За Пиренеями не такъ ведется дѣло:

Тамъ цѣлый рядъ годовъ рѣмачъ отхватить смѣло

И втиснуть въ день одинъ... Герой у нихъ растетъ:

Ребенкомъ выступить, браатымъ же сойдеть.

Но мы, принявшіе искусство съ размышленьемъ,

Ходъ дѣйствія ведемъ всегда съ ограниченіемъ,

Чтобъ тамъ же, въ тотъ же день и лишь одно дѣянье

Могло приковывать къ герою все вниманье.

Невѣроятное должно быть чуждо вамъ:

Мы часто истину относимъ къ чудесамъ,

ПОЭТИКА.

- А вздорныхъ выдумокъ нашъ умъ не постигаетъ:
 50. Во что не вѣримъ мы, насъ то и не прельщаетъ.
 Что выставить нельзя, изложить пусть расскажъ!
 Хотя, правда, зрѣлище сильнѣй волнуетъ насъ,
 Однако жъ сцены есть, которыми искусство
 Должно скрывать отъ насъ, жалѣя наше чувство.
 55. Пускай интриги ходъ съ движеніемъ все растетъ
 И быстро наконецъ къ развязкѣ подойдетъ!
 Ничто вѣдь сильно такъ нашъ умъ не поражаетъ,
 Какъ то, когда отъ насъ интрига все скрывается,
 И вдругъ одинъ толчеетъ, одинъ лишь новый ходъ,
 60. Сюжету сообщить неожиданный оборотъ.

Трагедія низка своимъ происхожденіемъ:

- Сначала былъ лишь хоръ, гдѣ съ пляскою и пѣньемъ,
 Подножья алтарей священныхъ окружая,
 Молили Бахуса о новомъ урожаѣ.
 65. Веселье и вино являлись всѣмъ отрадой,
 А лучшему пѣвцу козель служилъ наградой.
 Потомъ Эсхилъ лицо дрожжами сталъ марать
 И этой выдумкой согражданъ потѣшать,
 И, развоза съ собою обрывшей—актеровъ,
 70. Измыслилъ зрѣлище, пріятное для взоровъ.
 Акторовъ въ хоръ впервые ввелъ Эсхилъ,
 Ихъ лица маскою приличною прикрылъ
 И, высоко помость поднявши театральнѣй,
 Надѣлъ котурны имъ въ трагедіи печальной.
 75. Высокимъ гениемъ Софоклъ все довершилъ:
 Далъ сдѣнъ новый блескъ, гармоніей плѣнилъ,
 Назначилъ хору роль почти во всѣхъ явленіяхъ;
 Старинный грубый стихъ смягчился въ выраженіяхъ,
 И греческій театръ сталъ такъ высоко чтить,
 80. Что съ нимъ соперничать не могъ и славный Римъ.

Но въ средніе вѣка театръ пришелъ въ забвенье;
 Народъ совсѣмъ не зналъ объ этомъ развлеченіи,
 Пока паломниковъ какихъ-то грубый цехъ
 Въ Парижѣ, говорятъ, на площади, для всѣхъ,

Не сталъ изображать святыхъ изъ благочестья,
 Но, въ простотѣ души, самъ сѣялъ лишь нечестье.
 Наука наконецъ, вставъ противъ заблужденій,
 Разоблачила фальшь библейскихъ представлений:
 Прогнали всѣхъ такихъ непрошенныхъ актеровъ,—
 И Троя славная воскресла вновь для взоровъ...
 И, маску древнюю покинувъ съ этихъ поръ,
 Театръ завелъ оркестръ, смѣнившій прежній хоръ.

Тутъ скоро, щедрая на нѣжные обманы,
 Любовь наполнила и сцену, какъ романы;
 Чувствительный поэтъ, рисуя эту страсть,
 Всего скорѣе могъ на славный путь попасть.
 Ну, чтожъ?—согласенъ я: влюбленныхъ выставляйте,
 Но сладкимъ пастушкомъ героя не являйте!
 Пусть любитъ Ахиллесъ иначе, чѣмъ Филень,
 А Киръ является инымъ, чѣмъ Артамень,—
 Но представляйте намъ любовь съ ея мученіемъ
 Не добродѣтелью, а просто заблужденіемъ!

Герой не долженъ быть всѣхъ слабостей лишенъ:
 Вѣдь часто лучшій мужъ порокомъ надѣленъ.
 Мнѣ меньше нравится Ахиллъ безъ вспышекъ гнѣва,
 Чѣмъ—если онъ порою слезы льетъ, какъ дѣва.
 Въ героѣ слабости пріятно видѣть мнѣ:
 Здѣсь все, съ природою согласное вполне.
 Пусть дышетъ истинной написанное вами:
 Тамъ—скупъ Агамемнонъ, за то великъ дѣлами;
 А здѣсь—Эней своихъ боговъ со страхомъ чтить!
 Путь каждый свой особенный характеръ сохранить!
 Племень, вѣковъ и странъ характеръ изучите,—
 Нерѣдко въ климатѣ основъ его ищите.

Страшиться выставлять, совсѣмъ ужъ не впопадъ,
 Жизнь Рима древняго на современный ладъ!
 Подъ кличкой римскою нашъ быть изображалъ,
 Мы Брута превратимъ, пожалуй, въ шелопаля.
 Въ романахъ многое возможно извинять:
 Тамъ вся задача въ томъ, чтобъ вымысломъ плѣнить,

85.

90.

95.

100.

105.

110.

115.

120.

- Тамъ строгость лишняя—ненужное стѣсненіе;
 Но сцена требуетъ ума и размысленія:
 Въ ней духъ приличія быть долженъ соблюденъ,
 И если новый типъ у васъ изображенъ,
 125. То вѣрнымъ будетъ пусть онъ снимкомъ съ идеала
 И до конца такимъ, какъ выведенъ сначала!

- Какъ часто драматургъ, лишь свой портретъ любя,
 Героевъ драмъ своихъ рисуетъ самъ съ себя;
 Такъ у гасконца все идетъ, какъ въ ихъ Наваррѣ,
 130. А Юба и Кальпрендъ подобны дружной парѣ *).
 Но вѣдь природа въ насъ—по своему умна,
 И каждой страсти рѣчь особая дана:
 Такъ гнѣвъ безмѣрно гордъ и мечетъ въ насъ громами,
 Тогда какъ льется грусть смиренными словами.
 135. Пускай предъ Троею Гекуба, со слезами,
 Не поражаетъ насъ надутыми рѣчами
 И не рисуетъ намъ нектати ужасъ края,
 «Гдѣ пьютъ Эвесипскій Понтъ семь рукавовъ Дуная.» **)
 Въ трескучей болтовнѣ, въ наборѣ громкихъ фразъ,
 140. Лишь видѣнъ говорунъ, не трогающій насъ.
 Нѣтъ! горе скажется сильнѣй простымъ молчаньемъ...
 Чтобъ зритель слезы лилъ, начните вы рыданьемъ!
 Потокъ трескучихъ фразъ хотя игриво вьется,
 Бѣжить не изъ души и въ сердце не вольется.
 145. Театръ, наполненный придиричивою толпою,
 Для многихъ авторовъ сталъ трудною стезею.
 На сценѣ не легко побѣду одержать:
 Всегда охотники найдутся освищать
 И автора признать за дурака и фата
 150. (Вѣдь право порицать—даетъ входная плата).
 И вотъ, чтобъ похвалу въ театрѣ заслужить,
 Самъ авторъ принужденъ предъ публикой хитрить

*) Кальпрендъ, бездарный писатель, авторъ трагедіи «Клеопатра», гдѣ героемъ является Юба.

**) «Троада»—трагедія Сенеки.

- И, развивая страсть по замысламъ широкимъ,
 Обязанъ пылкимъ быть, пріятнымъ и глубокимъ;
 Эффектами толпу будить онъ долженъ самъ 155.
 И увлекать въ стихахъ отъ чуда къ чудесамъ,
 Однако такъ, чтобъ все легко запоминалось
 И въ памяти у всѣхъ надолго оставалось!
 Вотъ какъ трагедія въ развитіи идетъ,
 160. Но пальму первенства поэмѣ отдаетъ...

Пер. А. П. Михневичъ.

(Oeuvres de-Boileau Despreaux, 1769, ch. III, v. 1—160).

Глава IV.

Критика ложно-классицизма и начала эстетической теории.

13. Лаоконъ

или

о границах живописи и поэзии.

Блестящая антитеза греческаго Вольтера, который назвалъ живопись нѣмою поэзіею, а поэзію говорящею живописью, не была, конечно, помѣщена ни въ одномъ учебникѣ. Это было просто остроумное выраженіе, какихъ у Симонида можно встрѣтить много, и которыхъ справедливая часть такъ блистательна, что все неопредѣленное и ложное, въ нихъ заключающееся, обыкновенно считаютъ нужнымъ оставлять безъ вниманія.

Древніе однако не дѣлали этого пропуска, и, признавая мѣткость выраженія Симонида въ отношеніи сходства дѣйствія на человѣка обоихъ искусствъ, они не забывали замѣтить, что оба искусства были въ то же время весьма различны какъ предметами, такъ и способомъ подражанія.

Напротивъ, упустивъ совершенно изъ виду это различіе, новѣйшіе критики сдѣлали изъ сходства живописи съ поэзіею самые странные выводы. То стараются они втѣснить поэзію въ узкую сферу живописи, то даютъ живописи право занять всю обширную область поэзіи. Все, что справедливо въ одномъ изъ этихъ искусствъ, позволительно, по ихъ мнѣнію, и въ другомъ, все что нравится или не нравится въ одномъ, должно также нравиться или не нравиться въ другомъ. Полные этой идеей, они произносятъ самоувереннымъ тономъ самые грубые приговоры, считая главными недостатками въ произведеніяхъ художниковъ и поэтовъ уклоненія этихъ двухъ родовъ искусства другъ отъ друга и ставя въ вину поэтамъ или художникамъ ихъ большую природную склонность и вкусъ къ живописи или къ поэзіи.

Эта ложная критика успѣла уже сбить съ толку даже многихъ истин-

ныхъ художниковъ. Она породила въ поэзіи стремленіе къ описаніямъ, а въ живописи внесла аллегорію, ибо первая старалась сдѣлаться говорящею картиною, не зная въ точности, что она могла и должна была изображать, а вторая—нѣмою поэзіею, не размысливъ хорошенько о томъ, насколько она способна выражать общія идеи, не удаляясь отъ своего истиннаго назначенія и не дѣлаясь добровольно лишь извѣстнымъ родомъ литературы.

Противодѣйствовать этому ложному вкусу и этимъ неосновательнымъ сужденіямъ—вотъ главнѣйшая задача предлагаемыхъ разсужденій.

I.

Предметъ живописи вообще.—Предметъ древне-греческой живописи.—Красота—предметъ изобразительныхъ искусствъ.

Справедливо или нѣтъ преданіе о томъ, будто любовь была первою изобрѣтательницею образовательныхъ искусствъ; но несомнѣнно, что она не уставала водить рукой лучшихъ древнихъ художниковъ. Ибо хотя теперь *живопись* и понимается вообще, какъ *искусство*, *изображающее тѣла на поверхности*, мудрый грекъ давалъ ей болѣе тѣсныя границы и дѣлалъ задачей ея лишь *изображеніе прекрасныхъ тѣлъ*. Греческій художникъ не изображалъ ничего кромѣ красоты; даже обыкновенная красота, красота низшаго рода, дѣлалась только случайно его задачей, его упражненіемъ, его отдыхомъ.

Совершенство самаго предмета должно было восхищать въ его работахъ; онъ ставилъ себя слишкомъ высоко, чтобы поставить себя задачей удовлетвореніе зрителя холоднымъ наслажденіемъ сходства предмета, или своимъ умѣньемъ; въ его искусствѣ не было ему ничего дороже, ничто не казалось ему благороднѣй конечной цѣли искусства.

«Кто захочетъ рисовать тебя, когда никто не хочетъ тебя видѣть», говоритъ одинъ древній эпиграмматистъ про человѣка весьма дурной наружности. Многіе новѣйшіе художники сказали бы напротивъ: «Будь дурень до послѣдней крайности, я все-таки напишу тебя. Пусть никому нѣтъ охоты смотрѣть на тебя: по крайней мѣрѣ мою картину посмотрятъ съ удовольствіемъ,—не за то, что она изображаетъ тебя, но потому, что она послужитъ доказательствомъ моего искусства, умѣющаго вѣрно представить такое страшилище».

У древних красота была высшимъ закономъ образовательныхъ искусствъ. Отсюда необходимо слѣдуетъ, что все другое, что могло еще входить въ область образовательныхъ искусствъ, или уступало свое мѣсто началу красоты, или по крайней мѣрѣ подчинилось ея законамъ.

Такъ, напримѣръ, въ выраженіи. — Есть страсти и такія степени страстей, которыя выражаются въ лицѣ самыми отвратительными чертами и все тѣло ставятъ въ насильственное положеніе, при которомъ изящныя линіи, обрисовывающія его въ спокойномъ состояніи, совершенно исчезаютъ. Изображенія такихъ страстей избѣгали древніе художники или изображали ихъ въ той мѣрѣ, въ которой они допускали извѣстную степень красоты.

Дрость и отчаяніе не безобразятъ ни одного изъ ихъ произведеній. Я даже осмѣливаюсь утверждать, что они вовсе не изображали фурій. Гнѣвъ ослабили они до строгости. У поэта Юпитеръ, мечущій молніи, гнѣвещъ; у художника — онъ представляется только строгимъ.

Отчаяніе также смягчали они и низводили на степень простой скорби. А гдѣ такое ослабленіе не могло имѣть мѣста, но гдѣ отчаяніе было бы столько же унижительно, какъ и противно благообразію, что сдѣлалъ тамъ, напримѣръ, Тимантъ? Извѣстна его картина, представлявшая принесеніе въ жертву Ифигеніи, гдѣ онъ далъ всѣмъ предстоящимъ приличную степень горести и закрылъ лицо отца, котораго горестъ была выше всѣхъ. Множество остроумныхъ вещей высказано было по поводу ея. Художникъ до такой степени изчерпалъ себя въ изображеніи горестныхъ лицъ, говорить одинъ *), что уже отчаялся дать лицу отца еще высшее выраженіе этого чувства. Онъ сознался этимъ, говорить другой **), что горестъ отца въ подобномъ положеніи выше всякаго описанія. Съ своей стороны я не вижу здѣсь ни ограниченности художника, ни ограниченности средствъ искусства. По мѣрѣ возрастанія степени какого-либо нравственнаго потрясенія, усиливается и соответствующее ей выраженіе лица; высочайшая степень представляетъ самыя рѣзкія черты, и нѣтъ ничего легче для искусства, какъ изобразить эти послѣднія. Но Тимантъ зналъ предѣлы, которые Граціи предписываютъ его искусству. Онъ зналъ, что горестъ, приличная Агамемнону, какъ отцу, должна бы была выразиться въ такихъ

*) Plinius, lib. XXXV, sect. 35.

**) Valerius Maximus, lib. VIII, cap. II.

чертахъ, которыя всегда отвратительны. Насколько позволяли ему красота и достоинство, онъ выражалъ эту горестъ. Отвратительнаго онъ, конечно, желалъ избѣгать совсѣмъ или ослабить его силу, но такъ какъ избранное содержаніе не дозволяло ему ни того, ни другаго, — что оставалось ему, какъ не скрыть его отъ глазъ? Чего не осмѣлился изобразить, то оставилъ угадывать. Короче — этотъ покровъ есть жертва, которую художникъ принесъ красотѣ. Онъ представляетъ прекрасный примѣръ не того, какъ выраженіе можетъ переходить за предѣлы искусства, но какъ должно подчинять его первому закону искусства — требованію красоты.

II.

Какое мѣсто занимаетъ красота въ современномъ искусствѣ? — Законы искусства. — Въ чемъ заключается плодотворность избраннаго художникомъ момента? — Примѣры (Лаокоонъ). — Какой моментъ долженъ быть избранъ художникомъ? — Примѣры (Ламетри; Лаокоонъ; картины Тимомеха).

Искусство расширило въ повѣйшее время несравненно болѣе свои границы. Оно подражаетъ, какъ обыкновенно говорится, всей видимой природѣ, въ которой красота составляетъ лишь малую часть. *Истина* и *выраженіе* составляютъ его главный законъ; и какъ сама природа часто приноситъ красоту въ жертву высшимъ цѣлямъ, такъ и художникъ долженъ подчинять ее своему главному дѣлу и не искать ей болѣе того, сколько позволяютъ истина и выраженіе. Однимъ словомъ — истинною и выраженіемъ самое отвратительное въ природѣ превращается въ изящное въ искусствѣ.

Я полагаю, что простой взглядъ на матеріальныя средства искусства, ограничивающія его дѣятельность, приведетъ насъ къ этимъ соображеніямъ.

Если съ одной стороны художникъ изъ вѣчно измѣняющейся дѣйствительности можетъ брать только одинъ моментъ, а живописецъ даже этотъ одинъ моментъ лишь съ одной точки зрѣнія; а съ другой стороны произведенія ихъ назначаются не для одного только мимолетнаго взгляда, но для внимательнаго и неоднократнаго разсматриванья: то очевидно, что этотъ единственный моментъ и эта единственная точка зрѣнія на этотъ моментъ должны быть сколько можно плодотворнѣе. Но плодотворно только то, что оставляетъ воображенію свободное поле. Чѣмъ болѣе мы глядимъ, тѣмъ болѣе мысль наша добавляетъ къ видимому, и чѣмъ сильнѣе работаетъ

мысль, тѣмъ болѣе возбуждается наше воображеніе. Но въ цѣломъ развитіи какого-либо нравственнаго потрясенія всего менѣе имѣетъ это свойство его высшій моментъ. За нимъ уже не остается ничего болѣе; а показывать глазу этотъ конечный предѣлъ значить связывать крылья фантазіи и принуждать ее (такъ какъ она не можетъ перейти за предѣлы даннаго чувственнаго впечатлѣнія) заниматься низкими противъ него, слабѣйшими образами, надъ которыми господствуетъ и стѣсняетъ свободу фантазіи данная полнота выраженія.

Поэтому, когда Лаокоонъ только стонетъ, воображенію легко представить себя его кричащимъ; если же бы онъ кричалъ, фантазія не могла бы подняться ни одною ступенью выше, ни спуститься однимъ шагомъ ниже даннаго представленія безъ того, чтобы Лаокоонъ не представился ей въ чисто страдательномъ, слѣдовательно, не интересномъ положеніи. Зрителю оставалось бы двѣ крайности—воображать себя Лаокоона или при его первомъ стонѣ, или уже мертвымъ.

Далѣе, такъ какъ это одно мгновеніе дѣлается посредствомъ искусства неизмѣннымъ и какъ бы увѣковѣчивается, то оно не должно выражать ничего такого, что мыслимо не иначе, какъ переходное. Всѣ такіе явленія, которыя по существу своему представляются намъ скоротечными и быстро уничтожающимися, которыя могутъ быть тѣмъ, что они есть, только одно мгновеніе, всѣ такіе явленія, повторяю, пріятны они или ужасны по своему содержанію, получаютъ чрезъ продолженіе ихъ бытія въ искусствѣ такой противоестественный видъ, что съ каждымъ новымъ взглядомъ впечатлѣніе отъ нихъ ослабляется и наконецъ весь предметъ наводитъ на насъ отвращеніе или страхъ. Ламетри, который велѣлъ нарисовать и выгравировать себя подобно Демокриту, смѣется лишь въ первый разъ, какъ смотришь на него. Если глядѣть на него чаще, онъ превращается изъ философа въ пута, и изъ его улыбки дѣлается гримаса. Точно тоже и съ крикомъ. Страшная боль, выражаемая крикомъ, должна или прекратиться, или уничтожить свою жертву. Но хотя бы былъ принужденъ кричать даже самый терпѣливый и сильный человѣкъ, онъ не можетъ же кричать безостановочно. И именно эта-то кажущаяся непрерывность въ произведеніи искусства и превратила бы его крикъ въ женственное безсиліе, въ дѣтское нетерпѣніе. Одно это должно уже было остановить творца Лаокоонова, хотя бы даже крикъ не повредилъ красотѣ, и хотя бы его искусству было дозволено изображать страданіе, лишенное красоты.

Между древними Тимонахъ, кажется, любилъ избирать сюжетами для своихъ произведеній самыя сильныя проявленія страстей. Его неистовствующій Аяксъ, его дѣтоубійца Медея были знаменитыми картинами. Но изъ описаній, которыя мы имѣемъ о нихъ, видно, что онъ отлично умѣлъ выбирать тотъ пунктъ, съ котораго зритель не столько видитъ наглядно, сколько воображаетъ высшую силу страсти, и то положеніе, съ которымъ идея переходнаго не соединена до такой степени, чтобы продолженіе ихъ въ искусствѣ намъ не пришлось. Медею взялъ онъ не въ ту минуту, когда она совершаетъ самое убійство дѣтей; но за нѣсколько минутъ прежде, когда материнская любовь еще борется въ ней со злобою. Мы предвидимъ уже исходъ этой борьбы. Мы содргаемся уже впередъ при одномъ видѣ суровой Медеи, и наше воображеніе далеко опережаетъ все, что живописецъ могъ бы изобразить намъ въ эту страшную минуту. Но именно потому не оскорбляетъ насъ продолжающаяся въ искусствѣ перфшительность Медеи, что мы скорѣе желаемъ, чтобы въ самой дѣйствительности на этомъ и остановилось дѣло, чтобы борьба страстей осталась навсегда нерѣшенной или по крайней мѣрѣ длилась бы на столько, пока время и разсудокъ ослабятъ ярость страсти и дадутъ побѣду материнскимъ чувствамъ.

Аяксъ представленъ у него не въ то время, когда онъ свирѣпствуетъ между стадами и побиваетъ и вяжетъ быковъ и овецъ вмѣсто людей; но художникъ благоразумно выбралъ ту минуту, когда онъ сидитъ, измученный этими неистовыми геройскими подвигами, и замышляетъ убійство. И передъ зрителемъ дѣйствительно бѣшеннѣйшій Аяксъ, не потому, чтобы онъ неистовствовалъ передъ нашими глазами, но потому, что яркіе слѣды этого неистовства видны во всемъ его положеніи: вся сила его недавняго бѣшенства ярко отражается въ полномъ отчаяніи стыдѣ, имъ ощущаемомъ; прошедшую бурю видишь по обломкамъ и трупамъ, которые онъ разбросалъ по полю.

III.

Роль красоты въ дѣлѣ возбужденія интереса къ дѣйствующимъ лицамъ поэтическаго произведенія.—Безобразное—въ картинѣ и въ поэтическомъ произведеніи.—Безобразное на сценѣ (въ драматич. произведеніи).

Не изслѣдуя здѣсь вопроса о томъ, на сколько вообще поэтъ можетъ достигнуть изображенія тѣлесной красоты, можно считать однако за неоспоримую истину слѣдующее положеніе. Такъ какъ поэту открыта для под-

ражания вся безграничная область совершенства, то видимая, наружная форма, въ которой совершенство выражается красотой, можетъ быть развѣ однимъ изъ ничтожнѣйшихъ средствъ его возбуждать въ насъ интересъ къ своимъ лицамъ. Часто даже поэтъ совсѣмъ оставляетъ это средство, увѣренный, что, когда его герой успѣлъ привлечь наше расположеніе, его благородныя свойства столько занимаютъ насъ, что мы даже и не думаемъ о его внѣшнемъ видѣ или сами придаемъ ему невольно если не красивую, то по крайней мѣрѣ не противную наружность. Всего менѣе будетъ онъ прибѣгать къ помощи чувства зрѣнія во всѣхъ тѣхъ чертахъ своего описанія, которыя не назначаются прямо для глазъ. Когда кричитъ у Виргилія Лаокоонъ, кому придетъ въ голову, что для крика нужно широкое раскрытіе рта, и что такое раскрытіе имѣетъ дурной видъ? Достаточно, что выраженіе *clamores horrendos ad sidera tollit* *) есть возвышенное впечатлѣніе для слуха, чѣмъ бы оно ни было для зрѣнія. Кто требуетъ здѣсь красиваго образа, на того поэтъ не произвелъ никакого впечатлѣнія.

Ничто также не принуждаетъ поэта сосредоточивать свою картину въ одинъ моментъ. Онъ беретъ, если захочетъ, каждое дѣйствіе въ самомъ его началѣ и доводитъ его черезъ возможные видоизмѣненія до конца. Каждое изъ этихъ видоизмѣненій, которое отъ художника потребовало бы особаго произведенія, стоитъ ему лишь одной черты, и, если бы даже эта черта сама по себѣ способна была оскорбить воображеніе слушателя, она можетъ быть такъ подготовлена предшествующимъ или такъ ослаблена и украшена послѣдующимъ, что потерлеть свое одиночное впечатлѣніе и въ сочетаніи съ прочимъ произвести наилучшее дѣйствіе. Такъ, если бы въ самомъ дѣлѣ было неприлично мужу кричать отъ боли, можетъ ли повредить въ нашемъ мнѣніи эта переходящая неловкость тому, кто уже привлекъ наше расположеніе другими своими доблестями? Виргиліевъ Лаокоонъ кричитъ, но этотъ кричащій Лаокоонъ тотъ же самый, котораго мы уже знаемъ и любимъ, какъ предусмотрительнаго патріота, какъ нѣжнѣйшаго отца. Мы приписываемъ его крикъ не характеру его, но невыносимымъ страданіямъ. Только это слышимъ мы въ его крикѣ, и только этимъ крикомъ могъ поэтъ наглядно представить намъ его страданія.

Кто же станетъ осуждать его за это? Кто не сознается скорѣе, что,

*) «Испускаетъ ужасные вопли до сводовъ небесныхъ». Энеида, кн. II, ст. 224. Пер. Шершеневича.

если художникъ сдѣлалъ хорошо, не допустивъ кричать своего Лаокоона, такъ же хорошо сдѣлалъ и поэтъ, заставивъ его кричать?

Но Виргилій является здѣсь только повѣствовательнымъ поэтомъ: прилагается ли наше оправданіе въ равной мѣрѣ и къ поэту драматическому? Совсѣмъ иное впечатлѣніе производитъ разсказъ о чѣмъ нибудь крикѣ и самый крикъ. Драма, которой назначеніе быть олицетворенной посредствомъ актера живописью, можетъ быть, поэтому самому должна бы была ближе держаться законовъ живописи матеріальной. Въ ней мы не только воображаемъ видѣть и слышать кричащаго Филоктета, но дѣйствительно видимъ и слышимъ его *). И чѣмъ болѣе приближается здѣсь актеръ къ природѣ, тѣмъ чувствительнѣе будутъ оскорблены наше зрѣніе и слухъ; ибо неоспоримо, что они были бы оскорблены, если бы въ дѣйствительности тѣлесная боль обнаруживалась предъ нами столь громкимъ и сильнымъ образомъ. Къ тому же тѣлесная боль по природѣ своей не способна возбуждать состраданіе въ той степени, какаа принадлежитъ страданіямъ другаго рода. Воображеніе наше различаетъ въ ней слишкомъ мало чертъ, чтобы отъ одного взгляда возбудить въ насъ нѣчто ей равносильное. Ко всему этому нужно присовокупить, что актеръ можетъ развѣ лишь съ большимъ трудомъ или даже и совсѣмъ не въ силахъ представить тѣлесныя страданія до поразительной вѣрности, до обмана; и кто знаетъ, не заслуживаютъ ли новѣйшіе драматурги болѣе похвалы, чѣмъ порицаній за то, что они совсѣмъ избѣгаютъ этой пропасти или же обходятъ ее легкою тропинкой.

Итакъ, нельзя не допустить нѣкотораго ограниченія въ томъ общемъ правилѣ, будто хорошее поэтическое изображеніе всегда можетъ послужить и сюжетомъ для хорошей картины, и что изображеніе, сдѣланное поэтомъ, хорошо лишь на столько, на сколько художникъ можетъ въ точности воспроизвести его. Необходимость этого ограниченія представляется, впрочемъ, сама собою, еще прежде, чѣмъ примѣры придутъ на помощь соображенію. Стоитъ только подумать о болѣе широкой сферѣ поэзіи, о неограниченномъ полѣ дѣятельности нашего воображенія, о невещественности его образовъ, которые могутъ находиться одинъ подлѣ другаго въ чрезвычай-

*) Филоктетъ, герой Софокловой трагедіи того же имени, покинутъ былъ Атридами и Улиссомъ на островѣ Лемносѣ, гдѣ провелъ десять лѣтъ въ совершенномъ одиночествѣ и въ страшныхъ физическихъ мученіяхъ.

помъ количествѣ и разнообразіи, не закрывая себя взаимно и не вредя другъ другу, чего не можетъ быть съ дѣйствительными вещами или даже ихъ матеріальными изображеніями, заключенными въ тѣсныя границы пространства и времени. Но если меньшее не можетъ объять большаго, то наоборотъ—меньшее можетъ заключаться въ большемъ. Я хочу сказать: если не великая черта, употребленная въ описаніи поэтомъ, можетъ съ такимъ же успѣхомъ быть воспроизведена на полотнѣ или въ мраморѣ, то, можетъ быть, всякая черта, годная художнику, произведетъ столь же хорошее дѣйствіе въ произведеніи поэта? Безъ сомнѣнія; ибо то, что находимъ мы прекраснымъ въ художественномъ произведеніи, находимъ прекраснымъ не только глазъ нашъ, но чрезъ его посредство и наше воображеніе. Поэтому, возбуждается ли одинъ и тотъ же образъ въ нашемъ воображеніи своими натуральными чертами, или знаками произвольными, во всякомъ случаѣ онъ долженъ производить въ насъ однородное удовольствіе, хотя и не въ равной степени.

IV.

Средства живописи и поэзіи и связь ихъ съ предметами этихъ искусствъ. — Предметъ живописи. — Предметъ поэзіи. — Какъ живопись можетъ изображать дѣйствіе? — Какъ поэзія можетъ изображать тѣла? — Плодотворный моментъ въ живописи. — Чѣмъ обуславливается единичность эпитетовъ и умѣренность въ описаніи тѣлесныхъ предметовъ. — Примѣры изъ Гомера (корабль, колесница, одежда Агамемнона). — Какой способъ употребляетъ Гомеръ при изображеніи предмета?

Если справедливо, что живопись въ своихъ подражаніяхъ употребляетъ орудія и средства, совершенно отличныя отъ орудій и средствъ поэзіи, именно, одна—тѣла и краски въ пространствѣ, другая — членораздѣльные звуки во времени; если безспорно, что знаки должны быть въ ближайшей связи съ тѣмъ, что выражаютъ; то отсюда необходимо слѣдуетъ, что знаки, располагаемые другъ подлѣ друга, должны представлять только такіе предметы или ихъ части, которыя въ дѣйствительности представляются расположенными другъ подлѣ друга; наоборотъ, знаки, другъ за другомъ слѣдующіе, могутъ выражать только такіе предметы или

ихъ части, которыя и въ дѣйствительности представляются намъ въ послѣдовательности времени.

Предметы, которые сами по себѣ или которыхъ части существуютъ другъ подлѣ друга, называются тѣлами. Слѣдовательно тѣла съ ихъ видимыми свойствами составляютъ собственно предметъ живописи.

Предметы, которые сами по себѣ или которыхъ части слѣдуютъ одни за другими, называются вообще дѣйствіями. Итакъ дѣйствія составляютъ настоящій предметъ поэзіи.

Но всѣ тѣла существуютъ не только въ пространствѣ, но и во времени. Существованіе ихъ длится, и въ каждое мгновеніе своего бытія они могутъ являться въ другомъ видѣ и въ иныхъ сочетаніяхъ. Каждая изъ этихъ мгновенныхъ формъ и сочетаній есть слѣдствіе предшествующихъ и можетъ сдѣлаться, въ свою очередь, причиной послѣдующихъ перемѣнъ, а слѣдовательно и стать какъ бы центромъ дѣйствія. Слѣдовательно, живопись можетъ подражать также и дѣйствіямъ, но только посредственно, помощію тѣлъ.

Съ другой стороны дѣйствія не могутъ происходить сами собой, но должны принадлежать какому либо существамъ. Итакъ, по скольку эти существа суть дѣйствительныя тѣла или должны быть представляемы въ видѣ тѣлъ, поэзія необходимо должна изображать также и тѣла, но лишь посредственно, помощію дѣйствій.

Живопись въ своихъ произведеніяхъ, гдѣ все представляется лишь одновременно, можетъ изобразить только одинъ моментъ дѣйствія и должна поэтому выбирать самый плодотворный, изъ котораго бы становились наиболѣе понятными и предыдущіе и послѣдующіе.

Точно также поэзія, гдѣ все представляется лишь въ послѣдовательномъ развитіи, можетъ уловить только одно какое-либо свойство тѣла и потому должна избирать такое свойство, которое бы возбуждало самое живое представленіе о той сторонѣ каждаго тѣла, которая нужна для ея цѣли.

Отсюда вытекаетъ правило о единичности живописныхъ эпитетовъ и объ умѣренности въ описаніяхъ тѣлесныхъ предметовъ.

Но я бы не довѣрилъ слишкомъ этой сухой цѣли умозаключеній, если бы не находилъ въ самомъ Гомерѣ совершеннаго ихъ оправданія, или скорѣе, если бы не самъ Гомеръ навелъ меня на нихъ. Только изъ этихъ началъ можно понять вполне высокій художественный пріемъ греческаго поэта, и только они же могутъ представить въ настоящемъ свѣтѣ противо-

положный приемъ многихъ новѣйшихъ поэтовъ, которые вступаютъ въ борьбу съ живописцами въ такихъ вещахъ, гдѣ послѣдніе неизбежно должны остаться побѣдителями.

И нахожу, что Гомеръ не изображаетъ ничего, кромѣ послѣдовательныхъ дѣйствій, и всѣ тѣла, всѣ отдѣльные предметы онъ рисуетъ лишь по мѣрѣ участія ихъ въ дѣйствіи, притомъ обыкновенно не болѣе, какъ одною чертою. Что же удивительнаго, если живописецъ видитъ мало или совсѣмъ не видитъ для себя дѣла тамъ, гдѣ живописуетъ Гомеръ, и что обильное поле для жатвы представляется ему лишь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ, по ходу разсказа, является множество прекрасныхъ фигуръ, въ прекрасныхъ положеніяхъ, наконецъ, въ обстановкѣ, благоприятной для живописи, хотя бы самъ поэтъ заботился чрезвычайно мало объ изображеніи этихъ фигуръ, этихъ положеній, этой обстановки?..

Для каждой вещи, сказалъ я, Гомеръ употребляетъ лишь одну черту. Корабль для него — или черный корабль, или пустой корабль, или быстрый корабль, по преимуществу, хорошо снабженный всѣмъ, многовселый, черный корабль. Далѣе онъ не пускается въ изображеніи корабля. Напротивъ, самое плаваніе, отплытіе, приставаніе корабля составляютъ у него предметъ подробныхъ картинъ, такихъ картинъ, изъ которыхъ живописецъ могъ бы сдѣлать пять, шесть и болѣе, если бы захотѣлъ всѣ подробности Гомера перенести на свое полотно.

Если же особые обстоятельства и побуждаютъ иногда Гомера остановить долѣе наше вниманіе на какомъ нибудь одномъ тѣлесномъ предметѣ, изъ этого еще не выходитъ картины, за которой живописецъ могъ бы слѣдовать своею кистью; напротивъ, посредствомъ безчисленныхъ искусныхъ приемовъ, онъ умѣетъ показать этотъ предметъ въ цѣломъ ряду моментовъ, гдѣ въ каждомъ является онъ въ новомъ видѣ, а между тѣмъ живописецъ долженъ дожидаться послѣдняго изъ этихъ моментовъ, чтобы показать уже въ оконченномъ видѣ то, чего совершеніе видѣли мы у поэта. Такъ, наприм., хотеть ли Гомеръ показать намъ колесницу Юноны, онъ заставляетъ Гебу составлять ее по частямъ передъ нашими глазами. Мы видимъ колеса, оси, кузовъ, дышло и упряжь, не съ разу такъ, какъ они бываютъ соединены вмѣстѣ, но по мѣрѣ того, какъ они составляются въ рукахъ Гебы. Только на одни колеса употребляетъ поэтъ нѣсколько чертъ и указываетъ намъ на восемь мѣдныхъ спиць, золотыя ободья, мѣдныя шины, серебряныя ступицы, каждую вещь порознь. Можно бы сказать,

что такъ какъ колесо не одно, то и въ описаніи на нихъ употреблено во столько болѣе времени, сколько и въ самой дѣйствительности наложеніе ихъ потребовало болѣе времени.

Геба-жъ съ боковъ колесницы набросила гнутыя круги
Мѣдныхъ колесъ осьмиспицныхъ, на оси желѣзной ходящихъ;
Ободы ихъ золотые, петлѣнные, сверху которыхъ
Мѣдныя шины положены плотные, диво для взора!
Ступицы ихъ серебромъ, округленныя, окрестъ сіяли;
Кузовъ блестящими быстро серебромъ и златомъ ремнями
Былъ прикрѣпленъ, и на немъ возвышались дугою двѣ скобы;
Дышло серебряное изъ него выходило; на ономъ
Геба златое, прекрасное вижетъ ярмо, продѣваетъ
Пышную упряжь златую... *)

Хотеть ли Гомеръ разсказать, какъ одѣтъ былъ Агамемнонъ, онъ заставляетъ царя надѣвать передъ нашими глазами одну за другою части одежды: мягкій хитонъ, широкую ризу, красивыя плесницы, мечъ. Явившись такимъ образомъ одѣтымъ, онъ беретъ уже скипетръ. Мы видимъ одежду въ то время, какъ поэтъ изображаетъ самое одѣванье. Другой изобразилъ бы одежду до послѣдней складочки, и въ то же время мы не видѣли бы никакого дѣйствія.

.... Возсѣлъ онъ и мягкимъ одѣлся хитономъ,
Новымъ, прекраснымъ, и сверху набросилъ широкую ризу;
Къ бѣлымъ ногамъ привязалъ прекраснаго виду плесницы;
Сверху раменъ перекинулъ блистательный мечъ среброгвоздный,
Въ руки же взявши отцовскій, во вѣки не гибнущій скипетръ,
Съ нимъ отошелъ... **)

[Рисуетъ образъ, Гомеръ] искусно разсѣваетъ этотъ образъ въ какомъ-нибудь разсказѣ о предметѣ, и такимъ образомъ части этого послѣдняго, которыя мы привыкли видѣть въ дѣйствительности соединенными вмѣстѣ, одна подлѣ другой, также естественно въ его разсказѣ представляются нашему воображенію послѣдовательно, одна за другой, и цѣлый образъ складывается вмѣстѣ съ теченіемъ рѣчи. Такъ, напр., онъ хотеть изобразить намъ лукъ Пандара: лукъ изъ рога, такой-то величины, гладко полированный и съ обоихъ концовъ украшенный золотыми бляхами. Что же дѣ-

*) Илиада, V, 722—731.

**) Илиада, II, 43—47.

лаетъ онъ? Изчисляетъ ли онъ всѣ эти свойства лука одно за другимъ? Нисколько: такъ можно дать понятіе о лукѣ, показать его, но не изобразить. Онъ начинаетъ съ охоты за серпою, изъ роговъ которой сдѣланъ лукъ. Пандаръ встрѣтилъ ее въ скалахъ и низложилъ; рога были необыкновенной величины, поэтому онъ назначилъ ихъ для лука; далѣе мы видимъ ихъ уже въ отдѣлкѣ: художникъ соединяетъ ихъ, полируетъ, обиваетъ. И такимъ образомъ, какъ уже сказано выше, поэтъ показываетъ намъ постепенное образованіе того, что у живописца мы могли бы увидѣть лишь въ готовомъ видѣ.

Лукъ обнажилъ онъ лоснистый, рога быстроскачущей серпы,
Дикой, которую нѣкогда самъ онъ подъ перси умѣтилъ
Съ камня готовую прыгнуть: ее ожидавшій въ засадѣ,
Въ грудь онъ стрѣлою угодилъ и хребтомъ опрокинулъ на камень.
Роги ея отъ главы на шестнадцать ладоней вздымались.
Ихъ обработавъ искусно, сплотилъ рогодѣль знаменитый,
Вылощилъ ярко весь лукъ и покрылъ его златомъ поверхность *)

V.

Возраженіе противъ Лессинга.—Цѣль поэта.—На сколько пригодны для поэтической живописи тѣла въ ихъ пространственныхъ отношеніяхъ?—Процессъ чувственного воспріятія.—Какъ рисуетъ поэтъ предметы, одновременно существующіе въ пространствѣ, и что необходимо для приблизительнаго понятія о цѣлой картинѣ?—Чего недостаетъ картинѣ, нарисованной Галлеромъ?—Чѣмъ нарушается очарованіе?—Замѣна пространственныхъ отношеній послѣдовательными и слѣдствіе ея?—Въ какихъ случаяхъ писатель съ успѣхомъ можетъ пользоваться описаніемъ предметовъ или частей ихъ, одновременно существующихъ въ пространствѣ?—Примѣры изъ *Виргилія*.

Но, могутъ возразить мнѣ, конечно знаки, употребляемые поэзіею, могутъ быть сами излагаемы только въ послѣдовательности времени, одинъ за другимъ; но будучи кромѣ того знаками произвольными, они точно также не лишены возможности представлять тѣла и въ томъ видѣ, какъ они существуютъ въ пространствѣ. У самого Гомера встрѣчаются тому примѣры, и его описаніе щита Ахиллесова можетъ служить самымъ поразительнымъ доказательствомъ, какъ подробно и въ то же время поэтично

*) *Иліада*, IV, 105—111.

можно изобразить всѣ части какой-либо вещи въ томъ именно видѣ, какъ онѣ существуютъ въ дѣйствительности, т. е., въ ихъ совокупности въ пространствѣ.

Постараюсь отвѣчать на это двойное возраженіе. Я называю его двойнымъ потому, что во-первыхъ логическій выводъ имѣетъ цѣну даже и безъ примѣра, а во-вторыхъ примѣръ изъ Гомера уже самъ по себѣ представляетъ для меня значительную важность, хотя бы и не подтвержденный никакимъ теоретическимъ положеніемъ.

Дѣйствительно, такъ какъ знаки, употребляемые рѣчью, суть знаки произвольные, мы можемъ посредствомъ ихъ изчислить послѣдовательно всѣ части какого либо предмета, въ дѣйствительности являющіяся намъ одновременно, въ пространствѣ. Но такое свойство есть только одно изъ свойствъ, принадлежащихъ вообще рѣчи и употребляемымъ ею знакамъ, изъ чего еще не слѣдуетъ, чтобы оно было наиболѣе выгоднымъ для особенныхъ цѣлей поэзіи. Поэтъ заботится не о томъ только, чтобы быть понятнымъ, изображенія его должны быть не только ясны и отчетливы, — этимъ удовлетворяется прозаикъ. Онъ хочетъ, напротивъ, сдѣлать идеи, возбуждаемыя имъ въ насъ, столь живыми, чтобы мы воображали, будто испытываемъ дѣйствительныя чувственныя представленія изображаемыхъ предметовъ и въ это время забывали совершенно объ употребленномъ для этого средствѣ — словѣ. Въ этомъ смыслѣ объяснили мы выше значеніе поэтической картины, и, такъ какъ поэтъ долженъ живописать постоянно, то посмотримъ, насколько годны для такой живописи тѣла въ ихъ пространственныхъ отношеніяхъ.

Какимъ образомъ достигаемъ мы яснаго представленія какой-либо вещи въ пространствѣ? Сначала разсматриваемъ мы порознь ея части, потомъ связь этихъ частей и наконецъ цѣлое. Чувства наши совершаютъ эти различныя операціи съ столь удивительной быстротой, что онѣ сливаются для насъ какъ бы въ одинъ приѣмъ, и эта быстрота безусловно необходима для того, чтобы мы могли составить себѣ понятіе о цѣломъ, которое есть не что иное, какъ результатъ понятійъ объ отдѣльныхъ частяхъ и ихъ связи. Положимъ, что поэтъ можетъ въ самомъ стройномъ порядкѣ вести насъ отъ одной части къ другой; положимъ, что онъ съумѣетъ съ возможною ясностью показать намъ связь этихъ частей: сколько времени потребуется для этого? То, что глазъ видитъ съ разу, поэтъ долженъ медленно показывать намъ по частямъ, и часто случается,

что при послѣдней чертѣ мы уже совершенно забыли о первой. А между тѣмъ мы должны составлять себѣ идею цѣлаго лишь изъ всѣхъ этихъ частей. Для глаза разсматриваемыя части остаются постоянно на виду; онъ можетъ не разъ обзрѣть ихъ снова; для слуха, напротивъ, слышанныя уже части исчезаютъ, если только не сохранятся памятью. Но положимъ даже, что память удержала ихъ вполнѣ; какой трудъ, какое напряженіе нужны для того, чтобы всѣ впечатлѣнія, прошедшія чрезъ слухъ, вызвать снова воображеніемъ въ прежнемъ порядкѣ и живости, перечувствовать ихъ всѣ, хотя бы съ умѣренною быстротою, чтобы, наконецъ, достигнуть приближительнаго понятія о цѣломъ!

Пусть попробуетъ это всякій на слѣдующемъ примѣрѣ, который можетъ назваться образцовымъ въ своемъ родѣ *):

«Тамъ благородная энціана высоко поднимаетъ свою головку надъ пресмыкающеюся толпою низшихъ растений: цѣлый рой цвѣтовъ сталъ подъ ея знамя, и самъ голубой братъ ея склонился и какъ бы отдаетъ ей честь. Золотые цвѣты расположились лучами вокругъ стебля и вѣнчаютъ его сѣрую одежду; блестящая бѣлизна листьевъ, изборозжденных темною зеленью, сверкаетъ разноцвѣтными огнями брилліанта. Справедливѣйшій законъ, что сила сочетается съ красотою и въ прекрасномъ тѣлѣ обитаетъ прекрасная душа».

«Здѣсь, подобно сѣрому туману, стелется по землѣ низкорастущій злакъ, на который природа наложила листы въ формѣ креста; прелестный цвѣтокъ выставилъ два золотистыхъ клюва, которые поддерживаются какъ бы изъ аметиста сдѣланною птичкой; тамъ блестящій листъ, какъ бы протягивающій свои пальцы, смотреть на свое зеленое изображеніе въ свѣтломъ ручьѣ. Снѣговая бѣлизна листьевъ, покрашенныхъ нѣжнымъ пурпуромъ, окружаетъ разноцвѣтную звѣзду бѣлыми лучами. Изумрудъ и розы цвѣтутъ даже и на измятой травѣ, и самыя скалы покрыты пурпурною одеждой».

Здѣсь видимъ мы травы и цвѣты, которые ученый поэтъ изобразилъ съ большимъ стараніемъ и очевидно съ натуры, но изобразилъ безъ всякаго очарованія. Я не хочу сказать этимъ, чтобы тотъ, кто не видалъ прежде этихъ травъ и цвѣтовъ, не могъ составить себѣ о нихъ по этому

*) S. des Herr. v. Hallers Alpen.

описанію никакого понятія. Очень можетъ быть, что всякая поэтическая картина требуетъ отъ читателя предварительнаго знакомства съ описываемыми предметами. Я не стану также отрицать, чтобы тѣ, которые знакомы съ этими травами и цвѣтами, не получили отъ нѣкоторыхъ частей этого описанія весьма живыхъ представленій. Но что сказать о цѣломъ? Если и оно должно представлять живую картину, то ни одна часть его не должна выдаваться впередъ, но сильное освѣщеніе должно быть равномерно распределено по всѣмъ частямъ; воображеніе наше съ одинакою скоростью должно обжигать ихъ всѣ, для того, чтобы, наконецъ, соединить изъ нихъ въ одно цѣлое то, что въ природѣ обзрѣвается разомъ. Но такъ ли здѣсь? А если нѣтъ, то можно ли сказать про эту картину, что самое сходное изображеніе живописца показалось бы вреднымъ и туманнымъ передъ этою поэтическою картиною *). Она остается безконечно ниже того, что могли бы представить линіи и краски на полотнѣ, и критикъ, сказавшій ей столь преувеличенную похвалу, конечно, стотрѣлъ на нее съ совершенно ложной точки зрѣнія. Вѣроятно онъ обратилъ болѣе вниманія на постороннія украшенія, вплетенныя сюда поэтомъ: на возвышенную точку, съ которой онъ смотритъ на растительную жизнь, на развитіе въ растеніяхъ внутреннихъ совершенствъ, которымъ наружная красота служитъ лишь оболочкой, и т. п. А между тѣмъ, именно, на этой наружной красотѣ долженъ былъ онъ остановиться. Она здѣсь — главная цѣль. Дѣйствительно, о чемъ можетъ быть вопросъ при сравненіи произведеній живописца и поэта, какъ не о степени живости и сходства изображеній. Но кто же скажетъ, чтобы слѣдующія строки: «Золотые цвѣты расположились лучами вокругъ стебля и вѣнчаютъ его сѣрую одежду; блестящая бѣлизна листьевъ, изборозжденных темною зеленью, сверкаетъ разноцвѣтными огнями брилліанта», чтобы эти строки, относительно производимаго ими впечатлѣнія, могли соперничать съ живописнымъ изображеніемъ какого-нибудь Ван-Гейзума? Развѣ тотъ, кто или никогда не совѣтовался съ своими непосредственными чувствами, или кто намѣренно отказался отъ нихъ. Эти стихи могутъ быть прочтены съ большимъ успѣхомъ, когда держишь въ рукахъ описываемый цвѣтокъ; сами же по себѣ они не производятъ никакого или очень слабое впечатлѣніе. Въ каждомъ словѣ я слышу трудъ поэта, но самую вещь нисколько не вижу.

*) Брейтшгера—Kritische Dichtkunst, т. II, стр. 807.

Повторяю еще разъ: я не отрицаю нисколько у рѣчи вообще способности изображать какое-либо тѣлесное цѣлое по частямъ; она имѣетъ къ тому возможность, ибо знаки ея, хотя и могутъ только быть передаваемы въ послѣдовательности времени, суть, однако, знаки условныя; но я отрицаю эту способность у рѣчи, какъ орудія поэзіи, ибо всякое изображеніе словомъ тѣлесныхъ предметовъ нарушаетъ то очарованіе, которое составляетъ одну изъ главныхъ задачъ поэзіи. Это очарованіе, повторяю, нарушается потому, что сопоставленіе въ пространствѣ тѣлъ сталкивается здѣсь съ послѣдовательностью рѣчи во времени. При этомъ, когда пространственные отношенія замѣняются послѣдовательными, разложеніе цѣлаго на его составныя части, правда, облегчается для насъ, но окончательное возстановленіе изъ частей цѣлаго становится несравненно труднѣйшею и часто даже невыполнимою задачею.

Вообще, тамъ, гдѣ объ очарованіи поэтическомъ нѣтъ и рѣчи, гдѣ писатель имѣетъ дѣло лишь съ разсудкомъ своихъ читателей и старается лишь о сообщеніи имъ ясныхъ и, по возможности, полныхъ понятій, тамъ эти, исключаемыя изъ поэзіи, описанія тѣлесныхъ предметовъ могутъ имѣть мѣсто. Ими можетъ пользоваться даже съ большимъ успѣхомъ не только прозаикъ, но и поэтъ догматическій (ибо тамъ, гдѣ онъ догматизируетъ, онъ уже не поэтъ).

Такъ, наприм., Виргилій въ своихъ «Георгикахъ» изображаетъ корову, годную для приплоду:

Если по виду судить о коровѣ, то лучший видъ—дикий,
Тотъ видъ, когда голова безобразна, шея огромна,
Космы висятъ изъ-подъ морды отъ шеи до голени самыхъ.
Нѣтъ тогда мѣры долготу боку; все велико здѣсь:
Даже ступня, подъ кривыми рогами косматыя уши.
Также не худо, какъ если разсыпаны бѣлыя пятна...
Иль изъ ярма она рвется, цорою и рогами дохватить.
Мордой же ближе походить на тура, себя держать круто,
Нижнюю часть хвоста заматаетъ слѣды, выступая *).

Или красиваго жеребенка:

Шея крута (у него), и остра голова, и коротокъ желудокъ;
Тучныя заднія части, груди отважной богаты
Мускулы... **)

*) Georg. lib. III, v. 51.

**) Ib., 79.

Кто не видитъ, что поэтъ заботится здѣсь болѣе объ изложеніи частей, нежели о цѣломъ впечатлѣніи? Онъ хочетъ изчислить намъ признаки хорошаго жеребенка или доброй коровы для того, чтобы дать намъ возможность самимъ судить о достоинствѣ этихъ животныхъ, еслибы пришлось дѣлать выборъ; но о томъ, слагаются ли легко всѣ эти признаки въ живое представленіе, до этого ему нѣтъ дѣла.

Исключая это употребленіе, во всѣхъ остальныхъ случаяхъ подробныя картины тѣлесныхъ предметовъ, если только не употреблять указанный выше приѣмъ Гомера, которымъ *эмъ-съ-сущее* превращается въ *послѣдовательно-образующееся*, считается лучшими знатоками всѣхъ временъ за пустую забаву, для которой очень мало или даже и совсѣмъ не нужно таланта.

«Когда плохой поэтъ, говоритъ Гораций, не въ силахъ ничего сдѣлать, онъ начинаетъ описывать рошу, жертвенникъ, ручей, выходящій по значнымъ лугамъ, шумящій потокомъ, радугоу» *).

VI.

Область живописца и поэта.—Въ какой мѣрѣ и какъ живописецъ можетъ изображать на картинѣ различные моменты времени?—Въ какой мѣрѣ поэзіи доступно изображеніе предметовъ въ пространствѣ?—Примѣръ изъ Рафаэля.—Примѣры изъ Гомера.—Свойства языка, имѣющія отношеніе къ поэтической живописи.—Греческій языкъ.—Новѣйшіе языки—французскій и нѣмецкій.—Щитъ Ахиллеса.

Но, говорятъ, и самому Гомеру случалось впадать въ эти холодныя описанія тѣлесныхъ предметовъ...

Прежде всего я льщу себя надеждой, что у него найдется очень мало мѣстъ, на которыя можно бы сослаться въ этомъ случаѣ; но кромѣ того я увѣренъ, что даже эти немногія мѣста суть такого рода, что скорѣе подтверждаютъ общее правило, изъ котораго повидимому служатъ исключеніемъ.

Итакъ, остается неприкосновеннымъ слѣдующее положеніе: *послѣдовательность времени есть область поэта, какъ пространство есть достояніе живописца.*

*) De Art. P., v. 16—18.

Изображать на одной картинѣ два необходимо-удаленные другъ отъ друга момента времени,—какъ, напр., Фр. Маццуоли, похищеніе сабинскихъ дѣвушекъ и примиреніе ихъ мужей съ ихъ родственниками, или, какъ Тиціанъ, цѣлую исторію блуднаго сына: его развратную жизнь, бѣдственное положеніе и раскаяніе,—значить живописцу вторгаться въ чуждую ему область поэзіи, чего здравый вкусъ не потерпитъ никогда.

Изчислять читателю одну за другой различныя части или вещи, которыя въ дѣйствительности я необходимо долженъ увидѣть разомъ для того, чтобы представить себѣ образъ цѣлаго; думать, что такимъ способомъ можно успѣть дать читателю полный и живой образъ описываемой вещи, значить поэту вторгаться въ область живописца, при чемъ поэтъ тратитъ понапрасну много воображенія.

Но какъ два добрые дружелюбные сосѣда, не позволяя себѣ неличнаго самоуправства внутри владѣній другаго, въ тоже время оказываютъ другъ другу на соприкасающихся предѣлахъ взаимное снисхожденіе и миролюбиво вознаграждаютъ одинъ другаго, если кому по обстоятельствамъ случится нарушить чуждое право владѣнія: также точно должны относиться другъ къ другу поэзіи и живописи.

Я не стану указывать въ этомъ случаѣ на большія историческія картины, въ которыхъ одинъ, законный для живописи, моментъ почти всегда нѣсколько распространяется. Извѣстно, что, можетъ быть, нѣтъ ни одной, обильной фигурами, картины, въ которой бы каждое лицо сохраняло именно то положеніе и выраженіе, какое должно бы имѣть въ минуту совершенія главнаго дѣйствія: одной дано положеніе нѣсколько предшествующее, другая представлена въ мгновеніе уже послѣдующее. Это одна изъ тѣхъ вольностей, которыя художникъ легко можетъ оправдать нѣкоторыми тонкостями въ расположеніи фигуръ, размѣщая ихъ такъ, что участіе, принимаемое ими въ дѣйствіи, можетъ быть не совершенно одновременно. Я хочу только воспользоваться по этому случаю однимъ замѣчаніемъ, которое г. Менкесъ дѣлаетъ о драпировкахъ Рафаэля *).

«Каждая складка, говоритъ онъ, имѣетъ у Рафаэля основаніемъ или собственную тяжесть, или движеніе членовъ, ею закрываемыхъ. Часто видишь въ нихъ, какое расположеніе имѣли эти члены въ моментъ предше-

ствовавшей. Рафаэль умѣлъ дать смыслъ даже и этому. По складкамъ можно видѣть у него, была-ли рука или нога прежде настоящаго положенія впереди или сзади, переходить-ли какой-нибудь членъ, или перешелъ уже изъ изогнутаго положенія въ прямое, или сгибается, бывъ прежде протянутымъ. Здѣсь художникъ безспорно соединяетъ въ одно два отдѣльныя мгновенія. Естественно, что драпировка должна необходимо повиноваться движенію членовъ, и если нога или рука двигается впередъ, непосредственно за ней слѣдуетъ и та часть матеріи, которая ее покрываетъ, развѣ только допустить слишкомъ жесткую матерію, что именно не годится въ живописи. Поэтому не можетъ быть ни одного мгновенія, когда какая-либо складка одежды лежитъ иначе, нежели того требуетъ настоящее положеніе члена. Если же допустить подобную разницу, то мы получимъ въ картинѣ два момента: одинъ, представляющій положеніе одежды въ предыдущій моментъ, другой—настоящее положеніе члена. Но кто же будетъ такъ строго придирчивъ къ живописцу, находящему свои выгоды въ томъ, чтобы представить намъ одновременно два разные момента? Кто, напротивъ, не похвалитъ его за умъ и вкусъ, давшіе ему смѣлость умышленно допустить эту небольшую погрѣшность, чрезъ которую такъ много выиграло выраженіе?»

Такого же снисхожденія требуетъ и поэтъ. Имѣя въ своей власти лишь преемственность времени, онъ, собственно говоря, можетъ показывать за одинъ разъ только одну сторону, одно качество изображаемыхъ имъ тѣлесныхъ предметовъ. Но если счастливое устройство его языка позволяетъ ему выразить это качество однимъ словомъ, почему не могъ бы онъ прибавить еще одного такого слова? Почему даже не прибавить три, если это стоитъ труда? Или, наконецъ, четыре? Я уже замѣтилъ выше, что для Гомера корабль есть или черный корабль, или полный корабль, или быстрый корабль; по большей части—доброснастный, черный корабль. Такова вообще манера. Но кое-гдѣ можно встрѣтить мѣста, гдѣ онъ прибавляетъ третій живописный эпитетъ: круглый, мѣдный, осмиспичныя колеса *). Иногда также четвертый: гладкій, прекрасный, мѣдный, кованный щитъ **). Кто же осудитъ его за это? Кто не поблагодаритъ его скорѣе

*) Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der Malerey. S. 69.

*) Илиада, п. V, ст. 722.

**) Илиада, п. XII, ст. 296.

за эту небольшую роскошь, чувствую, какъ кстати она въ немногихъ приличныхъ мѣстахъ?

Настоящее оправданіе въ подобныхъ случаяхъ живописца, равно какъ и поэта, я вывожу впрочемъ не изъ приведеннаго выше сравненія ихъ съ двумя дружелюбными сосѣдними странами. Простое сравненіе ничего не доказываетъ и не оправдываетъ. Но вотъ въ чемъ настоящее ихъ оправданіе. Какъ въ приведенномъ выше примѣрѣ у живописца два различные момента слѣдуютъ такъ быстро и непосредственно одинъ за другимъ, что безъ натяжки могутъ быть приняты за одинъ, — такъ точно здѣсь у поэта многія черты, изображающія различныя части и качества въ пространствѣ, слѣдуютъ другъ за другомъ во времени въ такой тѣснящейся быстротѣ, что мы ихъ какъ будто слышимъ всѣ однимъ разомъ.

И здѣсь то, повторяю я, превосходный языкъ Гомера такъ удачно приходитъ ему на помощь. Онъ не только оставляетъ ему всевозможную свободу въ количествѣ и сочетаніи прилагательныхъ, но еще и располагаетъ эти скученныя прилагательныя такъ счастливо, что мы ни минуты не остаемся въ непріятной неизвѣстности о предметѣ, къ которому они относятся.

Новѣйшіе языки по большей части не имѣютъ совсѣмъ нѣкоторыхъ изъ этихъ преимуществъ. Такъ, напр., французскій языкъ для передачи греческаго выраженія — круглыя, мѣдныя, осмиспичныя колеса, долженъ употребить описательный оборотъ: круглыя колеса, которые были изъ мѣди и имѣли восемь спицъ. Но, выражая смыслъ оригинала, онъ совсѣмъ уничтожаетъ картину. А между тѣмъ именно смыслъ здѣсь не имѣетъ никакого значенія, а вся сила въ картинѣ, и смыслъ, переданный безъ живописной картины, дѣлаетъ самаго одушевленнаго поэта скучнымъ болтуномъ. Такой жалкой участи часто подвергался добрый Гомеръ подъ перомъ добросовѣстной г-жи Дасье. Напротивъ, нашъ нѣмецкій языкъ по большей части способенъ передать Гомеровы прилагательныя въ столь же краткихъ и равносильныхъ прилагательныхъ, но не можетъ подражать греческому въ необыкновенно выгодномъ ихъ распредѣленіи. Мы можемъ сказать также: «круглыя, мѣдныя, осмиспичныя...», но «колеса» тащатся у насъ сзади. А кто же не чувствуетъ, что три различныя прилагательныя представляютъ намъ, пока мы еще не видимъ подлежащаго, лишь смутный, шаткій образъ? Грекъ соединяетъ подлежащее съ первымъ прилагательнымъ, и потомъ уже слѣдуютъ у него остальные; онъ говоритъ: круглыя

колеса, мѣдныя, осмиспичныя. Такимъ образомъ знаемъ мы съ разу, о чемъ онъ говоритъ, и, согласно естественному ходу мысленія, знакомимся сначала съ самою вещью и потомъ уже съ случайными ея свойствами. Этого преимущества не имѣетъ нашъ, нѣмецкій, языкъ. Или, точнѣе сказать, имѣетъ, но рѣдко можетъ пользоваться имъ, не подвергаясь двусмысленности. Не все ли это равно? Ибо если мы хотимъ поставить прилагательныя послѣ, то должны употребить ихъ *in statu absoluto* [въ независимой формѣ], мы должны сказать: *runde Räder ehern und achtspeichigt*. Но въ этой формѣ наши прилагательныя легко могутъ быть отнесены къ ближайшему глаголу, что рѣдко представляетъ совершенно превратный и во всякомъ случаѣ не точный смыслъ.

[Лессингъ, далѣе, останавливается на щитѣ Ахиллеса и указываетъ, что «Гомеръ не описываетъ щитъ, какъ вещь уже совсѣмъ готовую, оконченную, но какъ вещь дѣлающуюся. Слѣдовательно, онъ и здѣсь... превращаетъ совмѣстно-данное въ послѣдовательно-являющееся и черезъ это дѣлаетъ изъ скучной рисовки тѣла оживленную картину дѣйствія»... «Нельзя того же сказать про щитъ Энеевъ у Виргилія». Венера передаетъ Энею приготовленное Вулканомъ оруженіе. Герой налюбовался имъ. Затѣмъ «начинается описаніе, или картина, щита Энеева, которое съ своими вѣчными—*здѣсь, тамъ, вблизи этого, недалеко оттуда* видно—выходитъ такимъ холоднымъ и скучнымъ, что всѣ поэтическія украшенія, на какія только способенъ Виргилій, едва достигаютъ того, чтобъ сдѣлать его сноснымъ»].

VII.

Приложеніе общаго правила объ изображеніи тѣлесныхъ предметовъ къ изображенію прекрасныхъ тѣлесныхъ предметовъ.—Прекрасное у Гомера.—У Виргилія.—Какимъ образомъ поэтъ можетъ показать прекрасное?—Грація.—Примѣръ изъ Аріоста.—Елена—у Зевкенса и Гомера.

То, что сказано мной о тѣлесныхъ предметахъ вообще, прилагается еще въ большей степени къ прекраснымъ тѣлеснымъ предметамъ.

Тѣлесная красота есть стройное сочетаніе разнообразныхъ частей, которыя могутъ быть усмотрѣны однимъ взглядомъ. Она требуетъ, слѣдовательно, чтобы эти части были одна подлѣ другой; и такъ какъ предметы, которыхъ отдѣльныя части лежатъ одна подлѣ другой, составляютъ истинный

предметъ живописи, то именно она, и она только, можетъ изображать красоту.

Поэтъ, который можетъ представлять элементы красоты лишь одинъ за другимъ, долженъ, слѣдовательно, совершенно отказаться отъ изображенія красоты, какъ красоты. Онъ долженъ чувствовать, что эти элементы, изображенные въ послѣдовательности времени, никакъ не могутъ произвести того дѣйствія, какое производить, будучи представлены одновременно, одинъ возлѣ другаго; что сосредоточивающій взглядъ, который мы бы хотѣли обратить на нихъ назадъ, по ихъ изчисленіи, не соберетъ намъ стройнаго образа; что задача представить себѣ, какой бы эффектъ произвели такой-то ротъ, носъ и такіе-то глаза, соединенные вмѣстѣ, превосходятъ силы человѣческаго воображенія, развѣ только мы имѣемъ въ природѣ или въ произведеніи искусства готовое сочетаніе подобныхъ частей.

И въ этомъ отношеніи Гомеръ является мастеромъ первой руки. Онъ говоритъ: Нирей былъ прекрасенъ; Ахилъ былъ еще прекраснѣе; Елена обладала божественной красотой. Но нигдѣ не пускается онъ въ подробное описаніе красоты. А между тѣмъ содержаніемъ всей поэмы служить красота Елены. Какъ бы распространился по этому поводу новѣйшій поэтъ!...

Самъ Virgilій подражалъ довольно удачно Гомеру въ этомъ отношеніи, такъ какъ все подражаніе здѣсь заключалось въ воздержности. И у него Дидона не болѣе, какъ *pulcherrima Dido* (прекрасная Дидона). Когда же онъ начинаетъ описывать въ ней что либо обстоятельнѣе, это описаніе относится преимущественно къ ея богатому наряду, величественной поступи:

Вотъ наконецъ выходитъ царица съ блестящею свитой;
Мантия ткани Сидонской на ней съ вырѣзной бахрамою,
И золотой колчанъ на плечѣ и легкія стрѣлы,
Пышныя косы ея золотое колечко свисають,
И золотая пряжка держитъ богатое платье *).

Если бы кто-либо вздумалъ по этому поводу примѣнить къ Virgilію извѣстные слова древняго художника ученику: «ты не умѣлъ написать ее красивою, потому и написалъ ее богато наряженною», Virgilій съ своей стороны могъ бы совершенно справедливо отвѣтить: вина не моя, что я не

*) Энеида, кн. IV, стр. 136.

могъ изобразить ее красивою; она лежитъ въ ограниченности средствъ моего искусства; но мои заслуги состоятъ въ томъ, что я удержался въ этихъ границахъ».

Но не потеряетъ ли слишкомъ много поэзія, если мы исключимъ изъ ея области всякое изображеніе тѣлесной красоты? Никто и не покушается на это! — Если мы хотимъ загородить для нея одну дорогу, гдѣ она ищетъ образовъ, рабски слѣдуя по стопамъ родственнаго ей искусства, съ которымъ никогда не можетъ сравниться въ этомъ отношеніи, — слѣдуетъ ли изъ этого, что мы думаемъ заслонить ей всѣ другія пути, на которыхъ, напротивъ, искусство [живописи] должно будетъ уступить ей?

Тотъ же Гомеръ, который такъ упорно избѣгаетъ всякаго подробнаго описанія тѣлесной красоты, который не болѣе одного раза, и то мимоходомъ, упоминаетъ, что у Елены были бѣлыя руки *) и прекрасные волосы **); тотъ же поэтъ умѣетъ однако дать намъ такое высокое понятіе о ея красотѣ, которое далеко превосходитъ все, что могло бы передать намъ объ этомъ искусство. Вспомнимъ только о томъ мѣстѣ, гдѣ Елена вступаетъ въ собраніе старѣйшихъ троянскаго народа. Увидѣвъ ее, почтенные старцы говорятъ одинъ другому:

Нѣтъ, осуждать невозможно, что Трои сыны и Ахейцы
Брали за такую жену и бѣды столь долгія терпѣть:
Истинно, вѣчнымъ богинямъ она красотою подобна ***).

Что можетъ дать болѣе живое понятіе объ этой чарующей красотѣ, какъ не сознаніе холодной старости, что она достойна войны, стоящей столько крови и слезъ?

То, чего нельзя описать по частямъ и въ подробностяхъ, Гомеръ умѣетъ показать намъ другимъ образомъ — именно дѣйствіемъ его на другихъ. Изображайте намъ, поэты, удовольствіе, влеченіе, любовь, восторгъ, возбуждаемые красотою, и тѣмъ самымъ вы уже изобразите намъ самую красоту. Кто въ состояніи представить себѣ отвратительнымъ возлюбленнаго Сафо при видѣ котораго она, по собственнымъ словамъ, теряла

*) Илиада, п. III, стр. 121.

**) ib, стр. 319.

***) Илиада, п. II, стр. 156—158.

чувства и сознание? Чьим глазамъ не представляется ясно привлекательный образъ, какъ только онъ сочувствуетъ тѣмъ ощущеніямъ, которыя возбуждаетъ этотъ образъ?..

Другое средство, которымъ поэзія можетъ сравниться съ «пластическими» искусствами въ изображеніи тѣлесной красоты, состоитъ въ томъ, что она превращаетъ красоту въ грацію. Грація есть красота въ движеніи, и потому она болѣе доступна поэту, чѣмъ живописцу. Живописецъ можетъ лишь заставить насъ угадывать движеніе, въ дѣйствительности же фигуры его остаются неподвижными. Отъ того граціозное вышло бы у него гримасою. Но въ поэзіи оно можетъ оставаться тѣмъ, что есть, т. е., переходною формою красоты, которой повторенія мы бы желали. Оно живетъ и движется передъ нами; и такъ какъ мы вообще способны легче и живѣе припоминать движеніе, нежели просто формы и краски; то понятно, что и граціозное должно дѣйствовать на насъ въ той же степени сильнѣе, чѣмъ неподвижная красота. Все, что еще и донынѣ правится намъ и привлекаетъ насъ въ изображеніи Альцины *)), есть грація. Глаза ея производятъ на насъ впечатлѣніе не потому, что они черны и пламенны, но потому, что они кротки и медленны въ своихъ движеніяхъ, что амуръ порхаетъ около нихъ и разстрѣливаетъ оттуда весь свой колчанъ. Ротъ ея правится не потому, что губы—цвѣта прекрасной киновари, закрываютъ два ряда изящныхъ перловъ, но потому, что здѣсь рождается та очаровательная улыбка, которая одна уже можетъ доставить райское блаженство,—ибо оттуда вылетаютъ тѣ сладкія рѣчи, которыя способны смягчить самыя жестокія сердца... Я увѣренъ, что подобныя черты прелестнаго, собранныя въ одинъ или два станса, производили бы гораздо большее дѣйствіе, нежели всѣ пять стансовъ, на которые Аріостъ растянулъ ихъ, перемѣшавъ съ холодными чертами красоты, слишкомъ учеными для нашего чувства.

Зевксисъ написалъ Елену и имѣлъ смѣлость поставить подъ ней тѣ знаменитыя строки Гомера, въ которыхъ очарованные старцы передаютъ другъ другу свои впечатлѣнія. Никогда поэзія и живопись не вступали въ болѣе равную борьбу. Побѣда осталась нерѣшенной, и обѣ заслужили быть увѣнчанными.

*) Аріостъ, Orlando Furioso, Canto VII, st. 11—15.

Какъ мудрый поэтъ, чувствуя, что онъ не въ силахъ описать красоту по частямъ, показалъ намъ ее лишь въ дѣйствіи: такъ точно не менѣе мудрый живописецъ изобразилъ намъ только красоту и счелъ неприличнымъ для своего искусства прибѣгать къ какимъ либо постороннимъ пособиямъ. Картина его состояла изъ одной фигуры нагой Елены.

VIII.

Безобразное въ поэзіи. — Возбужденіе смѣшанныхъ впечатлѣній. — Что такое смѣшное? — Страшное? — Примѣры изъ Гомера и Шекспира. — Безобразное въ живописи. — Непріятное и безобразное; ихъ различіе. — Можетъ ли живопись употреблять безобразное для возбужденія чувствъ смѣшного и страшнаго? — Различіе въ этомъ отношеніи между поэзіей и живописью.

Одна недовкая часть можетъ, конечно, разрушить цѣлость совокупнаго впечатлѣнія прекрасныхъ частей, но предметъ еще не дѣлается чрезъ это безобразнымъ. Для впечатлѣнія безобразнаго требуется много недовкихъ частей, которыя бы при томъ мы могли видѣть разомъ; только тогда получаемъ мы впечатлѣніе противоположное тому, какое производитъ на насъ прекрасное.

Поэтому безобразное, по существу своему, казалось бы, также не могло быть предметомъ поэзіи; а между тѣмъ Гомеръ изобразилъ самую безобразную наружность въ лицѣ Терсита, и изобразилъ ее по частямъ, одну возлѣ другой. На какомъ же основаніи позволилъ онъ себѣ при описаніи безобразнаго то, чего такъ старательно избѣгалъ въ описаніи прекраснаго? Развѣ впечатлѣніе на насъ безобразнаго не ослабляется точно такъ-же чрезъ постепенное изчисленіе его частей, какъ и впечатлѣніе красоты?

Безъ сомнѣнія; но въ этомъ-то именно и заключается оправданіе Гомера. Именно потому, что безобразное ослабляется въ описаніи поэта и производитъ на насъ уже не столь противное впечатлѣніе тѣлесныхъ недостатковъ, можетъ оно быть употребляемо въ поэзіи. И если поэтъ не можетъ пользоваться имъ для своихъ прямыхъ цѣлей, то, по крайней мѣрѣ, онъ можетъ вводить его для возбужденія и усиленія тѣхъ смѣшанныхъ впечатлѣній, которыми продолжаетъ онъ занимать насъ при недостаткѣ чисто пріятныхъ впечатлѣній.

Эти смѣшанные впечатлѣнія суть смѣшное и страшное.

Гомеръ представляет Терсита безобразнымъ для того, чтобы сдѣлать его смѣшнымъ. Но онъ смѣшонъ не однимъ своимъ безобразіемъ; ибо уродство есть только недостатокъ, а для смѣшнаго требуется контрастъ между совершенствами и недостатками... Но если уродливость Терсита сама по себѣ не дѣлаетъ его смѣшнымъ, съ другой стороны онъ не могъ бы быть смѣшнымъ и безъ нея. Соответствіе этого уродства съ его характеромъ; противорѣчіе того и другого его собственному высокому о себѣ мнѣнію; безвредное слѣдствіе его рѣчей, обратившееся лишь въ стыдъ ему, — все это совокупно производитъ дѣйствіе смѣшнаго.

Но предположимъ, что коварныя рѣчи Терсита возбудили бы бунтъ, что возмущившійся народъ ушелъ бы дѣйствительно къ судамъ, измѣнически покинувъ своихъ вождей, которые попались бы въ руки своимъ метительнымъ врагамъ, и божественный приговоръ разразился бы гибелью надъ всѣмъ войскомъ и флотомъ: въ какомъ видѣ предстало бы намъ тогда безобразіе Терсита? Если безвредное безобразіе только смѣшно, то, конечно, безобразіе зловредное ужасно. Не могу пояснить этого лучше, какъ приведу два мѣста изъ Шекспира. Эдмундъ, незаконный сынъ герцога Глостера, въ „Король Лиръ“, конечно не меньше злодѣй, нежели Ричардъ, герцогъ Глостерскій, который ужасными преступленіями приготовилъ себѣ путь къ престолу. Но отчего же первый не возбуждаетъ такого же ужаса и отвращенія, какъ послѣдній? Когда незаконнорожденный сынъ говорить:

Природѣ повинуюсь я, какъ Богу!
Изъ всѣхъ законовъ лишь ея законы
Священны для меня. Изъ-за чего
Томиться мнѣ въ дѣлѣхъ причудъ житейскихъ
И покоряться приговору свѣта,
И жить въ ничтожествѣ за то, что я
Родился въ свѣтъ немного позже брата.
Я не законный сынъ? Пусть будетъ такъ,
Я тварь презрѣнная. За чтожъ я тварь?
Мои всѣ члены стройны и красивы,
Я смѣлъ уму и тѣломъ больше спленъ,
Чѣмъ многіе счастливыцы...

... для чего жъ
Меня позорять именемъ позорнымъ? *)

*) «Король Лиръ», Дѣйств. 1-е, сц. VI, пер. А. Дружинина.

я слышу дьявола, который однако принимаетъ видъ свѣтлаго духа. Въ словахъ же графа Глостера:

И только я, къ игрушкамъ неспособный,
Не созданный для зеркала вполне;
Я, такъ топорно срубленный, лишенный
Любовныхъ чаръ, таинственныхъ и сильныхъ
Передъ вертлявостью кокетокъ нимфъ;
Я, въ красотѣ мужчины обдѣленный,
Физиономіи лишенный отъ природы,
Я, прежде времени и такъ несчастно
Изверженный къ дыханью, — вполнину
Едва оконченный, и то такой красивый,
Что мигомъ псы повсюду лаютъ, чуть
Предъ ними гдѣ заковыляю; только я —
Въ изнѣженно-пустое время это
Отрады жить совсѣмъ не нахожу,
За исключеніемъ конечно созерцаній
На солнцѣ тѣни собственной своей,
Да разсужденій о своемъ уродствѣ:
И вотъ, теперь, какъ я не въ силахъ быть
Любовникомъ, — любимцемъ моды, я
Преслѣдую отраду жизни смертныхъ *).

въ этихъ словахъ я вижу и слышу дьявола, и притомъ дьявола въ его настоящемъ видѣ.

Вотъ какимъ образомъ поэтъ можетъ употребить для своихъ цѣлей безобразныя формы, но какое употребленіе позволительно дѣлать изъ нихъ живописцу? Живопись, какъ искусство подражательное, конечно, можетъ изображать безобразное; съ другой стороны живопись, какъ изящное искусство, не должно изображать его. Въ первомъ отношеніи области ея принадлежатъ всѣ видимые предметы; во второмъ — она должна ограничиться лишь такими видимыми предметами, которые возбуждаютъ пріятныя ощущенія.

Но не могутъ ли и непріятныя ощущенія нравиться въ подражаніи? По крайней мѣрѣ — не всѣ. Вотъ, напр., что говоритъ одинъ изъ остроумѣйшихъ критиковъ объ отвратительномъ *). «Представленія страха,

*) «Ричардъ III», актъ I, сц. 1, пер. Гр. Даннлевскаго.

**) Briefe die neueste Litteratur betreffend. Th. v. s. 102.

говорить онъ, печали, испуга, жалости, возбуждаютъ въ насъ неудовольствіе тогда только, какъ мы вѣримъ ихъ дѣйствительности: поэтому они могутъ разрѣшиться въ пріятныя ощущенія, когда вспомнимъ, что причина ихъ есть простой художественный вымыселъ. Совѣмъ другое дѣло—отвращеніе. Чувство это образуется по законамъ воображенія единственно отъ представленія отвратительнаго предмета, независимо отъ того, вѣримъ мы его дѣйствительности или нѣтъ. Что-же пользы оскорбленному уже воображенію, если даже искусство и выдаетъ свой обманъ? Неудовольствіе въ душѣ нашей происходитъ не отъ предположенія, что предметъ дѣйствительно существуетъ, но отъ самаго представленія этого предмета: поэтому ощущенія отвратительнаго представляются намъ всегда дѣйствительностью, а не подражаніемъ».

То же самое можно сказать и о безобразіи формъ. Это безобразіе оскорбляетъ наше зрѣніе, противорѣчитъ требованіямъ нашего вкуса въ расположеніи и гармоніи частей и возбуждаетъ въ насъ отвращеніе, безъ всякаго отношенія къ дѣйствительному существованію предмета, въ которомъ мы видимъ это безобразіе. Мы не можемъ безъ неудовольствія видѣть Терсита ни въ дѣйствительности, ни въ изображеніи: и если въ изображеніи онъ производитъ на насъ не столь непріятное впечатлѣніе, разница эта происходитъ не оттого, что безобразіе его формъ перестаетъ быть безобразіемъ въ художественномъ подражаніи, но потому, что мы обладаемъ способностью забывать объ этомъ безобразіи, любяся искусствомъ художника. Но даже и это удовольствіе возмущается въ насъ безпрестанно мыслью, какъ дурно направлено здѣсь искусство, и эта мысль рѣдко не доведетъ насъ до того, что художникъ упадетъ въ нашемъ мнѣніи...

Итакъ внѣшнее безобразіе не можетъ быть само по себѣ предметомъ живописи, какъ изящнаго искусства, ибо чувство, возбуждаемое имъ, есть во первыхъ чувство непріятное и вторыхъ не принадлежитъ къ тому роду непріятныхъ чувствъ, которыя разрѣшаются, при художественномъ подражаніи, въ ощущенія пріятныя. Но рождается еще вопросъ: не можетъ ли безобразное быть употреблено въ живописи, подобно тому какъ въ поэзіи, вводнымъ образомъ, для усиленія другихъ ощущеній?

Можетъ ли, однимъ словомъ, живопись употреблять безобразное для возбужденія чувствъ смѣшнаго и страшнаго?

Я не возьму на себя смѣлости прямо отвѣчать на этотъ вопросъ отрицательно. Не подлежитъ сомнѣнію, что безвредное уродство можетъ

быть смѣшнымъ и въ живописи, особенно когда съ нимъ соединена претензія на грацію и красоту. Также неоспоримо, что вредное безобразіе возбуждаетъ, какъ въ дѣйствительности, такъ и въ изображеніи, чувство ужаснаго, и что какъ смѣшное, такъ и ужасное, будучи уже сами по себѣ чувствами смѣшанными, смягчаются еще болѣе въ подражаніи и даже получаютъ способность нравиться.

Я долженъ однако напомнить при этомъ, что живопись и поэзія находятся въ этомъ случаѣ не въ одинакихъ условіяхъ. Въ поэзіи, какъ я уже замѣтилъ, безобразіе формъ теряетъ почти совершенно свое непріятное дѣйствіе потому уже самому, что части его передаются поэзіею не въ ихъ совокупности, а въ преемственности времени: безобразіе, однимъ словомъ въ поэзіи перестаетъ съ извѣстной стороны быть безобразіемъ и въ слѣдствіе того становится способнымъ сливаться еще тѣснѣй съ явленіями другаго рода и производить вмѣстѣ съ ними совершенно иное дѣйствіе. Напротивъ, въ живописи безобразіе сохраняетъ совокупность всѣхъ своихъ силъ и дѣйствуетъ на насъ почти точно такъ же, какъ и въ природѣ. Такимъ образомъ безвредное безобразіе не можетъ здѣсь долго оставаться смѣшнымъ; впечатлѣніе непріятное беретъ мало по малу перевѣсъ, и то, что въ первое мгновеніе казалось только смѣшнымъ, дѣлается современнымъ просто отвратительнымъ. Тоже происходитъ и съ безобразіемъ вреднымъ: страшное исчезаетъ въ немъ мало по малу, и подъ конецъ остается одно впечатлѣніе отвратительнаго».

Лессингъ.

(Лакоонъ или о границахъ живописи и поэзіи. Перев. Е. Эдельсонъ. Москва 1859).

14. Гамбургская Драматургія, Г. Э. Лессинга *).

О драмѣ.

I. ОБЪ ИСКУССТВѢ ВООБЩЕ И О СЦЕНИЧЕСКОМЪ—ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

§ 1. Задача искусства. Въ природѣ все тѣсно связано одно съ другимъ, все перекрещивается одно съ другимъ, чередуется, измѣняется одно въ другое. Но въ силу такого безконечнаго разнообразія она представляетъ картину, доступную лишь для безконечнаго духа. Чтобы существа ограниченныя принимали участіе въ наслажденіи ею, они должны обладать способностью—включать ее въ извѣстныя рамки, которыхъ она чужда, способность выдѣлять изъ ея области извѣстную долю и сосредоточивать свое вниманіе на чемъ угодно.

Этою способностью мы пользуемся во всѣ моменты нашей жизни; безъ нея наша жизнь была бы немислима; вслѣдствіе безконечнаго разнообразія ощущеній мы потерялись бы въ ихъ хаосѣ и не имѣли бы никакого опредѣленнаго ощущенія. Мы постоянно были бы жертвою минутныхъ впечатлѣній,—мы бы мечтали, не зная, о чемъ мечтать.

*) Г. Э. Лессингъ. Гамбургская Драматургія. Перевелъ съ нѣмецкаго И. П. Рассадинъ. Съ предисловіемъ, прихвѣчаніями разныхъ комментаторовъ и алфавитнымъ указателемъ. М. 1883.

«Г. Драматургія»—сборникъ періодически выходившихъ, въ 1767—68 гг., статей, посвященныхъ критикѣ репертуара гамбургской сцены. «Въ этихъ листкахъ», говоритъ Лессингъ въ одной изъ послѣднихъ статей, «вовсе не имѣлось въ виду излагать теорію драмы. Поэтому я не обѣщала разрѣшать всѣхъ тѣхъ затрудненій, какія встрѣчаю. Пусть мои мысли будутъ лишены систематичности, даже будутъ въ противорѣчіи между собою, лишь бы вызывали на размышленіе. Здѣсь я хочу только дать закваску мышленія (fermenta cogitationis)». Стр. 465. «У меня хватило бы тщеславія», говоритъ онъ далѣе, «заявить притязаніе на заслуги, оказанныя здѣшнему (гамбургскому) театру, еслибы я полагала, что открылъ вѣрное средство остановить [порожденную подражаніемъ] порчу вкуса. Могу по крайней мѣрѣ утѣшать себя тѣмъ, что трудился въ этомъ направленіи, считая для себя болѣе всего важнымъ разсѣять заблужденія относительно правильности французской драмы» 497.

Назначеніе искусства—помочь намъ оріентироваться въ области прекраснаго, дать возможность—легче сосредоточивать вниманіе на чемъ-либо. Все то, что мы въ области природы обособляемъ или желаемъ обособить въ нашемъ умѣ отъ предмета или отъ группы разныхъ предметовъ, въ отношеніи времени или пространства, искусство дѣйствительно обособляетъ и представляетъ намъ этотъ предметъ или сочетаніе предметовъ въ такой ясности и связи, какъ то допускаетъ впечатлѣніе, которое должно быть вызвано ими *). 345.

§ 2. Цѣль искусства. Дѣйствовать съ цѣлію—есть условіе, возвышающее человѣка надъ низшими существами; вымышлять съ цѣлію—это дѣятельность, отличающая талантъ отъ мелкихъ художниковъ, которые вымышляютъ лишь затѣмъ, чтобы вымышлять, подражаютъ затѣмъ, чтобы подражать. Они довольствуются скромнымъ наслажденіемъ, соответствующимъ ихъ средствамъ, ставятъ эти средства своею единственною цѣлію и желаютъ, чтобы и мы довольствовались столь-же скромнымъ наслажденіемъ, вытекающимъ изъ ихъ искусства, но безцѣльнаго пользованія своими средствами. Правда, что и геній начинаетъ свою дѣятельность съ такихъ же слабыхъ подражаній; это его подготовительныя упражненія; онъ прибѣгаетъ къ нимъ и въ болѣе крупныхъ произведеніяхъ, чтобы пополнить пробѣлы, дать намъ успокоиться отъ сильнаго внутренняго волненія. Но, когда создаетъ и изображаетъ свои главные характеры, то онъ при этомъ имѣетъ въ виду болѣе глубокія и возвышенныя цѣли: 1) научить насъ, что мы должны дѣлать и чего не дѣлать; 2) ознакомить насъ съ истинною сущностію добра и зла, приличнаго и смѣшнаго; 3) показать намъ красоту перваго во всѣхъ его сочетаніяхъ и слѣдствіяхъ и—какъ оно даетъ счастье даже въ несчастіи, и выяснитъ безобразіе послѣдняго [т. е. зла], которое бѣдственнѣе даже и въ счастіи; 4) при такихъ сюжетахъ, гдѣ не можетъ имѣть мѣста прямое соревнованіе или отвращеніе, по крайней мѣрѣ упражнять наши способности къ симпатіи и отвращенію на такихъ предметахъ, которые достойны этого, и постоянно показывать эти предметы въ ихъ истинномъ свѣтѣ, чтобы мы не увлекались ложнымъ

*) Трудно яснѣе опредѣлить искусство въ смыслѣ подражанія. Для Лессинга нѣтъ ни идеализма, ни реализма. Кто умѣетъ изображать сущность явленія, устранивъ все случайное и неважное, тотъ истинный художникъ.

Прим. перев.

блескомъ, не чуждались того, чего должны желать, и не желали того, чего должны чуждаться. 176—177.

Произведение смертнаго творца должно быть отраженіемъ цѣлаго, созданнаго вѣчнымъ Творцомъ, должно приучать насъ къ той мысли, что все кончится къ лучшему въ этомъ мірѣ, какъ и въ томъ. 388.

[Не слѣдуетъ однако заключать отсюда, что Лессингъ считаетъ мораль въ искусствѣ его существенною принадлежностью; напротивъ, — приписывая искусству великое значеніе въ дѣлѣ нравственнаго развитія человѣка, онъ иронически относился къ тѣмъ произведеніямъ, все достоинство которыхъ полагалось въ развиваемой ими морали, и которыя, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, не удовлетворяли его художественнымъ требованіямъ].

Я не хочу сказать, замѣчаетъ Лессингъ по поводу *Семирамиды*, Вольтера, что было бы ошибкою со стороны драматическаго поэта излагать свою фавулу такъ, чтобы она служила для разъясненія или подтвержденія какой-нибудь великой нравственной истины. Но я осмѣливаюсь сказать, что это вовсе не нужно, что могутъ быть весьма поучительныя и безукоризненныя піесы, не имѣющія въ виду подобнаго назиданія, что неосновательно считать послѣднее нравственное изреченіе, которое мы находимъ въ концѣ нѣкоторыхъ трагедій древнихъ, цѣлю, для которой только и написано все произведеніе. 59.

§ 3. Поэтическая истина. Поэтическая истина должна приближаться къ абсолютной [безусловной], и поэтъ никогда не долженъ разсуждать наперекоръ философіи. Онъ не долженъ допускать той мысли, что человѣкъ можетъ стремиться къ злу ради самаго зла, что онъ можетъ, дѣйствуя на основаніи порочныхъ принциповъ, сознавать ихъ порочность и все-таки хвастаться ими передъ самимъ собою и передъ другими. Такой человѣкъ — чудовище гнусное и вовсе не назидательное; мысль создать типъ его — не больше, какъ жалкая уловка человѣка пустаго, который считаетъ трескучія фразы высшими красотою трагедій. 16.

§ 4. Отношеніе поэзіи къ дѣйствительности. «Дѣло поэта», говоритъ Аристотель *), «передавать не столько случившееся, сколько то, что могло бы случиться, т. е., возможное по вѣроятію или необходимости. Историкъ и поэтъ не тѣмъ различаются, что говоритъ — одинъ мѣрною рѣчью, другой — немѣрною: вѣдь сочиненіе Геродота можно было бы переложить въ метры, и

*) Ars poet., с. IX, по перев. Лессинга.

все-таки въ метрахъ, какъ и безъ метровъ, это будетъ исторія. Различаются они тѣмъ, что одинъ передаетъ случившееся, а другой то, что можетъ случиться. По этому поэзія философичнѣе и важнѣе исторіи. Поэзія передаетъ болѣе общее, исторія частное. А общее есть то, что сталъ бы говорить такъ или иначе извѣстный человѣкъ по вѣроятности или необходимости. Къ этому стремится поэзія, давая имена своимъ героямъ *). Напротивъ, частное то, что сдѣлалъ Алкивиадъ или что съ нимъ случилось».

Аристотель давно уже рѣшилъ, насколько трагическій поэтъ долженъ заботиться объ исторической истинѣ, — именно лишь на столько, чтобы она была похожа на удачно придуманную фавулу, соответствующую его цѣлямъ. Ему историческое событіе нужно не потому, что оно совершилось, но потому, что оно совершилось такъ, что лучше этого онъ едва ли могъ бы придумать для своей цѣли. Если онъ найдетъ это условіе въ какомъ-либо дѣйствительномъ происшествіи, то такое происшествіе для него очень пригодно; но долго искать его въ историческихъ сочиненіяхъ не стоитъ труда. И многіе ли знаютъ, что случилось? Если мы допускаемъ возможность случившагося только потому, что оно дѣйствительно случилось, то что мѣшаетъ намъ принимать просто придуманный разсказъ за дѣйствительно случившееся событіе, о которомъ мы никогда ничего не слыхали? Чтѣ прежде всего дѣлаетъ для насъ достовернымъ событіе? Не его ли внутренняя вѣроятность? И не все ли равно, будетъ ли эта вѣроятность не подкрѣплена никакими свидѣтельствами и преданіями, или подкрѣплена такими, которыя еще не дошли до нашего свѣдѣнія? Полагаютъ безъ всякаго основанія, что назначеніе театра между прочимъ — хранить воспоминаніе о великихъ людяхъ; но на это есть исторія, а не театръ. На театрѣ намъ слѣдуетъ узнавать не то, что сдѣлалъ тотъ или другой человѣкъ, но что сдѣлаетъ каждый человѣкъ съ извѣстнымъ характеромъ при данныхъ условіяхъ. Цѣль трагедіи гораздо болѣе философская, чѣмъ цѣль исторіи; и мы бы умалили ея истинное достоинство, если бы обратили ее просто въ панегирикъ знаменитыхъ мужей, или злоупотребляли бы ею для того, чтобы льстить національной гордости. 100—101.

За чѣмъ трагическій поэтъ беретъ историческія имена? Изображаетъ ли онъ характеры по этимъ именамъ, или потому беретъ эти имена, что характеры, придаваемые носящимъ ихъ лицамъ въ исторіи, имѣютъ боль-

*) См. ниже, § 21-й: Объ именахъ.

шее или меньшее сходство съ тѣми, которые онъ намѣренъ изобразить въ драмѣ? Я говорю не о томъ, какъ создались большая часть трагедій, но о томъ, какъ онѣ должны создаваться. Или, выражаясь языкомъ, болѣе соответствующимъ обычнымъ приемамъ поэтовъ, — голые факты, обстоятельства времени и мѣста, или характеры дѣйствующихъ лицъ, благодаря которымъ факты осуществились, заставляютъ поэта избрать предпочтительнѣе то, а не другое событіе? Если характеры, то вмѣстѣ съ этимъ рѣшается вопросъ и о томъ, насколько поэтъ можетъ отступать отъ исторической истины. Во всемъ, что не относится до характеровъ, онъ можетъ отступать, насколько хочетъ. Только характеры священны для него; придать имъ больше силы, представить ихъ въ болѣе яркомъ свѣтѣ — вотъ все, что онъ можетъ прибавить отъ себя. Малѣйшая существенная перемѣна [въ изображеніи характера] устранить ту причину, по которой лицамъ даны тѣ, а не другія имена, — а нѣтъ ничего непріятнѣе того явленія, которому мы не можемъ указать причины. 123—124.

Сказать короче, — трагедія не исторія, изложенная въ формѣ разговоровъ; исторія для трагедіи есть не что иное, какъ хранилище именъ, съ которыми мы привыкли соединить извѣстные характеры. Если поэтъ находитъ въ исторіи достаточно условій для уукрашенія своего сюжета и индивидуализаціи, то пусть пользуется ими. Только не ставьте ему этого въ заслугу, какъ и противоположнаго качества въ упрекъ! 126.

§ 5. Характеръ — въ исторіи и поэзіи. — Характеры для поэта должны быть гораздо священнѣе фактовъ. Во-первыхъ, если характеры будутъ строго выдержаны, то поступки, по скольку они служатъ слѣдствіемъ ихъ, могутъ произойти почти только такъ, какъ произошли. Напротивъ, одинаковые поступки могутъ происходить изъ разныхъ характеровъ. Во-вторыхъ, назидательны не самые факты, а сознаніе той истины, что извѣстные характеры при извѣстныхъ условіяхъ обыкновенно ведутъ и должны вести къ извѣстнымъ поступкамъ или фактамъ... Мы смотримъ на факты, какъ на нѣчто случайное, какъ на нѣчто такое, что можетъ быть общимъ для нѣсколькихъ лицъ, — напротивъ, на характеры — какъ на нѣчто существенное и индивидуальное. Съ первыми мы позволяемъ поэту распоряжаться, какъ ему угодно, лишь бы только они не были въ противорѣчіи съ характерами; напротивъ, послѣдніе онъ долженъ уяснять, но не измѣнять; малѣйшее измѣненіе [историческихъ] характеровъ, на нашъ взглядъ, уничтожаетъ индивидуальность, и вмѣсто настоящихъ личностей являются другія, лож-

ныя, посягающія на чужія имена, выдающія себя за то, чѣмъ онѣ не могутъ быть.

Но все-таки, по моему мнѣнію, если поэтъ приписываетъ лицамъ нѣтъ характеры, съ какими изображаетъ ихъ исторія, то подобная ошибка гораздо простительнѣе, чѣмъ погрѣшность въ изображеніи самыхъ этихъ характеровъ, свободно избранныхъ, со стороны ли внутреннего правдоподобія, или со стороны поучительности *). Первая ошибка возможна и для генія, послѣдняя — никогда. Генію позволительно не знать тысячи вещей, извѣстныхъ любому школьнику; богатство его состоитъ не въ накопленномъ запасѣ памяти, а въ томъ, что онъ въ состояніи создавать изъ своего собственного духовнаго міра. То, что онъ читалъ или слышалъ, онъ могъ забыть или припомнить лишь настолько, насколько это нужно для его цѣлей. Онъ ошибается или вслѣдствіе самоувѣренности, или по гордости, преднамѣренно или непреднамѣренно, и ошибается такъ часто и такъ грубо, что мы, добродушные люди, и надивиться этому не можемъ. Мы останавливаемся въ изумленіи и восклицаемъ, скрестивши руки: «Какъ могъ этого не знать такой великій человѣкъ! Какъ это не пришло ему на умъ!.. Стало быть онъ не подумалъ?..» Нѣтъ, лучше замолчимъ; думая порицать его, мы сами становимся смѣшны въ его глазахъ. Все, что мы лучше его знаемъ, доказываетъ только, что мы старательнѣе его учились, и это, къ сожалѣнію, намъ было нужно, чтобы не остаться круглыми невѣждами.

Если [представленные поэтомъ характеры] не принадлежать къ нашему дѣйствительному міру, то желательно бы было, чтобы они принадлежали къ другому міру, къ тому, въ которомъ явленія группируются въ иномъ порядкѣ, но находятся въ такой же тѣсной связи, какъ и въ нашемъ, — къ тому міру, въ которомъ причины и слѣдствія сочетаются иначе, но ведутъ къ одной цѣли — къ благу, чтобы они принадлежали однимъ словомъ къ міру генія. И этотъ геній, чтобы подражать въ маломъ видѣ высшему Генію — да позволено мнѣ будетъ назвать безыменнаго Творца именемъ благороднѣйшаго изъ его созданій! — перемѣщаетъ предметы дѣйствительнаго міра, видоизмѣняетъ ихъ, уменьшаетъ, увеличиваетъ ихъ

*) Поучительность, по Лессингу, какъ было сказано выше, — сознаніе той истины, что характеры «при извѣстныхъ условіяхъ обыкновенно ведутъ и должны вести къ извѣстнымъ фактамъ».

число, чтобы создать из них новое цѣлое, къ которому онъ примѣняетъ свои цѣли.

На основаніи того понятія, какое мы должны имѣть о гении, мы въ правѣ требовать отъ поэта послѣдовательности и цѣлесообразности въ созидаіи или изображеніи всѣхъ характеровъ, если онъ желаетъ, чтобы мы признавали въ немъ талантъ.

Послѣдовательности!—Въ характерахъ не должно быть никакихъ внутреннихъ противорѣчій; они должны быть всегда вѣрны себѣ; они могутъ проявляться то сильнѣе, то слабѣе, смотря по тому, какъ дѣйствуютъ на нихъ внѣшнія условія; но ни одно изъ этихъ условій не должно вліять на столько сильно, чтобы дѣлать черное бѣлымъ. 172—175.

Мало ли людей, въ природѣ которыхъ [встрѣчаются] печальныя противорѣчія, —но именно потому то они и не могутъ быть предметами, достойными поэтическаго изображенія. Они не заслуживаютъ его, потому что въ нихъ нѣтъ ничего назидательнаго, если только не считать предметомъ назиданія самыя эти противорѣчія ихъ природы, ихъ смѣшную сторону или печальныя послѣдствія всего этого *)... Если въ характерѣ нѣтъ назидательности, то для поэта нѣтъ въ немъ и *цѣлесообразности*, [а безъ этого условія «произведеніе смертнаго творца» не можетъ быть отраженіемъ цѣлаго, созданнаго «вѣчнымъ Творцомъ», не можетъ приучить насъ къ той мысли, что все кончится къ лучшему въ этомъ мірѣ, какъ и въ томъ. 388]. 176.

§ 6. Обработка фабулы (сюжета).—[Положимъ], поэтъ находитъ въ исторіи женщину **), убившую мужа и сыновей; такое злодѣйство способно возбудить страхъ и состраданіе, и онъ рѣшается сдѣлать его сюжетомъ трагедіи. Но исторія не сообщаетъ ему ничего больше, кромѣ этого голаго факта, а послѣдній столько же возмутителенъ, сколько и необыченъ. Тутъ выйдетъ много если три сцены, притомъ неправдоподобныхъ, такъ какъ главный фактъ не обставленъ никакими побочными обстоятельствами.

Что же дѣлаетъ поэтъ?

*) См. § 2-й. Цѣль искусства.

**) Нижеслѣдующія мысли высказаны по поводу трагедіи П. Корнеля «Rodogune, princesse de Parthie» (1646 г.) Сирійская царица Клеопатра (II в. до Р. Х.), главное дѣйствующее лицо въ «Родогунѣ», убиваетъ мужа и одного изъ сыновей и покушается на жизнь другаго.

Смотря по тому, въ какой мѣрѣ онъ заслуживаетъ это имя, онъ можетъ усмотрѣть болѣе важный недостатокъ сюжета или въ его неправдоподобіи, или въ краткости и сухости содержанія.

Если онъ истинный поэтъ, то онъ прежде всего постарается придумать такой рядъ причинъ и слѣдствій, въ силу которыхъ эти невѣроятныя преступленія покажутся намъ дѣйствительно совершившимися. Онъ не ограничится тѣмъ, что будетъ основывать возможность ихъ просто на исторической достовѣрности. Онъ постарается такъ задумать характеры дѣйствующихъ лицъ, чтобы тѣ происшествія, которыя вызываютъ его героевъ къ дѣятельности, вытекали одни изъ другихъ съ такою необходимою, а страсти такъ строго гармонизировали съ характерами и развивались съ такою постепенностью, чтобы мы всюду видѣли только естественный, правильный ходъ вещей. При каждомъ шагѣ, который дѣлаютъ его герои, мы должны будемъ сознаться, что и мы поступили бы точно такъ же при подобномъ развитіи страсти, при томъ же порядкѣ вещей, —что насъ при этомъ только поражаетъ незамѣтное приближеніе къ цѣли, которую наше воображеніе страшится представить себѣ. Но мы приходимъ, наконецъ, къ ней, проникнутые самымъ глубокимъ состраданіемъ къ тѣмъ личностямъ, которыхъ увлекаетъ такой роковой ходъ событій, полные ужаса *) при мысли о томъ, что и насъ можетъ увлечь подобный же потокъ, и мы совершимъ такіе поступки, на которые въ хладнокровномъ состояніи считаемъ себя неспособными. Если поэтъ пойдетъ по этому пути, если талантъ его скажетъ ему, что онъ не изнеможетъ позорно на немъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ исчезнутъ и сухость и безсодержательность его фабулы. Его не будетъ уже заботить мысль о томъ, какъ наполнить пять дѣйствій столь немногими событіями. Онъ напротивъ будетъ бояться, что въ рамѣ этихъ пяти дѣйствій не умѣстится весь тотъ матеріалъ, который при его обработкѣ будетъ постоянно разрастаться самъ собою, если только онъ сумѣетъ понять сокровенную тайну творчества и разработать сюжетъ.

Напротивъ тотъ поэтъ, который въ меньшей мѣрѣ заслуживаетъ это имя, который просто умный человѣкъ и хорошій версификаторъ, тотъ, говоря я, не будетъ пораженъ невѣроятностью сюжета. Онъ въ ней будетъ скорѣе видѣть источникъ удивительныхъ эффектовъ, дѣйствія которыхъ

*) О *состраданіи и ужасѣ* (страхѣ), какъ цѣляхъ трагедіи, см. § 11-й.

онъ никоимъ образомъ не долженъ ослаблять, чтобы не лишить себя самого вѣрнаго средства—возбудить ужасъ и состраданіе. Вѣдь онъ плохо понимаетъ, въ чемъ собственно состоитъ этотъ ужасъ и это состраданіе. Поэтому, чтобы вызвать первый, поэтъ будетъ стараться придумать какъ можно больше странныхъ, невѣроятныхъ, неожиданныхъ, чудовищныхъ происшествій. А чтобы возбудить послѣднее чувство, онъ сочтетъ необходимымъ прибѣгнуть къ измышленію самыхъ необычайныхъ и самыхъ возмутительныхъ злодѣйствъ и бѣдствій. Поэтому, какъ только онъ подыщетъ въ исторіи какую-нибудь Клеопатру, убійцу своего мужа и сыновей, то, чтобы обработать этотъ сюжетъ въ трагедію, онъ сочтетъ своею задачей только пополнить промежутки между двумя преступленіями и пополнить ихъ такими вымыслами, которые по малой мѣрѣ на столько же невѣроятны, какъ и самыя эти преступленія. Все это, —и собственные вымыслы поэта, и историческій матеріалъ,—онъ мѣшаетъ вмѣстѣ, какъ тѣсто, и дѣлаетъ изъ этого длинный романъ, весьма трудный для пониманія. Когда тѣсто хорошо смѣсилось, насколько можно смѣсить муку съ яичами, онъ раскладываетъ его на проволочный остовъ дѣйствій и сценъ. Онъ заставляетъ своихъ героевъ рассказывать и рассказывать, бѣсноваться и говорить рюмованные стихи. И вотъ въ мѣсяцъ или полтора, смотря по тому, легко или съ трудомъ подбираются рѣзмы, чудо готово. Его называютъ трагедіею, печатаютъ и ставятъ на сцену, читаютъ и смотрятъ, награждаютъ похвалами или освистываютъ, —оно удерживается на сценѣ или забывается, смотря по тому, какъ судьба рѣшитъ. Вѣдь и у книгъ есть своя судьба *). 164—166.

Конечно, небольшого труда стоитъ придумать новую интригу и отдѣльные моменты страсти развить въ цѣлыя сцены. Но для этого требуется обработать все такъ, чтобы эти новыя подробности не ослабили занимательности содержанія и не нанесли ущерба правдоподобию его. Слѣдуетъ поставить себя, съ точки зрѣнія рассказчика, въ истинное положеніе каждаго лица, не описывать страстей, а показывать зрителю на дѣлѣ развитіе ихъ, такъ чтобы это развитіе совершалось безъ скачковъ, съ естественною постепенностію, доходящею до иллюзіи, и онъ даже невольно сочувствовалъ бы героямъ. Нужно тутъ то, что талантъ творить, самъ

*) Латинское изреченіе изъ дидактич. поэмы Теренціана Мавра (III в. послѣ Р. X.): *habent sua fata libelli*.
Прим. перев.

того не сознавая, не прибѣгая къ скучнымъ объясненіямъ, и чему напрасно силится подражать обыкновенный умный человѣкъ. 7.

Мы допускаемъ чудеса на сценѣ только въ области физическихъ явленій, а въ нравственномъ мірѣ все должно идти своимъ обыкновеннымъ порядкомъ, потому что театръ долженъ быть школою нравственности. Побудительныя причины всякаго рѣшенія, всякой малѣйшей переменъ въ мысляхъ и взглядахъ должны быть въ точности взвѣшены между собою по отношенію къ разъ задуманнымъ характерамъ, и они должны производить только то впечатлѣніе, какое могутъ по самой строгой справедливости. Нѣкоторыя несообразности въ этомъ отношеніи поэтъ можетъ искусно скрыть отъ насъ художественною отдѣлкою частностей; но онъ только разъ обманетъ насъ, а какъ скоро мы снова будемъ въ спокойномъ состояніи, то возьмемъ назадъ тотъ лестный приговоръ, который у насъ вырвался невольно. 11.

§ 7. О сценическомъ искусствѣ. [Кромѣ твердаго знанія роли, свободного, легкаго и плавнаго ея произношенія, для актера] необходимо и то условіе, чтобы фальшивая дикція не внушала намъ подозрѣнія, что онъ не понимаетъ того, что говоритъ. Безукоризненная вѣрность и твердость его тона должны убѣдить насъ, что онъ вполне проникся смысломъ собственныхъ словъ.

Но вѣрному произношенію, въ случаѣ нужды, можно научить и популая. Какъ еще далека актеръ, только понимающій извѣстную мысль, отъ того, кто въ то-же время прочувствовалъ ее. Можно весьма вѣрно передать слова, смыслъ которыхъ мы поняли, и которые разъ запечатлѣлись въ памяти, даже если нашъ умъ занятъ посторонними предметами. Но въ такомъ случаѣ истинное чувство немислимо; вся душа должна принимать участіе въ томъ, что говорится; говорящій долженъ исключительно сосредоточить все свое вниманіе на рѣчи и тогда...

Но и тогда можетъ случиться, что актеръ дѣйствительно проникнуть чувствомъ, а между тѣмъ намъ кажется, будто его нѣтъ у него. Чувство вообще всегда составляетъ одну изъ самыхъ спорныхъ сторонъ въ дарованіи актера. Оно можетъ быть тамъ, гдѣ его не замѣчаютъ; его могутъ находить тамъ, гдѣ вовсе нѣтъ. Вѣдь чувство есть что-то внутреннее, о чемъ мы можемъ судить только по внѣшнимъ проявленіямъ. Можетъ случиться, что какія-нибудь особенности въ устройствѣ организма совсѣмъ не

допускаютъ этихъ проявленій или парализуютъ ихъ и дѣлаютъ ненормальными. Актеръ имѣетъ такіе черты лица, такое выраженіе и тонъ голоса, съ которыми мы привыкли соединять совершенно иной образъ мыслей, совершенно иное настроеніе, иные страсти, не тѣ, какія онъ долженъ обнаруживать и выражать въ данную минуту. Въ этомъ случаѣ, какъ бы ни были сильны чувства, имъ овладѣвшія, мы ему не повѣримъ, потому-что, на нашъ взглядъ, онъ противорѣчитъ самому себѣ. Напротивъ другой актеръ одаренъ счастливою организаціей; фizioномія у него выразительная, всѣ мускулы легко и быстро повинуются ему, голосъ его способенъ передавать самые тонкіе и разнообразные оттѣнки, короче, онъ въ высшей степени надѣленъ всѣми средствами, нужными для пантомимы *). Поэтому въ такихъ роляхъ, которыя онъ играетъ не самобытно, но подражая какому-либо хорошему образцу, намъ кажется, что онъ проникнутъ самыми глубокими чувствами, а между тѣмъ все, что онъ говоритъ и дѣлаетъ, есть не больше, какъ механическое передразниваніе.

Нѣтъ сомнѣній, послѣдній актеръ, не смотря на отсутствіе чувства и холодность, все-таки для сцены гораздо полезнѣе перваго. Если онъ довольно долгое время только подражалъ другимъ, то наконецъ у него образовался извѣстный запасъ небольшихъ правилъ, по которымъ онъ начинаетъ дѣйствовать; при помощи ихъ онъ вырабатываетъ себѣ какъ бы самобытное чувство въ силу того закона, по которому извѣстное душевное настроеніе, вызывающее измѣненіе въ положеніи организма, съ своей стороны обуславливается этими измѣненіями. Конечно, это чувство не можетъ быть такъ продолжительно и пылко, какъ то, источникъ котораго кроется въ душѣ, но все-таки оно настолько сильно въ моментъ игры, что можетъ вызвать нѣкоторыя невольныя движенія. А мы почти только по нимъ и судимъ о внутреннемъ чувствѣ. Положимъ, что такой актеръ долженъ изобразить самый сильный гнѣвъ. Допустимъ, что онъ не вполне понимаетъ свою роль, что онъ не можетъ достаточно уяснить причинъ этого чувства и живо представить ихъ себѣ, чтобы самому придти въ такое-же состояніе. Но я говорю, положимъ, онъ только подмѣтилъ самыя грубыя

*) Пантомима — слово, взятое съ греческаго языка; впервые оно стало употребляться въ Италіи въ вѣкъ Августа. Это собственно шуточное изображеніе лицъ и дѣйствій безъ словъ, одними жестами.

Пр. пер.

проявленія гнѣва у актера, проникнутаго истиннымъ чувствомъ, и вѣрно умѣетъ подражать имъ. Эти проявленія: быстрая походка, топанье ногами, суровый тонъ голоса, то крикливый, то сдержанный, движеніе бровей, дрожаніе губъ, скрежетаніе зубами и пр. Если онъ, повторяю, хорошо подражаетъ только этимъ внѣшнимъ проявленіямъ, которыя можно перенять при желаніи, то черезъ это душа его придетъ непременно въ то смутное состояніе гнѣва, которое съ своей стороны подѣйствуетъ на организмъ и вызоветъ въ немъ тѣ самыя измѣненія, которыя не зависятъ вполне отъ нашей воли. Лицо у него запылаетъ, глаза заблестятъ, мускулы напрягутся, — однимъ словомъ онъ будетъ намъ казаться въ самомъ дѣлѣ гнѣвающимся, хотя на дѣлѣ этого нѣтъ, да онъ и непонимаетъ, зачѣмъ это нужно. 16—19.

§ 8. Музыка въ драмѣ. Такъ какъ оркестръ въ нашихъ пьесахъ нѣкоторымъ образомъ замѣняетъ античный хоръ, то знатоки давно уже выражали желаніе, чтобы характеръ музыки, предшествующій пьесамъ, — играющей также въ антрактахъ и по окончаніи ея, болѣе соотвѣтствовалъ содержанію этихъ пьесъ. Изъ музыкантовъ Шейбе [Іоаннъ Адольфъ, 1708—1776] первый указалъ на этой почвѣ новые пути для искусства. Онъ понялъ, что если впечатлѣніе зрителя будетъ ослабляться и нарушаться, то это произведетъ непріятное дѣйствіе. Слѣдовательно, для каждой пьесы долженъ быть особый музыкальный аккомпаниментъ.

«Всѣ симфоніи *), говоритъ онъ, сочиняемыя для пьесы, должны сообразоваться съ ея содержаніемъ и характеромъ. Слѣдовательно, для трагедій требуется иной родъ симфоній, чѣмъ для комедій. Насколько различаются между собою трагедія и комедія, настолько-же должны между собою различаться и относящіяся къ нимъ музыкальныя пьесы. Кромѣ того, смотря по разнымъ отдѣламъ музыки, назначаемой для пьесъ, должно также въ особенности имѣть въ виду и характеръ тѣхъ частей, къ которымъ пишется извѣстный отдѣлъ. Увертюра **) должна сообразоваться съ

*) Терминъ *симфонія* Лессингъ употребляетъ, согласно обычаю своего времени, совсѣмъ не въ томъ значеніи, въ какомъ онъ употребляется теперь.

Пр. перев.

**) У Шейбе—*Anfangssymphonie*; она нѣсколько отличается отъ нашей увертюры. Увертюра не достаетъ *проведенія* главнаго мотива, характеризующаго симфонію.

Пр. перев.

первымъ дѣйствию пѣсы; а симфоніи, которыя назначаются для антрактовъ, должны отчасти согласоваться съ окончаніемъ предыдущаго дѣйствія, а отчасти съ началомъ слѣдующаго *), равно какъ и послѣдняя симфонія—соотвѣтствовать окончанію послѣдней сцены.

«Всѣ симфоніи, назначаемыя для трагедій, должны быть величавы, проникнуты огнемъ и одушевленіемъ. При этомъ въ особенности должно имѣть въ виду характеръ главнаго лица и основную идею и ими руководиться при изобрѣтеніи. Это ведетъ къ немаловажнымъ послѣдствіямъ.

«Трагедія, въ которой герой или героиня всюду руководятся религіей и страхомъ Божиимъ, требуетъ такихъ симфоній, которыя до извѣстной степени проникнуты величіемъ и строгимъ характеромъ церковной музыки. Но если въ трагедіи выражается великодушіе, храбрость или стойкость среди всѣхъ бѣдствій, то и музыка должна быть гораздо одушевленнѣе и энергичнѣе. Въ такомъ родѣ трагедіи *Катонъ* **), *Брутъ* и *Митридатъ*. Напротивъ для *Альзиръ* и *Заира* требуется музыка нѣсколько въ иномъ духѣ, потому что событія и характеры дѣйствующихъ лицъ въ этихъ пѣсахъ другіе и страсти гораздо разнообразнѣе по своимъ проявленіямъ.

«Такъ же точно симфоніи, назначаемыя для комедій, должны быть вообще легки, плавны, мѣстами даже игривы, а главное должны сообразоваться съ характеромъ содержанія каждой изъ нихъ. Комедія бываетъ то серьезна, то сентиментальна, то шутлива,—такова же должна быть и симфонія.

«Что можетъ быть смѣшнѣе того, когда по ходу пѣсы герой бѣдственнымъ образомъ лишился жизни, а между тѣмъ за этимъ слѣдуетъ веселая и игривая симфонія? Что можетъ быть нелѣпнѣе того, когда печальная и монотонная симфонія играется вслѣдъ за веселымъ концомъ комедіи?

«Между прочимъ, такъ какъ театральныи оркестръ состоитъ исключительно изъ инструментовъ, то ихъ непремѣнно нужно перемѣнять, чтобы поддерживать интересъ зрителей. Послѣдній легко можетъ ослабѣть, если они постоянно будутъ слышать игру однихъ и тѣхъ же инструментовъ. Но

*) Лессингъ, согласный съ Шейбе въ главныхъ основаніяхъ, не одобряетъ для симфоній второй темы: относился къ слѣдующему дѣйствию, послѣдняя отняла бы у драматическаго поэта возможность произвести на зрителей неожиданное и цѣльное впечатлѣніе.

**) *Катонъ*, траг. Аддисона, *Митридатъ*—Расина, *Брутъ*, *Альзиръ* и *Заира*—Вольтера.

почти необходимо, чтобы увертюра была весьма сильна и полна для того, чтобы могла произвести глубокое впечатлѣніе на слушателей. Перемѣнять инструменты лучше всего въ антрактахъ. Но слѣдуетъ строго обдумать, какіе инструменты въ какомъ случаѣ болѣе идутъ къ дѣлу, и какими можно скорѣе выразить то, что требуется. Поэтому и здѣсь слѣдуетъ дѣлать разумный выборъ, чтобы вѣрнѣе достигъ цѣли. Поэтому, напри- мѣръ, неудобно дѣлать одинаковую перемѣну инструментовъ въ двухъ антрактахъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ. Во всякомъ случаѣ советуемъ избѣгать этого». 133—137.

§ 9. Сцена и сценическая обстановка. [Вольтеръ указываетъ на тѣсноту сцены и бѣдность сценической обстановки, какъ на причины, почему французскій театръ лишился «возвышеннаго патетическаго элемента», и изображаемыя въ трагедіи «дѣйствія не могли имѣть трагическаго характера»].

Правда ли, что всякое трагическое дѣйствіе требуетъ для своего изображенія пышной обстановки и искусственныхъ приспособленій? Не слѣдуетъ ли, напротивъ, поэту сообщить своей пѣсѣ такой характеръ, чтобы она производила сильное впечатлѣніе и безъ этихъ вспомогательныхъ средствъ?

По мнѣнію Аристотеля, она должна сама по себѣ производить подобное впечатлѣніе. «Страхъ и состраданіе», говоритъ философ *), «могутъ быть возбуждены внѣшностью; но они могутъ производиться и сдѣленіемъ самыхъ событій, что гораздо выше, и къ чему стремятся лучшіе поэты. Фабула должна быть изложена такъ, чтобы и помимо ея изображенія на сценѣ она возбуждала страхъ и состраданіе къ событіямъ въ томъ, кто только слышитъ разсказъ о нихъ. Такова наприимѣръ фабула *Эдипа*, которую стоитъ только слышать, чтобы проникнуться этими чувствами. Но, чтобы достигъ этой цѣли игрою на сценѣ, требуется меньше искусства, и это дѣло тѣхъ, которые взяли на себя представленіе пѣсы».

Пѣсы Шекспира дали на опытъ любопытное доказательство того, насколько вообще можно обойтись безъ декорацій при представленіи пѣсы. Повидимому, какія пѣсы, благодаря постояннымъ перерывамъ и перемѣнѣ мѣста, требовали большого пособія обстановки и искусства декоратора, если не эти? Однако было время, когда украшенія театральныя

*) Гл. XIII, § 2.

сценъ, на которыхъ онѣ давались, состояли только изъ занавѣса простой грубой матеріи, а когда его поднимали, то зрители видѣли голыя стѣны, много если увѣшанныя цыновками или коврами. Только воображеніе могло пособить пониманію зрителя и игрѣ актера. И несмотря на это, говорятъ, пьесы Шекспира безо всякихъ декорацій были понятнѣе, чѣмъ впоследствии съ ними. 394—395.

§ 10. Какую публику долженъ имѣть въ виду писатель?—Хорошій писатель, въ какомъ бы родѣ онъ ни писалъ, если пишетъ не для того только, чтобы блеснуть своимъ остроуміемъ и ученостью, всегда имѣетъ въ виду самыхъ просвѣщенныхъ и лучшихъ людей своего времени и своей страны и считаетъ достойнымъ писать только то, что имъ правится, что ихъ можетъ трогать. Даже драматическій поэтъ, если онъ нисходитъ до простаго народа, то принижается до него лишь затѣмъ, чтобы просвѣтить и исправить его, а не затѣмъ, чтобы укрѣплять въ немъ его суевѣріе, его неблагородный образъ мыслей *). 10.

II. Т р а г е д і я.

Трагедія есть подражаніе дѣйствию важному и законченному, имѣющему [опредѣленную] величину; подражаніе украшенной рѣчью (разными видами сей рѣчи въ разныхъ частяхъ); подражаніе дѣйствующимъ, а не въ разсказѣ, совершающее посредствомъ состраданія и страха очищеніе такихъ страстей.

Аристотель, Поэтика, гл. VI.

§ 11. Анализъ Аристотелева опредѣленія трагедіи.—Трагедія, говоритъ Аристотель, должна возбуждать состраданіе и страхъ (φόβος), а не состраданіе и ужасъ. Правда, ужасъ есть родъ страха: это внезапный, невольный испугъ. Но именно эта внезапность, эта печальность, заключающая въ себѣ идею его, ясно показываетъ, что тѣ, которые ввели слово *ужасъ* вмѣсто слова *страхъ*, не поняли, какой страхъ разумѣтъ Аристотель.—Такъ какъ я не могу объяснить этого въ двухъ-трехъ словахъ, то позволю себѣ маленькое отступленіе.

«Состраданіе», говоритъ Аристотель, «долженъ возбуждать такой чело-

*) См. выше: § 2, Цѣль искусства.

вѣкъ, который страдаетъ безвинно, а страхъ—равный намъ. Злодѣй—ни то, ни другое, слѣдовательно и несчастіе его не можетъ возбуждать ни того, ни другаго чувства».

«Состраданіе», говоритъ авторъ *Писемъ объ ощущеніяхъ* *), «есть смѣшанное чувство, состоящее изъ любви къ предмету и скорби объ его несчастіи. Тѣ проявленія, которыми выражается состраданіе, отличаются отъ простыхъ признаковъ какъ любви, такъ и скорби, потому что состраданіе есть нравственное явленіе. Но какъ разнообразно можетъ быть это явленіе! Стоить только въ оплакиваемомъ несчастіи переимѣнить опредѣленіе времени, и состраданіе обнаружится совсѣмъ иными признаками. Вмѣстѣ съ Электрою, **) плачущей надъ урною своего брата, мы чувствуемъ сострадательную печаль, потому что она считаетъ несчастіе совершившимся и оплакиваетъ понесенную ею утрату. То, что мы чувствуемъ при видѣ страданій Филоктета, тоже состраданіе, но нѣсколько иного свойства, потому что тѣ мученія, которыя переносятъ этотъ добродѣтельный человѣкъ, испытываются имъ на нашихъ глазахъ. А когда Эдипъ приходитъ въ ужасъ оттого, что вдругъ разоблачается великая тайна,.. когда чувствуетъ боязнь добродѣтельная Дездемона, потому что ея обыкновенно столь нѣжный Отелло начинаетъ говорить съ нею грознымъ тономъ,—что мы чувствуемъ при этомъ? Опять состраданіе! Но сострадательный страхъ, сострадательный ужасъ! Душевные движенія различны, но сущность чувствованій во всѣхъ этихъ случаяхъ одна и та-же. Такъ какъ всякая любовь сопряжена съ готовностью стать на мѣсто любимаго человѣка, то мы должны дѣлать съ любимой особою всякаго рода страданія, что и называется весьма выразительно состраданіемъ. Почему-же страхъ, ужасъ, гнѣвъ, радость, жажда мести и вообще всѣ непріятныя чувства не могутъ также происходить изъ состраданія? — Изъ этого видно, какъ неосновательно большая часть цѣнителей искусства дѣлитъ трагическія чувства на ужасъ и состраданіе. Ужасъ и состраданіе! Развѣ сценическій ужасъ не то же состраданіе? За кого ужасается зритель, когда Мeroпа ***)) поднимаетъ

*) Philosophische Schriften des Hrn Moses Mendelssohn, zweiter Theil, s 4.

Прим. автора.

**) Въ траг. Софокла, озаглавленной этимъ именемъ. Электра плачетъ, получивъ ложный слухъ о смерти отсутствующаго Ореста.

Пр. перес.

***)) «Меропа»—двѣ трагедіи этого имени—Маффен (1675—1755) и Вольтера.

сѣкиру надъ своимъ сыномъ? Конечно, не за себя, а за Эгиста, спасеніе жизни котораго такъ желательно, и за обманутую царицу, которая считаетъ его убійцею своего сына. Если мы назовемъ состраданіемъ скорбь, причиняемую намъ совершающимся несчастіемъ другаго лица, то должны отличать отъ состраданія въ собственномъ смыслѣ не только ужасъ, но и всѣ другія чувства, внушаемыя намъ другимъ человѣкомъ*.

Эти мысли такъ вѣрны, такъ ясны, такъ просты, что, казалось-бы, могли и должны были придти въ голову каждому. Однако я не хочу приписывать древнему философу остроумныхъ замѣчаній новаго философа; я очень хорошо знаю заслуги послѣдняго по отношенію къ ученію о смѣшанныхъ чувствахъ: только ему мы и обязаны истинною теоріею ихъ. Но то, что онъ такъ превосходно изложилъ, могъ въ общихъ чертахъ понимать и Аристотель. По крайней мѣрѣ несомнѣнно то, что Аристотель или думалъ такъ, что трагедія не можетъ и не должна возбуждать ничего иного, кромѣ состраданія въ собственномъ смыслѣ, ничего, кромѣ скорби о несчастіи другаго лица, — что едва-ли можно допустить, — или подъ словомъ состраданіе онъ разумѣлъ вообще всѣ чувства, внушаемыя намъ другимъ лицомъ.

Разумѣется, не Аристотель сочинилъ дѣленіе трагическихъ чувствъ на состраданіе и ужасъ, справедливо порицаемое. Его невѣрно поняли, невѣрно перевели. Онъ говоритъ о состраданіи и страхѣ, а не о состраданіи и ужасѣ; и его страхъ вовсе не тотъ, который возбуждается въ насъ несчастіемъ, предстоящимъ другому лицу, именно за это лицо, а тотъ, который является у насъ за самихъ себя, вслѣдствіе нашего сходства съ личностью страдающею; это страхъ за то, что бѣдствія, постигшія ее, могутъ постичь и насъ самихъ; это страхъ передъ тѣмъ, что мы сами можемъ сдѣлаться предметомъ состраданія. Однимъ словомъ, этотъ страхъ есть состраданіе, отнесенное къ намъ самимъ.

Подлинное объясненіе этого страха, который Аристотель соединяетъ въ трагедіи съ состраданіемъ, находится въ главахъ пятой и восьмой второй книги его *«Реторики»*.

[Аристотель] думалъ, что то бѣдствіе, которому предстоитъ вызвать наше состраданіе, должно непременно имѣть такое свойство, чтобы мы испугались его и за насъ самихъ или за одного изъ близкихъ намъ. Гдѣ нѣтъ этого страха, тамъ не можетъ быть мѣста и состраданію. Ибо ни тотъ, кого несчастіе такъ сильно поразило, что ему уже нечего больше

бояться за самого себя, ни тотъ, который считаетъ себя вполне счастливымъ, такъ что рѣшительно не понимаетъ, откуда можетъ разразиться надъ нимъ бѣда, стало быть ни отчаявшійся, ни надменный обыкновенно не чувствуютъ состраданія къ другимъ. Поэтому онъ объясняетъ также «страшное» и «заслуживающее состраданіе» — одно другимъ. „Для насъ страшно все то, говоритъ онъ, что возбудило-бы наше состраданіе“), еслибъ оно случилось или должно было случиться съ другимъ; а заслуживающимъ состраданія мы признаемъ все то, чего-бы мы боялись, еслибъ оно угрожало намъ самимъ“. Стало быть, мало того, что несчастный, къ которому мы должны имѣть состраданіе, не заслуживаетъ своего несчастія, хотя онъ навлекъ его на себя какою-нибудь слабостію: его страдающая невинность или, на-оборотъ, подвергшаяся слишкомъ сильной карѣ вина, не имѣетъ для насъ значенія, не въ состояніи возбудить наше состраданіе, если мы не видимъ, что его страданіе можетъ поразить и насъ. Но эта возможность есть, и она можетъ возрасти до степени сильной вѣроятности, если поэтъ изобразить своего героя не хуже того, чѣмъ мы обыкновенно бываемъ, если онъ заставитъ его думать и дѣйствовать такъ, какъ мы-бы думали и дѣйствовали въ его положеніи, или по крайней мѣрѣ полагаетъ, что мы должны-бы были думать и дѣйствовать. Однимъ словомъ, если онъ изобразитъ его человѣкомъ такого-же пошиба, какъ и мы. Въ силу этого сходства возникаетъ страхъ, что наша судьба легко можетъ быть такъ-же точно похожа на его судьбу, какъ мы сознаемъ себя похожими на него, и этотъ страхъ порождаетъ въ насъ состраданіе.

Такъ думалъ Аристотель о состраданіи, и только этимъ объясняется настоящая причина, почему онъ при толкованіи трагедіи рядомъ съ состраданіемъ называлъ только страхъ. Это не потому, конечно, что страхъ составляетъ здѣсь особый аффектъ, независимый отъ состраданія, который можетъ возбуждаться то вмѣстѣ съ состраданіемъ, то безъ него, равно какъ и состраданіе — то съ нимъ, то безъ него, какъ ложно толковалъ Корнель, но потому, что, по его толкованію состраданія, послѣднее необходимо заключаетъ въ себѣ страхъ. Только то вызываетъ наше состраданіе, что вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ возбуждать въ насъ и страхъ. 364—370.

*) Переводъ не совсѣмъ точенъ; у Аристотеля сказано: «возбуждаетъ», а не «возбудило-бы».

Корнель выводилъ на сцену мучениковъ и изображалъ ихъ, какъ личности вполне безукоризненные; онъ выводилъ и гнуснѣйшихъ негодеевъ въ лицѣ Прузія, Фоки, Клеопатры. Относительно обоихъ этихъ родовъ личностей Аристотель утверждаетъ, что онѣ не годятся для трагедіи, потому что не могутъ возбуждать ни состраданія, ни страха. 371.

Если Аристотель имѣлъ такое понятіе объ аффектѣ состраданія, что онъ необходимо долженъ соединяться со страхомъ за насъ самихъ, то какая была нужда еще особо упоминать о страхѣ? Онъ уже содержится въ понятіи о состраданіи, и достаточно было бы сказать, что трагедія должна очищать наши страсти, возбуждая состраданіе. Прибавка слова *страхъ* не даетъ ничего новаго и вноситъ въ слова Аристотеля путаницу и неопредѣленность *).

Отвѣчаю: если бы Аристотель хотѣлъ только показать намъ, какія страсти можетъ и должна возбуждать трагедія, то онъ, конечно, могъ бы не прибавлять слова *страхъ* и безъ сомнѣнія не прибавилъ бы его: не было философа скупѣе его на слова. Но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ показать намъ, какія страсти должны очищаться въ насъ страстями, вызываемыми трагедіею; съ этою цѣлью онъ и долженъ былъ упомянуть о страхѣ особо. Хотя, по его ученію, аффектъ состраданія вообще — и въ жизни, и въ театрѣ — не можетъ быть безъ страха за насъ самихъ, хотя онъ и считаетъ его необходимымъ ингредиентомъ состраданія, однако, обратное не имѣетъ мѣста, и состраданіе къ другимъ не составляетъ

*) Дёрингъ (см. Philologus, Bd. XXI s. 506 ff. и Bd. XXVII s. 702 ff., также его Kunstlehre des Ar's s. 306—318) указываетъ на то, что Лессингъ не вполне ясно отличаетъ собственно страхъ, какъ онъ опредѣляется въ указанномъ (гл. 5 и 8 книги 2-й) мѣстѣ *Реторики*, отъ трагическаго страха, мыслимаго въ связи съ состраданіемъ. О первомъ Аристотель прямо говоритъ, что онъ съ одной стороны вызывается несчастіями, грозящими намъ, которыхъ трагедія не имѣетъ задачи указывать, а съ другой дѣлаетъ человѣка неспособнымъ къ состраданію, указывая ему на собственное его положеніе. Напротивъ, трагическій страхъ, возбуждаемый въ насъ не мыслью о нашемъ положеніи, а объ участи людей вообще, есть «смутное сознаніе вообще возможности несчастія и непрочности нашего счастья». Изъ этого инстинктивнаго опасенія человѣка предъ ударами судьбы, которые могутъ постигнуть его самого или близкихъ ему, какъ изъ общаго корня, при представленіи трагедіи возникаютъ два аффекта: съ одной стороны трагическій страхъ возрастаетъ до степени аффекта (πάθος), а съ другой является состраданіе. Въ логическомъ смыслѣ страхъ есть чувство первичное, а состраданіе вторичное, на дѣлѣ же оба они возникаютъ одновременно.

ингредиента страха за насъ самихъ. Какъ только кончается представленіе трагедіи, наше состраданіе проходитъ; и изъ всѣхъ испытанныхъ нами ощущеній у насъ остается лишь соединенный съ вѣроятностью бѣдствія страхъ, внушенный намъ относительно насъ самихъ тѣми бѣдствіями, которыми мы соболѣзновали. Его мы выносимъ изъ театра, а такъ какъ онъ, въ качествѣ ингредиента состраданія, способствуетъ очищенію страданія, то, какъ чувство сохранившееся, способствуетъ и своему собственному очищенію. Поэтому Аристотель и счелъ лишнимъ упомянуть о немъ особо, чтобы показать, что онъ можетъ это дѣлать и дѣйствительно дѣлаетъ. 377—378.

§ 12. Филантропія (человѣколюбіе). — А что, если объясненіе, даваемое Аристотелемъ, не вѣрно? Что, если мы можемъ чувствовать состраданіе къ такимъ бѣдствіямъ и несчастіямъ, которыхъ никомъ образомъ не можемъ бояться за самихъ себя?

Правда, не нужно страха, чтобы испытывать скорбь при видѣ физическихъ страданій того лица, которое мы любимъ. Эта скорбь возникаетъ просто изъ представленія о несовершенствѣ его, равно какъ наша любовь изъ представленія о совершенствахъ, и изъ сочетанія этихъ чувствъ, пріятнаго и непріятнаго, происходитъ чувство смѣшанное, которое мы называемъ состраданіемъ.

Если мы и безъ страха за насъ самихъ можемъ чувствовать состраданіе къ другимъ, то все-таки, безспорно, наше состраданіе, коли къ нему присоединяется тотъ страхъ, будетъ гораздо живѣе, сильнѣе и глубже, чѣмъ безъ него. А что мѣшаетъ намъ допустить, что смѣшанное чувство, вызываемое физическимъ страданіемъ любимаго лица, только благодаря присоединяющемуся къ нему страху за насъ усиливается до того, что заслуживаетъ названіе аффекта?

Аристотель дѣйствительно допустилъ это. Онъ разсматриваетъ состраданіе не съ точки зрѣнія его первоначальныхъ проявленій, а просто какъ аффектъ. Не отрицая первыхъ, онъ только не согласенъ называть искру пламенемъ. Сострадательныя чувствованія безъ страха за насъ самихъ онъ называетъ филантропіею, и только болѣе сильныя чувствованія этого рода, которыя соединены со страхомъ за насъ самихъ, называетъ онъ состраданіемъ. Стало быть, хотя онъ и утверждаетъ, что несчастія злодѣя не возбуждаютъ ни нашего состраданія, ни страха, но не отказываетъ ему совершенно въ способности тронуть насъ. И злодѣй все-таки

человѣкъ, такое существо, которое при всѣхъ своихъ нравственныхъ недостаткахъ имѣетъ настолько еще хорошихъ качествъ, что мы не желаемъ его гибели и уничтоженія и испытываемъ нѣчто похожее на состраданіе, нѣкоторымъ образомъ задатки состраданія. Но, какъ уже сказано выше, Аристотель называетъ это чувство, похожее на состраданіе, не состраданіемъ а филантропіею. «Не слѣдуетъ», говоритъ онъ, изображать злодѣя переходящимъ отъ бѣдственнаго положенія къ благополучному, потому что оно — самое нетрагичное, какое только можетъ быть, и въ немъ нѣтъ ничего такого, что должно быть: оно не возбуждаетъ ни чувства человеколюбія, ни состраданія и страха. Это не долженъ быть и совершеннѣйшій злодѣй, переходящій изъ блестящаго положенія въ бѣдственное, потому что подобное событіе можетъ, конечно, возбуждать чувство филантропіи, но не можетъ возбуждать ни состраданія, ни страха». 172—175.

§ 13. Объ очищеніи страстей. — Состраданіе и страхъ, возбужденные трагедіею, должны очищать наше состраданіе и нашъ страхъ, и только ихъ одни, а не другія какія-либо страсти. Конечно, въ трагедіи могутъ встрѣтиться поученія и примѣры, полезные для очищенія другихъ страстей, но это не составляетъ ея цѣли. Онѣ у нея общія съ поэмой и комедіей, поскольку трагедія есть поэтическое произведеніе, вообще подражаніе дѣйствию, а не поскольку она есть трагедія, т. е., преимущественно подражаніе дѣйствию, заслуживающему состраданія. Всѣ виды поэзіи должны исправлять насъ. Прискорбно, если это приходится еще доказывать, а еще прискорбнѣе, если есть поэты, сомнѣвающиеся даже въ этомъ. Но не всѣ виды поэзіи въ состояніи исправлять все, но крайней мѣрѣ не каждый можетъ такъ радикально исправлять извѣстныя качества, какъ другой. Но значеніе каждаго вида опредѣляется тѣмъ, что онъ можетъ исправить всего удовлетворительнѣе, такъ что другіе виды не могутъ равняться съ нимъ въ этомъ отношеніи.

«Какимъ образомъ трагедія возбуждаетъ состраданіе и страхъ», говоритъ Дасье *), «чтобъ очистить состраданіе и страхъ, это не трудно понять. Она возбуждаетъ ихъ, изображая передъ нами несчастіе, въ которое повергнуты подобные намъ люди вслѣдствіе непреднамѣренныхъ ошибокъ. И она очищаетъ ихъ, ознакомля съ этимъ самымъ несчастіемъ

*) Андре Дасье (1651—1722), французск. учевый переводчикъ «Поэтики» Аристотели.

и этимъ научая не слишкомъ бояться его и не слишкомъ удручаться горемъ въ томъ случаѣ, еслибы бѣдствіе дѣйствительно постигло насъ самихъ. — Она приготовляетъ людей мужественно переносить самые бѣдственные случаи и вселяетъ въ самыхъ несчастныхъ готовность считать себя счастливыми, сравнивая собственные несчастія съ гораздо болѣе ужасными, какія изображаетъ имъ трагедія. Въ какомъ положеніи долженъ находиться человѣкъ, чтобы при видѣ Эдипа, Филоклетета, Ореста не сознавать, что всѣ бѣдствія, которыя могутъ его постигнуть, далеко не могутъ идти въ сравненіе съ тѣми, какія приходится испытывать этимъ людямъ?»

[Лессингъ находитъ, что Дасье не вполне изчерпалъ понятіе объ Аристотелевомъ «очищеніи страстей»; но, не соглашаясь съ прежними комментаторами, и самъ оставляетъ вопросъ объ «очищеніи» открытымъ, ограничиваясь только общимъ замѣчаніемъ, что «трагическое состраданіе должно не только по отношенію къ состраданію очищать душу того, кто чувствуетъ сильное состраданіе, но и того, кто чувствуетъ его слишкомъ слабо. Трагическій страхъ долженъ въ отношеніи страха не только очищать душу того, кто не боится совсѣмъ никакого несчастія, но и того, кого приводитъ въ опасеніе всякое несчастіе, даже самое отдаленное, самое невѣроятное. Равнымъ образомъ трагическое состраданіе относительно страха и трагическій страхъ относительно состраданія должны проявляться въ мѣру, не допуская излишка или недостатка». Такимъ образомъ Лессингъ смотритъ на «очищеніе страстей», какъ на «количественное измѣненіе аффектовъ, какъ на переработку изъ нихъ умѣренного положенія»; по справедливости своего взгляда нигдѣ, въ дальнѣйшемъ, не доказываетъ]. 382—387.

§ 14. Фабула и составъ трагедіи. — Аристотель въ особенности совѣтуетъ трагическому поэту искусно задумывать и сочинять фабулу и именно хочетъ облегчить для него этотъ трудъ нѣкоторыми дѣльными замѣчаніями. Въдѣ главнымъ образомъ хорошая фабула составляетъ отличительное достоинство поэта: изображеніе нравовъ, душевнаго настроенія и выраженіе удадутся десятинымъ противъ одного, безукоризненно составляющаго фабулу. А фабулу онъ опредѣляетъ, какъ подражаніе дѣйствию (*πράξις*); дѣйствіе же, по его ученію, есть сдѣяніе событій (*συυδесиς πρᾶγμᾶτων*). Дѣйствіе — это цѣлое, а событіе — отдѣльныя части этого цѣлаго; а такъ какъ достоинство всякаго цѣлаго зависитъ отъ достоинства его

частей и ихъ сочетанія, то и трагическое дѣйствіе представляется болѣе или менѣе совершеннымъ, смотря потому, въ какой мѣрѣ событія, входящія въ его составъ, каждое въ отдѣльности и все вмѣстѣ, соотвѣтствуютъ цѣлямъ трагедіи. Далѣе, все событія, составляющія трагическія дѣйствія, онъ дѣлитъ на три главныя категоріи: переворотъ судьбы (перипетεία), узнаваніе (ἀναγνώρισις) и страданіе (πᾶθος). Что онъ понимаетъ подъ двумя первыми терминами, ясно показываютъ самыя названія; подъ третьимъ онъ разумѣетъ все то, что можетъ случиться бѣдственнаго и вѣдущаго къ гибели съ дѣйствующими лицами, т. е., смерть, раны, мученіе и т. п. Первые двѣ категоріи, переворотъ судьбы и узнаваніе, составляютъ тѣ признаки, которыми сложная фабула (μῦθος πηλεγυμένος) отличается отъ простой (ἀπλοῦς). Слѣдовательно, онъ не составляетъ существенныхъ ея принадлежностей, а только придаютъ дѣйствію болѣе разнообразія, а стало быть и болѣе прелести и интереса. Но дѣйствіе и безъ нихъ можетъ представлять единство, величіе и округленность. Напротивъ безъ третьей категоріи немислимо никакое дѣйствіе: въ каждой трагедіи долженъ быть изображенъ какой-нибудь видъ страданій (πᾶθος), будетъ-ли фабула ея простая, или сложная; только благодаря имъ достигается цѣль трагедіи, состоящая въ томъ, чтобы возбудить ужасъ и состраданіе*). Между тѣмъ не всякій переворотъ въ судьбѣ, не всякое узнаваніе, а лишь извѣстные виды ихъ способствуютъ достиженію этой цѣли и значительно облегчаютъ ея осуществленіе, другіе же виды скорѣе мѣшаютъ ей, чѣмъ содѣйствуютъ.

Съ этой точки зрѣнія Аристотель разсматриваетъ разные элементы трагическаго дѣйствія, подведенные имъ подъ три категоріи, каждый въ отдѣльности, и изслѣдуетъ, какой переворотъ въ судьбѣ, какое узнаваніе, какое изображеніе страданія всѣхъ лучше. Въ первомъ отношеніи онъ находитъ, что самый лучший переворотъ судьбы, т. е., наиболѣе способный возбудить и усилить ужасъ и состраданіе, тотъ, когда дѣйствующее лицо переходитъ изъ лучшаго состоянія въ худшее. Въ послѣднемъ отношеніи самое лучшее изображеніе страданія то, когда лица, среди которыхъ оно готовится, не знаютъ другъ друга, но узнаютъ въ тотъ самый моментъ,

*) Лессингъ нѣкоторое время употреблялъ слово *ужасъ* вмѣсто *страхъ*. См. выше.

когда роковой ударъ готовъ разразиться, такъ-что этимъ онъ устраняется. 196—197.

§ 15. Слогъ трагедіи. — «Мы употребили все средства», говоритъ Дидро *) (замѣтите, что онъ говоритъ преимущественно о своихъ соотечественникахъ), «для того, чтобы испортить драму. Мы заимствовали у древнихъ высокопарный стихъ, который годенъ лишь для языковъ, обладающихъ количествомъ слоговъ и рѣзкими акцентами, для просторныхъ театральнхъ сценъ; для декламации, положенной на ноты и сопровождаемой инструментальною музыкою; но мы отказались отъ простоты завязки и разговора, и отъ правдивости изображеній».

Дидро могъ бы указать еще на одну причину, по которой мы не можемъ всюду принять за образецъ слогъ древнихъ трагедій. Тамъ все дѣйствующія лица ведутъ бесѣду на открытомъ, публичномъ мѣстѣ, въ присутствіи толпы любопытнаго народа. Поэтому, они почти всегда должны говорить сдержанно, сохраняя свое достоинство; они не могутъ выражать свои мысли и ощущенія первыми попавшимися словами, а принуждены ихъ выбирать и взвѣшивать. Но мы, новѣйшіе писатели, отмѣнивши хоръ, болѣею частію заставляемъ бесѣдовать нашихъ героевъ въ четырехъ стѣнахъ; какое у насъ есть основаніе постоянно заставлять ихъ выражаться такимъ же красивымъ, изысканнымъ, риторическимъ языкомъ? Ихъ никто не слышитъ, кромѣ тѣхъ, кому они позволяютъ слушать себя; съ ними говорятъ только люди, участвующіе въ дѣйствіи вмѣстѣ съ ними, которые, слѣдовательно, находятся подъ вліяніемъ аффекта, а потому у нихъ нѣтъ ни охоты, ни времени взвѣшивать выраженія. Этого можно бы было ожидать только отъ хора, который хотя и участвовалъ въ ходѣ пьесы, однако никогда не дѣйствовалъ и болѣе высказывалъ сужденія о дѣйствующихъ лицахъ, чѣмъ принималъ истинное участіе въ ихъ судьбѣ. Напрасно въ этомъ случаѣ ссылаются на высокое положеніе этихъ лицъ. Знатныя особы научились выражаться лучше простаго человѣка, но не хлопчуть постоянно о томъ, чтобы выражаться лучше его, а особенно въ минуты возбужденія страстей, изъ которыхъ у каждой есть своего рода краснорѣчіе, внушаемое лишь природою, какого не преподается ни въ одной

*) Второй разговоръ въ приложеніи къ *Fils naturel*.

Прим. Лессинга.

школъ, и какое доступно одинаково какъ самому необразованному чело-вѣку, такъ и весьма образованному.

Изысканная, напыщенная, чопорная рѣчь несовмѣстна съ чувствомъ. Она не служитъ истиннымъ выраженіемъ ему и не можетъ его вызвать. Но чувство вполнѣ мирится съ самыми простыми, обыкновенными, даже грубыми словами и выраженіями. 292—293.

§ 16. Возбужденіе интереса къ дѣйствию трагедіи. — «Въ пьесахъ съ запутанной интригой», говоритъ Дидро *), «интересъ есть слѣдствіе скорѣ плана пьесы, чѣмъ рѣчей героевъ, — наоборотъ, въ пьесахъ простыхъ интересъ бываетъ слѣдствіемъ больше рѣчей, чѣмъ плана. Но отъ кого долженъ завистъ интересъ? Отъ дѣйствующихъ лицъ? или отъ зрителей? Зрители — больше ничего, какъ очевидцы событія, о которыхъ мы ничего не знаемъ. Слѣдовательно, надобно обратить вниманіе на дѣйствующія лица. Безспорно! Пусть они завязываютъ узелъ, сами того не замѣчая, пусть для нихъ все будетъ непроницаемо, пусть они приближаются постоянно къ развязкѣ, не предвидя ея. Если они въ волненіи, то и мы, зрители, должны сочувствовать имъ и ощущать тоже волненіе.

«Я далеко не думаю, вмѣстѣ съ большинствомъ писателей, разсуждавшихъ о драматическомъ искусствѣ, что развязку слѣдуетъ скрывать отъ зрителя, и полагаю, что взялся бы за трудъ, не превышавшій моихъ силъ, если бы задумалъ написать такую драму, въ которой развязка разоблачалась бы въ первой же сценѣ, такъ что я заинтересовалъ бы зрителя всего болѣе этимъ самымъ приѣмомъ.

«Для зрителя все должно быть ясно. Онъ долженъ быть повѣреннымъ каждому дѣйствующаго лица, знать все, что произошло раньше, и что теперь происходитъ, и найдется сотня моментовъ, когда нельзя ничего лучше сдѣлать, какъ прямо объяснить ему напередъ, что еще произойдетъ. О вы, составители общихъ правилъ! какъ мало вы понимаете искусство и какъ мало обладаете гениемъ, создавшимъ тѣ образцы, на которыхъ вы ихъ основываете, — правилъ, которые онъ можетъ нарушать, сколько ему угодно!

«Принимайте моя мысли за какіе угодно парадоксы; я твердо убѣжденъ въ томъ, что на одинъ случай, когда отъ зрителя слѣдуетъ скры-

вать важное событіе до тѣхъ поръ, пока оно совершится, приходится десятое и даже болѣе такихъ, когда интересъ требуетъ обратнаго приема. Поэтъ своею таинственностью готовитъ мнѣ моментальное изумленіе; а въ какое продолжительное безпокойство онъ повергъ бы меня своею сообщительностью. Я лишь на одинъ моментъ буду сожалѣть о томъ, кто моментально сраженъ и удрученъ. Но что будетъ происходить во мнѣ во все то время, когда я ожидаю удара, когда я вижу, какъ гроза собирается надъ моею головою или надъ головою другаго и долгое время виситъ надъ нею?..

«Пусть всѣ дѣйствующія лица не знаютъ другъ друга, если вы хотите, но зритель долженъ знать всѣхъ ихъ. Я даже почти готовъ утверждать, что такой сюжетъ, въ которомъ умолчанія необходимы, есть сюжетъ неблагоприятный, что такой планъ пьесы, въ которомъ съ нимъ прибѣгаютъ, не такъ хорошъ, какъ тотъ, въ которомъ обходятся безъ нихъ. Въ немъ никогда не найдется повода къ сильнымъ впечатлѣніямъ; мы постоянно будемъ заняты подготовленіями, которыя или слишкомъ темны, или слишкомъ ясны. Все произведеніе будетъ сдѣланиемъ мелкихъ искусственныхъ приѣмовъ, при помощи которыхъ можно достигъ лишь ничтожныхъ сюрпризовъ. Напротивъ, если зрителю будетъ извѣстно все, касающееся дѣйствующихъ лицъ, то такое условіе будетъ, какъ я предвижу, источникомъ самыхъ сильныхъ душевныхъ волненій...

«Почему нѣкоторые монологи производятъ такое могучее дѣйствіе? Потому, что они знакомятъ съ тайными замыслами дѣйствующаго лица, и такая откровенность тотчасъ же порождаетъ во мнѣ страхъ или надежду. Если настроеніе духа дѣйствующихъ лицъ неизвѣстно, то зритель не можетъ интересоваться дѣйствіемъ больше, чѣмъ сами эти лица; но интересъ его удваивается, если это ему хорошо извѣстно, и онъ чувствуетъ, что и дѣйствія и рѣчи героевъ были бы совершенно иныя, еслибъ они знали другъ друга. Тогда только вы заставите меня съ нетерпѣніемъ ждать, что съ ними будетъ, когда они въ состояніи сопоставить то, что они есть, съ тѣмъ, что они сдѣлали или хотѣли сдѣлать». 242—244.

§ 17. Привидѣнія въ трагедіи. — Появленіе духа было смѣлымъ нововведеніемъ во французской трагедіи, и поэтъ *), рѣшившійся на него,

*) Въ своей „Теоріи драматической поэзіи“, составляющей приложение къ *Отцу Семейства* (ed. Amsterdam, 1759 г., том. II, р. 249). Примеч. Лессинга.

*) Вольтеръ, въ *Семирамидѣ* (траг. въ 5 д.) котораго появляется духъ Нина.

оправдывает его такими своеобразными доводами, что слѣдуетъ нѣсколько остановиться на этомъ вопросѣ.

«И кричали, и писали повсюду», говоритъ Вольтеръ: «что уже больше не вѣрятъ въ привидѣнія, и что появленіе умершихъ въ глазахъ просвѣщенной націи представляется просто ребичествомъ.—Какъ?» возражаетъ онъ на это: «всѣ древности вѣрили въ подобное чудо, а намъ нельзя въ этомъ отношеніи слѣдовать древности? Какъ! наша религія освятила подобныя необычайныя устройства мудраго провидѣнія, а намъ будетъ казаться смѣшнымъ, когда ихъ возобновляютъ!» *)

Мнѣ кажется, что въ этихъ возгласахъ больше реторики, чѣмъ основательности. Прежде всего я желалъ бы, чтобы религія оставалась въ этомъ случаѣ въ сторонѣ. Въ вопросахъ изящнаго и критики, заимствованными изъ нея доводами легко можно заставить противника замолчать, но убѣдить его ими нельзя.

Совершенно справедливо! Вся древность вѣрила въ привидѣнія. Поэтому драматическіе поэты древности имѣли право пользоваться этою вѣрой; если у кого нибудь изъ нихъ являются пришепцы съ того свѣта **), то не слѣдуетъ вооружаться противъ этого на основаніи нашихъ болѣе просвѣщенныхъ взглядовъ. Но имѣетъ ли тоже самое право новѣйшій поэтъ, который раздѣляетъ наши болѣе просвѣщенные взгляды? Разумѣется, нѣтъ. Но если дѣйствіе его драмы относится къ той болѣе легковѣрной эпохѣ? И въ этомъ случаѣ тоже не имѣетъ права. Вѣдь драматическій поэтъ не историкъ; онъ не рассказываетъ, чему вѣрили въ старину, какъ случившемуся, а еще разъ воспроизводитъ событіе передъ нашими глазами,—и воспроизводитъ не ради одной исторической истины, а съ другою, высшею цѣлью. Историческая истина для него не цѣль, а лишь средство, ведущее къ цѣли. Онъ хочетъ произвести иллюзію и этою иллюзіею растрогать насъ. Поэтому, если справедливо, что мы теперь болѣе не вѣримъ ни въ какія привидѣнія, если это невѣріе неизбѣжно нарушаетъ иллюзію, если безъ иллюзіи мы не можемъ сочувствовать тому, что поэтъ изображаетъ, то онъ будетъ поступать въ ущербъ себѣ, рассказывая намъ такіе небылицы, и все искусство, какое онъ употребитъ на нихъ, будетъ потрачено даромъ.

*) Въ Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne, предпосланной имъ трагедіи.

**) Наприм., тѣнь Дарія въ *Персидъ* Эсхила.

Слѣдовательно? Слѣдовательно никоимъ образомъ не дозволяется выводить на сценѣ привидѣній и духовъ?

Стало быть, для насъ этотъ источникъ ужаснаго и патетическаго изсяка? Нѣтъ, это была бы слишкомъ большая потеря для поэзіи, и развѣ нѣтъ примѣровъ, что геній смѣется надъ всякою философіею и умѣетъ представить страшными для нашего воображенія такіе вещи, которые холодному разсудку кажутся весьма смѣшными? Слѣдовательно: выводъ будетъ совершенно иной... Мы больше не вѣримъ въ привидѣнія. Что это значитъ? Значитъ ли это, что мы, наконецъ, такъ далеко подвинулись впередъ въ нашихъ взглядахъ, что можемъ доказать невозможность привидѣній? Нѣкоторые неопровержимыя истины, противорѣчащія вѣрѣ въ привидѣнія, настолько ли общеизвѣстны, что постоянно присущи сознанію даже простаго человѣка, такъ что все, что не согласно съ ними, должно казаться ему смѣшнымъ и нелѣпнымъ? Такого значенія эта фраза не можетъ имѣть. Мы не вѣримъ въ привидѣнія. Это можетъ только значить, что въ этомъ вопросѣ, относительно котораго можно сказать почти столько же за, сколько и противъ, который не рѣшенъ и не можетъ быть рѣшенъ, господствующее воззрѣніе болѣе склоняется на сторону отрицательныхъ доводовъ. Немногіе держатся этого образа мыслей, а большинство лишь показываетъ видъ, что держится его. Послѣдніе много кричатъ и даютъ тонъ. Громадная масса людей молчитъ, относится къ дѣлу равнодушно и думаетъ то такъ, то иначе, среди бѣлаго дня съ удовольствіемъ слушаетъ насмѣшки надъ привидѣніями, а во тьмѣ ночи дрожитъ отъ разсказовъ про нихъ.

Но невѣріе въ привидѣнія въ этомъ смыслѣ нисколько не можетъ и не должно помѣшать драматическому поэту прибѣгать къ нимъ. Зародышъ вѣры въ нихъ кроется въ душѣ у всѣхъ насъ, а чаще всего у тѣхъ, для кого поэтъ главнымъ образомъ творитъ. Отъ его искусства зависитъ — дать развиваться этому зародышу; извѣстными приемами онъ можетъ дать вѣсѣ доводамъ въ пользу ихъ существованія. Если онъ располагаетъ ими, то чему бы мы ни вѣрили въ обыденной жизни, на сценѣ онъ можетъ заставить насъ вѣрить, во что ему угодно.

Таковъ именно Шекспиръ, какъ поэтъ, но онъ почти единственный. При появленіи его привидѣнія въ *Гамлетѣ* волосы встаютъ дыбомъ на головѣ, все равно—принадлежитъ ли она человѣку, вѣрующему въ духовъ, или—невѣрующему.

Вольтеръ напрасно сослался на это привидѣніе: оно дѣлаетъ и его и его духъ Нина—просто смѣшными.

Привидѣніе Шекспира, дѣйствительно, пришло съ того свѣта: такъ это мы представляемъ себѣ. Оно является въ торжественный часъ, въ тишину ночи, внушающей страхъ, окруженное всею тою мрачною и таинственною обстановкою, въ какой мы привыкли ожидать и воображать его по разсказамъ няньки. Но духъ Вольтера не годится и на то, чтобы имъ пугать дѣтей; это просто переодѣтый комедіантъ, который не говоритъ и не дѣлаетъ ничего такого, что бы онъ долженъ говорить и дѣлать, дабы заставить вѣрить насъ, что онъ именно то, за что выдаетъ себя. Напротивъ, всѣ тѣ условія, при которыхъ онъ является, нарушаютъ иллюзію и показываютъ, что это выдумка холоднаго поэта. Онъ хѣтѣлъ бы и обмануть, и утратить насъ, но не знаетъ, какъ это сдѣлать. Примите во вниманіе только это одно: духъ Вольтера выходитъ изъ своей могилы среди бѣлаго дня, является въ собраніе государственныхъ сановниковъ, и о появленіи его возвѣщаетъ ударъ грома. Гдѣ это слышалъ Вольтеръ, что привидѣнія бываютъ такъ дерзки? Любая старуха могла бы сказать ему, что они боятся дневнаго свѣта и не любятъ являться въ многочисленное общество. Но Вольтеръ, безъ сомнѣнія, самъ зналъ это; но онъ настолько изысканъ, настолько щепетилентъ, что не хочетъ прибѣгать къ этой обычной обстановкѣ. Ему хотѣлось вывести на сцену привидѣніе болѣе благороднаго тона, и этимъ онъ испортилъ все дѣло. Такое привидѣніе, которое выбираетъ для себя обстановку и идетъ противъ всякаго преданія, противъ всего того, что считается приличнымъ между привидѣніями, по моему—не настоящее привидѣніе,—и все то, что въ этомъ случаѣ не поддерживаетъ иллюзію, разрушаетъ ее.

Привидѣніе у Вольтера—не что иное, какъ поэтическая пружина, которая нужна только для связи дѣйствія; само по себѣ оно ни мало не интересуетъ насъ. Напротивъ, привидѣніе Шекспира есть лицо по истинѣ дѣйствующее, въ судьбѣ котораго мы принимаемъ участіе; оно внушаетъ намъ не только ужасъ, но и состраданіе.

Эта разниця, безъ сомнѣнія, произошла отъ разныхъ взглядовъ обоихъ поэтовъ на привидѣнія. Вольтеръ смотритъ на появленіе умершаго, какъ на чудо, а Шекспиръ—какъ на явленіе совершенно естественное. О томъ, кто изъ нихъ мыслить болѣе философски, не можетъ быть и рѣчи; но Шекспиръ болѣе мыслитъ въ духѣ поэзіи. Духъ Нина явился у Воль-

тера, какъ такое существо, которое за гробомъ уже недоступно чувствамъ радости и горя, къ которому, слѣдовательно, мы не можемъ чувствовать состраданія. Поэтъ просто хотѣлъ показать намъ, что высшее существо можетъ допустить и исключеніе изъ своихъ вѣчныхъ законовъ, чтобы разоблачать и покарать тайныя преступленія.

Я не хочу сказать, что было ошибкою со стороны драматическаго поэта излагать свою фабулу такъ, чтобы она служила для разъясненія или подтвержденія какой нибудь великой нравственной истины. Но я осмѣливаюсь сказать, что это вовсе не нужно, что могутъ быть весьма поучительныя и безукоризненныя піесы, не имѣющія въ виду подобнаго назиданія, что неосновательно считать послѣднее нравственное изреченіе, которое мы находимъ въ концѣ нѣкоторыхъ трагедій древнихъ, цѣлью, для которой только и написано все произведеніе.

Поэтому, еслибы *Семирамида* Вольтера не отличалась никакими другими заслугами, кромѣ этой, которою онъ такъ превозносится, именно, что изъ нея можно научиться чтить верховное правосудіе, которое избираетъ необычайныя средства, чтобы покарать за необычайныя злодѣянія, то въ моихъ глазахъ эта піеса была бы только посредственною, тѣмъ болѣе, что и самая мораль не особенно назидательна. Безспорно, гораздо достойнѣе высшей мудрости—совсѣмъ не прибѣгать къ этимъ необычайнымъ средствамъ и воздаяніе за добро и зло подчинить общему порядку вещей. 54—59.

III. КОМЕДИЯ.

§ 18. Предметъ комедіи. — «Въ комедіи», говорятъ Дидро *), «изображается родъ, а въ трагедіи отдѣльная личность. Объяснюсь. Героемъ трагедіи бываетъ человекъ съ тѣми или другими качествами: это непременно Регулъ, или Брутъ, или Катонъ, и никто иной ихъ замѣнить не можетъ. Напротивъ, главное лицо въ комедіи должно представлять собою множество людей. Если ему придать такую своеобразную фізіономію,

*) Въ «Теоріи драмат. поэзіи», приложенной къ его комедіи «Отецъ семейства».
ПОЭТИКА

что на него будетъ походить только одна личность, то комедія воротится ко времени своего дѣтства и перейдетъ въ сатиру» *). 429.

Прежде всего я долженъ замѣтить, что Дидро ничѣмъ не доказываетъ своего положенія. Вѣроятно, онъ считаетъ его такою истиною, въ которой никто не будетъ и не можетъ сомнѣваться: стоитъ только подумать о ней, и ея основательность будетъ очевидна. Не опирается-ли онъ на истинныя имена трагическихъ героев? Такъ какъ имена ихъ — Ахиллесъ, Александръ, Катонъ и Августъ, а Ахиллесъ, Александръ, Катонъ и Августъ были, дѣйствительно, отдѣльныя личности, то онъ на этомъ основаніи заключилъ, что и все то, что поэтъ заставляетъ ихъ говорить и дѣлать въ трагедіи, можетъ быть прилично только этимъ, такъ названнымъ, отдѣльнымъ лицамъ и больше никому на свѣтѣ? Повидимому, такъ.

Но Аристотель уже двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ опровергъ это ошибочное мнѣніе и основалъ на противоположной истинѣ коренную разницу между исторіею и поэзіею, равно какъ и высшее благотворное дѣйствіе послѣдней въ сравненіи съ первою.

Въ отношеніи общности (типичности) Аристотель прямо не признаетъ никакого различія между дѣйствующими лицами трагедіи и комедіи. Какъ тѣ, такъ и другія, и даже герои эпоса, однимъ словомъ — всѣ лица, являющіяся въ поэтическомъ подражаніи, должны, безъ различія, говорить и дѣйствовать не такъ, какъ могло бы быть свойственно только имъ, но какъ говорилъ бы и дѣйствовалъ каждый, имѣющій ихъ свойства, при тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ. Въ этой общности (καθόλου — типичности) кроется причина, почему поэзія философичнѣе, слѣдовательно и назидательнѣе исторіи. Положимъ, справедливо, что комическій поэтъ, желающій дать своимъ лицамъ такія своеобразныя фізіономіи, что на нихъ походило бы только одно лицо въ цѣломъ свѣтѣ, возвратилъ бы комедію, какъ говоритъ Дидро, къ ея дѣтскому состоянію и превратилъ бы ее въ сатиру. Въ такомъ случаѣ столь же справедливо и то, что трагическій

*) Ямбическая (сатирическая) поэзія развилась у грековъ въ VII в. до Р. Х. изъ эпической. Первымъ, самымъ виднымъ, ея представителемъ былъ Архилохъ (жилъ ок. 700 года). Онъ рѣзко осмѣивалъ пороки и нелѣпости современниковъ, не щадя именъ и лицъ. Онъ писалъ свои стихотворенія ямбами, откуда и самая поэзія получила названіе ямбической. Его послѣдователи, Симонидъ и др., остались вѣрны этому направленію, и личные ожесточенныя нападки нѣкоторое время были характеристическими признаками этого рода поэзіи. *Пр. Пер.*

поэтъ, желающій изобразить только извѣстныхъ людей, только Цезаря и Катона, со всѣми тѣми свойствами, какія признаются за ними, не показывая, какъ связаны эти свойства съ характерами Катона и Цезаря, которые могутъ быть у нихъ общи со многими, лишитъ трагедію ея достоинства и низведетъ ее на степень исторіи. 437—439.

§ 19. Смѣхъ и насмѣшка. — Цѣль комедіи. — Всякая несообразность, всякое противорѣчіе заблужденія съ дѣйствительностью — смѣшны. Но смѣхъ и насмѣшка — двѣ вещи совершенно различныя. Мы можемъ смѣяться надъ человѣкомъ, смѣяться на его счетъ, нисколько не насмѣхаясь надъ нимъ. Это различіе неоспоримо и хорошо извѣстно; однако всѣ возраженія противъ благотворнаго дѣйствія комедіи, высказанныя въ послѣднее время Руссо *), объясняются только тѣмъ, что онъ недостаточно уяснилъ себѣ это различіе. Онъ, напримѣръ, говоритъ, что «Мольеръ заставляетъ насъ смѣяться надъ мизантропомъ, тогда какъ мизантропъ — честный человѣкъ въ піесѣ. Стало-быть Мольеръ оказывается врагомъ добродѣтели, относясь презрительно къ добродѣтельному». Нисколько; мизантропъ вовсе не дѣлается человѣкомъ, достойнымъ презрѣнія, а остается такимъ, какимъ былъ, и смѣхъ, вызываемый тѣми забавными положеніями, въ какія его ставитъ поэтъ, нисколько не уменьшаетъ нашего уваженія къ нему.

Комедія старается исправить людей смѣхомъ, а не насмѣшкою; и она не ограничивается исправленіемъ именно только тѣхъ пороковъ, надъ которыми смѣется, и только тѣхъ людей, которые заражены этими смѣшными слабостями. Ея истинная польза, общая для всѣхъ, заключается въ самомъ смѣхѣ, въ упражненіи нашей способности подмѣчать смѣшное, легко и быстро раскрывать его подъ разными масками страсти и моды, во всѣхъ его сочетаніяхъ съ другими еще худшими качествами, а также съ хорошими, даже подъ морщинами строгой серьезности. Если мы допустимъ, что *Скупой* Мольера не исправилъ ни одного скупого, а *Игрокъ* Реньяра ни одного игрока, — если согласимся, что смѣхъ никоимъ образомъ не можетъ исправить этихъ безумцевъ, тѣмъ хуже для нихъ, а не для комедіи. Если она не можетъ врачевать неизлѣчимо больныхъ, то съ нею достаточно и того, коли она будетъ укрѣплять силы здоровыхъ. Комедія *Ску-*

*) Руссо писалъ (Д'Аламберу), что театръ есть необходимое зло для порочныхъ большихъ городовъ, а для маленькихъ онъ вреденъ, потому что отучаетъ отъ труда, усиливаетъ мотовство и портитъ нравы. *Прим. перев.*

и ой назидательна и для щедрого, а *Ииронъ*—и для того, кто совѣмъ не играетъ; тѣ слабости, которыхъ они чужды, есть у другихъ, съ которыми имъ приходится жить; полезно знать тѣхъ, съ кѣмъ легко можно встрѣтиться въ обществѣ, полезно предохранять себя отъ неблагоприятныхъ впечатлѣній, производимыхъ примѣромъ. Предохранительная мѣра есть тоже отличное лѣкарство, и въ цѣлой морали нѣтъ средства болѣе сильнаго и дѣйствительнаго, какъ смѣхъ. 148—149.

IV. ТРАГЕДІЯ И КОМЕДІЯ,—ИХЪ СХОДСТВО И РАЗЛИЧІЕ.

§ 20. О характерахъ въ трагедіи и комедіи.—[Ричардъ Гёрдъ, показавъ], что трагедіи болѣе свойственно изображать дѣйствительныя событія, а комедіи—вымышленныя, продолжаетъ: «Въ томъ же духѣ изображаютъ оба вида драмы и свои характеры. Комедія придаетъ своимъ характерамъ значеніе общихъ типовъ, трагедія — частныхъ. *Скупой* Мольера есть не столько изображеніе скарднаго человѣка, сколько самой скардности. Напротивъ, *Иеронъ* Расина есть не изображеніе жестокости, а жестокаго человѣка».

Гёрдъ, повидимому, разсуждаетъ такъ: если для трагедіи требуется истинное событіе, то и характеры ея должны быть истинны, т. е., таковы, какъ обнаруживаются въ дѣйствительности. Если напротивъ комедія можетъ довольствоваться вымышленными событіями, если для нея лучше вѣроятныя событія во всемъ ихъ объемѣ, чѣмъ истинныя, то и ея характеры должны быть болѣе общіе (типичны), чѣмъ въ природѣ, такъ какъ наше воображеніе приписываетъ типу извѣстнаго рода бытіе, которое относится къ дѣйствительному бытію отдѣльной единицы такъ же, какъ вѣроятность къ реальности.

«Но, продолжаетъ онъ, здѣсь слѣдуетъ избѣгать двухъ ошибокъ, которыми, повидимому, благоприятствуется указанный принципъ.

«Первая касается трагедіи, которая, какъ я сказалъ, изображаетъ индивидуальныя характеры. Я полагаю, что ея характеры индивидуальнѣе характеровъ комедіи. Это значитъ: цѣль трагедіи не требуетъ и не допускаетъ того, чтобы поэтъ сгруппировывалъ столько чертъ, изображающихъ нравы, какъ то допускается въ комедіи. Въ первой характеръ обна-

руживается лишь настолько, насколько этого непремѣнно требуетъ ходъ дѣйствія. Напротивъ, въ послѣдней тщательно подыскиваются и изображаются всѣ черты, которыми онъ обыкновенно отличается.

«Если я называю трагическій характеръ индивидуальнымъ, то хочу этимъ сказать только то, что онъ меньше комическаго можетъ представлять тотъ родъ, къ которому принадлежитъ, а не то, что несообразно съ общимъ должно быть изображено то, что считаютъ нужнымъ изображать въ отношеніи характера.

«Во-вторыхъ, что касается комедіи, то я сказалъ, что она должна изображать общіе (типичскіе) характеры, и привелъ въ примѣръ скупаго у Мольера, который болѣе соответствуетъ идеѣ *скупости*, чѣмъ личности дѣйствительнаго *скупца*. Но и здѣсь не слѣдуетъ принимать моихъ словъ въ смыслѣ слишкомъ тѣсномъ. Я нахожу, что Мольеръ въ этомъ случаѣ сдѣлалъ ошибку, но думаю, что при помощи удачныхъ толкованій и этотъ примѣръ разъяснить мою мысль.

«Такъ какъ комедія имѣетъ цѣлью изображать характеры, то я полагаю, что она всего вѣрнѣе достигнетъ своей цѣли, изображая эти характеры какъ можно общѣ (типичнѣе). Такимъ образомъ выведенное на сцену лицо будетъ представителемъ всѣхъ характеровъ этого рода. Поэтому чувство, ищущее вѣрности изображенія, можетъ найти для себя возможно большее удовлетвореніе. Но эта общность (типичность) не можетъ въ такомъ случаѣ распространяться на наши представленія о возможныхъ впечатлѣніяхъ характера, понимаемаго отвлеченно, но лишь на дѣйствительныя проявленія его сущности, насколько они подтверждаются опытомъ и могутъ имѣть мѣсто въ обыкновенной жизни. Въ этомъ отношеніи Мольеръ, а раньше его Плавтъ *) ошибся: вмѣсто портрета скупаго человѣка они дали намъ химерическое и несимпатичное изображеніе скупости, какъ страсти. Я называю химерическимъ изображеніемъ, потому что подлинника для него нѣтъ въ природѣ. Я называю это непріятнымъ изображеніемъ: такъ какъ это изображеніе простой, несмѣшанной, страсти, то ему недостаетъ того свѣта и тѣхъ тѣней, благодаря сочетанію которыхъ онъ

*) Въ своей комедіи «*Aulularia*» (Сосудъ скупаго), піесѣ очень хорошей, конецъ которой, къ несчастію, потерянъ. Тамъ изображенъ скряга Эвклионъ, который держитъ подъ очагомъ сосудъ съ деньгами, найденный имъ въ землѣ.

только и получает силу и жизнь. Этотъ свѣтъ и тѣни проистекаютъ отъ сочетанія разныхъ страстей, которыя вмѣстѣ съ главною или господствующею страстью составляютъ основу человѣческаго характера. Вѣдь признано, что драма должна изображать преимущественно человѣческую жизнь. Но господствующая страсть должна быть очерчена настолько общими (типичными) чертами, насколько то допускаетъ борьба ея въ природѣ съ другими страстями, чтобы тѣмъ рельефнѣе вышло изображеніе характера». 450—453.

§ 21. Имена, какъ выраженіе общности въ комедіи и трагедіи *).

Комики давали своимъ дѣйствующимъ лицамъ такія имена, которыя, по своему грамматическому составу, или производству, или иному значенію выражали свойства этихъ лицъ. Однимъ словомъ, они давали имъ имена со значеніемъ, какъ бы говорящія, которыя стоитъ только услышать, чтобы тотчасъ же знать, каковы будутъ тѣ лица, которымъ они даются. Я приведу относящееся сюда мѣсто Доната **: «Имена лицъ въ комедіяхъ должны имѣть значеніе и толкованіе по производству. Вѣдь было бы нелѣпо, если бы комикъ, явно вымышляя сюжетъ, давалъ лицамъ неподходящія имена, или занятія, несоотвѣтствующія именамъ. Поэтому вѣрный рабъ—Парменонъ [съ греч.—остающійся вѣрнымъ], не вѣрный—или Сириецъ или Геть [какъ азіатцы], воинъ—Тразонтъ [муже-

*) Аристотель, *Arg poet.*, с. IX, 1—7, по перев. Лессинга: «Общее есть то, что сталъ бы говорить такъ или иначе извѣстный человѣкъ, судя по вѣроятности или необходимости. Къ этому стремится поэзія, давая имена своимъ героямъ. Напротивъ, частное то, что сдѣлалъ Алкивиадъ или что съ нимъ случилось. Въ комедіи это очевидно, потому что, если фабула составлена по вѣроятности, то лицамъ даютъ произвольныя имена, а не поступаютъ такъ, какъ ямбическіе поэты, которые ограничиваются частностями. Въ трагедіи оставляютъ историческія имена по той причинѣ, что возможное — достовѣрно, а мы не вполне увѣрены въ возможности того, чего никогда не случилось; напротивъ, то, что случилось, очевидно должно быть возможнымъ, потому что будь оно невозможно, оно бы и не случилось. Однако и въ нѣкоторыхъ трагедіяхъ извѣстныхъ именъ только одно или два, а остальные вымышленны; въ нѣкоторыхъ же нѣтъ и ни одного историческаго имени, какъ напр. въ *Целотки* Агатона Агатонъ (458—401)—современникъ и соперникъ Эврипида; трагедія его не дошла до насъ]. Въ этой піесѣ и дѣйствіе, и имена дѣйствующихъ лицъ—все вымышленное, и однако она намъ правится». 438—439.

**) Элій Донатъ (IV в. до Р. X.)—знаменитый римск. грамматикъ и риторъ.

ственный] или Полемонъ [воинственный], юноша—Памфилъ [всѣми любимый] и т. п. При этомъ поэтъ, напротивъ, дѣлаетъ грубую ошибку, давая имя, противорѣчащее характеру и неподходящее къ нему, развѣ только умышленно выбираетъ противорѣчивое имя въ шутку, какъ, напр., мѣнялъ у Плавта дано имя Мизаргиридъ [ненавидящій деньги]». Кто хочетъ убѣдиться въ этомъ на большемъ количествѣ примѣровъ, тотъ пусть разсмотритъ имена у Плавта и Теренція. Такъ какъ всѣ ихъ піесы заимствованы съ греческаго, то и имена ихъ дѣйствующихъ лицъ греческія и по словопроизводству имѣютъ отношенія къ тому сословію, образу мыслей или иному чему, что эти лица могутъ имѣть общаго съ другими, хотя мы не всегда точно и съ увѣренностью можемъ объяснить это производство.

Можно прибавить, что даже и имена лицъ дѣйствительныхъ скорѣе обозначали собою типы, чѣмъ отдѣльныя лица. Подъ именемъ Сократа Аристофанъ хотѣлъ осмѣять и выставить опаснымъ человѣкомъ не одного Сократа, а всѣхъ софистовъ, занимавшихся воспитаніемъ молодыхъ людей. Его героемъ былъ вообще опасный софистъ, и онъ называлъ его Сократомъ только потому, что такимъ провозгласила Сократа молва. Поэтому многія черты не шли къ историческому Сократу, такъ что послѣдній могъ смѣло встать съ своего мѣста и предложить сравнить себя съ изображеніемъ. Но какъ плохо поймемъ мы сущность комедіи, если будемъ считать эти неподходящія черты просто произвольною клеветою, а не тѣмъ, чѣмъ онъ были на самомъ дѣлѣ, обобщеніемъ отдѣльной личности, возведеніемъ частнаго явленія въ общій типъ. 439—447.

Я хочу примѣнить сказанное къ употребленію въ трагедіи именъ дѣйствительныхъ лицъ. Сократъ Аристофана не представлялъ собою дѣйствительную личность, носившую это имя, да и не долженъ былъ представлять ее; этотъ олицетворенный идеалъ суетной и опасной школьной мудрости названъ былъ Сократомъ только потому, что Сократъ былъ отчасти извѣстенъ за подобнаго обманщика и соблазнителя, а отчасти долженъ былъ сдѣлаться еще извѣстнѣе съ этой стороны. Самое понятіе объ общественномъ положеніи и характерѣ, которое должно было соединяться съ именемъ Сократа, руководило поэтомъ при выборѣ имени. Такъ и представленіе о характерѣ, обыкновенно соединяемое нами съ именами Регула, Катона и Брута служить причиною, почему трагическій поэтъ даетъ своимъ героямъ эти имена. Онъ выводитъ на сцену Регула, Брута не съ тѣмъ, чтобы ознакомить насъ съ дѣйствительною жизнью этихъ людей и освѣ-

жить ее въ нашей памяти, но чтобы завлечь насъ изображеніемъ такихъ событій, которыя вообще могутъ и должны случиться съ людьми, имѣющими ихъ характеры.

Характеры въ трагедіи должны быть такими же общими типами, какъ и характеры въ комедіи. 448—450.

§ 22. Характеры и положеніе (ситуація) въ трагедіи и комедіи. — [По одинаковости положеній, въ которыхъ стоятъ герои двухъ комедій, можно-ли заключать, что одна изъ нихъ—оригиналь, а другая—копія?]

Въ одинаковыхъ положеніяхъ могутъ быть лица съ самыми различными характерами, — а такъ какъ въ комедіи характеры—главное дѣло, а положенія служатъ только средствомъ для того, чтобы дать имъ возможность обнаружиться, то надобно обращать вниманіе не на положенія, а на характеры, чтобы рѣшить, слѣдуетъ ли считать пьесу копіею, или оригиналомъ. Обратное этому слѣдуетъ поступать въ трагедіи, гдѣ характеры менѣе существенны, и страхъ и состраданіе преимущественно вызываются положеніями. Слѣдовательно, сходныя положенія дадутъ сходныя трагедіи, а не комедіи; напротивъ, сходные характеры дадутъ сходныя комедіи, тогда какъ въ трагедіяхъ они въ этомъ случаѣ вовсе не принимаются въ расчетъ. 259.

V. СМѢШАННАЯ ДРАМА (трагикомедія; слезливая, трогательная, комедія; мѣщанская трагедія).

§ 23. Мнѣніе Виланда объ основахъ трагикомедіи. — «Порицають у Шекспира», говоритъ Виландъ, «у того единственнаго изъ всѣхъ поэтовъ со времени Гомера, который отлично зналъ людей отъ короля до нищаго, отъ Юлія Цезаря до Джека Фальстафа, и провидѣлъ насевозъ при помощи непонятнаго намъ ясновидѣнія, — порицають то, что въ его пьесахъ нѣтъ никакого плана или есть весьма неудовлетворительный, неправильный и плохой придуманный. Комическое и трагическое у него странно перемѣшаны, и часто одно и то же лицо, которое вызвало на глаза наши слезы трогательнымъ языкомъ самой природы, черезъ нѣсколько мгновеній какою-нибудь странною выходкою или смѣшною фразою если не заставитъ васъ смѣяться,

то такъ охлаждаетъ, что послѣ этого ему трудно привести насъ опять въ желаемое для него настроеніе. Въ этомъ его упрекають, не сообразивъ того, что именно въ такомъ смыслѣ его пьесы и представляютъ вѣрную картину человѣческой жизни.

«Жизнь большей части людей и (если можно такъ выразиться) бытіе великихъ государственныхъ организмовъ, какъ скоро мы будемъ смотрѣть на нихъ, какъ на существа нравственные, похожи во многихъ отношеніяхъ на *великія—и—политическія драмы* *) въ старинномъ готическомъ **) вкусѣ. Поэтому весьма легко сдѣлать тотъ выводъ, что изобрѣтатели послѣднихъ были гораздо умнѣе, чѣмъ вообще думаютъ, и нисколько не имѣли тайнаго намѣренія выставить въ смѣшномъ видѣ человѣческую жизнь, — желали, но крайней мѣрѣ, настолько вѣрно подражать природѣ, насколько греки стремились украшать ее. Теперь мы ничего не будемъ говорить о случайномъ сродствѣ: въ этихъ пьесахъ [*великихъ—и—политическихъ драмахъ*], какъ и въ жизни, часто самыя главные роли выполняются именно самыми плохими актерами. Что можетъ быть поразительнѣе того сходства, какое есть между обоими родами ***) главныхъ и политическихъ драмъ относительно плана, раздѣленія и расположенія сценъ, завязки и развязки? Какъ рѣдко авторы ихъ спрашиваютъ самихъ себя: почему они то или другое обработали такъ, а не иначе? Какъ часто они поражаютъ насъ изображеніемъ такихъ событій, къ которымъ мы ни мало не подготовлены! Какъ часто видимъ мы, что дѣйствующія лица приходятъ и уходятъ, а между тѣмъ для насъ не понятно, зачѣмъ они пришли и зачѣмъ снова скрываются. Какъ многое въ обоихъ родахъ предоставлено случаю! Какъ часто весьма важныя дѣйствія происходятъ отъ самыхъ ничтожныхъ причинъ! Какъ часто къ вопросамъ серьезнымъ и важнымъ авторъ относится легкомысленно, а къ мелочнымъ — съ забавною серьезностью! И если, наконецъ, въ обоихъ рода драмахъ все было такъ ужасно перепутано и переплетено одно съ другимъ, что можно бы отчаяваться въ возможности развязки, то какъ счастливо какой набудь

*) Подъ именемъ *Haupt-und Staats-actionen* разумѣлись кровавыя драматическія представленія историческаго содержанія, написанныя напыщеннымъ языкомъ и переполненыя шутковскими сценами.

**) Въ смыслѣ грубаго, необработаннаго вкуса.

***) Между жизнью и поэзіей.

Прим. пер.

Прим. пер.

богъ, явившійся изъ бумажныхъ облаковъ при ударахъ грома и блескъ молніи, или сильный ударъ меча разомъ не развязываль, а разсѣкаль узелъ. Это въ сущности одно и то же, потому что піеса такъ или иначе кончается, и зрители могутъ хлопать или шикать, какъ имъ угодно. Между прочимъ, мы знаемъ, какую важную роль игралъ благородный арлекинъ (Hanswurst) въ трагикомедіяхъ, о которыхъ мы говоримъ. О, еслибъ онъ игралъ свою роль только на сценѣ! Но какъ много великихъ событій на всемірной сценѣ во все время совершились съ участіемъ арлекина и — что еще досаднѣе — именно имъ! Какъ часто великіе люди, призваніемъ которыхъ было — служить геніями-охранителями трона, благодѣтелями цѣлыхъ народовъ и вѣковъ, видѣли, что вся ихъ мудрость и храбрость обращались ни во что, благодаря шутовской продѣлкѣ арлекина или такихъ людей, которые вполне соответствовали ему по характеру, хотя и не носили его куртки и его желтыхъ штановъ. Какъ часто въ обоихъ родахъ трагикомедій завязка устраивается просто благодаря тому, что арлекинъ какою-нибудь глупою или шутовскою выходкою портить дѣло скромнымъ людямъ раньше, чѣмъ они могутъ остеречься!»

[Лессингъ не вполне раздѣляетъ взглядъ Виланда на смѣшанную драму]. Что трагикомедія вѣрно подражаетъ природѣ [говоритъ онъ], это — и правда, и неправда; она вѣрно подражаетъ ей только на половину, а въ остальномъ совершенно независима отъ нея: она подражаетъ природѣ въ ея явленіяхъ, но не обращаетъ вниманія на сферу нашихъ впечатлѣній и душевныхъ силъ.

[Высказавъ затѣмъ взглядъ на искусство (см. § 1-й), какъ на такое изображеніе сущности явленій, въ которомъ должно быть устранено все случайное и неважное, Лессингъ продолжаетъ]:

Если мы являемся свидѣтелями важнаго и трогательнаго событія, тѣсно связаннаго съ другимъ, менѣе важнымъ, то мы стараемся по возможности избѣгнуть разбросанности нашихъ представленій, которою намъ угрожаетъ послѣднее. Мы мысленно исключаемъ его, и поэтому намъ не пріятно снова встрѣтить въ искусствѣ то, чего мы избѣгаемъ въ дѣйствительности.

Только тогда именно, когда подобное событіе въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи сосредоточиваетъ на себѣ весь нашъ интересъ, и когда одно звено его не только слѣдуетъ за другимъ, но необходимо вытекаетъ изъ него, когда серьезность порождаетъ смѣхъ, печаль — радость, или наоборотъ,

такъ что намъ невозможно устранить того или другаго, только тогда мы не требуемъ устраненія его въ искусствѣ, и само искусство умѣетъ извлечь выгоду изъ этой неизбежности. 339—346.

VI. ложно-классическая теорія поэзіи.

§ 24. Аристотель, по толкованію Н. Корнеля *). — Все правила Аристотеля разсчитаны на то, чтобы при помощи ихъ трагедія могла произвести самое сильное впечатлѣніе. Что же дѣлаетъ съ ними Корнель? Онъ передаетъ ихъ въ искаженномъ видѣ и довольно плохо, а такъ-какъ онъ все-таки и при этомъ находилъ ихъ еще очень строгими, то для каждаго принскиваетъ какое-нибудь *смягченіе*, *благопріятное толкованіе*, лишаетъ ихъ силы и коверкаетъ, хитро перетолковываетъ и сводитъ ихъ къ чему. А для чего? — «Для того, чтобы не отвергнуть многихъ произведеній, которые имѣли успѣхъ на нашихъ сценахъ». Уважительная причина!

Я вкратцѣ коснусь главныхъ пунктовъ его теоріи.

1. Аристотель говоритъ: «трагедія должна возбуждать состраданіе и страхъ». А Корнель говоритъ: — о, да! но какъ случится; не всегда нужно то и другое вмѣстѣ. Мы довольствуемся и однимъ — теперь состраданіемъ безъ страха, а въ другой разъ страхомъ безъ состраданія. А иначе въ какомъ бы положеніи очутился я, великій Корнель, съ моимъ Родригомъ и моею Хименою? **). Эти добрыя дѣти возбуждаютъ состраданіе и — въ сильной степени, но страхъ — едвали. А съ другой стороны, что будетъ съ моею Клеопатрою, съ моимъ Прюзіемъ, съ моимъ Фокою? ***). Кто можетъ чувствовать состраданіе къ этимъ негодяямъ? Однако страхъ они возбуждаютъ. — Такъ думалъ Корнель, и французы были согласны съ нимъ.

2. Аристотель говоритъ: «трагедія должна возбуждать состраданіе и страхъ», понятное дѣло, при посредствѣ одного и того же лица. Кор-

*) См. выше: «О драмѣ», изъ разсужденій П. Корнеля.

**) Герой и героиня трагедіи *Сидъ*.

***) Дѣйствующія лица изъ піесъ Корнеля — *Родогюна*, *Никомедъ*, *Гераклій*.

нелъ говорить: „если такъ случится, то отлично; но въ этомъ крайней нужды нѣтъ: можно прибѣгать къ помощи разныхъ лицъ, чтобы возбудить два эти чувства, какъ я это сдѣлалъ въ моей *Родоюнтъ*“. Такъ поступилъ Корнель, и французы поступаютъ по его образцу.

3. Аристотель говоритъ: „состраданіемъ и страхомъ, которые возбуждаетъ трагедія, должны очищаться наше состраданіе и нашъ страхъ и все, относящееся къ нимъ“. Корнель объ этомъ ничего не знаетъ и воображаетъ, будто Аристотель хотѣлъ сказать: трагедія возбуждаетъ наше состраданіе для того, чтобы возбудить страхъ и этимъ страхомъ очистить въ насъ страсти, которыми навлекло на себя бѣдствіе лицо, вызвавшее сожалѣніе. Не буду говорить о достоинствѣ этой цѣли. Достаточно сказать, что это не цѣль Аристотеля; и что такъ какъ Корнель придалъ совершенно иную цѣль своимъ трагедіямъ, то самыя трагедіи его должны были сдѣлаться совсѣмъ другими произведеніями, чѣмъ тѣ, на основаніи которыхъ Аристотель говоритъ о своей цѣли. Трагедіи его должны были сдѣлаться не настоящими трагедіями. Но такими сдѣлались не только его творенія, но и всѣ французскія трагедіи, потому что авторы ихъ задавались цѣлью не Аристотеля, а Корнеля... Я знаю разные французскія піесы, въ которыхъ очень хорошо изображаются печальныя послѣдствія извѣстной страсти. Изъ нихъ можно извлечь много хорошихъ уроковъ относительно этой страсти. Но я не знаю ни одной піесы, которая возбуждала бы мое состраданіе въ такой степени, въ какой должна его возбуждать трагедія, а я знаю положительно изъ разныхъ греческихъ и англійскихъ піесъ, что она можетъ его возбуждать въ этой степени. Французскія трагедіи—это піесы весьма изящныя, весьма поучительныя, это произведенія, по моему мнѣнію, достойныя всякой похвалы, только это—не трагедіи. Авторы ихъ были люди, несомнѣнно, даровитые, и иные изъ нихъ занимаютъ видное мѣсто въ ряду поэтовъ. Но они не трагическіе поэты; и ихъ Корнель, Расинъ, Кребилонъ и Вольтеръ имѣютъ очень мало или вовсе не имѣютъ тѣхъ качествъ, которые Софокла сдѣлали Софокломъ, Эврипида—Эврипидомъ, а Шекспира—Шекспиромъ.

4. Аристотель говоритъ: «не слѣдуетъ въ трагедіи изображать несчастнымъ исполнѣ добродѣтельнаго человѣка безъ всякой вины со стороны его, потому что это возмутительно». «Совершенно справедливо», говоритъ Корнель: «такой исходъ возбуждаетъ скорѣе негодованіе и ненависть къ тому, кто является виновникомъ страданія, чѣмъ сочувствіе къ тому,

кого оно постигло. Поэтому первое чувство, которое собственно не должно вызываться трагедіею, при не особенно искусной обработкѣ, заглушило бы второе, которое по настоящему должно быть возбуждено. Зритель ушелъ бы съ представленія недовольный, потому что слишкомъ много гнѣвнаго чувства примѣшалось бы къ состраданію, которое оставило бы пріятное впечатлѣніе, будь оно одно. Но», прибавляетъ онъ, „если причина устранится, если поэтъ поведетъ дѣло такъ, что добродѣтельный, переносящій страданія, возбуждаетъ больше состраданія къ себѣ, чѣмъ досады на того, кто его заставляетъ страдать,—что тогда?—«О, въ такомъ случаѣ», говоритъ Корнель, «я полагаю, что не слѣдуетъ стѣснять-ся изображать на сценѣ и самыхъ добродѣтельныхъ людей въ бѣдственномъ положеніи». Я не понимаю, какъ можно говорить такія очевидныя нелѣпости, возражая философу, какъ можно дѣлать видъ, будто его понимаешь, заставляя его говорить такія вещи, о которыхъ онъ никогда и не думалъ.

Ровно ничѣмъ незаслуженное несчастіе хорошаго человѣка, говоритъ Аристотель, не можетъ быть сюжетомъ для трагедіи, потому что оно возмутительно. Это *потому-что*, эту причину, Корнель превращаетъ въ простое условіе, при которомъ событіе перестаетъ быть трагичнымъ. Аристотель говоритъ: это безусловно-возмутительно, а потому и не трагично; а Корнель говоритъ: это не трагично постольку, поскольку возмутительно. Этотъ возмутительный характеръ Аристотель видитъ въ самомъ родѣ бѣдствія, а Корнель полагаетъ его въ томъ негодованіи, которое возбуждается имъ противъ виновника его. Онъ не видитъ или не хочетъ видѣть, что то возмутительное есть нѣчто совершенно иное, чѣмъ это негодованіе, что если послѣдняго даже и совсѣмъ не будетъ, то первое можетъ обнаруживаться въ полной мѣрѣ. Достаточно того, что благодаря этому *quid pro quo*, повидимому, получается оправданіе для нѣкоторыхъ его піесъ, въ которыхъ онъ такимъ образомъ не видитъ погрѣшностей противъ правилъ Аристотеля. Напротивъ, онъ на столько высокомеренъ, что воображаетъ, будто у Аристотеля былъ просто недостатокъ въ подобныхъ піесахъ, чтобы на основаніи ихъ еще болѣе ограничить свое ученіе и вывести изъ нихъ разные способы,—какъ, не смотря на все это, несчастіе человѣка исполнѣ достойнаго можетъ быть сюжетомъ трагедіи. „Вотъ“, говоритъ онъ, «два или три способа, которыхъ Аристотель, можетъ быть, не былъ въ состояніи принять въ соображеніе, потому что

примѣровъ имъ еще не было на сценѣ въ это время“. И у кого беретъ онъ эти примѣры? У кого же, какъ не у себя самого? И какіе эти два или три способа? Мы сейчас увидимъ. — „Первый способъ тотъ, когда человѣкъ вполне добродѣтельный терпитъ гоненія отъ человѣка вполне порочнаго, но избѣгаетъ опасности, такъ что человѣкъ порочный самъ запугивается въ собственныхъ сѣтяхъ, какъ это мы видимъ въ *Родоюна* и *Геракли*. Было бы совсѣмъ изъ рукъ вонъ, еслибы въ первой пьесѣ погибли Антиохъ и Родоюна, во второй Гераклій, Пульхерій и Маркіанъ, а Клеопатра [въ *Родоюна*] и Фока [въ *Геракли*] восторжествовали. Несчастіе первыхъ возбуждаетъ наше состраданіе, не заглушаемое тѣмъ отвращеніемъ, какое мы чувствуемъ къ ихъ гонителю; мы постоянно надѣмся, что произойдетъ какой-нибудь счастливая случайность, которая не дастъ имъ погибнуть“... Въ сущности этотъ способъ вовсе не подходитъ къ тому случаю, о которомъ идетъ рѣчь. Вѣдь согласно съ нимъ добродѣтельный человѣкъ не дѣлается несчастнымъ, а несчастіе еще только предстоитъ ему. Это можетъ вызвать сочувственное опасеніе за него, нисколько не возмущая насъ. — А теперь перейдемъ ко второму способу. «Можетъ случиться также», говоритъ Корнель, «что весьма добродѣтельный человѣкъ терпитъ преслѣдованіе и гибнетъ по воль другого человѣка, не на столько порочнаго, чтобы возбуждать въ насъ сильное негодованіе: преслѣдуя добродѣтельнаго, онъ дѣлаетъ это больше по слабости характера, чѣмъ по злобѣ. Если Феликсъ допускаетъ погибнуть зятя своего Полиевкта^{*)}, то дѣлаетъ это не по непримиримой злобѣ къ христіанамъ, которая могла бы намъ внушать презрѣніе къ нему, а просто по раболовной трусости. Онъ боится пощадить его въ присутствіи Севера, потому что страшится его ненависти и мести. Мы, конечно, чувствуемъ нѣкоторое негодованіе противъ него и порицаемъ его поступокъ; но это негодованіе не пересиливаетъ нашего состраданія и нисколько не мѣшаетъ зрителямъ вполне примириться съ нимъ въ концѣ пьесы, послѣ его обращенія въ христіанство...» Личности съ характеромъ робкимъ, колеблющимся, нерѣшительнымъ, какъ Феликсъ, было бы неумѣстно выводить въ подобныхъ пьесахъ. Сверхъ того онъ и сами по себѣ дѣлаютъ пьесу холодной и непріятною, нисколько не смягчая ея возмутительнаго характера.

^{*)} Траг. Полиевкта.

Возмутительное, какъ уже сказано, заключается не въ томъ негодованіи или отвращеніи, которое онъ возбуждаютъ, а въ томъ, что несчастіе поражаетъ лицъ безвинныхъ. Какъ скоро оно поражаетъ ихъ безвинно, то намъ все равно, жестоки ли ихъ преслѣдователи, или слабохарактерны, поступаютъ ли они съ ними жестоко предумышленно, или безъ предвзятой цѣли. Возмутительна сама по себѣ та мысль, что могутъ быть люди, терпящіе бѣдствіе безъ всякой вины съ своей стороны. Язычники старались по возможности отдалить отъ себя эту возмутительную мысль, а мы будемъ развивать ее? Довольно съ насъ и такихъ зрѣлищъ, которыя ее поддерживаютъ! И религія и разумъ не должны ли убѣждать насъ въ томъ, что она столько же ложна, сколько и богохульна?

5. Корнель высказываетъ свои возраженія и противъ того, что Аристотель говоритъ о непригодности для трагедіи совершенно порочнаго героя, такъ какъ его несчастіе не можетъ возбудить въ насъ ни состраданія, ни страха. Впрочемъ и онъ согласенъ, что состраданія онъ возбудить не можетъ, но страхъ, по его мнѣнію, можетъ. Хотя ни одинъ изъ зрителей не считаетъ себя способнымъ къ такимъ преступленіямъ, слѣдовательно и не страшится въ полной мѣрѣ такого же несчастія, однако каждый можетъ имѣть въ себѣ какой-нибудь недостатокъ, близкій къ этимъ порокамъ, и научиться быть на сторожѣ вслѣдствіе страха хотя передъ менѣе тяжелыми, но все таки печальными его послѣдствіями. Но этотъ выводъ основанъ на ложномъ понятіи, какое имѣлъ Корнель о страхѣ и объ очищеніи страстей, которыя должны возбуждать трагедію, и тутъ онъ противорѣчитъ самъ себѣ. Я уже доказалъ, что возбужденіе состраданія не мыслимо безъ возбужденія страха, и если бы злодѣй могъ возбудить въ насъ страхъ, то непременно возбудилъ бы и состраданіе. А такъ какъ онъ не въ состояніи сдѣлать послѣдняго, съ чѣмъ согласенъ и Корнель, то для него невозможно и первое, а потому онъ и не можетъ способствовать достиженію цѣли трагедіи. Аристотель считаетъ его къ этому еще болѣе неспособнымъ, чѣмъ человѣка вполне добродѣтельнаго; онъ положительно требуетъ, чтобы въ томъ случаѣ, если нельзя взять героя среднихъ качествъ, выбирали скорѣе хорошаго, чѣмъ дурнаго. Причина ясна! человѣкъ можетъ быть очень хорошимъ и все-таки имѣть не одну слабость, сдѣлать не одинъ проступокъ, которымъ онъ навлекаетъ на себя тяжкое бѣдствіе, внушающее намъ состраданіе и огор-

ченіе, ни мало не возмущая насъ, потому что это—естественное слѣдствіе его проступка.

6. Наконецъ, какъ превратно истолковано первое и самое существенное качество, котораго Аристотель требуетъ относительно характеровъ трагическихъ героев! Характеры должны быть честны. Честны? говоритъ Корнель. «Если здѣсь *честны* употреблено въ смыслѣ добродѣтельныхъ качествъ, то получите плохой выводъ относительно многихъ древнихъ и новыхъ трагедій, въ которыхъ встрѣчается довольно много личностей дурныхъ и порочныхъ или по крайней мѣрѣ съ такими слабостями, которыя совѣмъ не уживаются съ *добродѣтелями*». Онъ особенно боится за свою Клеопатру въ *Родогонъ*. Поэтому честности, которой требуетъ Аристотель, онъ не хочетъ принимать въ смыслѣ нравственной безукоризненности; это, вѣроятно, другаго рода хорошее качество, которое—какъ сомѣстимо съ нравственнымъ зломъ, такъ и съ нравственнымъ благомъ. Однако, Аристотель прямо говоритъ о нравственномъ качествѣ, только, по его понятіямъ, лица добродѣтельныя и лица, при извѣстныхъ условіяхъ обнаруживающія добродѣтельные качества,—не одно и тоже. Корнель связываетъ совершенно ложное понятіе со словомъ *характеръ*, и онъ не понималъ, что такое цѣль (*Proairesis*—у Аристотеля, собственно преднамѣренность), въ силу которой свободныя дѣйствія человѣка, по ученію нашего міроваго мудреца, доказываютъ хорошую или дурную нравственность.

Я не могу здѣсь вдаваться въ подробныя разъясненія. Здѣсь важно только показать, какую неудачную уловку придумалъ Корнель, сбившись съ вѣрнаго пути. Уловка его клонилась къ тому, чтобы показать, что Аристотель подъ хорошими нравами разумѣетъ блестящій или возвышенный характеръ какой-либо добродѣтельной или порочной склонности, какаѣ или свойственна изображенному лицу, или удобно можетъ быть ему приписана: «Клеопатра, въ *Родогонъ*»,—говоритъ онъ: «до крайности зла; нѣтъ такого убійства, котораго бы она погнушалась, лишь бы только съ его помощью удержаться на престолѣ, который ставить выше всего на свѣтѣ,—такъ сильно въ ней властолюбіе. Но всѣ ея преступленія сопряжены съ нѣкоторымъ величіемъ души, и въ ней есть нѣчто столь возвышенное, что, осуждая ея поступки, мы все-таки должны удивляться тому источнику, изъ котораго они истекаютъ. Тоже самое позволю себѣ сказать и

о *Лжецѣ* *). Безспорно, лгание—привычка дурная; но Дорантъ лжетъ съ такимъ присутствіемъ духа, съ такимъ одушевленіемъ, что этотъ недостатокъ какъ-то хорошо идетъ къ нему, и зрители невольны сознаются, что талантъ такъ лгать есть такой порокъ, къ которому не способенъ ни одинъ глупецъ». Трудно было, поистинѣ, напасть Корнелю на сюжетъ болѣе пагубный! Приведите эту мысль въ исполненіе, и трагедія утратитъ всякую правду, всякое очарованіе, всякое нравственное значеніе! Добродѣтель, всегда простая и скромная, благодаря этой блестящей личности, сдѣлается суетною и романтичною, а порокъ покроется такимъ лоскомъ, который ослѣпитъ насъ, съ какою бы точки зрѣнія мы ни смотрѣли на него. Неразумно стараться отклонить отъ порока, лишь указывая на его печальныя послѣдствія и скрывая при этомъ его внутреннее безобразіе. Послѣдствія случайны, и опытъ показываетъ, что они столь же часто могутъ быть благопріятными, какъ и печальными. Это относится къ очищенію страстей, какъ его разумѣлъ Корнель. Но какъ я его себѣ представляю, и какъ училъ Аристотель, оно рѣшительно несовмѣстно съ этимъ обманчивымъ блескомъ. Фальшивый лоскъ, придаваемый такимъ образомъ пороку, заставляетъ меня видѣть достоинства тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, чувствовать состраданіе къ тому, что его не заслуживаетъ. 400—410.

7. Три единства **). Единство дѣйствія было у древнихъ первымъ закономъ драмы; единства времени и мѣста были, такъ сказать, только слѣдствіями его, которыя они едва ли соблюдали бы такъ же строго, какъ того необходимо требовало первое условіе, если бы хоръ не являлся связующимъ началомъ. Представленія должны были непременно совершаться въ присутствіи массы народа, и эта масса постоянно была одна и та же, которая не могла уходить на большое разстояніе отъ своихъ жилищъ и на болѣе долгое время, чѣмъ это обыкновенно дѣлается изъ простаго любопытства. Поэтому они и должны были довольствоваться для мѣста одною и тою же

*) *Le Menteur*, комедія Корнеля, въ 5 д., въ стихахъ.

**) Аристотель требуетъ въ своей «Наукѣ о поэзіи», чтобы «дѣйствіе было исполнѣнъ замкнуто въ самомъ себѣ и составляло цѣлое опредѣленнаго размѣра» (VI, 2), чтобы части «фабулы такъ слагались изъ событій, что еслибъ одна изъ частей была переставлена или отпята, то и цѣлое бы распалось» (VIII, 4), наконецъ, «чтобы дѣйствіе закончилось отъ восхода до захода солнца, или продолжалось немногимъ дольше этого срока» (V, 4). На этомъ ученіи французы и основали свои знаменитыя правила о трехъ единствахъ.

площадью, а время ограничивать однимъ и тѣмъ же днемъ. Они подчинялись этому требованію *bona fide* (добросовѣстно), но съ такою свободою и съ такимъ умомъ, что на семь разъ изъ девяти гораздо больше выигрывали отъ этого, чѣмъ теряли. Этою необходимостью они воспользовались, какъ поводомъ, — до такой степени упростить самое дѣйствіе, такъ тщательно отдѣлать отъ него все лишнее, что оно, ограниченное самыми существенными составными частями, было не чѣмъ инымъ, какъ идеаломъ этого дѣйствія, развившагося всего свободнѣе въ той именно формѣ, которая весьма легко могла обойтись безъ прибавочныхъ условій времени и мѣста.

Напротивъ, французы, не находившіе никакой прелести въ истинномъ единствѣ дѣйствія, избалованные бессмысленными интригами испанскихъ піесъ *) раньше, чѣмъ ознакомились съ греческою простотою, смотрѣли на единства времени и мѣста не какъ на слѣдствія перваго единства, но какъ на самостоятельныя требованія при изображеніи дѣйствія, которыя они должны примѣнять къ болѣе обширнымъ и запутаннымъ дѣйствіямъ съ такою строгостью, какъ того могло бы требовать участіе хора, отъ котораго они, однако, совсѣмъ отrekliсь. Но такъ какъ они видѣли, какъ это трудно, часто даже невозможно, то вошли въ сдѣлку съ тиранскими правилами, отъ которыхъ не имѣли мужества отказаться. Въмѣсто одного мѣста они придумали неопредѣленную мѣстность, подъ которою можно было разумѣть то ту, то другую. Довольно было и того, чтобы эти мѣстности отстояли не слишкомъ далеко одна отъ другой, и чтобы ни одна не требовала особаго убранства, но чтобы одно и то же украшеніе могло приблизительно служить какъ для одной, такъ и для другой. Въмѣсто единства дня **) они ввели единство неопредѣленнаго времени и признавали за

*) Испанскій языкъ раньше французскаго достигъ своего совершенства, и цвѣтущая пора наступила для драмы въ Испаніи раньше, чѣмъ во Франціи. Испанская драма выработалась изъ мистерій, и ея блестящее развитіе уже завершилось, когда оно только что началось во Франціи. Лопе-де-Вега (род. въ Мадридѣ, 1562—1635) и Кальдеронъ де-ла-Барка (род. въ Мадридѣ, 1601—1681) дали превосходные образцы. Сюжеты испанскихъ піесъ очень разнообразны, но поэты постоянно изумляли зрителей неожиданностью положеній, запутанностью интриги, разнаго рода эффектами и пр. Рѣзко очерченныхъ характеровъ мало, и странное смѣшеніе трагическаго съ комическимъ нарушаетъ единство впечатлѣнія.

Пр. пер.

**) Одною физическою единства времени недостаточно: нужно, чтобы къ нему присоединялось и единство нравственное, нарушеніе котораго замѣтно

сутки известную часть ихъ, въ теченіе которой не было и рѣчи о восходѣ и закатѣ солнца, никто не ложился спать или, по крайней мѣрѣ, ложился не больше одного раза, какія бы разнообразныя событія въ это время ни совершались.

За это никто и не поспѣвалъ бы на нихъ: при такомъ условіи можно, конечно, создавать превосходныя пьесы;.. однако, всѣ французскіе цѣнители искусства кричатъ [противъ нарушенія правилъ], особенно когда касаются драматическихъ піесъ англичанъ. Какой шумъ поднимаютъ они изъ-за правильности, которую такъ безгранично облегчили для себя! 232—234.

15. Театръ—какъ нравственное учрежденіе.

Потребности, вызвавшія театръ.—Вліяніе театра на нравственное и умственное развитіе человѣка;—на духъ народа.—Театръ, какъ источникъ удовольствій, связанныхъ съ назиданіемъ.—Заключеніе.

Всеобщая и непреодолимая наклонность къ новому и необычному, по замѣчанію Сульцера, положила основаніе театру. Утомленный однообразными, изнурительными занятіями, пресыщенный чувственными удовольствіями, человѣкъ долженъ былъ ощутить пустоту, которая противна его вѣчному стремленію къ дѣятельности. Наша природа, равно неспособная и долго оставаться въ состояніи животной дѣятельности и безпрестанно

для всѣхъ и каждого, тогда какъ нарушеніе перваго, хотя оно болѣею частію и приводитъ къ невозможности, все-таки не бросается такъ всѣмъ въ глаза, потому что эта невозможность можетъ для многихъ остаться незамѣченною. Если, напримѣръ, въ піесѣ дѣйствующее лицо переѣзжаетъ съ мѣста на мѣсто и на этотъ переѣздъ потребуется больше сутокъ, то ошибка будетъ замѣтна лишь для тѣхъ, кто знаетъ разстояніе отъ одного мѣста до другаго. Вѣдь не всѣмъ известны географическія разстоянія; но всѣ люди по самимъ себѣ могутъ судить, какія дѣла можно исполнить въ одинъ день и на какія требуется нѣсколько дней. Если поэтъ умѣетъ соблюдать физическое единство времени не иначе, какъ съ нарушеніемъ нравственнаго, и не колеблется пожертвовать послѣднимъ первому, то онъ плохо понимаетъ свои интересы и жертвуетъ существеннымъ случайному. 229.

заниматься утонченными трудами разума, пожелала средняго состоянія, въ которомъ могли бы соединиться эти противорѣчащія крайности и, обратясь изъ сурового напряженія въ пріятную гармонию, облегчили бы постепенный переходъ нашъ отъ одного состоянія къ другому. Эту услугу можетъ оказать намъ только эстетическое наслажденіе, или, иначе, чувство прекраснаго. Мудрый законодатель въ своихъ стремленіяхъ всегда домогается лучшаго и не довольствуется тѣмъ, чтобы только обезоруживать наклонности своего народа. Напротивъ, онъ старается даже пользоваться ими, какъ орудіями, для выпихиванія цѣлей и обратить ихъ въ источники счастья. Для этого онъ предпочтительно избираетъ сцену, которая открываетъ безпредѣльное поприще для духа человѣческаго, жаждущаго дѣятельности, даетъ пищу каждой душевной силѣ, не усиливая исключительно ни одной изъ нихъ, и соединяетъ образованіе разсудка и сердца съ благороднѣйшею забавою.

Какое сильное подкрѣпленіе находятъ убѣжденія и законы, когда они вступаютъ въ союзъ со сценой, гдѣ получаютъ силу наглядности и воплощенія, гдѣ пороки и добродѣтели, счастье и бѣдствіе, безуміе и мудрость, въ тысячѣ ясныхъ и вѣрныхъ изображеній, проходятъ мимо человѣка, гдѣ судьба разрѣшаетъ свои загадки, развязываетъ свой узелъ предъ его глазами, гдѣ человѣческое сердце, въ пыткахъ страданія, кается въ самыхъ незамѣтнѣйшихъ своихъ движеніяхъ, гдѣ спадаютъ всѣ личины, исчезаютъ румяна — и истина стоитъ неподкупная, какъ судъ Радаманта!

Судъ театра начинается тамъ, гдѣ оканчивается сила свѣтскихъ законовъ. Если правосудіе ослѣпляется золотомъ и утопаетъ въ морѣ порока, если дерзость сильныхъ смѣется надъ его безсиліемъ, а страхъ связываетъ людямъ руки и языки — театръ беретъ мечъ и вѣсы и поражаетъ пороки передъ своимъ страшнымъ судилищемъ. Все царство фантазіи и исторіи, прошедшее и будущее, повинуются его мановенію. Смѣлые злодѣи, которые уже давно истлѣли въ землѣ, вызваны изъ гробовъ всемогущимъ словомъ поэзіи, и, къ страшному назиданію потомства, повторяютъ свою позорную жизнь. Безсильные, подобно отраженіямъ въ выпукломъ зеркалѣ, ужасы ихъ столѣтія проходятъ передъ нашими глазами, и мы, съ сладостнымъ трепетомъ, проклинаемъ ихъ память. Когда люди не внимаютъ болѣе никакому правоученію, когда ни одно убѣжденіе не находитъ болѣе вѣры въ сердцахъ ихъ, когда нѣтъ для нихъ болѣе закона,

достойнаго уваженія, имъ остается еще взглянуть на Медею въ минуту, когда она безсознательно бѣжитъ по лѣстницѣ дворца, совершивъ дѣтоубійство. Спасительный ужасъ обнимаетъ душу, и каждый въ глубинѣ сердца благословитъ свою добрую совѣсть, когда леди Макбетъ, страшная сомнамбулистка, моетъ руки во всѣхъ благоуханіяхъ Аравіи, чтобы истребить ненавистный запахъ крови. Какъ несомнѣнно — видимое представленіе дѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ мертвая буква и холодный разсказъ, такъ же несомнѣнно и театръ дѣйствуетъ глубже и продолжительнѣе, чѣмъ сухое правоученіе.

Но не одному свѣтскому правосудію помогаетъ сцена: для нея открыты еще другая, гораздо обширнѣйшая, сфера. Тысячи пороковъ, которые оставляетъ не наказанными свѣтское правосудіе, наказываетъ театръ; тысячи добродѣтелей, о которыхъ свѣтъ молчитъ, превозносятся на театрѣ. Здѣсь онъ беретъ въ руководители религію и мудрость. Изъ этого чистаго источника заимствуетъ онъ свои уроки и образы, а суровый долгъ облачаетъ ихъ въ пріятную и привлекательную одежду. Какими возвышенными чувствами, какими доблестями и сильными движеніями наполняетъ онъ нашу душу! Какіе превосходные идеалы выставляетъ онъ намъ для соревнованія! Когда Августъ, всемогущій и великій, какъ древніе боги, стоитъ предъ измѣнникомъ Цинною, который готовъ уже прочесть на устахъ его свой смертный приговоръ, и протягиваетъ ему руку съ словами: «ну, будемъ друзьями, Цинна!» — скажите, кто въ публикѣ не захочетъ въ это великое мгновеніе пожать руку смертельному врагу своему, чтобы уподобиться прекрасному римлянину? Когда я вижу, что Францъ Сикингенскій, отправляясь наказать непокорнаго вассала и сразиться за чужія права, взглянувъ нечаянно назадъ, видитъ замокъ своей объятимъ пламенемъ — замокъ, въ которомъ жена и сынъ его остаются безъ помощи, и, не смотря на это, не останавливается, чтобы не измѣнить данному слову, — какъ великъ тогда для меня человѣкъ, какъ ничтожна и презрѣнна непобѣдимая судьба!

Но театръ не одну добродѣтель представляетъ въ обольстительныхъ образахъ, — и пороки отражаются въ его правдивомъ зеркалѣ во всей своей гнусности. Когда безпомощный, безумный Лиръ, въ бурную и холодную ночь, напрасно стучится въ дверь своей дочери, когда онъ отдаетъ вѣтрамъ свои серебрястыя сѣдины и рассказываетъ стихіямъ о безчеловѣчии своей Реганы, когда бѣшеное страданіе наконецъ разражается словами:

«Я все вамъ отдалъ! все!» — въ какомъ ужасномъ видѣ представляется тогда неблагодарность! Съ какимъ святымъ чувствомъ даемъ мы, въ эту минуту, объѣтъ дѣтской любви и почтенія!

Но кругъ дѣйствія сцены не довольствуется этимъ. Даже тамъ, гдѣ законы считаютъ низкимъ для своего достоинства слѣдить за чувствами человека, сцена заботится о нашемъ образованіи. Счастіе общества такъ же сильно возмущается глупостью, какъ преступленіемъ и порокомъ. Современный міру опытъ показываетъ, что въ ткани дѣлъ человѣческихъ часто величайшія тяжести висятъ на самыхъ короткихъ и нѣжныхъ нитяхъ, и если мы будемъ слѣдить за каждымъ дѣйствіемъ до его источника, то тысячу разъ должны будемъ разсмѣяться прежде, чѣмъ одинъ разъ содрогнемся. Мой списокъ злодѣевъ, съ каждымъ днемъ, по мѣрѣ того, какъ я становлюсь старше, дѣлается короче, а списокъ глупцовъ — полнѣе и безконечнѣе. Если вся нравственная вина одного поколѣнія протекаетъ изъ одного и того же источника; если всѣ необузданныя крайности пороковъ, которыя когда либо запятнали его, только измѣненія одной и той же формы, только вышнія развитія одного и того же направленія, которое, наконецъ, мы всѣ осмѣиваемъ или любимъ, то почему же не допустить, что и въ другомъ поколѣніи природа можетъ идти тѣмъ же самымъ путемъ? Я знаю одну только тайну предохранить человека отъ порчи — именно: защитить его сердце противъ слабостей.

Большую часть такого дѣйствія мы можемъ ожидать отъ театра. Онъ представляетъ зеркало для обширнаго класса глупцовъ и спасительными насмѣшками пристыжаетъ всѣ ихъ разнообразныя виды. Что выше производилъ онъ посредствомъ умиленія и ужаса, того достигаетъ теперь посредствомъ насмѣшекъ и сатиры, еще скорѣе, можетъ быть, даже непогрѣшимѣе. Если бы мы стали комедію и трагедію цѣнить по мѣрѣ достигаемаго ими дѣйствія, то, вѣроятно, опытъ отдалъ бы преимущество первой. Насмѣшка и презрѣніе чувствительнѣе уязвляютъ гордость человека, чѣмъ омерзѣніе мучитъ его совѣсть. Отъ ужаснаго причется наше малодушіе, но то же самое малодушіе дѣлаетъ насъ доступными для колкой сатиры. Законы и совѣсть ограждаютъ насъ отъ преступленій и пороковъ; смѣшное пробуждаетъ въ насъ тонкое чутье, которое нигдѣ такъ не изощряется, какъ въ театрѣ. Мы сами часто уполномочиваемъ друга нападать на нашъ характеръ, на наше сердце, но едва ли мы простимъ ему насмѣшку. Наши проступки выносятъ еще надзирателя и судію; но наша

глупость не терпитъ свидѣтели. Одинъ театръ можетъ осмѣивать наши слабости, потому что падить нашу чувствительность и не указываетъ на виновнаго. Не краснѣя, мы смотримъ на наши маски, спадающія съ насъ въ его зеркалѣ, и втайнѣ благодаримъ его за кроткое назиданіе.

Но обширный кругъ дѣйствія театра далеко еще не оконченъ. Онъ, болѣе чѣмъ всякое другое публичное учрежденіе, можетъ служить училищемъ практической жизни, вѣрнымъ ключемъ къ тайникамъ души человѣческой. Я согласенъ, что самолюбіе и упорство совѣсти нерѣдко уничтожаютъ лучшее его вліяніе, что тысячи пороковъ съ поднятымъ дерзко челомъ являются предъ его зеркаломъ, тысячи прекрасныхъ чувствъ безплодно отражаются отъ холоднаго сердца зрителей; я допускаю, что, можетъ быть, Гарпагонъ Мольера не исправилъ еще ни одного скрягу, что самоубійца Беверлей немногихъ изъ своихъ братій отвлекъ отъ ужасной страсти къ игрѣ, что злополучныя разбойническія похищенія Карла Моора не сдѣлаютъ большихъ дорогъ безопасными; но если мы даже ограничимъ обширное вліяніе сцены, если мы несправедливо захотимъ даже вовсе не допустить его, то и тогда останется еще для театра безконечно многое. Если театръ не уменьшаетъ суммы пороковъ, то не сдѣлалъ ли онъ ихъ видными для насъ? Съ этими пороками, съ этими глупцами мы должны жить. Мы должны убѣгать отъ нихъ или встрѣчаться съ ними; должны или одолѣть ихъ, или имъ покориться. Теперь они, по крайней мѣрѣ, не застанутъ насъ врасплохъ: мы приготовлены къ ихъ нападенію. Театръ открылъ намъ тайну узнавать ихъ и обезоруживать. Онъ сорвалъ съ лъстеца искусственную маску и открылъ сѣть, которою опутываютъ насъ коварство и хитрость. Обманъ и ложь вывелъ онъ наружу изъ извилистыхъ лабиринтовъ и выставилъ ихъ свѣту на лицо. Можетъ быть, умирающая Сара не ужаснетъ развратника, и всѣ картины наказаннаго обольщенія не охладятъ его пламени; можетъ быть, дерзкая обольстительница, серьезно обдумавъ это дѣйствіе, сдумаетъ скрыть его; но мы должны быть счастливы и тѣмъ, что безхитростная невинность знакома теперь съ сѣтями обольщенія и научена сценою не довѣрять лживымъ клятвамъ и страшиться предательскаго поклоненія.

Театръ дѣлаетъ насъ внимательными не только къ человеку и его характеру, но даже къ судьбѣ, и научаетъ великому искусству ей покоряться. Въ ходѣ жизни нашей расчетъ и случай играютъ равно великую роль; первымъ мы управляемъ, послѣднему должны сами покоряться. До-

волью выигрыша и въ томъ, если неизбежныя несчастія застанутъ насъ не вовсе безъ твердости; наше мужество, наше благоразуміе уже были искушены подобными явленіями на сценѣ, и сердце наше приобрѣло больше крѣпости для перенесенія удара. Театръ представляетъ передъ нами разнообразную картину человѣческихъ страстей. Онъ вводитъ насъ искусственно въ чужія скорби и за мгновенное страданіе платитъ сладчайшими слезами и умноженіемъ въ насъ мужества и опытности. Съ ними спускаемся мы въ башню голода, къ Уголино, восходимъ на страшные эшафоты и смотримъ въ лицо торжественной минутѣ, смерти. Здѣсь мы слышимъ, какъ природа громко и утвердительно подкрѣпляетъ то, что еще прежде душа наша ощущала въ тихихъ предчувствіяхъ. Подъ мрачнымъ сводомъ Тоуэра королева лишаетъ своихъ милостей обманутаго временщика. Въ минуту смерти, и Моора покидаетъ его вѣроломная софистическая мудрость. Вѣчность выпускаетъ мертвеца для того, чтобы открыть тайны, которыхъ не можетъ знать никто изъ живыхъ, и злодѣй, почитающій себя безопаснымъ, лишается послѣдняго прибѣжища, потому что даже гробы могутъ измѣнять тайнамъ...

Но мало того, что сцена знакомитъ съ судьбами человѣчества: она учитъ насъ быть справедливымъ къ несчастному и снисходительнымъ судить о немъ. Измѣривъ только всю глубину его страданій, мы можемъ произносить сужденіе о немъ. Нѣтъ порока постыднѣ воровства; но каждый изъ насъ примѣшиваетъ слезу сожалѣнія къ приговору, когда vznikнетъ въ бездну скорби и страданій, среди которыхъ Эдуардъ Рубергъ совершаетъ свое воровство. Къ самоубійству всѣ чувствуютъ отвращеніе, какъ къ злодѣйству; но когда, мучимая угрозами свирѣпаго отца, мучимая любовію, представленіемъ ужасныхъ сценъ, Маріанна выпиваетъ ядъ, кто изъ насъ первый захочетъ сокрушить жезлъ надъ главою этой жертвы безчестныхъ правилъ? Человѣколюбіе и терпимость составляютъ господствующія стихіи духа нашего времени, ихъ лучи проникаютъ въ судебныя палаты и еще далѣе — въ сердца самихъ государей. Какое великое участіе въ этомъ прекрасномъ дѣлѣ принадлежитъ театрамъ! Не они ли познакомили человѣка съ человѣкомъ и показали ему тотъ таинственный механизмъ жизни, по которому онъ дѣйствуетъ? Высшій классъ имѣетъ причину быть еще благодарнѣе театру, чѣмъ всѣ прочіе. Только здѣсь сильные земли слышать, что они нигдѣ не могли бы услышать — истину;

здѣсь только узнаютъ они и видятъ то, чего нигдѣ не могли видѣть и узнать — человѣка.

Вотъ какъ велика и разнообразна заслуга хорошаго театра для нравственнаго образованія; не меньшую пользу оказываетъ онъ въ отношеніи къ умственному развитію. Лишь здѣсь, въ этой высшей сферѣ, высокій умъ и пламенный патріотизмъ находятъ для себя обильную пищу.

Здѣсь онъ проходитъ взоромъ по всему роду человѣческому, сравниваетъ народы съ народами, вѣка съ вѣками — и видитъ, какими рабскими цѣпями предрасудковъ и мнѣній окована большая часть человѣческаго рода, вѣчно трудящаяся надъ разрушеніемъ своего счастья; онъ видитъ, что чистые лучи истины освѣщаютъ лишь не многія головы, которыя приобрѣли это ничтожное преимущество, можетъ быть, цѣною цѣлой жизни. А чѣмъ, какими средствами, можетъ даже самый мудрый законодатель доставить народу своему тѣ-же выгоды?

Театръ есть общественный каналъ, который, принимая лучи свѣта отъ лучшей, мыслящей части народа, проливаетъ ихъ благотворный блескъ въ пѣдра всего государства. Правильныя понятія, ясныя идеи, чистыя чувства текутъ отсюда по всѣмъ жиламъ народа; туманъ невѣжества и мрачнаго суевѣрія исчезаетъ, и ночь уступаетъ мѣсто всепросвѣтляющему дню. Изъ столь многихъ, важныхъ плодовъ сцены, я хочу указать только на одинъ — главнѣйшій. Отчего только съ недавнихъ временъ сдѣлалась всеобщю терпимость вѣръ и сектъ? Еще прежде, чѣмъ жидъ Натанъ и мусульманинъ Саладинъ заставили насъ устыдиться, проповѣдуя намъ божественный урокъ покорности Богу, независимой отъ нашихъ мнѣній о Немъ, еще прежде, чѣмъ Іосифъ Второй побѣдилъ страшную гидру религіозной ненависти, театръ уже посѣялъ въ наши сердца сѣмена чело-вѣчности и нѣжности; отвратительныя изображенія неистовствъ языческихъ жрецовъ научили насъ избѣгать религіозной ненависти; въ этомъ страшномъ зеркалѣ Христіанство омыло свои пятна! Съ такимъ же счастливымъ успѣхомъ, при помощи театра, можно бы побѣдить и заблужденія воспитанія. Нѣтъ дѣла болѣе важнаго для общества, по своимъ слѣдствіямъ, какъ воспитаніе: не смотря на то, на него обращено такъ мало вниманія, и оно вполне отдано на произволъ прихоти и легкомыслію гражданина. Только театръ могъ бы представлять ему несчастныя жертвы небрежнаго воспитанія въ умиленныхъ, потрясающихъ картинахъ. Здѣсь наши отцы могли бы отказаться отъ своекорыстныхъ правилъ, наши

матери — научиться любить благоразуміе. Ложныя понятія вводятъ въ заблужденіе сердце самаго лучшаго воспитателя: тѣмъ хуже, если эти понятія величаются еще наименованіемъ метода и губятъ нѣжный цвѣтокъ систематически въ разсудникахъ и школахъ. Даже промышленность и духъ изобрѣтательности стали бы воспламеняться предъ сценою, если бы поэты почли достойнымъ труда — быть патріотами, а общество рѣшилось бы ихъ выслушивать.

Я не могу пропустить здѣсь еще огромнаго вліянія, которое произвелъ бы благоустроенный театръ на духъ народа. Духомъ я называю сходство и согласіе его мнѣній и наклонностей касательно предметовъ, въ отношеніи къ которымъ другіе народы и думаютъ и чувствуютъ иначе. Только для театра возможно произвести это согласіе въ высшей степени, потому что онъ проходитъ чрезъ всю область человѣческаго знанія, изчерпываетъ всѣ положенія жизни, заглядываетъ во всѣ изгибы сердца, потому что онъ соединяетъ въ себѣ всѣ состоянія и классы и пролагаетъ себѣ широкій путь къ разсудку и сердцу. Если бы во всѣхъ нашихъ піесахъ господствовала одна главная черта, если бы наши писатели согласились между собою и составили крѣпкій союзъ для этой цѣли, если бы строгій выборъ руководилъ ихъ трудами, еслибы кисть ихъ посвящалась только предметамъ народнымъ — словомъ, если бы мы дожили до того, чтобы имѣть народный театръ — мы слились бы въ одну германскую націю. Что связывало грековъ такъ тѣсно между собою? Что привлекало, въ древности, народъ въ его театры? Не иное что, какъ отечественное содержаніе піесъ, греческій духъ и обширный, преобладающій интересъ общества, одушевлявшій ихъ піесы. Есть еще одно важное достоинство, которымъ можетъ похвалиться театръ. Въ томъ, что доселѣ было предпринято, чтобы доказать, что театръ имѣетъ существенное вліяніе на нравы и просвѣщеніе, все еще сомнѣвались; но что между всѣми изобрѣтеніями роскоши, между всѣми учрежденіями общественнаго увеселенія онъ заслуживаетъ предпочтеніе, это признано даже заклятыми врагами его. Но вліяніе его въ этомъ случаѣ гораздо важнѣе, чѣмъ о немъ обыкновенно думаютъ.

Природа человѣческая не можетъ непрерывно и вѣчно страдать отъ заботъ и занятій: раздражительность чувствъ умираетъ съ ихъ удовлетвореніемъ. Человѣкъ, пресыщенный животнымъ наслажденіемъ, усталый отъ долгаго напряженія, мучимый вѣчнымъ стремленіемъ къ дѣятельности — жаждетъ лучшихъ, благороднѣйшихъ удовольствій, или необузданно

бросается въ дикія развлеченія, которыя ускоряютъ его паденіе и нарушаютъ покой общества. Вѣхическія радости, преступныя игры, тысяча неистовствъ, порождаемыхъ праздноствіемъ, становятся неизбежными, если законодатель не сумѣлъ дать склонностямъ своего народа лучшаго направленія. Дѣловой человѣкъ въ опасности принести въ жертву убійственной хандрѣ свою жизнь, которою онъ такъ великодушно пожертвовалъ обществу, ученый — ниспастъ до смѣшнаго педантизма, простолюдинъ — до животнаго. Театръ есть такое учрежденіе, въ которомъ удовольствіе соединяется съ назиданіемъ, забава — съ образованіемъ, въ которомъ ни одна сила души не возвышается ко вреду другой, ни одно наслажденіе не ощущается на счетъ цѣлой жизни. Если грусть томитъ сердце, если мрачное расположеніе духа отравляетъ часы уединенія, если тысячи заботъ давятъ душу — насъ приметъ театръ; въ этомъ искусственномъ мірѣ мы забудемъ дѣйствительный, возвратимся опять сами къ себѣ; наша чувствительность пробудится; цѣлительныя душевныя потрясенія заставятъ воспрянуть нашу дремлющую природу и приведутъ кровь въ спасительное волненіе. Несчастливецъ можетъ оплакивать надъ чужимъ несчастіемъ свое собственное горе, счастливый — сдѣлаться воздержнымъ, безопасный — заботливымъ. Чувствительная изнѣженность окрѣпнетъ здѣсь до мужества; суровое звѣрство впервые начнетъ чувствовать. И какое торжество для природы, такъ часто падающей и такъ часто опять возстающей, когда люди изъ всѣхъ круговъ, званій и состояній, отбросивъ всѣ узы искусственности и моды, освободившись изъ-подъ гнета судьбы, какъ братья, породнятся одною, всеобъединяющею симпатіею, составятъ одинъ кругъ, забудутъ себя и міръ и приблизятся къ своему небесному источнику. Каждый порознь насладится восхищеніемъ всѣхъ, и всѣ, подкрѣпленные сотнею другихъ глазъ, почувствуютъ, что грудь ихъ полна однимъ только чувствомъ, громко говорящимъ: я человѣкъ!

Шиллеръ.

(Полн. собр. соч. II, 1875, 626—630).

Глава V.

Новоромантизмъ.

16. Русскіе романтики *).

Черты романтика.—Романтизмъ, какъ историческое явленіе.—Характеръ общества до Петра Великаго.—Характеръ литературы XVIII в.—Карамзинъ и сентиментальное направленіе.—Жуковский и романтизмъ.—Романтизмъ и Пушкинъ.—Элементы романтизма.—Отрицательное значеніе русскаго романтизма.—Переворотъ, произведенный въ литературѣ Гоголемъ.—Отрицательныя достоинства новаго направленія.

I.

Что же это за люди [русскіе романтики], что за типы? — Это высокія натуры, презирающія толпу: вотъ общее ихъ опредѣленіе, довольно полное и вѣрное. Что же касается до отъѣнковъ, начнемъ съ перваго.

Онъ слезы лилъ, добросердечно
Бранилъ толпу
И проклиналъ безчеловѣчно
Свою судьбу.
Являлся горестнымъ страдальцемъ,
Писалъ стихи,
И не дерзнулъ коснуться пальцемъ
Ея руки.

Никакой натуралистъ такъ хорошо и полно не составлялъ исторіи какого-нибудь genus или species животнаго царства, какъ хорошо и полно рассказана въ этихъ восьми стихахъ исторія человѣческой породы, о которой говоримъ мы. Недовольство судьбою, брань на толпу, вѣчное страда-

ніе, почти всегда кропаніе стиховъ и идеальное обожаніе неземной дѣвы — вотъ родовые признаки этихъ «романтиковъ» жизни. Первый разрядъ ихъ состоитъ больше изъ людей чувствующихъ, нежели умствующихъ. Ихъ призваніе — страдать, и они горды сооимъ призваніемъ. Не спрашивайте ихъ, почему, отчего они страдаютъ: они презираютъ страданіе, которое можно объяснить какою-нибудь причиною. Они любятъ страданіе для страданія. Имъ стыдно минуты веселаго, беззаботнаго увлеченія, они боятся здоровья, хотятъ быть блѣдными, худыми, и ничѣмъ такъ нельзя встревожить ихъ, какъ сказавъ, что они пополнили. Для чего все это? — Для того, что толпа любить ѣсть, пить, веселиться, смѣяться, а они, во что бы то ни стало, хотятъ быть выше толпы. Имъ пріятно увѣрить себя, что въ нихъ kloкочутъ неистовыя страсти, что ихъ юная грудь разбита несчастіемъ, свѣтлыя надежды на жизнь давно разлетѣлись, и на долю имъ осталось одно горькое разочарованіе. Имъ непременно нужна душа, которая поняла бы ихъ, но они рѣшительно не знаютъ, что имъ дѣлать съ такою душою, когда имъ удастся найти ее, потому что ихъ страсти въ головѣ, а не въ сердцѣ, и счастливая любовь ставитъ ихъ въ тупикъ. Поэтому, они предпочитаютъ любовь непонятную, нераздѣленную — любви счастливой, и желаютъ встрѣчи или съ жестокою дѣвою, или съ измѣнницей... Во всемъ этомъ главную роль играетъ самолюбіе, и однакожь тутъ есть, или была когда-то, своя хорошая сторона; но мы объ этомъ скажемъ ниже, а теперь обратимся къ другому, вышему разряду «романтиковъ».

Между этими «романтиками» бываютъ люди умные, даже очень, хотя и бесплодно умные. Они толкуютъ не о чувствахъ и не о себѣ только: они разсуждаютъ вообще о жизни. Стремленіе весьма похвальное, когда оно имѣетъ прочную основу, практическій характеръ. Но романтики вообще враги всего пракческаго, которое они съ презрѣніемъ отдали на долю «толпы», не понимая въ своемъ ослѣпленіи, что всякій гений, всякій великій дѣлатель, есть человѣкъ практическій, хотя бы онъ дѣйствовалъ даже въ сферѣ отвлеченнаго мышленія. Разладъ съ дѣйствительностью — болѣзнь этихъ людей. Въ дни кипучей, полной силами юности, когда надо жить, надо сѣбѣ жить, они, вмѣсто этого, только разсуждаютъ о жизни. Нѣкоторые изъ нихъ спохватываются, но поздно: именно въ то время, когда человѣкъ не годится уже ни на что лучшее, какъ только на то, чтобы разсуждать о жизни, которой онъ никогда не зналъ, никогда не извѣдалъ. Толпа живетъ, не мысля, и оттого живетъ пошло; но мыслить, не живя —

*) Писано въ 1846 г.

развѣ это лучше? развѣ это не такая же или даже еще не большая уродливость?..

Но теперь всѣ заговорили о дѣйствительности. У всѣхъ на языкѣ одна и та же фраза:—«надо дѣлать!» И между тѣмъ, все-таки никто ничего не дѣлаетъ! Это показываетъ, что во что бы ни нарядился романтикъ, онъ все останется романтикомъ. Не понимая этого, романтики обѣими руками начали хвататься за маски и костюмы,—и выпелъ пестрый маскарадъ, гдѣ на одинъ вечеръ такъ легко быть, чѣмъ угодно — и туркомъ, и жидомъ, и рыцаремъ.

Во всемъ этомъ видно одно: стремленіе жить мимо жизни, глубокий внутренній разладъ съ дѣйствительностью. Сперва хотятъ составить программу жизни, хорошенько обдумать и обсудить ее, а потомъ уже и жить по этой программѣ. Удивительно-ли, что вся жизнь такихъ людей проходить въ составленіи программъ? Человѣкъ долженъ сознавать жизнь, и разумъ долженъ вести человѣка по пути жизни — тѣмъ и отличается человѣкъ отъ животныхъ безсловесныхъ; но основой жизни долженъ быть инстинктъ, непосредственное чувство. Безъ нихъ, жизнь есть пустое, холодное и, къ довершенію, преглуное умничанье; такъ же, какъ безъ мыслительности, непосредственное существованіе есть животное состояніе. Любовь къ женщинѣ — высокое чувство, но оно тогда только истинно, когда выходитъ изъ сердца, а не изъ головы. А между тѣмъ, романтики по преимуществу живутъ головными, а не сердечными страстями, и потому вся гамма жизни ихъ поется визгливою фистулою. Ихъ презрѣніе къ «толпѣ» такъ велико, что они не могутъ понять, какимъ образомъ самъ геній потому только и великъ, что служить толпѣ, даже борясь съ нею. Поэтому, они не хотятъ снизойти до ознакомленія себя съ толпою, до изученія ея характера, положенія, потребностей, нуждъ. Для обихода цѣлой ихъ жизни достаточно нѣсколькихъ мыслей, иногда нѣсколькихъ фразъ, вычитанныхъ въ книгѣ, поверхностно понятыхъ, не впадѣ приложенныхъ къ дѣйствительности. Они смотрятъ на толпу не какъ на силу, которая гнется и подается только отъ силы генія, а какъ на стадо, которое можетъ гнать передъ собою куда угодно первый умникъ, если вздумаетъ взяться за это дѣло. Ихъ любовь и довѣренность къ теоріямъ (разумѣется, преимущественно къ своимъ собственнымъ), такъ велика, что они скорѣе рѣшатся не признать существованія цѣлаго народа, который не подходитъ подъ ихъ теорію, нежели отказаться отъ нея. Имъ это такъ легко, а для

народа это такъ опасно! Пусть тѣшатся!.. Но вѣдь этимъ потѣхамъ долженъ же быть когда-нибудь конецъ: самъ донъ-Кихотъ опомнился передъ смертью... Что-жъ! когда горькій опытъ жизни разобьетъ мечты романтика,—у него не все еще будетъ отнято: у него останется великолѣпная мантия страданія, вслѣдствіе непризнанной гениальности...

И однако-жъ, такіе романтики — не случайное явленіе. Они были необходимымъ результатомъ прививнаго образованія нашего общества; ихъ исторія тѣсно соединена съ исторіею нашей литературы, съ которою такъ же тѣсно слита и исторія образованія нашего общества.

II.

До начала литературы [т. е. до Петра Великаго], дѣды и отцы наши жили просто, безъ претензій, безъ хитростей, безъ мудрованія, ѣли, пили, спали (и какъ еще ѣли, пили и спали! Намъ, ихъ внукамъ и дѣтямъ, увѣ! уже не ѣсть, не пить и не спать такъ!), женили дѣтей своихъ (тогда сыновья не могли сами жениться — ихъ женили отцы, такъ же, какъ теперь они выдаютъ дочерей замужъ), умнѣли лѣтъ въ сорокъ, старѣли лѣтъ въ семьдесятъ, умирали лѣтъ въ девяносто... Безъ сомнѣнія, это была жизнь весьма простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и грубо-простая. Вѣдь простота простотѣ — рознь, и для общества лучшая простота есть та, которая выработалась изъ затѣйливой вычурности, какъ, напримѣръ, простота обращенія въ современной Европѣ, вышедшая изъ изысканной хитрости обращенія XVIII вѣка. Въ этомъ черзчуръ простомъ обществѣ не было жизни, разнообразія, потому что личность человѣка поглощалась этимъ обществомъ, и каждый долженъ, обязанъ былъ жить, какъ жили всѣ, а не какъ указывалъ ему его разумъ, его чувства, его наклонности.

Реформа Петра Великаго потрясла въ основаніи это оцѣпенѣлое общество; но она только разбудила, растревожила, взволновала его, и если перемѣнила, то извнѣ только. Внутреннее измѣненіе общества должно было быть дальнѣйшимъ результатомъ этой реформы. Явилась литература, сперва безъ читателей, безъ публики, литература громозвучная, торжественная, надутая, школьная, риторическая, подантическая, книжная, безъ всякаго живаго отношенія къ жизни и обществу. Въ блестящее царствованіе Екатерины II было положено основаніе знакомства русскаго общества съ европейскимъ: съ этого времени начало сильно распространяться въ

Россіи знаніе французскаго языка, а вмѣстѣ съ нимъ и изысканная вѣжливость обращенія и сентиментальный характеръ нравовъ.

Вѣднй молодой дворянинъ Карамзинъ объѣхалъ большую часть Европы и своими «Письмами Русскаго Путешественника», очаровавшими его современниковъ, прочитанными всею грамотною Россіею того времени, довершилъ и утвердилъ знакомство русскаго образованнаго общества съ Европою. Эта книга, которую теперь такъ скучно читать, — тѣмъ не менѣе великій фактъ въ исторіи нашей литературы и въ исторіи образованія нашего общества. Съ Карамзина, наше сочинительство и писательство уже начало становиться не просто книжничествомъ, а литературою, потому что талантъ Карамзина создалъ и образовалъ публику. Направленіе, данное Карамзинымъ нашей литературѣ, было по преимуществу сентиментальное. Такъ какъ оно было въ духѣ времени, то скоро проникло и въ нравы общества. *Чувствительныя души* толпами ходили гулять на Лизинъ прудъ; Эрасты, Леоны, Леониды, Мелодоры, Филалеты, Нины, Лилы, Эмилии, Юліи размножились до чрезвычайности, вздохи превращали самыя тихіе дни въ вѣтренные, слезы потекли рѣками... Теперь это, конечно, смѣшно, но тогда имѣло свое глубокое значеніе. Литература въ первый разъ стала выраженіемъ общества, и потому начала оказывать на него сильное нравственное вліяніе. Чувствительныя души были тогда если не лучшія души въ обществѣ, то, безъ сомнѣнія, самыя образованныя. Онѣ рѣзко отдѣлились отъ *безчувственной* толпы; но онѣ гордились передъ нею только своею способностью чувствовать, умиляться до слезъ отъ всего прекраснаго и человѣческаго, а еще не тянулись въ герои и великіе люди. Но тѣмъ не менѣе раздѣленіе *избранныхъ* отъ *толпы* уже обнаружилось. Оно не могло остановиться на одномъ мѣстѣ, но должно было идти впередъ, развиваться.

Романтическая муза Жуковскаго, своими очаровательно-задумчивыми звуками, похожими на уныло-гармоническіе звуки воловой арфы, дала сентиментальному обществу болѣе истинный и болѣе поэтическій характеръ. Въ ней, не смотря на ея мечтательность, была сила, энергія, и она любила не одну слабую задумчивость, но и мрачныя картины фантастической дѣйствительности, наполненной гробами, скелетами, духами, злодѣйствами и преступленіями—темными преданіями среднихъ вѣковъ... Въ двадцатыхъ годахъ раздалось въ нашей литературѣ слово «романтизмъ». Всѣ заговорили о Байронѣ, и байронизмъ сдѣлался пунктомъ помѣшательства для

прекрасныхъ душъ... Вотъ съ этого то времени и начали появляться у насъ толпами маленькіе великіе люди съ печатью проклятія на челѣ, съ отчаяніемъ въ душѣ, съ разочарованіемъ въ сердцахъ, съ глубокимъ презрѣніемъ къ «ничтожной толпѣ». Герои сдѣлались вдругъ очень дешевы. Всякій мальчикъ, котораго учитель оставилъ безъ обѣда за незнаніе урока, утѣшалъ себя въ горѣ фразами о преслѣдующемъ его рокѣ и о непреклонности своей души, пораженной, но не побѣжденной. Эти господа провозгласили своимъ органомъ Пушкина, потому что не поняли его. Они обѣими руками ухватились за его молодыя произведенія, — прекрасныя, но въ тоже время и невѣрныя; зато, когда Пушкинъ нашелъ путь, назначенный ему его натурою, когда онъ развился до всей высоты своего генія и сдѣлался великимъ художникомъ, — они отступились отъ него, какъ отъ падшаго таланта. Истиннымъ выраженіемъ романтическаго направленія были повѣсти Марлинскаго, съ дополненіемъ къ нимъ повѣстей въ родѣ «Живописца», «Влаженства безумія», «Эммы» и т. п., и потомъ стихотворенія нѣкоторыхъ поэтовъ, явившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ и доведшихъ это направленіе до послѣдней крайности. Въ немъ была и отчаянная фразеологія ложныхъ, натянутыхъ страстей, и притязательная (*prétentieuse*) фразеологія нѣмецко-бюргеровской мечтательности, пополамъ съ плохо-понятнымъ нѣмецко-философскимъ мудрованіемъ, и наша, будто бы, народная удалъ чувствъ и выраженій, сбивающаяся нѣсколько на ямщицкое ухарство. Превосходнымъ образчикомъ послѣдняго можетъ служить слѣдующее стихотвореніе, напечатанное въ «Эхо», альманахѣ на 1830 годѣ, изданномъ въ Москвѣ:

Прочь съ презрѣнною толпою,
Цыцъ, схоластники, молчать!
Вамъ-ли чертвоею душою
Жаръ поэзіи понять?
Дико, бѣшено стремленье,
Чѣмъ поэтъ одушевленъ:
Такъ въ безумномъ упоеньи
Богъ поэтовъ, Аполлонъ,
Съ Марсіаса содралъ кожу!
Верегись его дѣтей:
Эпиграммой хлопнуть въ розу,
Рвеной бѣшеной своей
Въ поэтическія плети
Приударять дураковъ,

И позоръ вамъ, мрака дѣти,
Отдадутъ на свистъ вѣковъ!

Нельзя не согласиться, что это немножко пошло, немножко грязно, даже отчасти глуповато; но нельзя не согласиться и съ тѣмъ, что это только доведенная до послѣдней крайности та «мило-забубенная» поэзія, которая воспѣвала удалъ бурсацкой жизни и возвышенныя стремленія разума къ чашѣ съ пипучимъ, — та разудалая поэзія, которою мы съ вами, читатель, такъ восхищались во время оно, и которая и теперь еще имѣетъ простодушіе претендовать на вниманіе и на почетъ... Справедлива русская пословица: яблоко отъ яблони недалеко упало... Что-же касается до неистовой и глубокомысленной романтической фразеологии въ стихахъ и прозѣ, мы не высказали бы ясно нашей мысли о романтическомъ направленіи, если-бы не привели здѣсь нѣсколько фразъ, болѣе или менѣе характеристическихъ.

Вотъ на выдержку нѣсколько мѣстъ изъ разныхъ романтическихъ авторовъ:

... Въ сердцѣ человѣческомъ *воздвигнутъ алтарь* святой Вѣры; *рядомъ съ нимъ поставленъ алтарь* Любви; и на обоихъ горитъ *одинакая жертва* вѣчной истинѣ — *пламень надежды!* Безъ этого пламени, *солнце* наше давно *погасло бы*, и *кометы* праздновали бы только *поребальную тризну* на *скелетъ земли*, съ *ужасомъ* спѣша изъ мрачной пустоты, гдѣ *тлѣетъ трупъ ея*, спѣша — *туда, выше, выше*, гдѣ *свѣтъ* чѣще, ярче, *болѣе вѣченъ...*

Чудная Вѣринька! скажи, кто ты: демонъ или ангелъ? Нѣтъ! ты *неземная*. Это я знаю лучше тебя самой.

Сказали бы мнѣ: *будь поэтомъ* — и черезъ годъ я склонилъ бы свою увѣчанную голову передъ тою, которой обязанъ вдохновеніемъ *). Развѣ не поэзія — *высокая любовь* моя! Развѣ нѣтъ пылу въ моей душѣ! Я бы *разбилъ ее въ искры*, и звуки, и мысли — и свѣтъ отвѣчалъ бы мнѣ вздохами, и слезами, и рукоплесканіями.

*) Романтизмъ думаетъ, что стоять только влюбиться въ *дѣву неземную*, чтобъ сдѣлаться поэтомъ не хуже Байрона, не имѣя таланта ни на грошъ. Не знаемъ, думалъ ли романтизмъ, что если безталантный человѣкъ влюбится въ *дѣву неземную*, то сейчасъ же сдѣлается первымъ умникомъ въ свѣтъ...

Прим. Вильмиского.

Отдайте Вѣриньку кому угодно, забросьте ее за моря, за непроходимые лѣса и горы, позвольте мнѣ *ползти на колѣнкахъ* по всему свѣту, искать ее...

Душа моя изъѣдена мученьемъ,
Какъ злой разбойникъ совѣстью и кровью!
За что, за что? за чистоту страстей,
За благородство сердца и души!!

Не понимай, не понимай, божественная дѣва,
Моихъ *пустыхъ речей* не понимай!
Не слушай словъ *сердечнаго патша*,
Насмѣшками *сожги душевный рай*;
О, удержи порывъ нѣмага гнѣва,
Не понимай меня, не понимай!

Умремъ, моя мечта!.. Да и на что намъ жизнь?

Все это очень смѣшно, смѣшнѣе ничего нельзя выдумать; самая злая пародія не могла бы такъ странно осмѣять этихъ выписокъ, какъ осмѣиваютъ онѣ сами себя; но это смѣшно теперь, а было время — что грѣхъ таить! — когда это всѣхъ приводило въ восторгъ: явный знакъ, что все это было нужно и необходимо въ свое время, и даже имѣло свою хорошую сторону, принесло свои хорошіе результаты. Уже одно то, что благодаря этимъ туманнымъ, заоблачнымъ и разудалымъ фразерствамъ, мы навсегда какъ будто застрахованы въ будущемъ отъ опасности увидѣть нашу литературу на такой странной дорогѣ, — одно это уже большая заслуга. Что же касается до романтиковъ жизни, порожденныхъ и возлелѣянныхъ этою романтическою литературою, высокопарною безъ крыльевъ, глубокою безъ основанія, таинственною безъ смысла, разгульною безъ вдохновенія, смѣлою изъ бравуры, оригинальною изъ фанфаронства, тщеславною по ограниченности, странною по духу противорѣчія, — романтики жизни, какъ мы сказали выше, не перевелись и теперь; нѣкоторые изъ нихъ и остались такими, какими были — ихъ кругъ состоитъ или изъ людей уже слишкомъ пожилыхъ, или изъ дѣтей; другіе, прикинувшись учеными, облекли старыя претензіи въ новыя фразы. Твердя безпрестанно, что абстрактное мышленіе ни къ чему не ведетъ, что достоинство знанія повѣряется его отношеніями къ практикѣ, — они тѣмъ не менѣе продолжаютъ жить въ мечтѣ, съ тою только разницею, что сочиняютъ мечтательными

теоріи не объ отвлеченных предметахъ, а о дѣйствительности, которую схватываютъ въ своихъ опредѣленіяхъ такъ вѣрно, какъ вѣрно чудодѣйственная кисть Ефрема писала портреты, изображая Архипа Сидоромъ, а Луку Петромъ.

Стать смѣшнымъ—значить проиграть свое дѣло. Романтизмъ проигралъ его всячески — и въ литературѣ, и въ жизни. Онъ самъ это чувствуетъ. Что же было причиною его паденія?—Переворотъ въ литературѣ, новое направленіе, принятое ею. Этого переворота не могъ бы сдѣлать ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ. Мы видѣли выше, какъ легко наши «романтики» вообразили себя Байронами, не будучи въ состояніи даже подозревать, что такое была эта титаническая натура. Для всего ложнаго и смѣшнаго одинъ бичъ, мѣткій и страшный—юморъ. Только вооруженный этимъ сильнымъ орудіемъ писатель могъ дать новое направленіе литературѣ и убить романтизмъ. Нужно ли говорить, кто былъ этотъ писатель? Его давно уже знаетъ вся читающая Россія, теперь его знаетъ и Европа.

Если бы насъ спросили, въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы,—мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаютъ на все близорукая посредственность или низкая зависть,—въ томъ, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы она обратилась къ такъ называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило совершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей сдѣлаться вполне національною, русскою, оригинальною и самобытною; это значило сдѣлать ее выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ.

Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго, должно было быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполне обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Миргородъ» и «Ревизора». Съ тѣхъ поръ весь ходъ нашей литературы, вся сущность ея развитія, весь интересъ ея исторіи заключились въ успѣхахъ новой школы.

В. Бѣлинскій.

Соч. т. X, стр. 266—279.

Глава VI.

Эстетическая теорія — Отношеніе эстетиковъ къ ложно-классицизму и ложно-романтизму.

16. Псевдо-классицизмъ и псевдо-романтизмъ.

Значеніе «народности» въ литературѣ. — Подражательность прежняго времени. — *Ars poetica* и *L'art poétique*. — Черты ложнаго классицизма. — Лессингъ и борьба противъ ложно-классицизма. — Байронъ и Вальтеръ-Скоттъ. — Крайности романтизма. — Основа ложно-классицизма. — Принципы, провозглашенный противниками ложно-классич. направленія. — Шекспиръ—въ школѣ романтиковъ. — Преимущества романтизма предъ ложно-классическ. направленіемъ; причина его недолговѣчности; мѣсто его въ истинной поэзіи. — Заслуга Шлегелей.

«Народность» есть альфа и омега эстетики нашего *) времени, какъ «украшенное подражаніе природѣ» было альфою и омегою эстетики прошлаго вѣка. Высочайшая похвала, какою только можетъ, въ наши дни, удостоиться поэтъ, самый громкій титулъ, какимъ только могутъ его почтить его современники или потомки, состоитъ въ словѣ «народный поэтъ». Выраженія: «народная поэма», «народное произведеніе», часто употребляются теперь вмѣсто словъ: «превосходное, великое, вѣковое произведеніе». Волшебное слово, таинственный символъ, священный гіероглифъ какой-то глубоко-знаменательной, неизмѣримо-обширной идеи, — «народность» замѣнила собой и творчество, и вдохновеніе, и художественность, и классицизмъ, и романтизмъ, заключила въ одной себѣ и эстетику, и критику.

*) Писано въ 1841 г.

Короче: «народность» сдѣлалась высшимъ критеріумомъ, пробнымъ камнемъ достоинства всякаго поэтического произведенія и прочности всякой поэтической славы. Но всё ли, говоря о народности, говорятъ объ одномъ и томъ же предметѣ? не злоупотребляютъ ли это слово? Понимаютъ ли его истинное значеніе? Увы! съ «народностью» сдѣлалось то же, что нѣкогда произошло съ «романтизмомъ» и со многими другими словами, которыя потому именно и утратили всякое значеніе, что слишкомъ разширились въ значеніи, — которыя сдѣлались непонятны ни для кого потому именно, что казались всѣмъ понятными! Чтобъ уяснить значеніе слова «народность», мы должны изяснить процессъ историческаго развитія идеи, заключающейся въ этомъ словѣ, должны показать, когда начали думать о «народности», что разумѣли подъ нею прежде, и что должно разумѣть подъ нею въ наше время.

Было время, когда всё литераторы изъ того и бились, чтобы не быть народными, но быть подражательными. Подражательность въ литературѣ рождена римлянами. Народъ практический, народъ меча и закона, римляне были обдѣлены отъ природы эстетическимъ чувствомъ. Республика по справедливости могла гордиться своимъ энергическимъ и благороднымъ краснорѣчіемъ, которое родилось, выросло и разцвѣло на республиканской почвѣ, вмѣстѣ съ гражданственностію, и которое, съ монархіею, переродилось въ риторикѣ; но республика не имѣла поэзіи, какъ искусства: вся ея поэзія заключалась въ гражданской доблести, въ великихъ дѣлахъ и подвигахъ свободнаго и могучаго народа. О поэзіи, какъ искусствѣ, римляне узнали отъ грековъ, которые, умерши въ настоящемъ, жили своимъ великимъ прошедшимъ, въ настоящемъ безславіи утѣшались прошедшею славой, и, за неимѣніемъ всякаго другаго дѣла, изучали въ школахъ памятники поэзіи цвѣтущаго времени своей исторіи, которое навсегда прошло для нихъ. Завоевавъ трупъ нѣкогда столь прекрасной Эллады, варварь-римлянинъ впервые, такъ сказать, столкнулся съ геніемъ ея дивнаго искусства... Знаменитые люди Рима той эпохи воспитываются греческими выходцами; изученіе греческой литературы дѣлается необходимою для образованнаго римлянина. Но римская поэзія началась не прежде, какъ когда Августъ затворилъ храмъ Януса, и мертвымъ, обманчивымъ покоемъ замѣнилъ кровавыя волненія республики... Впрочемъ, рабство римлянъ въ поэзіи не было результатомъ только политическаго униженія: національный духъ римлянъ всегда былъ чуждъ поэзіи, и истинная латин-

ская литература заключается въ памятникахъ краснорѣчія и историческихъ сочиненіяхъ, между которыми достаточно указать только на записки Юлія Цезаря и лѣтопись Тацита, чтобы увидѣть великое значеніе латинской литературы. Но тѣмъ не менѣе, подражательная латинская поэзія стала на ряду съ греческою въ глазахъ новѣйшей Европы. Послѣдній представитель французской критики, Лагарпъ, отдавая «Иліадѣ» преимущество предъ «Энеидою», — преимущество въ силѣ, — «Энеиду» ставитъ несравненно выше со стороны изящества. Вѣроятно, первою причиною этого было, что новѣйшая Европа съ латинскою поэзіею познакомилась прежде, чѣмъ съ греческою. Изъ латинскаго языка образовались почти всё новоевропейскіе языки, кромѣ нѣмецкаго, и латинскій языкъ былъ богослужебнымъ языкомъ новѣйшей Европы, которая на немъ приняла книги священнаго писанія. Схоластическое направленіе европейской учености средних вѣковъ также много способствовало преобладанію духа латинской поэзіи. Французы, гордые новымъ просвѣщеніемъ, основаннымъ на изученіи древности, отверглись отъ преданій средних вѣковъ и всѣхъ романтическихъ элементовъ, столь родственныхъ ихъ національному духу, какъ и вообще духу всей новѣйшей Европы, возмечтали создать себѣ литературу, основанную на подражаніи греческой, которой они нисколько не понимали (потому-что не понимали никакой истинной поэзіи), и латинской, которая болѣе соотвѣтствовала ихъ практическому духу. «*Art poétique*» Горація родила «*l'Art poétique*» Буало, которое и сдѣлалось съ того времени кодексомъ, алькораномъ ихъ эстетики. Но, думая подражать грекамъ въ трагедіи, французы и тутъ, на зло себѣ, остались французами: ихъ трагедія столько-же походила на драматическія поэмы Софокла и Эврипида, сколько придворные Людовика XIV походили на Агамемноновъ и Клитемнестръ героической Греціи. Чтобы сдѣлать подражаніе какъ можно ближе къ подлиннику, они не только навязали греческимъ и римскимъ героинямъ любезность и любезничанье, сантиментальность и надутость своихъ маркизовъ и маркизъ, но даже и одѣли ихъ въ огромные парики, шитые кафтаны и робы съ фижмами, а на лица налѣпили множество мушекъ. Въ подражаніи латинской поэзіи французамъ удалось лучше: если сантиментальныя эклоги ихъ идилликовъ — г-жи Дезульеръ Флоріана и другихъ, ужъ черезчуръ были пошлы даже въ сравненіи съ эклогами Virgilіа, — за то «*l'Art poétique*» и сатиры Буало едва-ли были ниже «*Art poétique*» и сатиръ Горація, а Вольтерова «Ген-

риада» рѣшительно ничѣмъ не уступаетъ Виргиліевой «Энеидѣ». Кромѣ многихъ другихъ причинъ, переходъ французовъ къ подражанію древнимъ былъ очень понятенъ еще и какъ противоѣдѣствіе сантиментально-аллегорическому направленію ихъ литературы, которымъ ознаменовалась эпоха, раздѣлявшая средніе вѣка отъ новѣйшей исторіи. Не удивительно, какъ вліянію французскаго вкуса покорились нѣмцы, которые совсѣмъ не имѣли литературы, когда у французовъ уже была литература; но удивительно, какъ покорились вліянію французскаго вкуса англичане, которые имѣли Шекспира, когда еще у французовъ не было даже и Корнеля, а были только Ронсары, Сюдери и подобные имъ. Конечно, причиною этого должно полагать общежительное вліяніе Франціи на Европу, которое и теперь продолжается, какъ и всегда будетъ продолжаться: въ дѣлѣ живой, общественной литературы, французы всегда были и всегда будутъ впереди всѣхъ. Даже въ рабской подражательности непонятнымъ образцамъ древнихъ литературъ французы оставались вѣрны себѣ, были національны въ духѣ, будучи подражателями въ словахъ и внѣшнихъ формахъ; но англичане, въ лицѣ Драйдена и Попе, отказались сами отъ себя, и ихъ подражательная литература была пустоцвѣтомъ въ полномъ смыслѣ этого слова... Вдругъ все измѣнилось. Возсталъ отъ апатическаго усиленія національный гений нѣмцевъ. Энергическій Лессингъ — этотъ литературный Лютеръ — мощно возсталъ противъ французскаго направленія и побѣдоносно низвергъ его. Самобытные гении Гёте и Шиллера взомли на небосклонъ юной германской литературы блестящими солнцами, которыхъ живительные лучи оплодотворили почву національнаго гения. Романтическая школа Шлегелей явилась крестовымъ походомъ на классическій исламизмъ, — и одинъ *) изъ этихъ замѣчательныхъ поборниковъ романтизма сражался съ классицизмомъ въ самой столицѣ его — Парижѣ. Национальный гений Англіи также воспринялъ снова, и, въ лицѣ Байрона, явился у ней новый титанъ поэзіи; Вальтеръ-Скоттъ создалъ совершенно новую поэзію, — поэзію прозы жизни, поэзію дѣйствительной жизни. Сама Франція отказалась отъ своихъ вѣковыхъ предубѣжденій, измѣнила своей національной гордости и отреклась отъ боговъ своего Парнаса, которые доставили ей владычество надъ всею Европою. И все это было сдѣлано ею во имя «романтизма»! Представители ея новаго направленія назывались «романтиками» и для дикаго

*) Гейне.

врака среднихъ вѣковъ навсегда разстались съ свѣтлымъ небомъ Эллады и Авзоніи *).

Что-же такое былъ этотъ романтизмъ? Въ какомъ отношеніи находился онъ къ классицизму? Какимъ образомъ одна крайность такъ быстро, безъ всякой постепенности, безъ всякаго посредствующаго перехода, могла замѣниться другою, враждебною и противоположною ей крайностію? Но точно-ли эти крайности такъ враждебны другъ другу, что между ними нѣтъ ничего общаго, нѣтъ никакой возможности примиренія?.. Или не кстати-ли здѣсь вспомнить очень умную французскую поговорку: *les extrêmes se touchent*?.. Въ самомъ дѣлѣ, не охладѣли-ли мы теперь и къ самому романтизму, какъ еще недавно и такъ внезапно охладѣли къ классицизму? — Что ни говорите, но слово „романтизмъ“ ужъ рѣдко встрѣчается теперь въ нашихъ критикахъ и эстетикахъ; оно уже потеряло для насъ свое прежнее значеніе, ужъ не служитъ отвѣтомъ на всѣ вопросы...

Основаніе псевдо-классической французской теоріи заключалось въ понятіи, что искусство есть подражаніе природѣ, но что природа должна являться въ искусствѣ украшенною и облагороженною. Въслѣдствіе такого взгляда, изъ искусства были изгнаны естественность и свобода, а слѣдовательно истина и жизнь, которые уступили мѣсто чудовищной искусственности, принужденности, лжи и мертвенности. Форма перестала быть явленіемъ духа, но сдѣлалась, такъ сказать, футляръ отвлеченныхъ представлений, ошибочно принимавшихся за идеи. Солдаты заговорили однимъ языкомъ съ полководцами, земледѣльцы и поденщики — съ царями, слуги — съ господами; пастушки одѣлись въ фіжмы и испестрили свое лицо мушками; ениксены, менуэтная выступка, театральныя позы и надутая декламация сдѣлались вывѣскою и необходимымъ условіемъ «украшенной и облагороженной природы». Чтобы не слишкомъ рѣзко противорѣчить себѣ, поэты и теоретики новаго классицизма исключили изъ поэзіи простолюдиновъ и мѣщанъ и дали въ ней мѣсто только царямъ, ихъ придворнымъ и героямъ благороднаго происхожденія. Такъ какъ современная жизнь не давала матеріаловъ для поэзіи, то всѣ бросились на грековъ и римлянъ, одѣтыхъ въ кафтаны и робы съ фіжмами маркизовъ и маркизъ. Не было оригинальности, не было «народности»; дѣйствительныя лица были замѣнены отвлеченными призраками, не принадлежащими ни къ какой странѣ,

*) Италія.

ни къ какому вѣку. Даже комедія, на долю которой оставили современность, даже и комедія не представляла дѣйствительныхъ лицъ, а выдумывала призраки, олицетворяя ими сентенціи мелкой ходячей морали о добродѣтеляхъ и порокахъ. Но вдругъ все измѣнилось, когда самостоятельный гений германской націи разбилъ оковы псевдо-классицизма и низложилъ во прахъ, съ алтарей храма искусства, миньютюрными восковыми статуями Корнелей, Расиновъ, Мольеровъ, Буало, Вольтеровъ, Дюсисовъ и Кребилльоновъ съ братією. Благодаря нѣмцамъ, вся Европа узнала Шекспира, котораго Вольтеръ заклеилъ прозвищемъ «пьянаго дикаря». Мало того, нѣмцы доказали, что древніе были оклеветаны, что Аристотель и во снѣ не думалъ утверждать нелѣпности, во имя его распространенныя французами; что поэзія грековъ запечатлѣна духомъ Греціи, что она — полное выраженіе ея народности, зеркало ея дѣйствительности. Вслѣдствіе этого, народность была провозглашена необходимымъ условіемъ всякой поэзіи. Въмѣсто грековъ, образцомъ сдѣлался Шекспиръ, какъ поэтъ новаго, нашего, христіанскаго міра. На искусство стали смотрѣть не какъ на подражаніе природѣ, но какъ на воспроизведеніе дѣйствительности, какъ на творчество новой, высшей дѣйствительности. Въ самой Франціи не замедлила возгорѣться отчаянная борьба между классиками и романтиками. Дружина молодыхъ и рьяныхъ талантовъ основала тамъ свою романтическую школу, которая, какъ реакція псевдо-классицизму, такъ же ложно поняла романтизмъ, какъ прежняя школа ложно понимала древнюю классическую поэзію. Въ новомъ французскомъ романтизмѣ, дѣйствительность не только сбросила съ себя парики, кафтаны, фижмы и мушки, но и всякое одѣяніе, явилась нагою и цинически естественною. Если классицизмъ французъ походилъ на младенца въ англійской болѣзни или на восковую статую съ стеклянными глазами, то романтизмъ ихъ сталъ походить на буйную вакханку съ безстыднымъ упоеніемъ въ горящемъ взорѣ, съ растрепанными волосами, изстуженными и дикими движеніями, или на австраійскаго дикаря, пирующаго на костяхъ съѣденныхъ имъ враговъ. Конечно, преимущество на той сторонѣ, гдѣ есть жизнь, и въ буйной вакханкѣ или въ ослѣпѣломъ отъ вражеской крови дикарѣ болѣе поэзіи, нежели въ восковой статуѣ; но тѣмъ не менѣе, французскій романтизмъ можетъ имѣть значеніе больше какъ реакція ложному классицизму, нежели какъ истинная поэзія. Мало того: даже идеальный и возвышенный романтизмъ Шлегелей важенъ больше какъ реакція псевдо-классицизму, нежели

какъ истинная поэзія, — и вотъ причина, почему братья Шлегели пережили сперва съ такимъ успѣхомъ и такъ энергически проповѣдываемый ими романтизмъ. Въ самомъ дѣлѣ, кому теперь прійдетъ охота, забывъ цѣлую исторію человечества и всю современность, искать поэзіи только въ католическихъ и рыцарскихъ преданіяхъ среднихъ вѣковъ?.. И потому, какъ быстро бросились на эти средніе вѣка, такъ скоро и догадались, что Востокъ, Греція, Римъ, протестантизмъ и вообще новѣйшая исторія и современность имѣютъ столько же правъ на вниманіе поэзіи, сколько и средніе вѣка, и что Шекспиръ, на котораго Шлегели, по странному противорѣчію съ самими собою, думали опираться, былъ не столько романтикомъ, сколько поэтомъ новѣйшаго времени, поэтомъ полной дѣйствительности, а не одного какого нибудь изъ ея моментовъ. А между тѣмъ, заслуга Шлегелей все-таки велика: еслибъ они не впали въ свою односторонность, — болѣе жалкая и болѣе ложная односторонность французскаго классицизма не была бы ниспровергнута.

В. Бѣлинскій.

Соч. Т. V, стр. 3—15.

17. Поэзія и наука.

(1843 г.).

Истина составляетъ такъ же содержаніе поэзіи, какъ и философіи, и, со стороны содержанія, поэтическое произведеніе — тоже самое, что и философскій трактатъ; въ этомъ отношеніи нѣтъ никакой разницы между поэзією и мышленіемъ. И, однако же, поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: онѣ рѣзко отдѣляются другъ отъ друга своею формою, которая и составляетъ существенное свойство каждаго. Философія, или (выразимъ это понятіе болѣе общимъ терминомъ) мышленіе, дѣйствуетъ прямо черезъ разумъ и на разумъ; и если мыслитель или ораторъ, проникаясь эдрымъ пламенемъ изслѣдуемой имъ истины, иногда возвышается до паэоса, приобѣгаетъ къ посредству фантазіи и говоритъ огненнымъ языкомъ чувства и радужными образами фантазіи — у него, и въ такомъ случаѣ, чувство и фантазія являются второстепенными элементами, — первое, какъ результатъ глубокаго проникновенія въ истину, раскрытую путемъ анализа, а

вторая — какъ вспомогательное средство сдѣлать истину ощутительною и видимою. Въ мышленіи разумъ лицомъ къ лицу становится къ мысли, не нуждается въ посредствѣ чувства и фантазій, но только допуская ихъ по собственной волѣ, какъ слѣдствіе мгновенно охватившаго душу мыслителя увлеченія, надъ которымъ разумъ не перестаетъ, однако же, царить, и котораго обаятельной силы онъ уже не боится, какъ произведенія собственной своей діалектики. И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только тѣмъ мыслителямъ, которые окрѣпли и закалялись гимнастикою строгой логической мысли, обнаженной отъ всѣхъ покрововъ непосредственного представленія, и которые уже не могутъ покоряться авторитету ощущений, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда повѣряютъ ихъ діалектикою разума. Въ поэзіи, напротивъ, фантазія является главною дѣйствующею силою, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія разсуждаетъ и мыслить — это правда, ибо ея содержанія есть такъ же истина, какъ и содержаніе мышленія; но поэзія разсуждаетъ и мыслить образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобъ быть поэтическими. Нѣкоторые аристархи, сами писавшіе нѣкогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто земная, ибо «оземляетъ» безплотную чистоту идей: такой взглядъ на поэзію обнаруживаетъ въ этихъ аристархахъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чувства, натуру грубо прозаическую и чуждую всякаго предположенія поэзіи. Нападать на поэзію за то, что она оземляетъ идеи, — все равно, что нападать на математику за то, что она все изчисляетъ и измѣряетъ. Въ томъ-то и состоитъ сущность поэзіи, что она безплотной идеѣ даетъ живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случаѣ, идея есть только морская пѣна, а поэтической образъ — богиня *) любви и красоты, родившаяся изъ морской пѣны. Кто не одаренъ творческою фантазією, способною превращать идеи въ образы, мыслить, разсуждать и чувствовать образами, тому не помогутъ сдѣлаться поэтомъ ни умъ, ни чувство, ни сила убѣжденій и вѣрованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И если бы не такъ, то всего легче было бы сдѣлаться поэтомъ: стоило бы только узнать правила вер-

*) Афродита (Венера), богиня красоты, родилась, по сказанію Гезіода, изъ морской пѣны.

сификаціи, да, благословясь, и начать писать диссертациі разбѣренными строчками, заостренными приемами.

Одно изъ главнѣйшихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соотвѣтственность идеи съ формою и формы съ идеєю, и органическая цѣлостность его созданій. Поэтому, всякое художественное произведеніе прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основаніи чувства, или мысли, а слѣдовательно и формы. Мысль въ піесѣ можетъ быть схвачена или въ одномъ своемъ моментѣ или развита во всѣхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитіе должно относиться къ ней самой, какъ относится въ музыкальномъ произведеніи варіаціи къ мотиву. Если мысль піесы переходитъ въ другую, хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль, — тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а, слѣдовательно, единство и сила впечатлѣнія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя только обезноженнымъ, но неудовлетвореннымъ, — утомленіе и досада заступаютъ мѣсто наслажденія.

Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой себѣ, ясна и опредѣлена для поэта, если произведеніе вѣрно концепировано и достаточно выношено въ душѣ поэта, — то въ немъ не можетъ быть ни уродливыхъ частностей, ни слабыхъ мѣстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка въ виѣшней отдѣлкѣ. Произведеніе, въ такомъ случаѣ, органически цѣлостно: въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводитъ читателя въ его смыслъ, послѣднее слово замыкаетъ собою все его содержаніе, такъ что читатель вполне удовлетворенъ и не можетъ спросить: «что-же дальше?»

В. Бѣлинскій.

Соч., т. VII, стр. 68—71.

18. Поэзія и художественность.

(1838 г.).

Есть два способа выражать внутренній міръ своихъ представлений: посредствомъ чистой мысли — логически, и непосредственно — въ образахъ. Каждый изъ этихъ способовъ имѣетъ свои подраздѣленія, и мы, оставляя въ сторонѣ первый, какъ не относящійся къ нашему предмету, будемъ гово-

рить о второмъ. Этотъ второй, или непосредственный, способъ выраженія идеи вообще называется поэтическимъ или художественнымъ. По нашему мнѣнію, это не вѣрно: поэтическое можетъ быть нехудожественнымъ, но художественное не можетъ быть непоэтическимъ. Не входя въ подробности объясненія, которыя могли бы завести насъ далеко, постараемся примѣромъ объяснить нашу мысль. Въ [«Московскомъ Наблюдателѣ», 1838 г.] помѣщенъ переводъ «Идеаловъ» Шиллера, переводъ, по крайней мѣрѣ какъ кажется намъ, прекрасный, хотя, можетъ быть, еще и далеко не совершенный, но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что это произведеніе Шиллера поэтическое, но нисколько не художественное. Оно обнаруживаетъ въ Шиллерѣ душу пламенную, глубокую, великую, человѣка гениальнаго, но не художника; оно полно глубокихъ идей, отличается силою, энергіею и красотою выраженія, но не художественностью. Въ творчествѣ сила не въ идеѣ, а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благолѣпнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозриваетъ ее.

Если бы васъ спросили, какую идею выражаютъ собою «Идеалы» Шиллера, вы, безъ сомнѣнія, не заинаясь отвѣтили бы: идею человѣка съ душою поэтическою, колоссальною, человѣка, который отзывался на всѣ явленія жизни, порывался выразить и въ звукѣ, и въ словѣ, и въ краскѣ внутренній міръ своихъ глубокихъ и могучихъ ощущеній, и который наконецъ увидѣлъ съ грустью, что для него міръ уже не то, чѣмъ онъ ему казался въ златые дни его юности, и что въ замѣну всѣхъ блестящихъ благъ своихъ жизнь дала ему только дружбу и трудъ... Не правда ли? Теперь, что бы вы отвѣтили, если бы васъ спросили, какую идею выражаетъ собою «Нереида» *) Пушкина? Трудный вопросъ—не правда ли?

Н е р е и д а

*) Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду.
Скрытый межъ оливъ едва я смѣлъ дохвуть:
Надъясной влагою полубогини грудь
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала
И пѣну изъ власовъ струею выжимала.

Пушкинъ, соч. т. I, 304, Спб. 1882.

Можетъ быть, вы и отвѣтили бы на него, только подумавши, и не такъ скоро. И таково всегда истинно художественное произведеніе, что въ немъ идея, такъ сказать, поглощается формою, и вы больше видите ее, нежели понимаете. Въ этомъ-то и состоитъ непосредственность искусства. Въ «Нереидѣ» Пушкина есть идея; но она такъ конкретно слита съ формою, что вамъ, чтобы выговорить ее, надо оторвать ее отъ формы, а форма такъ прекрасна, что у васъ не подымется рука на такую операцію. Спросите всѣхъ, что лучше «Идеалы» или «Нереида»: большинство станетъ за идеалы, но чьи глаза одарены ясновидѣніемъ вѣчной красоты, тѣ даже не станутъ и сравнивать этихъ двухъ произведеній...

Все, что вышло изъ души, изъ чувства, словомъ, изъ полноты жизни и выражено съ жаромъ, увлеченіемъ—во всемъ томъ есть поэзія, потому что есть непосредственность или образность.

Въ этомъ смыслѣ поэзія можетъ быть и въ рѣчи, и въ статьѣ журнальной. За примѣрами ходить не далеко: вспомните, что говоритъ Гегель *) о той части физическихъ наукъ, «которая подсматриваетъ тихую, таинственную производительность природы, проявляющуюся въ камнѣ и въ нѣдрахъ земли, скромно, безъ претензій слагающую этотъ языкъ молчанія, эти красивыя формы, радующія взоръ, раздражающія дѣятельность ума, побуждающія его нечувствительно возвышаться до понятія и представляющія ему образъ тихой, правильной, замкнутой въ себѣ красоты!» Неужели это не поэзія?—Но вѣрно никто не вздумаетъ назвать это художественностью.

Мы думаемъ, что это даже и не поэзія, хотя тутъ и есть поэзія какъ есть она во всемъ, въ чемъ есть душа, и чувство, и жизнь; но что это краснорѣчіе, или второй, низшій, способъ непосредственнаго выраженія истины. Первый же и высшій способъ непосредственнаго выраженія истины есть художественная поэзія, или поэзія формы; а поэзія содержанія, т.-е. такая поэзія, которой сила и могущество заключается въ глубокости и великости идеи, занимаетъ середину между этими двумя способами непосредственнаго выраженія истины. Она колеблется между краснорѣчіемъ и художественностью, безпрестанно переходя то въ краснорѣчіе, что вредитъ ей, то въ художественность, что возвышаетъ ее. Въ этомъ смыслѣ она есть какой-то подопосокъ, и ея произведенія не могутъ надѣяться на долговѣчность. Шил-

*) «Наблюдатель». Гимназическія рѣчи Гегеля.

леръ, въ которомъ философскій элементъ безпрестанно боролся съ художественнымъ элементомъ и часто побѣждалъ его, Шиллеръ, едва ли не въ большей части своихъ произведеній, принадлежитъ къ числу этихъ полупоэтовъ. Гете и нашъ Пушкинъ — вотъ чисто поэтическія натуры: одному довольно сорваннаго цвѣтка, а другому завядшаго цвѣтка, печально найденнаго имъ въ книгѣ, чтобы ринуть душу читателя въ міръ безконечнаго.

В. Бѣлинскій.

Соч., т. II, стр. 282—284.

19. Составные элементы искусства.

А. Народность въ поэзи.

Обыкновенно, народность смѣшиваютъ съ естественностію, тогда какъ это два совершенно особенныя представленія: хотя истинно народное не можетъ не быть естественнымъ, но истинно естественное можетъ быть нисколько не народнымъ. Сверхъ того, нѣкоторые изъ нашихъ писателей, замѣтивъ, что европейское образованіе сглаживаетъ угловатости народности, и смѣшивая форму съ идеею, обратились преимущественно къ низшимъ классамъ народа. Истинный художникъ народенъ и націоналенъ безъ усилія; онъ чувствуетъ національность прежде всего въ самомъ себѣ и потому невольно налагаетъ ея печать на свои произведенія. Хотя Татьяна Пушкина и читаетъ французскія книжки и одѣвается по картинкамъ европейскихъ модъ, но она — лицо въ высшей степени русское — и тогда, когда мы ее видимъ «уѣздною барышнею», и въ то время, когда она является княгинею и свѣтскою дамою. Но для изображенія такихъ благородныхъ личностей нужна гениальность или великій талантъ; маленькимъ дарованіямъ, а особенно посредственности, сподручишь мужики, бабы, лакеи: стоитъ только заставить ихъ говорить ихъ языкомъ — и народность готова. За то, мужики и бабы гениальныхъ поэтовъ бываютъ благороднѣе господъ и вельможъ маленькихъ дарованій и посредственности: няня Татьяны Пушкина, при своей простотѣ и ограниченности, какъ изображеніе дышетъ художественною граціею и достолюбезностію: мы смѣемся надъ нею, но лю-

бимъ и уважаемъ ее; ея простодушная, безсознательная любовь къ Татьянѣ приводитъ насъ въ умиленіе, — и, вмѣстѣ съ Татьяною, мы вздыхаемъ надъ могилою ея бѣдной няни.

Гдѣ жизнь, тамъ и поэзія; но жизнь только тамъ, гдѣ идея, — и уловить играніе жизни — значитъ уловить невидимый и благоуханный эфиръ идеи. Для искусства нѣтъ болѣе благороднаго и высокаго предмета, какъ человѣкъ, — и чтобы имѣть право быть изображену искусствомъ, человѣку нужно быть человѣкомъ, а не чиновникомъ 14-го класса или дворяниномъ. И у мужика есть душа, сердце, есть желанія и страсти, есть любовь и ненависть, словомъ — есть жизнь. Но чтобы изобразить жизнь мужиковъ, надо уловить, какъ мы уже сказали, идею этой жизни, — и тогда въ ней не будетъ ничего грубаго, пошлаго, плоскаго, глупаго. Вотъ отчего «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, посвященные изображенію простаго быта Малороссіи, дышатъ такою полнотою художественности, очаровываютъ такою неотразимою прелестію, такою дивною поэзіею. Но, повторяемъ, для этого нуженъ гений и гений, талантъ и талантъ. Скажутъ: гений и талантъ еще нужны въ изображеніи жизни высшихъ слоевъ общества. Нѣтъ: если для изображенія художественнаго, то нуженъ такой же талантъ, какъ и вездѣ; но не всякій талантъ есть художникъ, а литература состоитъ не изъ однихъ художественныхъ созданій, — и беллетристика — этотъ насущный хлѣбъ большинства общества, это практическое, житейское искусство толпы — также требуетъ талантовъ и даже большихъ талантовъ. Вотъ этимъ талантамъ всего опаснѣе спускаться въ низшіе слои общества, откуда, вмѣсто народности, они могутъ вынести только грубую простонародность; и имъ-то всего лучше браться за изображеніе среднихъ и даже высшихъ слоевъ общества, гдѣ жизнь разнообразнѣе, обширнѣе, отношенія человѣчнѣе, утонченнѣе, многосложнѣе, игривѣе, глубже. Въ беллетристикѣ, внѣшній цѣль можетъ имѣть и большую пользу и важное значеніе, тогда какъ въ искусствѣ одна цѣль — само искусство. Теперь, если беллетристическій писатель, выводя на сцену чудаковъ, невѣждъ, даже самую чернь, имѣетъ въ виду дѣйствовать на образованіе общества, пускать въ оборотъ человѣческія понятія, новыя мысли, — я низко кланяюсь ему, если онъ дѣлаетъ это съ талантомъ: его мѣсто высокаго, его призваніе священно, его имя честно и славно. Но когда онъ рисуетъ грязь общества, подонки народа, не для чего иного, какъ для того, чтобы самому насладиться и плѣнить меня этимъ зрѣлищемъ, — то чѣмъ естественнѣе, поэтичнѣе.

чѣмъ правдоподобнѣе будутъ его изображенія, тѣмъ они для меня отвратительнѣе и безсмысленнѣе. Не должно забывать ни на минуту, что герой искусства и литературы есть *человекъ*, а не баринъ, и тѣмъ болѣе не *музыкантъ*. Если Шекспиръ давалъ мѣсто въ своихъ драмахъ всѣмъ людямъ безъ разбора, — онъ это дѣлалъ потому, что видѣлъ въ нихъ людей, а не по пристрастію къ черни. Предпочитать мужиковъ потому только, что они мужики, что они грубы, неопытны, невѣжественны, предпочитать ихъ образованнымъ классамъ общества — странное и смѣшное заблужденіе! И самъ гений въ изображеніи жизни чернаго народа всегда найдетъ меньше элементовъ поэзіи, чѣмъ въ образованныхъ классахъ общества: беллетрическій-же талантъ не найдетъ въ жизни черни никакой поэзіи. Впрочемъ, мы далеки отъ того, чтобы отнимать право у талантливаго литератора касаться жизни простаго народа, но мы требуемъ только, чтобы онъ это дѣлалъ не по любви къ мужицкому жаргону, не по склонности къ лохмотьямъ и грязи, но для какой-нибудь цѣли, въ которой была-бы видна человѣческая мысль. Объяснимъ это примѣромъ. Г. Погодинъ написалъ нѣкогда повѣсть „Черная Немочь“, которая въ свое время обращала на себя вниманіе публики, подобно многимъ теперь забытымъ произведеніямъ. Въ этой повѣсти дѣйствуютъ купцы, попадьи, батраки и подобный тому людъ; языкъ ея блещетъ всѣми красотами, свойственными языку подобнаго общества; но повѣсть все-таки заслуживаетъ похвалу по своему намѣренію. Главный герой ея — молодой человѣкъ, сынъ купца, томимый святою жаждою поэзіи, окруженный дѣйствительностью, отъ которой страждетъ обоняніе, зрѣніе и человѣческое достоинство, и которая авторомъ скопирована во всей ея наготѣ и естественности, — онъ погибаетъ жертвою этой грязной дѣйствительности. Правда, герой изображенъ не совсѣмъ естественно, довольно слабо, безъ теплоты и увлекательности; но мы говоримъ не о талантѣ (а такимъ предметомъ не погнушался-бы и гений), но о добромъ намѣреніи сочинителя. По этому добромъ намѣренію, повѣсть можетъ быть сочтена за заслугу со стороны г. Погодина русской литературѣ. То же можно сказать и о его маленькой повѣсти „Нищій“. Но когда г. Погодинъ сталъ рассказывать, какъ купеческая дочь задушила подъ подушкою парня; какъ баба, потчужа дьячка сивухой, сказала ему: „кунай на здорье“, а тотъ отвѣчалъ ей любезностью „маслецо коровье“; или пересказывать похождение на ярмаркѣ бабы-чиновницы и пересказывать ея языкомъ; а потомъ героиню повѣсти, порядочную женщину, изъ любви къ

мужу заставлятъ жить въ подвалѣ, въ сонмищѣ пьяницъ, воровъ и мошенниковъ; или изображать психологическія явленія мужиковъ, которые рѣжутъ другихъ и давятся сами: — признаемся, это верхъ романтизма, верхъ народности, которые хуже всякаго классицизма. Мы уважаемъ „Юрія Милославскаго“ г. Загоскина; но признаемся, рѣшительно не понимали въ его другихъ романахъ прелести ярмарочныхъ сценъ и языка героевъ этихъ сценъ. Мы отдаемъ полную справедливость юристическому таланту, съ какимъ написанъ „Панъ Халывскій“, г. Основьяненка; еще выше цѣнимъ прекрасную цѣль, съ какою написана эта забавная сатира на доброе старое время, но не можемъ восхищаться многими изъ произведеній г. Основьяненка за то только, что въ нихъ мужики говорятъ чистымъ мужицкимъ языкомъ и никакъ не выходятъ изъ ограниченной сферы своихъ понятій. Напротивъ, намъ пріятнѣе было-бы въ подобныхъ произведеніяхъ встрѣчать такихъ мужиковъ, которые, благодаря своей натурѣ или случайнымъ обстоятельствамъ, нѣсколько возвышаются надъ ограниченною сферою мужицкой жизни...

Но, слава Богу, теперь *) начинаютъ понимать цѣну такой народности, и начинаютъ понимать ее потому именно, что теперь эта народность находится въ своей апогеѣ, дошла до послѣдней степени нелѣпости. Есть люди, которые приглашаютъ васъ учиться у черни не только литературѣ, но и нравамъ, и обычаямъ, и даже тому, что составляетъ внутреннюю жизнь и свободное убѣжденіе каждаго порядочнаго человѣка. Деревенскіе старосты и богомольныя старухи представляются у нихъ образцами нравственности, созерцательныхъ откровеній и даже образованности и просвѣщенія. Такъ-то справедливо, что ложь гораздо опаснѣе и страшнѣе, когда существуетъ невидимкою и призракомъ: чтобы уничтожить ее, должно не мѣшать ей дойти до своей послѣдней крайности, впасть въ нелѣпость, сдѣлаться смѣшною, вполне проявиться, принять образъ и лицо, словомъ — созрѣть; тогда она прорвется и сама собою уничтожится. Когда преслѣдуешь зло, надо видѣть его передъ собою, чтобы можно было показать его другимъ. Вотъ почему тѣ, которые хлопочутъ въ его пользу, сражаются его скорѣе другихъ, ему противоборствующихъ. Это единственная и притомъ очень важная заслуга со стороны людей, которые всю жизнь свою быются изъ разныхъ, полезныхъ ихъ благосостоянію, лжей.

*) Писано въ 1841 году.

Истина только въ началѣ встрѣчаетъ сильное сопротивленіе, но чѣмъ она больше выясняется, чѣмъ больше становится фактомъ, тѣмъ большее число приобретаетъ себѣ друзей и поборниковъ. Пожъ идетъ обратнымъ ходомъ: сильная, пока не вполне проявится, она уничтожается сама собою, подобно призраку, исчезающему отъ лучей свѣта.

«Народность» — великое дѣло и въ политической жизни и въ литературѣ; только, подобно всякому истинному понятію, она сама по себѣ — односторонность, и является истинною только въ примиреніи съ противоположною ей стороною. Противоположная сторона «народности» есть «общее» въ смыслѣ «обще-человѣческаго». Какъ ни одинъ человѣкъ не долженъ существовать отдѣльно отъ общества, такъ ни одинъ народъ не долженъ существовать внѣ человѣчества. Человѣкъ, существующій внѣ народной стихіи, — призракъ; народъ, несознающій себя живымъ членомъ въ семействѣ человѣчества, — не нація, но племя, подобное калмыкамъ и черкесамъ, или живой трупъ, подобно китайцамъ, японцамъ, персіянамъ и туркамъ. Безъ народнаго характера, безъ національной фizioноміи, государство — не живое органическое тѣло, а механическій препаратъ. Но съ другой стороны и національнаго духа еще недостаточно для того, чтобъ народъ могъ считать себя чѣмъ-нибудь существеннымъ и дѣйствительнымъ въ общности мірозданія. Въ томъ и другомъ случаѣ — народъ есть односторонность и крайность, а слѣдовательно и призракъ. Чтобъ народъ былъ дѣйствительно историческимъ явленіемъ, его народность необходимо должна быть только формою, проявленіемъ идеи человѣчества, а не самою идеею. Все особенное и единичное, всякая индивидуальность дѣйствительно существуетъ только общимъ, которое есть его содержаніе, и котораго она только выраженіе и форма. Индивидуальность — призракъ безъ общаго; общее, въ свою очередь, призракъ безъ особаго, индивидуальнаго проявленія. И потому, люди, которые требуютъ въ литературѣ одной «народности», требуютъ какого-то призрачнаго и пустаго «ничего»; съ другой стороны, люди, которые требуютъ въ литературѣ совершеннаго отсутствія народности, думая тѣмъ сдѣлать литературу всею равно доступною и общею, т. е. человѣческою, также требуютъ какого-то призрачнаго и пустаго «ничего». Первые хлопчутъ о формѣ безъ содержанія; вторые — о содержаніи безъ формы. Тѣ и другіе не понимаютъ, что ни форма безъ содержанія, ни содержаніе безъ формы существовать не могутъ, а если и существуютъ, то въ первомъ случаѣ, какъ пустой сосудъ страннаго и нелѣпаго вида,

а во второмъ, какъ миражи, которые всею видимы, но которые въ то же время почитаются несуществующими предметами. Очевидно, что только та литература истинно народна, которая, въ то же время, есть литература обще-человѣческая; и только та литература — истинно-человѣческая, которая, въ то же время, и народна. Одно безъ другаго существовать не должно и не можетъ. Намъ скажутъ въ опроверженіе, что нѣтъ племени на землѣ, которое бы, при всей своей ничтожности, не имѣло у себя поэзіи; а какъ всякая поэзія есть дѣйствительно существующій фактъ, то, слѣдовательно, можно имѣть народную поэзію и не принадлежать къ семейству человѣческаго рода. Возраженіе, только кажущееся основательнымъ! Нѣтъ на землѣ племени, которое не принадлежало бы къ семейству человѣческаго рода; но дѣло въ томъ, что одно племя меньше, а другое больше принадлежитъ человѣчеству, и что, въ этомъ отношеніи, всѣ племена и народы представляютъ собою цѣпь, которой звенья съ обоихъ концовъ постепенно увеличиваются къ центру. Египтяне такъ же историческій народъ, какъ и евреи; но важность ихъ для человѣчества далеко не одинакова: первые внесли особый элементъ въ многосложную жизнь Греціи и только этимъ упрочили свое существованіе въ исторіи; результатомъ же существованія евреевъ была божественная книга, покорившая теперь подъ свою спасительную власть лучшую часть человѣчества и готовая скоро покорить весь міръ. Потому, нѣтъ нужды говорить, который изъ этихъ двухъ народовъ болѣе принадлежитъ человѣчеству. Гдѣ только человѣкъ владѣетъ словомъ, любитъ и ненавидитъ, блаженствуетъ и страдаетъ, тамъ уже является и человѣчество, тамъ уже есть и жизнь и поэзія; но большаѣ разница въ объемѣ слова, любви, ненависти, блаженства и страданія между дикимъ отаитяниномъ и образованнымъ европейцемъ, между финномъ, калмыкомъ, тунгузомъ — и французомъ, нѣмцемъ, англичаниномъ. Такая же разница и между литературами. Есть люди, которые посвящаютъ цѣлую жизнь изученію греческой литературы: но едва ли человѣкъ съ умомъ и душою посвятитъ всю жизнь свою на изученіе чухонской литературы!..

Важность и достоинство народовъ опредѣляется ихъ историческимъ значеніемъ. Народъ, не имѣющій исторіи, — ничто, хотя бы занималъ собою половину земнаго шара и считалъ свое народонаселеніе сотнями милліоновъ. Такъ нынѣшніе Персіяне хотя и составляютъ значительное го-

сударство въ Азіи, но не имѣютъ исторіи, потому что перемѣны династій и властителей еще не составляютъ исторіи.

Поэзія каждаго народа есть непосредственное выраженіе его сознанія; отъ этого, поэзія тѣсно слита съ жизнію народа. Вотъ причина, почему поэзія должна быть народною, и почему поэзія одного народа не похожа на поэзію всѣхъ другихъ народовъ. Для всякаго народа есть двѣ великія эпохи жизни: эпоха естественной непосредственности, или младенчества, и эпоха сознательнаго существованія. Въ первую эпоху жизни, національная особенность жизни каждаго народа выражается рѣзче, и тогда его поэзія бываетъ по преимуществу народною. Въ этомъ смыслѣ, народная поэзія отличается рѣзкою особенностію, и потому болѣе доступна уразумѣнію всей массы своего народа, и болѣе недоступна для другихъ народовъ. Русская пѣсня сильно дѣйствуетъ на русскую душу, но нѣма для иностранца и непереводаима ни на какой другой языкъ. Во вторую эпоху существованія народа, поэзія его дѣлается менѣе доступною для массы народа и болѣе доступною для всѣхъ другихъ народовъ. Русскій мужикъ не пойметъ Пушкина, но за то Пушкинская поэзія доступна всякому образованному иностранцу и удобо-переводима на всѣ языки. Если народъ ничтоженъ въ историческомъ значеніи, его естественная (народная) поэзія всегда выше его художественной поэзіи, потому что послѣдняя болѣе требуетъ обще-человѣческихъ элементовъ и если не находитъ ихъ въ жизни своего народа, то дѣлается подражательною. Такъ, народная чешская поэзія и богата и сильна, а художественная не представляетъ ничего великаго.

Художественная поэзія [историческаго народа] всегда выше естественной, или собственно народной. Послѣдняя только младенческой лепетъ народа, міръ темныхъ предощущеній, смутныхъ предчувствій, часто она не находитъ слова для выраженія мысли и прибѣгаетъ къ условнымъ формамъ—къ аллегоріямъ и символамъ; художественная поэзія есть, напротивъ, опредѣленное слово мужественнаго сознанія, форма, равновѣсная заключающейся въ ней мысли, міръ положительной дѣйствительности; она всегда выражается образами опредѣленными и точными, прозрачными и ясными, равновѣсными идеѣ. Мы помнимъ, какъ въ разгарѣ романтическаго броженія, многіе утверждали у насъ, что народная пѣсня выше всякаго художественнаго произведенія, и что будто-бы какой-нибудь Пушкинъ за честь себя ставилъ поддѣлаться подъ простой и наивный складъ

народной пѣсни: смѣшное заблужденіе, впрочемъ, понятное въ эпоху односторонняго увлеченія! Нѣтъ, одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмѣримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи, вмѣстѣ взятыхъ! И если художникъ-поэтъ настраиваетъ свою разнообразную, гармоническую лиру на монотонный ладъ народной мелодіи—онъ дѣлаетъ этимъ честь народной поэзіи и обнаруживаетъ могущество Протея, способнаго являться во всѣхъ формахъ. Его народная пѣсня выше всѣхъ собственно народныхъ пѣсней, вмѣстѣ взятыхъ: произведеніе, которое выходитъ изъ творческаго духа, обладающаго своимъ предметомъ, всегда выше того, которое выходитъ изъ духа, покореннаго своимъ предметомъ. И совсѣмъ тѣмъ въ народной, или естественной, поэзіи есть нѣчто такое, чего не можетъ замѣнить намъ художественная поэзія. Никто не будетъ спорить, что реkvіемъ Моцарта или соната Бетховена неизмѣримо выше всякой народной музыки, — это доказывается даже и тѣмъ, что первыя никогда не наскучаютъ, но всегда являются болѣе новыми, а вторая хороша въ время и изрѣдка; но тѣмъ не менѣе неоспоримо, что власть народной музыки безконечна надъ чувствомъ. Не диво, что русскій мужичекъ и плачетъ и пляшетъ отъ своей музыки; но то диво, что и образованный русскій, музыкантъ въ душѣ, поклонникъ Моцарта и Бетховена, не можетъ защититься отъ неотразимаго обаянія однообразнаго, заунывнаго и удалаго напѣва народной пѣсни... Возрастъ мужества выше младенчества—нѣтъ спора; но отчего же звуки нашего дѣтства, его воспоминанія даже и въ старости, потрясаютъ всѣ струны нашего сердца радостію и грустію, и вокругъ поникшей головы нашей вызываютъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства?... Оттого, что младенчество есть необходимый и разумный періодъ нашего существованія, который бываетъ только разъ въ жизни и больше не возвращается... Это время нашего единства съ природою, въ которомъ такъ много простодушной и невинной любви; время нашего непосредственнаго сознанія, въ которомъ все было ясно, безъ тяжкихъ думъ и тревожныхъ вопросовъ, какъ будто бы сѣльфы и феи дружелюбно напѣвывали сердцу священныя откровенія, и небесная манна сама падала на землю, неорошенную потокомъ труда и заботъ.

Да, мысль выше непосредственнаго чувства, пора мужества выше поры младенчества; но все же и въ непосредственномъ чувствѣ, и въ порѣ дѣтства, есть нѣчто такое, чего нѣтъ ни въ разумномъ сознаніи, ни въ гордой возмужалости, что бываетъ только разъ въ жизни и больше не возвра-

щается... Такъ и для народа: онъ все тотъ же и въ эпоху разумнаго сознанія, какъ и въ эпоху непосредственнаго чувства; но его непосредственное чувство было почвою, изъ которой возникъ и развился цвѣтъ и плодъ его разумнаго сознанія. Все послѣдующее есть результатъ предыдущаго: разумная мысль часто есть только сознанное преданіе темной старины, а знаніе есть только усиленное предчувствіе; а страна мѣоовъ и таинственныхъ предреченій есть страна, полная очарованія и чудесъ... Жизнь распадается на множество сторонъ и вновь совокупляется въ единое и цѣлое; единое выше множества, цѣлое выше частей, но и во вслкой отдѣльности есть нѣчто свое, незамѣнимое цѣлымъ. Въ художественной поэзіи заключаются всѣ элементы народной, и сверхъ того есть ещенѣчто такое, чего нѣтъ въ народной поэзіи: однакожь, тѣмъ не менѣе народная поэзія имѣетъ для насъ свою цѣну такъ, какъ она есть, — въ ея чистомъ, безпримѣсномъ элементѣ, въ ея простой, безыскусственной и часто грубой формѣ.

В. Бѣлинскій, V, 23—35.

Б. Обще-человѣческое въ поэзіи.

Что такое обще-человѣческое? Разумѣется, то, что составляетъ общій интересъ всѣхъ и каждаго, то, что всѣхъ волнуетъ, во всѣхъ находитъ отзывъ, служитъ невидимымъ рычагомъ дѣятельности всѣхъ и каждаго. «Стало-быть — доньги!» воскликнетъ иной читатель: «чему же другому и быть!» Не споримъ съ тѣми, кто уже такъ глубоко въ этомъ убѣжденіи, что его нельзя переспорить, но для многихъ другихъ, еще не слишкомъ бѣжныхъ въ подобномъ вѣрованіи, и для немногихъ, совершенно чуждыхъ ему, скажемъ нѣсколько словъ объ «общемъ» людей. Такъ какъ общее людей есть то, что связываетъ людей между собою, то не споримъ, что и взаимныя нужды и отношенія суть общее. Но это еще не то общее, о которомъ говоримъ мы: есть между людьми другое высшее, благороднѣйшее, достойнѣйшее ихъ общее: это — любовь. Но любовь есть только чувство, и потому что-то инстинктуальное, невольное и безсознательное. Любовь, какъ чувство, свойственна и животнымъ... Любовь человѣка должна быть выше, а для этого она должна быть сознательною, должна имѣть разумное содержаніе. Вы, читатель, имѣете друга; онъ погибаетъ, — и

вы спасаете его съ опасностію собственной жизни или съ пожертвованіемъ собственнаго благосостоянія. Это высокій и прекрасный подвигъ, но это еще не любовь, а только дѣйствіе любви; любви должно искать въ причинахъ вашей любви къ другу, въ томъ, что связываетъ васъ съ нимъ дружбою. Мы нисколько не отвергаемъ дѣйствительности факта, что и величайшіе злодѣи иногда погибаютъ другъ за друга; но причина этого — привычка считать жизнь ни за что, и еще болѣе — взаимная нужда другъ въ другѣ, т. е., сперва безсознательность ожесточенія, а потомъ эгоизмъ: слѣдственно, тутъ о любви нечего и говорить. Связываютъ людей еще и общія страсти, пристрастія, привычки, какъ-то: вино, карты, сплетни и проч.; но въ подобнаго рода связяхъ не бываетъ примѣровъ самоотверженія. И такъ, ваша любовь къ другу, доказанная самопожертвованіемъ, должна же на чемъ нибудь основываться, вы за что же нибудь должны любить вашего друга, а онъ васъ, словомъ, между вами должно же быть что нибудь общее?.. Такъ, — и ужъ конечно это то, что составляетъ человѣческое достоинство, что дѣлаетъ человѣка человѣкомъ, что называется благомъ, истиною, красотою, долгомъ, обязанностию, знаніемъ и т. п. А благо, истина, красота, долгъ, честь, слава, доблесть, знаніе, все это — идеи, слѣдственно, все это „общее“. И потому, любя вашего друга, вы любите въ немъ не что нибудь частное, случайное, ему одному принадлежащее (какъ, на примѣръ, цвѣтъ волосъ, голосъ, лицо); но тотъ Прометеевъ огонь, то божественное начало, которое есть общее наслѣдіе человѣческой натуры, словомъ — идею. Вы скажете, что, не смотря на то, вы все-таки любите и лицо, и голосъ, и поступъ, и манеры, и всю непосредственность вашего друга: оно такъ и должно быть, и въ томъ-то и состоитъ взаимное отношеніе общаго къ особному и особнаго къ общему, что они въ человѣкѣ не приклеиваются другъ къ другу внѣшнимъ образомъ, такъ, что можно было бы сказать, что въ немъ общее и что особенное, но взаимно проникаютъ другъ друга, неразрывно, органически сливаются другъ съ другомъ. Человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души, но вѣдь нельзя же сказать: вотъ въ немъ тѣло, а вотъ душа; доселѣ анатомія и физиологія не нашли (и никогда не найдутъ) мѣста въ тѣлѣ, гдѣ живетъ душа, и какъ тѣло безъ души, такъ и душа безъ тѣла есть отвлеченное понятіе, а не дѣйствительное явленіе, не человѣкъ. Чѣмъ болѣе проникнуть человѣкъ общимъ, тѣмъ разительнѣе достоинство и прелесть его личности, тѣмъ онъ особенѣе, такъ сказать, и мы, думая любить его за черты лица

или голосъ, любимъ его за душу, а думая любить за душу, любимъ за лицо, рѣчь и манеры. Опредѣлительно можно сказать на этотъ счетъ только то, что особое получаетъ свое достоинство только отъ общаго, и что любить можно только идею. Намъ возразятъ, что есть люди, одаренные сильною способностію любить, и которые часто устремляютъ свою любовь на предметы, не совсѣмъ достойные ея, или видя въ нихъ мнимыя достоинства, или просто по привычкѣ, или влѣдствіе особенной обстановки обстоятельствъ. Это ничего не доказываетъ, кромѣ безсознательности. Позорно въ человѣкѣ отсутствіе всякаго чувства; но любовь всегда есть признакъ человѣческаго достоинства, на какой бы ступени ни стояла она; высшая же, дѣйствительная любовь есть любовь сознательная, разумная.

Каждый человѣкъ—самъ себѣ цѣль; назначеніе каждаго человѣка—развить въ себѣ все человѣческое, общее, и насладиться имъ. Всѣ люди имѣютъ равное право на дары духа,—разумѣется, въ той мѣрѣ, въ какой каждый изъ нихъ, по своей натурѣ, можетъ вмѣстить въ себѣ. Но есть особый родъ людей, которые по преимуществу могутъ назваться любимцами неба: это—великіе историческіе дѣйствователи. Они выражаютъ своею личностію все, что составляетъ сущность народа или человечества въ ихъ эпоху; они страдаютъ и блаженствуютъ за миллионы; они—лицетворенная идея, „личное—общее“ своего времени. И потому ихъ личности не что-нибудь преходящее, но вѣчное, никогда неумирающее. Они представляютъ собою „общее“, и потому до нихъ всѣмъ и каждому дѣло, всякая живая душа откликнется на ихъ имя, все интересуется ихъ участіемъ, даже малѣйшими подробностями ихъ частной жизни. Заговорите съ послѣднимъ безграмотнымъ русскимъ мужичкомъ въ глуши отдаленной провинціи, заговорите съ нимъ о Петрѣ Великомъ, о Наполеонѣ, — и онъ будетъ васъ слушать, будетъ съ участіемъ васъ разспрашивать. «Что-жъ ему Гекуба?» спрашиваете вы вопросомъ Гамлета... Общее, общее!—отвѣчаю я вамъ. Въ чемъ бы ни проявилось оно—въ исполинской ли мысли Петра преобразовать народъ; въ исполинской ли мысли Наполеона дать законы всему міру, въ исполинской ли художественной дѣятельности Шекспира,.. и какъ бы ни кончилось оно—полною ли побѣдою и полнымъ оправданіемъ при жизни, островомъ ли св. Елены, полнотою ли славы при жизни... — оно общее, всѣмъ равно принад-

лежащее, и потому каждый и знаетъ о немъ, какъ о своихъ собственныхъ нуждахъ, хотя бы и вѣка отдѣляли его отъ него... V, 40—43.

В) Предметъ искусства.

Предметъ искусства есть общее, въ значеніи котораго мы условились *) съ читателями. Но въ искусствѣ, какъ и въ природѣ и въ исторіи, общее, чтобъ не оставаться отвлеченною идеею, должно обособляться въ отдѣльныя органическія явленія. Посему, всякое художественное произведеніе есть нѣчто отдѣльное, особое, но проникнутое общимъ содержаніемъ—идеею. Въ художественномъ произведеніи идея съ формою должна быть органически слита, какъ душа съ тѣломъ, такъ что уничтожить форму—значитъ уничтожить идею, и наоборотъ. Сущность искусства—уравновѣшеніе общаго съ особнымъ, идеи съ формою. Въ искусствѣ, форма прежде всего, потому что все въ ней; она не должна быть виѣшнимъ средствомъ для выраженія идеи, но самую идею въ чувственномъ проявленіи. И посему, какъ трудно опредѣлить значеніе того или другаго человѣка, почти такъ же трудно и опредѣлить идею художественнаго произведенія. Единую сущность идеи съ формою такъ велика въ искусствѣ, что ни ложная идея не можетъ осуществиться въ прекрасной формѣ, ни прекрасная форма быть выраженіемъ ложной идеи. Если въ произведеніи искусства форма преобладаетъ надъ идеею, — это значитъ, что идея не довольно опредѣленна и ясна для созерцанія творящаго, и тогда форма не можетъ быть вполне прекрасна, и произведеніе можетъ быть даже уродливо, какъ неудачный порывъ къ творческому сознанію. Таковы грубо-изваянные или грубо вырѣзанные идола языческихъ племенъ, стоящихъ на низшей степени развитія. Причина ихъ безобразія не младенческое состояніе технической стороны искусства у племени, а бѣдность и, слѣдственно, неопредѣленность идеи, которая не можетъ подняться выше туманнаго предчувствія истины. Вообще, недозрѣвшая мысль если высказывается иногда удачно въ искусствѣ, то въ подробностяхъ, а не въ цѣломъ. Этимъ объясняется чудовищность символическихъ храмовъ и идиоловъ Индіи, равно

*) См. выше: «Обще-человѣческое въ поэзіи».

какъ и чудовищная огромность «Магабгараты» и «Рамайны», въ которыхъ цѣлое поглощается длинными эпизодами, а высокія красоты поэзіи мѣняются съ дикими образами и случайностями. Египетскія статуи уже ближе къ истинному искусству; онѣ отличаются даже изяществомъ внѣшней отдѣлки; но ихъ лица бѣдны выраженіемъ, позы принужденны и связаны. Въ греческой статуѣ жизнь и свобода сочетались съ красотой и граціею; это истинные боги, сошедшіе на землю. Вообще, въ греческомъ искусствѣ идея уравнилась съ формою, и потому искусство грековъ есть болѣе искусство, чѣмъ даже искусство новѣйшаго времени. Если въ искусствѣ преобладаетъ идея надъ формою, тогда искусство теряетъ свое чистое, первоначальное значеніе и, по степени преобладанія, соприкасается съ другими абсолютными сферами сознанія, дѣлаясь для нихъ какъ бы средствомъ и чрезъ то приобретаая не менѣе важное, но уже новое значеніе. V, 43—45.

Г) «Народность» въ искусствѣ, какъ слѣдствіе обособленія «общаго».

Идея народности въ искусствѣ вытекаетъ прямо изъ процесса обособленія общаго. Самое человѣчество, хотя и нѣтъ ничего выше его изъ существующаго вовнѣ, есть уже нѣчто особенное, — тѣмъ болѣе народъ. Если художникъ изображаетъ въ своемъ произведеніи людей, то, во-первыхъ, каждый изъ нихъ долженъ быть человѣкомъ, а не призракомъ, долженъ имѣть фізіономію, характеръ, нравъ, свои привычки, словомъ, всѣ индивидуальныя признаки, какими каждая личность отличается въ дѣйствительности отъ всякой другой личности. Потомъ, каждый изъ нихъ долженъ принадлежать къ извѣстной націи и къ извѣстной эпохѣ, потому что человѣкъ, внѣ національности, есть не дѣйствительное существо, а отвлеченное понятіе. Изъ этого ясно видно, что національность въ художественномъ произведеніи есть не заслуга, а только необходимая принадлежность творчества, являющаяся безъ всякаго усилія со стороны поэта. И потому, чѣмъ выше произведеніе въ художественномъ отношеніи, тѣмъ оно и національнѣе, и хвалить великаго художника за національность его творенія — все-

равно, что хвалить великаго астронома за то, что при вычисленіяхъ своихъ онъ не ошибается въ таблицѣ умноженія. Въ самомъ дѣлѣ, что за заслуга со стороны русскаго, что его дѣти отличаются русскою фізіономіею? Конечно, чтобы быть національнымъ поэтомъ, нужно сперва быть великимъ человѣкомъ, представителемъ духа своей націи; но изъ этого-то и слѣдуетъ, что великій талантъ дѣлаетъ поэта національнымъ, а не національность дѣлаетъ его великимъ поэтомъ: послѣднее есть только необходимое слѣдствіе перваго. При извѣстіи о вновь родившемся человѣкѣ, никто не спрашиваетъ, есть ли у него глаза и руки, сколько ногъ и нѣтъ ли роговъ и хвоста: если онъ человѣкъ, такъ уже само собою разумѣется, что у него есть и глаза и руки, ногъ всего двѣ, а не четыре, а роговъ и хвоста нѣтъ. Такъ и въ искусствѣ: если произведеніе художественно, то само собою оно и національно; въ противномъ же случаѣ, оно не можетъ быть и художественнымъ произведеніемъ, а будетъ аллегоріею, символомъ, или просто надутымъ и холоднымъ призракомъ, гдѣ общее не обособилось органически, а только прикрылось лоскутьями натянутого вымысла, который не вывелъ вовнѣ, а только закрылъ его смыслъ. Это относится не къ однимъ тѣмъ произведеніямъ, которыхъ содержаніе берется изъ дѣйствительной жизни, какъ въ романѣ, повѣсти, драмѣ, комедіи, но и къ лирическимъ поэмамъ. «Фаустъ» Гёте — міровое, обще-человѣческое произведеніе; но тѣмъ не менѣе, читая его, вы видите, что оно могло родиться только въ фантазіи нѣмца, и Байроновъ «Манфредъ», явно навѣянный «Фаустомъ», уже нисколько не вѣетъ германскимъ духомъ. Хотя Шекспиръ, въ своихъ драмахъ, выводилъ и не однихъ англичанъ, но и французовъ, и нѣмцевъ, и итальянцевъ, и даже древнихъ римлянъ и грековъ; но, читая его, вы понимаете, что только въ Англіи могъ явиться такой драматургъ... Какъ ни разнообразенъ, какъ ни міробоъемлющъ Гёте въ своихъ созданіяхъ, но каждое изъ нихъ вѣетъ нѣмецкимъ и, сверхъ того, еще «Гётевскимъ» духомъ. Хотя въ большей части лирическихъ піесъ Пушкина, и даже въ нѣкоторыхъ эпическихъ его произведеніяхъ, какъ въ «Донъ-Жуанѣ», и содержаніе, и форма, повидимому, чисто европейскія; но и въ нихъ Пушкинъ является истиннымъ національнымъ русскимъ поэтомъ, уже по одному тому, что ихъ никогда нельзя смѣшать ни съ Байроновскими, ни съ Гётевскими, ни съ Шиллеровскими созданіями, и нельзя иначе называть, какъ «Пушкинскими». Повторяемъ: это необходимо, это лежитъ въ сущности творчества: изъ какого бы міра ни бралъ

поэтъ содержаніе для своихъ созданій, къ какой бы націи ни принадлежали его герои, самъ онъ всегда остается представителемъ духа своей націи, смотритъ на предметъ *ей* глазами и кладетъ на нихъ *ей* печать. И чѣмъ гениальнѣе поэтъ, тѣмъ общѣе его созданія, а чѣмъ они общѣе, тѣмъ національнѣе и оригинальнѣе. Чѣмъ отличается гений отъ таланта? Тѣмъ, что, будучи оригинальнымъ, онъ въ то же время и общѣе таланта. Гофманъ—великій талантъ; но онъ далеко низшее явленіе въ сравненіи съ Гёте и Шиллеромъ: онъ выразилъ только одну сторону германскаго духа, тогда какъ тѣ, каждый по своему, изчерпали всю глубину его, выразили всѣ стороны его. И потому оригинальность Гофмана для многихъ кажется странностію, и многіе люди съ эстетическимъ чувствомъ, понимая Шиллера и Гёте, не понимаютъ Гофмана. Причина этому не оригинальность Гофмана, а *ей* источникъ, не довольно общій, чтобъ могъ возвысить *ее* до абсолютнаго; оригинальность все-таки остается необходимымъ условіемъ не только генія, но даже самаго незначительнаго таланта: только сфера бездарности отличается безличною общностію, для которой не существуетъ ни пространства, ни времени, ни націи, ни колорита, ни тона, — которая во всѣхъ странахъ и во всѣ времена, отъ начала міра до нашихъ дней, выражается однимъ языкомъ и одними и тѣми же словами. V, 45—47.

Д) Типъ, какъ сліяніе общаго и особнаго.

Условія обособленія общаго въ произведеніяхъ искусства не оканчиваются только національностью и оригинальностью *): безъ типизма нѣтъ ни той, ни другой.

Типъ (первообразъ) въ искусствѣ—то же, что родъ и видъ въ природѣ, что герой въ исторіи. Въ типѣ заключается торжество органическаго сліянія двухъ крайностей—общаго и особнаго. Типическое лицо есть представитель цѣлаго рода лицъ, нарицательное имя многихъ предметовъ, выражаемое, однако же, собственнымъ именемъ. Такъ, напримѣръ, Отел-

*) См. предыдущую главу.

ло—собственное имя, принадлежащее только одному лицу, изображенному Шекспиромъ; но, видя человѣка въ припадкѣ ревности, мы называемъ его Отелло, хотя бы этотъ человѣкъ назывался Иваномъ или Петромъ, и былъ русскій или нѣмецъ, а не мавръ.

Въ этомъ же смыслѣ, всѣ герои поэмъ, драмъ и повѣстей Пушкина, «Горя отъ ума» Грибоедова, повѣстей Гоголя—типы. Боже мой, если посмотреть, на сколькихъ людей приходится такъ ловко, какъ будто по нимъ шито, достославное имя одного Ивана Александровича Хлестакова!.. Это не эклектическое собраніе рѣзкихъ чертъ одной и той же идеи, а общая идея, обособившаяся въ художественно-созданномъ лицѣ, это лицо и вмѣстѣ—идея; а какъ одна и та же идея является въ дѣйствительности въ безконечномъ разнообразіи, то въ лицѣ, воплотивъ выразившемъ *ее* собою, видится множество лицъ.

Но и здѣсь еще не конецъ условіямъ обособленія общаго въ искусствѣ. Художественное произведеніе должно быть цѣлымъ, единымъ, особнымъ и замкнутымъ въ себѣ міромъ. Въ немъ общая идея, пріятъ плоть и образъ, такъ сказать, приковывается къ пространству и времени, и притомъ къ извѣстному пространству и къ извѣстному времени. Оно овеществляется, явившись въ формѣ; но, дѣлаясь матеріею, оно не перестаетъ быть духомъ: принадлежа ничтожному клочку земли, на которомъ разыгралась драма, оно гражданинъ всего міра; принадлежа къ ничтожному мгновенію, въ которое совершилось событіе, оно достояніе вѣчности. И потому, художественное произведеніе и конечно и безконечно вмѣстѣ: конечно—потому что состоитъ въ кускѣ мрамора, въ лоскутѣ полотна, въ книгѣ, можетъ быть взято руками, перенесено, истреблено, а главное потому, что выражаетъ одинъ извѣстный случай, небольшое число людей или мгновенное ощущеніе; оно безконечно, потому что выраженный имъ случай заключаетъ въ себѣ возможность безчисленнаго множества подобныхъ случаевъ; изображенные имъ люди заключаютъ въ себѣ множество людей, которые были, есть и всегда могутъ быть, а мгновенное ощущеніе поэта есть достояніе, собственность миллионовъ людей,—словомъ, потому что въ его конечной формѣ выразилось безконечное, общее, непреходящее—идея, духъ. Кто не умѣетъ въ своемъ разумѣни примирять этихъ двухъ противоположныхъ понятій—конечнаго и безконечнаго, тотъ правъ въ отношеніи къ себѣ, хотя и впадаетъ передъ истиною, думая, что «Иліада» для насъ—мертвая буква, ибо-де «мы не греки и не римляне».

Истинное и полное слияніе общаго съ особнымъ возможно только чрезъ уравниваніе идеи съ формою, слѣдственно только въ художественной поэзіи.

В. Бѣлинскій.

Соч., V, 23—49.

20. Дѣленіе поэзіи.

(1840).

Поэзія есть истина въ формѣ созерцанія; ея созданія—воплотившіяся идеи, видимыя, созерцаемыя идеи. Слѣдовательно, поэзія есть та же философія, то же мышленіе, потому что имѣетъ то же содержаніе—абсолютную истину, но только не въ формѣ діалектическаго развитія идеи изъ самой себя, а въ формѣ непосредственнаго явленія идеи въ образѣ. Поэтъ мыслитъ образами, онъ не доказываетъ истины, а показываетъ ее. Но поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя—она сама себѣ цѣль; слѣдовательно, поэтический образъ не есть что-нибудь внѣшнее для поэта или второстепенное, не есть средство, но есть цѣль: въ противномъ случаѣ онъ не былъ бы образомъ, а былъ бы символомъ. Поэту представляются образы, а не идея, которой онъ изъ-за образовъ не видитъ, и которая, когда сочиненіе готово, доступна мыслителю, нежели самому творцу. Посему поэтъ никогда не предполагаетъ себѣ развитіе ту или другую идею, никогда не задаетъ себѣ задачи: безъ вѣдома и безъ воли его возникаютъ въ фантазіи его образы и, очарованный ихъ прелестью, онъ стремится изъ области идеаловъ и возможности перенести ихъ въ дѣйствительность, т. е. видимое одному ему сдѣлать видимымъ для всѣхъ. Высочайшая дѣйствительность есть истина; а какъ содержаніе поэзіи—истина, то и произведенія поэзіи суть высочайшая дѣйствительность. Поэтъ не украшаетъ дѣйствительности, не изображаетъ людей, какими они должны быть, но каковы они суть. III, 353—354.

Раздѣленіе поэзіи на три рода—лирическую, эпическую и драматическую, выходитъ изъ ея значенія, какъ сознанія истины и, слѣдовательно, изъ взаимныхъ отношеній сознающаго духа—субъекта, къ предмету сознанія—объекту. Лирическая поэзія выражаетъ субъективную сторону человѣка, открываетъ нашему взору внутренняго человѣка, и потому вся

она—ощущеніе, чувство, музыка. Эпическая поэзія есть объективное изображеніе совершившагося со времени событія, картина, которую показываетъ вамъ художникъ, выбирая для васъ лучшія точки зрѣнія, указывая на всѣ ея стороны. Драматическая поэзія есть примиреніе этихъ двухъ сторонъ, субъективной, или лирической, и объективной, или эпической. Передъ вами не совершившееся, но совершающееся событіе; но поэтъ вамъ сообщаетъ его, по каждое дѣйствующее лицо выходитъ къ вамъ само, говоритъ вамъ за самого себя. Въ одно и то же время видите вы его съ двухъ точекъ зрѣнія: оно увлекается общимъ водоворотомъ драмы и дѣйствуетъ волею и неволею сообразно съ своими отношеніями къ прочимъ лицамъ и идеѣ пѣлаго созданія—вотъ его объективная сторона; оно раскрываетъ передъ вами свой внутренній міръ, обнажаетъ всѣ изгибы сердца своего, вы подслушиваете его нѣмую бесѣду съ самимъ собою—вотъ его субъективная сторона. Поэтому-то въ драмѣ всегда видите вы два элемента: эпическую объективность дѣйствія въ цѣломъ, и лирическія выходы и изліянія въ монологахъ, до того лирическія, что онѣ непремѣнно должны быть писаны стихами, и переданныя прозою теряютъ свой поэтический букетъ и переходятъ въ надутую прозу, чему доказательствомъ могутъ служить лучшія мѣста Шекспировыхъ драмъ, переведенныхъ прозою. Въ лирической поэзіи поэтъ является намъ субъектомъ, и потому-то въ ней такъ часто и такую важную роль играетъ его личность, его я, а ощущенія и чувства, о которыхъ онъ говоритъ, какъ о своихъ собственныхъ, будто бы одному ему принадлежащихъ, мы приписываемъ себѣ, узнаемъ въ нихъ моменты собственного духа. Эпическій поэтъ, скрываясь за событіями, которые заставляетъ насъ созерцать, только подразумевается, какъ лицо, безъ котораго мы не знали бы о совершившемся событіи; онъ даже и не всегда бываетъ незримо-присутствующимъ лицомъ: онъ можетъ позволять себѣ обращенія и къ самому себѣ, говорить о себѣ или, по крайней мѣрѣ, подавать свой голосъ объ изображаемыхъ имъ событіяхъ. Въ драмѣ, напротивъ, личность поэта исчезаетъ совсѣмъ и какъ бы даже не предполагается существующею, потому что въ драмѣ и событіе говоритъ само за себя, современно представляясь совершающимся, и каждое изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ само за себя, современно развиваясь и съ внутренней и съ внешней стороны.

В. Бѣлинскій.

Т. III, 357—358.

Глава VII.

Историческое направление.

Чтенія объ искусствѣ, И. Тэна.

21. А. Методъ изученія художественныхъ произведеній и опредѣленіе ихъ сущности.

I.

Исходная точка историческаго метода.—Отысканіе тѣхъ неразрывныхъ цѣлыхъ (des ensembles), съ которыми связано художественное произведеніе.—Цѣль и методъ эстетики.—Противопоставленіе методовъ—догматическаго и историческаго.

Исходная точка [историческаго] метода заключается въ признаніи того, что художественное произведеніе не есть одинокое, особнякомъ стоящее явленіе, и въ отысканіи поэтому того цѣлаго, которымъ оно обусловливается и объясняется.

Первый шагъ не труденъ. Прежде всего, очевидно, художественное произведеніе,—картина, трагедія, статуя, составляютъ часть цѣлаго,—именно часть всей дѣятельности художника, творца ихъ. Это понятія элементарныя. Всякому извѣстно, что различныя произведенія одного художника всѣ родственны другъ другу, какъ дѣти одного и того же отца, т. е., всѣ имѣютъ между собою замѣтное сходство. Вы знаете, что у каждаго художника есть свой стиль, встрѣчаемый во всѣхъ его произведеніяхъ. Если это живописецъ,—у него есть свой колоритъ, роскошный или тусклый, свои любимыя типы, благородные или площадные, свои позы

свой образъ сочиненія, даже своя манера писать, своя грунтовка, своя лѣпка, своя накладка красокъ, своя отдѣлка. Если это писатель,—у него свои герои, пылкіе или пѣжные, свои завязки, запутанныя или простыя, свои развязки, трагическія или комическія, своя особенность въ стилѣ, свои періоды и даже свои любимыя слова и выраженія. Это до того справедливо, что если вы, не объявляя имени мастера, представите произведеніе одного изъ сколько-нибудь извѣстныхъ художниковъ знатоку, онъ почти несомнѣнно откроетъ, чье оно; даже болѣе: если знатокъ обладаетъ достаточной опытностью и достаточно тонкимъ тактомъ, онъ можетъ опредѣлить, къ какому именно времени изъ жизни художника и къ какому періоду его развитія относится предъявленное ему вами художественное произведеніе.

Вотъ первое цѣлое, съ которымъ связано художественное созданіе. Вотъ теперь другое.

Этотъ же самый художникъ, рассматриваемый въ связи со всѣмъ тѣмъ, что произвелъ онъ, не есть что либо одинокое. Здѣсь также есть цѣлое, въ которомъ совмѣщается и онъ; это цѣлое, болѣе обширное, чѣмъ вся собственная его дѣятельность, есть школа или семья художниковъ той страны и того времени, къ которымъ онъ принадлежитъ. Напр., вокругъ Шекспира, который, съ перваго взгляда, кажется какимъ-то чудомъ, свалившимся съ неба, аэролитомъ, улавлившимъ изъ предѣловъ другаго міра, мы находимъ дюжину отличныхъ драматическихъ писателей: Вебстера, Форда, Массингера, Марло, Бенъ-Джонсона, Флетчера и Бомона, которые писали такимъ же стилемъ и въ томъ же духѣ, какъ и онъ. Ихъ драматическія произведенія носятъ на себѣ тѣ же характеристическія черты; вы найдете тамъ тѣ же дикія и ужасныя лица, тѣ же кровавыя и неожиданныя развязки, тѣ же быстрыя и необузданныя страсти, тотъ же безпорядочный, причудливый, рѣзкій и, вмѣстѣ, роскошный стиль, то же превосходное и поэтическое чутье сельской природы и пейзажа, тѣ же пѣжные и глубоко любящіе типы женщинъ. Равнымъ образомъ, Рубенсъ кажется лицомъ одинокимъ, безъ предшественниковъ и безъ послѣдователей. Но стоитъ лишь отправиться въ Бельгію и зайти тамъ въ церкви въ Гентъ, Брюссель, Брюгге и Антверпенъ, чтобы увидѣть цѣлую группу живописцевъ, схожихъ съ нимъ по таланту: во первыхъ—Крейцеръ, ситавшійся, въ его время, соперникомъ его, Сегхерсъ, Ванъ-Остъ и другіе, наконецъ Иордансъ, Ванъ-Дейкъ, которые всѣ понимали живо-

пись въ его духѣ и всё, помимо иныхъ личныхъ особенностей, представляютъ явное между собою сродство. Подобно Рубенсу, они предпочли изображеніе цѣлущаго, здороваго тѣла, роскошнаго, кипящаго жизнью движенія, рѣзкаго кроваваго румянца, этого признака жизни, — предпочли изображеніе дѣйствительныхъ, часто грубыхъ типовъ, порыва и увлеченія прихотливой страсти, пышныхъ, лоснящихся и пестрящихся тканей, блеска, пурпура и шелка, волнуемой и свивающейся драпировки. Теперь, славою ихъ великаго современника, они какъ будто совершенно уничтожены; но все-таки не менѣе достоверно то, что для пониманія Рубенса необходимо собрать вокругъ него этотъ сношъ талантовъ, въ которомъ онъ выситя лишь самымъ виднымъ стеблемъ, — этотъ кружокъ художниковъ, въ которомъ онъ является самымъ знаменитымъ представителемъ.

Вотъ второй шагъ. Остается ступить третій. Эта же самая семья художниковъ совмѣщается въ болѣе обширномъ цѣломъ — въ окружающемъ ихъ мірѣ, вкусъ котораго сходенъ съ ихъ вкусомъ. Ибо нравственное и умственное состоянія одни и тѣ же какъ для общества, такъ и для артистовъ: они не стоятъ же вѣдь совершенно особнякомъ. Одинъ лишь ихъ голосъ слышимъ мы теперь, отдаленные отъ нихъ цѣлыми вѣками; но въ звукахъ этого гремящаго голоса, дрожанія котораго достигаютъ нашего слуха, мы распознаемъ словесный гулъ и какъ бы необъятное, глухое жужжаніе, — распознаемъ великій, безконечный, сложный говоръ народа, вторившаго имъ вокругъ. Они и великими-то сдѣлались только вслѣдствіе этой гармоніи. Да иначе и не могло быть. Фидій, Иктей, люди, создавшіе Паренонъ и Юпитера-Олимпійца, были, подобно другимъ афинянамъ, свободные граждане и язычники, воспитанные въ палестрѣ, которые боролись и упражнялись въ гимнастикѣ, раздѣвшись до-нага, привыкли къ рѣшенію дѣлъ и голосованію на общественной площади, имѣли однѣ и тѣ же привычки, интересы, идеи, вѣрованія, — люди одного и того же племени, одинаковаго воспитанія, говорившіе однимъ языкомъ, такъ что во всѣхъ главнѣйшихъ частяхъ своей жизни, они были совершенно схожи съ своими зрителями.

[Авторъ, далѣе, указываетъ на Испанію XVI и XVIII вѣка, какъ на примѣръ тѣсной связи искусства съ жизнью].

Итакъ, мы дошли до утвержденія слѣдующаго правила: чтобы понять какое-нибудь художественное произведеніе, художника или школу

художниковъ, необходимо въ точности представить себѣ общее состояніе умственного и нравственного развитія того времени, къ которому они принадлежатъ. Въ этомъ заключается послѣднее объясненіе, — здѣсь таится первичная причина, опредѣляющая все остальное. Истина эта подтверждается опытомъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы пробѣжимъ главнѣйшія эпохи въ исторіи искусства, мы найдемъ, что искусства появляются и исчезаютъ одновременно съ появленіемъ и исчезновеніемъ извѣстныхъ умственныхъ и нравственныхъ состояній, съ которыми они связаны. Напр., греческая трагедія Эсхила, Софокла и Еврипида появляется во время торжества грековъ надъ персами, въ героическую эпоху небольшихъ республиканскихъ городовъ, въ моментъ величайшихъ усилій, благодаря которымъ они завоевали себѣ независимость и утвердили свое господство въ образованномъ мірѣ; трагедіи эти исчезаютъ съ уничтоженіемъ этой независимости и этой энергіи, въ то время, когда ослабленіе характеровъ и побѣда македонцевъ повергаютъ Грецію во власть чужеземцевъ. Точно также, готическая архитектура развивается съ окончательнымъ утвержденіемъ феодальныхъ порядковъ въ полу-возрожденіи XI-го столѣтія, въ то время, когда общество, освободившись отъ нормановъ и разбойниковъ, начинаетъ устраиваться, — и она исчезаетъ, когда это военное владычество маленькихъ независимыхъ бароновъ, съ порожденнымъ имъ состояніемъ нравовъ, рушится къ концу XV-го вѣка, вслѣдствіе появленія новѣйшихъ монархій. Равнымъ образомъ, голландская живопись достигаетъ высшей точки своего развитія въ ту славную пору, когда Голландія, силою своей стойкости и храбрости, окончательно освобождается изъ подъ владычества испанцевъ, сражается съ Англіей совершенно равнымъ оружіемъ, становится самымъ богатымъ, самымъ свободнымъ, самымъ промышленнымъ, самымъ счастливымъ государствомъ въ Европѣ, и мы видимъ ея упадокъ въ началѣ XVIII-го столѣтія, когда, снизойдя до второстепенной роли, этотъ край уступаетъ первенствующее мѣсто Англіи и становится лишь простымъ банкирскимъ и коммерческимъ домомъ, хорошо устроеннымъ, хорошо управляемымъ, уютнымъ, гдѣ человѣку можно привольно жить въ качествѣ благоразумнаго гражданина, безъ всякихъ честолюбивыхъ стремленій и особенно-сильныхъ душевныхъ тревогъ. Подобно этому, наконецъ, французская трагедія является въ то время, когда благочинная и благородная монархія при Людовикѣ XIV учреждаетъ господство приличій, придворную жизнь, великолѣпныя представленія, изыщ-

ную аристократическую обстановку, — и она исчезает съ того времени, какъ дворничество и придворные нравы падаютъ подъ ударами революціи.

[Далѣе авторъ сравниваетъ вліяніе нравственной и умственной среды на художественное произведеніе съ вліяніемъ климата на растеніе].

Предположите теперь, что мы съ совершенной точностью опредѣлимъ себѣ различныя умственныя состоянія, изъ которыхъ возникли первые зачатки итальянской живописи, ея развитіе, ея процвѣтаніе, ея видоизмѣненіе и ея упадокъ. Представьте, что такое изслѣдованіе удастся и по отношенію къ другимъ вѣкамъ, другимъ странамъ, въ сферѣ различныхъ родовъ искусства, — архитектуры, живописи, скульптуры, поэзіи и музыки. Предположите, что, вслѣдствіе всѣхъ этихъ открытій, достаточно опредѣлится сущность и обозначатся условія процвѣтанія каждаго искусства. Мы получимъ тогда полное объясненіе художествъ и искусства вообще, т. е., получимъ философію искусства, а это-то и называется *эстетикой*... Наша эстетика — наука новая и отличается отъ старой своимъ историческимъ, а не догматическимъ характеромъ, т. е., тѣмъ, что она не предписываетъ правилъ, а только выясняетъ законы. Старая эстетика давала прежде всего опредѣленіе прекраснаго и говорила, напр., что прекрасное есть выраженіе нравственнаго идеала, или что оно есть выраженіе невидимаго, или же что оно есть выраженіе человѣческихъ страстей; затѣмъ, опираясь на это, какъ на статью изъ уложенія, она оправдывала, осуждала, предостерегала и руководила. Мнѣ не предстоитъ такой громадной работы: я не берусь руководить васъ, — это было бы для меня не по силамъ. Къ тому же относительно правилъ, — я скажу вамъ по секрету, что и открыто то ихъ доселѣ, въ сущности, всего лишь два: *первое* совѣтуетъ родиться гениемъ, *второе* совѣтуетъ много трудиться, чтобы вполне овладѣть своимъ искусствомъ.

Новый методъ, которому я стараюсь слѣдовать, и который начинаетъ входить во всѣ нравственныя науки, заключается въ томъ, чтобы смотрѣть на человѣческія произведенія и, въ частности, на произведенія художественныя, какъ на факты и явленія, которыхъ должно обозначить характеристическія черты и отыскать причины — и болѣе ничего. Наука, понимаемая такимъ образомъ, не осуждаетъ и не прощаетъ; она только указываетъ и объясняетъ. Она не говоритъ вамъ: «презирайте голландское искусство — оно слишкомъ грубо, восхищайтесь лишь итальянскимъ искусствомъ». Равнымъ образомъ не скажетъ она вамъ: «презирайте готическое

искусство — оно болѣзненно, восхищайтесь лишь греческимъ». Она предоставляет каждому полную свободу слѣдовать собственнымъ своимъ симпатіямъ, предпочитать то, что согласно съ его темпераментомъ, и изучать съ болѣе глубокимъ вниманіемъ то, что болѣе соответствуетъ развитію собственнаго его духа. Что касается до нея самой, то она относится сочувственно ко всѣмъ формамъ искусства и ко всѣмъ школамъ, даже къ тѣмъ, которыя кажутся наиболѣе противоположными; ихъ она считаетъ различными проявленіями человѣческаго духа; она полагаетъ, что чѣмъ многочисленнѣе онѣ, тѣмъ лучше раскрываютъ духъ человѣческій со многихъ новыхъ сторонъ; она поступаетъ подобно ботаникѣ, которая съ одинаковымъ интересомъ изучаетъ то апельсинное дерево и лавръ, то ель и березу; сама она нѣчто въ родѣ ботаники, изслѣдующей только не растенія, а человѣческія произведенія. Вотъ почему она слѣдуетъ общему движенію, которое, въ настоящее время, сближаетъ нравственныя науки съ науками естественными, и, сообщая первымъ принципы, благоразуміе и направленіе послѣднихъ, придаетъ имъ ту же прочность и обезпечиваетъ за ними такой же успѣхъ.

II.

Въ чемъ заключается предметъ искусства. — Раздѣленіе искусствъ на двѣ группы. — Предметъ искусства, повидимому, подражаніе. — Факты для вывода этого положенія.

Что такое искусство и въ чемъ заключается сущность его? — Изъ числа пяти великихъ искусствъ: скульптуры, поэзіи, живописи, архитектуры и музыки, оставимъ пока два послѣднія, объясненіе которыхъ труднѣе — мы возвратимся къ нимъ впослѣдствіи, — и рассмотримъ сначала лишь первыя три. Всѣ они имѣютъ одинъ общій характеръ — всѣ они, болѣе или менѣе, искусства *подражательныя*.

Съ перваго взгляда кажется, что это-то и есть ихъ существенный характеръ, и что цѣль ихъ заключается въ возможно болѣе точномъ подражаніи. Ибо ясно, что статуя имѣетъ предметомъ своимъ самое близкое подражаніе дѣйствительно живому человѣку; картина имѣетъ цѣлью изображеніе настоящихъ лицъ въ дѣйствительныхъ позахъ, изображеніе внутренности дома, пейзажа — въ томъ видѣ, въ какомъ они являются въ природѣ. Не менѣе очевидно и то, что драма, романъ, пытаются точнымъ образомъ воспроизвести дѣйствительные характеры, поступки, слова, и

Видно, что авторъ не только не отрицаетъ, но и утверждаетъ, что искусство есть подражаніе. Это видно изъ словъ: «искусство есть подражаніе».

облечь ихъ въ возможно болѣе точную и возможно болѣе вѣрную форму. Въ самомъ дѣлѣ, если изображеніе не довольно точно, или не вѣрно, мы говоримъ скульптору: «не такова должна быть грудь или не такъ дѣлаются ноги». Мы говоримъ живописцу: «лица втораго плана вашей картины слишкомъ велики, колоритъ вашихъ деревьевъ не вѣренъ». Писателю мы говоримъ: «никогда не чувствовалъ и не думалъ человѣкъ такъ, какъ вы предполагаете».

Всѣ школы (не думаю, чтобы тутъ могли быть исключенія) выражаются и погибаютъ именно потому, что предаются забвенію точное подражаніе и оставляютъ въ сторонѣ живой образецъ. Это случилось и въ живописи съ послѣдователями Микель-Анджело, рисовавшими мускулы и неестественныя позы, съ любителями театральныя декораций и мясистыхъ округлостей, которые наслѣдовали великимъ Венеціанцамъ, съ живописцами будуара и алькова, которыми закончилась французская живопись XVIII столѣтія.

Это было въ литературѣ съ версификаторами и риторами временъ римскаго упадка, съ полными чувственности и декламации драматургами, которыми заключилась англійская драма, съ фабрикантами сонетовъ, остротъ и напыщенныя фразъ временъ упадка въ Италіи. Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ я выберу лишь два особенно разительные случая. Первый — упадокъ скульптуры и живописи въ древности. Для того, чтобы получить живое впечатлѣніе этого упадка, достаточно посѣтить одну за другою Помпею и Равенну. Въ Помпѣй живопись и скульптура относятся къ первому вѣку; въ Равеннѣ мозаики — шестаго вѣка и восходятъ ко временамъ императора Юстиніана. Въ промежутокъ этихъ пяти-сотъ лѣтъ, искусство безвозвратно исказилось, и весь этотъ упадокъ проистекъ единственно отъ забвенія живаго образца. Въ первомъ вѣкѣ существовали еще нравы палестры и языческіе вкусы. Люди носили одежду просторную, охотно покидали ее, ходили въ купальни, боролись обнаженные, присутствовали при битвахъ въ циркѣ, разсматривали еще съ любовью и вниманіемъ вольныя движенія живаго тѣла; ихъ скульпторы, ихъ живописцы, ихъ художники, окруженные натами или полунагими образцами, легко могли воспроизводить ихъ. Вотъ почему вы видите въ Помпѣй, на стѣнахъ, въ маленькихъ молельняхъ, во внутреннихъ дворахъ, — прекрасныхъ танцующихъ женщинъ, молодыхъ, ловкихъ и горделивыхъ героевъ, сильныя груди, легкія ноги, всѣ жесты и всѣ формы тѣла, переданными съ такою

правдою и такъ свободно, какъ не сумѣютъ передать въ настоящее время при самомъ тщательномъ изученіи. Мало по малу, въ теченіе слѣдующихъ пяти вѣковъ, все измѣняется. Языческіе нравы, обычаи палестры, вкусъ къ совершенной наготѣ, исчезаютъ. Тѣло не выставляется ужъ болѣе наружу; оно скрыто подъ сложными одеждами, рязано въ шитье, пурпуръ и восточныя драгоценности. Борецъ и отрокъ-юноша не цѣнятся ужъ болѣе; ихъ замѣнили евнухъ, книжникъ, женщина, монахъ; водворяется аскетизмъ и, вмѣстѣ съ нимъ, вкусъ къ туманной мечтательности, безсодержательному спору, бумагомаранію и словопреніямъ. Истертые болтуны восточной имперіи замѣняютъ собою мощныхъ атлетовъ греческихъ и стойкихъ воиновъ римскихъ. Знаніе и изученіе живаго образца постепенно воспрещаются. На нихъ перестали смотрѣть; передъ глазами нѣтъ уже болѣе твореній древнихъ мастеровъ, а ихъ между тѣмъ копируютъ. Скоро начинаютъ копировать лишь копіи съ копій и такъ далѣе, и съ каждымъ поколѣніемъ все болѣе удаляются отъ оригинала. У артиста нѣтъ уже своей собственной мысли и своего собственнаго чувства; это машина для калькировки. Св. отцы прямо говорятъ, что художникъ ничего отъ себя не измышляетъ, а только списываетъ черты, указанные преданіемъ и принятыя авторитетомъ. Это разъединеніе художника съ образцомъ приводитъ искусство къ тому состоянію, какое вы видите въ Равеннѣ. По прошествіи пяти столѣтій, человѣкъ умѣетъ изображать только въ сидячемъ или стоячемъ положеніи; другія позы слишкомъ трудны, художникъ не въ силахъ уже болѣе передать ихъ. Руки, ноги какъ будто переломаны, изгибы слишкомъ рѣзки, складки одеждъ какъ будто деревянные, — точно манекены; глаза занимаютъ чуть не всю голову. Искусство подобно больному въ страшномъ, смертельномъ истощеніи силъ; ему предстоитъ агонія и потомъ смерть.

Въ другомъ искусствѣ, у насъ и въ болѣе близкое къ намъ время, мы встрѣчаемъ подобный же упадокъ, порожденный подобными же причинами. Въ вѣкъ Людовика XIV, литературный слогъ достигъ совершенства, чистоты, правильности и простоты, рѣшительно безпримѣрныхъ; особенно сценическое искусство выработало себѣ языкъ и стихъ, показавшіеся цѣлой Европѣ образцовыми созданіями ума человѣческаго. Это произошло оттого, что писатели имѣли вокругъ себя живые образцы и не переставали въ нихъ всматриваться. Людовикъ XIV говорилъ великолѣпно, съ чистотой, царственнымъ достоинствомъ, краснорѣчіемъ и важностью. Намъ извѣстно

изъ писемъ, депешъ и мемуаровъ придворныхъ, что аристократическій тонъ, выдержанное изящество, отборность выраженій, благородство манеръ, даръ слова встрѣчались и у царедворцевъ такъ же, какъ у короля; жившему съ ними писателю осталось лишь обратиться къ своей памяти и къ своей опытности, чтобы отыскать въ окружающемъ его мірѣ лучшіе матеріалы для своего искусства.

Черезъ сто лѣтъ, между Расиномъ и Дидлилемъ, совершилась громад-ная перемѣна. Эти рѣчи и эти стихи вызвали въ свое время такой восторгъ, что, вмѣсто того, чтобы продолжать смотрѣть на живыя лица, всѣ занялись изученіемъ трагедій, въ которыхъ они изображались. За образцы приняты были не люди, а писатели. Отсюда явился условный языкъ, академическій стиль, щегольство мнѳологіей, искусственная версификація, провѣренный и апробованный словарь, извлеченный изъ лучшихъ писателей. Вотъ тогда-то воцарился тотъ отвратительный стиль, державшійся съ конца прошлаго и въ началѣ настоящаго вѣка, нѣчто въ родѣ жаргона, на которомъ одна рѣча приклеивалась къ другой, неизбежно предвидѣнной; никто не смѣлъ назвать предметъ его именемъ, — пушка выражалась какимъ-то перифразомъ, море называлось Амфитритой, — сковавшая мысль не имѣла ни выразительности, ни правды, ни жизни, — стиль казался созданіемъ цѣлой академіи буквоѣдовъ, достойныхъ заправлять фабрикою латинскихъ виршей.

Итакъ, мы повидимому пришли къ заключенію, что слѣдуетъ не спускать глазъ съ природы, чтобы возможно ближе подражать ей, и что цѣль искусства — полнѣйшее и точнѣйшее подражаніе.

III.

Безусловно-точное подражаніе не составляетъ цѣли искусства. — Подтвержденіе этого на слѣнкахъ съ статуи, фотографіи и стенографіи. — Намѣренная неточность въ подражаніи принятымъ образцамъ. — Сравненіе античныхъ статуй съ разодѣтыми фигурами въ Неаполѣ и въ Испаніи. — Сравненіе прозы съ стихами (Иппогенія, Гете).

Вѣрно ли это во всѣхъ отношеніяхъ и слѣдуетъ ли заключить отсюда, что совершенно точное подражаніе есть цѣль искусства?

Если бы это было такъ, самое точное подражаніе пораждало бы самыя прекрасныя произведенія. Но на дѣлѣ оно выходитъ иначе. Такъ, напр., въ скульптурѣ, слѣпокъ доставляетъ самую точную копію съ об-

разца, однако же, безъ сомнѣнія, и самый превосходный слѣпокъ не стоитъ хорошо изваянной статуи. Съ другой стороны и въ другой области, фотографія есть искусство, воспроизводящее на плоскости, посредствомъ линій и тѣней, самымъ совершеннымъ образомъ и безъ возможной ошибки, контуръ и форму передаваемого ею предмета. Конечно, фотографія весьма полезное для живописи подспорье; ею мастераки владѣютъ, иногда люди опытные въ ней и способные, но, при всемъ томъ, она и не помышляетъ сравняться съ живописью. Наконецъ, вотъ послѣдній примѣръ: если бы было справедливо, что точное подражаніе составляетъ высшую цѣль искусства, то знаете ли, что было бы лучшею трагедіей, лучшею комедіей, лучшею драмой? Стенографированные процессы въ уголовной палатѣ — тамъ вѣдь воспроизведены рѣшительно всѣ слова. Ясно однакоже, что если вы и встрѣтите здѣсь иной разъ что нибудь естественное, какой-нибудь взрывъ душевный, то это будетъ только зерно хорошаго металла въ мутной и грубой оболочкѣ руды. Стенографія можетъ только доставить матеріалы писателю; но она вовсе не можетъ быть названа произведеніемъ искусства.

Другое, болѣе сильное доказательство тому, что точное подражаніе не есть цѣль искусства, заключается въ соображеніи, что нѣкоторые изъ искусствъ не точны даже съ умысломъ. Прежде всего — скульптура. Обыкновенно статуи бывають одного цвѣта, бронзоваго или мраморнаго; кромѣ того, глаза у нихъ безъ зрачковъ. И это именно однообразіе цвѣта, это смягченіе внутренняго душевнаго выраженія завершаютъ ихъ красоту.

Между тѣмъ, взгляните на соотвѣтственные произведенія, въ которыхъ подражаніе доведено до послѣдней крайности. Въ церквахъ Неаполи и Испаніи есть раскрашенные и одѣтые статуи, изваяніе святыхъ, въ настоящемъ монашескомъ платьѣ, съ желтоватымъ землянистымъ цвѣтомъ кожи, какъ оно и слѣдуетъ у людей, проводившихъ аскетическую жизнь, съ окровавленными руками и прободеннымъ нѣдромъ, какъ подобаетъ мученикамъ. А рядомъ съ ними поставлены мадонны въ царственныхъ одеждахъ и праздничныхъ уборахъ, разряженные въ разноцвѣтные шелки, чудныя діадемы, драгоценныя ожерелья, самыя свѣжія ленты и великолѣпныя кружева, съ розовымъ цвѣтомъ кожи, съ блестящими глазами, съ зрачками изъ цѣльнаго карбункула. Такимъ избыткомъ черноты ужъ точнаго подражанія художникъ вселяетъ не удовольствіе, но какое-то отталкивающее чувство, часто отвращеніе, а иногда прямо ужасъ. То же бываетъ и въ литературѣ. Большая часть драматической поэзіи, весь греческій и француз-

скій классическій театр, большая часть испанских и английских драмъ не только не представляютъ точной передачи обыкновеннаго разговора, но нарочно измѣняютъ человѣческую рѣчь. Каждый изъ этихъ драматурговъ заставляетъ говорить своихъ дѣйствующихъ лицъ стихами, влагаетъ въ слова ихъ ритмъ, а часто и риму. Вредитъ ли искусству эта неестественность выраженія? Нисколько. Это всего поразительнѣе доказано было на одномъ изъ величайшихъ произведеній нашего времени — «Ифигенія» Гёте, написанной сперва прозою и затѣмъ стихами. Она прекрасна въ прозѣ, но какая разница въ стихахъ! Здѣсь, видимо, это измѣненіе обыкновеннаго языка, это введеніе ритма и метра придаютъ піесѣ какой-то необыкновенный отпечатокъ, ясную возвышенность, широкое и выдержанное трагическое пѣніе, при звукахъ котораго духъ подымается надъ пошлостями обыденной жизни и видитъ передъ своими глазами героевъ древнихъ дней, забытое племя первобытныхъ атлетовъ, и между ними — царственную дѣву, истолковательницу воли боговъ, хранительницу законовъ, благотѣлительницу человѣчества, въ которой сосредоточиваются вся доброта и все благородство человѣческой натуры, чтобы прославить ими человѣчество и возвысить наше сердце.

IV.

Художественное произведеніе подражаетъ лишь взаимнымъ соотношеніямъ и зависимости частей въ предметахъ. — Примѣры на произведеніяхъ живописи. — Примѣры изъ литературы.

Итакъ, въ избранномъ предметѣ необходимо весьма близко подражать кое-чему, но не всему. Остается открыть эту именно частицу, за которою должно гоняться подражаніе. Я заранѣе отвѣчаю: «это — взаимныя соотношенія и взаимная зависимость частей». Извините мнѣ абстрактное опредѣленіе; оно уяснится вамъ скорѣе.

Передъ вами живой образецъ, мужчина или женщина, и, чтобы срисовать его, у васъ есть карандашъ и лоскутокъ бумаги величиною въ двѣ ладони. Конечно, нельзя требовать отъ васъ, чтобы вы воспроизвели величину членовъ — бумага ваша слишкомъ для того мала; нельзя, равнымъ образомъ, требовать отъ васъ, чтобы вы передали и краски, — въ вашемъ

распоряженіи только два цвѣта, черный и бѣлый. Вы должны лишь передать соотношенія и, прежде всего, пропорціи, т. е. соотношенія размѣровъ. Если голова имѣетъ такую-то длину, надо, чтобы и тѣло было во столько-то разъ длиннѣе головы, рука имѣла бы длину тоже зависящую отъ первой, нога и все остальное — равнымъ образомъ. Отъ васъ требуютъ еще передать формы или соотношенія положенія: извѣстный изгибъ, овалъ, уголъ въ образцѣ должны повториться въ копіи соответствующею линіей. Короче, дѣло заключается въ воспроизведеніи совокупности тѣхъ отношеній, посредствомъ которыхъ связаны части предмета, — и только. Вы должны передать не простую внѣшность тѣла, а его логику.

Подобно этому, вообразите себя передъ дѣйствительнымъ характеромъ, передъ сценой изъ жизни реальной, простонародной или свѣтской; васъ просятъ описать ее. Для этого у васъ есть глаза, уши, память, быть можетъ карандашъ, которымъ вы можете набросать пять-шесть замѣтокъ; этого не много, но совершенно достаточно, потому что васъ просятъ передать не всѣ слова, не всѣ жесты, не всѣ дѣйствія лица или пятнадцати — двадцати лицъ, вамъ представшихъ. Здѣсь, какъ и тамъ, васъ просятъ обозначить пропорціи, связь, соотношенія, т. е. прежде всего точно сохранить пропорціональность дѣйствій лица или, иначе сказать, придать первенство въ своемъ описаніи тщеславнымъ поступкамъ, если лицо тщеславно, скупости — если это скупой, жестокости — если оно жестоко; затѣмъ, сохранить взаимную связь между этими самыми дѣйствіями, т. е., чтобы каждое, на примѣръ, возраженіе вызывалось чѣмъ-нибудь подобнымъ, каждое чувство, идея, рѣшеніе, мотивировались бы предшествующимъ рѣшеніемъ, идеей, чувствомъ и, сверхъ того, настоящимъ положеніемъ лица, да еще и общимъ характеромъ, какой вы ему приписали. Короче, въ литературномъ произведеніи, какъ и въ произведеніи живописи, должно обрисовать не осязаемую внѣшность лицъ и событій, но совокупность отношеній ихъ и взаимную зависимость, т. е., ихъ логику. Итакъ, говоря вообще, все, что интересуетъ насъ въ существѣ реальномъ, и что мы просимъ художника извлечь и передать намъ, — это внутреннія или внѣшняя логика того существа, или, другими словами, его складъ, составъ, подборъ частей.

Вы видите, въ чемъ мы исправили первое найденное нами опредѣленіе; мы не уничтожили его, но лишь очистили. Мы открыли болѣе возвышен-

ный характер искусства, по которому оно становится теперь уже дѣломъ духа, ума, а не однѣхъ рукъ.

V.

Художественное созданіе не ограничивается воспроизведеніемъ отношеній между частями предмета. — Произвольныя измѣненія этихъ отношеній съ цѣлью выставить осязательнѣе существенный характеръ предмета. — Опрежденіе существеннаго характера. — Онъ недостаточно выражается въ природѣ, отчего и возникаетъ искусство, имѣющее цѣлью пополнять недостатки въ природѣ. — Опрежденіе художественнаго произведенія.

Достаточно-ли этого, и неужели художественныя созданія ограничиваются только воспроизведеніемъ отношеній между частями предмета? Совсемъ нѣтъ, — потому что величайшія школы именно тѣ и есть, которыя всего болѣе измѣняютъ дѣйствительныя отношенія.

Обратите, примѣръ, вниманіе на итальянскую школу въ ея величайшемъ художникѣ Микель-Анджело и, чтобы точнѣе опредѣлить ваши воззрѣнія, припомните лучшее изъ его произведеній, — четыре мраморныя статуи, поставленныя во Флоренціи надъ гробницею Медичи. Тѣмъ изъ васъ, которые не видали оригинала, извѣстны по крайней мѣрѣ копія. Конечно, у этихъ людей, въ особенности у этихъ спящихъ или пробуждающихся женщинъ, пропорціональность частей вовсе не такова, какъ у дѣйствительныхъ личностей. Подобныхъ имъ вы не найдете нигдѣ, даже въ Италіи. Вы увидите тамъ хорошо одѣтыхъ молодыхъ красавцевъ, крестьянъ съ блестящими глазами и дикимъ выраженіемъ, увидите академическія модели съ крѣпкими мышцами и гордыми движеніями; но не въ деревнѣ, ни на праздникѣ, ни въ мастерскихъ — въ Италіи-ли, или въ какомъ бы то ни было другомъ краѣ, въ настоящее время или въ XVI вѣкѣ — ни одинъ дѣйствительный мужчина и ни одна дѣйствительная женщина отнюдь никогда не походили на негодующихъ героевъ, на колоссальныхъ, отчаяющихся дѣвъ, которыхъ великій человѣкъ выставилъ въ погребальной капеллѣ. Эти типы Микель-Анджело открылъ въ собственномъ своемъ геніи и въ собственномъ своемъ сердцѣ. Чтобы создать ихъ, нужна была душа отшельника, созерцателя, друга правосудія, праволюбца, душа пылкая и благородная, затерявшаяся посреди изнѣженныхъ и развращенныхъ душъ, посреди измѣнъ и угнетеній, предъ неотвратимымъ торжествомъ тиранніи и несправедливости, подъ развалинами свободы и отечества; самому художнику над-

лежало стоять подъ грозою смерти, чувствовать, что если дарована жизнь, то лишь изъ милости, да и то, пожалуй, не на долго, быть неспособнымъ гнутья и подчиняться, а напротивъ — отдаться всецѣло искусству, которое одно еще, посреди рабскаго молчанія, давало возможность высказаться его великому сердцу и его отчаянію. Онъ написалъ на пьедесталѣ своей спящей статуи: «Сладко спать, а еще слаще окаменѣть въ часъ бѣдствія и позора. Не видѣть ничего, не чувствовать — вотъ мое блаженство; такъ не буди же меня. Ахъ, говори тише!». Вотъ чувство, открывшее ему подобныя формы.

Чтобы выразить его, онъ нарушилъ обыкновенныя размѣры, удлинилъ туловище и члены, свернулъ торсъ на бедрѣ, глубоко прорылъ глазныя впадины, изобразилъ лобъ морщинами, подобно сжатымъ бровямъ льва, поднялъ на плечѣ цѣлую гору мускуловъ, выдвинулъ на хребтѣ сухія жилы и такіе крѣпко сомѣнутые позвонки, что они похожи на тугонатянутую желѣзную цѣпь, готовую лопнуть...

Этотъ примѣръ показываетъ вамъ, что художникъ, измѣняя отношенія между частями, измѣняетъ ихъ въ одномъ и томъ же смыслѣ, съ цѣлью передать осязательнѣе извѣстный *существенный характеръ* предмета и, затѣмъ, главную идею, какую онъ получалъ о немъ. Замѣтимъ это. Этотъ характеръ и есть именно то, что философы называютъ *сущностью* вещей; вотъ почему они говорятъ, что искусство имѣетъ цѣлью обнаружить эту сущность. Мы оставимъ въ сторонѣ это слово, едѣлавшееся техническимъ, и скажемъ просто, что искусство имѣетъ цѣлью обнаружить главный характеръ, какое-нибудь важное и выдающееся качество, преобладающую точку зрѣнія, существенный образъ проявленія предмета.

Мы близимся здѣсь къ истинному опредѣленію искусства, и потому намъ нужна полная ясность; необходимо, стало-быть, обстоятельно и точно обозначить, что такое этотъ существенный характеръ. Я сейчасъ же отвѣчу, что это — *качество, изъ котораго путемъ неизмѣнной зависимости, происходятъ все или, по крайней мѣрѣ, многія другія качества*. Прощу извинить меня за это отвлеченное опять объясненіе, — оно станетъ вамъ понятно изъ примѣровъ.

Существенный характеръ льва, дающій ему мѣсто въ общей естественно-исторической классификаціи, заключается въ томъ, что онъ большое хищное животное. Вы сейчасъ увидите, что почти всѣ какъ физическія, такъ и нравственныя его черты вытекаютъ изъ этого характера,

какъ изъ источника. Прежде всего, съ физической стороны, — зубы на подобіе рѣзцовъ, пасть какъ нарочно устроенная для того, чтобы разрывать и разжевывать добычу, — органы, необходимые для хищника, питающагося живымъ мясомъ. Чтобы приводить въ движеніе двѣ громадныя челюсти, ему необходимы страшныя мышцы; и для помѣщенія этихъ мышцъ, нужны соразмѣрной величины височныя впадины. Прибавьте къ этому другія еще орудія: на ногахъ страшныя клещи — ужасныя выпускныя когти, быстрая на цыпкахъ походка, страшная угрожающая ладвей, подбрасывающая его какъ пружиною, глаза, ясно видящіе и ночью, потому что ночь — лучшее время для добычи. Натуралистъ, показывавшій мнѣ этотъ скелетъ, говорилъ: «это пасть, подпавшая на четыре лапы». Кромѣ того, всѣ внутреннія свойства какъ нельзя болѣе гармонируютъ одно съ другимъ: прежде всего, инстинктъ кровожадности, потребность свѣжаго мяса, отвращеніе ко всякой другой пищѣ; затѣмъ, сила и какая-то нервная горячность, благодаря которымъ онъ сосредоточиваетъ громадную массу силъ въ короткій моментъ нападенія или защиты, и, какъ бы въ противоположность этому, сонливый привычки, спокойное и угрюмое бездѣйствіе въ минуты роздыха, долгіе зѣвки, послѣ рьяныхъ увлеченій охоты. Всѣ эти черты проистекаютъ изъ его хищническаго характера, и вотъ потому-то мы и называемъ это послѣднее свойство его существеннымъ характеромъ.

Его-то именно искусство и хочетъ выставить въ полномъ свѣтѣ, и если искусство принимаетъ на себя это дѣло, то потому только, что природа оказывается для того недостаточною; ибо въ природѣ характеръ составляетъ только общую всему основу, искусству же предстоитъ сдѣлать его преобладающимъ, господствующимъ надъ всѣмъ. Характеръ этотъ, конечно, видообразуетъ дѣйствительные предметы, но видообразуетъ не вполне. Онъ стѣсненъ въ своемъ дѣйствіи, спутанъ внимательствомъ другихъ причинъ. Онъ не могъ достаточно углубиться въ предметы, носящіе печать его, не могъ отразиться въ нихъ со всей ясностью. Человѣкъ чувствуетъ этотъ недостатокъ, и, чтобы восполнить его, онъ изобрѣтаетъ искусство.

Итакъ, все дѣло художественнаго произведенія — передать какъ можно рельефнѣе и осозательнѣе существенный характеръ или, по крайней мѣрѣ, характеръ, преобладающій въ предметѣ. А для этого, художникъ устраняетъ всѣ черты, закрывающія этотъ характеръ, избираетъ между остальными тѣ, которыя лучше обнаруживаютъ его, выправляетъ тѣ, въ кото-

рыхъ характеръ этотъ извращенъ, и восстанавливаетъ тѣ, въ которыхъ онъ почти уничтоженъ.

Такимъ образомъ, мы дошли до опредѣленія художественнаго созданія. Остановимся здѣсь на одну минуту и бросимъ бѣглый взглядъ на пройденный нами путь. Мы постепенно вырабатывали все болѣе и болѣе возвышенное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, — болѣе точное понятіе объ искусствѣ. Мы полагали сперва, что цѣль его заключается въ *подражаніи осязательной внѣшности предмета*. Затѣмъ, отдѣляя матеріальное подражаніе отъ подражанія умственному, духовнаго, мы открыли, что искусство стремится воспроизвести въ осязательной внѣшности предметовъ лишь *соотношенія между ихъ частями*. Наконецъ, замѣтивъ, что соотношенія могутъ и должны быть измѣняемы, съ тѣмъ, чтобы довести искусство до высшей степени совершенства, мы дошли до рѣшенія, что если и изучаются отношенія между частями, то для того лишь, чтобы *выдвинуть на первый планъ существенный характеръ*. Ни одно изъ этихъ опредѣленій не уничтожаетъ собою предъидущаго, но каждое изъ нихъ исправляетъ его и придаетъ ему болѣе точности, и мы можемъ, соединивъ ихъ всѣ и подчинивъ менѣе важныя болѣе важнымъ, резюмировать весь трудъ нашъ до сихъ поръ такимъ образомъ: *художественное произведеніе имѣетъ цѣлью обнаружить какой-либо существенный или наиболее выдающійся характеръ, стало-быть какую-нибудь преобладающую идею, ясное и полное, чѣмъ она проявляется въ дѣйствительныхъ предметахъ. Искусство достигаетъ этого, употребляя въ дѣло общую совокупность соединенныхъ частей, которыхъ отношенія измѣняются или систематически. Въ трехъ подражательныхъ искусствахъ: скульптурѣ, живописи и поэзи, эта совокупность частей всегда отвечаетъ дѣйствительнымъ предметамъ.*

VI.

Первая группа искусствъ (изобразительныя) копируетъ органическія и нравственныя соотношенія; вторая (архитектура и музыка) комбинируетъ отношенія математическія. — Принципъ архитектуры. — Принципъ музыки. — Данное опредѣленіе применимо ко всѣмъ искусствамъ.

Въ каждомъ искусствѣ необходима совокупность слитыхъ воедино частей, которую художникъ видоизмѣняетъ настолько, чтобы обнаружить какой-нибудь существенный характеръ; но не во всякомъ искусствѣ на-
ПОСТНЛА.

добно, чтобы эта совокупность соответствовала действительным предметам: довольно того, что она существует. Итак, если можно встретить совокупность слитых воедино частей, не заимствованную у действительных предметов, то найдутся, конечно, и искусства, не имѣющія точкой отправления своего подражанія. Это иногда бываетъ, и отсюда возникаютъ архитектура и музыка. Въ самомъ дѣлѣ, помимо отношеній, пропорцій и зависимостей органическихъ и нравственныхъ, которыя копируются тремя подражательными искусствами, есть еще математическія отношенія, комбинируемыя двумя другими искусствами, не подражающими ничему.

Разсмотримъ сперва математическія отношенія, доступныя зрѣнію. Различныя ощутительныя для глаза величины могутъ образовать между собою совокупности частей, соединенныхъ по закону математики. Въдѣ какой-нибудь кусокъ дерева или камня можетъ же имѣть геометрическую форму куба, конуса, цилиндра или шара, что и устанавливаетъ правильныя отношенія разстояній между различными точками его контура. Кромѣ того, размѣры его могутъ быть количествами, соединенными между собою въ простыхъ пропорціяхъ, очень легко доступныхъ глазу; высота можетъ быть въ два, три, четыре раза больше ширины или толщины, что составляетъ второй уже родъ математическихъ отношеній. Наконецъ, многіе изъ этихъ кусковъ камня или дерева могутъ быть наложены одинъ на другой или помѣщены одинъ возлѣ другаго симметрически, въ разстояніяхъ и подъ углами, поставленными въ зависимость отъ математическихъ соображеній.

На этой совокупности сопряженныхъ между собою частей основывается архитектура. Архитекторъ, напередъ задумавъ извѣстный преобладающій характеръ, напр., ясность, простоту, силу, изящество, какъ нѣкогда въ Греціи и Римѣ, или же причудливость, разнообразіе, колоссальность и фантастичность, какъ во времена господства готическаго стиля, можетъ избирать и комбинировать связи, пропорціи, размѣры, формы, положенія, короче—всѣ отношенія между матеріалами, т. е., извѣстными видимыми величинами, такимъ образомъ, чтобы обнаружить задуманный имъ характеръ.

На ряду съ величинами, доступными зрѣнію, есть величины, доступныя слуху,—я разумѣю различныя скорости звуковыхъ колебаній. Эти колебанія будутъ, въ свою очередь, тоже извѣстными величинами, могутъ образовать также совокупности частей, соединенныхъ по законамъ математики. Во-первыхъ, какъ вамъ извѣстно, музыкальный звукъ состоитъ изъ

безпрерывныхъ, одинаковой скорости, колебаній, и эта одинаковость устанавливаетъ уже между ними математическое отношеніе. Во-вторыхъ, если вамъ даны два звука, то второй можетъ быть составленъ изъ колебаній въ два, три и четыре раза болѣе быстрыхъ, чѣмъ первый. Следовательно, оба звука имѣютъ между собою математическое отношеніе, что и изображается въ нотной системѣ размѣщеніемъ ихъ на извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга. А потому, если, вмѣсто двухъ звуковъ, мы возьмемъ извѣстное число ихъ, расположенныхъ на равныхъ разстояніяхъ, то у насъ образуется скала послѣдовательныхъ звуковъ; скала эта есть гамма, и такимъ образомъ всѣ звуки будутъ между собою въ связи, смотря по мѣсту ихъ гаммы. Вы можете теперь установить эту связь какъ между послѣдовательными звуками, такъ и между звуками, издаваемыми одновременно. Первый родъ связи составляетъ мелодію, второй—гармонію. Такимъ образомъ, и музыка, съ ея двумя существенными частями, основывается, подобно архитектурѣ, на математическихъ отношеніяхъ, которыя художникъ можетъ комбинировать и видоизмѣнять.

Но въ музыкѣ есть другой еще принципъ, и этотъ новый элементъ сообщаетъ ей совсѣмъ особенную и чрезвычайную притомъ силу. Помимо своихъ математическихъ свойствъ, звукъ подобенъ крику, и, вслѣдствіе этого, онъ прямо выражаетъ съ неподржаемою точностью, нѣжностью и силой—страданіе, радость, гнѣвъ, негодованіе, всѣ движенія, всѣ волненія живаго и чувствующаго существа съ ихъ мельчайшими оттѣнками и неизвѣданными тайнами. Съ этой стороны онъ похожъ на поэтическую декламацию и образовалъ цѣлую музыку, музыку экспрессіи, музыку Глюка и нѣмцевъ, названную такъ въ отличіе отъ пѣвучей музыки Россини и итальянцевъ. Но какова бы ни была точка зрѣнія, предпочитаемая композиторомъ, оба элемента дѣйствуютъ въ музыкѣ за одно, сообщая, и звуки образуютъ всегда совокупности частей, соединяющихся между собою вслѣдствіе математическихъ ихъ отношеній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, силою того соотвѣтствія, какое имѣютъ они со страстями и различными внутренними состояніями нравственнаго существа,—такъ что музыкантъ, задумавъ выразить извѣстный преобладающій или выдающійся характеръ, печаль или радость, нѣжную любовь или сильный гнѣвъ, ту или другую мысль, то или другое чувство, каковы бы они ни были, можетъ избирать и комбинировать по своему произволу въ этихъ математическихъ отношеніяхъ и

въ этихъ отношеніяхъ нравственныхъ, какимъ образомъ лучше обнаружить задуманный имъ характеръ.

Итакъ, всѣ искусства подходятъ подъ наше опредѣленіе: въ архитектурѣ и музыкѣ, такъ же какъ и въ скульптурѣ, живописи и поэзи, художественное произведеніе имѣетъ цѣлью обнаружить какой-нибудь существенный характеръ, и для этого употребляетъ совокупность сопряженныхъ воедино частей, которыхъ отношеніе художникъ комбинируетъ или видоизмѣняетъ по своему произволу.

VII.

Значеніе искусства въ жизни человѣческой.—Искусство и наука.

Во многихъ отношеніяхъ человѣкъ есть животное, старающееся защитить себя отъ вліянія природы или отъ другихъ людей. Ему нужно заботиться о пищѣ себѣ, объ одеждѣ, о жилищѣ, нужно защитить себя отъ ненастной погоды, неурожая и болѣзней. Для этого онъ обрабатываетъ землю, занимается мореплаваніемъ, различными родами промысловъ и торговь. Кромѣ того, онъ долженъ заботиться о продолженіи своего рода и предохранить себя отъ насилія другихъ людей. Съ этою цѣлью онъ образуетъ семьи и государства; заводитъ суды, чиновниковъ, учрежденія, законы и войско. Послѣ столькихъ изобрѣтеній и трудовъ, онъ все-таки не вышелъ изъ своей первичной сферы, онъ все еще животное, только лучше снабженное пищею и лучше защищенное отъ другихъ; но онъ все еще думаетъ о себѣ, да о подобныхъ себѣ. Въ это время раскрывается для него жизнь болѣе высокая, жизнь созерцанія; его интересуютъ вѣчныя, родоначальные причины, отъ которыхъ зависитъ жизнь его и ему подобныхъ, интересуютъ преобладающіе, существенные характеры, управляющіе каждой совокупностью вещей и оставляющіе свой отпечатокъ на мельчайшихъ подробностяхъ. Для постиженія ихъ, передъ нимъ открыты два пути: первый—путь науки, съ помощью которой онъ открываетъ эти причины и эти основные законы и выражаетъ ихъ точными формулами или абстрактными терминами; второй—путь искусства, помощью котораго эти причины и эти основные законы онъ выражаетъ не въ сухихъ уже опредѣленіяхъ, недоступныхъ толѣ и понятныхъ лишь для нѣсколькихъ специалистовъ, а въ формѣ ослзательной, обращаясь не только къ уму, но и къ

чувствамъ, къ сердцу самаго простаго человѣка. Искусство имѣетъ ту особенность, что оно вмѣстѣ и возвышенно и общенародно, проявляетъ что ни есть высокаго, но проявляетъ это для всѣхъ.

Ипполитъ Тэнъ.

(Чтенія объ искусствѣ. Перев. А. Н. Чудинова. М. 1874)

22. Б. Объ идеалѣ въ искусствѣ.

1. Значеніе слова идеалъ.—Различные способы обработки одного и того же сюжета.

Слѣдуетъ уяснить себѣ, что такое *идеалъ*.

Грамматически объяснить слово не трудно. Припомнимъ себѣ опредѣленіе художественнаго произведенія, найденное нами [выше]. Мы сказали, что художественное произведеніе имѣетъ цѣлью обнаружить какой-либо существенный или болѣе выдающійся характеръ полнѣе и яснѣе, чѣмъ можетъ онъ быть видѣнъ въ дѣйствительныхъ предметахъ. Для этого художникъ составляетъ себѣ идею объ этомъ характерѣ и, согласно своей идеи, преобразуетъ дѣйствительный предметъ. Предметъ этотъ, преобразованный такимъ образомъ, *соотвѣтствуетъ его идее*, или, другими словами, *идеалу*. Такъ предметы переходятъ отъ реальнаго къ идеальному, когда художникъ воспроизводитъ ихъ, измѣняя по своей идее, и преобразуетъ ихъ по своей идее въ то время, когда самъ, постигнувъ и отдѣливъ въ нихъ какой нибудь преобладающій характеръ, систематически измѣняетъ естественныя отношенія между частями предметовъ, чтобы сдѣлать этотъ характеръ болѣе виднымъ и болѣе господствующимъ. — Между идеями, впадаемыми художникомъ въ свои творенія, есть ли идеи высшія? Можно ли указать на характеръ, который былъ бы важнѣе другихъ? Существуетъ ли для каждаго предмета извѣстная идеальная форма, внѣ которой все становится уклоненіемъ или ошибкой? Можно ли раскрыть законъ подчиненія, который указывалъ бы мѣсто различнымъ художественнымъ произведеніямъ? Съ перваго взгляда кажется — нѣтъ: найденное нами опредѣленіе,

повидимому, преграждаетъ путь къ подобнаго рода изслѣдованію; оно убѣждаетъ насъ, что всѣ художественныя произведенія стоятъ въ уровень другъ къ другу и поприще вполне открыто произволу. Въ самомъ дѣлѣ, коль скоро предметъ становится идеаломъ потому лишь одному, что онъ соответствуетъ извѣстной идеѣ, какова бы она ни была, — выборъ вполне зависитъ отъ художника: онъ избересть то или другое по своему вкусу, и намъ не къ чему являться тутъ съ своими требованіями. Одинъ и тотъ же сюжетъ можно обдѣлать такъ или совершенно иначе, или наконецъ на всѣ посредствующіе между этими двумя крайностями лады. Мало того: кажется, что въ этомъ отношеніи исторія согласна съ логикой, и теорія подтверждается фактами. Рассмотрите различные вѣка, различные народы и разныя школы. Художники, будучи не одинаковаго племени, съ разными умами и образованіемъ, получаютъ не одинаковыя впечатлѣнія отъ одного и того же предмета; каждый смотритъ на него съ своей точки зрѣнія; каждый, съ своей стороны, подмѣчаетъ въ немъ какой-либо выдающійся характеръ; каждый составляетъ себѣ о немъ своеобразное понятіе, и это понятіе, эта идея, воспроизведенная въ новомъ созданіи искусства, воздвигаетъ внезапно, въ ряду идеальныхъ формъ, новое художественное произведеніе, подобно явленію новаго бога на Олимпѣ, составъ котораго считали завершеннымъ. Плавать выводитъ на сцену Эвекліона, нищаго скунаго; Мольеръ избираетъ тотъ же характеръ и создаетъ Гарпагона, богатаго скупца. Спусти два столѣтія, скупецъ, уже не глупый и не осмѣянный всѣми, какъ прежде, но грозный и торжествующій, превращается, въ рукахъ Бальзака, въ отца Грандѣ, а тотъ же скупой, перенесенный изъ своей провинціи въ столицу и сдѣлавшійся парижаниномъ, космополитомъ и домашнимъ поэтомъ, составляетъ тому же Бальзаку типъ ростовщика Гобзека. Одно и тоже состояніе отца, оскорбленнаго своими неблагодарными дѣтьми, вызвало, послѣдовательно, произведенія: *Эдипъ въ Колоннѣ* — Софокла, *Король Лиръ* — Шекспира и *Отецъ Горько* — Бальзака. Всѣ романы и всѣ театральныя піесы представляютъ молодого человѣка и молодую женщину влюбленными и стремящимися къ браку; но въ какой безднѣ разнообразныхъ лицъ являлась эта чета, начиная отъ Шекспира до Диккенса и отъ г-жи де-Лафайетъ до Жоржъ-Занда! Итакъ, отецъ, влюбленные, скупецъ, всѣ вообще крупныя типы, постоянно могутъ быть возобновляемы; они непрерывно мѣнялись до сихъ поръ, да будутъ мѣняться и

въ будущемъ: изобрѣтать, выходя за черту условности и преданія, — именно и есть настоящій признакъ, единственная слава и какъ бы родовая обязанность истиннаго гениа.

2. Опредѣленіе художественнаго произведенія. — Условія, которымъ должно удовлетворять послѣднее.

Дать преобладаніе какому нибудь видному, значащему характеру, — вотъ цѣль художественнаго произведенія. Итакъ, чѣмъ ближе подойдетъ оно къ этой цѣли, тѣмъ конечно будетъ совершеннѣе; другими словами: чѣмъ точнѣе и полнѣе скажутся въ немъ названныя условія, тѣмъ высшее займетъ оно мѣсто въ общей скалѣ, или іерархіи, художественныхъ произведеній. Условій этихъ два: необходимо, чтобы характеръ былъ какъ можно болѣе преобладающимъ и какъ можно болѣе виднымъ. Рассмотримъ поближе эти два вмѣняемые артисту обязательства. Для сокращенія труда я рассмотрю одни лишь подражательныя искусства — скульптуру, драматическую музыку, живопись и литературу, а главнымъ образомъ — два послѣднія. Этого довольно, такъ какъ вамъ извѣстна связь, соединяющая подражательныя искусства съ тѣми, которыя не подражаютъ. И тѣ и другія стараются выдвинуть преобладающимъ какой либо особенно замѣтный характеръ. Тѣ и другія достигаютъ этого, употребляя совокупность неразрывно-связанныхъ между собою частей, которыхъ взаимныя отношенія они комбинируютъ или видоизмѣняютъ. Единственное различіе то, что подражательныя искусства, живопись, скульптура и поэзія, воспроизводятъ формы органической и нравственной связи и создаютъ произведенія, соответственныя реальнымъ предметамъ; между тѣмъ какъ другія искусства, т. е. музыка въ тѣсномъ смыслѣ и архитектура, комбинируютъ математическія отношенія, чтобы создать произведенія, не отвѣчающія дѣйствительнымъ предметамъ. Но построенные такимъ образомъ симфонія или храмъ — существа живыя, точно такъ же какъ написанная поэма или нарисованное лицо; потому что они тоже организованныя существа, которыхъ всѣ части зависятъ другъ отъ друга и управляются однимъ и тѣмъ же руководящимъ началомъ; они также имѣютъ свою фязіономію, также обнаруживаютъ извѣстное намѣреніе, также говорятъ своимъ особеннымъ выраженіемъ и также производятъ извѣстный эффектъ. По всему этому, они такія же точно идеальныя созданія, какъ

и другія, подчинены одинаковымъ законамъ образованія и одинаковымъ критическимъ правиламъ; они представляютъ лишь отдѣльную группу въ цѣломъ разрядѣ художественныхъ произведеній, и, съ нѣкоторымъ заранѣе известнымъ ограниченіемъ, истины, отыскиваемые помимо ихъ, примѣняются и къ нимъ.

I. СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ХАРАКТЕРА.

3. Въ чемъ заключается важность характера?—Принципъ подчиненія характеровъ.—Примѣры.

Что же такое выдающійся характеръ, и прежде всего, какъ узнать, действительно ли одинъ изъ данныхъ характеровъ важнѣе другого? Вопросъ этотъ переноситъ насъ прямо въ область наукъ; такъ какъ рѣчь здѣсь идетъ о существахъ самихъ въ себѣ—а оцѣнить характеры или признаки, изъ которыхъ состоятъ существа, и есть именно дѣло науки. Намъ надо заглянуть въ естественную исторію; я не извиняюсь въ этомъ передъ вами; если предметъ вамъ покажется сначала сухимъ и отвлеченнымъ—не бѣда и то. Родственная связь, соединяющая искусство съ наукой,—честь какъ для одного, такъ и для другой; слава наукѣ, дающей красотѣ главнѣйшія свои опоры; слава искусству, въ самыхъ высокихъ своихъ построеніяхъ опирающемуся на истину.

Около ста лѣтъ тому назадъ, естественныя науки открыли то правило оцѣнки, которое мы сейчасъ позаимствуемъ у нихъ для себя; это *законъ соподчиненія характеровъ*; всѣ классификаціи ботаники и зоологін построены на основаніи этого закона, и важность его доказана вполне столь же неожиданными, какъ и глубокими открытіями. Въ растеніи и въ животномъ нѣкоторые характеры признаны болѣе важными, нежели другіе; это тѣ, что *наименѣе измѣнчивы*; на этомъ основаніи, они обладаютъ болѣею противъ другихъ силой, ибо лучше выдерживаютъ напоръ тѣхъ внутреннихъ или вѣншихъ обстоятельствъ, которыя могли бы разложить или видоизмѣнить ихъ. —Въ растеніи, наиримѣръ, ростъ и величина не такъ важны, какъ структура, строеніе, ибо нѣкоторыя побочныя черты внутри и нѣкоторыя побочныя же условія вонѣ могутъ измѣнить величину и ростъ, ни мало не вліяя на строеніе. Горохъ, ползущій по землѣ, и акація, разрастающаяся въ вышину, — очень близкія другъ другу бобовыя;

стебель ржи, въ какіе нибудь три фута, и бамбукъ, въ нѣсколько десятковъ футовъ вышиной,—тоже родственные между собою злаки; одинъ и тотъ же папоротникъ, въ нашемъ климатѣ ничтожный по величинѣ, подъ тропиками разрастается въ громадное дерево. Точно также—у позвоночнаго животнаго число, расположеніе и употребленіе членовъ тѣла не такъ важны, какъ присутствіе или отсутствіе сосцовъ. Оно можетъ жить въ водѣ, на землѣ или въ воздухѣ; подвергнуться всѣмъ перемѣнамъ, неразлучнымъ съ перемѣной обиталища, и отъ этого всетаки не измѣнится и не уничтожится тѣлесный складъ, дающій ему способность кормить своимъ молокомъ дѣтенышей. Летучая мышь и китъ—млекопитающія точно такъ же, какъ и человекъ, собака, лошадь. Образовательныя силы, утонившія члены летучей мыши и измѣнившія руки ея въ крылья, сомкнувшія, окоротившія и почти скомкавшія задніе члены кита, ни у того, ни у другаго животнаго не имѣли вліянія на органъ, дающій дѣтенышу его пищу, и летучее млекопитающее такъ же, какъ и пловучее, остаются оба братьями ходячему. Тоже самое увидимъ мы во всей лѣстницѣ существъ и во всей лѣстницѣ характеровъ. Иное органическое расположеніе — такая вѣская тяжесть, что ни одна изъ силъ, способныхъ двигать меньшія тяжести, не въ состояніи тронуть ее съ мѣста.

Чѣмъ неизмѣннѣе и важнѣе какой-либо характеръ [признакъ], тѣмъ неизмѣннѣе и важнѣе будутъ приводимые и уводимые имъ съ собою характеры [признаки]. Наиримѣръ, существованіе крыльевъ, будучи характеромъ [признакомъ] весьма второстепеннымъ, влечетъ за собой небольшія только видоизмѣненія и вовсе не вліяетъ на общій строй тѣла. Животныя различныхъ между собою классовъ одинаково могутъ имѣть крылья; рядомъ съ птицами стоятъ крылатые млекопитающія, какъ, наиримѣръ, летучая мышь, крылатые ящерицы, какъ древній пальцекрылъ, летучія рыбы, каковы долгоперы. Даже самое приспособленіе животнаго къ летанію до того здѣсь не значительно, что оно встрѣчается въ многообразнѣйшихъ отдѣлахъ; не только что иныя позвоночныя, но и многія суставчатые обладаютъ крыльями; съ другой стороны, способность эта до того маловажна, что въ одномъ и томъ же классѣ она то появляется, то отсутствуетъ; пять семействъ насекомыхъ летаютъ, а послѣднее, безкрылыя,—нѣтъ. Напротивъ, присутствіе сосцовъ, будучи характеромъ [признакомъ] весьма важнымъ, влечетъ за собою значительныя видоизмѣненія и опредѣляетъ строй животнаго въ главныхъ его чертахъ. Всѣ мле-

копитающих принадлежать къ одному отдѣлу; всякое млекопитающее есть уже неминуемо и позвоночное. Мало того, присутствіе сосцовъ всегда ведетъ съ собой двойное кровообращеніе, способность родить живыхъ дѣтей, раздѣленіе легкихъ плеврой, отъ чего изъятъ все другія позвоночныя, птицы, пресмыкающіяся и рыбы.

Если теперь мы поищемъ причины, которая даетъ извѣстнымъ характерамъ особенную важность и прочнѣйшее постоянство, то почти всегда откроемъ ее путемъ слѣдующаго соображенія: всякое живое существо состоитъ изъ двухъ частей, — изъ элементовъ, или основъ, и взаимнаго ихъ прилада; приладъ является въ послѣдствіи, элементы первичны; можно повернуть вверхъ дномъ приладъ, не измѣнивъ ни въ чемъ элементовъ; нельзя измѣнить элементовъ безъ того, чтобы не перевернуть вверхъ дномъ прилада. Итакъ, должно различать два рода характеровъ: одни, глубокіе, завѣтные, изначальные, основныя, — это элементы, или матеріалы; другіе, поверхностные, внѣшніе, производные, наносные, — это характеры, относящіеся къ приладу, или расположенію. Таковъ законъ самой плодотворной въ естественныхъ наукахъ теоріи аналогій, которою Жоффруа Сентъ-Илеръ объяснилъ строеніе животныхъ, а Гётте — строеніе растений. Въ костяхъ животнаго должно различать два слоя характерныхъ признаковъ: одинъ содержитъ въ себѣ анатомическія части и ихъ связи; другой — ихъ удлинненія, укорочія, спай и разныя приспособленія для той или другой потребности. Первый слой изначаленъ, второй — производный; одни и тѣ же суставы, при однихъ и тѣхъ же соотношеніяхъ, находятся въ рукѣ человѣка, въ крылѣ летучей мыши, въ передней ногѣ лошади, въ кошачьей лапкѣ, въ плавникѣ кита; у другихъ животныхъ, у мѣдиницы, у бора, тѣ члены, которые стали бесполезными, существуютъ только уже въ видѣ слѣдовъ, и сохраненіе этихъ зародышнихъ частей, равно какъ и эта устойчивость въ единствѣ плана, свидѣтельствуетъ о могутѣ первичныхъ, элементарныхъ силъ, которой никакія дальнѣйшія превращенія не успѣли вполне уничтожить. Такъ же точно дознано, что все части цвѣтка, первоначально и въ основѣ своей, тѣ же листья, и это различіе двухъ природъ, одной — существенной, другой — второстепенной, объяснило намъ происхожденіе пустоцвѣта, недоцвѣта, уродливостей, и разныя столь же многочисленныя, какъ и темныя аналогіи, противопоставляя изначальный силетъ основы и утка всякой живой ткани тѣмъ складкамъ, швамъ и узорамъ, которыя ее разнообразятъ и совершенно

переряжаютъ. Изъ этихъ частныхъ открытій выведено общее правило: чтобы распознать самый важный характеръ, надобно разсматривать существо въ первомъ его началѣ, или въ его матеріалахъ, наблюдать его въ простѣйшей формѣ, какъ это дѣлается въ эмбриологій, или подмѣчать общіе его элементамъ отличительные признаки, какъ дѣлается въ анатоміи и физиологій... Выводъ, какой естественныя науки завѣщали послѣ всѣхъ своихъ работъ наукамъ нравственнымъ, окончательно состоитъ въ томъ, что характеры болѣе или менѣе важны, смотря по большей или меньшей силѣ, имъ свойственной, что мѣра этой силы дается степенью сопротивленія ихъ всякому напору, что, слѣдовательно, смотря по большей или меньшей ихъ неизмѣнности, имъ отводится въ общей іерархіи болѣе или менѣе высокое мѣсто, что, наконецъ, неизмѣнность ихъ тѣмъ устойчивѣе, надежнѣй, чѣмъ глубочайшимъ слоемъ легли они въ основу даннаго существа и составляютъ не внѣшній приладъ его, а самыя элементы.

4. Примѣненіе того же начала къ нравственному человѣку. — Средство опредѣлить порядокъ соподчиненія характеровъ. — Степень ихъ пзмѣчивости, опредѣляемая исторіей.

Примѣнимъ это начало къ человѣку, прежде всего къ нравственному человѣку, и къ тѣмъ искусствамъ, которыя предметомъ своимъ берутъ именно его, т. е. — къ драматической музыкѣ, къ роману, театру, эпопее и къ литературѣ вообще. Какой здѣсь чинъ, какой порядокъ важности характеровъ, и какъ выяснитъ различныя степени ихъ перемѣнности? Исторія даетъ намъ очень вѣрное и простое средство: событія, вліянія на человѣка, измѣняютъ далеко неравномѣрно различныя, замѣчаемыя въ немъ слои понятій и чувствъ. Время скребетъ, раскапываетъ насъ, какъ землекопъ почву, и обнажаетъ этимъ нашу нравственную геологію; подъ его усиленною работою исчезаютъ одинъ за другимъ наши земляные пласты, иные медленнѣй, иные скорѣе. Первые удары его заступа легко разгребаютъ рыхлую почву, нѣчто въ родѣ намывной земли, мягкой и нанесенной снаружи; затѣмъ идутъ болѣе вязкіе хрящи, пески, слежавшіеся отъ нагнета, и для срытія ихъ понадобится уже гораздо больше труда. Пониже простираются известняки, мраморы, многоярусныя сланцы, все упорныя и плотныя; потребны цѣлыя вѣка неустанныхъ работъ, глубокія раскопки, многочисленные взрывы, чтобы одолѣть ихъ. Еще ниже идетъ

въ безконечную глубь первобытный гранитъ, опора всего остального, и какъ бы ни были мощны усилія вѣковъ потрясти ее, имъ никогда не разрушить ее совершенно.

На поверхности человѣка мы видимъ нравы, понятія, извѣстный строй ума, продолжающіеся всего три или четыре года: это дѣло моды и минуты. Путешественникъ, пустившійся въ Америку или въ Китай, по возвращеніи не найдетъ уже Парижа такимъ, какимъ его оставилъ. Онъ чувствуетъ себя провинціаломъ, отчужденникомъ; тонъ шутокъ значительно измѣнился; словарь клубовъ и маленькихъ театровъ сталъ не тотъ; первенствующій вездѣ щеголь щеголяетъ уже иначе; онъ носитъ другіе жилеты, другіе галстуки; его скандалы и дурачества производятъ эффектъ въ иномъ уже смыслѣ; самое названіе дано ему новое; у насъ поочередно перебывали *petit-maitre*, *incroyable*, *mirliflor*, денди, левъ, *gandin*, *co-codés* и *petit crevé*. Достаточно нѣсколькихъ лѣтъ, чтобы смести и замѣнить ими и вещь новыми; такія умственные перемѣны измѣряются туалетными; изъ всѣхъ человѣческихъ характеровъ это — самый поверхностный и нестойкій.

Подъ нимъ простирается слой характеровъ, нѣсколько болѣе прочныхъ; онъ держится двадцать, тридцать, сорокъ лѣтъ, около половины какого-нибудь историческаго періода. Мы недавно видѣли окончаніе одного изъ нихъ, котораго центромъ былъ 1830-й годъ, говоря приблизительно. Господствующій типъ этого времени вы найдете въ Антоні, Александра Дюма, въ жѣн-премьерахъ театра Виктора Гюго, въ воспоминаніяхъ и разсказахъ нашихъ отцовъ и дядюшекъ. Это — человѣкъ съ великими страстями и мрачными грѣзами, энтузіастъ и лирикъ, политикъ и бунтовщикъ, гуманистъ и новаторъ, болѣющий грудью по доброй волѣ, съ фатальной наружностью, съ трагическими жилетами и тою крайне-эффектною прической, которую можно видѣть на эстампахъ Деверіа; теперь онъ кажется намъ раздутымъ и вмѣстѣ наивнымъ, но мы не можемъ не признать въ немъ пылкости и великодушія. Короче, это новой статьи плебей, богато одаренный способностями, который, въ первый разъ взобравшись на вершины свѣта, шумно выставляетъ на показъ смущеніе, овладѣвшее его сердцемъ и умомъ. Чувства и понятія его — принадлежность цѣлаго поколѣнія: вотъ почему надо, чтобы прошло это поколѣніе, — тогда исчезнуть и они. Таковъ второй, открытый нами, слой; время,

употребляемое исторіей для его сноса, показываетъ вамъ степень его важности, показывая степень его глубины.

Теперь мы подошли къ слоямъ третьяго порядка, слоямъ чрезвычайно обширнымъ и чрезвычайно плотнымъ. Составляющіе ихъ характеры длятся цѣлый историческій періодъ, въ родѣ, наприим., среднихъ вѣковъ, Возрожденія или эпохи такъ называемаго классицизма. Одна и та же форма духа господствуетъ тогда въ теченіе одного или многихъ вѣковъ и противится глухимъ, незамѣтнымъ треніямъ, яростнымъ разгромамъ, всѣмъ подкопамъ и взрывамъ минъ, направленнымъ противъ нея во все это время. Наши дѣды видѣли изчезновеніе одной такой формы, т. е., классическаго періода, окончившагося [въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія]. Она держалась около двухъ вѣковъ, и распознать ее можно по ощутительнымъ примѣтамъ. Костюмъ кавалера и храбреца на словахъ, въ какомъ щеголяли франты поры Возрожденія, смѣнился тою въ самомъ дѣлѣ представительною одеждой, какою прилична въ гостинныхъ и при дворѣ: парикъ, широкіе штаны съ красивою окладкой понизу (*saopns*), костюмъ, удобный вообще и какъ нельзя лучше подходящій къ размыреннымъ и вмѣстѣ разнообразнымъ жестамъ свѣтскаго человѣка, — шелковыя ткани, шитыя, раззолоченыя, украшенныя кружевомъ, пріятный и величавый нарядъ, какъ нарочно созданный для вельможъ, которые хотятъ блистать и не уронить при этомъ своего сана. Среди непрерывныхъ незначительныхъ измѣненій костюмъ этотъ держался вплоть до той поры, когда простые брюки, республиканскій сапогъ и серьезный, черный, утилитарный фракъ замѣнили башмаки съ пряжками, гладко натянутыя шелковые чулки, кружевные жабо, цвѣтистыя жилеты и розовый, нѣжно-голубой или свѣтло-зеленый кафтанъ, бывшіе дотолѣ придворною модой. Во весь этотъ промежутокъ времени господствуетъ характеръ, приписываемый намъ *) Европой и теперь, — характеръ вѣжливаго, галантнаго француза, мастера въ умѣнѣ падить самолюбіе другихъ, краснбая, который, какъ болѣе или менѣе отдаленный снимокъ съ версальскаго царедворца, остался вѣренъ благородству стили и всѣмъ монархическимъ приличіямъ въ язычѣи и манерахъ. Къ этому присоединяется или отсюда вытекаетъ цѣлая группа доктринъ и чувствъ: религія, государство, философія, любовь, семейная жизнь

*) Французамъ.

принимаютъ тогда отпечатокъ господствующаго характера, и эта совокупность нравственныхъ наклонностей образуетъ одинъ изъ тѣхъ крупныхъ типовъ, которые навсегда сохраняются въ человѣческой памяти, потому что она признаетъ въ немъ одну изъ главныхъ формъ человѣческаго развитія.

Сколько бы ни были прочны и устойчивы эти типы, но умираютъ и они. Вотъ уже восемьдесятъ лѣтъ, какъ, отдавшись демократическимъ порядкамъ, французъ началъ отчасти терять свою вѣжливость и большую часть своего галантерейнаго лоска, сталъ горячить, разнообразить и измѣнять свой слогъ, понимать совершенно на новый ладъ все великіе интересы общества и духа. Любой народъ, въ теченіе своей долгой жизни, переходитъ много подобныхъ обновленій, и однакожь остается самимъ собой, не только въ силу преемственности составляющихъ его поколѣній, но и въ силу устойчивости основнаго его характера. Вотъ изъ чего состоитъ первичный пластъ; подъ могучими слоями, которые уносятся смѣнною чередой историческихъ періодовъ, идетъ въ глубь несравненно болѣе могучій крикъ, котораго не одолѣтъ и самимъ историческимъ періодамъ...

Это и есть первобытный гранитъ; онъ длится во всю жизнь народа и служитъ основнымъ крикомъ для всѣхъ позднѣйшихъ слоевъ, которые въ послѣдовательные періоды оседаютъ на поверхность. Станете вы искать еще и того ниже, вы найдете еще болѣе глубокаго основанія, — тѣ темные, гигантскіе пласты, которые начинаютъ теперь освѣщать лингвистика. Подъ народными характерами лежатъ племенные. Нѣкоторыя общія черты выдаютъ исконное сродство между различными по генію или духу народами: латины, греки, германцы, славяне, кельты, персы, индусы, все это отпрыски одного и того же древнѣйшаго корня; ни переселенія, ни помѣси, ни перемѣны температуръ не могли нарушить въ нихъ нѣкоторыхъ философическихъ и общежительныхъ наклонностей, нѣкоторыхъ общихъ имъ приемовъ въ постиженіи нравственности, въ пониманіи природы, въ способѣ выражать мысль. Съ другой стороны, эти основныя, общія имъ всѣмъ черты, не встрѣчаются ни у какого другаго племени, — ни у семита, ни у китаецъ; у тѣхъ есть опять особая своеобразности того же основнаго порядка. Различныя племена относятся между собою нравственно точно такъ же, какъ позвоночное, суставчатое, слизнякъ относятся другъ къ другу

физически; это существа, сложенные по разнымъ планамъ и принадлежащія къ различнымъ вѣтвямъ.

Наконецъ, въ самомъ нижнемъ ярусѣ находятся характеры, свойственные всякой высшей породѣ, способной къ самобытной цивилизаціи, т. е. надѣленной даромъ общихъ идей, выпавшимъ на долю человѣку и ведущимъ его къ установленію обществъ, вѣрованій, наукъ и искусствъ; подобныя наклонности существуютъ независимо отъ всѣхъ племенныхъ различій, и физиологическія разности, столь рѣшительно влияющія на все остальное, безсильны и немощны противъ нихъ.

Вотъ въ какомъ порядкѣ ложатся одинъ на другой слои чувствъ, идей, способностей и инстинктовъ, составляющихъ человѣческую душу. Вы видите, какъ со спускомъ отъ верхнихъ къ нижнимъ они постепенно утолщаются, и какъ относительная важность ихъ измѣняется ихъ устойчивостью. Законъ, взятый нами у естественныхъ наукъ, примѣнимъ здѣсь вполне и оправдывается во всѣхъ своихъ послѣдствіяхъ. Самые устойчивые характеры, какъ въ исторіи людскаго быта, такъ и въ исторіи естественной, всегда самые элементарные, самые что ни есть присные и самые общіе изъ всѣхъ. Въ любой психологической особи, какъ и въ чисто лишь органической, слѣдуетъ различать характеры [признаки] первичные отъ позднѣйшихъ и второстепенныхъ, изначальные элементы — отъ прилада, возникающаго потомъ. Итакъ, характеръ [признакъ] элементаренъ тогда, когда онъ общъ всѣмъ дѣйствіямъ человѣческаго разумія: такова способность мыслить посредствомъ быстро возникающихъ (въ умѣ) образовъ или посредствомъ длинныхъ рядовъ идей, точно между собою сопряженныхъ; она сродна не нѣкоторымъ только частнымъ приемамъ разумія, — она господствуетъ во всѣхъ областяхъ человѣческой мысли и оказываетъ свою дѣйственность во всѣхъ произведеніяхъ человѣческаго ума; какъ скоро человѣкъ судить, воображаетъ и говорить, способность эта непременно тутъ на лицо и притомъ какъ главный распорядитель, какъ хозяинъ: она толкаетъ его въ одну какую-либо сторону и преграждаетъ ему извѣстные исходы. Тоже и съ другими способностями. Итакъ, чѣмъ элементарнѣе, первичнѣе характеръ, тѣмъ шире его вліяніе. А чѣмъ шире его вліяніе, тѣмъ онъ болѣе устойчивъ. Только уже весьма общія состоянія или положенія, а слѣдовательно и весьма общія только наклонности способны опредѣлять собой историческіе періоды и господствующій въ нихъ, верховодный, типъ, — типъ сбитаго съ пути и неудовлетвореннаго плебей

нашего времени, придворного вельможи и салонного господина времени ново-классицизма, одинокого и независимаго барона эпохи средних вѣковъ. Характеры [признаки] гораздо болѣе зачатны и неразрывно связанные съ физическимъ темпераментомъ составляютъ то, что зовется народнымъ гениемъ или духомъ: въ Испаніи — потребность въ терпкомъ и пронзительномъ ощущеніи и страшный потомъ взрывъ возбужденнаго и сосредоточеннаго въ себѣ воображенія; во Франціи — потребность въ отчетливыхъ и связанныхъ между собой идеяхъ и свободный ходъ быстроходнаго ума. Отличительный характеръ цѣлыхъ породъ, напимѣрь, китайской, арійской, семитской, слогается изъ самыхъ элементарныхъ, первичныхъ наклонностей, каковы языкъ, надѣленный или ненадѣленный грамматикой, складъ предложений, способный къ періодичности или нѣтъ, мысль, то ограниченная сухимъ алгебраическимъ обозначеніемъ, то гибкая, поэтическая и богатая отѣнками, то страстная, терпкая и готовая къ неудержному взрыву. И тутъ, какъ въ естественной исторіи, необходимо всмотрѣться въ зародышъ едва начинающаго ума, чтобы распознать въ немъ отличительныя черты ума развитаго и полнаго; характеры первичнаго возраста знаменательнѣе всѣхъ другихъ; по строю языка и по роду мисіи можно прозрѣть будущую форму религіи, философіи, общества и искусства, какъ по присутствію, отсутствію или числу сѣменолюбъ угадываютъ, къ какому именно разряду принадлежитъ извѣстное растеніе, и главнѣйшія черты его типа. Вы видите, что въ царствѣ людей, точно такъ же какъ въ царствѣ животномъ и растительномъ, законъ соподчиненія характеровъ или признаковъ устанавливаетъ одну и ту же іерархію: высшее мѣсто и первенствующая важность принадлежатъ самымъ устойчивымъ характерамъ; а если они такъ устойчивы, то единственно потому, что, какъ элементарные, характеры эти захватываютъ обширнѣйшую поверхность и слѣдовательно уносятся развѣ лишь переворотомъ соотвѣтственной тому величины.

5. Лѣстница, или скала, литературныхъ цѣнностей отвѣчаетъ скалѣ цѣнностей нравственныхъ. — Примѣры.

Этой лѣстницѣ нравственныхъ цѣнностей отвѣчаетъ ступеню въ ступень лѣстница цѣнностей литературныхъ. При одинаковыхъ впрочемъ другихъ условіяхъ, смотри по тому, въ какой степени важенъ выводъ

мый книгою на первый планъ характеръ, то-есть, на сколько онъ элементаренъ и устойчивъ, сама эта книга выходитъ болѣе или менѣе прекрасною, и вы сейчасъ увидите, какъ пласты нравственной геологіи сообщаютъ выражающимъ ихъ литературнымъ произведеніямъ свою степень силы и долговѣчности.

Существуетъ въпервыхъ литература моды, выражающая модный характеръ; подобно ему, она держится три-четыре года, иногда менѣе; обыкновенно она распускается и опадаетъ вмѣстѣ съ древесною листвою каждый годъ; сюда принадлежатъ романсы, фарсы, брошюры, ходячая повѣсть. Прочтите, если у васъ достанетъ храбрости, какой-нибудь водевилъ или шутку 1835 года, — книга выпадаетъ у васъ изъ рукъ. Часто пытаются снова поставить которую-либо изъ этихъ пьесъ на сцену; двадцать лѣтъ тому назадъ пьеса приводила въ восхищеніе; теперь зрители отъ нея зѣваютъ, и она какъ разъ исчезаетъ съ афишъ. Какой-нибудь романсъ, который распѣвался чуть не за каждымъ фортепіаномъ, возбуждаетъ теперь общій смѣхъ, — его находятъ приторнымъ и нелѣпымъ; вы встрѣтите его развѣ только гдѣ-нибудь въ отсталомъ захолустѣ; онъ выражалъ одно изъ тѣхъ эфемерныхъ чувствъ, для которыхъ достаточно самой слабой перемѣны въ нравахъ, чтобы безслѣдно исчезнуть; едва успѣлъ онъ выйти изъ моды, и мы невольно удивляемся, какъ это люди могли потѣпаться подобнымъ вздоромъ. Такъ-то время сортируетъ бездну появляющихся на свѣтъ произведеній: вмѣстѣ съ поверхностными и нестойкими характерами оно безпощадно уноситъ и выразившія ихъ сочиненія.

Другія произведенія отвѣчаютъ нѣсколько болѣе живучимъ характерамъ и кажутся чѣмъ то превосходнымъ читающему ихъ поколѣнію. Такова была пресловутая *Астрей*, написанная д'Юрфе въ началѣ XVII-го столѣтія, — пастушескій романъ, необычайно длинный, еще болѣе пустой, безѣдка изъ зелени и цвѣтовъ, куда люди, утомленные душегубствомъ и разбоями религіозныхъ войнъ, сходились послушать вздоховъ и нѣжностей Селадона. Таковы были романы дѣвицы Сюдерп — *Киръ Великій*, *Клемиа*, гдѣ преувеличенная, утонченная, накрахмаленная галантерейность, введенная во Францію королевами-испанками, краснорѣчивость въ новыхъ оборотахъ языка, сердечныя тонкости, церемоніаль учтивства развернулись ни дать-ни взять какъ величественныя роботы и натянугие поклоны

ПОЭТИКА.

отеля Рамбулье *)... Передъ пресловутой элегіей Милльвуа на *Паденіе древесной мисты* мы остаемся такъ же равнодушны, какъ и передъ *Мессеніанками* Казимира Делавина; это потому, что оба произведенія, полуклассическія и полуромантическія, своимъ смѣшаннымъ характеромъ отвѣчали поколѣнію, стоявшему на рубежѣ двухъ періодовъ, и успѣхъ ихъ длился именно такъ долго, какъ было свойственно проявившемуся въ нихъ нравственному характеру.

Многіе весьма замѣчательные случаи обнаруживаютъ до очевидности, какъ цѣнность всякаго произведенія возрастаетъ и умалется вмѣстѣ съ цѣнностью выраженного имъ характера. Природа какъ нарочно даетъ здѣсь на ряду съ опытомъ средство къ обратной его провѣркѣ. Можно указать писателей, которые при двадцати какихъ-нибудь второстепенныхъ сочиненіяхъ оставили по себѣ одно первостепенное. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, талантъ, воспитаніе, подготовка, успія были одинаковы; однакоже въ первомъ изъ плавиальника вышло обыкновенное произведеніе, а во второмъ явилось на свѣтъ нѣчто гениальное. Дѣло въ томъ, что въ первомъ случаѣ писателемъ были выражены лишь поверхностные, эфемерные характеры, между тѣмъ какъ во второмъ онъ схватилъ характеры долговѣчные и глубокіе... Де-Фоэ написалъ двѣсти томовъ, а Сервантесъ — не знаю, сколько драмъ и новеллъ; одинъ — съ правдоподобіемъ въ подробностяхъ, съ мелочною, сухой точностью дѣловаго пуританина, другой — съ изобрѣтательностью, блескомъ, недочетами и великодушіемъ испанца, притомъ искателя приключеній и рыцаря; отъ одного удѣлялъ *Робинзонъ Крузо*, отъ другаго — *Донъ-Кихотъ*. Это потому, что Робинзонъ прежде всего истый англичанинъ, весь пропитанный глубокими инстинктами своего племени, явными еще и теперь въ матросѣ и въ скваттерѣ **) родной его страны, неудержный и настойчивый въ своихъ рѣшеніяхъ, искренній протестантъ и библейскій начетчикъ, притомъ энергичный, упорный, терпѣливый, неутомимый, рожденный для труда, способный вновь распахать и заселить цѣлыя матеріи; потому, что тоже самое лицо, помимо своего національнаго характера, еще представляетъ собою образецъ величайшаго искуса людской жизни и какъ-бы перечень всей

*) Къ подобнымъ же скоропроходящимъ явленіемъ авторъ относитъ *Эвонгелиста* Лили, *Адоле*, Марини, *Гудибраса*, Бетлера, пастораля Геснера, многіе типы г-жи Сталь и Байрона.

**) Въ С.-Америкѣ — поселенецъ, временно водворяющійся на чужой землѣ.

людской изобрѣтательности, показывая человѣка, выхваченнаго изъ образованной среды и принужденнаго путемъ одиночныхъ своихъ усилій перетерпѣть безднуискусствъ и промысловъ, которыхъ благотворная атмосфера окружала его прежде, какъ вода окружаетъ рыбу во всякое время и безъ нея вѣдома. Подобно этому, въ *Донъ-Кихотъ* вы видите прежде всего испанца-рыцаря и притомъ умственно-больнаго, какимъ сдѣлала его восемь вѣковъ крестовныхъ походовъ и преувеличенныхъ, распаленныхъ грезъ; но сверхъ этого вы видите въ немъ одинъ изъ безсмертныхъ типовъ человеческой исторіи, героя-идеалиста, выпрежняго мечтателя, исхудалаго и избятаго, и тутъ же, лицомъ къ лицу съ нимъ, чтобы усилить впечатлѣніе, какъ нарочно стоитъ разсудительный пентюхъ, позитивистъ жирный и вульгарный *).

Но есть и обратная провѣрка, есть случай, когда гений нисходитъ на степенъ таланта, простаго дарованія... У Шекспира клоуны не забавляютъ ужъ больше никого, а молодые его джентльмены кажутся чуть не безумными; надо быть критикомъ и интересоваться этимъ по профессіи, чтобы взглянуть на нихъ съ соотвѣтственной точки зрѣнія; каламбуры ихъ претятъ, ихъ метафоры не вразумительны; ихъ раздутая галиматья — условный говоръ XVI столѣтія, точно такъ же какъ опрятная и выложенная тирада была рѣчь, требуемая приличіемъ XVII-го. Это тоже модные типы, — не болѣе; внѣшность и минутный эффектъ до того преобладаютъ въ нихъ, что все остальное исчезаетъ. Вы видите изъ двойнаго этого опыта всю важность глубокихъ и долговѣчныхъ характеровъ; отсутствіе ихъ низводитъ съ высоты созданіе великаго художника, а присутствіе возводитъ на высшую ступень произведеніе и меньшаго сравнительно таланта.

Поэтому, читая великія литературныя творенія, мы найдемъ, что все они проявляютъ какой-нибудь глубокой и вѣковѣчный характеръ, и мѣсто, ими занимаемое, будетъ тѣмъ выше, чѣмъ характеръ этотъ глубже и долговѣчнѣе. Это, можно сказать, перечни, представляющіе уму въ осязательной формѣ то главнѣйшія черты какого-нибудь періода исторіи, то изначальные инстинкты и способности какого-нибудь племени, то извѣстные отрывки человѣка вообще и тѣ первичныя психическія силы, которыя являются послѣдними, крайними причинами [событій въ жизни человѣка].

*) Къ подобнымъ же долговѣчнымъ явленіемъ Тэнъ относитъ *Жюль-Блаза*, *Лесажа*, *Манонъ-Леско*, аббата Прево, *Фигаро*, *Бомарше*.

Для убѣжденія себя въ этомъ намъ нѣтъ надобности обращаться къ пересмотру всѣхъ литературъ. Достаточно подмѣтить одно то, какъ употребляютъ теперь литературныя произведенія для пользы исторіи. Ими то именно восполняютъ пробѣлы и недостатки, встрѣчаемые въ памятныхъ запискахъ, въ актахъ дипломатическихъ и законодательныхъ; съ необыкновенной точностью и ясностью показываютъ они намъ чувства различныхъ эпохъ, инстинкты и склонности различныхъ племенъ и народовъ, всѣ потаенныя, великія пружины, которыхъ равновѣсіемъ держится общества, и которыхъ разладъ влечетъ за собой перевороты. Положительная исторія и хронологія древней Индіи почти совершенно ничтожны; но для насъ уцѣлѣли ея героическія и священные поэмы, и въ нихъ обнажается передъ нами вся душа этой страны, т. е., складъ и состояніе ея фантазіи, громадность и взаимная связь ея грезъ и думъ, глубина и муть ея философскихъ домысловъ, внутренній принципъ ея религіи и учреждений. — Взгляните на Испанію въ концѣ XVI-го и въ началѣ XVII-го вѣка: перечитавши разные плутовскіе романы, изучивши театръ Лопе, Кальдерона и другихъ драматурговъ, вы увидите передъ собой два живыхъ лица, нищаго и кавалера, которые раскроютъ вамъ всю дичь и грязь, все величіе и все безуміе этой странной цивилизаціи.

Двѣ великія эпопеи новаго времени, *Божественная Комедія* и *Фаустъ*, представляютъ вкратцѣ двѣ великія эпохи европейской исторіи. Одна показываетъ, какъ смотрѣли на жизнь Средняго вѣка, другая — какъ мы ее нынѣ понимаемъ. Та и другая выражаютъ самую высокую истину, до какой дошли два царственныхъ ума, каждый въ свою пору. Поэма Данта — картина человѣка, который, бывъ восхищенъ отъ предѣловъ этого бреннаго міра, обозрѣваетъ міръ сверхъестественный, единый вполнѣ завершенный и дѣйствительно сущій; онъ вступаетъ въ него, руководимый двумя силами, — восторженной любовью, которая была тогда царицей жизни человѣческой, и уставнымъ богословіемъ, царившимъ надъ спекулятивной (умозрительной) мыслью; его греза, попеременно, то ужасная, то выпрѣнная, есть та мистическая галлюцинація, которая представлялась въ то время совершеннѣйшимъ состояніемъ человѣческой души. Поэма Гёте — картина человѣка, пройдя всѣ мытарства науки и жизни, вышедъ изъязвленный, съ чувствомъ отвращенія; ему претитъ и та, и другая; онъ блуждаетъ, отыскиваетъ на-ощупь какого-нибудь исхода, и наконецъ, покоряясь судьбѣ, останавливается на практической дѣятельности; но посреди этой

бездны скорбныхъ испытаній, среди бездны вопросовъ, по которымъ любознательность его осталась неудовлетворенною, онъ все-таки прозрѣваетъ мелькомъ, сквозь легендарную его завѣсу, то высшее царство идеальныхъ формъ и безплотныхъ силъ, на рубежѣ котораго останавливается мысль, и куда проникать дано по временамъ только сердечнымъ нашимъ чаяніямъ и гаданьямъ. — Между множествомъ превосходныхъ произведеній, обличающихъ существенный характеръ извѣстной эпохи или извѣстнаго племени, встрѣчаются такія, которыя, по рѣдкому стеченію обстоятельствъ, выражаютъ сверхъ того еще какое-нибудь чувство, какой-нибудь типъ, общіе почти всему людскому роду; таковы еврейскіе *Псалмы*, ставящіе единобожнаго человѣка лицомъ къ лицу передъ Всемогущимъ Богомъ, царемъ и судіей; таково *Подражаніе Христу*, излагающее бесѣду растроганной души съ Богомъ, полнымъ любви утѣшителемъ; таковы поэмы Гомера и *Разговоры* Платона, изображающіе, одиѣ — героическую юность человѣка дѣла, другіе — очаровательное мужаніе человѣка мысли; такова почти вся греческая литература, которой выпалъ завидный удѣлъ живописать здоровыя и простыя чувства; таковъ, наконецъ, Шекспиръ, величайшій психологъ и глубочайшій наблюдатель человѣка, ясниѣ всѣхъ прозрѣвшій сложный механизмъ людскихъ страстей, глухія броженія и неудержныя вспыхиванія фантазирующаго мозга, нежданнаго-негаданнаго порухи во внутреннемъ равновѣсіи, тиранніи плоти и крови, роковыя толчки характера, и темныя, сокровенныя причины нашего безумства или нашего ума. — *Донъ-Кихотъ*, *Кандидъ*, *Робинзонъ Крузо* — книги подобнаго же значенія. Такого рода вещи переживаютъ и вѣкъ и народъ, создавшіе ихъ. Онѣ переступаютъ обычныя грани времени и пространства; ихъ поймутъ вездѣ, гдѣ только найдется мыслящій умъ; популярность ихъ неистребима, и живучести ихъ нѣтъ конца. Вотъ послѣднее доказательство соответствія, связывающаго нравственную цѣнность съ литературной, и начала, опредѣляющаго художественнымъ произведеніемъ ихъ высшее или низшее мѣсто, смотря по важности, устойчивости и глубинѣ выраженнаго въ нихъ историческаго или психическаго характера.

Во главѣ природы есть верховныя могуты, властвующія надъ всѣми остальными; во главѣ искусства есть такія художественныя произведенія, которыя также превосходятъ всѣ остальные; обѣ эти вершины стоятъ другъ другу въ уровень, и самыя высшія могуты природы выражаются самыми превосходными художественными произведеніями.

II. Степень благотворности характера.

6. Важность и благотворность, какъ точки зрѣнія на характеръ.—Связь и различіе этихъ двухъ точекъ зрѣнія.—Въ чемъ состоитъ благотворность нравственнаго характера.

Характеры должно сравнивать между собою и съ другой еще точки зрѣнія. Какъ сила естественная, характеръ можетъ разсматриваться двоякимъ образомъ: во-первыхъ, по отношенію къ другимъ характерамъ, и во-вторыхъ—по отношенію къ самому себѣ. Разсматриваемый въ первомъ отношеніи, онъ, какъ мы видѣли выше, займетъ болѣе или менѣе высокое мѣсто въ зависимости отъ его важности, т. е., прочности, устойчивости, отъ силы его сопротивленія разрушительнымъ внѣшнимъ дѣйствіямъ. Исслѣдованіе характера въ другомъ отношеніи опредѣлитъ то болѣе или менѣе высокое мѣсто, какое достается въ удѣлъ характерамъ, смотря потому, насколько, предоставленные самимъ себѣ, они сами клонятся къ своему уничтоженію или же, напротивъ, къ собственному своему развитію, уничтожая или развивая ту особь или группу, въ которыхъ они совмѣщены. Въ первомъ случаѣ мы постепенно низшли къ тѣмъ стихійнымъ, элементарнымъ силамъ, которыя составляютъ основной корень природы, и вы видѣли, какаѣ родственная связь соединяетъ искусство съ наукою. Во второмъ случаѣ мы станемъ постепенно восходить къ тѣмъ высшимъ формамъ, которыя составляютъ конечную цѣль природы, и вы увидите здѣсь родственную связь искусства съ нравственностью. Мы сначала разсмотрѣли характеры по болѣе или менѣе степени ихъ *важности*; теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть ихъ по болѣе или менѣе степени *благотворности*.

Съ нравственной точки зрѣнія, характеры, свойства, какими они одарены, могутъ быть благотворны или злотворны, или, наконецъ, смѣшанны, разнородны, посредственны. Ежедневно мы видимъ такіа лица и цѣлыя общества, которыя благоденствуютъ, увеличиваютъ свою мощь, испытываютъ неудачи въ своихъ предпріятіяхъ, раззоряются, гибнутъ; и всякій разъ, какъ мы взглянемъ на ихъ жизнь въ цѣлой ея совокупности, мы найдемъ, что паденіе это объясняется какамъ-нибудь недостаткомъ общаго строя, преувеличенностью извѣстнаго стремленія, несоразмѣрностью извѣст-

наго положенія и извѣстной склонности, равно какъ причиною успѣха ихъ была стойкость внутренняго равновѣсія, власть умѣрить въ себѣ какое-нибудь страстное желаніе или особенная энергія той либо другой способности. [Отдѣльные характеры то облегчаютъ, то задерживаютъ стремленіе бурнаго потока жизни]. Такъ устанавливается вторая скала: характеры распределяются въ ней, смотря по болѣе или менѣе степени своей пользы или зловредности, по величинѣ того пособія или затрудненія, какое вводятъ они въ нашу жизнь, чтобы сохранить или чтобы загубить ее.

Итакъ, все дѣло здѣсь въ жизни, и для каждого отдѣльнаго лица жизнь имѣетъ два главныхъ направленія: человекъ или познаетъ, или дѣйствуетъ; поэтому въ немъ можно различить двѣ главные способности, — умъ и волю. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ характеры, всѣ свойства воли и ума, помогающія человеку въ знаніи и дѣятельности, благотворны, а всѣ противныя тому—вредны. Всѣ элементы ума—ясность, гениальность, находчивость, разсудительность, тактъ, утонченность, и всѣ элементы воли—храбрость, починливость, дѣятельность, твердость, хладнокровіе, — все это — составныя части идеальнаго человека, ибо всѣ эти качества — отдѣльныя черты благотворнаго характера, полезныя прежде всего для него самого.

При какомъ направленіи свойства эти пріобрѣтутъ благотворный характеръ? Гдѣ та внутренняя пружина, которая сдѣлаетъ отдѣльнаго человека полезнымъ для общества?

Есть одна лишь такая пружина, — способность любить; потому что любить значитъ ставить себѣ цѣлью счастье другаго, подчиниться ему, отдаться вполне заботамъ о его благѣ. Нельзя не признать въ этомъ характера, благотворнаго по преимуществу; очевидно, онъ долженъ быть первымъ въ составляемой нами скалѣ благотворныхъ характеровъ. Насъ трогаетъ уже одинъ его видъ, въ какой-бы ни предсталъ онъ формѣ, — въ формѣ великодушія, человечности, кротости, нѣжности или врожденной доброты. Наша симпатія невольно возбуждается этимъ чувствомъ, каковъ-бы ни былъ предметъ его, будетъ-ли оно любовью въ собственномъ смыслѣ слова, когда одна человѣческая личность всецѣло отдается личности другаго пола, и явится союзъ двухъ жизней, какъ-бы нераздѣльно слившихся въ одну, или будутъ то какія-либо семейныя привязанности, близкія отношенія между родителями и дѣтьми, между братомъ и сестрою, или же, наконецъ, раскроется оно въ крѣпкой дружбѣ, полномъ довѣріи,

взаимной вѣрности двухъ лицъ, не соединенныхъ между собою узами крови. Чѣмъ обширнѣе предметъ любви, тѣмъ мы находимъ ее прекраснѣе, потому что благотворность ее расширяется вмѣстѣ съ объемомъ группы, на которую она дѣйствуетъ. Вотъ отчего въ исторіи, какъ и въ жизни, мы всего больше восхищаемся проявленіями преданности, посвященной на службу общимъ интересамъ, — восхищаемся патриотизмомъ, какой видимъ въ Римѣ во время Аннибала, въ Афинахъ — приThemistocle, во Франціи въ 1792 году и въ Германіи въ 1813 году; великимъ чувствомъ той всеобщей любви къ ближнему, которая вела буддистскихъ или христіанскихъ миссіонеровъ въ среду самыхъ варварскихъ племенъ, тѣмъ страстнымъ рвеніемъ, которое поддерживало въ трудахъ множество безкорыстныхъ изобрѣтателей и вызвало въ области искусства, науки, философіи и практической жизни массу прекрасныхъ и благодѣтельныхъ подвиговъ и учреждений.

7. Соответствующій порядокъ въ скалѣ литературныхъ цѣнностей.

Этой классификаціи нравственныхъ цѣнностей отвѣчаетъ ступеню въ ступень классификаціи цѣнностей литературныхъ. При одинаковыхъ во всемъ остальномъ условіяхъ, произведеніе, выражающее благотворный характеръ, выше произведенія, выражающаго характеръ злоторный. Изъ двухъ данныхъ произведеній, если въ обоихъ, при одинаково талантливомъ исполненіи, выведены одинаково крупныя природныя силы, произведеніе, представляющее намъ героя, лучше того, въ которомъ изображенъ негодяй; и въ галлерей живучихъ созданій искусства, составляющихъ музей мысли человѣческой, мы попытаемся на основаніи нашего новаго начала установить новый распорядокъ мѣстъ.

На самыхъ низшихъ ступеняхъ находятся типы, предпочитаемые реалистической литературой и комедіей, т. е., лица ограниченныя, плоскія, глупцы, эгоисты, безхарактерные и пошляки. Это именно тѣ типы, какіе даетъ намъ обиходная жизнь, или которые невольно вызываютъ насмѣшку. Нигдѣ вы не встрѣтите такой полной коллекціи подобныхъ типовъ, какъ въ *Сценахъ* изъ мѣщанской жизни Генриха Мопсана. И почти во всѣхъ лучшихъ романахъ второстепенныя лица набираются такимъ образомъ: Санчо въ *Донъ-Кихотѣ*; мошенники-обдергаи испанскихъ плутовскихъ романовъ; мелкіе помѣщики, богословы и горничныя у Фильдинга; скупые

сельскіе дворяне и злые на языкъ проповѣдники у Вальтеръ-Скотта; цѣлая бездна негодяевъ, кипящая въ *Людской Комедіи* у Бальзака и въ современномъ англійскомъ романѣ, — все это доставить намъ много новыхъ еще образчиковъ. [Комедіи же] вообще свойственно выставять на свѣтъ всѣ человѣческіе недостатки. Но великіе художники, которые, по требованіямъ избраннаго ими рода или по любви къ нагой истинѣ, взяли за изученіе этихъ жалкихъ типовъ, употребляютъ два различные приѣма для того, чтобы прикрыть посредственность и положительную невзрачность изображаемыхъ ими характеровъ. Или типы эти служатъ у нихъ только придаточнымъ и отгѣночнымъ средствомъ, чтобы тѣмъ яснѣе выказать какое-нибудь главное дѣйствующее лицо, — такой приѣмъ чаще другихъ встрѣчается у романистовъ, и вы можете прослѣдить его въ *Донъ-Кихотѣ* Сервантеса, въ *Евгении Гранде* Бальзака и др. [Или же они возбуждаютъ въ насъ антипатію] противъ подобнаго лица: ведутъ его отъ неудачи къ неудачѣ, вызываютъ противъ него осуждающій и вмѣстѣ казнящій смѣхъ, нарочно выдаютъ всѣ горькія послѣдствія его несостоятельности, уничтожаютъ и гонятъ со свѣту преобладающій въ немъ недостатокъ. Возстановленный противъ него зритель очень доволенъ этимъ; видѣть уничтоженіе эгоизма и глупости такъ же для него пріятно, какъ видѣть полное развитіе силы и добра: кара злу стоитъ торжества блага. Это главный приѣмъ у всѣхъ комиковъ, но къ нему прибѣгаютъ и романисты [Фильдингъ въ *Томъ-Джонсѣ*, Диккенсъ въ *Мартинѣ Чоззельситтѣ* и др.]. Тѣмъ не менѣе видъ этихъ умаленныхъ или искалѣченныхъ душъ не можетъ не оставить въ читателѣ смутнаго чувства какой-то истоми, противности, даже раздраженія и горечи; если ихъ ужъ очень много или они занимаютъ главное мѣсто, то васъ просто беретъ тошнота. Стернъ, Свифтъ, англійскіе комики временъ реставраціи (возстановленія монархіи при Карлѣ II), многія изъ современныхъ комедій и романовъ, сцены Генриха Мопсана, подъ-конецъ отталкиваютъ читателя; удовольствіе или одобреніе смѣшивается у него съ невольнымъ отвращеніемъ: непріятно смотрѣть на какую-нибудь гадюку даже [и тогда], когда ее давишь; намъ лучше хочется видѣть созданія похрустѣ и ростомъ и характеромъ.

Тутъ, на этой ступени лѣстницы, помѣщается цѣлая семья типовъ, пожалуй и могучихъ, но все-таки неполныхъ и вообще неуравновѣшенныхъ. Извѣстная страсть или способность, какое-нибудь предрасположеніе ума или характера развились въ нихъ черезъ мѣру, какъ иной гипертрофиче-

скій органъ въ ущербъ всему остальному [организму], среди всякаго рода болей и страданій. Такова обычная тема драматическихъ или философскихъ произведеній: лица этого разбора способны всѣхъ другихъ доставить писателю неисчерпаемый запасъ трогательныхъ и ужасныхъ происшествій, участвуя въ борьбы и перелома чувствъ, всякихъ вообще внутреннихъ терзаній, необходимыхъ ему для драмы; съ другой стороны, они болѣе всѣхъ способны обнаружить передъ глазами мыслителя различные механизмы ума, роковыя черты человѣческаго строя, всѣ темныя силы, дѣйствующія въ насъ мимо нашего сознанія и слѣпо властвующія надъ нами въ жизни. Такіе типы вы найдете у греческихъ, испанскихъ и французскихъ трагиковъ, у лорда Байрона и Виктора Гюго, у большей части великихъ романистовъ, начиная съ *Донъ-Кихота* [Сервантеса] до *Вертера* [Гёте] и *Госпожи Бовари* [Густава Флобера]... Но ни у кого эта порода пылкихъ и страждущихъ душъ не расплодилась въ столь могучихъ, полныхъ и явственныхъ [образахъ], какъ у двухъ великихъ знатоковъ человѣка—Шекспира и Бальзака. Они всегда предпочтительно изображаютъ силу гигантскую, но зловредную для другихъ или для себя. Въ десяти случаяхъ изъ двѣнадцати главное дѣйствующее лицо у нихъ—мономанъ или злодѣй; онъ одаренъ самыми утонченными и мощными способностями, иногда чрезвычайнымъ великодушіемъ и нѣжностію чувствъ; но вслѣдствіе какой-нибудь погрѣшности внутреннего строя или неумѣнья владѣть собою, силы эти ведутъ его къ гибели или обрушиваются зловредно на другихъ: чудная машина разлетается на ходу сама или давитъ въдребезги прохожихъ. Припомните шекспировскихъ героев—Коріолана, Готспера, Гамлета, Лира, Тимона, Леонта, Макбета, Отелло, Антоніа, Клеопатру, Ромео, Юлію, Дездемону, Офелію,—самыхъ героическихъ и самыхъ чистыхъ: всѣ они увлечены пыломъ слѣпаго воображенія, судорожнымъ трепетомъ безумной чувствительности, тиранніей плоти и крови, галлюцинаціею идей, неудержимымъ приливомъ гнѣва или любовной страсти; присоедините къ нимъ чудовищныя, кровожадныя души, которыя, какъ львы, бросаются на стадо людей,—какогонибудь Яго, Ричарда III-го или леди Макбетъ, всѣхъ тѣхъ, что выдавили изъ своихъ жилъ «последнюю каплю молока человѣческой природы». И у Бальзака вы встрѣтите двѣ группы соответственныхъ типовъ: съ одной стороны—мономановъ [Гюло, Клаэса, Горіо и др.], страстныхъ собирателей, смертельно-влюбленныхъ, записныхъ художниковъ и отъявленныхъ скупцовъ; съ другой—просто хищныхъ звѣрей

[Нюсингена, Вотрена, дю-Тилье, Филиппа Бридо и др.], — ростовщиковъ, мошенниковъ, развратницъ, честолюбцевъ, дѣльцовъ: все это сильныя чудовищныя созданія, возникшія изъ того же замысла, что и Шекспира, но порожденные съ гораздо большимъ уже трудомъ, въ атмосферѣ, которую передышало и которую заразило дыханіемъ несравненно большее число человѣческихъ поколѣній, съ не такой уже молодой кровью въ жилахъ и со всѣми безобразіями, всѣми болѣзнями, всею испорченностью старой цивилизації. Это самыя глубокія литературныя созданія; они проявляютъ лучше всѣхъ другихъ важнѣйшіе характеры, изначальныя силы, что ни есть основныя пласты человѣческой природы. Читая ихъ, испытываешь какое-то грандіозное волненіе,—волненіе человѣка, посвящаемого въ тайну вещей, допущеннаго къ созерцанію законовъ, управляющихъ душою, обществомъ и исторіей. Тѣмъ не менѣе, произведенное ими на насъ впечатлѣніе поистинѣ тяжело: мы видѣли слишкомъ уже много грязи и преступленій; немѣрно-развитыя страсти, въ своихъ неудержимыхъ столкновеніяхъ, выставили уже слишкомъ много опустошеній и бѣдъ. Передъ тѣмъ, что читать книгу, мы смотрѣли на предметы съ наружной ихъ стороны, покойно, машинально, какъ любой мѣщанинъ глядитъ на обычные, однообразныя движенія какого-нибудь военного развода. Писатель взялъ насъ за руку и повелъ вдругъ прямо на поле битвы; мы видимъ передъ собою яростную схватку цѣлыхъ армій подъ смертоноснымъ градомъ картечъ, видимъ, какъ земля вокругъ устилается трупами.

Поднимемъ еще ступенью выше, и мы встрѣтимъ уже типы совершенныя, типы настоящихъ героевъ. Ихъ много въ драматической и философской литературѣ. Шекспиръ и поэты его времени расплодили совершенныя образы невинности, благодушія, добродѣтели, женской нѣжности; въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ ихъ замыслы появлялись затѣмъ подъ различными формами въ англійскомъ романѣ или драмѣ; послѣднихъ дочерей Миранды и Имоджены вы найдете въ какой-нибудь Эсэири и Агнесѣ Диккенса. У самого Бальзака попадаются благородныя и свѣтлыя характеры. Маргарита Клаэсъ, Евгенія Гранде, маркизъ д'Энаръ, Деревенскій лѣкарь—настоящіе образцы въ своемъ родѣ. На обширномъ поприщѣ литературѣ можно даже найти многихъ писателей, которые съ умысломъ выводили на сцену чувства самыя прекрасныя и души что ни есть высшаго разбора,—таковы Корнель, Ричардсонъ, Жоржъ-Сандъ. Одинъ въ *Поліевектѣ*, *Сидѣ* и *Горациахъ* изображаетъ полный разсудливости героизмъ;

другой — въ *Памелъ, Клариссъ и Грандиссонъ* выводить говорящую протестантскую добродѣтель; Жоржъ-Сандъ, въ романахъ *Мопра, Франсуа Найденышъ, Чертова муза, Жанъ де-ла Рошъ* и многихъ еще новѣйшихъ, рисуетъ врожденное великодушіе. Наконецъ иногда высшаго разряда художникъ, напримѣръ, Гёте въ своей поэмѣ *Германъ и Доротея*, и особенно въ своей *Ифигеніи*, Теннисонъ въ *Королевскихъ идилліяхъ* и въ *Принцессѣ*, пытались подняться до самой вершины небесъ. Но мы вѣдь давно уже упали оттуда, и если они туда возвращались, то развѣ лишь увлеченные художнической пытливостью, своими отшельническими думами и любовью къ археологическимъ поискамъ. Что касается другихъ, то они выводятъ на сцену совершенныя личности или какъ моралисты, или какъ наблюдатели; въ первомъ случаѣ съ тѣмъ, чтобы отстоять какое нибудь положеніе, при чемъ у нихъ замѣтенъ отъѣнокъ холодности или рѣшительно предвзятой мысли; во второмъ случаѣ съ примѣсью разнообразныхъ человѣческихъ чертъ, — коренныхъ погрѣшностей, мѣстныхъ предразсудковъ, старыхъ, [неизбѣжныхъ] или только возможныхъ заблужденій, которыя, правда, приближаютъ идеальное лицо къ лицамъ дѣйствительнымъ, реальнымъ, но за то и туманятъ блескъ его красы. Воздухъ зрѣлыхъ годовъ цивилизацій неблагоприятенъ для идеальной личности; она умѣстна въ эпическихъ и чисто-народныхъ литературахъ, когда неопытность и неувѣжество еще представляютъ воображенію полную свободу... Творенія подлинно идеальныя появляются въ изобиліи только въ первобытныя, безискусственныя, эпохи, и надо воротиться къ отдаленнымъ временамъ, къ начальному происхожденію народовъ, къ дѣтскимъ грѣзамъ человѣчества, для того чтобы найти героевъ и боговъ. У каждаго народа есть свои; онъ извлекаетъ ихъ изъ своего сердца и вскармливаетъ ихъ своими сказаніями; постепенно подвигаясь въ невѣдомую даль новыхъ для него временъ и грядущей исторіи, онъ не сводитъ глазъ съ этихъ безсмертныхъ образовъ, сіяющихъ передъ нимъ, какъ благотворные геніи, которымъ суждено руководить его и охранять. Таковы герои настоящихъ эпопей, — Зигфридъ въ *Нибелунгахъ*, Роландъ въ древне-французскихъ былинахъ (*Chansons des gestes*), Сидъ въ *Романсеро*, Рустемъ въ *Книжѣ Царей*, Ахтаръ въ Аравіи, Улиссъ и Ахиллъ въ Греціи. Еще выше и уже въ верхней сферѣ неба помѣщаются вѣщія прорицатели, спасители и боги. Греція изобразила ихъ въ поэмахъ Гомера, Индія — въ ведійскихъ гимнахъ, въ древнихъ эпопеяхъ, въ буддистскихъ легендахъ... Преображенный и превозвышенный,

человѣкъ выступаетъ здѣсь въ совершенной полнотѣ и цѣлостности; въ немъ, обоготворенномъ или напрямикъ божественномъ, нѣтъ уже никакого недостатка; если его умъ, сила и доброта имѣютъ еще какіе-нибудь предѣлы, то это развѣ только въ нашихъ глазахъ и съ нашей точки зрѣнія. На взглядъ его времени и его вѣка предѣловъ этихъ нѣтъ; вѣрованіе придало ему все, что было тогда постижимо воображенію; онъ истинно на верху величія, и тутъ же, обокъ съ нимъ, во главѣ художественныхъ произведеній, стоятъ тѣ возвышенныя и вполне искреннія созданія, которыя несли въ себѣ его идею, не сгибаясь подъ ея тяжестью.

III. Степень цѣлостности впечатлѣнія.

8. Различные элементы литературнаго произведенія. — Характеръ. — Его элементы. — Дѣйствіе. — Его элементы. — Слогъ. — Его элементы. — Гармонія характера, дѣйствія и слога. — Примѣръ.

Мы разсмотрѣли характеры въ самихъ себѣ, — теперь намъ остается изслѣдовать ихъ еще при переносѣ въ художественное произведеніе. Необходимо, чтобы они были не только цѣнны сами по себѣ, но притомъ сдѣлались и какъ можно болѣе господствующими въ художественномъ произведеніи. Только тогда они получаютъ весь свой блескъ и всю свою рельефность, только такимъ образомъ могутъ они стать очевиднѣе, нежели въ самой природѣ. Для этого, разумѣется, необходимо, чтобы всѣ части произведенія дружно помогали проявленію этихъ характеровъ. Ни одинъ элементъ не долженъ оставаться бездѣйственнымъ или отвлекать вниманіе въ другую сторону; то будетъ сила, потерянная совсѣмъ или же направленная въ противоположномъ смыслѣ. Иными словами, въ картинѣ, статуй, поэмѣ, симфоніи, всѣ рѣшительно эффекты должны сходить въ одной цѣли, *быть въ полномъ ладу*. Степень этого общаго ихъ лада указываетъ мѣсто любому произведенію, и вы сейчасъ увидите, что, для измѣренія цѣнности художественныхъ созданій, къ двумъ первымъ найденнымъ нами скаламъ присоединится еще третья.

Возьмемъ сперва искусства, проявляющія человѣка нравственнаго, возьмемъ именно литературу. Сначала отличимъ разнообразныя элементы, изъ которыхъ состоятъ драма, эпопея, романъ, — короче, любое произведеніе, выводящее на сцену души въ ихъ дѣйствіи. Во-первыхъ тамъ есть

души, я хочу сказать—личности, всё надѣленные какимъ-нибудь особымъ характеромъ, а въ каждомъ характерѣ можно распознать нѣсколько составныхъ частей. Въ тотъ мигъ, когда новорожденное дитя, какъ говоритъ Гомеръ, «впервые упадетъ между колѣнъ женщины», оно уже обладаетъ, по крайней мѣрѣ въ зачатѣ, способностями и инстинктами известнаго рода и въ известной степени: у него есть кое-что отцовское, кое-что материнское, кое-что семейное и кое-что племенное; притомъ качества, переданные ему съ кровью по наслѣдству, принимаютъ въ немъ такіе размѣры и пропорціи, которыми оно отличается отъ своихъ соотчичей, родителей и близкихъ. Эта прирожденная нравственная основа связана съ известнымъ физическимъ темпераментомъ, и общая совокупность всего вмѣстѣ образуетъ то первое достояніе человѣка, которое искажается или пополняется затѣмъ воспитаніемъ, примѣрами, обученіемъ, всѣми событіями и всѣми дальнѣйшими дѣйствіями его дѣтскаго и юношескаго возраста. Когда эти различныя силы, вмѣсто того чтобы взаимно уничтожаться, напротивъ тѣсно присоединятся другъ къ другу, то этотъ общій ихъ ладъ оставить въ человѣкѣ глубокіе слѣды, и вы увидите появленіе разительныхъ или сильныхъ характеровъ. Этого совокупнаго улада часто не достаетъ въ природѣ, но онъ всегда присущъ твореніямъ великихъ художниковъ: вотъ отчего создаваемые ими характеры, хотя и состоятъ изъ тѣхъ же элементовъ, что характеры реальные, однакожъ гораздо могучѣе послѣднихъ. Великіе мастера готовятъ свой типъ издавна и какъ нельзя тщательнѣй; когда они намъ его представляютъ, мы чувствуемъ, что онъ собственно и не могъ быть инымъ. Онъ держится у нихъ на огромной подстройкѣ; его соорудила глубокая логика. Ни одинъ поэтъ не обладалъ этимъ даромъ въ такой степени, какъ Шекспиръ. Читая со вниманіемъ любую его роль, вы найдете тамъ на каждомъ шагѣ, въ какомъ-нибудь словѣ или жестѣ, въ какой-нибудь выходкѣ воображенія, въ неясномъ сумбурѣ мыслей, въ особенномъ оборотѣ рѣчи, намекъ и указаніе, которые раскроютъ вамъ все нутро, все прошедшее и все будущее этой личности *). Это ея подкладка, ея исподъ. Тѣлесный темпераментъ, врожден-

*) У Отелло, въ послѣднія минуты, является воспоминаніе изъ его путешествій и его дѣтства,—явленіе частое у самоубійцъ:

... Какъ глупецъ-индіецъ, я отбросилъ
Жемчужину, дороже всѣхъ сокровищъ

ныя или пріобрѣтенныя наклонности и стремленія, многосложный ростъ идей и стародавнихъ или новыхъ-сравнительно привычекъ, всѣ соки человеческой природы, безконечно измѣняющіеся отъ самыхъ первыхъ ея корней и до послѣднихъ отпрысковъ,—все способствовало появленію тѣхъ рѣчей и дѣйствій, которыя вырвались у нея подъ конецъ теперь. Необходима была бездна присущихъ силъ и эта общая гармонія сосредоточенныхъ эффектовъ, чтобы оживить такія фигуры, какъ Коріоланъ, Макбетъ, Гамлетъ, Отелло, и составить, вскормить и распалить ту господствующую страсть, которая закалила бы ихъ на все и пустила какъ стрѣлу изъ лука. Обокъ съ Шекспиромъ, я позволю себѣ назвать одного изъ новыхъ, почти современнаго намъ Бальзака, самого богатаго въ ряду тѣхъ, кто въ наши времена орудовалъ сокровищами нравственной природы. Никто лучше его не показалъ постепенное сложеніе и образованіе человѣка, послѣдовательную наслойку въ немъ разныхъ пластовъ, налегающихъ одно на другое и скрещивающихся вліянія родственныхъ связей, первыхъ впечатлѣній дѣтства, разговоровъ, книгъ, дружескихъ отношеній, занятій, жительства, тѣхъ безчисленныхъ отпечатковъ, которые каждый день ложатся намъ на душу, давая ей и матеріалъ, и форму. Но онъ романистъ и ученый, а не драматургъ и поэтъ, какъ Шекспиръ; оттого, вовсе не пряча своихъ исподовъ, онъ напротивъ выставляетъ ихъ наружу; вы найдете длинный имъ перечень въ его описаніяхъ и безконечныхъ разсужденіяхъ, въ обстоятельныхъ изображеніяхъ какого-нибудь дома, лица или платья, въ предварительныхъ разсказахъ о дѣтствѣ и воспитаніи героя, въ техническихъ объясненіяхъ какого-нибудь производства или от-

Его страны;... и изъ мопхъ очей,
Къ слезливымъ ощущеніямъ непривычныхъ,
Теперь текутъ струей обильной слезы,
Какъ изъ деревъ Аравіи камедь.

Отелло, пер. П. Вейнберга.

У Макбета, съ перваго слова, быстрый наплывъ честолюбивыхъ и душегубственныхъ галлюцинацій,—явленіе частое у мономановъ:

Убійство—мысль; оно еще въ умѣ;
Но эта мысль встревожила всю душу!
Вся сила органовъ подавлена,
Исчезла истина, и міръ видѣній
Меня обьялъ.

Макбетъ, пер. А. Кронеберга.

крытія. Но въ дѣломъ его искусство одного съ шекспировскимъ разбора, когда онъ создаетъ какую-нибудь личность, — Гюль, отца Гранде, Филиппа Бридо, старую дѣвушку, шпиона, придворную даму, великаго дѣльца, — талантъ его всегда состоитъ въ подборѣ громаднаго числа образовательныхъ элементовъ и нравственныхъ вліяній, которые онъ сводитъ въ одно русло, спускаетъ по одной покати, словно ручьи, бѣгущіе со всѣхъ сторонъ поднять и убыстрить воды одного какого-нибудь потока.

Вторую группу элементовъ въ литературномъ произведеніи являются *положенія и событія*. Мы задумали характеръ; теперь надо, чтобы столкновенія, въ какія онъ будетъ поставленъ, обнаружили свойства его вполне. Въ этомъ искусство опять таки выше природы, потому что въ природѣ не всегда оно бываетъ такъ. Иной великій и могучій характеръ остается въ ней безвѣстнымъ и бездѣтельнымъ по недостатку удобнаго случая или вызова на починъ. Не попади Кромвель въ самый разгаръ англійской революціи, онъ, по всей вѣроятности, продолжалъ бы до гроба ту же жизнь, какую велъ вплоть до сорока лѣтъ среди своей семьи въ родномъ округѣ, былъ бы фермеромъ, собственникомъ, какимъ-нибудь выборнымъ отъ земства, строгимъ пуританиномъ, погруженнымъ въ заботы о навозѣ, о домашнемъ скотѣ, о дѣтяхъ и объ успокоеніи своей собственной совѣсти. Отложите французскую революцію на три только года, и Мирабо былъ бы не болѣе какъ изгойный дворянинъ, искатель приключеній и гуляка. Съ другой стороны, какой-нибудь посредственный или слабый характеръ, котораго отнюдь не хватило бы на трагическія событія, оказывается совершенно достаточнымъ для происшествій обыкновенныхъ. Вообразите себѣ Людовика XVI-го рожденнымъ въ мѣщанской семьѣ, съ ограниченными средствами, живущимъ службою или скромнымъ доходомъ съ капиталца: онъ прожилъ бы съ почетомъ въ тишинѣ; исполнялъ бы добросовѣстно урочное свое дѣло, усердно занимался бы какою-нибудь приказной службою, былъ бы кротокъ съ женой, отечески ласковъ къ дѣтямъ; по вечерамъ, при свѣтѣ лампы, онъ обучалъ бы ихъ, пожалуй, географіи, а въ воскресенье, послѣ обѣдни, самъ потѣшался бы своимъ слесарнымъ инструментомъ. Разъ сложившаяся личность, отдаваемая природой на произволъ житейской борьбы, подобна судну, спущенному съ верфи на море: ему нуженъ сильный или же небольшой вѣтеръ, смотря потому, челнокъ это или фрегатъ: вихрь, ускоряющій движеніе фрегата, совсѣмъ поглотитъ челнокъ, а слабое дуновеніе вѣтерка, несущее лодку,

оставить фрегатъ неподвижнымъ среди гавани. Итакъ, художнику необходимо пригонять положенія къ характерамъ. Вотъ второй совокупный уладъ, и едва ли мнѣ нужно говорить вамъ, что великіе художники никогда не упускаютъ его изъ виду. Такъ называемая у нихъ интрига или завязка дѣйствія есть именно рядъ происшествій и строй положеній, подобранныхъ, какъ нарочно, съ тѣмъ, чтобы проявить характеры, потрясти душу до глубины, обнаружить сокровенные инстинкты и невѣдомыя способности, которымъ однообразный ходъ привычекъ мѣшаетъ выпрыгнуть на божій свѣтъ, — чтобы, наконецъ, измѣрить, какъ дѣлаетъ Корнель, силу ихъ воли и степень героизма, чтобы выставить, какъ Шекспиръ, алчность, безуміе, бѣшенство и ярость тѣхъ кровожадныхъ и ревомъ ревущихъ чудовищъ, которыя запрятались въ нашемъ сердцѣ, слѣпо пресмыкаясь на самомъ его днѣ. Для одного и того же лица испытанія эти бываютъ весьма различны; ихъ, слѣдовательно, можно расположить такъ, чтобы они становились часъ отъ часу сильнѣе: — вотъ это-то и есть обычное у писателей *crescendo* (постепенное наращеніе); они употребляютъ этотъ пріемъ и въ каждой части дѣйствія, и въ дѣломъ, и такимъ образомъ достигаютъ или какого-нибудь блестящаго окончательнаго взрыва, или страшнаго паденія. Ясно, что законъ этотъ примѣнимъ и къ подробностямъ, и къ массамъ. Въ виду извѣстнаго эффекта, каждая сцена группируется по своимъ частямъ; въ виду той либо другой развязки, группируются всѣ эффекты въ совокупности; вся исторія или фабула располагается такъ или иначе, смотря потому, какія именно души должны въ ней быть выведены на первый планъ. Взаимный уладъ качествъ однихъ съ другими составляетъ видимое и замѣтное притомъ лицо; взаимный уладъ характера съ послѣдовательными положеніями обнаруживаетъ до дна весь этотъ характеръ, направляя его къ окончательному торжеству или къ конечной гибели.

Остается еще одинъ элементъ, именно *слогъ*. Сказать правду, онъ только одинъ и видѣнъ, а другіе два составляютъ его исподъ, подкладку; онъ одѣваетъ ихъ съ ногъ до головы, и одинъ находится на поверхности. Книга не болѣе вѣдь какъ рядъ фразъ, которыя авторъ произноситъ отъ себя или заставляетъ произносить свои дѣйствующія лица; тѣлеснымъ глазамъ или ушамъ не уловить въ ней ничего болѣе; все, что можетъ быть сверхъ того подмѣчено внутреннимъ слухомъ и зрѣніемъ, откроется имъ только при посредствѣ тѣхъ же самыхъ фразъ. Итакъ, вотъ еще третій

очень важный элементъ, и эффектъ его долженъ непременно ладить съ эффектомъ другихъ элементовъ, чтобы общее впечатлѣніе вышло сколько можно сильнѣе. Но, какаѣ бы то ни были, фраза сама по себѣ способна принять разнообразныя формы, а стало быть и эффекты произвести разнообразные. Она можетъ быть какимъ-нибудь однимъ стихомъ, за которымъ слѣдуютъ другіе; она можетъ состоять изъ одинаково или неодинаково длинныхъ стиховъ, изъ ритмовъ и изъ риемъ, расположенныхъ такъ или иначе; припомните все богатство метрики на этотъ счетъ. Съ другой стороны, фраза или предложіе можетъ образовать строчіе прозы, за которою идутъ другія такія же; онѣ то смыкаются въ цѣлый періодъ, то распадутся на мелкія отдѣльныя предложія, то образуютъ поочередно періоды и краткія фразы; припомните въ этомъ отношеніи все синтаксическое богатство языковъ. — Наконецъ, слова, составляющія фразу, уже и сами по себѣ отличаются извѣстнымъ характеромъ; смотря по своему происхожденію и обычному употребленію, они или общи и благородны, или техничны и сухи, или свободны и разительны, или отвлеченны и туманны, или блестящи и колоритны. Короче, каждая произнесенная фраза, это—совокупность силъ, которыя затрогиваютъ въ читателѣ его логическій инстинктъ, его музыкальныя способности, пріобрѣтенія его памяти, пружины его воображенія, и, чрезъ посредство нервовъ, вѣдшихъ чувствъ и привычекъ, потрясаютъ всего человѣка цѣликомъ. Итакъ, необходимо, чтобы слогъ припоровлялся ко всѣмъ прочимъ элементамъ произведенія; вотъ послѣдній гармоническій уладъ, и на этой именно почвѣ мастерство великихъ писателей, можно сказать, бесконечно; ихъ таесть или чутье отличается въ этомъ отношеніи необыкновенной тонкостью, а изобрѣтательность ихъ тутъ прямо неисчислима: вы не найдете у нихъ ни одного ритма, ни одного оборота, ни одной конструкціи (фразопостройки), ни одного слова, даже звука, ни одной связи между словами, звуками и фразами, которыхъ цѣнность не была бы ими прочувствована и которыхъ употребленіе было бы неумышленно, случайно. Здѣсь опять искусство выше природы, потому что, вслѣдствіе этого выбора, этой обработки и припоровки слога, воображаемое лицо говорить лучше и соотвѣтственнѣе своему характеру, чѣмъ лицо реальное. Не пускаясь здѣсь во всѣ тонкости искусства и не входя подробно во всѣ приемы его, мы легко можемъ замѣтить, что стихи—извѣстнаго рода пѣніе, а проза—нѣчто въ родѣ простой бесѣды; что длинный alexandrinскій стихъ подымаетъ голосъ до ровнаго и

благороднаго выраженія, а краткая лирическая строфа еще болѣе восторженна и музыкальна; что мелкая рѣзкая фраза отличается или повелительнымъ, или, напротивъ, пласовымъ, игривымъ тономъ, а длинный періодъ такъ и пышетъ витѣватостью и величавой полнотою, — короче, что всякая стилистическая форма опредѣляетъ извѣстное состояніе души, — сдержку или напряженіе, порывъ или вялую небрежность, ясность или мракъ и муть, и что поэтому эффекты извѣстнаго положенія и данныхъ характеровъ умалются или возрастаютъ смотря потому, идутъ ли эффекты слога въ противоположномъ или въ одинаковомъ съ ними направленіи. Представьте себѣ, что Расинъ взялъ бы вдругъ слогъ Шекспира, а Шекспиръ—слогъ Расина; произведенія ихъ вышли бы тогда просто смѣшными или, скорѣе, изъ этого бы ровно ничего не вышло. Фраза XVIII вѣка, столь ясная, мѣрная, очищенная, складная, припоровленная къ дворскимъ разговорамъ, неспособна выразить натуру страсть, вспышки воображенія, неудержимую внутреннюю бурю, расходившуюся въ англійской драмѣ того времени. Съ другой стороны, фраза XVI вѣка—то запанибратская, то лирическая, крайне смѣлая, чрезмѣрная, шероховатая, безсвязная, была бы неумѣстна въ устахъ вѣжливыхъ, благовоспитанныхъ, совершенно-приличныхъ героевъ французской трагедіи. На мѣсто Расина и Шекспира у васъ вышли бы Драйденъ, Отвей, Дюисы, Казиміры Делавини. Такова сила и таковы условія стиля, или слога. Характеры, проявляясь въ драматическихъ положеніяхъ уму, проявляются чувствамъ только посредствомъ рѣчи, и общій, дружный ладъ трехъ указанныхъ нами силъ придаетъ всю выпуклость характеру. Чѣмъ болѣе художникъ умѣлъ распознать и свести въ своемъ созданіи къ одной цѣли многочисленныя эффектные элементы, тѣмъ болѣе выходитъ преобладающимъ освѣщаемый имъ характеръ; все искусство заключено въ двухъ словахъ: *проявлять сосредоточивалъ*.

Вы откроете подобное согласіе [элементовъ] въ сложномъ и многосоставномъ твореніи Шекспира, если обратите вниманіе на то, что, изображая цѣльнаго и полного человѣка, онъ долженъ былъ рядомъ съ самыми поэтическими стихами употреблять прозу самую повседневную, пускать въ ходъ всѣ контрасты слога для того, чтобы выставить поочередно всѣ высоты и низины человѣческой природы, плѣнительную нѣжность женскихъ характеровъ и неговорчивую рьяность мужскихъ, черствую грубость простолюдинскаго норова и перехитренную утонченность свѣтскихъ приличій, какую нибудь обыденную болтовню и рядомъ съ ней восторженный пылъ

необычайных потрясений, неожиданность мелких пошлых случаев и роковые удары не знающих никакой мѣры страстей *).

И. Тэнз.

(Чтенія объ искусствѣ etc.).

23. Эпическая поэзія.

Язык.—Періодъ до-историческій.

Въ самую раннюю эпоху своего бытія народъ имѣетъ уже всѣ главнѣйшія нравственныя основы своей національности въ языкѣ и міеологіи, которые состоятъ въ тѣснѣйшей связи съ поэзією, правомъ, съ обычаями и правами. Народъ не помнитъ, чтобъ когда нибудь изобрѣлъ онъ свою міеологію, свой языкъ, свои законы, обычаи и обряды. Всѣ эти національныя основы уже глубоко вошли въ его нравственное бытіе, какъ самая жизнь, пережитая имъ въ теченіе многих до-историческихъ вѣковъ, какъ прошедшее, на которомъ твердо покоится настоящій порядокъ вещей и все будущее развитіе жизни. Потому всѣ нравственныя идеи для народа эпохи первобытной составляютъ его священное преданіе, великую родную старину, святой завѣтъ предковъ потомкамъ.

Слово есть главное и самое естественное орудіе преданія. Къ нему, какъ къ средоточію, сходятся всѣ тончайшія нити родной старины, все великое и святое, все, чѣмъ крѣпится нравственная жизнь народа.

Начало поэтического творчества теряется въ темной, до-исторической глубинѣ, когда созидался самый языкъ; и происхожденіе языка есть первая, самая рѣшительная и блистательная попытка человѣческаго творчества. Слово—не условный знакъ для выраженія мысли, но художественный образъ, вызванный живѣйшимъ ощущеніемъ, которое природа и жизнь въ человѣкѣ возбудили. Творчество народной фантазіи непосредственно переходитъ отъ языка къ поэзіи. Религія есть та господствующая сила, которая даетъ самый рѣшительный толчекъ этому творчеству, и древнѣйшіе міеы, сопровождаемые обрядами, стоятъ на пути созиданія языка и поэзіи, объемлющей въ себѣ всѣ духовныя интересы народа.

Состоя въ неразрывной связи съ вѣрованьемъ, закономъ, нравствен-

*) Кромѣ Шекспира, Тэнзъ указываетъ на Софокла, Эсхила и Платона, Лафонтена, Боссюэта и Вольтера, Данте, Байрона, какъ на великихъ мастеровъ слова.

нымъ поученіемъ, съ обрядомъ и обычаемъ, первыя словесныя произведенія народа носить на себѣ характеръ религіозный и поучительный. Удовлетворяя, такъ сказать, теоретическому пониманію, они имѣютъ и практическое значеніе обряда. Эта цѣльность духовной жизни, отразившаяся въ словѣ, всего нагляднѣе опредѣляется и объясняется самимъ языкомъ; потому что въ немъ одними и тѣми же словами выражаются понятія: *говорить и думать, говорить и дѣлать; дѣлать, пить и чародѣйствовать; говорить и судить, рядить; говорить и пить; говорить и заклинять; спорить, драться и клясться; говорить, пить, чародѣйствовать и мчигъ; говорить, видѣть и знать; говорить и вѣдать, рѣшать, управлять*. Все это разнообразіе понятій, соединяемыхъ съ значеніемъ слова, подчиняется одному основному убѣжденію, глубоко-вкоренившемуся въ народѣ *).

Такимъ образомъ самъ языкъ, какъ древнѣйшій памятникъ до-исторической жизни народа, ясно свидѣтельствуетъ, что все разнообразіе нрав-

*) Изъ нѣсколькихъ прилѣповъ непосредственно слѣдующаго за этимъ разъясненія слѣдующимъ приводимъ слѣдующіе два:

1. *Говорить и мчигъ, ворожить, чародѣйствовать*. Отъ глагола *ба-ати* происходить *балій*, уже въ фрейзингенской рукописи употребляющееся въ значеніи врача, а потомъ это слово получило смыслъ колдуна; такъ въ «Азбуконикѣ» объясняется: «*балій*—ворожея, чаровникъ; *балство*—ворожба». И наоборотъ, корень *вѣд*, откуда происходитъ слово *вѣдма*, у Сербовъ получаетъ значеніе лѣченія: *видати*—лѣчить, *видар*—лѣкаръ, точно такъ, какъ отъ глагола *вѣщати*, то-есть говорить, у Сербовъ *вѣщати*—колдунъ и *вѣщатица*—колдунья, а у насъ, въ Вологодской губерніи, *вѣщати* уже лѣкарство. Точно такъ же и *ерач* у Сербовъ и Болгаръ получилъ смыслъ колдуна, предсказателя, какъ и у насъ въ старину *ерачевать*—значило колдовать; наконецъ *лѣкаръ* (отъ корня *лѣк*—значитъ лѣкарство), уже у Ульфила встрѣчающееся въ томъ же значеніи (*leikeis, lēkeis*) и распространившееся по всѣмъ, какъ нѣмецкимъ, такъ и славянскимъ, нарѣчіямъ, имѣетъ при себѣ и значеніе колдуна; такъ, напримѣръ, въ средне-верхненѣмецкомъ *lāchenaere*—колдунъ, *lāchenaerinne*—колдунья. Въ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ» докторамъ, то-есть лѣкарямъ, приписывается волшебство: «Ты поди, дохтуровъ добывай, *волхи* то спрашивать». Домострой предостерегаетъ отъ «волхвовъ съ корнемъ и зельемъ». По свидѣтельству Киприка, въ XII вѣкѣ матери носили больныхъ дѣтей къ волхвамъ на изцѣленіе.

2. *Поэзія*. Хотя древнѣйшая словесность всякаго народа имѣетъ характеръ по преимуществу поэтической, однако объимаетъ не одну только художественную дѣятельность, но бываетъ общимъ и нераздѣльнымъ выраженіемъ всѣхъ его понятій и убѣжденій. Потому поэзія получила въ языкѣ обширнѣйшее значеніе. Впервые, какъ *сказка* или *басня*, она называется отъ глаголовъ *сказывать, балти*, точно такъ, какъ санскритское—*гад*—говорить и напе «гадать» пере-

ственных интересов народа, въ первобытный періодъ его образованія, подчинялось стройному единству, потому что въ ту отдаленную пору человекъ, еще не думая отдѣлять своего личнаго сужденія отъ своихъ убѣжденій и привычекъ, не могъ положить рѣзкихъ границъ тѣмъ отдѣльнымъ силамъ и направленіямъ жизни, которыя теперь называемъ мы дѣятельностью умственной, художественною, закономъ и т. д. Въ ту эпоху важнѣйшимъ духовнымъ дѣтелемъ былъ языкъ. Въ образованіи и строеніи его оказывается не личное мышленіе одного человека, а творчество цѣлаго народа. По мѣрѣ образованія, народъ все болѣе нарушаетъ нераздѣльное сочетаніе слова съ мыслью, становится выше слова, употребляетъ его только

ходить въ литовское *gied-mi*, уже въ значеніи поемъ; греческое *επος*—сначала рѣчь, слово, и потомъ та *επη*—поэма, стихъ; нѣмецкое *saga, sage*—то же, что наша сказка; наконецъ у насъ, въ древнѣйшую эпоху, слово употреблялось въ значеніи греческаго *επος* и нѣмецкаго *sage*, что видно изъ самыхъ заглавій старинныхъ произведеній: *Слово о Полку Игоревѣ* и др. Вовторыхъ, такъ какъ слово и мысль въ языкѣ тождественны, то поэзія получаетъ названіе не только отъ слова, какъ внѣшняго выраженія сказанія, но и отъ мысли вообще: такъ отъ санскритскаго *man*—думать происходитъ существительное *мантра*—совѣтъ, слово, а потомъ гимнъ, священная пѣснь, какъ малороссійское *дума* употребляется въ смыслѣ пѣсни, отъ глагола думать. Втретьихъ, какъ слово есть вѣстѣ и дѣйствіе, поступокъ человека, такъ и поэзія получаетъ названіе отъ понятія о дѣлѣ: отъ санскритскаго *kri*—дѣлать—существительное *карман*—дѣло, а по латыни того же корня и того же образованія *carmen*—значить пѣснь; тоже и въ греческомъ языкѣ *ποίημα*, то есть стихотвореніе, отъ *ποιέω* дѣлаю. Вчетвертыхъ, въ языческія времена поэтъ почитался человекомъ знающимъ, мудрѣйшимъ, потому и назывался *эпикомъ*, а слѣдовательно былъ вѣстѣ и чародѣемъ, точно такъ, какъ прилагательное *эпическій* образуетъ отъ себя въ сербскомъ существительное *епископъ*—колдунъ. Какъ латинское *carmen* (корень *car*—, *-men* окончаніе), такъ и наше *чара*—одного происхожденія, отъ санскритскаго *kri*, другая форма котораго *чар*, потому что *k* и *c*, въ санскритѣ, какъ и у насъ—звуки родственные. Что же касается до вставки *a* въ формѣ *чар*, образовавшейся изъ *kri*, то она встрѣчается, по грамматическому закону, весьма часто.—Такой же переходъ понятій видимъ въ готскомъ *guta*, имѣющемъ въ финскомъ языкѣ значеніе пѣсни, а въ нѣмецкихъ нарѣчіяхъ значеніе тайны, загадки, чародѣйства. Впятыхъ, такъ какъ съ понятіемъ пѣсни соединяется и понятіе о музыкѣ, то славянское *гусла*, отъ глагола *гуду*, первоначально значить пѣснь, потомъ чарованіе, а наконецъ и языческая жертва и жертвоприношеніе, языческій обрядъ, въ готскомъ *huns*, англосаксонское и скандинавское *húsl*. Наконецъ, поэзія въ древнѣйшую эпоху была выраженіемъ не только мненія и языческаго обряда, но и судебного порядка; потому у Римлянъ *carmen* имѣло значеніе судебного изреченія, закона; точно такъ и славянское *эпица*, кромѣ чарованія и поэзіи, имѣло смыслъ и юридическій, какъ видимъ изъ чешской поэмы «Судъ Любуши».

какъ орудіе для передачи мысли и часто придаетъ ему иное значеніе, не столько соответствующее грамматическому его корню, сколько степени умственного и нравственнаго образованія своего. Вся область мышленія нашихъ предковъ ограничивалась языкомъ. Онъ былъ не внѣшнимъ только выраженіемъ, а существенною, составною частью той нераздѣльной нравственной дѣятельности цѣлаго народа, въ которой каждое лицо хотя и принимаетъ живое участіе, но не выступаетъ еще изъ сплошной массы цѣлаго народа. Тою же силою, какою творился языкъ, образовались и мифы народа, и его поэзія. Собственное имя города или какого-нибудь урочища приводило на память цѣлую сказку, сказка основывалась на преданіи, частью историческомъ, частью мифическомъ; мифъ отдѣлялся въ поэтическую форму пѣсни, пѣснь раздавалась на общественномъ торжествѣ, на пиру, на свадьбѣ или же на похоронахъ. Все шло своимъ чередомъ, какъ заведено было испоконъ-вѣку: та же рассказывалась сказка, та же пѣлась пѣсня и тѣми же словами, потому что изъ пѣсни слова не выкинешь; даже минутныя движенія сердца, радость и горе, выражались не столько личнымъ порывомъ страсти, сколько обычными изліяніями чувствъ—на свадьбѣ—въ пѣсняхъ свадебныхъ, на похоронахъ—въ причитаньяхъ, однажды навсегда сложенныхъ въ старину незапамятную и всегда повторявшихся почти безъ перемѣнъ. Отдѣльной личности не было исхода изъ такого сомкнутого круга.

Языкъ такъ сильно проникнутъ стариною, что даже отдѣльное реченіе могло возбуждать въ фантазіи народа цѣлый рядъ представленій, въ которыя онъ облачалъ свои понятія *). Потому внѣшняя форма была существен-

*) Изъ общпрной области баснословныхъ преданій остановимся на языческомъ върованіи въ стихіи, получившемъ какъ въ жизни, такъ и въ языкѣ столь широкій объемъ и важное значеніе.

Такъ какъ предметъ получаетъ названіе отъ впечатлѣнія, производимаго имъ на душу, то весьма естественно однимъ и тѣмъ же словомъ могли назваться: вѣтеръ, стрѣла и быстрая птица, потому что всѣ эти предметы производили быстрое впечатлѣніе... У Славянъ вѣтеръ назывался *стри*, откуда богъ вѣтра *стрибогъ*, того же корня и *стрѣла*—слово, образовавшееся отъ глагола *стригати*, черезъ прошедшую форму. Отсюда понятна эпическая форма въ «Словѣ о полку Игоревѣ»: «Се вѣтри, *стрибожи* внуци, вѣютъ съ моря *стрѣлами*». Такъ грамматическое производство согласуется съ мифическимъ повѣріемъ и эпическимъ преданіемъ. Въ своемъ причитаніи Ярославна самому вѣтру приписываетъ крылья, какъ птицѣ: «О вѣтре, вѣтрило! чему, господине, насильно вѣеши? Чему мычещи хивовскія стрѣлки на своєю нетрудною крыльцо на моея лады воп?»

ной частью эпической мысли, съ которой стояла она въ такомъ пераздѣльномъ единствѣ, что даже возникала и образовывалась въ одно и тоже время. Составленіе отдѣльнаго слова зависѣло отъ повѣрья; и повѣрье, въ свою очередь, поддерживалось словомъ, которому оно давало первоначальное происхожденіе. Столь очевидной, совершеннѣйшей гармоніи идеи съ формою исторіи литературы нигдѣ болѣе указать не можетъ.

Θ. Буслаевъ.

Историческіе Очерки etc. Т. I, стр. 1—10.

24. Эпическій періодъ жизни.—Поэтъ и народъ.

Въ старину преданіе замѣняло и школу, и науку. Подъ его благотворнымъ вліяніемъ протекала вся жизнь человѣка, отъ колыбели до могилы. Младенецъ, у груди своей матери, уже прислушивался и привыкалъ къ колыбельной пѣснѣ, которую, въ свою очередь, будетъ онъ пѣть и своимъ дѣтиямъ. Провожая усопшаго; сродники оплакивали его въ обычныхъ старинныхъ причитаніяхъ и знали навѣрно, что когда-нибудь и ихъ тѣми же словами и тѣмъ же напѣвомъ стануть провожать тѣ, кото-

крылатый образъ вѣтра есть не случайная прикраса въ слогѣ, но представленіе, основанное на естественномъ, первобытномъ сочетаніи впечатлѣній, производимыхъ быстротою вѣтра и птицы, и на потребности олицетворить въ видѣмъ образъ невидимую силу вѣтра.

Съ поклоненіями стихіямъ согласуется языческое преданіе о происхожденіи души. Въ языкахъ индоевропейскихъ душа, въ различныхъ своихъ проявленіяхъ, получаетъ названіе отъ воздуха, вѣтра, бури, холода, огня, пламени, крови, воды, волны, такъ что въ языкѣ эпическомъ, обыкновенно выражающемъ все отвлеченное въ осязательномъ образѣ, иногда весьма затруднительно отличить мифическое преданіе о душѣ отъ простой метафоры.

Различныя состоянія души получаютъ названіе то отъ бури, какъ скандинавское *ōdr*—духъ, умъ, а также и ярость, гнѣвъ; то отъ огня, какъ въ сербской поэзіи *живимъ огнемъ* называется гнѣвъ: «оставила сердце у матери, а живой огонь у братьевъ» (Вука *Ковчезъ*. 48), то отъ холода, какъ у насъ зазноба, или, какъ въ пѣсняхъ древней Эдды, холодъ вмѣсто злобы: «холодомъ мнѣ твои совѣты» (пѣснь о Волундѣ). Санскритскому *кун* сердиться и латинскому *сиріо*, у насъ соотвѣтствуетъ *кнѣтити* въ значеніи физическомъ, то есть кнѣтитъ, волноваться.

Язычники, породнивъ душу съ стихіями, не могли не сознать и въ душѣ той же великой силы, которая такъ страшна казалась имъ въ вихрѣ, огнѣ или водѣ, облеченная въ поэтическіе образы боговъ и существъ—сверхъ-естественныхъ.

рые переживутъ ихъ. Два крайніе возраста человѣческой жизни, старость и дѣтство, дружно встрѣчались на сказкѣ: поколѣніе отживающее передавало преданіе поколѣнію народившемуся. Старый рассказываетъ сказку и поучаетъ, малый слушаетъ и поучается. Одинъ припоминаетъ въ сказкѣ прошедшее, другой гадаетъ о будущемъ; содержаніе же самой сказки—подвиги богатырей, битвы и страхи, и послѣ всего желанный конецъ тревогамъ—женитьба на царевнѣ, съ пѣлымъ царствомъ въ приданое; идея сказки—та прекрасная середина человѣческаго вѣка, та бодрая возмужалость, которая для слушающаго дитяти еще не доступна, какъ отдаленное будущее, а для старика—рассказчика, какъ невозвратное прошлое, — тотъ идеалъ, который во всѣ вѣка уноситъ человѣка изъ дѣйствительности къ чему-то лучшему и совершеннѣйшему, и который въ сказкѣ такъ наивно сулитъ несбыточные диковинки.

Какъ у взрослыхъ свои думы и заботы, такъ у дѣтей игры и дѣтскія пѣсенки, въ которыхъ они ужъ умѣютъ обращаться къ свѣтиламъ небеснымъ и явленіямъ природы: «Солнышко ведрышко! просвѣти, прогляни! твои дѣтки плачутъ!» Или: «Дождикъ, дождикъ перестань!» и пр.

Вмѣстѣ съ возрастомъ накаплиются труды и печали, за то и утѣхи становятся существеннѣе и дороже. Сама природа позываетъ, чтобъ живущій пользовался жизнью; потому всѣ лучшія, свѣтлыя минуты сопровождалась игрою, пѣсней и радостями. Замѣчательно русское выраженіе: *играть пѣсню*, которымъ ясно высказывается, что поэзія есть игра жизни. Слово же *играть* имѣетъ при себѣ и значеніе блеска, свѣта, что видно изъ эпической формы: «Солнышко играетъ» — точно такъ, какъ санскритское *dīś* значить и свѣтить и играть, откуда *dies*, *dvees*, день, дивъ и пр. Игрою и пѣсней сопровождалъ человѣкъ всѣ важнѣйшіе труды свои: по веснѣ ли, когда выгонялъ въ поле стада и засеивалъ ниву, по осени ли, когда косилъ траву и зажиналъ хлѣбъ. За работой въ долгую зимнюю ночь еще чувствительнѣй была потребность пѣсни и сказки на рѣзвыхъ посидѣлкахъ. Поэзія служила какъ утѣхою въ трудѣ, такъ и забавою праздника; тогда-то особенно разыгрывалась досужая фантазія — и хоро-водъ и пѣсня сопровождали древній обычай, удержавшійся въ памяти, вмѣстѣ съ преданіями, отъ эпохи незапамятной. Потому, какъ выраженіе преданія, пѣсня и обрядъ были не только потѣхою и забавою, но и дѣломъ значительнымъ. Поэзія, которой обыкновенно посвящалось все праздное время, была надежнымъ хранителемъ чистоты мыслей и чувствъ, и

забавы поколѣнія молодого не казались противной новизною старикамъ, какъ это бываетъ въ эпохи, уже утратившія силу эпического преданія. Свѣтлыми взорами любовались старики на играющую молодую жизнь и болтливо вспоминали бывшее время, когда и ихъ забавляли тѣ же самыя игры, тѣ же пѣсни. Мало того: люди искусные и знающіе изъ нихъ сами, на старости лѣтъ, принимали участіе въ рѣзвыхъ играхъ молодежи, между прочимъ, съ тѣмъ, чтобы научить ее, какъ справлять веселый обрядъ по старинѣ и обычаю. И веселящаяся молодежь, въ свою очередь, состарѣется и будетъ руководить поколѣніе уже послѣдующее, какъ играть, пѣть и наслаждаться жизнью. Самое слово *жизнь* въ древнѣйшую эпоху заключало въ себѣ и понятіе о радости, что явствуетъ изъ стариннаго прилагательнаго *нежительный*, употреблявшагося въ значеніи *непріятнаго*. Но какъ жизнь состоитъ не изъ однихъ мирныхъ трудовъ да беззаботнаго досуга, такъ и самородная поэзія не въ однихъ только пѣсняхъ, пляскахъ да сказкахъ. Случаются болѣзни, неудачи, потери, затруднительныя обстоятельства. Конечно, въ бѣдѣ помогаетъ и умный совѣтъ, который уже самъ собою готовъ на устахъ въ старинной пословицѣ; но и совѣтъ иногда бываетъ вовсе бесполезенъ: часто оказывалась потребность въ дѣлѣ, въ чарующей силѣ слова, чтобы или снять съ сердца кручину, или отереть пропажу, оградить себя отъ ратнаго оружія, отомстить недругу и проч. И тѣмъ довѣрчивѣе свою судьбу предавалъ человекъ крѣпкому вѣщему слову, что въ его силѣ видѣлъ тѣ же преданія и повѣрья, которыя такъ были ему милы и дороги въ его играхъ и обычаяхъ.

Важнѣйшее событіе въ жизни, между двумя крайними ея предѣлами—между рожденіемъ и смертію—есть женитьба, и ни одинъ обрядъ столько не богатъ преданіями, повѣрьями и старинными пѣснями, какъ свадьба, на которой эпическая поэзія разыгрывалась во всемъ своемъ древнемъ разгулѣ, и какъ неизмѣнный, отъ періода мифическаго идущій обрядъ, и какъ досужая забава пирующихъ, и какъ вѣщая сила, ограждающая благо, жизнь и здоровье жениха и невесты...

Въ эпическій періодъ жизни, народный обычай имѣетъ такую власть надъ отдѣльной личностью, что она не только не можетъ создать пѣсню или сказку, какъ исключительное выраженіе своей частной жизни, но даже не имѣетъ надобности выдумывать отъ себя приличное привѣтствіе на пиру, въ знакъ доброжелательства собесѣдникамъ и хозяину. Потому

привѣтствія и заздравныя рѣчи искони ходили между народомъ въ установленной обычаемъ формѣ *).

При такой эпической обрядности, поэзія и поэтъ стояли въ иномъ отношеніи къ жизни, нежели теперь. Въ періодъ эпическій исключительно никто не былъ творцомъ ни мифа, ни сказанія, ни пѣсни. Поэтическое воодушевленіе принадлежало всѣмъ и каждому, какъ пословица, какъ юридическое изреченіе. Поэтомъ былъ цѣлый народъ; творилъ онъ поэтическія преданія въ продолженіе вѣковъ. Отдѣльныя же лица были не поэты, а только пѣвцы и рассказчики; они умѣли только вѣрнѣе и ловчѣе рассказывать или пѣть, что извѣстно было всякому. Если что и прибавлялъ отъ себя пѣвецъ-гений, то единственно потому, что въ немъ по преимуществу дѣйствовалъ тотъ поэтический духъ, которымъ проникнуть весь народъ; только это убѣжденіе давало ему силу творить, и только такое творчество было по сердцу его слушателямъ. Потому и въ этомъ случаѣ изобрѣтеніе басни, лицъ и событій—не принадлежало поэту. Преданіе, подобно языку, жило въ сознаніи всѣхъ и каждого; вѣками оно возрастало и обрабатывалось. Отдѣльному лицу, увлеченному въ своей жизни всѣмъ потокомъ преданій и повѣрій, трудно было, подобно новѣйшему художнику, отрѣшиться отъ нихъ въ минуту творчества и возсоздать въ изящной формѣ все то, что было въ нихъ прекраснаго. Въ эпическую эпоху рассказчикъ, или пѣвецъ, довольствовался немногими прибавленіями только въ подробностяхъ, при описаніи лица или событія, уже давно всѣмъ извѣстныхъ; онъ былъ свободенъ только въ выборѣ того, что казалось ему важнѣйшимъ въ народномъ сказаніи, что особенно могло тронуть сердце. Но и при свободѣ разсказа, поэтъ былъ неволенъ въ выборѣ словъ и выраженій. Въ самородномъ эпосѣ эпическая обрядность во всей силѣ господствуетъ въ повтореніи извѣстныхъ, обычныхъ выраженій; и сказанное о чемъ-нибудь однажды казалось столь удачнымъ, что уже никто не бралъ на себя труда выдумывать новое. Какъ бы по закону природной необходимости, наивная фантазія постоянно обращается къ тѣмъ же образамъ, выраженіямъ и цѣлымъ рѣчамъ. Искать удовольствія въ

*) Таково эпическое значеніе прекрасныхъ сербскихъ *здравницъ*, которыми пирующие сопровождаютъ заздравныя чаши. Напримѣръ: «за здоровье хозяина (или гостя, а также и всей родни его), за здоровье его стада широкаго и рала глубокаго, за здоровье его твердаго и високаго кнеса! Куда бы онъ и дѣти его ни пошли, вездѣ бы счастье нашли!» и пр.

развлеченія новостью и разнообразіемъ есть уже потребность позднѣйшая, порожденная искусственными заботами утонченной жизни. Какъ по содержанію, такъ и по формѣ, всякая народная поэзія, по мѣрѣ развитія жизни самого народа, разрасталась, въ сущности оставаясь неизмѣнною. Отдѣльный же поэтъ, пробуя свои силы на сказаніи, дошедшемъ до него, какъ и до всѣхъ, по преданію, только выяснялъ своимъ разсказомъ то, что было уже въ нѣдрахъ цѣлаго народа, но неясно и безсознательно. Понятно, что въ своемъ творчествѣ поэтъ легко терялъ собственную личность, исчезая въ эпической дѣятельности цѣлыхъ поколѣній.

Какъ пословица родится и отъ историческаго событія, такъ и пѣсня можетъ быть сложена по поводу какого-нибудь вновь представившагося случая. Къ такимъ пѣснямъ относится у насъ — о Ермакѣ, Отрепьевѣ, Скопинѣ-Шуйскомъ и другихъ. Трудно рѣшить, какъ образовывалось историческое сказаніе въ устахъ народа? по-крайней мѣрѣ ясно видно, что оно, болѣею частью, слагалось по горячимъ слѣдамъ, по-крайней мѣрѣ первые мотивы его относились къ той эпохѣ, которую оно описываетъ. Такъ въ «Древнихъ Русскихъ Стихотвореніяхъ» Скопинъ говорить о себѣ (281):

еще ли мнѣ славу поютъ до вѣку,
отъ стараго до малаго,
отъ малаго до вѣку моего.

Еще пѣвецъ Игоря повѣствуетъ о своемъ героѣ *по быминамъ сего времени*. Историческія пѣсни были только дальнѣйшимъ развитіемъ первобытнаго сказанія: пользуются онѣ старинными, испоконъ-вѣку употребляемыми приѣмами и тѣми же эпическими формами. Древнее сказаніе обыкновенно принимаетъ въ себя намеки на позднѣйшія историческія событія, и такимъ образомъ составляется одно преданіе, объемлющее нѣсколько вѣковъ: А такъ какъ эпосъ никогда не былъ спокоино-остановленнымъ, въ опредѣленную форму связаннымъ цѣлымъ, и такъ какъ въ немъ болѣе господствуетъ стремленіе къ движенію и переработкѣ, чѣмъ и поддерживается его существованіе въ продолженіе вѣковъ, при различныхъ условіяхъ жизни народной, то мы и находимъ въ немъ различные слои эпохъ, другъ на друга налагавшіеся, по мѣрѣ того, какъ онъ захватывалъ въ свое содержаніе важнѣйшія событія изъ жизни народа. Такъ, у насъ, въ одной и той же пѣснѣ являются и Владиміръ съ богатырями и татары.

Касательно личнаго характера пѣвцовъ, можно сказать только, что они отъ временъ Гомера у всѣхъ европейскихъ народовъ, по преимуществу,

были слѣпцы и нищіе. Впослѣдствіи, при нѣкоторомъ развитіи общественности, какъ въ романскихъ, такъ и въ нѣмецкихъ племенахъ, могло образоваться сословіе поэтовъ, но на краткое время; слѣпцы же поэты отъ временъ гомерическихъ не переводятся и доселѣ. Что они были и въ Германіи, свидѣтельствуетъ слѣдующій стихъ въ Титурелѣ: «So singent uns di blinden». Также въ одномъ нѣмецкомъ стихотвореніи 1343—1349 г. упоминаются слѣпцы, поющіе на улицѣ *). Въ простомъ быту эпическаго періода исключительнымъ пѣвцомъ могъ быть по преимуществу слѣпонецъ, потому что ему нечего болѣе дѣлать, какъ пѣть да разсказывать. У кого есть глаза, руки и ноги тотъ работаетъ: ему ужъ нельзя быть ни поэтомъ по профессіи, ни нищимъ, ибо и нищимъ былъ только тотъ, кто не могъ трудиться, то-есть слѣпой, старый, калѣка. Потому слѣпцомъ Сербы называютъ поэта, а Лужичане — нищаго. И у насъ въ старину слово *нищій*, вѣроятно, значило слѣпой, что видно изъ слѣдующаго мѣста въ стихахъ, изданныхъ Киреевскимъ (45, 34—35), гдѣ слово *нищета* употреблено въ смыслѣ слѣпоты: «(сохранай буйныя головы отъ боли, и ясныя очи отъ *нищеты*). Гудѣба, т. е. музыка, есть непремѣнная принадлежность сербскаго слѣпца: «кто послѣ слѣпнеть, лучше гудить», говоритъ Сербъ въ пословицѣ. Хотя и горько житіе слѣпому (слѣпонецъ, по сербской пословицѣ, плачетъ не о томъ, что онъ не взраченъ, а о томъ, что не видѣть блага свѣту), но заиграй онъ на гусяхъ — и счастливъ: «а ужъ коли не гудятъ мнѣ гусли», выражается онъ пословицею: «тогда не мило мнѣ, что я слѣпъ». Въ Бретани, гдѣ нищіе доселѣ пользуются нѣкоторымъ уваженіемъ, слѣпой пѣвецъ-нищій нерѣдко является на пиру зажиточнаго хозяина и почти всегда присутствуетъ на свадьбѣ, прославляя въ пѣсняхъ молодую, которая сама угощаетъ его *). И у насъ, какъ во времена гомерическія, пѣвецъ былъ *украшеніемъ мира*, что видимъ изъ окончанія одного древне-русскаго стихотворенія (283):

Еще намъ веселымъ молодцамъ на потѣшенье,
сидючи въ бесѣдѣ смренныя,
испиваючи медъ, зелено вино;
гдѣ-ко нинѣ пьемъ, тутъ и честь воздаемъ
тому боярину великому
и хозяину своему ласкову.

*) W. Grimm, Die deutsche Heldensage, 1829, стр. 173.

**) De la Villemarqué, Barzaz-breiz, 1846. Предисловіе, стр. XXXII.

Этимъ же древнимъ обычаемъ объясняется шутивая притявка, которую обыкновенно заключается сказка, кончившаяся веселымъ пиркомъ и свадьбою: «и я тамъ былъ, медъ, вино пилъ, но усамъ текло — въ ротъ не кануло».

Такимъ образомъ слѣпые старики сохраняютъ преданіе, потому что у нихъ ничего больше нѣтъ на землѣ для собереженія. Какъ шиллеровъ поэтъ, они, при раздѣлѣ земли, отмежевали себѣ вдохновеніе. Слепымъ пѣвецъ — вмѣстѣ и старикъ, а также и младенецъ, потому что, какъ дитя, онъ чуждъ жизни. Дѣйствительность, которой онъ не видитъ и которой пользоваться не имѣетъ средствъ, есть недосыгаемый для него идеалъ, вмѣстѣ и надежда и воспоминаніе, и потому весьма естественно украшаетъ онъ дѣйствительность въ великолѣпныхъ разсказахъ о сокровищахъ и богатыряхъ. А хозяинъ, слушая слѣпца, радушной милостынею платитъ за поэтическое наслажденіе и такимъ образомъ сопровождаетъ свое доброе дѣло не однимъ нравственнымъ утѣшеніемъ, но и художественною забавою.

В. Буславъ.

Историч. Оч. etc., т. I, стр. 44—55.

25. Общія законы историческаго движенія литературъ.

(По Вагнеру, Готшалю, Линингу, Каррьеру, Клейну и Роде)

Поэзія старше прозы. — Эпическія пѣсни, какъ первоначальная поэзія въ литературномъ смыслѣ. — Мифъ и сказка. — Животный эпосъ и басня. — Большая народная эпика. — Эпосъ, какъ первообразъ другихъ, позднѣйшихъ, формъ литературнаго творчества. — Эпосъ и лирика. — Эпосъ и драма. — Романъ, какъ эпосъ въ прозѣ. — Эпосъ и историческое повѣствованіе.

Три способности принимаютъ дѣятельное участіе въ актѣ литературнаго творчества: воображеніе, чувство и умъ. Въ первыя времена литературной исторіи, фантазія всегда преобладаетъ надъ другими психическими способностями человѣка. Никогда и нигдѣ умственная жизнь народа не начиналась съ отвлеченныхъ понятій и теоретическаго мышленія. Народъ всегда и вездѣ сначала облачаетъ свое міровоззрѣніе въ образы бо-

говъ и героевъ, въ повѣствованія объ ихъ подвигахъ и приключеніяхъ, слагая мифы и легенды, или сказанія. Народные герои этихъ первобытныхъ временъ являются посредствующимъ звеномъ, связующимъ народъ съ его богами. Народъ олицетворяетъ въ нихъ преобладающія стороны своего національнаго характера, дѣлаетъ ихъ носителями своей еще младенческой мысли и своего чувства, своихъ радостей и своего горя. — Мы изложимъ, въ главныхъ только чертахъ, послѣдовательное развитіе литературъ, насколько оно изслѣдовано путемъ сравнительнаго метода.

Мы знаемъ, напимѣръ, что вездѣ поэзія была старше прозы, поэтическое творчество старше теоретическаго. Человѣкъ началъ жить воображеніемъ и чувствомъ. Онъ не столько понималъ, сколько ощущалъ и чувствовалъ природу, сколько воображалъ о ней. Литературы всѣхъ народовъ начались съ поэзіи; проза развилась позднѣе, по мѣрѣ того, какъ вырабатывалась теоретическая мысль, провѣряя и разлагая первоначальную работу воображенія, давнія преданія, общепринятія вѣрованія и укоренившіяся представленія и понятія. Ритмическая, пѣвучая форма облегчала народу заучиваніе извѣстныхъ основныхъ положеній, въ которыхъ выражалась сущность его первобытныхъ вѣрованій, понятій и законовъ. И въ наше время еще живутъ народы, напр., сербы и литовцы, которыхъ поэзія несравненно богаче прозы, у которыхъ можно сказать, проза едва народилась. Сильное развитіе воображенія и чувства на счетъ отвлеченной мысли вполне объясняетъ это всеобъемлющее значеніе поэзіи на зарѣ народныхъ литературъ. Отсюда народное убѣжденіе, господствовавшее и на Востокѣ, и въ Греціи, у финновъ, скандинавовъ, германцевъ, что происхожденіе поэзіи и музыки совпадаетъ съ происхожденіемъ міра, что она впушена людямъ самими богами. Въ гомерическое время, поэзія и музыка были уже такъ тѣсно связаны между собою, что поэтъ былъ въ тоже время и пѣвцомъ. У Гомера они имѣютъ даже одно общее названіе: сочинять и пѣть, стихотвореніе и пѣсня, поэтъ и пѣвецъ носятъ одни и тѣ же названія: *ἀείδων*, *αοιδή*, *αοιδός*. Впослѣдствіи, когда поэзія и музыка уже стали различаться, эти выраженія употреблялись лишь о пѣніи, и только слово: *ὠδή* — ода, еще значило *пѣснь* въ смыслѣ особаго вида лирической поэзіи; для поэтического творчества были созданы иные выраженія: *ποίημα*, *ποίησις*, отъ которыхъ произошли наши слова: *поэма*, *поэзия*. Эти выраженія были рано усвоены римлянамъ, у которыхъ, впрочемъ, рядомъ съ ними держались и свои выраженія: *сапеге* — пѣть,

carmen—стихъ, vates—поэтъ. У древнихъ германцевъ актъ поэтического творчества выражается словами: *singen und sagen*, пѣть и сказывать. Эта связь пѣнія съ словомъ была у нихъ такъ неразрывна, что, по представлению древне-саксонскаго эпоса, («Спаситель») евангелисты сказывали и пѣли свои повѣствованія. Впоследствии, когда и германцы стали отличать музыку отъ поэзіи, къ послѣдней, предназначенной только для чтенія, примѣнялось уже только выраженіе *sagen*, а слово *singen*—къ поэзіи, сопровождаемой пѣніемъ. Стихотвореніе, сопровождавшееся пѣніемъ, получило названіе *sangs* или *liet* (строфа), а назначенное только для чтеній—*buoch* (книга). Слово *bard* не было древнѣйшимъ народнымъ выраженіемъ для понятія *поэтъ*; барды первоначально были только у галловъ (*bardi*—щитъ, бардъ—боевой пѣвецъ). Древнѣйшимъ германскимъ именемъ поэта было слово *scof*, отъ *schaffen*, творить, какъ *ποιητής* отъ *ποιέω*. У древнихъ скандинавовъ называли его *skald*, отъ *schelten*, бранить, по сатирическому характеру поэзіи. Употребительныя нынѣ пѣмецкія слова: *dichten*, *Dichter*, *Gedicht*, въ древне-немѣцкомъ *Tihten*, *tihtaere*, *gethte*, происходятъ отъ латинскаго *dictare*, *dicere*, а слово: *dictare*, въ средневѣковой латыни, значило писать, записывать, и употреблялось только въ примѣненіи къ написаннымъ произведеніямъ.

Итакъ, поэзія древнѣе прозы. Творчество человѣка въ области слова началось съ эпоса. Какъ ни близки человѣку собственныя впечатлѣнія и чувства, онъ началъ жить не личною жизнью. Въ одиночествѣ онъ безсиленъ совладать и съ окружающею природою, и съ враждебными ему вліяніями жизни. Онъ терялся въ родѣ, въ племени, въ цѣломъ народѣ. Прежде чѣмъ осѣсть на одномъ мѣстѣ и создать себѣ необходимыя условія національнаго существованія, онъ долженъ былъ кочевать и бороться, и притомъ не въ одиночествѣ, а въ массахъ. Столкновенія между цѣлыми народными массами составляли всегда содержаніе первоначальныхъ созданій народного творчества. Таково содержаніе гомерическихъ поэмъ, индійской «Магабгараты», и другихъ памятниковъ древнѣйшей народной поэзіи. У народовъ, конечно, могли быть болѣе или менѣе распространены сначала краткія ритмическія изреченія и молитвы, но онъ намъ не извѣстенъ, а если-бы и были извѣстны, то имѣли-бы для насъ больше археологическій, чѣмъ литературный интересъ. Эпосъ, какъ область творчества, въ которой сильно преобладаетъ воображеніе, вполне отвѣчалъ умственному уровню и духовнымъ потребностямъ народовъ, съ ихъ первобытно-

цѣльнымъ міровоззрѣніемъ, еще нетронутымъ теоретическою мыслию, еще не дававшимъ лицу возможности выдѣляться изъ общаго строя, изъ массы, которая была все. Оттого въ эпосѣ личность автора обыкновенно теряется въ народной массѣ, которая какъ-бы сама создаетъ свои эпические сказанія. Отсюда и народно-бытовой характеръ эпоса, отсюда и строго объективный характеръ его повѣствованій. Въ первобытной средѣ отдѣльное лицо еще не могло быть воспримчиво къ чисто личнымъ впечатлѣніямъ. Разлитое по всему міровоззрѣнію и быту народа религиозное чувство эпическихъ временъ, сильная вѣра въ чудесное, въ непрерывное влѣбательство божества во всѣ событія общественной и частной жизни, религиозно-нравственная окраска всего народнаго прошлаго и настоящаго, всей исторіи народа—вотъ преобладающія черты эпоса, этого народнаго сказанія, этой былинны, облеченныхъ въ поэтическую форму. Сказаніями начинается исторія всѣхъ народовъ, и народный эпосъ всегда получаетъ изъ нихъ свое содержаніе. Въ этомъ смыслѣ сказанія могутъ быть названы поэтическими начатками народной историографіи. Все религиозное и чудесное такъ сильно отвѣчаетъ тогда настроенію человѣка, что примѣшивается имъ и въ сказанія о событіяхъ недавнихъ или современныхъ. Фантазія, настроенная въ смыслѣ несвойственной намъ теперь склонности къ сверхъ-естественному и чудесному, создаетъ и мифы о богахъ, и сказанія о народномъ прошломъ. Олицетворяя силы природы въ прекрасныхъ человѣческихъ образахъ, населяя Олимпъ идеальными людьми, первобытный грекъ ежесекундно ставилъ свою судьбу въ зависимость отъ ихъ воли и могущества. Поэзія всегда была и будетъ созерцаніемъ идеально-прекраснаго въ реальныхъ формахъ дѣйствительности, а дѣйствительность эпическихъ временъ была такою, какою представлялась она уму и фантазіи первобытнаго человѣка. Сказанія о богахъ до того перевиты въ эпосѣ съ сказаніями о герояхъ, что отдѣлить въ немъ эти его двѣ стихіи совершенно невозможно. Боги низводятся фантазіею на степень героевъ, герои возвышаются на степень боговъ, и возникаютъ цѣлыя космогоніи и теогоніи, сказанія о началѣ міра, боговъ и людей въ связи съ народною исторіею.

Всякій народъ начинаетъ свою исторію съ религіознаго мифа въ повѣствовательной формѣ; на основаніи мифа слагаются сказанія; исторія въ критическомъ смыслѣ является тогда, когда на смѣну фантазій, ея образовъ и представленій, пробивается критическая мысль, обращенная къ изслѣдованію явленій жизни. Отъ мифическихъ и героическихъ сказаній

остается тогда въ народной жизни только сказка. Изъ мифовъ, говоритъ Вакерпателъ, улетучивается тогда все національное, все то, что дѣлало ихъ мифами именно такого-то народа; они сохраняютъ только черты общечеловѣческія. Такая переработка мифовъ служить для старой мифологіи самымъ лучшимъ средствомъ упрочить собѣ дальнѣйшее существованіе. Связанная прежде съ народною религіею, она должна была пасть передъ новыми, извнѣ пришедшими вѣрованіями; утративъ свой національный характеръ, сдѣлавшись общечеловѣческою, она подвергалась меньшей опасности: новая вѣра была также человѣческая, и съ нею можно было если не сродниться, то по крайней мѣрѣ, ужиться въ новой формѣ, добиться отъ нея терпимости. Таково происхожденіе всѣхъ сказокъ. Пока греки и римляне еще имѣли свои національныя сказанія, тѣсно связанныя съ греческими и римскими мифами, пока они вѣрили этимъ сказаніямъ, у нихъ едва-ли были еще и сказки; впоследствии, когда къ нимъ проникли другія языческія вѣрованія и, наконецъ, христіанство, ихъ мифы превратились въ сказки. Точно также и у германскихъ народовъ сказки явились съ того времени, какъ они приняли христіанство. Имена прежнихъ боговъ исчезли, какъ и все, что было исключительно германскаго въ ихъ мифологіи; но все общечеловѣческое, все, что выражало общія людямъ вѣрованія и суевѣрія, все это живетъ и понынѣ рядомъ съ христіанствомъ въ народной и дѣтской сказкѣ Германіи. Мы едва ли ошибемся, если припишемъ и русской сказкѣ такое же происхожденіе. Какъ и всякая другая, не-русская, сказка, она не только лишена національно-исторической основы, но и самаго отдаленнаго отношенія къ народной исторіи. То, о чемъ повѣствуетъ сказка, не отнесено, хотя бы произвольно, ни къ какому опредѣленному времени, ни къ какой опредѣленной мѣстности. Дѣйствующія въ ней лица и тѣ мѣста, гдѣ они дѣйствуютъ, обыкновенно не названы вовсе, а если и названы, то безъ всякаго историческаго основанія; лица носятъ общеупотребительныя, обычныя имена множества людей, или имена, несуществующія вовсе. Оттого и самое содержаніе сказки часто бываетъ такъ сходно у разныхъ народовъ.

Кромѣ мифа, былины и сказки, первоначальное эпическое міровоззрѣніе и настроеніе человѣка выразилось еще и въ такъ называемомъ «животномъ эпосѣ». Первобытный человѣкъ относился къ міру животныхъ съ религіозно-поэтической точки зрѣнія. Мифы и былины много рассказывали ему о добровольныхъ и невольныхъ превращеніяхъ боговъ и людей въ об-

разы животныхъ, и самая вѣра въ переселеніе душъ не могла не ставить первобытнаго человѣка въ особенное, таинственное отношеніе къ животному. Животныя внушали ему чувство, близкое къ страху, какъ нѣчто загадочное и таинственное; чувство это рано должно было изгладиться по отношенію къ прирученнымъ домашнимъ животнымъ; но сильные и хитрые звѣри лѣсовъ да непосѣдныя птицы долго внушали его народу. Имъ приписывали нѣчто высшее, чѣмъ животныя свойства; въ нихъ видѣли падшихъ людей, или существа столько же разумныя, какъ и человѣкъ, но языкъ которыхъ человѣку не понятенъ, или которыя сами не хотятъ входить въ общеніе съ ненавистнымъ человѣкомъ. Эзоповы басни, этотъ нравоучительный отпрыскъ древнѣйшаго «животнаго эпоса», часто начинаются словами: «въ то время, когда животныя еще говорили». Первобытная фантазія очеловѣчивала не только боговъ, но и животныхъ. Все представлялось ей эпически-оживленнымъ; приписывая боевые подвиги и любовныя похожденія своимъ богамъ, человѣкъ приписывалъ ихъ и животнымъ, давая имъ не видовыя названія волка, лисицы или медвѣдя, а собственныя имена Изегрима, Рейнгарда, Брауна или Мишки. Не заключая въ себѣ никакой исторической, и очень мало національной примѣси, животный эпосъ очень походилъ на сказку и легко перешелъ въ нравоучительную басню общаго содержанія.

Эпическій періодъ въ литературной жизни народовъ еще не знаетъ письма, по крайней мѣрѣ, еще не ощущаетъ потребности широко примѣнять его. Такъ было у грековъ, современниковъ Гомера, у галловъ времени Цезаря, у германцевъ времени Тацита и у древнихъ славянъ. Эпическія пѣсни передавались устно, сопровождаемыя пѣніемъ и игрою на струнномъ инструментѣ, а иногда и пляской. Въ виду общей народной потребности въ этомъ высшемъ украшеніи будничной жизни, мало-по-малу слагался у каждаго народа особый классъ людей, добывавшихъ свой хлѣбъ болѣе или менѣе искуснымъ исполненіемъ эпическихъ пѣсней и странствовавшихъ для этой цѣли. Пѣвцы исполняли пѣсни, переходившія изъ роду въ родъ, по преданію; они же слагали новыя или передѣлывали старыя. У славянъ кое-гдѣ сохранились они и доселѣ; у галловъ они назывались бардами. Гомеръ называетъ ихъ *αἰδοι*, Гезіодъ — *μεισιχαῖροι* по игрѣ ихъ на струнномъ инструментѣ; не рѣдко это были слѣпые.

Поэтому эпическій рассказъ не могъ быть длиненъ, не могъ превышать ни физическихъ силъ пѣвца, ни вниманія слушателей. Обстоятель-

ство это очень важно въ вопросѣ о происхожденіи крупныхъ памятниковъ эпическаго творчества, напр. «Иліады», «Одиссеи», «Нибелунговъ». Эпическія пѣсни славянъ, новыхъ грековъ, которыхъ поэзія и теперь еще не совсѣмъ изжила свое эпическое прошлое, такъ не велики, что каждая изъ нихъ легко можетъ быть исполнена пѣвцомъ, прослушана и понята слушателями. Отдѣльныя пѣсни, изъ которыхъ сложились «Нибелунги», были коротки; пѣснь объ Аресѣ и Афродитѣ, вложенная Гомеромъ въ уста Демодока, въ «Одиссеѣ», содержитъ не больше ста стиховъ. Также необходима была метрическая форма для устной передачи эпическихъ пѣсней, и притомъ простѣйшая, наиболѣе удобная для эпическаго повѣствованія. Такія формы естественно вырабатывались у разныхъ народовъ въ эпическое время ихъ литературы. Таковъ шестнадцати-слоговой стихъ древне-индійскаго эпоса, вактра; таковы греческій гекзаметръ и сатурнинскій стихъ римлянъ; таковы стихи германской, романской и славянской эпической поэзіи.

Съ теченіемъ времени, требованія, предъявляемыя слушателями къ эпической пѣснѣ, растутъ; ихъ вкусъ утончается; они относятся строже къ содержанію эпическихъ пѣсней, ищутъ въ нихъ большей полноты и большаго разнообразія. Этой потребности удовлетворяли въ Греціи рапсоды (отъ *ῥάπτεω*—слагать пѣсни). Изъ короткихъ эпическихъ пѣсней они слагали болѣе обширныя эпическія повѣствованія. Народный эпосъ, сложившійся въ эпопеи, всегда является выразителемъ вполне созрѣвшаго цѣльнаго міровоззрѣнія, охватившаго всѣ стороны народной жизни.

Онъ возможенъ въ такомъ видѣ только тогда, когда это міровоззрѣніе достигло своего полного развитія и цвѣта, когда, слѣдовательно, ему уже предстоитъ спускаться, а не подниматься. Мы хотимъ сказать, что большимъ народнымъ эпопеямъ всегда предшествуетъ долгій процессъ завоеванія и установленія тѣхъ условій, при которыхъ цѣльное міровоззрѣніе можетъ безпрепятственно слагаться, наступленіе затишья въ народной жизни послѣ борьбы и кровавыхъ столкновеній, дѣйствительные или воображаемые герои которыхъ являются героями народной эпопеи. Эпопею можно сравнить съ ясною погодой послѣ бури. Таковы были поэмы Гомера, повѣствующія о троянской войнѣ и странствованіяхъ одного изъ ея героев; таковы были «Нибелунги», повѣствующіе о переселеніи народовъ. Такова была отчасти и «Божественная комедія» Данта, отраженіе полного развитія католической идеи. Аоды пѣли свои пѣсни, сопровождая пѣніе звука-

ми струннаго инструмента; рапсоды произносили свои рассказы въ метрической формѣ, не сопровождая ихъ музыкой, потому что ихъ пѣсни стали разнообразнѣе и обширнѣе. Рапсоды уже вносятъ въ эпическое творчество болѣе своего, они самостоятельныя аодовъ. Между ходячими эпическими сказаніями одни особенно любимы народомъ, какъ болѣе близкія его характеру, болѣе отражающія его національныя свойства; другія теряютъ свое прежнее значеніе. Народная фантазія всегда приурочиваетъ все къ своимъ излюбленнымъ характерамъ и сюжетамъ; таковъ герой британской былины Артуръ, таковъ герой французской — Карлъ Великій, испанской — Сидъ, германской — Зигфридъ, таковы Ахиллъ и Одиссей греческой былины. Такъ сложились въ одно цѣлое разрозненныя прежде эпическія пѣсни въ обширныхъ эпопеи, «Иліада» и «Одиссея» въ Греціи, пѣснь о Ронсевальской битвѣ во Франціи, «Нибелунги» въ Германіи и т. п. Для такихъ крупныхъ эпопей требовалась уже значительная степень искусства и поэтическаго вдохновенія. Цѣлая эпопея слагалась изъ матеріала вовсе къ тому не подготовленнаго, изъ эпическихъ пѣсней, составлявшихъ каждая нѣчто законченное; надо было вносить въ нее то, что когда либо рассказывалось и пѣвалось о томъ или другомъ героѣ, и по возможности представить все это въ одной общей картинѣ. Ни «Иліада» и «Одиссея», ни большія эпическія поэмы новыхъ народовъ, конечно, не дошли до насъ въ первоначальномъ своемъ видѣ. Критическія изслѣдованія открыли въ нихъ несомнѣнныя позднѣйшія передѣлки и прибавленія. Но господствовавшее до сихъ поръ мнѣніе, что эти поэмы были только результатомъ механической приставки одной древней пѣсни къ другой, оспаривается въ наше время многими знатоками эпоса. Теорія возникновенія древнихъ эпическихъ поэмъ изъ отдѣльных, разрозненныхъ пѣсней, созданная блестящими работами Вольфа надъ гомерическими поэмами и Лахмана надъ «Нибелунгами», утратила теперь свое исключительное господство.

Такимъ образомъ самостоятельность поэта стала все болѣе и болѣе выдѣляться въ процессѣ литературнаго творчества. Народное сказаніе уже начинало служить для нея только матеріаломъ. Когда греки уже имѣли «Иліаду» и «Одиссею», французы — поэму о Ронсевальской битвѣ, новыя эпопеи стали слагаться во множествѣ, основанныя, правда, на старыхъ мифахъ и былинахъ, въ старыхъ формахъ языка и метра, но уже не на основаніи однихъ только старыхъ пѣсней; привычная народу фабула излага-

лась болѣе самостоятельно, получала новую обработку. Таковы были эпические поэты Греціи послѣ Гомера, которыхъ называютъ «кикликами», потому что произведенія ихъ обнимали весь циклъ, всю область мифа и былинны. Къ Гомеру и къ кикликамъ применили впоследствии представители римскаго искусственнаго эпоса: Энній, Виргилій и другіе. Французы уже въ двѣнадцатомъ вѣкѣ имѣли много такихъ эпическихъ произведеній, перешедшихъ потомъ въ Германію. Личность автора, его субъективный, внутренний міръ все болѣе и болѣе вступали въ свои права. Онъ сталъ вносить въ свои эпическіе рассказы шутку и сатиру, сталъ слагать свои произведенія уже не для устнаго пересказа только, но и для чтенія. И по мѣрѣ того, какъ міръ эпическихъ представленій отходилъ въ прошлое въ общемъ историческомъ процессѣ народнаго развитія, эпическій рассказъ сталъ переходить въ историческое повѣствованіе, въ лѣтопись. Унадохъ эпической поэзіи вездѣ сопровождался появленіемъ лѣтописей, хроникъ, біографій, сначала въ стихотворной, даже рифмованной формѣ, потомъ и въ прозѣ. Разумѣется, и въ этихъ новыхъ литературныхъ явленіяхъ долго еще продолжали держаться эпическіе приемы и слѣды эпическихъ преданій. Историческое повѣствованіе, или исторіографія, на первыхъ порахъ еще не умѣетъ различать исторію отъ сказаній; но по мѣрѣ того, какъ критическіе приемы ума выдѣляютъ исторію изъ области поэтическаго творчества и фантазіи, нарождается новый родъ эпической литературы — лѣтопись, и новый родъ эпической поэзіи, эпосъ въ прозѣ — романъ.

Эпосъ такъ тѣсно связанъ съ первобытными народными понятіями и вѣрованіями, онъ въ такой степени дитя народной фантазіи, отыскивающей чудесное даже въ обыденныхъ явленіяхъ жизни, что попытки возстановить его искусственно въ иные времена не могли быть успѣшны. Невозможность искусственно вдохнуть жизнь въ изыщную, но уже мертвую форму мифологическаго эпоса была понятна еще древнимъ въ такъ называемый александрійскій періодъ греческой литературы. Съ желчью и остроуміемъ относились тогдашніе критики къ попыткамъ Аполлонія Родоскаго воскресить эпопею первобытныхъ временъ. Эти попытки точно такъ же не удавались тогдашнимъ поэтамъ, какъ не удались они въ новыя времена. Подражалъ древнимъ эпикамъ, всегда почерпавшимъ свои сюжеты изъ сказаній, которымъ глубоко, искренно вѣрили нѣкогда и народы, и самъ пѣвецъ или поэтъ, позднѣйшіе эпики тоже наполняли свои произведенія высшими, неземными существами, почерпнутыми изъ языческихъ

вѣрованій и суевѣрій или созданныхъ собственною фантазіей. Эпики 17-го и 18-го столѣтій примѣшивали въ свои произведенія греческихъ боговъ и богинь; Виландъ пытался оживить древне-германскихъ фей и эльфовъ; Мильтонъ въ своемъ «Потерянномъ Раѣ» и Клопштокъ въ «Мессіадѣ» представили ангеловъ и бѣсовъ, произвольно раздѣленныхъ на ранги помимо всякаго библейскаго и церковнаго авторитета; Вольтеръ въ своей «Генриадѣ» вывелъ на сцену олицетворенныя добродѣтели и пороки. Они думали создать такимъ образомъ дѣйствительно эпическія произведенія и, разумѣется, впади въ грубую ошибку. Когда греки и римляне повѣствовали о своихъ богахъ, когда люди среднихъ вѣковъ рассказывали о феяхъ и эльфахъ, они обращались къ вѣрующимъ слушателямъ или читателямъ; образы боговъ и таинственныхъ духовъ были для нихъ публики живыми, реальными образами, точно такъ же подлежащими художественному воспроизведенію, какъ и самъ человѣкъ, на котораго эти боги или духи дѣйствовали благотворно или непріязненно. Но публика послѣднихъ вѣковъ уже не вѣритъ ни въ Юпитера, ни въ фей; вольтеровы олицетворенія добродѣтелей и пороковъ никогда и нигдѣ не имѣли реального существованія. Читателямъ приходится тутъ имѣть дѣло съ образами, въ которые они не вѣрятъ, въ которые совсѣмъ или почти не вѣрятъ сами поэты. Отсюда неудача всѣхъ подобныхъ попытокъ. У насъ нѣтъ теперь ни мифологіи, ни цикла сказаній, способныхъ дать эпосу жизнь и содержаніе, и мы не можемъ искусственно довольствоваться тѣми представленіями и образами, которые въ свое время такъ много говорили воображенію, сердцу и уму нашихъ предковъ. Оттого ни одинъ изъ новыхъ эпиковъ не былъ въ такой степени народнымъ поэтомъ, какъ Гомеръ. Только Дантъ приблизился къ нему въ этомъ отношеніи, изобразивъ въ «Божественной Комедіи» нравственное величіе и пластическую красоту католицизма. Но блестящій успѣхъ, съ какимъ исполнилъ свою художественную работу великій итальянскій поэтъ тринадцатаго вѣка, объясняется не только силою его таланта, но и тѣмъ временемъ, когда онъ жилъ. Въ наше время та же задача не могла бы быть исполнена и первокласснымъ талантомъ съ такою глубиной и искренностью мысли и чувства, съ такимъ художественнымъ совершенствомъ.

Эстетическія потребности растутъ съ общимъ ростомъ народной мысли и жизни. Простая эпическая простота уступаетъ мѣсто болѣе сложнымъ задачамъ и приемамъ литературнаго творчества. Не ограничиваясь

спокойнымъ, объективнымъ созерцаніемъ вѣшняго міра и данной общественной среды, человѣкъ начинаетъ углубляться въ себя, въ свой внутренний міръ; онъ, такъ сказать, обособляется. Переходя своею историческою стороною въ повѣствованіе, въ исторію и романъ, эпическая поэзія съ раннихъ временъ имѣла и другую, собственно лирическую сторону. Въ Греціи, напр., еще до гомерическихъ поэмъ, пѣлись гимны бѣ богамъ и трены по умершимъ. Лирическіе эпизоды этого рода вошли такъ же въ составъ греческой эпопеи. Таковы, между прочимъ, жалобныя пѣсни Андромахи, Гекубы и Елены надъ трупомъ Гектора, въ «Иліадѣ»; таковы молитвы Одиссея и другія въ обѣихъ гомерическихъ поэмахъ. Этотъ слабый лирическій элементъ эпической поэзіи широко разросся потомъ въ отдѣльный самостоятельный видъ литературнаго творчества. Чѣмъ больше теряла подъ собою поэзія эпическую почву, чѣмъ больше становилась она дѣломъ личнаго таланта и вдохновенія, тѣмъ больше усиливался въ ней лирическій элементъ. Греческіе пѣанъ и диоирамбъ, сначала повѣествовавшіе о двухъ славимыхъ ими богахъ, Аполлонѣ и Діонисѣ, превратились въ чисто-лирическія пѣсни радости и страстнаго воодушевленія. То, чѣмъ были трены у грековъ, были у римлянъ нѣни; евреи имѣли тоже свои пѣсни въ этомъ родѣ. Исполненіе этихъ пѣсенъ было и у евреевъ эпическое: оно сопровождалось звуками струннаго инструмента и пляской. И теперь еще мы видимъ народы, у которыхъ нѣтъ собственно лирики, а есть только эпическія и лирико-эпическія пѣсни. Первые повѣствуютъ о событіяхъ вѣшнихъ; вторымъ эти событія служатъ только мотивомъ къ лирическому настроенію. Таковы литовцы и сербы. У германцевъ половины двѣнадцатаго вѣка, когда чистый эпосъ угасъ, а лирика еще не достигла своего цвѣта, тоже появились пѣсни въ родѣ нынѣшнихъ сербскихъ, эпическія по формѣ, лирическія по характеру, изъ которыхъ въ концѣ того же столѣтія выработались и чистая лирика, и народная пѣсня. Народная пѣсня, какъ и пѣсни эпическія, не знаетъ авторовъ; она, какъ общее достояніе, тоже является безыменнымъ созданіемъ всего народа, измѣнялась съ теченіемъ времени подъ вліяніемъ мѣстныхъ обстоятельствъ и, подобно эпосу, всегда сопровождается пѣніемъ. Въ Англіи такая лирико-эпическая пѣсня называется ballad, собственно плясовая пѣснь, тоже что провансальская balada и итальянская ballata, прямо указывающія на первоначальную связь поэзіи, музыки и пляски. Въ Испаніи та же полу-эпическая пѣсня носитъ, какъ и чисто-эпическая, имя романа. Romance, романзо, назы-

валось первоначально у романскихъ народовъ всякое стихотвореніе на народномъ языкѣ, въ противоположность латинскому. Испанцы перенесли это названіе на народные эпико-лирическія стихотворенія и на самый размѣръ ихъ—двухъ и трехъ-стопный трохей. Какъ въ англійской балладѣ, такъ и въ испанскомъ полу-эпическомъ романсѣ, лирическій элементъ, внесенный въ эпическое повѣствованіе, сказывается въ личныхъ мнѣніяхъ, чувствахъ и впечатлѣніяхъ еще не автора, а дѣйствующихъ лицъ баллады или романа. Поэтъ еще продолжаетъ эпически сдерживаться за своимъ повѣствованіемъ; но лирика уже пробивается наружу сквозь привычную форму эпическаго разсказа.

Изъ эпоса, какъ изъ плодотворнаго зерна, съ теченіемъ времени всегда и вездѣ выдѣлялись новыя отпрыски поэтическаго творчества. Описательный его характеръ перешелъ въ поученіе и дидактику, когда чистый эпосъ пересталъ удовлетворять непрерывно развивающуюся общественную среду. Диктатическій характеръ эпоса въ періодъ его упадка породилъ нѣсколько новыхъ видовъ литературнаго творчества. Идиллія, басня, параболы, или притча, пословица и сатира, въ которыя входятъ и повѣствованіе и поученіе, выдѣлились изъ разлагавшагося эпоса, какъ литературныя формы, способныя пережить его и еще имѣющія будущность. Мы не можемъ, не выходя изъ предѣловъ нашей задачи, вдаваться въ подробности этого любопытнаго историческаго процесса. Мы предполагаемъ уже извѣстными значеніе идилліи, эпиграммы, параболы и т. п., и остановимся на одномъ только примѣрѣ, съ особенной наглядностью поясняющемъ этотъ естественный процессъ. Такъ называемый животный эпосъ устарѣлъ раньше другихъ видовъ эпической поэзіи. Люди рано должны были утратить вѣру въ реальность фантастическихъ похощеній, приписанныхъ ими животнымъ. Но литературная форма была уже создана, и она сохранилась только какъ форма, какъ оболочка, пригодная для другого содержанія. Въ нее стали облекать поученіе, плодъ житейскаго опыта, и правила морали, и нѣкогда чисто повѣствовательный животный эпосъ превратился въ нравоучительную басню. Точно также имѣетъ свои корни въ эпосѣ и пословица. Пословицы всегда присущи эпическому элементу, она тѣмъ ярче изображаетъ какое-нибудь конкретное явленіе, что объемъ ея чрезвычайно сжатъ и малъ. Ее, въ этомъ отношеніи, можно назвать микроскопическою басней.

На первобытныхъ ступеняхъ образованности, человѣкъ относится къ

окружающей его действительности повѣствовательно, и потому объективно. Онъ весь принадлежитъ развитому въ народѣ цѣльному міровоззрѣнію, онъ только повѣствуетъ о томъ, что живетъ въ народной памяти, какъ священный мѣлъ, какъ дорогое, заветное историческое преданіе, ему чужда мысль о возможности какой-нибудь розни между народнымъ чувствомъ и его личными впечатлѣніями. Ему незнакомо двойное отношеніе къ действительности: описательное и субъективное. Онъ воспроизводитъ действительность въ томъ видѣ, въ какомъ находитъ ее готовою, для всѣхъ безсиорно привлекательною, поэтически украшенною творчествомъ народной фантазіи. Но остановиться на этой ступени онъ не могъ. Естественный процессъ умственного и художественнаго роста долженъ былъ привести его къ воспроизведенію своего внутренняго міра, тѣхъ впечатлѣній, которыя вызываются действительностью въ его душѣ. Лирический элементъ, какъ мы видѣли, мало по малу сталъ проникать въ эпическое повѣствованіе. Такимъ образомъ поэтическая форма для лирики была уже готова. Когда эпическія повѣствованія давно уже перестали сопровождаться пѣніемъ, когда они только пересказывались и читались, у всѣхъ народовъ лирическія пѣсни все еще пѣлись, и пѣлись очень долго—до самаго изобрѣтенія книгопечатанія въ Германіи, которое въ значительной степени упразднило необходимость устной передачи поэтическихъ произведеній. Пѣніе всегда сопровождалось, какъ мы видѣли, звуками струннаго инструмента, въ среднія вѣка—арфы, скрипки и тому подобное, у древнихъ грековъ большею частью звуками лиры, какъ инструмента болѣе совершеннаго, чѣмъ эпическая гитара, и потому ее замѣнившая. Отъ греческой *λύρα* и происходитъ самое названіе лирической поэзіи. Но съ пѣніемъ и звуками струннаго инструмента могли быть исполняемы только относительно небольшія пѣсни. Въ наше время лирическія произведенія, конечно, читаются, а не поются, но они, тѣмъ не менѣе сохранили ту метрическую форму, которую лирика унаслѣдовала отъ эпической поэзіи, и которой она, по самому своему характеру, должна была придать больше разнообразія и подвижности. Въ переходныя эпохи отъ эпоса къ лирикѣ, еще преобладаетъ эпическій элементъ; о томъ или другомъ событіи еще повѣствуется, какъ о событіи прошломъ, какъ, напр., въ древне-греческомъ гимнѣ и нѣмецкой пѣснѣ двѣнадцатаго вѣка; но затѣмъ предметомъ лирико-эпическаго повѣствованія являются уже событія современные, близко знакомыя автору и принимаемыя имъ къ сердцу, какъ, напр., въ

іонійской элегіи, которая—замѣтимъ кстати—вовсе не имѣла того заунывнаго характера, какой былъ приданъ ей впоследствии, и въ дорійской хоровой лирикѣ. Во всѣхъ этихъ формахъ литературнаго творчества, авторъ еще продолжаетъ говорить какъ будто не отъ себя, какъ будто изъ народа. Но въ Греціи въ это время уже самый народъ, какъ и эпическое его міровоззрѣніе, пересталъ быть цѣльнымъ эллинскимъ народомъ, и распадался на племенные, такъ сказать индивидуальныя особи—племена, замѣнявшія, каждая своимъ особымъ говоромъ, прежній общій языкъ народнаго эпоса. Въ богатой исторіи греческой литературы, этомъ прототипѣ литературной исторіи народовъ, мы имѣемъ лирику іонійскую, дорійскую, эолійскую.

Такъ выдѣлились изъ эпоса, или выросли на его обломкахъ, новыя формы литературнаго творчества: у грековъ элегія, лирическая эпиграмма, которую нельзя смѣшивать съ нашей, сатирической, ода и вообще національная лирика, представителемъ которой былъ у нихъ Пиндаръ; у новыхъ народовъ—итальянскій сонетъ, провансальская, французская и нѣмецкая лирика среднихъ вѣковъ, испанскій романсъ, сѣверная баллада, духовная и народная пѣсня. На развалинахъ дидактическаго эпоса пустила корни такъ-называемая правоучительная лирика, лирика разсудка, этой наименѣе поэтической изъ творческихъ способностей человѣка, но освѣжающей умы своимъ сатирическимъ отношеніемъ къ безобразнымъ явленіямъ действительности. Такова греческая сатира Архилоха, такова въ особенности римская сатирическая эпиграмма; таковы средневѣковыя правоучительныя изреченія въ метрической формѣ и наша современная сатирическая эпиграмма.

Въ древнемъ мірѣ у однихъ только грековъ чистая лирика достигла своего высшаго художественнаго разцвѣта. Историческій процессъ развитія ихъ литературы совершился съ рѣдкою послѣдовательностью и правильною. За эпическою поэзіею, которая была общимъ достояніемъ эллинскаго народа, хотя и особенно процвѣтала у іонійцевъ, слѣдовала эпическая лирика: элегія у іонійцевъ, хоровая пѣсня у дорійцевъ; позднѣе разцвѣла чистая лирика, свободная отъ эпическихъ мотивовъ и отрѣшенная отъ всякой національности,—лирика эолійцевъ, въ которой настроеніе поэта, уже вполне свободнаго и самостоятельнаго, создаетъ новыя мотивы и новыя формы стиха. Подобный историческій процессъ пережили и новыя литературы, хотя и не съ такою рельефною послѣдовательностью,

какъ литература древнихъ грековъ. И у новыхъ народовъ чистой лирики, какъ мы уже сказали, долгое время предшествовали переходныя, смѣшанныя формы, среднія между эпосомъ и лирикой. И у нихъ чистая лирика была плодомъ осложненія простѣйшихъ первоначальныхъ формъ политическаго обществѣ, живаго интереса не къ прошедшему только, но и къ настоящему, не къ внѣшнимъ только событіямъ, но и къ внутреннему міру человѣка, плодомъ сознанія правъ личности въ дѣлѣ литературнаго творчества, созданіемъ новой фазы общественнаго развитія. Понятно, что и содержаніе лирики гораздо сложнѣе и разнообразнѣе содержанія эпоса. Всякое явленіе жизни, всякое событіе, какъ и всевозможныя положенія человѣка, вызываютъ въ поэтической душѣ лирика неизчерпаемое богатство мыслей и ощущеній. И если эпосъ отжилъ свое время, если народы, достигшіе известной степени развитія, уже не могутъ болѣе возвратиться къ этой первоначальной формѣ литературнаго творчества, предполагающей давно пережитое ими пѣльное, эпическое, мировоззрѣніе, то лирика, способная отзываться на разнообразнѣйшія явленія дѣйствительности, обнимающая, какъ и человѣческое сердце, всѣ задачи и стороны жизни, поскольку онѣ отражаются въ душѣ поэта, остается и навсегда останется столько же современнымъ родомъ литературнаго творчества, сколько она была современна Анакреону или Сафо. Ея содержаніе и формы могутъ измѣняться, согласно духу времени; но пока человѣкъ остается человѣкомъ, пока онъ способенъ къ поэтическому творчеству, лирика всегда сохранить свой основной характеръ, вытекающій прямо изъ глубины его природы.

Народный эпосъ былъ поэтическимъ родоначальникомъ не только лирики, онъ былъ и родоначальникомъ драмы. Въ драмѣ (δράμα—дѣйствіе) лирическое чувство переходитъ въ дѣйствіе, въ борьбу страстей, характеровъ, положеній, идей. Ей уже доступны высшія задачи человѣческой жизни, вопросъ объ относительной свободѣ или необходимости воли и дѣйствій человѣка. Она уже не можетъ, какъ это дѣлалъ эпосъ, воспроизводить нечеловѣческія силы и страсти: она знаетъ только человѣка и отраженіе на немъ, на его внутренней жизни и дѣйствіяхъ, всѣхъ вліяній данной дѣйствительности. Драма представляетъ такое органическое сочетаніе явленій внѣшняго и внутренняго міра, эпическихъ событій и лирическихъ ощущеній, которое не возможно безъ предварительнаго высокаго развитія эпоса и лирики. Эта простая истина неопровержимо доказана

теперь и историческими данными. Древнѣйшая драма—греческая—выработалась изъ дионрамба—торжественной хвалебной пѣсни въ честь Діониса, повѣствовавшей о дѣлахъ, страданіяхъ и чудесахъ этого божества, выражавшей то восторженную радость, то страданіе и жалобу. То была страстная пѣснь, увлекавшая своимъ бурнымъ одушевленіемъ. Какъ и всѣ религиозно-торжественныя пѣсни, она исполнялась народнымъ хоромъ, который съ пѣніемъ и пляской обходилъ алтарь Діониса. При этомъ было въ обычаѣ переодѣванье: пѣвцы, составлявшіе хоръ, одѣвались въ козлиныя шкуры, чтобъ имѣть видъ сатировъ, спутниковъ воспѣваемаго божества. Во главѣ хора стоялъ запѣвало, сначала ничѣмъ другимъ не отличавшійся отъ хора; но впоследствии роли раздѣлились: онъ сталъ представителемъ эпическаго повѣствованія о божествѣ, рассказывалъ дѣла и страданія божества, а хоръ, какъ представитель лирическаго чувства, сопровождалъ его рассказъ пляской и мимикой и прерывалъ его хвалебнымъ пѣніемъ. Дионрамбъ получилъ затѣмъ болѣе разнообразное содержаніе: повѣствовательная часть его не остановилась на одномъ Діонисѣ, въ нее вошли и другіе мифы и сказанія. Очень ясныя слѣды своего эпическаго происхожденія сохранила также древне-индійская драма. Описательныя части ея нерѣдко поражаютъ и утомляютъ своею обстоятельною подробностью.

Таковы были первые начатки драматическаго искусства, прямо вытекшіе изъ соединенія эпоса съ лирикой. Дальнѣйшимъ усовершенствованіемъ въ Греціи было введеніе настоящей разговорной формы, сначала между главою хора и самимъ хоромъ, а потомъ и между главою хора и другими, введенными въ драму, лицами. А это послѣднее нововведеніе совершилось тогда, когда эпосъ перешелъ въ историческое повѣствованіе прозой, а чистая лирика эолийцевъ уже давно достигла своего роскошнаго развитія, когда литературное творчество грека, по остроумному замѣчанію Вакернателя, искало новыхъ путей и формъ. Историческое происхожденіе драмы изъ дионрамба оставило по себѣ надолго глубокой слѣдъ въ самомъ составѣ и въ формѣ греческой драмы. Хоръ продолжалъ держаться въ ней болѣе по преданію, чѣмъ по внутренней необходимости его для самой драмы, и аттическая драма, требуя діалога на аттическомъ нарѣчій, сохранила хору его первоначальную дорійскую рѣчь.

Точно такъ же произошла драма и у новыхъ народовъ. И у нихъ драматическая форма рѣчи была отчасти подготовлена эпическимъ повѣ-

ствованіемъ съ примѣсю діалога, разговора. И у нихъ начатки драматическаго творчества появились тогда, когда уже началось развитіе лирики въ формѣ полу-эпическихъ, полу-лирическихъ пѣсень. Но пора настоящей драмы пришла поздно, когда лирика была уже въ полномъ цвѣтѣ. Эпическая почва, на которой выросла драма новыхъ народовъ, была хотя и не чисто національная, какъ у грековъ, но все же, какъ и у нихъ, религіозная, разумѣется, со всеми особенностями мѣста и времени, — съ крайнимъ преобладаніемъ церковнаго элемента и съ латинскою рѣчью вмѣсто роднаго языка. Страданія и воскресеніе Спасителя изображались въ лицахъ въ соотвѣтственные церковные дни. Таковы были средневѣковыя мистеріи, перешедшія потомъ и къ намъ, въ московское государство. Церкви, города и села принимали въ нихъ живѣйшее участіе. На первыхъ порахъ, въ двѣнадцатомъ и тринадцатомъ столѣтіяхъ, начатки драмы представляютъ еще грубое, совсѣмъ необработанное, механическое смѣшеніе эпикки и лирики. Дальнѣйшая исторія новой драмы была только развитіемъ этихъ первоначальныхъ лирико-эпическихъ задатковъ.

Драма, какъ извѣстно, распадается на два главныхъ вида, подъ которые могутъ быть подведены всѣ драматическія произведенія литературы: трагедію и комедію. И оба эти вида имѣли одинаковое происхожденіе. Разнообразіе міоовъ о Діонисѣ въ разное время и у разныхъ племенъ сообщило и его культу-разнообразный характеръ. Онъ представлялся греку то веселымъ, радующимъ божествомъ виноградарей и пастуховъ, то существомъ сумрачнымъ, страдающимъ, терзаемымъ титанами. Трагедіей (τραγῳδία, пѣснь при закланіи козла) собственно назывался диониромбъ, потому что съ торжественнымъ поклоненіемъ Діонису всегда соединялось закланіе козла; сначала, какъ мы уже замѣтили, самый хоръ, чтобы походить на сатировъ, одѣвался въ козлиныя шкуры. Но это общее названіе впоследствии было усвоено одному только виду драматическихъ произведеній, потому что другой ихъ видъ получилъ названіе κωμῳδία. Съ веселой, радостной стороны, Діонисъ былъ преимущественно сельскимъ божествомъ; культъ его сопровождался полевыми обходами, тогда какъ память его страданій праздновалась больше въ храмахъ у алтарей. Слово κωμῳδία можетъ, поэтому, происходить и отъ дорійскаго κῶμος — деревня, открытое мѣсто, въ противоположность городу, и отъ κῶμος — радостное и торжественное шествіе съ пѣніемъ и пиромъ. Этотъ дѣйствительный характеръ культа былъ той почвой, на которой развилось трагическое или

комическое отношеніе лирическаго чувства къ эпическому повѣствованію, къ данной дѣйствительности, къ тому неумолимому року, котораго человѣкъ не могъ избѣгнуть въ виду неотразимыхъ психическихъ и житейскихъ условій, охватывающихъ его съ несокрушимою силой. Въ эпосѣ лицо живетъ одною, цѣльною жизнію съ народомъ, оно тонетъ въ данныхъ средою понятіяхъ, чувствахъ и условіяхъ жизни. Въ трагедіи эта цѣльность жизни уже порвана. Трагизмъ заключается именно въ разладѣ, въ столкновеніи между личнымъ героизмомъ человѣка и тѣмъ, что считается героизмомъ народнымъ, эпическимъ. Трагедія уже не изображаетъ и не прославляетъ громкихъ дѣлъ героя; она воспроизводитъ разрывъ его съ эпическою дѣйствительностію, подъ вліяніемъ роковыхъ обстоятельствъ, личныхъ его понятій, чувствъ, стремленій, и вызываемая этимъ разрывомъ борьбу и страданія.

Сначала, напр., у грековъ и у новыхъ народовъ, въ средніе вѣка, содержаніе трагедіи очерпается исключительно изъ міоовъ, народныхъ сказаній и исторіи; преданіе, освященное вѣками народной жизни и поэзіи, пустившее глубокіе корни во всемъ міровоззрѣніи націи, въ ея вѣрованіяхъ и нравахъ, заставляетъ двигателей національной литературы крѣпко держаться міоическихъ и историческихъ сюжетовъ. Гомерическія поэмы и эпопеи кикликовъ послужили исключительной и неизчерпаемой сокровищницей сюжетовъ для греческой трагедіи, и отчасти для драмы новыхъ народовъ. Такимъ же источникомъ для послѣдней служили въ средніе вѣка библейскія и національныя героическія сказанія. Драматическій писатель, конечно, не ограничивался при этомъ слѣпымъ и буквальнымъ воспроизведеніемъ міоа и сказанія въ иной только формѣ; эпическое содержаніе міоа и сказанія служило для него только матеріаломъ, который онъ обрабатывалъ, внося въ него и лирическій элементъ, внутренніе, психическіе процессы, происходящіе въ человѣкѣ подъ вліяніемъ данныхъ эпическихъ событій, и драматическое развитіе характеровъ. Въ греческой литературѣ указываютъ только одинъ, и то не дошедшій до насъ примѣръ драмы, сюжетъ которой заимствованъ не изъ эпическаго матеріала, а основанъ на вымыслѣ: мы разумѣемъ «Цвѣтокъ», драму Агатона, одного изъ современниковъ Эврипида. У новыхъ народовъ, еще въ семнадцатомъ вѣкѣ, Шекспиръ исключительно черпалъ матеріалъ для своихъ драматическихъ произведеній изъ сказаній и исторіи. Чисто бытовая трагедія — явленіе относительно новое, и, если можно такъ выразиться, де-

мократическое. Она сняла съ героев трагедіи парчу и высокое общественное положеніе; она перепесла на человѣка вообще, на человѣка въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ и въ самомъ будничномъ костюмѣ тотъ живой интересъ, какой возбуждался прежде только героями народного эпоса и національной исторіи. И трудно согласиться съ тѣми теоретиками поэтического творчества, которые видятъ въ этомъ не дальнѣйшій шагъ искусства впередъ, не успѣхъ, а несомнѣнные признаки его упадка. Бытовая дѣйствительность есть также дѣйствительность историческая, и для борьбы съ нею часто нужно не меньше героизма, хотя и меньше торжественности, чѣмъ сколько обнаружили его величайшіе герои мифа или сказанія. Сознаніе этой простой истины разширило на все человѣчество рамки драматическаго творчества, и мы не знаемъ теперь въ этой области ни избранниковъ, ни отверженныхъ.

Въ трагедіи, какъ извѣстно, разладъ воображенія, чувства или ума съ данною эпическою дѣйствительностію порождаетъ страданіе; въ комедіи онъ возбуждаетъ насмѣшку, иронию, юморъ. Комедія беретъ, поэтому, свой матеріалъ и свои сюжеты преимущественно изъ настоящей, современной дѣйствительности. Она, по самому своему характеру, сразу стала тѣмъ, чѣмъ сдѣлалась трагедія лишь въ сравнительно новѣйшее время, т.-е. бытовою. Въ драматической области комедія приблизительно то же, что сатира въ области эпоса. Римская національная комедія, напр., выработалась изъ римской сатиры. И сатирикъ, и комикъ одинаково почерпаютъ содержаніе своихъ произведеній изъ современной, бытовой дѣйствительности, а эта современная дѣйствительность, повторяемъ, есть также дѣйствительность эпическая и историческая. Эпическая сатира нашего Гоголя: «Мертвыя души» съ такою же глубиною и живостью воспроизводятъ картину русской жизни тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ и его комедія «Ревизоръ»; Аристофановы «Облака» столь же живая картина афинскихъ нравовъ пятого вѣка, какъ Гомеровъ «Одиссея» — картина греческихъ нравовъ героической поры.

Изъ этихъ двухъ главныхъ видовъ драматическаго творчества — трагедіи и комедіи — вышли и тѣ смѣшанные виды новыхъ временъ, которымъ приданы были и приданы и теперь названія — драмы, траги-комедіи, мелодрамы, комедіи въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляется это имя новѣйшими французскими драматургами, водевилями, оперы и опереттѣ. Мы не будемъ распространяться о нихъ и ограничимся замѣчаніемъ,

что выдающіяся драматическія произведенія новыхъ временъ, созданныя дѣйствительно сильными талантами, все болѣе или менѣе близко примыкаютъ къ двумъ господствующимъ видамъ драматической поэзіи, къ трагедіи или комедіи, и что многія изъ нихъ соединяютъ трагическій элементъ съ комическимъ. Это соединеніе трагическаго съ комическимъ — явленіе не новое. Оно не было чуждо и греческой литературѣ. И тамъ были попытки къ сліянію двухъ видовъ того самого диамрамба, изъ котораго, какъ мы уже сказали, вышли трагедія и комедія грековъ, и очень можетъ быть, что эти попытки предшествовали окончательному раздвоенію и полному развитію двухъ главныхъ видовъ драматическаго творчества. Въ цвѣтущую пору греческой трагедіи, на состязаніяхъ въ драматической поэзіи въ праздники Діониса, авторъ по обычаю прибавлялъ къ тремъ представляемымъ имъ связнымъ трагедіямъ, или такъ называемой трилогіи, еще четвертую — сатирическую, которая обращала трилогію въ тетралогію. Греческіе писатели, уступая народному вкусу, сохранили въ трагедіи хоръ древняго диамрамба; они сохранили, рядомъ съ трагедіей, еще древнее сатирическое представленіе, хотя и отодвинули его на задній планъ. У новыхъ народовъ то же смѣшеніе трагическаго съ комическимъ встрѣчается и въ средніе вѣка, когда уже существовала трагедія, но еще не выработалась самостоятельная комедія. Народный юморъ неудержимо проникалъ тогда въ духовную драму. Дьяволъ, продавецъ елѣи и т. п., были предоставлены ему на жертву церковью, и этотъ юморъ мало по малу до того проникъ въ мистерію, что церковь была принуждена рѣшительно противодѣйствовать ему. Но сѣмя было уже брошено. Приставленные къ священному содержанію духовныхъ драмъ комическія положенія и рѣчи уже не могли не породить комедію, какъ особый, самостоятельный видъ литературнаго творчества. Реформація шестнадцатаго вѣка оттолкнула протестантскіе народы отъ католическихъ мистерій. Отрицаніе стараго церковнаго авторитета привело къ болѣе свободѣ мысли; но въ самой Германіи эта свобода не вызвала новыхъ драматическихъ талантовъ. За то въ Англіи сильное литературное движеніе, порожденное церковною реформой, вскорѣ сказалося въ замѣнѣ эпическихъ церковныхъ сюжетовъ сюжетами мірскихъ сказаній и балладъ, подражаніями древнимъ и итальянцамъ временъ Возрожденія. Движеніе это, какъ извѣстно, породило величайшаго изъ драматическихъ писателей — Шекспира.

Выдѣливъ изъ себя лирику и драму, эпосъ перешелъ въ историческую поэтику.

ское или романическое повѣствованіе. Романъ не безъ основанія называютъ эпосомъ новаго времени. Какъ и древній народный эпосъ, онъ рисуется въ живыхъ образахъ и правдивомъ повѣствованіи картины современности, со всеми ея вопросами, задачами, помыслами и бытовыми особенностями. Первобытную борьбу между народами замѣняетъ въ немъ, согласно нынѣшнимъ, до крайности осложнившимся условіямъ жизни, борьба отдѣльныхъ лицъ между собою и съ окружающими обстоятельствами, развитіе личныхъ характеровъ подъ вліяніемъ этой борьбы, значеніе среды для человѣка. Элементъ чудеснаго, такъ наивно проникающій все созданія древней эпической поэзіи, былъ сначала присущъ и роману, хотя и въ другомъ видѣ. Но въ наше время романъ принялъ вполне реалистическое направленіе, и содержаніе его составляютъ уже всевозможныя нравственныя и общественныя задачи и явленія современной жизни.

Старѣйшій изъ европейскихъ романовъ — греческій — выросъ на эпической почвѣ народныхъ эротическихъ легендъ, разумѣется, съ сильною примѣсью лирики. До сихъ поръ этому роману обыкновенно приписывали восточное или полу-восточное происхожденіе въ тотъ долгій періодъ, когда, послѣ завоеванія западной Азіи Александромъ Македонскимъ, греческая образованность пришла въ непосредственное соприкосновеніе съ Востокомъ и, подчинивъ его своему вліянію во многихъ отношеніяхъ, сама подверглась потомъ вліянію его мистическихъ идей и стремленій. Это мнѣніе, высказанное еще во второй половинѣ семнадцатаго вѣка французскимъ изслѣдователемъ Гюэ, вызвало въ послѣднее время сильныя и полновѣсныя возраженія, прекрасно изложенныя въ недавнемъ изслѣдованіи іенскаго профессора Роде о греческомъ романѣ. Но какое бы изъ этихъ мнѣній мы ни предпочли, во всякомъ случаѣ повѣствовательный, эпическій характеръ греческаго романа не подлежитъ сомнѣнію, хотя предметомъ излагаемаго имъ повѣствованія являются уже не мифы, не героическія дѣла предковъ, а любовь, какъ страсть, поглощающая всего человѣка и опредѣляющая всю его судьбу. То была единственная страсть, еще способная поэтически вдохновлять грека времени упадка. Когда прежніе мотивы, воодушевлявшіе великихъ писателей Греціи въ лучшую пору ея исторической жизни и литературы, утратили свое живое обаятельное значеніе, когда безотрадный скептицизмъ или расслабляющее суевѣріе овладѣли умами образованной части эллинскаго міра въ Европѣ, Азіи и Африкѣ, и человѣкъ, смутно ощущая пустоту жизни, невольно обращался

внутри себя, одна только любовь давала ему отраду и счастье. Еще крѣпко придерживаясь старыхъ литературныхъ образцовъ, онъ избралъ любовною темой для всехъ литературныхъ произведеній повѣствованіе о чистой, почти рыцарской любви, преодолевающей всевозможныя испытанія, и такимъ образомъ незамѣтно шелъ на встрѣчу христіанскимъ воззрѣніямъ средневѣковаго человѣка. Собирая мѣстные эротическія легенды, давая имъ литературную обработку, александрійскіе эротики передѣлывали ихъ въ элегическіе рассказы, въ элегію, переходный, смѣшанный, эпико-лирический характеръ которой обще-извѣстенъ. Относительная краткость этихъ рассказовъ, облеченныхъ въ эпическій стихъ, сообщала имъ балладный тонъ, но счастливому выраженію Роде; обстоятельное и наглядное повѣствованіе эпоса о событіяхъ и дѣяніяхъ героическихъ предковъ замѣнялось въ такомъ эротическомъ рассказѣ отрывочнымъ изображеніемъ явленій жизни, поскольку они ярко освѣщали чувства и страсти, но прежде всего любовь дѣйствующихъ лицъ, потому что любовь, какъ страсть, стояла на первомъ планѣ у греческихъ поэтовъ александрійскаго періода, давно отбросившихъ вѣру въ божественныя и героическія мифы.

Греческій романъ сложился, конечно, еще и изъ другихъ элементовъ, но эротическая элегія занимаетъ между ними положеніе кореннаго элемента, вбирающаго въ себя другіе и пользующагося ими, какъ средствомъ для своей самостоятельной цѣли. Кромѣ эротическихъ рассказовъ, греческому роману предшествовали также сентиментальныя, идиллическія утопіи, всегда вызываемыя разлагающеюся, перезрѣлою культурой и указывающія ложно направленной цивилизаціи на естественное, первобытное состояніе человѣчества, какъ на спасеніе отъ общей испорченности нравовъ; онѣ переносили воображеніе пресыщеннаго культурой человѣка изъ странъ, извѣстныхъ греку времени упадка и принявшихъ греческую культуру, въ мало извѣстныя, отдаленныя земли, еще мало изслѣдованныя, о которыхъ доходили до тогдашняго образованнаго міра самыя фантастическія представленія и рассказы. Цѣлая литература сказочныхъ путешествій, съ идиллической или утопической тенденціей, возникла въ александрійскомъ періодѣ греческой литературы рядомъ съ рассказами эротическаго содержанія, и ея приемы, вмѣстѣ съ приемами эротиковъ, были впоследствии усвоены первыми греческими романистами. Вымышленный сюжетъ и прозаическая форма этихъ фантастическихъ путешествій тѣсно связываютъ ихъ съ позднѣйшимъ романомъ; но имъ еще чуждо эротическое содержаніе

последняго, которое эротически облакали въ стихотворную форму и почерпали больше изъ мѣстныхъ сказаній; чѣмъ изъ собственной фантазіи.

Еще ярче выдѣляется тѣсная преемственная связь эпоса съ романомъ въ исторіи новыхъ европейскихъ литературъ. Эпосъ, и притомъ въ лирической формѣ, былъ господствующимъ явленіемъ средневѣковой поэзіи, первымъ выразителемъ средневѣковой культуры и искусства. Самое имя *романъ*, какъ и слово *романсъ*, собственно значило: повѣствовательное стихотвореніе на романскомъ народномъ языкѣ. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ разложенія средневѣковыхъ идей, по мѣрѣ распространенія вкуса къ чтенію, упрощались приемы литературнаго творчества, и метрическая форма повѣствованія мало-по-малу переходила въ прозаическую: первые романы четырнадцатаго и пятнадцатаго столѣтій — не болѣе какъ пересказы древнѣйшихъ эпическихъ памятниковъ въ прозаической формѣ. Во всѣхъ новыхъ литературахъ, исходною точкой въ исторіи романа было, поэтому, средневѣковое повѣствовательное стихотвореніе. Къ концу среднихъ вѣковъ, разлагавшаяся стихотворная рѣчь вездѣ уступала мѣсто прозѣ, въ то время еще только нарождавшейся, еще носившей слѣды прежнихъ стихотворныхъ формъ. По своему содержанію, эти рыцарскія повѣствованія въ прозѣ еще ничѣмъ не отличаются отъ тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ они почерпнуты, т. е., героической и рыцарской легенды. Таковы первые французскіе романы: все ихъ отличіе отъ сказаній, на которыхъ они основаны, сначала заключается лишь въ новыхъ, трудно вырабатывающихся формахъ прозаической рѣчи. Но вслѣдъ затѣмъ начинается уже болѣе самостоятельная обработка легендарныхъ сюжетовъ въ вольной прозаической формѣ. Движеніе это началось во Франціи, и извѣстный французскій романъ «Амадисъ» можетъ быть названъ типическимъ представителемъ этого поворота въ литературѣ; по своему содержанію, хотя и основанному, какъ дознано теперь, на бретонскихъ сказаніяхъ сѣверной Франціи, онъ составляетъ переходъ отъ простаго пересказа стихотворныхъ легендъ въ прозѣ къ новому французскому рыцарскому роману. Съ конца пятнадцатаго вѣка самостоятельная обработка средневѣковыхъ сюжетовъ въ прозѣ дѣлается уже явленіемъ всеобщимъ, число прозаическихъ рассказовъ постоянно растетъ, они читаются гораздо охотнѣе, чѣмъ старыя стихотворныя повѣствованія, и проза дѣлается господствующей формой литературнаго творчества. Писатели сами заявляютъ, что ихъ публика предпочитаетъ прозу устарѣвшей стихотворной

формѣ, болѣе торжественной, болѣе условной и стѣснительной. Она такъ крѣпко срослась съ прежними средневѣковыми понятіями и представленіями, что уже не давала достаточнаго простора вновь нарождавшимся умственнымъ, нравственнымъ и художественнымъ потребностямъ руководящихъ общественныхъ слоевъ. Новое содержаніе вызывало къ жизни и новыя литературныя формы. Естественный ростъ литературнаго языка дѣлалъ старыя стихотворныя формы отчасти непонятными новой публикѣ; напротивъ проза, какъ новая форма литературной рѣчи, порожденная этими потребностями, приспособлялась къ нимъ и вполнѣ отвѣчала духу времени. Книгопечатаніе дало окончательный толчекъ этому движенію, подготовленному долгимъ процессомъ общественнаго развитія. Благодаря книгопечатанію, въ шестнадцатомъ столѣтіи было пущено въ ходъ множество романическихъ повѣствованій въ прозѣ, очевидно отвѣчавшихъ вкусамъ тогдашней публики.

Упоминая о „тогдашней публикѣ“, мы, конечно, имѣемъ въ виду не одинъ какой-нибудь народъ Западной Европы, а всю Западную Европу. Международный характеръ романа сказался уже тогда съ полною очевидностью; новыя романическія повѣствованія быстро переходили отъ одного народа къ другому, исходя преимущественно изъ Франціи, и это великое значеніе его въ исторіи литературы осталось за нимъ до нашего времени. Сначала легендарный, любовный и аристократическій по своему содержанію, новый романъ, какъ мы увидимъ впоследствии, постоянно расширялъ свои задачи, по мѣрѣ того, какъ росли и усложнялись задачи общественной мысли, и въ наше время романъ уже обнимаетъ всѣ явленія человѣческой жизни, всѣ художественныя, нравственныя и социальныя стремленія времени. Его непрерывно возрастающее значеніе во всѣхъ европейскихъ литературахъ объясняется именно его всесторонностью и международнымъ характеромъ.

Такъ совершалось, въ общихъ и главныхъ чертахъ, историческое развитіе поэзіи. Эпосъ, лирика, драма, романъ — вотъ тѣ стадіи, которыя послѣдовательно проходила поэзія всѣхъ двигавшихъ человѣчество литературъ, независимо отъ того, были ли ихъ художественныя созданія облачены въ стихотворную или прозаическую форму. Есть много высоко-поэтическихъ произведеній, написанныхъ прозой, какъ есть и много лишенныхъ всякаго поэтическаго достоинства и написанныхъ стихами. Тѣмъ не менѣе, мы можемъ принять за аксіому, что въ области литературнаго творчества

проза моложе поезіи. Въ литературномъ смыслѣ прозы совсѣмъ не существовало, когда уже слагались эпическія созданія народнаго творчества. Люди, конечно, говорили между собою не стихами, но ихъ разговоры — не литература. Въ смыслѣ одной изъ формъ литературнаго творчества проза явилась позднѣе стиха, была большимъ шагомъ впередъ, отвѣтомъ на новыя потребности непрерывно развивающагося человѣческаго сознанія. Существуютъ народы, и при томъ старые народы, до сихъ поръ не имѣющіе прозы, живущіе преимущественно фантазіей, незнающіе иной исторіи, кромѣ мифа и сказанія, — народы, у которыхъ даже и кое-какія ихъ законы изложены въ легко запоминаемой метрической формѣ, съ нѣкоторою фантастическою окраской. Великіе историческіе народы идутъ дальше; эпосъ, какъ созданіе народнаго фантазіи, перестаетъ удовлетворять ихъ; трезвая критическая мысль вступаетъ мало-по-малу въ свои права и создаетъ изъ эпоса романъ и повѣствовательную, историческую, прозу. Самое осложненіе ихъ государственной и общественной жизни уже не позволяетъ довольствоваться долѣе немногими старыми правилами мудрости и общежитія въ метрической формѣ, вызывая потребность въ болѣе подробномъ законодательствѣ, въ болѣе свободныхъ и точныхъ приѣмахъ поученія. Дидактическая поэзія смѣняется дидактической прозой, первобытные законы — болѣе сложнымъ законодательствомъ въ прозаической формѣ. Удовлетворенію этой потребности обыкновенно отвѣчаетъ сравнительно большее распространеніе письменности въ переходныя эпохи между эпосомъ и прозаическимъ повѣствованіемъ. Последнее такъ прямо вытекло изъ эпоса, что оно первоначально было лишь продолженіемъ въ умственной сферѣ того, что давалъ эпосъ. Но здѣсь, какъ и въ поезіи, какъ и вообще въ исторіи и въ природѣ, историческій переходъ изъ одной стадіи въ другую никогда не совершается вдругъ. И здѣсь мы можемъ наблюдать промежуточные, переходныя ступени. Первому историку Греціи предшествовали писатели, сочиненія которыхъ, правда, не дошли до насъ, но которые, судя по всему, что мы о нихъ знаемъ, еще давали большой просторъ фантазіи и съ полной вѣрой относились къ эпическимъ мифамъ и сказаніямъ. Такія же переходныя формы въ исторіи новыхъ литературъ сохранились до нашего времени, и мы встрѣчаемъ между ними историческое повѣствованіе въ привычной эпической формѣ. Многочисленныя хроники, стихотворныя и рифмованныя, начинаютъ появляться тогда, когда эпосъ еще живетъ, но склоняется къ упадку. На этихъ хроникахъ долгое время ле-

жить глубокий слѣдъ преобладанія эпической фантазіи надъ изслѣдованіемъ, надъ провѣркой и критикой историческихъ явленій.

Въ историческомъ повѣствованіи, вышедшемъ изъ эпоса, критическое отношеніе къ явленіямъ народнаго жизни мало-по-малу вытѣсняетъ и замѣняетъ преобладавшее въ эпосѣ вліяніе фантазіи, за которою остается, но въ извѣстныхъ только предѣлахъ, широкая область романа. Отъ историческихъ явленій, умъ человѣка мало-по-малу переходитъ къ естественнымъ причинамъ, полагая основаніе научному изслѣдованію во всѣхъ его разнообразныхъ отрасляхъ. Въ романѣ этимъ новымъ путямъ историческаго повѣствованія соответствуетъ замѣна эпическихъ сюжетовъ, почерпнутыхъ изъ мифа и сказанія, основаннымъ на реальной дѣйствительности вымысломъ. Древнѣйшіе романы еще придерживались народныхъ легендарныхъ преданій, но и романъ въ свою очередь мало-по-малу отрѣшается отъ этихъ преданій подъ вліяніемъ усиливающейся критической мысли, и переходитъ въ художественное изображеніе дѣйствительности, исторической или современной, ея общественныхъ идей и задачъ, ея типическихъ характеровъ.

То, что мы сказали о романѣ, болѣе или менѣе относится и къ менѣе крупнымъ видамъ повѣствовательной прозы: разсказу, повѣсти, новеллѣ. Собственно говоря, между этими употребительными видами повѣствованія нѣтъ никакого существеннаго различія. Новелла появилась у итальянцевъ въ тринадцатомъ вѣкѣ: такъ называлась у нихъ всякая повѣствовательная проза небольшого объема. Новелла значитъ собственно небольшая новинка, короткій разсказъ о томъ, что прежде не было разсказано никѣмъ или было разсказано иначе. Позднѣйшія, болѣе развитыя и пространныя новеллы, творцомъ которыхъ былъ въ Италіи Боккаччо, въ Испаніи Сервантесъ, не что иное, какъ эпическіе разсказы въ новомъ родѣ.

Параллельно развитію повѣствовательной прозы изъ эпоса, совершался процессъ развитія поучающей прозы изъ дидактической лирики. Этотъ послѣдній процессъ можно прослѣдить съ полною осязательностью на соответствующемъ періодѣ греческой литературы. Начатки греческой философіи, и по формѣ и по содержанію, еще близко примыкаютъ къ поезіи, и только впослѣдствіи, съ развитіемъ теоретической мысли, философія выдѣляется у грековъ въ особый видъ прозы. Точно также образовалась и проза ораторская. Это явленіе въ исторіи греческой литературы особенно важно потому, что оно уже не могло повториться у новыхъ народовъ. вмѣстѣ съ христіанствомъ и церковною ученостью, новые народы получили готовую,

поучающую прозу въ такое время, когда у нихъ еще не выработалась лирика. Но эта проза была не народная, а латынская; настоящая, своеобразная проза процвѣла и у новыхъ народовъ послѣ сильнаго развитія лирики.

Мы не будемъ перечислять всѣхъ разнообразныхъ видовъ поучительной прозы, существующихъ въ настоящее время. Сюда относятся всѣ формы прозаическаго изложенія мыслей, наблюдений, научныхъ изслѣдованій, философскихъ идей и системъ, вся та область нашей дѣятельности, которая можетъ быть названа умственной по преимуществу.

(Всеобщая Исторія Литературы, подъ редакц.
В. Корша. Спб. 1880, вып. I, стр. 87—111).

Глава VIII.

Психо-физиологическое направленіе.

26. Поэзія, какъ предметъ науки.

Поэзію, какъ и другія искусства, называютъ подражаніемъ природѣ и ея произведенія признаютъ изображеніями различныхъ явленій физическаго и нравственнаго міра. Сходство между поэтическимъ изображеніемъ и его предметомъ состоитъ въ томъ, что изображеніе вызываетъ въ насъ мысли и чувства, подобныя тѣмъ, какія явились бы при созерцаніи самаго предмета или событія, представляемаго поэтомъ. Не всѣмъ поэтическимъ произведеніямъ сходство это доступно въ равной мѣрѣ; выше и цѣлѣе оно въ драматической поэзіи. Въ силу своего сходства съ дѣйствительностью поэтическія произведенія могутъ служить матеріаломъ при изученіи ея; иногда они составляютъ единственное свидѣтельство, какое мы имѣемъ о предметѣ, изображенномъ въ нихъ. Въ исторіи грековъ есть пора, при изученіи которой всѣ данныя заимствуются почти исключительно изъ Иліады и Одиссеи. Для психолога поэтическія изображенія составляютъ весьма цѣнный матеріалъ. Недостатокъ наблюдений, подробныхъ и точно обозначенныхъ, чувствуется на каждомъ шагѣ при изученіи душевной жизни, особенно болѣе сложныхъ ея явленій. Практическіе дѣятели, одаренные тонкою наблюдательностью, сохраняютъ въ памяти по большей части только выводъ, добытый ими, — ихъ не занимаетъ подробное и отчетливое обозначеніе самаго явленія, даваго этотъ выводъ. Если душевное состояніе богато содержаніемъ и обнаруживаетъ высокое напряженіе дѣятельности воображенія или сильные порывы чувства, въ такомъ случаѣ слѣдуетъ за нимъ и вникать въ каждую подробность рѣши-

тельно не возможно. Если бы наблюдателю и удалось отрѣшиться отъ того, что происходитъ въ его сознаніи въ такія минуты, посмотрѣть на это со стороны, — то вмѣстѣ съ тѣмъ и самое состояніе мгновенно измѣнилось бы: дѣятельность воображенія приняла бы другое направленіе, получила бы другой ритмъ, и порывы чувства непремѣнно стали бы болѣе слабыми. Душевные состоянія такого рода, недоступны по себѣ, удобно изучать, наблюдая ихъ выраженіе, т. е. рѣчи, перемѣны голоса и тѣлодвиженія. Но рѣчь и движеніе слишкомъ быстро исчезаютъ отъ вниманія наблюдателя; онъ нуждается въ знакахъ, которые вѣрно бы передавали содержаніе и тонъ рѣчей, жесты и мимику, сопровождающіе сильные порывы мысли и чувства, и вмѣстѣ съ тѣмъ допускали бы спокойное и неспѣшное наблюденіе. Записанная рѣчь до нѣкоторой степени отвѣчаетъ этимъ требованіямъ, но ею приходится пользоваться чрезвычайно рѣдко, потому что богатое содержаніемъ душевное состояніе бываетъ по большей части при такихъ условіяхъ, при которыхъ точное воспроизведеніе рѣчей посредствомъ записи очень затруднительно и въ добавокъ не имѣетъ цѣны въ глазахъ свидѣтелей-очевидцевъ. При такомъ положеніи дѣла недостатокъ подробныхъ и тщательныхъ наблюденій можно восполнять изученіемъ поэтическихъ изображеній. Изображенія въ поэмахъ Гомера и въ драмахъ Шекспира не только богаты подробностями, но и очень вѣрны; ихъ можно разсматривать, почти какъ правдивую записку чуткаго наблюдателя, слѣдившаго съ глубокимъ вниманіемъ за тѣмъ, что происходитъ въ его сознаніи. Поэтические сюжеты суть дѣло вымысла, поэтому въ нихъ нѣтъ полного соотвѣтствія съ дѣйствительностью; воображеніе поэта всегда привноситъ такія черты, которыхъ не могло быть въ дѣйствительности. Такъ въ «Гамлетѣ», въ первой сценѣ, Гораціо, находящійся подъ давленіемъ ужаса, видитъ восходъ солнца и въ слѣдующихъ словахъ высказываетъ свое усмотрѣніе:

But, look, the morn, in russet mantle klad,
Walks o'er the dew you higt eastern hill *).

Соображая положеніе говорящаго въ данную минуту и настроеніе духа, вызванное явленіемъ тѣни, мы не можемъ признать въ приведенныхъ

*) Но вотъ и Фебъ въ пурпуровой одеждѣ
Идетъ на холмъ по жемчугу росы.

Гамлетъ, д. I, сц. 1-я. Пер. Кронеберга.

словахъ полного соотвѣтствія съ дѣйствительностію. Человѣкъ, въ положеніи Гораціо, не способенъ къ такой поэтической апперцепціи *) внѣшнихъ впечатлѣній; для этого нуженъ спокойный полетъ воображенія, не возмущаемаго сильнымъ чувствомъ. Въ такихъ отклоненіяхъ выражается самодѣятельность творческихъ способностей поэта. При изученіи поэтическихъ изображеній надобно имѣть въ виду эту самодѣятельность такъ точно, какъ въ физикѣ принимаютъ въ соображеніе свойства среды, чрезъ которую свѣтовые лучи доходятъ до наблюдателя. Не всѣ данныя, получаемыя наблюденіемъ поэтическихъ произведеній, пригодны для рѣшенія вопросовъ психологіи; изъ общей суммы ихъ надобно вычесть ту долю, которая объясняется изъ законовъ поэтического творчества, а не изъ свойствъ дѣйствительности, изображаемой поэтомъ. Пока законы эти не извѣстны, такой вычетъ сдѣлать трудно, и поэтому данныя, полученные изученіемъ произведеній поэта, психологъ долженъ провѣрять другими путями. Поэтическое произведеніе можетъ возбудить вопросъ, навести на мысль о существованіи какого-нибудь явленія; оно можетъ доставить прекрасный примѣръ для поясненія факта или закона, установленнаго прямымъ наблюденіемъ, и въ этомъ смыслѣ оно можетъ служить матеріаломъ для психолога.

Поэтическое произведеніе, даже самое простое по сюжету, не только вызываетъ въ нашемъ сознаніи образъ предмета, къ которому оно относится, но возбуждаетъ еще различныя чувства и чрезъ это дѣйствуетъ болѣе или менѣе сильно на всѣ отправления душевной жизни. Смотри по роду и силѣ чувствъ, возникающихъ въ насъ при созерцаніи поэтическаго изображенія, последнее бываетъ источникомъ наслажденія или страданія. Хотя психологія соединяетъ всѣ такія чувства въ одинъ классъ подъ названіемъ эстетическихъ, но это не мѣшаетъ имъ значительно отличаться другъ отъ друга какъ по характеру, или содержанію, такъ и по степени. Эту разницу можно подмѣтить, хотя и трудно опредѣлить, сравнивъ внимательно душевные состоянія, возникающія подъ дѣйствіемъ лирическаго и эпическаго произведенія съ несомнѣнными художественными достоинствами. Первое возбуждаетъ въ насъ чувство, выраженное поэтомъ, стѣсняетъ кругозоръ мысли и воображенія, заставляя вниманіе сосредоточиваться только на томъ, что соотвѣтствуетъ возникшему чувству; второе,

*) Представленіе.

напротивъ, возвышаетъ дѣятельность воображенія, возбуждаетъ и поддерживаетъ тѣ душевныя движенія, которыя зависятъ отъ новосты впечатлѣній и ихъ гармоніи съ законами ощущенія. Но всѣ виды наслажденій, доставляемыхъ поэтическими произведеніями, весьма цѣнны, хотя и неодинаково пригодны для всѣхъ и во всякое время. Не требуя большой траты энергіи, этотъ родъ наслажденій въ высшей степени благотворно дѣйствуетъ на мысль и волю. Теоретическая и практическая дѣятельность требуютъ, главнымъ образомъ, усилій активнаго сознанія; здѣсь надобно искать, сравнивать, слѣдить за однимъ рядомъ мыслей, устранивъ все неподходящее. Послѣ труда утомляется преимущественно активное сознаніе; при созерцаніи поэтическихъ произведеній оно остается почти въ покоѣ. Они занимаютъ пассивное сознаніе, воспроизводящую дѣятельность, которая даетъ прихотливыя сочетанія образовъ и мыслей, знакомыя каждому, кто мечталъ... Односторонность трудовой жизни составляетъ, вмѣстѣ съ потерей силъ, главную причину тяжелаго состоянія души, побуждающаго насъ искать не только отдыха, но и наслажденія. Созерцаніе произведений искусства даетъ полный просторъ проявленіямъ чувства и открываетъ доступъ во всемъ впечатлѣніямъ, способнымъ возбудить въ насъ душевное движеніе. По богатству, разнообразію и доступности такихъ впечатлѣній поэзія превосходитъ всѣ прочія искусства. Въ каждомъ произведеніи искусства на ряду съ чертами, заимствованными изъ дѣйствительности и составляющими подражаніе ей, есть черты, прибавленныя творческимъ ображеніемъ и пониманіемъ художника. Эти субъективныя черты составляютъ художественную апперцепцію явленій дѣйствительности, или художественное воспріятіе ея впечатлѣній; въ апперцепціи заключаются главные красоты произведений искусства. Въ природѣ есть сосна, стоящая на вершинѣ и покрытая снѣгомъ. Къ этимъ даннымъ дѣйствительности поэтъ прибавляетъ новыя, полученныя дѣятельностью его воображенія и чувства; изъ сочетанія тѣхъ и другихъ данныхъ складывается *поэтический* образъ явленія природы; такой образъ составляетъ содержаніе стихотворенія Гейне Fichtenbaum (Ср. превосходный переводъ Лермонтова: «Сосна»). — Въ первыхъ шести стихахъ стихотворенія Гёте:

Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du,

Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde *).

выражены объективныя данныя; въ послѣднихъ двухъ:

Warte nur, balde
Ruhest du auch,

сказывается чувство, вызванное въ поэтѣ явленіемъ природы. Это чувство и мысль, подсказанная имъ, составляютъ поэтическую апперцепцію созерцаемаго явленія. Едва ли можно спорить противъ того, что главная прелесть изображенія заключается именно въ этой апперцепціи. Стихотвореніе Гёте не только вызываетъ въ насъ живой и отчетливый образъ предмета, но возбуждаетъ (въ большей или меньшей степени) и то чувство, съ какимъ поэтъ созерцалъ этотъ предметъ. Главная доля эстетическаго наслажденія заключается именно въ переживаніи этого чувства и въ созерцаніи мыслей, которыя оно подсказываетъ. По богатству и глубинѣ мыслей и чувствъ, составляющихъ художественную апперцепцію дѣйствительности, по ясности и доступности знаковъ, которыми эта апперцепція выражается въ художественномъ произведеніи, поэзія стоитъ выше прочихъ искусствъ; наслажденія, доставляемыя ею, богаче содержаніемъ и сильнѣе, хотя испытываются не всеми и не всегда въ равной степени, ибо предполагаютъ воображеніе, способное живо и отчетливо воспроизводить подъ дѣйствіемъ словъ соответствующіе имъ мысли и образы.

Поэтическія произведенія могутъ быть предметомъ изученія сами по себѣ, безъ всякаго отношенія къ тому дѣйствію, какое они производятъ на насъ. Ихъ можно разсматривать, какъ всякое другое явленіе; можно изучать ихъ съ цѣлью точно опредѣлить ихъ природу и разъяснить условія происхожденія. Отношеніе познающаго ума къ поэзіи и прочимъ искусствамъ точно такое же, въ какомъ онъ стоитъ къ явленіямъ физическаго міра. Можно сказать, что произведенія искусства обязаны своимъ происхожденіемъ болѣе сложному сочетанію силъ, такъ какъ въ созданіи ихъ, кромѣ общихъ физическихъ силъ, заложенныхъ въ организмъ, принимаетъ участіе еще и сознаніе. Но допустимъ, что сознаніе есть дѣятель особаго рода: это не препятствуетъ его изучать при помощи приѣмовъ, прилагаемыхъ къ изученію физическихъ силъ, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока эта принимаемая особенность сознанія не обнаружится въ явленіяхъ, которыя требуютъ особенныхъ средствъ, ненужныхъ естество-

*) Ср. переводъ Лермонтова, не точный, «Горныя вершины».

знанию. Ставъ на эту точку зрѣнія, мы можемъ при изученіи искусства воспользоваться общими положеніями методики естествознанія, нѣкоторыми понятіями и выводами его.

Близжайшія условія происхожденія поэтическихъ произведеній заключаются въ особой дѣятельности, называемой поэтическимъ творчествомъ. Понять природу поэзіи значитъ добиться точнаго и достовѣрнаго отвѣта на вопросъ: что такое поэтическое творчество, какъ особая дѣятельность человеческого организма? Что дѣлаетъ человѣка поэтомъ, и что происходитъ въ поэтѣ отъ той минуты, когда впервые появляется въ немъ идея произведенія, или рождается творческій замыселъ, до окончательнаго исполненія, до появленія въ свѣтъ поэтического произведенія? Гёте, назвавъ Гинтера поэтомъ въ полномъ смыслѣ слова, затѣмъ такъ опредѣляетъ сложный составъ его поэтического дарованія: «Это былъ рѣшительный талантъ, одаренный острыми чувствами, силою воображенія, памятью, способностью схватывать и представлять, въ высшей степени плодovitый, легко владѣющій ритмомъ, проникательный, остроумный и притомъ разносторонне-образованный; короче, онъ обладалъ всѣмъ, что нужно, чтобы создать въ жизни вторую жизнь посредствомъ поэзіи» *). ... Наука не можетъ довольствоваться подобными опредѣленіями; полнота и точность его должны быть удостовѣрены критическимъ наблюденіемъ фактовъ. Далѣе, оно обозначаетъ составные элементы поэтического дарованія такими терминами, изъ которыхъ каждый служитъ названіемъ для сложнаго психическаго явленія, близко еще неизвѣстнаго. Пока мы не знаемъ въ точности, какого рода простѣйшіе психическіе процессы разумѣются подъ способностью схватывать и представлять, подъ памятью и остроуміемъ, до тѣхъ поръ всякое опредѣленіе поэтического дарованія, заключающее въ себѣ эти выраженія, не объясняетъ природы предмета такъ, какъ того требуетъ научное знаніе... Изученіе поэтическихъ произведеній, имѣющее въ виду опредѣлить ихъ природу и разъяснить способъ происхожденія, можетъ составить особый отдѣлъ знаній, подъ именемъ *поэтики*, или науки о поэтическомъ творествѣ, какъ особой комбинаціи простѣйшихъ отправленій организма.

Ея права на существованіе не могутъ подвергаться сомнѣнію. Можетъ возбудить недоумѣніе неопредѣленность границъ, отдѣляющихъ область по-

*) Wahrh. u. Dicht. Sämmtl. Werke, IV B. 118, Prochaska's Ausg.

этики отъ области науки объ остальныхъ родахъ словесныхъ произведеній, обозначаемыхъ общимъ именемъ прозы. Поэзія и проза для обыденнаго пониманія суть два различныхъ рода словесныхъ произведеній. Дѣйствительно, при сравненіи нѣкоторыхъ представителей того и другаго рода, напр., дѣловой бумаги и лирическаго стихотворенія, разница между ними бросается въ глаза, хотя ее не такъ легко опредѣлить въ точныхъ и ясныхъ выраженіяхъ. Но, начиная съ произведеній, всѣми признаваемыхъ поэтическими отъ начала до конца, мы постепенно доходимъ до такихъ, поэтичность которыхъ будетъ все менѣе и менѣе осязательна и безспорна: о нихъ говорятъ, что между массами чистѣйшей прозы въ нихъ только кое-гдѣ сверкаютъ блестики поэзіи. Границы, отдѣляющія точно прозу отъ поэзіи, не существуютъ въ дѣйствительности. Проза и поэзія не простыя явленія, а весьма сложные сочетанія простѣйшихъ психическихъ актовъ; та и другая представляютъ много формъ; въ однѣхъ изъ нихъ разница между прозой и поэзіей сказывается рѣзко, тогда какъ въ другихъ вовсе незамѣтна или сводится къ какому-нибудь случайному и второстепенному признаку. Если-бы между простѣйшими психическими актами было сродство, въ силу котораго одни изъ нихъ могли бы сочетаться не со всѣми остальными, а лишь съ нѣкоторыми, тогда можно было бы ожидать, что сочетаніе психическихъ актовъ, дающее поэзію, будетъ постоянно и существенно отличаться отъ того, которое даетъ прозу. Но о такомъ исключительномъ сродствѣ едва ли можетъ быть рѣчь, хотя есть данныя, говорящія въ пользу преимущественнаго сродства. Болѣе тщательное изслѣдованіе различія между двумя классами словесныхъ произведеній покажетъ, быть можетъ, что это различіе состоитъ въ преобладаніи какого-нибудь психическаго процесса въ одномъ классѣ и слабости его въ другомъ. Но отсутствіе точныхъ и ясныхъ границъ между прозой и поэзіей не можетъ служить препятствіемъ къ образованію особой науки о поэтическомъ творествѣ. Границы между всѣми вообще науками болѣе или менѣе искусственны: въ первый періодъ науки онѣ охватываютъ собою только ту область, въ которой явленіе, изучаемое данной наукой, представляется съ наибольшей рѣзкостью и очевидностью. Затѣмъ, когда тоже явленіе въ менѣе замѣтномъ видѣ усматривается за предѣлами первоначальной области науки, эти предѣлы расширяются и захватываютъ новую область. Для науки — и проза, и поэзія суть одинаково продукты дѣятельности пока еще въ точности неизвѣстной. Чтобы съ болѣе удобнымъ изучить

эту дѣятельность, мы выдѣляемъ изъ числа словесныхъ произведеній нѣкоторыя съ ярко выраженнымъ особымъ характеромъ и изслѣдуемъ ихъ свойства и условія происхожденія. Если окажется нужнымъ, изслѣдованіе можетъ переступить эти предѣлы, захватить прозу, остальные искусства, явленія практической дѣятельности, словомъ, все, что можетъ представить данныя, способствующія рѣшенію вопросовъ, вызываемыхъ собственно поэтическими произведеніями.

П. И. Аландскій.

(Поэзія, какъ предметъ науки,
ч. 1-я, стр. 1—11).

27. Различіе между эпосомъ, лирикой и драмой.

Одно и то же событіе, одинъ и тотъ же предметъ можетъ дать поводъ къ созданію какъ эпического, такъ и лирическаго произведенія; какое изъ нихъ явится на самомъ дѣлѣ, — это зависитъ отъ направленія вниманія. Предметъ, лицо или событіе прежде всего представляютъ болѣе или менѣе сложную и разнообразную группу впечатлѣній, дѣйствующихъ на внѣшнія чувства, главнымъ образомъ на зрѣніе и слухъ. Положимъ, что эти впечатлѣнія воспринимаются нами въ такую минуту, когда всѣ физиологическія отправленія организма совершаются правильно при среднемъ напряженіи и ритмѣ и порождаютъ рядъ ощущений и эмоцій, образующихъ въ своей совокупности душевное настроеніе равновѣсія и покоя. При этомъ условіи вниманіе не занято внутреннимъ міромъ и готово идти на встрѣчу впечатлѣніямъ, дѣйствующимъ извнѣ. Пусть эти впечатлѣнія будутъ отличаться эстетическими достоинствами или новизною и вызовутъ въ насъ ощущенія, сопровождающіяся пріятнымъ чувствомъ, но не настолько сильнымъ, чтобы произвести значительныя измѣненія въ напряженіи и ритмѣ жизненныхъ отправленій организма; пусть внѣшнія впечатлѣнія понравятся намъ, но не поразятъ; привлекутъ взоры, но не вызовутъ тревожныхъ біеній и замираній сердца. Въ такомъ случаѣ на наше сознаніе черезъ нервную систему будутъ дѣйствовать съ одной стороны раздраженія, данныя внутренними процессами организма при среднемъ напряженіи ихъ и ритмѣ, съ другой — впечатлѣнія, идущія извнѣ и, по условію, отличающіяся красотою или новизною. Очевидно, что вниманіе сосредоточится на воспріятіи внѣшнихъ впечатлѣній, и мы получимъ группу ощущений, которая составитъ нашъ

образъ лица или событія; этотъ образъ будетъ замѣченъ и сохраненъ памятью, тогда какъ душевное настроеніе, въ которомъ мы находились, созерцая предметъ или событіе, по самому спокойствію, равновѣсію и неопредѣленности своей останется незамѣченнымъ. Если тѣже самыя условія повторяются и при воспроизведеніи этой группы ощущений, то дѣятельность сознанія получитъ такое направленіе, которое необходимо для созданія эпическаго изображенія; въ концѣ творческаго акта получится образъ, состоящій изъ данныхъ внѣшняго воспріятія (Сравни. Лерм., Демонъ ч. I, строфа VI, стих. 13—26). Положимъ, что та же самая группа впечатлѣній, дѣйствуя на наши внѣшнія чувства, сильно потрясаетъ всю нервную систему, а черезъ это разстроиваетъ и правильный ходъ физиологическихъ отправленій; такъ дѣйствуютъ громъ и молнія на тѣхъ, кто боится грозы. Уклоненія въ ритмѣ и напряженіи внутреннихъ процессовъ организма вызываютъ болѣе сильныя и опредѣленныя органическія ощущенія, которыя, усиливаясь постепенно, превращаются въ интенсивныя страданія, невольно привлекающія къ себѣ вниманіе; такъ при подъемѣ на гору, при быстромъ бѣгѣ сильно измѣняется обычное напряженіе и ритмъ дыхательныхъ движеній, и ощущенія, сопровождающія ихъ, обыкновенно слабыя и незамѣтныя, становятся все сильнѣе, приобретаютъ большую опредѣленность и, возрастая до боли, поглощаютъ наконецъ все наше вниманіе, отвлекая его отъ впечатлѣній, идущихъ извнѣ. Если группа внѣшнихъ впечатлѣній, воспринятыхъ поэтомъ, глубоко потрясетъ его душевное настроеніе, измѣнитъ напряженіе и ритмъ жизненныхъ процессовъ, вызоветъ черезъ это сильныя органическія ощущенія и острые эмоціи, въ такомъ случаѣ вниманіе сосредоточится преимущественно на этихъ ощущеніяхъ и эмоціяхъ; воспроизводящая дѣятельность приметъ иное направленіе; образъ предмета отойдетъ на второй планъ, и въ концѣ творческаго акта явится изображеніе не предмета, а настроенія, т. е. чувствъ, желаній и органическихъ ощущений, вызванныхъ предметомъ. Такого, на примѣръ, слѣдующее изображеніе:

Слышу ли голосъ твой,
Звонкій и ласковый —
Какъ птичка въ клеткѣ,
Сердце запрыгаетъ.
Встрѣчу-ль глаза твои
Лазурью глубокие —
Душа на встрѣчу имъ

Изъ груди просится.
И какъ-то весело!
И плакать хочется...
И такъ на шею бы
Тебѣ я кинулся...

Лермонтовъ (Соч. I, 203).

При среднемъ ритмѣ и напряженіи жизненныхъ процессовъ органическія ощущенія и эмоціи слабы и блѣдны; они не отвлекаютъ вниманія отъ данныхъ внѣшняго воспріятія; образы предметовъ могутъ быть восприняты и воспроизведены съ полною подробностью и отчетливостью, безъ всякой помѣхи; вниманіе распределяется между отдѣльными впечатлѣніями сообразно съ ихъ собственной природою; всякая подробность, привлекающая своею красотою, повизною или странностью и уродливостью, замѣчается и запоминается. Чѣмъ устойчивѣе средній уровень физиологическихъ отправленій, чѣмъ менѣе колеблется онъ поврежденіями органовъ или прямо сильнымъ давленіемъ нервной системы, тѣмъ способнѣе поэтъ къ эпическому творчеству, къ спокойному созерцанію и воспроизведенію внѣшнихъ явленій. Напротивъ, если организмъ поэта подверженъ частымъ разстройствомъ, сильнымъ колебаніямъ въ напряженіи и ритмѣ, то непремѣннымъ слѣдствіемъ этого будутъ интенсивныя органическія ощущенія, острыя эмоціи съ сильно опредѣленнымъ характеромъ удовольствія и страданія. Внѣшнія чувства такого поэта могутъ быть открыты множеству разнообразныхъ и богатыхъ впечатлѣній, но вниманіе его будетъ часто отклоняться отъ данныхъ внѣшняго воспріятія и сосредоточиваться преимущественно на внутреннихъ ощущеніяхъ; его опытъ будетъ изобиловать данными внутренняго воспріятія; свое творчество онъ посвятитъ скорѣе изображенію своего настроенія при видѣ или воспоминанія предмета, чѣмъ изображенію самаго предмета. Ритмъ и напряженіе жизненныхъ процессовъ измѣняются вслѣдствіе различныхъ причинъ, которыя поэтика узнаетъ изъ физиологіи и патологіи; ей слѣдуетъ имѣть въ виду, что одні причины, напр., неправильности анатомическаго строенія, дѣйствуютъ постоянно, хронически; другія же, напр., сильныя душевныя движенія, — только по временамъ; присутствіе первыхъ будетъ сообщать постоянно лирическое направленіе творчеству поэта, вторыя будутъ вызывать его лишь иногда. Данные внутренняго воспріятія или ощущенія, порождаемыя физиологическими отправленіями организма, при значительномъ на-

пряженіи сопровождаются сильными эмоціями удовольствія и страданія; на этомъ эмоціональномъ характерѣ почти исключительно сосредоточивается вниманіе, и этимъ опредѣляется порядокъ воспроизведенія прежнихъ опытовъ въ лирическомъ творствѣ. Въ то время, какъ данныя внѣшняго воспріятія у эпическаго поэта воспроизводятся по содружествамъ послѣдовательности, одновременности, сходства, сообразно съ природою и порядкомъ внѣшнихъ впечатлѣній, воспроизводящая дѣятельность лирическаго поэта совершается преимущественно по содружествамъ, основаннымъ на сходствѣ не впечатлѣній, но душевныхъ движеній, вызванныхъ этими впечатлѣніями. При созданіи эпическаго изображенія данная *a* воспроизводится вслѣдъ за данною *b*, потому что впечатлѣнія, соответствующія этимъ даннымъ, подѣйствовали на поэта или одновременно, или послѣдовательно, или, наконецъ, были сходны между собою и вызвали сходныя ощущенія. Порядокъ воспроизведенія здѣсь въ главномъ соответствуетъ порядку воспріятія; вымыселъ слагается по законамъ дѣйствительности; настроеніе поэта не нарушаетъ согласія между образами фантазіи и предметами внѣшняго міра. Но когда душа томится сильнымъ чувствомъ, когда на первый планъ сознанія выдвинулись органическія ощущенія, причиняющія сильное удовольствіе или страданіе, тогда нѣтъ мѣста широкому и спокойному теченію данныхъ внѣшняго опыта по ихъ объективнымъ содружествамъ послѣдовательности, одновременности и сходства; тогда подробности, относящіяся къ внѣшнему міру, воспроизводятся на основаніи сходства въ томъ дѣйствіи, какое они произвели въ свое время на душевное настроеніе. Изъ всего богатаго и разнообразнаго запаса ощущеній, полученныхъ поэтомъ отъ предметовъ и событій, въ моментъ лирическаго творчества оживаютъ только тѣ, которыя вызвали въ немъ чувства, сходныя съ его душевнымъ настроеніемъ въ этотъ моментъ. Въ стихотвореніи Пушкина: Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ... есть значительное количество данныхъ внѣшняго воспріятія; онѣ относятся къ различнымъ предметамъ и событіямъ, не связаннымъ между собою ни объективнымъ сходствомъ, ни послѣдовательностью, ни одновременностью. Что же вызвало воспроизведенія этихъ данныхъ въ минуту творчества? Въ силу чего воспроизводящая дѣятельность вслѣдъ за группою ощущеній, выраженныхъ слѣдующими словами:

Гляжу ль на дубъ уединенный...

доставила другую группу, воспринятую въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ, совсѣмъ различную по своему содержанию:

Младенца ль милого ласкаю...

Между этими двумя группами нѣтъ объективной связи, основанной на сходствѣ впечатлѣній или на порядкѣ ихъ воспріятія; но есть связь субъективная, основанная на томъ, что обѣ группы произвели одинаковое дѣйствіе на чувствительность поэта, сопровождались одинаковой эмоціей, задѣли тѣ же самыя струны его души. Этотъ примѣръ показываетъ, что въ той долѣ лирическаго изображенія, которая относится къ предметамъ и событіямъ, вызвавшимъ въ поэтѣ лирическое настроеніе, данныя внѣшняго опыта воспроизводятся преимущественно по содружествамъ субъективнымъ, основаннымъ на сходствѣ эмоцій, возбуждаемыхъ ими, тогда какъ объективныя содружества, преобладающія въ эпическомъ творествѣ, здѣсь не имѣютъ такой силы. Другую долю лирическаго изображенія составляютъ данныя, относящіяся къ предметамъ и дѣйствіямъ, способнымъ удовлетворить чувство, томящее поэта въ моментъ творчества; вотъ примѣръ:

Душа моя мрачна. Скорѣй, пѣвецъ, скорѣй!
Вотъ арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшія по ней,
Прсбуждъ въ струнахъ звуки рая.

Лирическое настроеніе, окрашенное сильнымъ чувствомъ, всегда порождаетъ желаніе, вслѣдъ за которымъ является представленіе о дѣйствіи, способномъ удовлетворить этому желанію... Подборъ и воспроизведеніе поэтическаго матеріала [Вотъ арфа золотая и пр.] и здѣсь объясняется преобладаніемъ эмоціональных содружествъ надъ объективными... Чѣмъ сильнѣе и острѣе чувство, томящее поэта, тѣмъ болѣе сжато изображеніе дѣйствія, удовлетворяющаго этому чувству, тѣмъ строже согласуются съ нимъ отдѣльныя подробности по своему эмоціональному характеру; высшимъ предѣломъ этого будетъ такое изображеніе, гдѣ уже вовсе нѣтъ данныхъ внѣшняго воспріятія, гдѣ не отмѣчено ни одной объективной подробности предмета, а только обозначено дѣйствіе, какое онъ произвелъ на чувствительность поэта. Такъ, въ элегіи Пушкина [Безумныхъ лѣтъ...] предметъ, вызвавшій лирическое настроеніе въ поэтѣ, обозначенъ лишь слѣдующими словами:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье,

и далѣе: печаль минувшихъ дней... Здѣсь нѣтъ ни одной объективной черты, ни одной подробности, свойственной самымъ предметамъ и событіямъ; здѣсь есть только изображеніе чувствъ, вызванныхъ ими въ душѣ поэта; объективный образъ ступенчался предъ субъективнымъ настроеніемъ и оставилъ только отблескъ въ эмоціональных символахъ, составляющихъ это выраженіе, въ эпитетахъ: безумный и угасшій. Чѣмъ слабѣе и, такъ сказать, массивнѣе чувство, тѣмъ болѣе оно даетъ простора въ воспроизводящей дѣятельности идти по порядку объективныхъ содружествъ послѣдовательности, одновременности и схода, тѣмъ полнѣе и всестороннѣе будетъ изображеніе дѣйствія. Судя по характеру чувства, можно ожидать, что изображенія, подсказанныя гнѣвомъ, глубокою скорбью, будутъ бѣднѣе объективными подробностями, чѣмъ изображенія, посвященные предметамъ нѣжнаго чувства въ его различныхъ формахъ и оттѣнкахъ. Третью долю лирическихъ изображеній составляютъ подробности, относящіяся къ душевному настроенію поэта, къ тѣмъ органическимъ ощущеніямъ и эмоціямъ, которыя составляютъ источникъ восторга или страданія; таковы слѣдующіе стихи:

Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
Змѣи сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской,
Тѣснится тяжелыхъ думъ избытокъ;
Воспоминаніе безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ.
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
Я тремусь и проклиная,
И горько жуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не срываю.

Пушкинъ (I, 378).

Богатство и отчетливость въ изображеніи душевнаго настроенія и соединенныхъ съ нимъ восторговъ или страданій предполагаетъ обильный запасъ данныхъ внутренняго воспріятія и живость ихъ воспроизведенія; механизмъ тутъ въ сущности однороденъ съ тѣмъ, который мы обозначили выше по поводу эпическаго изображенія; замѣтимъ только одну особенность, которая рѣзко сказывается и въ приведенномъ примѣрѣ. Для выраженія данныхъ внутренняго воспріятія языкъ далеко не обладаетъ количествомъ словъ, необходимыхъ для поэта, потому что для болѣе устойчивой организаціи большинства эти данныя остаются незамѣченными. Отсюда при изо

браженіи отдѣльныхъ подробностей душевнаго настроенія поэтъ постоянно прибѣгаетъ къ метафорамъ, сравненіямъ, олицетвореніямъ; воспроизведенныя данныя внутренняго опыта, не имѣя для себя своихъ собственныхъ названій, выражаются символами, относящимися къ даннымъ внѣшняго воспріятія; такъ является: змѣи сердечной угрызенія...

Если сравнить сказанное нами объ эпическомъ и лирическомъ изображеніи, то окажется, что механизмъ, лежащій въ основѣ того и другаго, въ сущности состоитъ изъ тѣхъ же самыхъ частей, т. е., свойствъ психофизической организаціи, и вся разница въ томъ, что въ одномъ случаѣ сильнѣе дѣйствуютъ одніи части, въ другомъ — другія. Это не покажется страннымъ, если вспомнить, что лирика и эпосъ не раздѣляются между собою рѣзкою гранью; начиная отъ чистаго эпоса чрезъ рядъ промежуточныхъ формъ можно незамѣтно дойти до чистой лирики.

Вопросъ, съ которымъ должно обратиться къ наблюденію драматическихъ изображеній, можно выразить такимъ образомъ: какими особенностями отличается воспроизводящая дѣятельность, выражающаяся въ созданіи драматическаго изображенія?

Если мы разложимъ драматическій сюжетъ на его простѣйшія составныя доли, если опредѣлимъ психологически природу каждой такой доли, то окажется, что всѣ онѣ сводятся къ ощущеніямъ внѣшнимъ и органическимъ и къ эмоціямъ, сопровождающимъ тѣ и другія. Такъ какъ первоначальный матеріалъ поэтическаго творчества распредѣляется весь безъ остатка между лирикой и эпосомъ, то уже заранѣе можно сказать, что отличіе драматическаго изображенія заключается не въ матеріалѣ его. Мы еще не знаемъ пока, что именно изображаетъ поэтъ, но, чтобы онъ ни изображалъ, во всякомъ случаѣ онъ долженъ пользоваться тѣми же данными опыта, какими пользуются лирикъ и эпикъ. Желая опредѣлить особенности драматическаго изображенія, мы должны искать ихъ не въ *родѣ* матеріала, а въ *подборѣ* и *расположеніи* его; творчество драматическаго поэта состоитъ въ воспроизведеніи точно такихъ же опытовъ, какъ и творчество поэтовъ эпическаго и лирическаго, только у перваго подборъ и порядокъ воспроизведенія этихъ опытовъ опредѣляется особыми условіями, которыя или вовсе не встрѣчаются въ творествѣ послѣднихъ, или, хотя и встрѣчаются, но не въ такомъ объемѣ...

Если душевная жизнь будетъ ограничиваться только пассивнымъ воспріятіемъ и воспроизведеніемъ, то въ ней не будетъ задатковъ для драма-

тического творчества, не будетъ такого подбора и сочетанія данныхъ опыта, которое можно было бы назвать драматическимъ изображеніемъ, хотя бы и самымъ бѣднымъ и непоэтичнымъ.

Драматическое творчество, т. е. такой подборъ и сочетаніе данныхъ опыта, какой мы видимъ въ драматическомъ изображеніи, становится возможнымъ лишь на той ступени психическаго развитія, на которой реакціи организма на внѣшнія раздраженія перестаютъ быть роковыми и изъ простыхъ рефлексовъ превращаются въ сложные акты воли. Предметомъ драматическаго изображенія служатъ тотъ моментъ душевной жизни, который отдѣляетъ появленіе чувства, побуждающаго къ дѣйствию, и представленія объ этомъ дѣйствиіи отъ совершенія самаго дѣйствія; все, что составляетъ необходимый переходъ отъ мысли къ дѣлу, отъ потребности къ ея удовлетворенію, все, что находится на пути, по которому возбужденіе чувства проходитъ до разрѣшенія его въ дѣйствиіи, — все это и только это составляетъ предметъ и выстѣ матеріалъ драматическаго изображенія. Не вдаваясь въ подробный анализъ волевого акта, замѣтимъ только, что промежутокъ времени, отдѣляющій появленіе мотива отъ совершенія дѣйствія, наполняется преимущественно активной дѣятельностью, такъ называемымъ размышленіемъ или обдумываніемъ. Это размышленіе, какъ процессъ воспроизведенія, состоитъ въ смѣнѣ представленій, слѣдующихъ одно за другимъ по различнымъ содружествамъ и сопровождаемыхъ различными душевными движеніями. Представимъ себѣ схематически сложный актъ воли, сложную внутреннюю исторію дѣйствія въ такомъ видѣ: мотивъ дается совокупностью ощущеній, или представленіемъ, которое сопровождается душевнымъ движеніемъ; пусть такимъ представленіемъ будетъ мысль объ обидѣ, причиненной намъ и состоящей въ оскорбительномъ наименованіи. Такое представленіе сопровождается чувствомъ гнѣва; по ассоціаціи, установленной прежними опытами, вслѣдъ за этимъ чувствомъ воспроизводится представленіе о дѣйствиіи, нѣкогда удовлетворявшемъ ему. Это представленіе будетъ сопровождаться чувствомъ удовольствія, испытаннымъ при его совершеніи въ прежнее время; гнѣвъ, представленіе о дѣйствиіи, удовлетворяющемъ ему, и чувство удовольствія, въ совокупности взятые, образуютъ мотивъ, называемый мщеніемъ. Вслѣдъ за представленіемъ о дѣйствиіи отмщенія, если оно не будетъ совершено тотчасъ, явится по прежнимъ содружествамъ другія представленія; пусть въ числѣ ихъ будетъ мысль о наказаніи, постигающемъ за самоуправное мщеніе; она явится

вслѣдъ за мыслью о мщеніи по содружеству послѣдовательности и будетъ сопровождаться чувствомъ страха, которое будетъ дѣйствовать, какъ задерживающій импульсъ, въ направленіи, противоположномъ гнѣву; это будетъ первое столкновеніе мотивовъ. Воспроизводящая дѣятельность, продолжаясь дальше, вслѣдъ за мыслью о наказаніи доставитъ представленіе о дѣйствіи, которое можетъ предупредить его; это представленіе будетъ сопровождаться чувствомъ удовольствія и, парализуя дѣйствіе одного изъ противоположныхъ мотивовъ (страха), дастъ перевѣсъ другому (гнѣву); послѣдуетъ актъ рѣшенія. Если за отсутствіемъ обидчика оно не будетъ немедленно исполнено, то воспроизводящая дѣятельность, продолжая идти своимъ порядкомъ, снова можетъ доставитъ представленіе, которое будетъ дѣйствовать, какъ мотивъ, противоположный мщенію, снова произойдетъ столкновение, и рѣшеніе смѣнится колебаніемъ, пока новое представленіе не положитъ опять конецъ колебанію, парализовавъ одинъ изъ противоположныхъ мотивовъ. Вотъ эти смѣна представленій, сопровождаемыхъ различными чувствами, и составляетъ то, что мы назвали внутренней исторіей дѣйствія: она-то и есть предметъ собственно драматическаго изображенія. При изображеніи дѣйствія поэтъ пользуется данными прежняго опыта; самое изображеніе и есть не что иное, какъ воспроизведеніе этихъ данныхъ. Изъ чего же состоитъ изображеніе борьбы двухъ противоположныхъ мотивовъ въ душѣ героя? Съ внѣшней стороны оно состоитъ изъ символовъ; съ внутренней—изъ актовъ сознанія, соответствующихъ этимъ символамъ. Разсматривая эти акты сознанія, эти данные опыта поэта, воспроизводимыя имъ въ моментъ творчества, мы видимъ, что они суть тѣ же самыя представленія и эмоціи, изъ которыхъ состоитъ и самое дѣйствіе; иначе говоря, между *предметомъ* драматическаго изображенія и его *материаломъ* нѣтъ разницы; драма есть не изображеніе, а воспроизведеніе или, лучше, *переживаніе* внутренней исторіи дѣйствія.

Хотя драматическій поэтъ изображаетъ чувства не свои, а другихъ лицъ, тѣмъ не менѣе онъ можетъ дѣлать это только тогда, когда въ своемъ личномъ опытѣ имѣетъ данныя, относящіяся къ разнообразнымъ явленіямъ эмоціальной стороны человѣческой природы. Поэтъ долженъ имѣть запасъ словъ и выраженій, обозначающихъ различные оттѣнки того или другого чувства; для правильного употребленія такихъ словъ и выраженій необходимо, чтобы они были вполне понятны поэту, т. е., чтобы онъ самъ пережилъ эти различные оттѣнки чувства. Поэтъ личнымъ опытомъ долженъ

знать, какія черты и какой колоритъ получаетъ предметъ, когда мы созерцаемъ или воображаемъ его, испытывая данное душевное движеніе; какія желанія и въ какой силѣ можетъ подсказать это душевное движеніе, въ какую сторону оно обращаетъ нашу мысль и какъ измѣняетъ ритмъ ея. Ознакомиться съ различными способами выраженія чувствъ можно и посредствомъ наблюденія надъ другими; но этотъ путь открытъ только тому, кто самъ испыталъ то или другое чувство; безъ этого условія не можетъ быть ни зоркой наблюдательности, ни правильного пониманія того, что будетъ подмѣчено наблюденіемъ.

Весь драматическій матеріалъ, всѣ данныя, относящіеся къ внутренней исторіи дѣйствія, которыми располагаетъ поэтъ, получены имъ изъ личного опыта, составляютъ слѣды того, что онъ самъ нѣкогда испыталъ и пережилъ, находясь подъ гнетомъ того или другого мотива. Такимъ путемъ можно объяснить подборъ и расположеніе подробностей драматическаго изображенія. Эти подробности суть данныя опыта самого поэта; въ минуту творчества онъ оживилъ вновь въ томъ сочетаніи и порядкѣ, какой соответствуетъ извѣстному мотиву, потому что нѣкогда въ такомъ же сочетаніи и порядкѣ онъ были пережиты поэтомъ, находившимся подъ гнетомъ этого мотива. Поэтъ сначала самъ переживаетъ психическій процессъ, переводящій мотивъ въ дѣйствіе, и во время этого переживанія устанавливаются тѣ сочетанія данныхъ его опыта, которыми [впрочемъ не исключительно] онъ потомъ пользуется для созданія драматическаго изображенія *).

П. И. Аландскій.

(Поэзія, какъ предм. науки. I, 95—163).

*) «Можно переживать дѣйствіе [подобное испытанному нами, но] совершенно не нами самими, а другими лицомъ... Эта способность составляетъ существенный элементъ драматическаго дарованія... Не нужно смѣшивать переживанія дѣйствія съ пониманіемъ его». 163.

СЛОВАРЬ.

(Цифры, слѣдующія за объясненіемъ, указываютъ на страницы „Сборника“).

А.

Абелярь, *Цверъ*, 1079—1142, одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ философовъ школы схоластиковъ («Переписка съ Элоизой»), стр. 97.

Августъ, *Кай Юлій Цезарь Октавіанъ*, р. 63 до Р. Х., ум. 14 г. до Р. Х., первый римскій императоръ, покровитель Виргилія, Горация и Овидія, стр. 246.

Августъ, дѣйствующее лицо въ трагед. Корнеля: «Цинна». См. Корнель, стр. 123, 129, 190, 210, 229.

Авлетина—искусство играть на флейтѣ.

Агамемнонъ, у Гомера, сынъ Атрея, царь микенскій, братъ Менелая. Часто изображается въ произведеніяхъ пластическаго искусства, занимающихся сюжетъ изъ троянскаго круга сказаній, стр. 55, 92, 118, 117, 161, 247.

Агаеонъ (*Агамонъ*), сынъ Тисамена, другъ Эврипида, афинскій трагическій поэтъ, род. ок. 448 г. до Р. Х., умеръ подъ конецъ 94-й олимпіады, авторъ трагедій «Цвѣтокъ», стр. 30, 39, 214, 351.

Агнеса, дѣйствующее лицо въ романѣ Дикенса: «Давидъ Копперфильдъ», стр. 315.

Аддисонъ, *Иосифъ* (Addisson), р. 1672, ум. 1719 г., знаменитый англійскій писатель, прозванный своимъ соотечественниками *мудрымъ*. Особенно извѣстностью пользовался въ XVIII в. его трагедія: «Катонъ».

Адоне (*Адонисъ*), см. Марини, стр. 306.

Азбучовники—старинные словари разнобразнаго содержанія, стр. 325.

Акрополь—крепль, былъ построенъ на скалѣ, возвышавшейся среди Афинъ, стр. 86.

Аламберъ, *Жан-ле-ронъ*, д' (Jean le rond d'Alembert), р. 1717, у. 1783, знаменитый французскій математикъ и философъ, с. 211.

Александръ Великій, сынъ македонскаго царя Филиппа и Олимпіады, род. 356 г. до Р. Х., ум. 323 г. стр. 87, 210, 354.

Аленскій Михаилъ, второй царь изъ дома Романовыхъ, р. 1629 г., у. 1676 г. с. 113.

Аливиадъ, аионскій полководецъ, во время пелопонесской войны, род. ок. 450, ум. 404 г. стр. 30, 214.

Алиноевъ апологъ—такъ назывались VII—XI раисодіи «Одиссея». Аликвой, царь Феаковъ, мнѣческаго народа моряковъ на Схеріи, радужно принявъ потерѣвшаго крушеніе Одиссея и, богато одаривъ его, приказалъ проводить его на родину, стр. 36.

Алкмеонъ, сынъ Амфіара и Ерифили, за убійство матери подвергся преслѣдованіямъ Эрифии. Исторія Алкмеона была любимымъ сюжетомъ трагедій, но ни одна изъ нихъ не дошла до насъ. «Алкмеонъ»—траг., см. Астидамантъ, стр. 33, 34.

Альзира—траг. Вольтера, стр. 192.

Альцина—дѣйствующее лицо въ поэмѣ Аріоста: «Неистов. Орландъ». стр. 174.

Амадисъ, рыцарскій романъ (XIV в.), сложенный различными авторами; герой его—Амадисъ Гальсскій, рыцарь Льва, игралъ въ Испаніи такую же роль, какъ Артуръ въ Англіи и Карлъ В. во Франціи, с. 356.

Амасій, хитрый египтянинъ низкаго происхождения; царствовалъ отъ 570—526; покровительствовалъ иностранцамъ, особенно грекамъ, стр. 46.

Амфіаръ (см. Алкмеонъ), великій предсказатель и толкователь сновъ; принималъ участіе въ походѣ аргонавтовъ и въ первой ойпанской войнѣ: во время бѣгства изъ подъ Оливъ былъ поглощенъ землею вмѣстѣ съ колесницей, и ему даровано безсмертіе, стр. 37.

Амфіонъ, сынъ Зевса и Антиопы, былъ преданъ искусству музы, любилъ пѣсни и игру на лрѣ; захватывалъ, вмѣстѣ съ братомъ, власть надъ Оппами и обещалъ нижній городъ стѣнами. Говорили, будто камнями стѣны соединились самъ собою подъ звуки лрмы Амфіона, стр. 83.

Амфитріонъ, сынъ царя Алкея; отъ Зевса и жена Амф—на произошелъ Гераклъ, стр. 111.

Амфитрита, дочь Нерея и Дориды, богиня волнъ. Имя Амфитриты у поэтовъ часто употребляется для обозначенія моря, с. 282.

Анакреонъ, греческ. лирикъ, род. въ 550 до Р. Х. въ Теосѣ; любовь, вино и веселье—обычныя темы его стихотвореній, с. 348.

Андромаха, жена троянца Гектора, изображается, у Гомера, какъ одна изъ благороднѣйшихъ женщинъ; прославилась своей нѣжной любовью къ супругу, стр. 344.

«Андромаха», трагед. Эврипида, стр. 101.

«Андромеда», траг. Корнеля, стр. 132.

Анибалъ, 247—183 г. до Р. Х., карфагенскій полководецъ, стр. 312.

Антаръ (Антара), въ полов. 6 вѣка, знаменитый арабскій поэтъ и витязь, стр. 316.

«Антигона», траг. Софокла, стр. 34, 65, 101.

Антиохъ, дѣйствующее лицо въ траг. Корнеля: «Родоюна» (1644), стр. 123, 126, 222.

Антифатъ, жестокой владетель лестригоновъ, которые разгромили камнями 11 кораблей Одиссея (имя его сдѣлалось нарицательнымъ въ смыслѣ «безчеловѣчный злодѣй»), стр. 76.

Антицира, приморскій гор. въ Фокидѣ; въ окрестностяхъ города росла чемерица, которая, по мнѣнію древнихъ, излѣчивала отъ сумасшествія и меланхоліи, стр. 81.

Антоній, дѣйствующее лицо въ трагед. Шекспира: «Антоній и Клеопатра», стр. 314.

Аполлоній Родосскій, р. ок. 240 г. до Р. Х., греч. поэтъ и грамматикъ, авторъ сохранившейся до нашего времени поэмы «Argonautica», стр. 342.

Аполлонъ, сынъ Зевса и Лето (Латона), богъ блага и порядка, а также и губитель, покровитель стадъ, основатель городовъ и предводитель колоній, владѣлъ даромъ поэзіи, пѣнія, музыки. Въ послѣдствіи представляется богомъ всѣхъ изысканныхъ искусствъ и предводителемъ музъ, стр. 83, 241, 344.

Арго, *Аргосъ*, гор. въ Пелопоннесѣ, с. 30.

Аресъ, см. Марсъ, стр. 340.

Аріосто, *Людовико*, итальянскій поэтъ, 1474—1533, авторъ рыцарской эпопеи «Неистовый Роландъ» (L'Orlando furioso), въ 46 пѣсняхъ. Обработавъ въ національномъ вкусѣ, поэма замѣчательна многими частными красотою, въ цѣломъ же отличается отсутствіемъ эпическаго единства и уютительнымъ обиліемъ эпизодовъ, с. 171, 174.

Аристархъ, съ Самооракъ, знаменитѣйшій грамматикъ и критикъ, жилъ и училъ въ Александріи при Птоломѣ Филометорѣ (ок. 170 г.); благодаря его критическимъ исправленіямъ гомеровскій текстъ принялъ тотъ приблизительно видъ, въ какомъ читается обыкновенно и теперь, стр. 85.

Аристотель, одинъ изъ знаменитѣйшихъ философовъ древней Греціи какъ по своимъ

трудамъ въ области философіи и по всеобъемлющей учености, такъ въ особенности по безпримѣрной въ исторіи образованія обширности вліянія на умственное развитіе не только древняго, но и новаго міра; род. за 384 г. до Р. Х., въ гор. Стагирѣ, отчего часто называли его *Стагиритомъ*. Около 335 г. переселился въ Афины и открылъ школу философіи въ лицѣ, бывшемъ недалеко отъ города и названномъ такъ отъ храма, посвященнаго Аполлону ликейскому. Послѣдователи аристотелевой школы получили названіе *перипатетиковъ* оттого, что Аристотель имѣлъ обыкновеніе читать свои уроки ходя, а не сѣдя. Отсюда же и самую философію Аристотеля и его послѣдователей стали называть *перипатетическою*. Ум. 322 г. въ Халкидѣ, стр. 3, 5, 15, 16, 39, 114, 115, 118, 120, 124, 127, 128, 182, 183, 193, 194, 198, 203, 210, 214, 219, 225, 250.

Аристофанъ, афинскій, комическій поэтъ, род. ок. 450 г. до Р. Хр., ум. послѣ 388 г. Онъ—единственный поэтъ древней аттической комедіи, отъ котораго дошла до насъ цѣлая произведенія (а именно 11). Первая по времени представленія—«Ахарняне», названная такъ отъ хора, состоящаго изъ ахарянъ; «Всадники»; «Облака» (поставлена въ 423 г.) имѣетъ цѣлью осмѣять превратное философское направленіе того времени, метафизическія мудрствованія и столь вредную для народнои нравственности софистику; представителемъ этого направленія является въ комедіи Сократъ; «Осы»; «Миръ»; «Птицы», м. б., самая совершенная изъ комическихъ драмъ, созданныхъ древнею поэзіею; осмѣиваетъ сумасброднѣйшія мечтанія и надежды, которыми питалось своекорыстіе и властолюбіе афинянъ въ эпоху спилійской экспедиціи; «Лисестратъ»; «Бесмофоріи» (собств. Женщины, совершающія правды Бесмофоріи); «Лягушки»—изображаетъ унадокъ трагической поэзіи, при чемъ виновникомъ его представляется Эврипидъ; «Женское вѣче»; «Богъ богатства» (Плутосъ).—Цѣлю поэтическаго творчества Аристофана были не простая забава и развлеченіе, но вѣчто болѣе возвышенное и благородное. Онъ разсвѣчаетъ ненасытную страсть афинской развуданной охлократіи ко всякаго рода нововведеніямъ и сильно дѣйствовавшій въ его уже время процессъ самоуничтоженія греческой религіи. Отличался изумительной силой комизма и неизчерпаемымъ остроуміемъ, комедіи Ар-на отличаются, въ цѣломъ, не-правильностью и иногда грубостію, которая можетъ оскорбить наши понятія о нравственности и приличіи, стр. 4, 15, 23, 58, 92, 215, 352.

Арнольдъ, главное дѣйств. лицо въ ком. Мольера: «Школа женщинъ».

«Ars poetica», см. Гораций.

«Art poétique», см. Буало.

Артур (Artus), британский король, герой знаменитых романов Круглого Стола, стр. 101.

Архилох Паросский, греческий поэт, корачо славится считать настоящим творцом ямбической поэзии и изобретателем пятистишия в ней. Триметра. Он происходил из древнего греческого рода, был сын Телеспила, который около 700 г. до Р. Х. вывел колонию с Пароса на Эосос. Архилох сопровождал туда своего отца, но, разочаровавшись в своих ожиданиях, он оставил остров и вернулся, вероятно, пространствовав несколько, в Парос, где, по преданию, погиб во время войны против Наксоса. Это был человек раздражительного характера, полный горечи и презрения ко всему, который, будучи сам по себе несчастлив, жил в постоянной вражде и раздорах с окружающим миром. Сильнее всего испытало его гнѣвъ семейство Ликамба. Последний, обещав поэту выдать за него младшую из своих дочерей, Необулу, не сдержал своего слова; тогда Архилох осмѣлял и обезглавил его с дочерью в таинских ямбах, что он со стыда и отчаяния, говорить, всё повѣсписал. Этот, хотя и похожий на сказку, рассказ характеризует убийственную силу архилоховых ямбов. Архилох, как поэт, был весьма разносторонен: кроме ямбов он писал элегии и эпиграммы, троханческие тетраметры, эподы, гимны и др., стр. 74, 210, 347.

Астидамант — имя двух афинских трагиков, отца и сына. Первый написал 240 трагедий и одержал 15 побѣд. Сохранились заглавия немногих его трагедий, с. 34.

Астиянокс — действующее лицо в траг. Сенек: «Троада», стр. 126.

Астрея, см. Оноре д'Юрфе, стр. 305.

Атрей, сын Пелопса, внук Тантала. После продолжительной ссоры с братом своим Огестом, для виду примирился с ним, призвал его в Микены и подаль ему за столом его собственных дѣтей, стр. 77, 117.

«Aulularia» (Сосуд скупого), комедия Плавта, стр. 213.

Афродита, см. Венера, стр. 12, 252, 310.

Ахилл, сын Пелеса и нередины Фетиды, главный герой Илиады, стр. 6, 17, 36, 55, 75, 147, 162, 167, 171, 210, 316, 341.

Аякс — действующее лицо в трагедии Софокла: «Аякс». См. Дантъ, стр. 128.

Б.

Байрон — Гордон, Джозеф, 1788—1824, английский поэт («Часы досуга», «Странствования Чайльда Гарольда», «Гури», «Аби-

досская Невѣста», «Корсар», «Еврейск. мелодия», «Осада Коринфа», «Парижана», «Прометей», «Шильонск. узник», «Манфред», «Бенно», «Мазена», «Дон-Жуан», «Сарда-напаль», «Двое Фоскари», «Каппа», «Небо и Земля», «Видѣние Суды» и др.).

Банх, Бахус, см. Вакх.

Бальзан, Оноре де —, р. 1799, ум. 1850, один из плодотворнѣйших французских романистов. Къ лучшим сочинениям его принадлежат: «Les derniers Chouans», «Physiologie du mariage», «Scènes de la vie privée», «Scènes de la vie de province», «Scènes de la vie parisienne», «Le médecin de campagne», «Histoire intellectuelle de Louis Lambert» и «Eugénie Grandet». — Полное собрание сочинений издано под заглавием: «La comédie humaine», стр. 294, 313—315, 319. «Базетъ и Тамерланъ» — школьная драма, стр. 113.

Беверлей, гл. дѣйств. лицо мѣщанской трагедии: «Беверлей», французского поэта Сорена (Bernard Joseph Saurin, р. 1706, у. 1751), который, подражая въ ней английскому образцу, изобразил яркими красками ужасныя послѣдствія страсти къ картам. На русск. яз. трагедия Сорена переведена И. А. Дмитриевским въ XVIII ст.

Бень-Джонсонъ, 1573—1637, глава ученой драматической школы (ложно-классической), стоявшей во враждѣ къ школѣ народной, велъ ожесточенную борьбу против Шекспира. Онъ работалъ по теоріи, почерпнутой изъ чтенія древнихъ, заботился о соблюденіи трехъ единствъ, а еще болѣе старался выказать ученую начатанность. Ближайшими и даровитѣйшими послѣдователями его были Френсисъ Бомонъ (1586—1616) и Джонъ Флетчеръ (1576—1625), стр. 275.

Бетховенъ, Людвигъ, величайшій изъ новыхъ композиторовъ, р. 1770 г. въ Боннѣ, ум. 1827 г. стр. 263.

«Бовари», см. Флоберъ.

«Божественная комедія», см. Дантъ, стр. 341, 347.

Боккаччо, Джованни, 1313—1375, итальянский ученый и писатель; особенной извѣстностью пользуется его «Декамерон», сборникъ занимательныхъ и блестящихъ языкомъ паясанныхъ повѣстей и рассказовъ, стр. 359.

Бомарше, франц. поэтъ, род. 1732, ум. 1799. Изъ его сочинений особенно извѣстны: «Севильскій цирюльникъ» и «Свадьба Фигаро», стр. 307.

Бомонъ (Fr. Beaumont), см. Бень-Джонсонъ, стр. 275.

Боссюэтъ, Жакъ Бетти, 1627—1704, французскій проповѣдникъ и писатель, стр. 324.

«Братъ», ком. Теренція. См. Теренцій, с. 56.

Браунъ (Мишка, медвѣдь) — одно изъ дѣйствующихъ лицъ поэмы Гете: «Рейнские-Лань», стр. 339.

Брейтингеръ, Иоганнъ Яковъ, 1701—1776. См. Готтшедь.

Брутъ — многи лица этого имени. М. Юмъ Брутъ римск. преторъ, глава заговора противъ Цезаря и убійца послѣдняго (44 г. до Р. Х.) Разбитый въ сраженіи при Филиппахъ 42 г. легионами Антоніа и Октавіана, лишилъ себя жизни, стр. 59, 147, 192, 209, 215.

Буало-Денрею, Николай, 1637—1711 г., знаменитый французскій критикъ и законодатель вкуса XVII ст. Главныя его произведенія — сатиры. Его «разсужденіе объ одѣ» и «L'Art poétique», не разъ переведенныя и на русск. яз., долго пользовались большимъ вѣсомъ въ литературѣ, стр. 135—144, 247, 250.

Буслаевъ, Федоръ Ивановичъ, профессоръ московск. университета, авторъ кн. «О преподаваніи отечественнаго яз.», «Историч. грам. р. аз.», «Историч. хрестомат.», «Историч. очерк. р. нар. словесн. и искусства», стр. 227, 234.

Бутервекъ, Фридрихъ, философъ и эстетикъ, с. 1802 г. профессоръ въ Геттингенѣ; ум. 1828 г. («Gesch. der neueren Poesie u. Beredsamkeit» и особенно «Aesthetik»), с. 15.

Бутлеръ (Вотлеръ), 1612—1680, англійск. писатель, авторъ неконченной сатирико-героической поэмы «Гудибрасъ». Цѣль поэта — показать пуританскій періодъ англійской жизни въ зеркалѣ сатиры, с. 306.

Бѣлинскій, Виссарионъ Григорьевичъ, 1811—1843 г., стр. 251, 253, 272, 273.

Бюффонъ, Георгъ Людвигъ Деклеркъ, 1707—1788, знаменитый французск. естествоиспытатель, авторъ «Естественной Истории», 36 частей, 1749—1788.

В.

Вакх, Бахусъ, Дионисій, Liber, сынъ Зевса и Семелы, божъ вина и винодѣлія, покровитель растительности вообще, производитель цвѣтовъ и плодовъ; другъ музъ и покровитель ихъ искусствъ; драма и дженрамы обязаны своимъ происхожденіемъ его культу, стр. 12, 79, 86, 146.

Валафридъ Страбонъ, аббатъ изъ Рейхенау, ум. 849 г., стр. 97.

Вальтеръ Скоттъ, род. въ Эдинбургѣ 1771 г., ум. 1832 г., стр. 245, 248, 313.

Ванъ-Гейзумъ, Иоганнъ, р. въ Амстердамѣ 1682, ум. 1749 г., живописецъ, писалъ цвѣты и фрукты, стр. 162.

Ванъ-Оостъ, живописецъ фламандск. школы, р. 1600, ум. 1671 г., стр. 275.

Ванъ-Тулдентъ, Теодоръ, 1633—1686, нидерландскій живописецъ — ученикъ Рубенса.

Ванъ-Дейнъ, Антони (Antonie van Dijk), р. въ Антверпенѣ, 1599, ум. въ Блекфрейерсѣ близъ Лондона 1641 г. Живописецъ фламандск. школы, ученикъ П. П. Руоенса, стр. 275.

Варій, Луцій, эпическ. и трагическ. поэтъ вѣка Августа, другъ Горация и Верги-

лія, воспѣлъ въ эпик. поэмахъ подвиги Августа, написалъ поэму «De Morte» и траг. «Thiastes», стр. 74.

Вейстеръ, Томасъ, англійск. живописецъ, р. 1800 г., стр. 275.

Вельзевулъ — (божество у филистимлянъ) — глава нечистыхъ духовъ, стр. 141.

Венера, Афродита, по Гомеру, дочь Зевса и Дианы; по Гезіоду, произошла изъ морской пѣны и вышла на сушу на о-въ Кипръ; богиня любви и красоты, превосходящая всѣхъ богинь изяществомъ и прелестью; богиня брака, покровительница мореплаванія, стр. 138, 171.

Виландъ, Христофоръ Мартинъ, 1733—1813, нѣмцкій писатель, критикъ и журналистъ, стр. 216, 218, 343.

Виргилій (Вергилій), Маронъ, Публий, знаменитый римскій писатель, род. за 70 до Р. Хр., ум. въ 19 г. до Р. Хр., авторъ «Буколликъ» (небольшія пастушескія поэмы), «Георгикъ» (картины сельской жизни и дѣятельности) и «Энеиды». «Энеида», героическая поэма въ 12 пѣсняхъ, воспѣваетъ приключенія Энея, который, поклонивъ Трою, въ сопровожденіи сына Асканія, жены Креуса и отца Анхиза, отправляется съ уцѣлѣвшими троичанами на двадцати корабляхъ и приходитъ въ Лациумъ (Италія). Сынъ Энея, Асканій, построилъ городъ Альбу-Лонгу; младшій братъ его Сильвій былъ родоначальникомъ албанскаго царскаго рода, изъ котораго произошелъ Ромулъ и Ремъ, основавшіе Римъ. «Энеидой» начинается длинный рядъ подражаній греческимъ національнымъ поэмамъ — «Илиадѣ» и «Одиссеѣ». Написанная блестящими стихами, она бѣдна дѣйствіемъ и характерами и страдаетъ натянутаю припрочеваемъ къ Августу, какъ потомку рода Юліевъ, которые происходили отъ Энея. Въ «Энеидѣ», какъ произведеніи искусственномъ и тенденціозномъ, нѣтъ и тѣни простоты, непосредственности и величія Гомера, стр. 74, 97, 166, 171, 172, 247, 248, 342.

Витрувій Полліонъ, Маркъ, римск. архитекторъ, жилъ при Августѣ и Тиберіи («De architectura»), стр. 89.

Владиміръ — Красное Солнышко, ласковый князь кievскій, вокругъ котораго собираются южно-русскіе богатыри (богатыри «владимірова цикла»), стр. 332.

Вольтеръ, Франсуа Мари Арузъ, 1694—1778, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и разнообразнѣйшихъ французск. писателей прошлаго вѣка, авторъ героической поэмы «Генриада», въ которой воспѣвается Генрихъ IV, трагедій — «Эдипъ», «Брутъ», «Смерть Цезаря», «Катилина», «Триумфъ», «Орестъ», «Меропя», «Заиръ», «Альзира», «Магометъ», «Семпримидъ», «Танкредъ», романовъ — «Задигъ», «Капдидъ» и др., историческихъ сочиненій, статей по

различным вопросам религии, политики и нравственности и пр., стр. 137, 150, 182, 193, 195, 205, 206, 203, 209, 220, 247, 250, 324, 343.

Вольф, *Фридрих-Август*, 1759—1824, нѣмецк. критик и филологъ („Prolegomena ad Homerum“). См. Гомеръ, стр. 341.

Вулканъ, см. Гефестъ, стр. 171.

Г.

Гадрианъ, римск. императоръ, р. 76 г., ум. 138 г., стр. 88.

Галлеръ, *Альбрехтъ*, разносторонний ученый, поэт и государственный человекъ, род. 1708 в Бернѣ, ум. 1777 г. («Gedichte», «Elementa physiologiae corporis humani»).

Гамбургская Драматургия, см. Лессингъ.

Гамлетъ, трагед. Шекспира, стр. 55, 111, 203, 314, 319, 362.

Hanswurst, см. Пикельгерингъ.

Гармония, см. Ритмъ.

Гарпагонъ, — типъ скряги, гл. дѣйств. лицо въ комедии Мольера: «Скупой», стр. 294.

Геба, Juventas, олицетворенная юная юность, дочь Зевса и Геры, служительница боговъ, наливающая пия нектаръ, живущая въ бракѣ съ обоготвореннымъ Геракломъ, стр. 160, 161.

Гегель, *Георгъ Вильгельмъ Фридрихъ*, нѣмецк. философъ, род. 1770, ум. 1831 г. стр. 254.

Гегемонъ Фасійскій, писалъ пародіи на эпическія произведенія («Гигантомахія»). Жилъ во время Пелопонесской войны, стр. 22.

Гезіодъ, эпическій стихотворецъ, жившій, по господствовавшему у древнихъ мнѣнію, или въ одно время съ Гомеромъ, или даже до него; развивалъ серьезный созерцательный родъ дидактическаго эпоса. По дѣ его именемъ сохранились — «Opera et dies» (мѣны, басни, описаніе сельскаго хозяйства, изреченія), «Θεογονία» (о началѣ міра и боговъ), «Scutum Herculis» (борьба Гераклеса съ Киклономъ, сыномъ Арея), стр. 15, 252, 339.

Гейнзійусъ, *Даніель*, 1580—1655, филологъ и критикъ, издатель мног. греческ. и римск. писателей (Гезіода, Горація, Виргилія, Овидія, Теренція и др.), с. 123.

Гейне, *Генрихъ*, р. 1799, ум. 1853, нѣмецк. лирическій поэтъ, завершившій собою романтическое направление («Путешествіе въ Кельнаартъ», «Миръ») и поставившій поэзію въ живую связь съ современной дѣйствительностью, стр. 248, 364.

Гекуба, жена троянскаго царя Пріама, мать Гектора и Париса; по разрушеніи Трои, рабыня грековъ, бросилась съ отчаяніемъ въ море. — Гекуба — главный дѣйствующее лицо трагедіи Эврипида того же имени, стр. 148, 344.

Геліодоръ, греческій эротич. писатель конца IV в. по Р. Х.

«Гелла», — трагедія, вѣроятно, Эврипида. Содержаніе не извѣстно, стр. 35.

Гемерлинъ, *Феликсъ*, род. 1839 в Цюрихѣ, ум. между 1457 и 64 г., возставалъ противъ безпорядочной жизни духовенства и чрезмѣрныхъ правъ дворянства, стр. 97.

Гемонъ, дѣйств. лицо въ «Антигонѣ» Софокла, стр. 34, 65.

«Генриада», см. Вольтеръ, стр. 343.

Генрихъ III, кор. французскій, род. 1551, ум. 1589, стр. 135.

«Георгини», см. Виргилія.

Гераклеи — празднества въ честь Геракла; — сказанія, восхвалявшія, еще до Гомера, подвиги Геракла. *Гераклеида* — поэма *Писандра* и *Панасія*; не дошла до насъ. — *Гераклиды* — потомки Геракла, стр. 29.

Гераніа — названіе города, встрѣчающееся весьма часто (въ Визоніи, Македоніи, Фракіи и др.), стр. 12.

«Гераклии», трагедія Корнелия, стр. 123, 129, 222.

Геранлъ, *Геркулесъ*, національный герой грековъ, который, родившись отъ Зевса и смертной женщины, оларенный могучею силою, исполнилъ самыя тяжелыя работы на землѣ, очистилъ свѣтъ отъ чудовищъ и разнаго рода бѣдствій, а затѣмъ взомель на Олимпъ и достигъ безсмертія, стр. 29, 92.

Гердъ, *Ричардъ*, 1720—1808, англійскій ученый; кромѣ богословскихъ и философскихъ сочиненій написалъ комментарии къ Агъ роетъ. Горація; къ нему приложены и разсужденія о различныхъ областяхъ драмы, стр. 212.

«Германъ и Доротея» (1797) — идиллія Гёте, стр. 316.

Геродотъ, «отецъ исторіи», древн. греч. писатель, род. между 490—480, ум. около 424 г. до Р. Х., стр. 29.

Геснеръ, *Саломонъ*, швейцарецъ, 1730—1787, поэтъ и живописецъ («Daphnis», «Идиллія», «Смерть Авеля» и др.), с. 306.

Гете, *Іоаннъ Вольфгангъ*, род. 1749 во Франкфуртѣ на М., ум. 1832 г., стр. 248, 256, 260, 270, 282, 284, 293, 303, 314, 316, 334, 365, 366.

Гефестъ, *Вулканъ*, сынъ Зевса и Геры, въ древнѣйшее время служилъ выраженіемъ могучей стихіи огня, проявляющейся преимущественно въ вулканическихъ стражахъ; издѣлѣ, на Олимпѣ, искусный художникъ, обрабатывающій металлы, стр. 18.

Гиганты, или Спарти, имѣли на тѣлѣ знакъ козлы.

«Гиппий Большой», одинъ изъ диалоговъ Платона. См. Платонъ. Гиппий изъ Элиды, софистъ, современникъ Сократа, осмѣянный въ названномъ выше диалогѣ Платона, стр. 6, 7, 9.

Глостеръ — дѣйствующ. лицо въ траг. Шекспира: «Ричардъ III».

Гобзень, дѣйств. лицо въ романѣ Бальзака, стр. 294.

Гоголь, *Николай Васильевичъ*, 1308—1852, стр. 236, 257, 271, 352.

Гомериды — школа пѣвцовъ, которые читали Гомера, какъ своего основателя, и заботились о сохраненіи и распространеніи гомеровскихъ произведеній. Имя «гомеридовъ» перешло потомъ на всѣхъ пѣвцовъ, которые передавали гомеровскія произведенія, на гомеровскихъ рапсодахъ. — По мнѣнію, отвергающему историческую личность Гомера, — гомериды — пѣвцы, создавшие поэмы (рапсода), изъ которыхъ позднѣе составились «Иліада» и «Одиссея», стр. 18.

Гомеръ, по преданію, древнѣйшій греческій поэтъ, которому приписываютъ «Иліаду» и «Одиссею», — общепринятая національная пѣсня о троянской войнѣ и о странствованіяхъ Одиссея; время жизни его относятъ за 1000 или 900 л. до Р. Х. Личность Гомера, уже въ древности представлялась до того баснословною, что болѣе семи городов и острововъ спорили между собою о чести быть его родиной. Уже одно имя Гомера (производимое отъ греч. *гомосъ* и *гомосъ*) указываетъ на то, что на него можно смотрѣть скорѣе какъ на общее обозначеніе всей эпической поэзіи, чѣмъ какъ на указаніе на дѣйствительную личность, и уже въ александрийскомъ періодѣ существовали частныя отрывочныя сомнѣнія относительно составленія гомеровскихъ пѣсенъ однимъ лицомъ. Въ новѣйшее время нѣмецк. филологъ Ф. А. Вольфъ привелъ эти сомнѣнія въ опредѣленную систему. Онъ утверждаетъ, что «Иліада» и «Одиссея» сложились постепенно изъ разныхъ отдѣльных рапсодій (пѣсенъ). Взглядъ Вольфа, раздѣляемый далеко не всѣми учеными, развивали далѣе Лакманъ, Гофманъ, Курціусъ, Кёхль и др., стр. 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 41, 54, 67, 74, 82, 161—163, 167, 169, 170, 173, 175, 216, 309, 316, 318, 332, 335, 339, 340, 342, 343, 352.

Гонтгорстъ, *Гергардъ*, нидерландскій живописецъ, р. 1592, ум. 1660.

«Горацій», см. Корнель, стр. 315.

Горацій, *Флаккъ Квинтъ*, р. 65 до Р. Х., ум. 8 г. до Р. Х., римскій поэтъ, лирикъ. Заслуга Горація, какъ поэта, состоитъ въ томъ, что онъ перенесъ на почву Латіи и Италіи лирическую поэзію въ ея лучшихъ и изысканнѣйшихъ формахъ, которыми до этого времени отличалась только греческая поэзія. Достоинство гораціевой поэзіи — въ правдивости чувствъ, благородствѣ идей, естественности мыслей и, главное, въ простой и вполнѣ соответствующей содержанію формѣ, стр. 72, 97, 114, 115, 116, 125, 247, 315.

Горацію, дѣйствующее лицо въ трагедіи Шекспира: «Гамлетъ», стр. 362.

Горіо, дѣйств. лицо въ романѣ Бальзака, стр. 314.

«Горгій», — одинъ изъ диалоговъ Платона, стр. 14.

«Горе отъ ума», комедія Грибоедова, с. 271.

«Государство» — соч. Аристотеля, стр. 41, 44, 47.

Готспортъ, *Генрихъ Перси*, дѣйств. лицо въ трагед. Шекспира: «Генрихъ Четвертый», ч. 1-я, стр. 314.

Готшалъ, *Рудольфъ*, р. 1823 г., нѣмецк. поэтъ и ученый («Poetik», 1358, «Die deutsche Nationalliteratur in der ersten Hälfte der 19 Jahrh.» 1855, и др.), стр. 334.

Готшедъ, *Іоаннъ Кристофъ*, 1700—1767, нѣмецк. писатель, глава лейпцигскихъ литераторовъ, защитникъ французской теоріи искусства въ полемикѣ съ швейцарскими писателями, во главѣ которыхъ стояли Іог. Я. Бодмеръ (1698—1733) и Іог. Я. Врейтингеръ (1701—1776).

Гофманъ, *Вильгельмъ*, р. 1776, ум. 1822, нѣмецк. писатель, авторъ многочисленныхъ фантастическихъ разсказовъ, стр. 270.

Гранде, дѣйств. лицо въ романѣ Бальзака, стр. 294, 313, 315, 320.

«Грандиссонъ», см. Ричардсонъ, стр. 316.

Грибоѣдовъ, *Александръ Сергѣевичъ*, р. 1795 въ Москвѣ, убитъ въ Тегеранѣ, во время бунта, 1829 г., стр. 271.

Григорій Назіанзскій, епископъ, род. 328, ум. 390, стр. 97.

Гриммъ, *Яковъ* (род. 1785, ум. 1863, авторъ «Нѣмецк. грамм.»), «Древностей германскаго права», «Нѣмецкой мнелогіи», «Истор. нѣм. яз.» и Гриммъ *Вильгельмъ* (1786—1859, «Die deutsche Heldensage», «Das deutsche Wörterbuch» и др.), братья, знаменит. нѣмецк. филологи, стр. 333.

Гросвита (*Rosvita*, *Hrosvita*), 935—968, монахиня, писала драмы, въ которыхъ, при религиозномъ содержаніи, старалась подражать Теренцію, стр. 97.

Гуго Гроцій, 1583—1645, историкъ и юристъ (его соч. — «Mare liberum», «De jure belli et pacis», положили начало международному праву), стр. 97.

«Гудибрасъ», см. Бутлеръ, стр. 306.

Гюго, *Викторъ Мари*, род. 1802, французскій поэтъ, драматургъ и романистъ, съ начала тридцатыхъ годовъ — глава школы романтиковъ, стр. 300, 314.

Гюнтеръ, *Іоаннъ Христіанъ*, 1695—1723, нѣмецк. поэтъ, стр. 366.

Д.

Данте, *Алигieri*, итальянскій поэтъ, род. 1265, ум. 1321, обезсмертилъ себя обширною религиозною поэмою («комедіей» — по тог-

дашней терминологии), названной «Боже-ственной комедией», стр. 1, 308, 324.

Дасье, Андре, французский ученый и переводчик (р. 1651, ум. 1722), перевел много греческих и латинских писателей на франц. яз., в том числе и Шитику Аристотеля, стр. 200, 201.

Дасье, Анна (р. 1651, ум. 1720), урожд. Лефебер, супруга Андре Дасье, переводчица классиков; особенно известен ее перевод Гомера, стр. 170.

Дария — герой трагедии Эсхила: «Персы». Деверия, Жан-Жак Мария Аним, французский живописец, рисовальщик и литограф, род. 1800, ум. 1859, стр. 300.

Девтерагонист. см. Протагонист. Дезульер, Антуанетта, 1638 — 1694, французская писательница; особенной известностью пользовались ее пьесы, стр. 247.

Дейнь, см. Ванз-Дейк. Делавинь, Казимир, 1794 — 1843, французский поэт («Мессеянские»), стр. 306, 323.

Делиль, Жакз р. 1732, ум. 1813), французский поэт, переводчик и подражатель Виргилия, автор дидактической поэмы «Homme des champs», стр. 282.

Демодок, действующее лицо в «Одиссее», и. VIII, народн. поэт, воспевавший, в присутствии Одиссея, подвиги последнего и др. греч. героев, стр. 340.

Демонит, греческ. философ, род. ок. 460 г. до Р. Х., ум. 361 г., осмивал глупости людей, учил, что из соединения атомов происходит бесчисленное множество миров и тел, стр. 80, 154.

«Демон», поэма Лермонтова, стр. 369.

Демосфен, величайший из древн. ораторов, род. 384 г. до Р. Х. в Афинах, ум. 322 г. [Речи против Филиппа Македонского («Филиппики»), «Винок» и др.], стр. 92.

Дездемона — действующее лицо в траг. Шекспира: «Отелло», стр. 195, 314.

Дефо (Defoe), Даниэль, английский писатель, род. 1661, ум. 1731, прославился своим романом «Жизнь и приключения Робинзона Крузо», переведенным почти на все европейские языки и вызвавшим бесчисленные подражания, стр. 306.

Дидро, Денис, р. 1712, ум. 1784, корифей модной французской философии XVIII в., энциклопедист, весьма разносторонний писатель. Между его сочинениями есть «Теория драматической поэзии», с. 203, 204, 209, 210.

Диккенс, см. «Кипринос», стр. 36.

Диккенс, Чарльз, английский романист, род. 1812, ум. 1870. В его сочинениях английский юмор нашел себе настоящее выражение. Из произведений Диккенса замечательны: «Очерки Лондона», «Записки Пиквикского Клуба», «Рождественские рассказы», «Давид Копперфильд», «Домби и сын», стр. 294, 313, 315.

Дифирамб — торжественная пьеса в честь

Вакха, которая впервые появилась в древнейшие времена, вместе с культом Диониса, во Фригии или Лидии, и, соответственно одушевленному характеру этого культа, диким, возбуждающим образом прославляла в весенний праздник подвиги и судьбу Диониса.

Диана, Артемиды, дочь Зевса и Лето, сестра Аполлона; она дает свет и жизнь; богиня — охотница, сопровождаемая лесными нимфами, она охотится по лесам и горах. Богиней луны и Гекатой, по мнению некоторых, она сдвинулась лишь после того, как Аполлон сдвинулся солнечным богом. В Спарте долго держался обычай в праздник Артемиды у алтаря ей бить вальчики; так, что алтарь обгорался их кровью; — богиня — кормилица; покровительница стад и лесных животных, стр. 73, 85.

Дидона, или Элиза, дочь тирского царя Агенора, сестра Шималона, основательница Карфагена. Дидона, первоначально, богиня — покровительница карфагенского кремля (финикийская Астарта), преобразовавшаяся в историческое лицо. У Виргилия, Дидона оказывает гостеприимство Энею и погибает на костре, когда любимый ею Эней тайно покидает ее.

Диомид, сын Тидея, один из героев «Илиады», стр. 76.

Дионисий, живописец, последователь Полигnota. См. Полигнот, стр. 22.

Дионис, см. Вакх, стр. 87, 343, 344, 349, 350, 353.

«Домострой», сочин. св. Сильвестра (XVI в.), сборник религиозно-нравственных и житейских правил и, главн. обр., наставлений, касающихся домостроительства, стр. 325.

Донат, Элий, римский грамматик, учил в Риме ок. 355 Р. Х.; писал комментарии к комедиям Теренция, стр. 56, 214.

«Дон-Жуан» (Хуан) или Каменный Гость, драматич. произведение Пушкина, стр. 269.

Дон-Кихот, см. Сервантес, стр. 306, 309, 312, 313, 314.

Дон-Санчо, действ. лицо в трагедии Корнели «Сид», стр. 131.

Дорант — действ. лицо в комедии Корнели «Алекс», стр. 225.

Драйден, Джон, 1631 — 1700, английский драматург и лирик, переводчик Виргилия, Персия, Ювенала; стоял во главе направления, усвоенного школой Бент-Джонсона, стр. 248, 323.

«Драматургия Гамбургская», см. Лессинг. «Древняя Российская стихотворения», старинный (начала XVIII в.) сборник былин и пьес, приписываемый сибирск. казаку Кириллу Данилову, стр. 325, 332.

Дружинин, Александр Васильевич, 1824 — 1864, писатель и критик; перевел тра-

гедии Шекспира: «Король Лир», «Ричард III» и «Король Лир».

Дурий Самийский (Самосский), греч. историк, живший около 250 г. до Р. Х. стр. 43.

Дюма, Александр, род. 1803, ум. 1870 г., французский драматург и романист, с. 300.

Дюсис, Жан Франсуа, 1733 — 1816, франц. драматический писатель, известен преимущественно передьками Шекспировых трагедий, стр. 250, 323.

Е.

Екатерина II, род. 1729; с 1762 г. императрица, ум. 1796 г. стр. 239.

Елена, дочь Зевса и Леды, супруга Менелая, царя спартанского; увезенная Парисом в Трою, она подала повод к троянской войне, стр. 344.

«Елена», картина, см. Зевксис, стр. 171 — 175.

Ермак Тимофеевич, атаман донских казаков (ум. 1584), покоритель Сибири, герой народных пьес, стр. 332.

Ж.

Жиль-Блаз, см. Лесаже, стр. 307.

Жюль, Эмиль, франц. драматург, род. в Париже 1532 г., ум. 1573 г. Первый начал, в подражание древним, писать трагедии с участием хоров («Oeuvres et Mélanges poétiques», 1574), стр. 139.

«Жюль Данден», или озадаченный муж, комедия Мольера, представленная в первый раз в 1668.

Жюль Занд, литературное имя французской писательницы Авроры Дюдеван (1804 — 1876), автора многочисленных романов, повестей и др. (Indiana, Léone Léoni, Jacques, Lelia, Spiridon, Horace, Consuelo, La comtesse de Rudolstadt, и мн. др.) стр. 294, 315, 316.

Жюффруа-Сент-Илер, Этьен, 1772 — 1844, знаменитый французский зоолог, стр. 289.

Жюновский, Василий Андреевич, р. 1783, ум. 1852 г., стр. 236, 240.

З.

Загоскин, Михаил Николаевич, романист и драматург, р. 1789, ум. 1852, стр. 259.

Зевксис, знаменитый греческий живописец, ум. ок. 400 до Р. Х. Известнейшие его картины «Пенелоп», «Алекс», «Юпитер на троне», «Елена». Ни одна из них не дошла до нас, стр. 27, 171.

«Заира», траг. Вольтера, стр. 192.

Зигфрид (Зигурд) — один из героев пьес сказаний о «Нибелунгах» (XII — XIII в.), стр. 316, 341.

И.

Игорь Святославич (ум. 1202), кн. северский, восставший в «Слове о полку Игореве», стр. 332.

Идоменей, царь критский, один из героев «Илиады», стр. 140.

Изегрим (волк), герой древне-пьемонт. парод. сказаний и действующее лицо в поэме Гете: «Рейнские-песни», стр. 339.

Иксон, царь лапидов, был наказан Зевсом за покушение на любовь Геры: в подземном царстве, привязанный руками и ногами к огненному колесу, он безустанно вращался вместе с ним. Иксон дал содержание трагедиям Эсхила, Софокла, Еврипида, стр. 33, 76.

Икитий, греческий архитектор времен Перикла (430 до Р. Х.). Его важнейшими сооружениями считаются храм Деметры и Персефоны в Елевсини, храм Аполлона Эпикурия в Фигалии и Паросеон, стр. 276.

«Илиада» см. Гомер, стр. 24, 29, 35, 39, 41, 67, 173, 247, 340, 341, 344, 361.

Илий, Илий, см. Троа. «Илий» есть название четырех потерянных трагедий — Агафона, Гофона, Клефона и Никомеха, стр. 39.

Ино, дочь Кадма и Гармонии, воспитательница Вакха. Она намеревалась убить Фрикса и Геллу, детей Агамас от первой жены Нефелы. Дети бежали на золоторуном баране. Гелла во время бегства упала в море, поучившее по ее имени название Геллеспонта; Фрикс благополучно достиг берега и принес барана в жертву («Золотое Руно»), стр. 76.

«Игрок», комедия, см. Реньяр, стр. 211, 212.

Имоджена, действующее лицо в драме Шекспира «Цимбелин», стр. 315.

Ифест, см. Гефест, стр. 18.

Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Когда безвзвешенно, испосланное Артемидой, разгневанной на Агамемнона или Менелая, не позволяло грекам, стоявшим в таверне Авлиды, пуститься в поход на Трою, прорицатель Калхант объявлял, что Ифигения должна быть принесена в жертву богини. Просьбы Менелая убийли Агамемнона послать за дочерью, пох предлогом обручения ее с Ахиллесом, и привести ее в жертву. Но в самый момент заклания, Артемиды поставила на место Ифигении лань, а ее на облак унесла в Тавриду, чтобы сдлать там своею жрицей. Там она в течение долгого времени совершала обряд жестокого культа Артемиды Таврической, до самого прибытия ее брата Ореста, прибывшего на берег Тавриды с целью унести в Грецию статую Артемиды. Ифигения бжала с ним и вернулась в Грецию, стр. 31, 35, 66 — 68, 152.

„Ифигения“, трагед. Гёте, с. 282, 284, 316.

I.

Ю, дочь аргивского царя Инаха; превращенная ревнивою Герой в корову и преследуемая сальпинами, странствовала по всей земле, пока в Египтѣ снова не получила человеческого образа, стр. 76.

Юаннъ Салисбурійскій, епископъ, р. 1110 г. въ Салисбурѣ, ум. 1182 г., стр. 97.

Юаннъ Сенундусъ, собственно *Янъ Николай Эверардъ*, род. 1511 г. въ Гагѣ, ум. 1536 г. въ Утрехтѣ. Соч. его «*Basia*», стр. 97.

Юнаста, дѣйств. лицо въ траг. Софокла: «*Эдипъ Царь*», стр. 67, 124.

Юонъ—диалогъ, приписываемый Платону, стр. 6, 11, 12.

Юсифъ Второй, импер. германскій, род. 1741 г., ум. 1790 г.

Юрдансъ, *Яковъ*, нидерландскій живописецъ, род. 1594 г., ум. 1678 г., стр. 275.

«Юсифъ»—«прохладная» комедія, стр. 113.

K.

Кадмъ, сынъ финикійскаго царя Агенора и Телефассы, отыскивая свою сестру Европу, похищенную Зевсомъ, прибылъ въ Беотию, основалъ гор. Фивы, учредилъ религиозные обряды, научилъ письму, употреблению металлоу. Кадмъ, какъ и жена его Гармония, обратился въ дракона и вступилъ въ Египетскія поля, стр. 77.

Кальдеронъ, донъ-Педро, р. 1600 г., ум. 1681 г., считается величайшимъ поэтическимъ гениемъ Испаніи. Разнообразныя и многочисленныя драматич. произведенія его, проникнутыя христіанскими воззрѣніями на жизнь, страдаютъ иногда фанатической нетерпимостью ко всему некаatholicкому, стр. 1, 226, 308.

«Кандидъ или лучший изъ міровъ» — ром. Вольтера, стр. 309.

Каразинъ, *Николай Михайловичъ*, род. 1765 г., ум. 1826 г., стр. 236, 240.

Карнинъ, Старшій (изъ Сициліи), его сыновья и внуки, Карнинъ Младшій,—всѣ были плохіе поэты. Последнему (жилъ ок. 100 олимп.) приписываютъ 160 драмъ. Его слогъ, заимствованный у Эврипида, богатъ блѣдыми, безвкусными сентенціями; стихосложение вялое и небрежное. Аристотель указываетъ на ошибку Карнина: послѣдній не приготовилъ зрителей къ выходу Амфіарая; они знали, что Амфіарай во храмъ, — и вдругъ онъ появляется на сценѣ. См. *Θιστῆς*, стр. 86, 37.

Карль Великій, 742—814, франц. король, съ 800 г.—римскій императоръ, стр. 103, 110, 341.

Карль II, 1630 — 1685, король англійскій

(возстановленіе монархіи; «*Nabeas Corpus*»), стр. 313.

Насцелій Авль, римскій юристъ, замѣчательный ораторъ, современникъ Цицерона, противникъ Цезаря, стр. 82.

«Натонъ» — трагед. Алдисона.

Натонъ, *М. Порцій*, бывшій цензоръ, одинъ изъ величайшихъ мужей древняго Рима, даже въ преклонныхъ лѣтахъ писалъ о различныхъ предметахъ, напр. о земледѣліи, для чего долженъ былъ создавать несуществовавшія до того выраженія и обогащать такимъ образомъ рѣчь отцовъ. Въ этомъ смыслѣ упоминаетъ о немъ Гораций въ посланіи къ Цизоніамъ, с. 59, 74, 209, 211, 215.

Нвеллингъ (*Koeslinusъ Эразмъ*), художникъ фламандской школы, род. 1629 г., ум. 1715 г.

«Кентавръ» — рансодія, соч. Херемона. — Кентавровъ представляли на-половину людьми, на-половину лошадьми. Вслѣдствіе ихъ смѣшаннаго характера, родственнаго съ зѣброобразными сатирами, и вслѣдствіе ихъ страсти къ вину, ихъ включили въ свиту Діониса (Вакха), стр. 22.

Ниллины, или киклическіе поэты, писавшіе въ гомеровскомъ родѣ, старались связать свои произведенія съ Илиадою и Одиссеею такимъ образомъ, чтобы всѣ вмѣстѣ составляли одно большое мѣлологическое цѣлое изъ круга троянскихъ и родственныхъ сказаній, стр. 342.

«Киприанъ» — трагед. Диксотега, описывала возвращеніе Тевкра на островъ Саламинъ по смерти Тезомона, который изгналъ его изъ этого острова; входъ въ отеческій домъ, онъ увидѣлъ картину, изображавшую Тезомона, и заплакалъ. Хоръ трагедіи состоялъ изъ киприанъ, спутниковъ Тевкра, стр. 36.

Киреевскій, *Петръ Васильевичъ*, † 1856 г., изслѣдователь русской старины и народнаго быта («*Пѣсни*», въ 10 вып.), стр. 333.

«Киръ Великій», см. Скюдери, стр. 305. Кифаристина — искусство играть на кифарѣ (гитарѣ), цитрѣ.

«Кларисса», см. Ричардсонъ, стр. 316.

«Клеія», см. Скюдери, стр. 305. Клеопатра — дѣйств. лицо въ трагед. Корнелия «*Ролоюна*». — Клеопатра, сирійская царица, П в. до Р. X., дочь Птолемея V Филометора, извѣстна своей жестокостію, стр. 117, 123, 126, 127, 186, 188, 198, 219, 224, 314.

Клефонъ, трагич. поэтъ аѳинскій, жилъ во времена оклократіи, изображалъ обыкновенные характеры обыденнымъ языкомъ. Трагедіи его осмѣяны Аристофаномъ («*Лагушки*, «*Θεσμοφορν*»), стр. 22.

Клитеместра, супруга Агамемнона, мать Ифигеніи, Электры, Ореста, который умертвилъ ее въ отмщеніе за смерть отца, убитаго ею и Эгисфомъ. См. *Θιστῆς*, стр. 34, 117, 247.

Клопштокъ, *Фридрихъ Готтлибъ*, 1724—

1803, нѣмецкій поэтъ, авторъ поэмы «*Мессіада*», воспѣвающей жизнь и дѣянія Мессіи. стр. 343.

«Книга Царей» («*Шахъ-наме*») — поэма персидскаго поэта Фирдуси (Абуль-Каземъ-Мансура), стр. 316.

Коріоланъ, дѣйств. лицо въ трагедіи того же имени, Шекспира, стр. 314, 319.

Корнель, *Пьеръ*, род. 1606 г., ум. 1684 г. Началъ свое драматическое поприще весьма обыкновенными комедіями, потомъ дебютировалъ, какъ трагикъ, пьесой «*Медея*», написанной въ подражаніе Сенеки, и достигъ большаго значенія только своею трагедіею «*Сидъ*» («*le Sid*, 1636). Въ слѣдующихъ своихъ пьесахъ, какъ «*Горацинъ*», «*Цинна*», «*Поліевктъ*», «*Смерть Помпея*», «*Донъ Санчо д'Арагонъ*», которыя всѣ имѣютъ передъ «*Сидомъ*» достоинство оригинальности, — Корнель вполне сдѣлалъ стѣснительныя псевдо-античныя правила. Изъ комедій выше ставится его «*Лжецъ*» («*le menteur*»); изъ его трагедій французская критика считаетъ образцовыми его «*Горациевъ*», «*Цинну*», «*Поліевкта*» и «*Родогуну*». Позднѣйшія произведенія Корнели, напр. — «*Эдипъ*», «*Серторій*», «*Ото*», «*Агезилая*», «*Аттила*», «*Береника*», «*Пульхерія*» и др., Шлегель справедливо называетъ разсужденіями въ разговорной формѣ о государственной политикѣ въ томъ или другомъ затруднительномъ случаѣ, с. 114 и сл., 186, 219—225, 248, 250, 315.

«Королевскія идилліи», см. Теннисонъ.

Кратей (*Crates*), поэтъ аѳинскій, жившій ок. 80 олимп., представитель особаго направленія въ древней аттической комедіи. Онъ первый оставилъ насмѣшки надъ отдѣльными личностями и сталъ создавать сюжеты и характеры, имѣвшие общее, а не частное, личное значеніе.

Кребильонъ, *Просперъ Жюмо де*, старшій французскій драматургъ, род. 1674 г., ум. 1764. (Трагедіи: «*Rhadamiste*» (1711), «*Atrée*», «*Catiline*» и др.) стр. 250.

Крейеръ, *Гастаръ*, 1582—1669, голландск. портретистъ и историческій живописецъ, стр. 275.

Креонъ — дѣйствующ. лицо въ тр. Софокла: «*Антигона*», «*Эдипъ-царь*», с. 36, 65.

Кромвель, *Оливеръ*, 1599—1658, протекторъ соединенныхъ республикъ — Англіи, Шотландіи и Ирландіи, стр. 320.

Кронъ, *Сатурнъ*, сынъ Урана и Геи, низвергшій своего отца и присвоившій господство надъ міромъ. Онъ сочетался съ своею сестрою Реей, отъ которой родился Гестія, Деметра, Гера, Гадесъ, Посейдонъ и Зевсъ. Такъ какъ Гея предсказала ему, что онъ будетъ низвергнутъ съ престола однимъ изъ дѣтей своихъ, то онъ поглотилъ ихъ точь-въ-точь послѣ рожденія, за исключеніемъ Зевса, котораго спасла Рея. Зевсъ низвергъ своего отца, принудилъ его, при помощи

искусства Геи, прыгнуть поглощенныхъ имъ дѣтей и заключилъ его въ Тартаръ.

Ксенархъ, сынъ Софрона, писалъ мнимы, какъ и его отецъ; жилъ во время Діонисія Старшаго, стр. 22.

L.

Лагарпъ, *Жанъ Франсуа*, р. въ Парижѣ 1739, ум. 1803. Написалъ «*Cours de litterature*», нѣсколько трагедій въ ложно-классическомъ стилѣ, стр. 141, 247.

Лай, см. Эдипъ, стр. 69, 124.

Ламія, въ мѣлологіи римлянъ — почтой злой духъ, высасывавшій кровь у людей и пожравшій ихъ, стр. 82.

Лаокоонъ, сынъ Антенора или Акоста, жрецъ Аполлона въ Троѣ, одинъ изъ героевъ послѣ-гомеровскихъ сказаній. По эпосу Арктина (жилъ ок. 1-й Олимп., авторъ поэмы: «*Эвюпида*», вторая часть которой повѣствуетъ о разрушеніи Трои) выходилъ, что въ то время, когда греки, оставивъ деревяннаго коня, ушли отъ Трои, и троянцы праздновали жертвоприношеніями и пирами освобожденіе свое отъ бѣдъ войны, Лаокоонъ (или, правильнѣе, Лаокоонтъ) былъ вмѣстѣ съ однимъ изъ сыновей своихъ удушенъ двумя внезапно появившимися змѣями, потому что онъ раньше еще оскорбилъ Аполлона и затѣмъ при жертвоприношеніи Посейдону дѣйствовалъ въ качествѣ жреца. Это значеніе побудило Энея оставить Трою и удалиться на Иду. У Софокла, написавшаго также трагедію Лаокоонъ (нынѣ утраченную), онъ называется братомъ Анхиза и умерщвляется змѣями вмѣстѣ съ обоими своими сыновьями, во время жертвоприношенія Посейдону на морскомъ берегу, за то, что онъ, будучи жрецомъ Аполлона, жепился противъ его воли. Виргилій рассказываетъ объ этомъ, нѣсколько отступая отъ греческихъ источниковъ. Оставляя въ сторонѣ всякое отношеніе этого сказанія къ Аполлону и Энею, онъ представляетъ намъ исторію Лаокоона въ слѣдующемъ видѣ: Лаокоонъ болѣе всѣхъ возмущаетъ противъ намеренія троянцевъ ввести деревяннаго коня въ городъ и посвятить его Аѳинѣ, чтобы испытать, не скрывается ли что-либо въ немъ, вознаежаетъ копье въ его бокъ. Затѣмъ, когда онъ на морскомъ берегу приноситъ въ жертву быза Посейдону, подливаютъ изъ Тенедоса по морю двѣ огромныя змѣи, думать его съ обоими его сыновьями и скрываются въ акрополь подъ статуею Аѳины. Въ этомъ чудѣ троицы видятъ подтвержденіе словъ Сиона о священномъ назначеніи коня служить очистительною жертвою за оскорбленіе греками святыни Аѳины и принимаютъ рѣшеніе ввести его въ городъ, послѣ чего скоро наступаетъ гибель Трои. — Смерть Лаокоона и обоихъ сыновей его

изображается в сохранившейся группѣ, найденной в 1506 г. в Римѣ и находящейся нынѣ в Бельведерѣ Ватиканскаго дворца. Это знаменитое произведение извѣстно родосцамъ Агесандромъ, Полидоромъ и Агесандромъ, время жизни которыхъ не извѣстно. Между тѣмъ какъ Винкельманъ и др. относятъ это произведение ко временамъ Александра Вел., а Тиршъ и др. ко временамъ Римской имперіи, другіе, какъ кажется, справедливо относятъ его ко времени процвѣтанія родосской школы въ царствованіе диадоховъ (преемниковъ Александра, 250—200 г.) стр. 150 и сл.

«Лаокоонъ или о границахъ живописи и поэзіи», см. Лессингъ.

Лафайетъ, графиня, род. 1632, ум. 1693 г. французская романистка, стр. 294.

Лафонтенъ, Жан-де, 1621—1695, французскій баснописецъ («Contes», «Fables»). с. 324.

Лакманъ, Карл, 1793—1851, нѣмецк. критикъ и филологъ. См. Гомеръ, стр. 341.

Леда, дочь Фетиды. По позднѣйшему мнѣю Зевсъ снизошелъ въ видѣ лебедя къ Ледѣ, которая слезла на землю, — изъ этого вышла Елена, изъ другаго Касторъ и Полидевкъ, стр. 76.

Леонидъ, лицо упоминаемое въ статьѣ Карамзина: «Чувствительный и холодный».

Леонора, дѣйств. лицо въ трагед. «Сидъ» Корнеля, стр. 181.

Леонъ, дѣйствующее лицо въ драмѣ Шекспира «Зимняя сказка», стр. 314.

Леонъ—герой повѣсти Карамзина: «Рыцарь нашего времени», стр. 240.

Лепидъ, Эмилиа, основатель глadiatorской школы. Около этой школы, близъ форума, находились мастерскія и лавки второстепенныхъ скульпторовъ и литейщиковъ. Гораций (Посл. къ Пизонамъ, ст. 32) приводитъ такого литейщика въ примѣръ того положенія, что самый бездарный художникъ можетъ добиться прилежаніемъ извѣстной ловкости въ воспроизведеніи подробностей, будучи неспособенъ управлять цѣлымъ, с. 73.

Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ, р. 1814, ум. 1841 г., стр. 244, 364, 365, 369—370.

Лесанъ, Аленъ Рене, франц. поэтъ, р. 1668, ум. 1747 г. Приобрѣлъ большую извѣстность своими комич. роман. «Le diable boiteux» и «Gil Blas de Santillane», стр. 307.

Лессингъ, Готтгольдъ Эфраимъ, 1729—1781, поэтъ и знаменитый критикъ. Его «Лаокоонъ или о границахъ живописи и поэзіи» (1766) и «Гамбургская Драма-тургія» (1767—68) положили основаніе эстетической критикѣ. «Лаокоонъ» установилъ границу между пластическими искусствами и поэзіей и устранилъ господство принципа поэтической живописи; «Драма-тургія» противопоставила господству французскаго (ложно-классич.) направленія и открыла нѣмецкую сцену для оригинальныхъ произведеній. Правильное толкованіе ученія Ари-

стотеля дало возможность Лессингу поставить на одинаковую высоту Софокла и Шекспира и указать на нихъ, какъ на великіе образцы.—Реформа Лессинга въ драматургіи начинается его мѣщанской трагедіей «Миссъ Сара Сампсонъ» (1755) (противъ французской теоріи) и упрочивается послѣдовавшими за нею драмами. «Мишна фонъ—Барнгеймъ» (1763), комедія въ прозѣ, — первое чисто-національное произведение, появившееся на нѣмецкомъ театрѣ; трагедія «Эмиліа Галлотъ» (1772), показала, что трагическое вовсе не состоитъ въ безмѣрномъ накопленіи ужасовъ, какъ это было въ произведеніяхъ одностороннихъ послѣдователей Шекспира; взгляды Лессинга на нравственное, гуманизирующее, дѣйствіе поэзіи нашли осуществленіе въ послѣднемъ его поэтическомъ произведеніи—комедіи «Натанъ Мудрый» (1779).—Полнѣйшее и лучшее изданіе соч. Лессинга принадлежатъ Лакману. Берлинъ, 1839—40, 13 томовъ, стр. 44, 48—51, 55, 59, 63, 65, 150 («Лаокоонъ»), 180 («Драма-тургія»), 181—182, 185, 191, 192, 198, 201, 202, 214, 218, 245, 248.

«Лянецъ», ком. Корнеля.

Лизинъ прудъ—прудъ, въ которомъ утопилась Лиза, героиня извѣстной сантиментальной повѣсти Карамзина: «Бѣдная Лиза» (1792). Прудъ этотъ находится около Симонова монастыря въ окрестн. Москвы, стр. 240.

Линуръ, спартанскій законодатель; мнѣсіе сказанія жизнь его относятъ къ IX ст. до Р. X. стр. 18, 88.

Лили, Джонъ, р. 1553, ум. ок. 1600, англійскій писатель («Euphues the anatomy of wit», «Euphues and his England» и др.) с. 306.

«Линкей», гр. Теодекта.—Когда Данаи приказалъ дочерямъ своимъ перебить жениховъ, сыновей Египта, Гипермнестра спасла своего жениха Линкея; Данаи узнавъ объ этомъ и хотѣлъ казнить Линкея, но вмѣсто того самъ былъ убитъ, стр. 31, 38.

Лиръ, главное дѣйств. лицо въ трагедіи Шекспира: «Король Лиръ». См. Шекспиръ, стр. 55, 111, 176, 229, 294, 314.

Лопе де Вега, род. 1562, ум. 1635, замѣчательнѣйшій лирикъ, эпич. и особенно драматич. писатель, предшественникъ Кальдерона, «чудо природы» по изумительной производительности (21 томъ различн. соч., кромѣ драматич.; 1500 комедій, и кромѣ того 400 аутоусъ (мистерій) и множество мелк. драм. произвед. стр. 1, 226, 308.

Лукианъ, греческ. писатель, род. ок. 120 г. до Р. X. въ Сирійскомъ городѣ Самосатахъ. Многостороннюю авторскую дѣятельность этого даровитаго сатирика можно охарактеризовать, называя его Вольтеромъ своего времени; Лукианъ показываетъ весь процессъ разложенія античнаго общества съ такимъ знаніемъ и остроуміемъ, какъ никто изъ его современниковъ.

Людовикъ XIV, 1643—1715, король французскій, стр. 135, 247, 277, 281.

Людовикъ XVI, король французск., р. 1754 г., въ 1793 погибъ на эшафотѣ, стр. 320.

М.

«Магабгарата», индійская поэма, написанная на санскритскомъ яз. поэтомъ Виассомъ, стр. 286, 336.

Магнетъ и Хіонидъ, жили во время персидскихъ войнъ. Послѣдній упоминается, какъ аттичскій комикъ, стр. 23.

Манбетъ, ледъ, дѣйств. лицо въ траг. Шексп. «Макбетъ». См. Шексп. стр. 229, 314, 319.

Манонъ-Леско, см. Прево д'Экзиль, с. 307.

«Манфредъ», см. Байронъ, стр. 269.

Маритъ (какъ нариц.—глухой), герой народн., ложно приписываемой Гомеру, с. 24, 41.

Марини, Джамбатиста, 1569—1625, итальянскій писатель, представитель напыщенной поэзіи, авторъ поэмы «Адоне» («Адонисъ»), стр. 306.

Марлинскій, псевдонимъ Александра Александровича Бестужева, род. 1795, ум. 1837, стр. 241.

Марлоу, Кристофоръ (Christoph. Marlow), ум. 1598, англійскій писатель трагедій, предшественникъ на этомъ поприщѣ Шекспира, стр. 111, 275.

Мармонтель (Jean François Marmontel) франц. писатель, р. 1723 ум. 1799. По словамъ I. Шерра, непрямо-прямоторный болтушъ, который въ своихъ «Нравственныхъ разсказахъ» называлъ всякаго рода развратъ скользкою софистикою чувства и такую дерзость онъ и другіе выдавали за нравственность.

Марсъ, Аресъ, богъ войны, сынъ Зевса и Геры, стр. 83, 241.

Массингеръ, Филиппъ, 1594—1640, англійскій драматич. писатель, стр. 275.

Матвѣй, 1557—1619, нѣмецкій императоръ, стр. 110.

Маффеи, Францискъ Сципионъ, 1675—1755, итальянскій писатель и ученый, стр. 195.

Маццолла, Франческо, р. 1503, ум. 1540, итальянскій живописецъ венеціанской школы, прозванный малымъ Рафаэлемъ.

Медея, дочь Этея, царя Колхиды, искусная въ чародействахъ. Когда Ясонъ захотѣлъ жениться на дочери Креонта Креусѣ (Славкѣ), Медея, желая отомстить за это Ясону, умерщвляетъ посредствомъ отравленнаго платья и діадемы невѣсту вмѣстѣ съ ея отцемъ и убиваетъ своихъ дѣтей Мермера и Ферета, стр. 34, 35, 67, 77, 117.

«Меланиппа»—траг. Эврипида, стр. 35, 66.

Мелеагръ, сынъ Киней, славный охотникъ, убившій какадонскаго вепря, стр. 33, 76.

«Мелита», комед., первое по времени произведение Корнеля, стр. 116.

Мелодоръ, одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ драмѣ Карамзина: «Разговоръ о счастьи». Это же имя упоминается въ сочиненіи Карамзина: «Мелодоръ къ Филалету» и «Филалетъ къ Мелодору», стр. 240.

Мельпомена, см. музы, 145.

Мендельсонъ, Моисей, 1729—1786, мыслитель и знаменитый нѣмецкій писатель, стр. 48, 195.

Менелай, сынъ Атрея, братъ Агамемнона, супругъ Елены, царствовавшій въ Спартѣ, стр. 33, 66.

Меропа, дочь Кипсела, супруга Кресфонта, мать Эпипта. Дѣйствующ. лицо въ траг. Эврипида «Кресфонтъ». «Меропа»—трагедія Мадфеи и Вольтера (траг. въ 5 д., въ стихахъ, давалась въ первый разъ въ 1743 г.), стр. 35, 195.

«Мертвая душа», поэма Гоголя, стр. 352.

Мессала Корвинъ, Маркъ Валерій, римскій ораторъ и историкъ, ум. ок. 3 г. по Р. X., стр. 82.

«Мессеніянинъ», см. Делавинъ.

«Мессіада», поэма Клоппштока, стр. 343.

Микель-Анджело Буонаротти, знаменитый итальянскій художникъ, род. 1474 г., ум. 1563 или 1564 г., стр. 280, 286.

Мильтвуа, Шарль Губеръ, 1782—1816, франц. поэтъ; стр. 306.

Милтънъ, Джонъ (р. 1603, ум. 1674), англійскій поэтъ, авторъ поэмы «Потерянный Рай», стр. 138, 313.

Мимъ—собственно подражатель, въ особености же мимическій актеръ, который, подражая смѣшнымъ образомъ извѣстнымъ личностямъ или голосамъ животныхъ, потѣшалъ публику на улицахъ и площадяхъ или забавлялъ на пирахъ знатныхъ людей. Этотъ общій перешелъ потомъ на сцену, и изъ простаго діалога образовалось цѣлое представленіе. Греческій мимъ; образовался въ Сициліи, и его начало связывается съ именемъ Софрона. Сицилійскіе греки отличались веселымъ нравомъ, добродушнымъ остроуміемъ, тонкой наблюдательностью и особою способностью подражать другимъ. Предметомъ ихъ сатиры и остротъ были и политическія дѣла, но особенно дѣревенскіе праздники и увеселенія, даваемые тамъ ежегодно преимущественно въ честь Деметры. Талантъ Софрона состоялъ въ томъ, что онъ вѣрно изображалъ различныя сословія, ихъ нравы и обстоятельства жизни. Эти изображенія Софрона и суть мимы. Они распадаются на серьезные, съ нравственнымъ подкладкомъ, и шуточные, которые должны были возбуждать смѣхъ шутивымъ изображеніемъ различныхъ сословій и ихъ особенностей. Мимы Софрона не были литературною новинкою, — они входили уже въ мимическія представленія сицилійцевъ, но въ дѣйствіи искусства изображенія, вѣрности и оригинальности,

они имели значение поэтических произведений, хотя написаны были прозою. Такого мнения о них Аристотель.

Минерва, греч. Паллада Афина, богиня мудрости, стр. 7, 83.

Мирабо, Онуэ Габриэль Виктор Рикетти, 1749—1791, один из выдающихся деятелей французской революции, стр. 320.

Миранда, действующее лицо в драме Шекспира «Буря», стр. 315.

Мольер, Жюль Батист Жюльен, франц. комик, р. 1620, ум. 1673. Изв. пьесы его особенно замечательны: Школа женщин, Школа мужей, Мизантроп и Тартюф, стр. 137, 211, 212, 213, 250, 294.

Монье, Луи, р. 1805 г., французский писатель и художник, стр. 312, 313.

Монтань (Montaigne) франц. философ, р. 1533, ум. 1592. Главное сочинение, которым он приобрел себе известность и имел большое влияние на современников и на дальнейшие поколения образованных людей, была его опыты «Essais».

Монтескье (р. 1689, ум. 1755) французский писатель. Его сочинения: «Персидские письма», «Размышления о причинах величия и падения Римлян», «Дух законов».

Моор, Емил, действ. лицо в трагедии Шиллера «Разбойники», стр. 232.

Моцарт, Иоганн (Вольфганг Амедей), австрийский композитор, р. 1756, ум. 1791 г. стр. 263.

Музы—богини числом 9: Каллиопа—муза эпоса; Евтерпе—лирической поэзии, Мельпомене—трагедии. Талия—комедии, Эрато—эротической поэзии, Полинья—гимнов, Терпсихора—танцев, Клио—истории, Урапия—астрономии. Музы считались дочерьми Зевса и Мнемозины, жили он в Пизии, в Македонии, около Олимпа. Отсюда музы называются пизийскими или пизидами.

«Мысли»,—так называлась XIX-я рапсодия «Одиссеи», стр. 36.

Н.

Навсикая, дочь Алкиноя, царя Фивийцев, у которого Одиссей нашел гостеприимство после кораблекрушения. См. Одиссея Гомера, стр. 101.

Натань, главн. действ. лицо комедии Лессинга: «Натань мудрый», стр. 233.

Немезида, богиня кары, возмездия и справедливости, стр. 98.

«Нереида», стихотвор. Пушкина.

Нереиды—морские нимфы, дочери Нерея. Их изображают молодыми дьвами, сидящими на дельфинах, с трезубцем Нептуна, а иногда с гирляндами цветов в руках, стр. 254, 255.

«Нибелунги»—произведение пьемц. народн. эпической поэзии, рассказывает о политических и любовных приключениях древн. бургундских фамилий, стр. 316, 340, 341.

«Никомедь»—трагед. Корнелия, стр. 123.

Никохарець, сын комика Филопида и современник Аристофана, писатель древней аттической комедии, стр. 22.

Нина, действ. лицо в статье Карамзина: «Чувствительный и холодный» стр. 240.

Нюба, дочь Тантала и Дианы, супруга Амфиона, имевшая 12 красивых детей (6 сыновей и 6 дочерей). По сказанию, она оскорбила богиню Латону, хвастаясь перед нею многочисленностью и красотой детей своих. В наказание за это она лишилась в один день всех своих детей, убитых Аполлоном и Дианой (детьми Латоны), и сама была превращена в скалу, стр. 39.

Номы—религиозные песни в честь Аполлона.

О.

«Облака», см. Аристофан, стр. 53, 352.

Овидий, римский поэт (р. 43 до Р. Хр. ум. 17 по Р. Х.) Его сочинения: Amores, Героиды, Ars amandi, Remedia amoris, Метаморфозы, Fasti, Tristia, Epistolae ex Ponto стр. 97.

Одиссей, царь острова Итаки, один из героев Иллиды и главное лицо в поэме «Одиссея», с. 29, 35, 37, 38, 55, 66, 341, 344. «Одиссей ложный вистинный»—содержание не известно, стр. 37.

«Одиссея», см. Гомер, с. 24, 33, 41, 68, 340, 341, 352, 361.

Олимп—гора между Фессалией и Македонией; место пребывания греческих богов, стр. 294, 337.

Оост, см. Ван-Оост.

Оргон, действ. лицо в комедии Мольера: «Тартюф».

Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры. После убийства отца Клитемнестрою и Эгистом, он, еще малолетний, был отправлен сестрою своею Электрою в Фокиду к царю Строфию, женатому на сестре Агамемнона. Возмущен, Орест тайно возвратился в Микены и вместе с другим своим Пиладом, в отомщение за смерть отца, убил мать свою Клитемнестру и Эгиста. За убийство матери Орест был преследуем фуриями и в состоянии бешенства долго скитался, пока наконец не получил успокоения в Аониах, оправданный судом Ареса, в котором председательствовала сама Афина, стр. 31, 33, 34, 36, 37, 38, 66, 76, 129, 145, 201.

Орланд, см. Ариосто, стр. 111, 171.

Орей, сын музы Каллиопы, пивец мифических времен, родом из Фракии. Его считали родоначальником тайных религиозных учений и обрядов, стр. 83.

Основаненно, псевдоним Квинти, Григор. Федоров, р. 1778, ум. 1843 г., писал на русск. и малороссийск. яз. («Похождения Столбокова», «Пань Халаявский», «Божья дитя»), стр. 259.

Отвей, 1651—1685, англійск. драматург, дожно-классической школы, стр. 323.

«Отелло», траг. Шекспира, с. 271, 314, 319.

«Отец Горь» («Старик Горь»), романъ Балзака, стр. 294.

Отрепьев, Гришка Отр., Гришка Разстрижка (Джедмитрий I-й 1605—1606), герой народной песни, стр. 332.

Офелия—действующее лицо в трагед. Шекспира: «Гамлетъ». стр. 314.

П.

Павсонъ, см. Полигнотъ, стр. 22.

«Падение листьев», см. Милльвуа, с. 306.

«Памела», см. Ричардсон, стр. 316.

«Пань Халаявский», соч. Осповьяненка.

Парнасъ, гора на границе Фокиды и Локриды, посвященная Аполлону и музам, стр. 29, 247.

Парвоненъ, см. Икитий, стр. 276.

Паскаль (Blaise Pascal), знаменитый французский математик, р. 1623, у. 1662.

Пелей, сын Эака, отец Ахиллеса.—«Пеллей», тр. Софокла, стр. 38, 75.

Пенелопа, вѣрная супруга царя острова Итаки Одиссея. См. Одиссея Гомера, с. 101.

«Персы»—трагедия Эсхила, стр. 22, 206.

Петрарка, 1304—1374, итальянский поэт и ученый («Африка» поэма, «Rime» соч.), стр. 97.

Петроний Арбитр, современник римского императора Нерона, автор «Сатирикона» (Libri satiricon), в котор. с колоссальным юмором он изображает времена Тиберия, Каллигулы, Клавдия и Нерона.

Петр Великий р. 1672, ум. 1725, с. 266.

Пизоны (Лоний, Калпурний, Лионий)—одна из древнейших римских фамилий; к ним обращено послание Горация «De arte poetica», стр. 72, 80, 82.

Пиндаръ, р. ок. 520 до Р. Х. в Эввахъ, знаменит. греч. лирик, стр. 347.

Пизиды, см. Музы, стр. 83.

Плавт, Тит Макций — римск. комик, р. 254, у. 184 г. до Р. Х. Весьма плодотворный писатель. Число произведений, которые древность приписывала ему, доходило до 130, но из них дошло до нас только 20.

Все они суть подражания греческим оригиналам новой аттической комедии; но Плавт пользовался своими образами с гениальною свободою и смелостью. Подлинными произведениями Плавта считаются след. комедии: Амфитрионъ, Деньги для оловя (Asinaria), Горшок съ золотомъ (Aulularia), Пизинки (Captivi), Куркулю, Казина, Ларчикъ (Cistellaria), Эпидикъ, Вакхиды, Домовой (Mastellaria), Близицы (Menaechmi), Хвастливый воинъ (Miles gloriosus), Купецъ (Mercator), Псевдодъ Кароагениний (Pseudolus), Перс, Кораблекрушение (Rudens), Спихъ, Сокровище (Trinummus), Невѣжа (Truculentus) стр. 57, 74, 80, 213, 215.

Платонъ, р. 429, ум. 347 до Р. Х., один из самых знаменитых греческих философов, ученик Сократа и учитель Аристотеля, с. 5, 8—20, 39, 309, 324.

Плацидъ, действ. лицо в траг. Корнелия: «Теодора», стр. 125.

Плутархъ, род. из Херонен (50—120 по Р. Х.) греческ. лирик, автор «Жизнеописаний знам. мужей», который судил его и в новом мире одним из популярнейших писателей, стр. 43, 51.

Погодинъ, Михаил Петров, 1800—1875, автор пѣскольк. повѣстей, издат. «Москов. Вѣстн.» (1827—1831) и исторический писатель, стр. 258.

Полигнотъ, греческ. живописец, современник Фидия, р. ок. 490 г. до Р. Х., украсил живописью Пропилеи, храм Тевей и др. Полигнотъ отличался в высокой живописи; Дионисий ему во всем подражал до мелочей, но кроме того славился умением изображать характеры людей; потому прозвался живописцем людей; Павсон занимался карикатурами и площадными изображениями. Аристотель («Государство» VIII, 5) советует юношам смотреть на картины Полигнота, а не Павсона, стр. 22, 27.

Поллидъ—трагик, упоминаемый Плутархом, Аесеемъ, Дидоромъ и др. Аристотель называет его софистом, стр. 37, 38.

Поликсена, действ. лицо в трагед. Сенеки: «Трояда» стр. 126.

Полнианъ, Мелангор, род. 1661 г., ум. 1741 г., дипломат при Людовике XIV, кардинал, стр. 97.

Полициано, Анджело Амброджини (1454—1494), итальянский писатель и поэт («История заговора Пацци», поэмы, латинские буколички, и др.) стр. 97.

«Полиевнтъ», трагедия Корнелия, стр. 125, 222, 315.

«Помпидъ», трагедия Корнелия, с. 130.

Помпилия кровь (Ars poet., 292)—Пизоны, стр. 80.

Понтанусъ, Яковъ (1542—1626), филолог, переводч. многих византийских писателей, написал пѣсколько элементарных сочинений, долгое время бывших классическими («Progymnasmatum latinitatis», 1590, «Floridorum, libri VIII» и др.), стр. 97.

Попе, Александр, 1688—1744, англійскій лирический поэт и моралист («Похищение локона» (комич. эпическ.), «Опытъ о человецѣ» и мн. др.); довел до совершенства отдалку стихотворной формы, стр. 248.

Посейдонъ, сын Кроноса и Рея, брат Зевса, бог морей и вообще всех вод, с. 33.

«Потерянный Рай», поэма Милтона, с. 343.

«Поэтика», см. Аристотель.

Прев д'Эзиль, Литуан-Франсуа, аббат, род. 1697, ум. 1763, известен романом: Histoire du Chevalier des Grieux et de M. de M. Lescart, стр. 307.

Пріамъ, царь Трои, отецъ Гектора и Париса, супругъ Гекубы, стр. 18, 76.

Прогна, дочь Пандіона, царя Афинскаго; она была замужемъ за Тереемъ и превращена въ ласточку, стр. 77.

Прометей, сынъ титана Іапета, похитивший у Зевса огонь и при помощи его научивший людей многимъ искусствамъ. За это Зевсъ наказалъ его, приковавъ его къ скалѣ кавказской и приставивъ къ нему орла, который клевалъ его печень. Претаніе приписываетъ Прометею созданіе человѣка изъ глины, стр. 19, 38.

«Прометей», траг. Эсхила, стр. 88.

Протагонистъ, первый, главный, актеръ изъ двухъ, бывшихъ до Софокла; деутерогонистъ — второй актеръ; Софоклъ прибавилъ третьяго — тританониста.

«Прусій» — траг. Корнели, с. 123, 198, 219.

Пушкинъ, Александръ Сергѣевичъ, 1799—1837, стр. 241, 244, 254, 256, 271, 371—373.

Р.

Радамантъ, сынъ Юпитера и Европы, царь Литійскій. За правосудіе и безпристрастіе его оцъ сдѣланъ былъ по смерти судьей въ Аду, такъ же какъ Эакъ и Миносъ, с. 228.

«Рамайна», индійская поэма, приписываемая мудрецу Вальмики, стр. 286.

Рамбуль, Катерина, маркиза (1583—1665) Въ салонѣ ея сходились всѣ лучшіе умы и такъ назыв. жеманницы (Les précieuses), стр. 306.

«Раненый Одиссей» — трагедія. Телегонъ, сынъ Одиссея и Кирки, посланъ былъ матерью отыскать отца. Прибитый бурей къ Итакѣ, началъ грабить; тогда Одиссей съ Телемакомъ вышли противъ него, и Одиссей былъ убитъ Телегономъ. Телегонъ, узнавъ свою ошибку, отвезъ трупъ отца на островъ Ею къ Киркѣ, гдѣ Одиссей и былъ погребенъ, стр. 34.

Расинъ, Жанъ, французскій трагическ. поэтъ, род. 1639, ум. 1699 г. («Théagène et Chariclée», первая трагедія, «Andromaque», 1667, комед. «Les Plaideurs», траг. «Britannicus», «Bérénice», «Bajazet», «Mithridate», «Iphigénie», «Phédre» (1667), «Esther» (1689) и «Athalie»), стр. 135, 212, 220, 250, 282, 328.

Рафаэль, Санціо д'Урбино, знаменитѣйшій изъ живописцевъ, род. 1483 въ Урбино, ум. 1520 въ Римѣ. (Извѣстнѣйшія изъ его картинъ: «Преображеніе», «Madonna della Sedia», «Св. семейство», «Св. Цецилія», «Мадонна св. Сикста», «Несеніе креста»), стр. 167—169.

«Ревизоръ», комедія Гоголя, с. 244, 352. Регана, дѣйств. лицо въ трагедіи Шекспира «Король Лиръ». См. Шекспиръ, с. 229.

Регуль, Маркъ Антілій, римлянинъ; взятый въ плѣнъ карфагенянами и посланный въ Римъ съ мирными предложеніями, съ условіемъ

вернуться, если миръ отвергнутъ, Рег. говорилъ въ сенатѣ противъ мира, возвратился въ Карфагенъ и былъ тамъ замученъ (267 до Р. Х.) стр. 59.

Рейнгардъ (Рейпике, лиса) — герой др.-нѣмецкаго сказанія о похожденияхъ лисы, переработаннаго Геге въ обширную сатирическую поэму: «Рейпике-Лисъ», стр. 339.

Рейхлинъ, Іоаннъ (1455—1522), замѣчательный нѣмецкій гуманистъ, авторъ сатиры «Письма темныхъ людей» («Epistolae virorum obscurorum»); въ греч. грамматикѣ положила начало особому произношенію двугласныхъ буквъ, названному *рейхлиновскимъ* (итализмъ), стр. 97.

Ритмъ, ритмъ, — тактъ, ладъ, извѣстный порядокъ звуковъ; *гармонія* — соединеніе высокихъ и низкихъ тоновъ. Слово *ритмъ* употреблялось не только о звукахъ, но и о соразмѣрныхъ движеніяхъ тѣла, о стройномъ соответствіи частей, вообще о соразмѣрности. «Образные ритмы», т. е., соответственные характерамъ, страстямъ и дѣйствіямъ, — выражающіе характеры, страсти и дѣйствія.

Рихтеръ, Жанъ-Поль-Фридрихъ, болѣе извѣстный подъ именемъ Жанъ-Поля, нѣмецкій юмористическій писатель, род. 1763 г., ум. 1825 г. («Hesperus», «Quintus Fixlein», «Titan», «Vorschule der Aesthetik» и др.).

Ричардсонъ, Самуэль, англійскій писатель (1689—1761), основатель семейнаго романа въ Англіи, положилъ въ основу своихъ романовъ въ письмахъ сферу семьи и личности. Извѣстнѣйшіе изъ его романовъ: *Памела* 1740, *Кларисса* 1748, *Грандисонъ* 1753, стр. 315.

Ричардъ III, дѣйствующее лицо въ траг. того же имени, Шекспира, стр. 314.

Ришелье, Арманъ Дюплесси, 1585—1642, кардиналъ, около 20 лѣтъ управившій Франціей, стр. 142.

Робинсонъ Крузо, см. Дефо, стр. 306, 309. Родоюна — трагедія Корнели стр. 117, 125, 126, 186, 222, 224.

Родриго, дѣйств. лицо въ траг. Корнели: «Сидъ», стр. 122, 123, 125, 219.

Роландъ, палатинъ Карла V, герой древнихъ французскихъ былинъ («Chansons des gestes»); замѣчательный — преданный, палъ въ битвѣ съ сарацинами въ долину *Ронсевалла*, въ Наваррѣ, стр. 316.

«Рамасеро» — собраніе испанскихъ народныхъ пѣсень, стр. 316.

Ромео, дѣйств. лицо трагедіи Шекспира «Ромео и Юлія», стр. 55, 111, 314.

Ронсаръ, Пьеръ, французскій поэтъ (1524—1585) основатель школы писателей, называвшей себя «французск. плеядой» с. 139, 248.

Рубенсъ, Петръ-Павелъ (Peter-Paul Rubens), род. въ Зигенѣ (въ нассауск. графствѣ), 1577 г., у. въ Антверпенѣ, 1640. Ученикъ Адама ванъ-Порта и Оттона

ванъ-Вена. Живописецъ фламандской школы. стр. 276.

Руссо, Жанъ-Жакъ, французскій философъ и писатель, род. 1712 въ Женевѣ, у. 1778, авторъ разсужденій «Contrat social», «Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes» и др. романовъ — «Новая Элоиза» («Julie ou la nouvelle Héloïse»), «Эмилъ» («Emile ou de l'éducation»), Автобиографія («Исповѣдь»), доведенной до 1765 г., и др. стр. 211.

Рустемъ, около (VI в. до Р. Х.), герой персидскихъ пѣсень. См. «Книга Царей» («Шахъ-Наме»), стр. 316.

С.

Саладинъ, дѣйств. лицо въ комедіи Лессинга «Натанъ мудрый», стр. 211.

Санназаро, Дж., 1458—1530, итальянскій поэтъ («Arondia», «De partu virginis» и др.), стр. 97.

Санчо-Панса, дѣйствующее лицо въ романѣ Сервантеса: «Донъ-Кихотъ», стр. 312.

«Сара Сампсонъ», написанная Лессингомъ въ 1755, есть первая мѣщанская трагедія въ нѣмецкой литературѣ, въ 5 д., въ прозѣ. См. Лессингъ, стр. 231.

Сатурнъ, древне-римскій мифъ, позднѣе отождествленъ съ греческ. Хрономъ, сынъ Урана и Геи, отецъ Зевса, которымъ былъ лишенъ престола и заточенъ въ пропасть подъ тартаромъ.

Сафо, Сафо, греческая поэтесса, живш. въ VI ст. до Р. Х. стр. 348.

Светоній, Кай С. Трагикъ, римскій историкъ, жилъ около 70—121 г. по Р. Х. («Vitaе XII imperatorum»).

Сифтъ, Джонатанъ, 1667—1745, англ. сатирический писатель, стр. 313.

Селадонъ, см. Юрфед'Оноре, стр. 305.

Селевтъ, дѣйств. лицо въ трагедіи Корнели — Родоюна, стр. 126—7.

Сенека, римскій философъ, воспитатель императора Нерона, ум. 65 по Р. Х. Кромѣ сочиненій философскаго содержанія С. писалъ чисто литературныя произведенія. Десять трагедій, приписываемыхъ Сенецѣ, признаются подложными и не имѣютъ значенія. стр. 117, 126.

Сентъ-Бевъ, Шарль-Огюстъ, французскій критикъ, р. 1804, стр. 142.

Сервантесъ Сааведра Мигуель де —, испанскій поэтъ, р. 1547, у. 1616; писалъ элегіи, романы, сочеты, буколическіе романы, много драмъ и въ 1604 напечаталъ свой знаменитый романъ: «Донъ-Кихотъ», стр. 306, 313, 314, 359.

Сидъ, донъ-Родриго, 1026—1099, герой безчисленныхъ испанскихъ романсовъ и балладъ, а также трагедіи Корнели: «Сидъ», стр. 341, «Сидъ» 122, 123, 125, 127, 130, 315, 316.

Сизифъ, сынъ Эола, древній царь коринтскій, хитрейшій и корыстолюбивѣйшій изъ смертныхъ, который въ наказаніе за свои грѣхи, долженъ былъ въ аду постоянно вскатывать огромный камень въ гору, с. 39.

Силень (у Горациа, стр. 237—239) — божественный прислужникъ Вакха; онъ не можетъ говорить такимъ же языкомъ, какъ комическій слуга *Даосъ* или нахальная служанка *Пивіа*, стр. 79.

Симеонъ Полоцкій, р. 1628 ум. 1680, воспитатель царевича Федора Алексѣевича и писатель, стр. 108.

Симонидъ, греческій лирический поэтъ, род. изъ Кеоса (559—469 до Р. Хр), стр. 150, 210.

Скопинъ-Шуйскій, Михаилъ Васил. (ум. 1610 г.), кн., замѣчательный полководецъ, герой народн. пѣсень, стр. 332.

Сюндери, Мадлена де —, французская писательница, ум. 1701, написала много большихъ романовъ: «Великій Киръ», «Блелія» и др., стр. 248, 305.

«Слово о полку Игоревѣ» — (XII в.) поэтическое повѣствованіе о походѣ сѣверскаго кн. Игоря на половцевъ, стр. 326.

Созинъ, римскіе книгопродавцы (у Горациа, 345), стр. 82.

Сократъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ греческихъ мыслителей и правописателей, р. въ Афинахъ въ 469 г. ум. 400 до Р. Х. Сократъ не оставилъ послѣ себя никакихъ сочиненій, и ученіе его можно заимствовать только изъ сочиненій его учениковъ и послѣдователей. Между ними наибольшаго вниманія заслуживаютъ Ксенофонтъ и Платонъ, изъ коихъ первый представляетъ болѣе черты фактическаго Сократа, тогда какъ второй изображаетъ своего учителя со стороны идеальной, стр. 6—9, 12, 14, 58, 215.

«Сократическіе разговоры». Подъ «Сократ. разг.» слѣдуетъ разумѣть разговоры Александра Тейскаго, предметомъ которыхъ было изображеніе жизни Сократа; они до насъ не дошли.

Солонъ (594 г. до Р. Х.), одинъ изъ семи греческихъ мудрецовъ, афинскій законодатель, писатель нѣмногихъ элегій, с. 18.

Софокль, р. 497, въ Колопѣ въ Аттикѣ, ум. 406 до Р. Х., — одинъ изъ знаменитѣйшихъ греческихъ трагиковъ. Его поэтическая плодотворность была очень велика, и число драматическихъ произведеній его считается отъ 100 до 130; изъ нихъ дошли до насъ въ цѣлости только семь: «Аяксъ», «Электра», «Эдипъ царь», «Антигона», «Эдипъ въ Колопѣ», «Троихиплика» и «Филоклетъ». — Трагедія Софокла обнаруживаетъ вездѣ художественное образованіе и тонкій вкусъ временъ Перикла. Гигантскіе образы Эсхилыхъ трагедій у Софокла уступаютъ мѣсто образамъ человѣческимъ, ничего не теряя впрочемъ изъ своего истиннаго величія;

судьба является болѣе мягкой, религія болѣе кроткою, даже въ самыхъ грозныхъ ея совдѣніяхъ—въ Эвменидахъ; по всемъ соблюденіямъ, поэтъ всегда ищетъ и достигаетъ граціи. Противоположность божественнаго и человѣческаго началъ, которыя такъ враждебно борются у Эсхила, склоняется здѣсь къ примиренію, и надъ всѣми, даже самыми мрачными отношеніями, вѣетъ кроткое благозвучное самоотверженіе, с. 4, 24, 36, 39, 65, 91, 195, 220, 247, 277, 294, 324.

Софронъ, родомъ изъ Сиракузъ, сынъ Агаокла, современ. Эврипида. См. Мимъ. стр. 22.

Сталь, г-жа, 1766—1817, дочь французск. министра Неккера, замѣчательная писательница и романистка (очерки *De l'Allemagne*, романы *Дельфина* и *Коринна или Италия*), стр. 306.

Стернъ, *Лоренсъ*, англійскій юморист. писатель, р. 1713, ум. 1768 (*Тристрам Шенди*. «Сантиментальное путешествіе» и др.) с. 313.

Стефанъ Яворскій, 1658—1722, митрополитъ Рязанскій, мѣстооблеститель патриаршаго престола, президентъ св. синода и знаменитый проповѣдникъ Петровскаго времени, стр. 108.

«Страданія Вертера», (1774 г.)—сентиментальный романъ Гете, стр. 314.

«Судъ Любушинъ»—древнѣ чешскія эпическія пѣсни о судѣ Любушинъ (ум. ок. 738), королеви Чехіи.

Сульцеръ, *Иоганнъ Георгъ*, р. 1720, ум. 1779, человѣкъ обширной учености. Главнымъ сочиненіемъ его былъ эстетико-философскій словарь: *Allgemeine Theorie der schönen Künste*. Лpz. 1771. Въ этомъ сочиненіи С. высказалъ много дѣльных мыслей объ искусствахъ и въ частности о поэзіи, но по общему направленію сочиненіе С. нисколько не выступаетъ изъ предѣловъ того ограниченнаго понятія объ изысканіи, которое господствовало въ XVIII в. С. полагалъ, что сущность серьезнаго искусства состоитъ въ усовершенствованіи вещей или въ сообщеніи имъ красоты; психологическимъ источникомъ искусства онъ считалъ нравственное чувство или чувство добра и красоты, въ отвлеченіи отъ науки, для которыхъ источникомъ служить разумъ. По его мнѣнію, даже цѣль искусства состоитъ въ нравственномъ усовершенствованіи челов. с. 227.

Схоли, примѣчанія, объясненія какого-нибудь классическаго писателя, стр. 41.

Сицила, баснословное морское чудовище, жившее въ скалахъ морской недалеко отъ Харибды, стр. 76.

Т.

Тартюфъ (*Le Tartuffe ou l'imposteur*), ком. Мольера, представ. въ первый разъ 1667 г.

Тассо, *Торквато*, 1544—1595, итальянскій поэтъ, авторъ *Rinaldo* и «Освобожденнаго Иерусалима», стр. 138.

Татьяна, героиня романа Пушкина «Евгеній Онегинъ», стр. 256—7.

Тацитъ, *Кай-Корнелій*, римскій историкъ, ум. 80 лѣтъ между 134 и 136 г. по Р. X. (*Vita Agricolaе*, *Germania*, *Historiarum libri* и др.) стр. 247, 339.

Тезей, древній герой и царь афинскій, которому преданіе приписывало соединеніе отдѣльных общинъ Аттики въ одно государство, стр. 92.

Телегонъ, дѣйстви. лицо въ «Рапенонъ Одиссея», стр. 84.

Телефъ, (у Горація, «Наука поэзіи», ст. 96) сынъ Иракла, раненый копьемъ Ахиллеса, могъ только отъ него и получить изцѣленіе и вынужденъ былъ съ этою цѣлю предпринять странствіе изъ Мизіи въ Элладу. Пелей, отецъ Ахиллеса, въ юности, въ сообществѣ брата своего Теламона, убилъ своднаго брата своего Фоку, за что оба изгнаны отцомъ изъ родины (Эгинны), стр. 33, 75.

Теннисонъ, *Альфредъ*, англійскій поэтъ, р. 1810 г. стр. 316.

«Теодора», траг. Корнелія, стр. 125.

Терей, супругъ Прокны и зять Филомелы, обезчестивъ послѣднюю, отрубилъ ей языкъ, чтобы она не могла разсказать объ его проступкѣ; тогда Филомела выткала челнокомъ картину, удивившую Терей: это и есть *голова челока*. «Терей», траг. Софокла стр. 36.

Теренцій,—ум. ок. 194 до Р. X., римскій писатель комедій, изъ которыхъ до насъ дошло 6: «*Андрия*», «*Теща*», «*Мучитель самого себя*» (*Neautontimorumenos*) «*Форміонъ*», «*Евпукъ*» и «*Враты*», стр. 103, 215.

«Тидей», траг. Эодеданта; содержаніе не извѣстно, стр. 37.

Тieste, (*Тieste*), сынъ Пелопса, прижизн. дѣтей съ женою брата своего Атрея, который изъ мести накормилъ за пиршествомъ этими дѣтьми своего брата и ихъ отца Тieste. Трапеза Тieste, ровно какъ и другіе случаи изъ жизни потомковъ Тантала, часто служила содержаніемъ для трагическихкихъ писателей, стр. 74.

Тимантъ, греческ. живописецъ (IV ст. до Р. X.) на о—въ Самосъ; написалъ картины—«Спящій Полифемъ», «Жертвоприношеніе Ифигенія» и др. стр. 152.

Тимонъ Афинскій, дѣйствующ. лицо въ трагедіи того же имени, Шекспира, стр. 314.

Тирозъ, дочь Саломеи, приняла съ Посидономъ двухъ дѣтей, которыхъ подкинула въ колыбели, стр. 36.

Тирисъ, дѣйстви. лицо комедіи Корнелія «Мелита», стр. 116.

Тиртей, греческій поэтъ, род. изъ Аттики (ок. 684 г. до Р. X.), стр. 83.

Титулель, герой саги о «Св. Граагъ» (св. Чашѣ), сынъ франц. короля, построившій въ Вискайѣ, на горѣ Сальважъ, храмъ св. Грааля, стр. 333.

«Титъ Андронинъ», англійская комедія (XVII в.) передѣлка изъ Шекспира, стр. 112.

Тиціанъ, *Вечелли*, 1477—1576, одинъ изъ знаменитѣйшихъ итальянск. живописцевъ, с. 168.

«Товій»—школьная драма, стр. 113.

Томасъ (*Antoine Léonard Thomas*) франц. писатель, р. 1732, ум. 1785. Изъ сочиненій его особенно извѣстностью пользовалось слово похвальное Марку Апрелію.

«Томъ Джонсъ», см. Фильдингъ, стр. 313.

Тоуеръ, замокъ въ Лондонѣ, построенъ Вильгельмомъ Завоевателемъ, сперва служилъ дворцомъ, потомъ—тюрьмой для государственныхъ преступниковъ, стр. 232.

Тренделенбургъ, *Адольфъ*, р. 1802, ум. 1872. германскій философъ, извѣстенъ сочиненіями по логикѣ, стр. 60.

Тулденъ, см. Ванъ-Тулденъ.

Тэнъ, *Ипполитъ Адольфъ*, французск. писатель, р. 1828 г. (*Histoire de la littérature anglaise*, «*Philosophie de l'art*», «*Philosophie de l'art en Italie*», «*Voyage en Italie*», «*l'Ideal dans l'art*», «*Philosophie de l'art dans les Pays-Bas*», «*Origines de la France contemporaine*», и мн. др.), стр. 247, 293, 307, 324.

У.

«Уголио»—трагедія нѣмецкаго поэта Генриха Вильгельма фонъ-Герстенберга (1737—1823). Содержаніе ея взято изъ Дантова «Ада», стр. 232.

Улиссъ, см. Одиссей, стр. 140, 316.

Ульрихъ фонъ-Гуттенъ, (1488—1523), дѣятельный поборникъ просвѣщенія въ Германіи («Жалоба и предостереженіе противъ папской власти»), стр. 97.

Ульфила, ум. 378, готскій епископъ, переводчикъ на готскій яз. всей библіи, кромѣ книги Царствъ. Переводъ не дошелъ до насъ, с. 325.

Ф.

Фавнъ (къ стиху 244 Горація: Лѣсные фавны, или сатиры, должны понять, что безцискусственность ихъ имѣетъ мало общаго съ испорченною нравственностью и языкомъ городской черни) стр. 79.

Фаллическія пѣсни пѣвались во время процессій съ фалломъ, символомъ плодородія.

«Фаустъ», трагедія Марлоу, стр. 111.

«Фаустъ», траг. Гете, стр. 269, 308.

«Федръ»—названіе одного изъ діалоговъ Платона, стр. 5, 6, 9, 11.

«Фигаро», см. Бомарше, стр. 307.

Фидій, знаменитый греческ. скульпторъ, р. ок. 500 г., ум. 432 г. («Юпитеръ Олимпійскій», «Венера Паргенонская» и др.), с. 276.

Филалетъ, см. Мелодоръ, стр. 240.

Филонсенъ, греческ. дионрамбическій поэтъ, ум. ок. 380 г. до Р. X., жилъ при дворѣ тирана Діонисія Старшаго, стр. 22.

«Филонтеъ», трагедія Софокла, стр. 67, 157, 195, 201.

Фильдингъ, *Генриксъ*, 1707—1754 г., англійскій писатель, авторъ многихъ комедій и романовъ, изъ которыхъ особенно извѣстенъ романъ «Томъ Джонсъ или исторія найденныша», стр. 312, 313.

«Финиды», трагедія; содержаніе не извѣстно, стр. 37.

Флетчеръ, см. Бенъ-Джонсонъ, стр. 275.

Флоберъ, *Гюставъ*, франц. писатель р. 1821.

Флоріанъ, *Жанъ Пьеръ Кларисъ-де*—1755—1794, послѣдній представитель французскаго классицизма, стр. 247.

Фордъ, *Джонъ*, англійск. драмат. писатель (1586—1650), школы Бенъ Джонсона с. 275.

«Фориды», трагедія неизвѣстнаго, стр. 88.

Фортуна, богиня счастья, стр. 78.

Францискъ I (1494—1547), король французскій, стр. 139.

Францъ фонъ Сикингенъ, ревностный приверженецъ реформациі, типичный представитель упадковаго феодальнаго рыцарства; С. не признавалъ надъ рыцарями почти никакой высшей власти. Замокъ его былъ прованъ убѣжищемъ справедливости, потому что тамъ находили пріютъ и защиту всѣ несчастные и гонимые сильными людьми, с. 229. «Фоіотиды», трагедія Софокла, стр. 88.

Х.

Харибда, баснословное морское чудовище, жившее недалеко отъ Сицилы, у береговъ Сициліи, трижды въ день поглощавшее воду и трижды извергавшее ее, стр. 76.

Харондъ, род. изъ Кантаки въ Сициліи, жилъ во всей вѣрности въ полов. VII ст. до Р. X. и далъ своему родному городу, равно какъ и другимъ халкидскимъ колоніямъ въ Сициліи и Италіи законы, отличавшіеся нравственною и юридическою строгостью, стр. 18.

Херемонъ, современникъ Эврипида, написалъ «Кентавра», поэму эту Аэней называетъ брама толмечтров (драма, разными мѣтрами написанная); Аристотель называетъ «Кентавра» рапсодію, а это показываетъ, что произведеніе называлось не для представленія, а для чтенія, стр. 22.

Хериль, греч. драматургъ, современникъ Эсхила. Ему приписываютъ изобрѣтеніе маски и театральн. костюмовъ. *Хериль* (у Горація, стр. 357)—безданный стихотворецъ, о которомъ преданіе гласитъ, что онъ, воспѣвая дѣянія Александра, написалъ только семь порядочныхъ стиховъ, стр. 4, 82.

Химена, дѣйстви. лицо въ траг. Корнелія «Сидъ», стр. 122—3, 131, 219.

Хионидъ, афинянинъ, жившій ок. 450 до Р. X., замѣчательнъ, какъ протагонистъ (см. это слово) древней комедіи и комикъ, произведенія котораго впервые обнаруживаютъ художественный способъ изложенія. До насъ

дошли только немногие отрывки из двух его произведений. стр. 23.

Хлестановъ, герой комедіи Гоголя „Ревизоръ“, стр. 271.

„Хозфоры“, траг. Эсхила.—Электра узнает Ореста по подкинутым волосам, похожим на ее волосы, и по слѣдамъ чьей-то ноги, тоже похожим на ее слѣды, стр. 37.

Хреметъ, дѣйств. лицо въ комедіи Тереція: „Мучитель самого себя“ (Heauton timorumenos), стр. 75.

Ц.

„Цвѣтотъ“, недодешшая до насъ трагедія Агафона, стр. 30, 214, 351.

Цезарь, см. Юлій Цезарь, стр. 339.

Цетеги. Подъ именемъ Цетеговъ, происходившихъ отъ славной древней фамилии Корнелиевъ, Гораций (Ars poet) подразумеваетъ древнихъ писателей и ораторовъ, вообще древнихъ римлянъ, имѣвшихъ обычаи, особенно на войнѣ, препоясывать грудь фартукомъ, сходившимъ ниже коленъ, стр. 74.

Цецилій Стаций, древній римскій поэтъ, ум. ок. 166 г. до Р. X. Онъ по образцу Плавта и Теренція писалъ комедіи, а въ особенности по образцу Менандра, въ формѣ болѣе правильной, чѣмъ Плавтъ, и съ болѣею силою, чѣмъ Теренцій. Цицеронъ называетъ его величайшимъ комикомъ римскихъ, стр. 74.

Цидъ, см. Сидъ.

Циклопы. У Гомера циклопы представляются дикими великанами съ однимъ глазомъ посрединѣ лба. По другимъ преданіямъ жили они на островѣ Сициліи, въ горѣ Этнѣ, гдѣ они, въ качествѣ работниковъ Гефеста, ковали громъ, молнію и прочее оружіе для боговъ. Отъ нихъ отличались другіе циклопы, великаны, переселившіеся изъ Ликіи въ Арголиду и построившіе стѣны городовъ Аргоса, Микенъ и Тиринса, стр. 76.

„Цинна“, трагедія Корнелия, 1639 г., стр. 123, 128—9, 229.

Цирцея, или Кирка, дочь бога солнца, волшебница, стр. 140.

Цицеронъ, Маркъ Тулій, знаменитый римскій ораторъ, р. 107 г. до Р. X., ум. 43 до Р., довелъ до совершенства латинскую прозу, оставилъ нѣсколько сочин. по риторикѣ и философіи.

Ш.

Шейбе, Иоганн Адольфъ, 1708—1776, съ 1745 жилъ въ Копенгагенѣ въ качествѣ придворнаго капельмейстера короля датскаго и прославился, какъ музыкальный критикъ и писатель, стр. 191.

Шекспиръ, Вильямъ, р. 1564, ум. 1616, стр. 1, 53, 111, 176, 193, 194, 207, 203, 220, 245, 248, 250, 251, 258, 266, 269, 271, 294;

307, 309, 314, 315, 318, 319, 321, 323, 324, 351, 353, 362.

Шиллеръ, Иоганн Кристофъ Фридрихъ, р. 1759, ум. 1805 г., стр. 248, 254, 256, 269, 270.

Шегели, братья, Августъ Вильгельмъ (1767—1846) и Фридрихъ (1772—1829), въ своемъ журналѣ „Athenaeum“ (1798) явились вождями и теоретиками романтизма и кромѣ этой критической дѣятельности старались поднять новую школу переводами и историко-литературными трудами. А. В. Шегель особенно замѣчательнъ, какъ поэтъ-переводчикъ (Шекспира, Данта, изъ Кальдерона, изъ индійск. эпоса), с. 245, 247—8, 251.

Э.

Эантъ (Аяксъ). Два героя „Илиады“ носили это имя: Эантъ (Аяксъ), сынъ Оидея, царя локридскаго, по прозвищу Малый, и Эантъ, сынъ Теламона, царя саламинскаго, по прозвищу Великій. Оба, послѣ Ахилла, замѣчательнѣйшіе изъ героевъ. Эантъ далъ содержаніе трагедіямъ Эсхила, Софокла, Астидаманта и Теодекта, стр. 33, 67, 91.

Эвердингенъ, Альбертъ ванъ—(Aalder van Everdingen). Род. въ Алькмарѣ въ 1621 г., ум. въ Амстердамѣ въ ноябрѣ 1675. Живописецъ голландской школы.

Эвлюионъ—дѣйств. лицо въ ком. Плавта: „Горшокъ съ золотомъ“ (Aulularia), стр. 213, 294.

Эврипидъ, греческ. поэтъ, трагикъ, род. 480 (по друг.—485 г.), ум. ок. 406 до Р. X. Въ его трагедіяхъ драма сходится съ той художественной высоты, на которую она была поставлена Софокломъ. Судьба является въ нихъ болѣе какъ случайность; лица его сошли съ высокаго котурина и смѣшались съ людьми; хоръ, составившій у его предшественниковъ главную, необходимую принадлежность драмы, является у Эврипида только случайнымъ украшеніемъ; міръ героевъ сталъ совершенно человѣческимъ. Страсть составляетъ у него все, и цѣль поэта, кромѣ желанія поучать, состоитъ только въ томъ, чтобы эффектомъ растрогать сердца зрителей. Изъ многочисленныхъ (отъ 76 до 92) произведенийъ Эврипида сохранились до насъ сатирическое представленіе „Киклопъ“ и 17 трагедій: „Гекуба“, „Орестъ“, „Фениссъ“, „Медея“, „Гипполитъ“, „Аяксъ“, „Андромаха“, „Гикетиды“, „Ифигения въ Авлидѣ“, „Ифигения въ Тавридѣ“, „Троянка“, „Вакханки“, „Гераклъ“, „Елена“, „Юно“, „Неистовый Гераклъ“, „Электра“, стр. 4, 12, 17, 19, 33, 34, 38, 39, 66, 67, 92, 214, 247, 277, 351.

„Эвэуистъ“, („Euphrisus“) см. Лилли, с. 306. Эгистъ, сынъ Оіеаста и Пелопіа. Въ то время какъ Агамемнонъ сражался подъ Троей, Эгистъ соблазнилъ жену его Кли-

темнестру, а по возвращеніи Агамемнона въроломно во время пира убилъ и его самого. Въ лицѣ сына Агамемнонова Ореста явился мститель, который и покаралъ убійцу, стр. 33, 196.

Эдипъ, сынъ Лая, царя Фивскаго, и Иокасты, въ слѣдствіе предвѣщанія оракула, что онъ убьетъ отца и женится на матери, былъ брошенъ на произволъ судьбы, воспитывался въ Коринѣ. Предпринявъ въслѣдствіи путешествіе въ Фивы; дѣйствительно, по незнанію, убилъ въ Фоккдѣ Лая и получилъ въ Фивахъ за разрѣшеніе загадки сфинкса престолъ и руку своей матери. Прижизнъ съ нею Этеокла, Полинина, Антигону и Исмену и во время моровой язвы въ Фивахъ случайно открылъ въ себѣ виновника столькихъ преступленій, Эдипъ выкололъ себѣ глаза и по долгомъ блужданіи въ рождѣ Эвменидѣ, при Колонѣ въ Аттікѣ, окончилъ свою страдальческую жизнь. Многъ этотъ былъ разработанъ многими древними трагиками, особенно Софокломъ, стр. 31, 33, 36, 37, 65, 67, 69, 121, 124, 193, 195, 201.

„Эдипъ въ Колонѣ“, см. Софоклъ, стр. 294.

Эдмундъ, сынъ Глостера,—дѣйств. лицо въ трагед. Шекспира: „Король Лиръ“.

Эзопъ, полу-мифическ. поэтъ-баснописецъ, современникъ Солона, стр. 339.

Элегическій стихъ состоялъ изъ гекзаметра и пентаметра.

Электра, дочь Агамемнона и Клитемнестры, сестра Ореста. См. Эгистъ.

Электра—дѣйствующее лицо въ „Хозфоры“, траг. Эсхила, стр. 37, 195.

Эльвира—дѣйств. лицо въ траг. Корнелия: „Сидъ“, стр. 131.

Эмилія, графиня Мипрала, дѣйств. лицо въ повѣсти Карамзина: „Рыцарь нашего времени“, стр. 240.

Эмилиа—дѣйств. лицо въ траг. Корнелия: „Цинна“, стр. 129.

Эмпедоклъ, греч. философъ, р. ок. 490, ум. ок. 430 г. до Р. X. Преданіе говоритъ, что Эмпед., увлекаемый любовательностью, упалъ въ кратеръ Этны, стр. 22, 85.

Эней, Энеида, см. Виргилій, стр. 147, 171, 247, 248.

Эний, древній римскій поэтъ, р. 239, ум. 169 г. до Р. X. Его поэтическая дѣятельность обнимала всѣ области поэзіи, но слава его основана главнымъ образомъ на большомъ эпическомъ произведеніи „Анналы“ въ 18 книгъ, въ которомъ была разсказана въ хронологическомъ порядкѣ вся Римская исторія отъ Энея до времени самого поэта. Въ этомъ произведеніи Эний впервые замѣнилъ употреблявшійся дотогѣ сатурновъ стихъ гекзаметромъ и сдѣлалъ такимъ образомъ рѣшительный шагъ къ прировненію греческой метрики къ латинскому языку. Въ противоположность позднѣйшей поэзіи, развившейся по топчайшимъ

правиламъ греческаго искусства, Эний считался представителемъ національной римской поэзіи. Чего ему недоставало съ формальной стороны, то онъ замѣнилъ искусствомъ своей фантазіи, обнаружившейся какъ въ творческомъ образованіи языка, такъ и въ чисто поэтическихъ описаніяхъ. Поэтому въ позднѣйшія времена, не смотря на устарѣвшую форму, его много читали, объясняли и критиковали въ школахъ, стр. 74, 79, 342. Эпихармъ, греч. поэтъ и философъ, р. ок. 540 г. до Р. X.; прославился въ особенности драмат. произведеніями и считается представителемъ особаго рода греческой комедіи—дорическо-сицилійской, стр. 23, 25.

Эразмъ Роттердамскій, Дезидерій, 1467—1536, ревностный защитникъ реформации, издавалъ классиковъ и отцовъ церкви, между прочимъ и основной текстъ новаго заветъ; въ греч. грамматикѣ установилъ *этицизмъ* (произношеніе η, какъ е [eta]), стр. 97.

Эрастъ—герой повѣсти Карамзина: „Бѣдная Лиза“, лицо, упоминаемое въ статьѣ Карамзина: „Чувствительный и холодный“, стр. 240.

Эрость, *Амуръ, Купидонъ*, — богъ любви, стр. 12.

Эсвиръ, дѣйствующ. лицо въ ром. Диккенса: „Холодный домъ“, стр. 315.

Эсхиль, р. 525, у. 456 до Р. Xр. Эсхила по справедливости можно назвать творцомъ и отцомъ трагедіи. Все, что сдѣлано было до него Гоесписомъ и другими, можно считать только несовершенными попытками сценическаго изображенія. Трагедіи его отличаются величественнымъ, исполненнымъ достоинствомъ, возвышеннымъ характеромъ. Сюжеты Эсхила заимствованы изъ считавшихся гомеровскими поэмахъ эпическаго цикла. Во всѣхъ пьесахъ сказывается мысль, что участію людей съ неумолимой строгостью управляетъ сила судьбы. Но эта судьба не есть вѣдѣнная, слѣдующая необходимостью законовъ природы, а недостатная пониманію божественная сила, карающая людей за стремленіе преступать грань возможнаго для нихъ слабыхъ средствъ. Эсхилевскіе характеры идеальны; они проявляютъ самую высокую энергію чувства, твердую, непреклонную волю. Изъ многочисленныхъ произведенийъ Эсхила (ихъ насчитываютъ по заглавіямъ свыше 70), сохранились только 7: „Скованный Прометей“, „Персѣя“, „Орестейя“ (единственная сохранившаяся трилогія, состоящая изъ трагедій: „Агамемнонъ“, „Хозфоры“ и „Эвмениды“) — и „Умоляющія о защитѣ“, стр. 19, 24, 39, 80, 92, 206, 277, 324.

Этра—дѣйств. лицо въ траг. Эврипида: „Прислѣзница“ („Гикетиды“), стр. 130.

Эфортъ (въ IV в. до Р. X.), вмѣстѣ съ Теономъ, училъ у Исократъ и былъ наведенъ имъ на занятія древней исторіей. Въ 30 книгъ описалъ событія до 840 г.

до Р. X.; изложение носило риторический характер и часто впадало в монотонность, не смотря на правильность и чистоту языка, стр. 43.

Ю.

Юба, дѣйств. лицо въ трагедіи Кальпренди „Клеопатра“, 148.

Ювеналь (Decimus Junius Juvenalis) римскій сатирикъ, р. ок. 47 г. по Р. X. Въ своихъ сатирахъ онъ съ безпощаднымъ негодованиемъ яркими красками изображаетъ всю нравственную гниль, которою страдалъ императорскій Римъ.

„Юдифь“, школьная драма, стр. 113.

Юлій Цезарь“, траг. Шекспира, с. 111, 216.

Юлій Цезарь, *Кай*, полководецъ и государственный человѣкъ, историкъ и ораторъ древняго Рима, род. 100 г. до Р. X., лалъ жертвою заговора 44 до Р. X. стр. 247.

Юлія—героиня повѣсти Карамзина: „Юлія“, стр. 240.

Юлія (*Джюльета*), дѣйств. лицо въ траг. Шекспира: „Ромео и Джюльета“, стр. 55, 111, 314.

Юнона, латинское имя Геры, высшей изъ богинь, дочери Кроноса и Реи, сестры и супруги Зевса, стр. 160.

„Юпитеръ Олимпійскій“, см. Фидій, с. 276.

Юпитеръ, см. Зевсъ. 343.

„Юрій Милославскій“, романъ Загоскина, стр. 259.

Юрфе *Оноре д'—(d'Urfé)* французскій писатель, р. 1567, ум. 1625, извѣстенъ своимъ пастушескимъ романомъ: „Астрея“. Имя героя романа „Селадонъ“ сдѣлалось нарицательнымъ именемъ, стр. 306.

Юстиніанъ I, византійскій императоръ, р. 483 г., у. 565 г., замѣчательнѣе главн. образъ

законодательною дѣятельностью („Corpus juris civilis), стр. 280.

Я.

Яго, дѣйств. лицо въ трагедіи Шекспира: „Отелло“, стр. 314.

Язонъ, дѣйств. лицо въ трагедіи Корнели: „Медея“, стр. 117.

Янусъ—древнѣйшее и высшее божество римлянъ, правитель времени, судьбы челов., войны и мира. Статуи Януса имѣли обыкновенно два лица—молодое и старое, смотрѣвшія одно впередъ, а другое назадъ, стр. 246.

Ярославна (*Ефросинія*), жена Игоря. См. Игорь, стр. 328.

Θ.

Θемида, богиня правосудія, стр. 138.

Θемистокль, 514—473 до Р. X., греческ. полководецъ, стр. 312.

Θеодектъ, см. Ливкей, стр. 82, 37.

Θеопомпъ (*Теопомпъ*), см. Эфоръ, стр. 43.

Θесей, см. Тезей.

Θесеида—поэма Пиндострата; не дошла до насъ, стр. 29.

Θесписъ, афинянинъ, современникъ Солона, основатель трагедіи, стр. 4, 80, 83.

Θіестъ принадлежалъ къ роду Пелопидовъ, которые имѣли на плечахъ блестящій знакъ изъ слоновой кости въ воспоминаніе того, что боги Пелопу даровали плеча изъ слоновой кости. Этотъ знакъ *Каркинъ* называлъ звѣздою, стр. 36.

Θіестъ, см. Тіестъ, стр. 38, 117, 121, 122.

Θока—дѣйствующее лицо въ трагедіи П. Корнели: „Гераклій“, стр. 123, 193, 219, 222.

Василій Васильевичъ Солуха.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

Предисловіе	I
Теорія, ея отношеніе къ искусству и условія ея возникновенія, <i>С. Шевырева</i>	1

ГЛАВА I.

Ученіе древнихъ о поэзій.

1. Ученіе Платона о прекрасномъ и поэзій, извлеченное изъ его сочиненій, <i>С. Шевырева</i>	5
2. „Поэтика“ <i>Аристотеля</i> , пер. Ордынскаго	21—39
I. Планъ сочиненія.—Различіе видовъ поэзій по средствамъ подражанія (21).—II. Различіе видовъ поэзій по предметамъ подражанія (22).—III. Различіе видовъ поэзій по способу подражанія (23).—IV. Подражаніе—источникъ творчества (23).—V. Комедія.—Отличіе трагедіи отъ эпоса (25).—VI. Опредѣленіе трагедіи и стихій ея (26).—VII. Цѣлостность трагедіи (28).—VIII. Единство трагедіи (29).—IX. Чѣмъ отличается поэтъ отъ историка (29).—X. Виды вымысла (31).—XI. Части вымысла (31).—XII. Части трагедіи (32).—XIII и XIV. Исходъ и цѣль трагедіи (32, 33).—XV. Характеры (35).—XVI. Узнаваніе.—Виды его (36).—XVII. Какъ нужно творить поэту? (37).—XVIII. Завязка, развязка и т. п. (38).	
3. Примѣчанія къ „Поэтикѣ“ Аристотеля, изъ примѣчаній <i>Ордынскаго</i>	39
4. Параллель между ученіями Платона и Аристотеля, <i>С. Шевырева</i>	70
5. „Наука поэзій“, <i>К. Гораций Флакка</i> , пер. М. Дмитріева	72
6. Происхожденіе и устройство греческаго театра, <i>Ф. Величскаго</i>	86

ГЛАВА II.

Характеръ средневѣковой поэзій.

7. Романтизмъ, <i>И. Шерра</i> . Зародышъ новаго общества.—Два господствующія учрежденія новаго міра.—Отношеніе христіанства къ новому міру, къ наукѣ, искусству.—Роль католичества въ дѣлѣ сближенія новаго міра съ древнимъ.—Пе-

- реселение народов; его значеніе. — Образование романскихъ націй. — Отношеніе католицизма къ языческому міру. — Романтизмъ. — Возрѣніе на любовь, какъ существенно-христіанскій элементъ романтизма. — Рыцарство. — Свѣтское и духовное рыцарство. — Сущность романтизма. — Составныя части романтизма 94
8. Мистерія, *I. Шерра* 102
9. Школьная драма, *Н. Тихонравова*.
Время возникновенія школьной драмы. — Значеніе школьной драмы въ исторіи европейской драматической литературы. — Составъ школьной драмы въ Германіи, — въ Польшѣ. — Языкъ. — Народные элементы школьной драмы. — Содержаніе польскихъ школьных комедій въ XVII вѣкѣ. — Начало драматическихъ «дѣйствій» въ московской академіи. — Характеръ школьной драмы въ Кіевѣ 104
10. Англійскіе комедіанты, *II. Тихонравова*.
Происхожденіе англійскихъ комедіантовъ и время ихъ распространенія по Германіи. — Оцѣноченіе англійскихъ комедіантовъ. — Сценическая постановка, манера игры и репертуаръ нѣмецкихъ «англійскихъ» комедіантовъ. — Характеръ «англійской комедіи» 109

ГЛАВА III.

Ложно-классическое направленіе.

10. О драмѣ, *II. Корнелия*, пер. А. Д. Бутовскаго 114—134
А. О полезности драматическихъ произведеній 114
Б. О трагедіи 118
В. О трехъ единствахъ—дѣйствія, времени и мѣста 125
11. Буало, *С. Шевьерова* 135
12. О трагедіи, изъ *L'art poétique*, пер. А. П. Михневича 144

ГЛАВА IV.

Критика ложно-классицизма и начала эстетической теоріи.

13. Лаокоонъ или о границахъ живописи и поэзіи, *Г. Э. Лессинга*, перев. Эдельсона 150—179
Вступленіе 150
I. Предметъ живописи вообще. — Предметъ древне-греческой живописи. — Красота—предметъ изобразительныхъ искусствъ 151
II. Какое мѣсто занимаетъ красота въ современномъ искусствѣ? — Законы искусства. — Въ чемъ заключается плодотворность избраннаго художникомъ момента? — Какой моментъ долженъ быть избранъ художникомъ 153
III. Роль красоты въ дѣлѣ возбужденія интереса къ дѣйствующимъ лицамъ поэтическаго произведенія. — Безобразное въ картинѣ и въ поэтическомъ произведеніи. — Безобразное въ драматическомъ произведеніи. 155

- IV. Средства живописи и поэзіи и связь ихъ съ предметами этихъ искусствъ. — Предметъ живописи. — Предметъ поэзіи. — Какъ живопись можетъ изображать дѣйствіе? — Какъ поэзія можетъ изображать тѣла? — Плодотворный моментъ въ живописи. — Чѣмъ обусловливается единичность эпитетовъ и умѣренность въ описаніи тѣлесныхъ предметовъ? — Примѣры изъ Гомера (корабль, колесница, одежда Агамемнона). — Какой способъ употребляетъ Гомеръ при изображеніи предмета? 158
- V. Возраженіе противъ Лессинга. — Цѣль поэта. — На сколько пригодны для поэтической живописи тѣла въ ихъ пространственномъ отношеніи? — Какъ рисуетъ поэтъ предметы, одновременно существующіе въ пространствѣ, и что необходимо для приблизительнаго понятія о цѣлой картинѣ? — Чего недостаетъ картинѣ, нарисованной Галлеромъ? — Чѣмъ нарушается очарованіе? — Замѣна пространственныхъ отношеній послѣдовательными и слѣдствіе ея. — Въ какихъ случаяхъ писатель съ успѣхомъ можетъ пользоваться описаніемъ предметовъ или частей ихъ, одновременно существующихъ въ пространствѣ? — Примѣры изъ Виргилія 162
- VI. Область живописца и поэта. — Въ какой мѣрѣ и какъ живописецъ можетъ изображать на картинѣ различные моменты времени? — Въ какой мѣрѣ поэзіи доступно изображеніе предметовъ въ пространствѣ? — Примѣръ изъ Рафаэля. — Примѣры изъ Гомера. — Свойства языка, имѣющія отношенія къ поэтической живописи. — Греческій языкъ. — Новѣйшіе языки—французскій и нѣмецкій. — Пять Ахиллеса 167
- VII. Приложеніе общаго правила объ изображеніи тѣлесныхъ предметовъ къ изображенію прекрасныхъ тѣлесныхъ предметовъ. — Прекрасное у Гомера. — У Виргилія. — Какимъ образомъ поэтъ можетъ показать прекрасное? — Грація. — Примѣръ изъ Аріоста. — Елена—у Зевкеса и Гомера 171
- VIII. Безобразное въ поэзіи. — Возбужденіе смѣшанныхъ впечатлѣній. — Что такое смѣшное? — Страшное? — Примѣры изъ Гомера и Шекспира. — Безобразное въ живописи. — Неприятное и безобразное; ихъ различіе. — Можетъ ли живопись употреблять безобразное для возбужденія чувствъ смѣшнаго и страшнаго? — Различіе въ этомъ отношеніи между поэзіей и живописью 175
14. „Гамбургская драматургія“, *Г. Э. Лессинга*, пер. Рассадина 180—227

О драмѣ.

I. Объ искусствѣ вообще и о сценическомъ — въ особенностях.

- § 1. Задача искусства 180
- § 2. Цѣль искусства 181
- § 3. Поэтическая поэма 182
- § 4. Отношеніе поэзіи къ дѣйствительности 182
- § 5. Характеръ—въ исторіи и поэзіи 184

§ 6. Обработка фабулы (сюжета)	186
§ 7. О сценическом искусствѣ	189
§ 8. Музыка въ драмѣ	191
§ 9. Сцена и сценическая обстановка	193
§ 10. Какую публику долженъ имѣть въ виду писатель?	194

II. Т р а г е д і я.

§ 11. Анализъ Аристотелева опредѣленія трагедіи	194
§ 12. Филантропія (человѣколюбіе)	199
§ 13. Объ очищеніи страстей	200
§ 14. Фабула и составъ трагедіи	201
§ 15. Слогъ трагедіи	203
§ 16. Возбужденіе интереса къ дѣйствію трагедіи	204
§ 17. Привидѣнія въ трагедіи	205

III. К о м е д і я.

§ 18. Предметъ комедіи	209
§ 19. Смѣхъ и насмѣшка.—Цѣль комедіи	211

IV. Трагедія и комедія,—ихъ сходство и различіе.

§ 20. О характерахъ въ трагедіи и комедіи	212
§ 21. Имена, какъ выраженіе общности въ комедіи и трагедіи	214
§ 22. Характеры и положеніе (ситуація) въ трагедіи и комедіи	216

V. Смѣшанная драма (трагикомедія; слезливая, трогательная, комедія; мѣщанская трагедія).

§ 23. Мнѣніе Виланда объ основахъ трагикомедіи	216
--	-----

VI. Ложно-классическая теорія поэзіи.

§ 24. Аристотель, по толкованію П. Корсиа	219
15. Театръ — какъ нравственное учрежденіе, Шиллера. Потребности, вызванныя театромъ.—Вліяніе театра на нравственное и умственное развитіе человѣка;—на духъ народа.—Театръ, какъ источ- никъ удовольствій, связанныхъ съ назиданіемъ.—Заключеніе	227

Г Л А В А IV.

Новоромантизмъ.

16. Русскіе романтики, Бѣлинскаго.

Черты романтика. — Романтизмъ, какъ историческое явленіе. — Ха-
рактеръ общества до Петра Великаго. — Характеръ литературы XVIII в. —
Карамзинъ и сентиментальное направленіе. — Жуковский и романтизмъ. —
Романтизмъ и Пушкинъ. — Элементы романтизма. — Отрицательное зна-
ченіе русскаго романтизма. — Переворотъ, произведенный въ литературѣ
Гоголемъ. — Отрицательныя свойства новаго направленія. 236

Г Л А В А VI.

Эстетическая теорія.—Отношеніе эстетиковъ въ ложно-
классицизму и ложно-романтизму.

16. Псевдо-классицизмъ и псевдо-романтизмъ, Бѣлинскаго.

Значеніе «народности» въ литературѣ.—Подражательность прежняго
времени.—*Arg poëtica* и *L'art poétique*. — Черты ложнаго классицизма. —
Лессингъ и борьба противъ ложно-классицизма. — Байронъ и Вальтеръ-
Скоттъ. — Крайности романтизма. — Основа ложно-классицизма. — При-
нципъ, провозглашенный противниками ложно-классическаго направле-
нія. — Шекспиръ — въ школѣ романтиковъ. — Преимущества романтизма
предъ ложно-классическимъ направленіемъ; причина его недолговѣч-
ности; мѣсто его въ истинной поэзіи. — Заслуга Шлегелей 245

17. Поэзія и наука, Бѣлинскаго 251

18. Поэзія и художественность, Бѣлинскаго 253

19. Составные элементы искусства, Бѣлинскаго 256—272

А. Народность въ поэзіи 256

Б. Обще-человѣческое въ поэзіи 264

В. Предметъ искусства 267

Г. «Народность» въ искусствѣ, какъ обособленіе «общаго» 268

Д. Типъ, какъ сліяніе общаго и особнаго 272

20. Дѣленіе поэзіи, Бѣлинскаго 270

Г Л А В А VII.

Историческое направленіе.

Чтенія объ искусствѣ, Н. Тѣна 274—324

21. А Методъ изученія художественныхъ произведеній и опредѣленіе ихъ сущ-
ности 274—293

I. Исходная точка историческаго метода. — Отысканіе тѣхъ пераз-

ривныхъ цѣлыхъ (des ensembles), съ которыми связано художественное произведение.—Цѣль и методъ эстетики.—Противопоставленіе методовъ—догматическаго и историческаго 274

II. Въ чемъ заключается предметъ искусства.—Раздѣленіе искусствъ на двѣ группы.—Предметъ искусства, повидимому, подражаніе.—Факты для вывода этого положенія. 279

III. Безусловно-точное подражаніе не составляетъ цѣли искусства.—Подтвержденіе этого на слѣдѣхъ съ статуей, фотографіи и стенографіи.—Намѣренная неточность въ подражаніи принятымъ образцамъ.—Сравненіе античныхъ статуй съ разодѣтыми фигурами въ Неаполѣ и въ Испаніи.—Сравненіе прозы съ стихами («Ифигенія», Гете). 282

IV. Художественное произведение подражаетъ лишь взаимнымъ соотношеніямъ и зависимости частей въ предметахъ.—Примѣры на произведеніяхъ живописи.—Примѣры изъ литературы 284

V. Художественное созданіе не ограничивается воспроизведеніемъ отношеній между частями предмета.—Произвольныя измѣненія этихъ отношеній съ цѣлью выставить осязательнѣе существенный характеръ предмета.—Опредѣленіе существеннаго характера.—Онъ недостаточно выражается въ природѣ, отчего и возникаетъ искусство, имѣющее цѣлью пополнять недостатки въ природѣ.—Опредѣленіе художественнаго произведенія 286

VI. Первая группа искусствъ (изобразительныя) копируетъ органическія и нравственныя соотношенія; вторая (архитектура и музыка) комбинируетъ отношенія математическія.—Принципъ архитектуры.—Принципъ музыки.—Данное опредѣленіе примѣнимо ко всѣмъ искусствамъ 289

VII. Значеніе искусства въ жизни человѣческой.—Искусство и наука. 292

22. В. Объ идеалѣ въ искусствѣ 293—324

1. Значеніе слова идеалъ.—Разные способы обработки одного и того-же сюжета. 293

2. Опредѣленіе художественнаго произведенія.—Условія, которымъ должно удовлетворять послѣднее 295

I. Степень важности характера.

3. Въ чемъ заключается важность характера?—Принципъ подчиненія характеровъ.—Примѣры. 296

4. Примѣненіе того же начала къ нравственному человѣку.—Средство опредѣлить порядокъ соподчиненія характеровъ.—Степень ихъ измѣнчивости, опредѣляемая исторіей 299

5. Лѣстница, или скала, литературныхъ цѣнностей отвѣчаетъ скалѣ цѣнностей нравственныхъ.—Примѣры 304

II. Степень благотворности характера.

6. Важность и благотворность, какъ точки зрѣнія на характеръ.—Связь и различіе этихъ двухъ точекъ зрѣнія.—Въ чемъ состоитъ благотворность нравственнаго характера 310

7. Соотвѣствующій порядокъ въ скалѣ литературныхъ цѣнностей. 312

III. Степень цѣлостности впечатлѣнія.

8. Различные элементы литературнаго произведенія.—Характеръ.—Его элементы.—Слогъ.—Его элементы.—Гармонія характера, дѣйствія и слога 317

23. Эпическая поэзія, *Θ. Булгаева*.

Языкъ.—Періодъ до-историческій. 324

24. Эпическій періодъ жизни.—Поэтъ и народъ, *Θ. Булгаева* 328

25. Общіе законы историческаго движенія литературъ (по Вакернагелю, Готшалю, Линнигу, Каррьеру, Клейну и Роде).

Поэзія старше прозы.—Эпическія пѣсни, какъ первоначальная поэзія въ литературномъ смыслѣ.—Мнѣзъ и сказка.—Животный эпосъ и басня.—Большая народная эпопея.—Эпосъ, какъ первообразъ другихъ позднѣйшихъ, формъ литературнаго творчества.—Эпосъ и лирика.—Эпосъ и драма.—Романъ, какъ эпосъ въ прозѣ.—Эпосъ, какъ историческое повѣствованіе 334

ГЛАВА VIII.

Психо-физиологическое направленіе.

26. Поэзія, какъ предметъ науки, *Аландскаго* 361

27. Различіе между эпосомъ, лирикой и драмой, *Аландскаго*. 368

Словарь 378

О П Е Ч А Т К И.

Стр. Строка.		Напечатано:	Должно быть:
39	22	Эврипидъ	Эврипидъ
81	28	Альбона	Альбина
147	28	Путь каждый свой особенный характеръ сохранить!	И каждый пусть герой харак- теръ свой хранишь.
161	13	упружь	упряжь
172	15	Ахилъ	Ахиллъ
173	33	Илида	Илиада
275	34	Крейцеръ	Крейеръ
275	35	Ванъ-Остъ	Ванъ-Оостъ
336	16	древне-пѣмецкомъ	древне-пѣмецкомъ
336	16	gethte	getihte
